ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 1 2011

Юрий Кублановский
Записи о Елене Шварц

Андрей Лазарчук
Мой старший брат Иешуа

Аркадий Реунов
Река под небесами

Михаил Тарковский
Дядя Илья

Людмила Винская
Тихая месть

Николай Кавин
Отзвуки

Андрей Поздеев | «Красноярск» | 73×100 | бумага, акварель | 1970

Андрей Поздеев | «Улица Маркса из окна больницы» | 73×100 | бумага, акварель | 1970

К статье *Татьяны Сериковой* **«Красноярск в произведениях Андрея Поздеева и Бориса Ряузова»**, с. 3

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 1 (81) | январь–февраль | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».

Е. А. Баратынский

В номере

ДиН галерея

Татьяна Серикова
3 **Красноярск в произведениях Андрея Поздеева и Бориса Ряузова**

ДиН память

Юрий Кублановский
4 **Записи о Елене Шварц**

Михаил Тарковский
150 **Дядя Илья**

ДиН дебют

Татьяна Барботина
13 **Легенда о маленьком корректоре**

Егор Труфанов
173 **Скажу по секрету…**

Людмила Дмитриева
180 **Молодильные яблоки**

Глеб Соколов
233 **Семь писем на фронт**

ДиН роман

Андрей Лазарчук
14 **Мой старший брат Иешуа**

ДиН юбилей

Владимир Алейников
72 **Пора хризантем**

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Алексей Курганов
74 **Сомнения деда Титка**

Марина Копылова
79 **Криксы**

Сергей Назаров
84 **Как я был Дедом Морозом**

Галина Кузнецова-Чапчахова
87 **Парижанин из Москвы**

Маквала Гонашвили
104 **Сияющее сердце**

Николай Алешков
108 **Зачерпнув из реки небесной…**

Нонна Алиева
111 **Вкус ветра**

Дина Асикаева
113 **На отдыхе с Моне**

Иван Волосюк
114 **Продолженье земли**

ДиН реплика

Дмитрий Косяков
71 **65 лет без великих побед**

Александр Лейфер
78 **Идём на «Грозу»!**

ДиН диалог

Юрий Беликов, Николай Воронов
116 **Запрещённый с юности, или Байрон из Магнитогорска**

ДиН стихи

Николай Игнатенко
86 **Какое чудное ненастье!..**

Анатолий Вершинский
123 **Этот мир, где так мало тепла…**

Анна Сафонова
125 **Чтоб лепет жизни не спугнуть…**

Вадим Коченко
127 **Весёлое никто**

Игорь Иванченко
129 **Такова жизнь**

Виктория Чембарцева
131 **Межсезонье**

Вероника Шелленберг
137 **Возможность прощать**

ДиН мемуары

Николай Кавин
133 **Отзвуки**

Илья Иослович
138 **Аспирантура и потом**

Библиотека современного рассказа

Александр Шлёнский
155 **На току**

Саша Либуркин
160 **Крепкий мужчина**

Жанна Райгородская
162 **Идол металлический**

Семён Каминский
174 **Папина любовь**

Людмила Винская
181 **Тихая месть**

Вероника Шелленберг
184 **Сумеречный пейзаж**

ДиН письмо

159 Валерий Тараканов

ДиН мегалит

Дмитрий Шабанов
189 **Играющий в дождь**

Дмитрий Чернышев
191 **Пропадают коты!..**

Янис Грантс
193 **Я вернулся бы…**

ДиН публицистика

Виктор Фишман
195 **Снег Сенатской площади**

Михаил Войтик
198 **Палач первого класса**

ДиН повесть

Аркадий Реунов
201 **Река под небесами**

ДиН школа

Павел Кулешов
218 **Потребности и способности**

ДиН ирония

Александр Брюханов
190 **Миниатюры**

Дмитрий Карпович
230 **О, как мы жили хорошо!..**

Николай Ерёмин
231 **Златая цепь**

Клуб читателей

Флоранс Кролак
12 **Ливри и Ницше совершенствуют Платона**

Антон Толубеев
103 **Сохраняя память**

Борис Кутенков
236 **Бегство в пустоту или спасение в землянке?**

ДиН дети

244 **Синяя тетрадь**

246 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

В оформлении обложки использована картина Андрея Поздеева «Зимний пейзаж» (1975)

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте:
kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Подписано к печати:	25.02.2011
Тираж:	1500 экз.
Номер заказа:	1558

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВВВ».

ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.

Татьяна Серикова

Красноярск в произведениях Андрея Поздеева и Бориса Ряузова

Город — не декорация для жизни горожан, он является неотделимой частью их существования. Пространство города становится воплощением и олицетворением современного образа жизни и средоточием разнообразных возможностей.

Два художника — Андрей Геннадиевич Поздеев (1926–1998) и Борис Яковлевич Ряузов (1919–1994), жившие в Красноярске, по́лно и точно отразили неповторимое лицо нашего города, будучи совершенно не схожими между собой по творческому методу, судьбе, мировоззрению. Хотелось бы отметить, что и Андрей Поздеев, и Борис Ряузов не коренные красноярцы. Поздеев родился в посёлке Нижний Ингаш, родина Ряузова — Астраханская область. Постепенно Красноярск захватил, взял в плен, привязал к себе. В этом магия города, идущая от его облика, наивно-трогательного и величественного одновременно.

Красноярску невероятно повезло, что два таких уникальных мастера работали здесь. Разнообразная красота города дала импульс творчеству, побудила к созданию произведений, «столь различных меж собой». Благодаря этим творцам наш город получил своё живописное воплощение и вошёл в антологию мирового городского пейзажа наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Город как особое пространство — это, прежде всего, архитектура. Красноярск 70–80-х годов прошлого века представлял сочетание старого (деревянные частные дома в центре) и быстрорастущего нового. У Поздеева город живой, импульсивный, активный, населённый «машинками», идущими людьми, бегущими кошками, растущими деревьями, домами, полными людей. Красноярск Ряузова — размеренный, неспешный, представительный. Особенности личности и темперамента способствуют разному прочтению одних и тех же городских мотивов. Рассмотрим, к примеру, два пейзажа, изображающие значимые для Красноярска места, его центральные улицы — улицу Маркса и проспект Мира: акварель Андрея Поздеева «Красноярск» (1970) и живописный холст Бориса Ряузова «Красноярск. Проспект Мира» (1982). Сам выбор точек изображения красивейших улиц города говорит о разных подходах к осмыслению городской среды. Поздеев изображает перекрёсток улиц Маркса и Сурикова, на этом перекрёстке поворачивают автобусы, идущие с правого берега к железнодорожному вокзалу; у Ряузова центральное место в пейзаже отведено прямой, натянутой, как струна, дороге, идущей к зданию крайкома — сегодня это здание краевой администрации.

Город в поздеевской акварели словно бежит, как ребёнок, торопится, боится опоздать, пропустить праздник, не успеть получить подарки. Сама стилистика изображения вызывает в памяти детские рисунки — с их смешными «автобусиками» и «машинками» на больших раскоряченных «колёсиках». Пространство улицы сдвинуто с привычной точки восприятия, будто художник наклонил голову или не смог удержаться на ногах и покатился со скользкой, мокрой от растаявшего снега крыше. Поздеев, работая над городскими пейзажами, всем наиболее удобным, «земным» местам предпочитал крыши, дающие максимальный обзор.

Проспект Мира у Бориса Ряузова — другой Красноярск, повзрослевший, остепенившийся, «державный». Здания и деревья написаны насыщенно, плотно по тону и цвету, близко к натуре: в контраст к ним лёгкие краски неба всё же создают ощущение праздника или выходного дня. В этом пейзаже дорога, как широкая река, свободно течёт меж незыблемо стоящих домов, течение её плавное, неторопливое, вдоль такой дороги хорошо неспешно шагать, наслаждаясь свободным днём, неярким солнцем, красотой зданий.

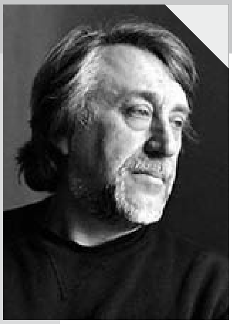
Стремление изобразить город в его стабильном, не «межсезонном» состоянии говорит о том, что Ряузов пытался создать образ Красноярска как города, крепкого по духу, укоренившегося, неторопливого. В городском пространстве живописец искал типические черты, суммировал найденные отдельные грани города.

Характерной чертой пейзажей Ряузова является их «картинность», каждый холст имеет все качества большого живописного произведения, при этом мотив, выбранный художником для пейзажа, может быть предельно прост, незатейлив — например, несколько домиков, окутанных морозным туманом («Морозные дни»). Сочетание простоты мотива и широкого эпического обобщения в пейзажах Ряузова поднимают живописные произведения до символического уровня.

Для Поздеева Красноярск — это город, живущий сегодня и сейчас, в настоящую секунду. Отсюда экспрессия, динамика в каждом городском пейзаже. Свежесть впечатлений, непосредственность восприятия — вот характерная черта каждого пейзажа Поздеева.

При сопоставлении творческих методов художников приходит на память так и не состоявшийся союз Поля Гогена и Винсента ван Гога.

Художники изображают один и тот же город, и оба правы. Это наш город, город очень разный, для каждого свой.



Юрий Кублановский

Записи о Елене Шварц [1]

2000

26 июля, среда

Уехали с П. К. в Питер. Кронштадт — сильное впечатление. У пирса — в виду шеренги миноносцев и крейсеров — мужики с заклеенными пластырями мордами вылавливали бутылки — для сдачи. Старик с авоськой увидел в кустах фольгу, поднял, разгладил, положил в карман, голь перекатная. Центральный собор, площадь, памятник Макарову — балтийский ветерок; кирпичные арсеналы с полуоторванными дверями и ставнями — идти вдоль них и идти. Купол собора я всегда видел с катальной горки в Ораниенбауме — и не мечтал, что попаду. А вот привёл Господь…

Подвыпили с Леной Шварц — гуляли ночью: Никола Морской, дом Суворова, дом Державина. Она всё ещё хороша (хотя после смерти мамы так всё ещё и не успокоилась).

Ну и — много гуляли с Павлом: Новодевичье разорённое кладбище, буддистский храм, Елагин остров, — трущобы когда-то великих, а ныне забытых князей; Смольный. Славная поездка. И даже соснули на молу Кронштадта в ожидании «метеора».

2001

20 марта, вторник

Хотя два дня болело сердце, но не смог отказать себе: вчера днём встретились с Еленой Шварц у памятника Пушкину. Знакомы с 78-го, а это едва ли не первая встреча на улице, «среди людей», а не в её норе в спб… <…> Я её издавна люблю, в своё время посвятил ей уйму стихотворений — и она меня любит. (Когда-то мы даже незабываемо побывали на Валааме, у неё есть об этом маленькое стихотворение, последнюю строфу которого она почему-то не публикует):

> Мы братний хлеб привыкнем есть,
> пить сестрино вино…

Отношения у нас действительно братские. Сунулись вчера в один кабачок, в другой, в третий — один закрыт, у Никитских всюду почему-то полно народу, дым коромыслом в неурочное время — в половине четвёртого. Наконец, осели в Доме журналиста, в подвале. Дорого, зато никого и полутемно. Курит сигарету за сигаретой — по две пачки в день. Сирота — умерла 3 года назад мама, никогда не рожала, 2 мужа, которых давно уж нет рядом. Только — поэзия. Вся — её. <…> Жаль, что не по здоровью уже мне с ней чаще встречаться, а потом сутки хворать от никотина и алкоголя. (Да и в Питере бываю я теперь изредка, а когда-то ездил к ней, из-за неё, чуть не 2 раза в месяц.)

Читаю её сборник. Ежели я «гиперреалист», то она — «сюрреалистка», со всеми свойственными этому стилю, ви́дению преувеличениями, деформациями, особенно преизбыточностью, от которой утомляешься быстро. Это не те стихи, с которыми не расстаёшься — от большинства хочется скорее «избавиться». В целом в ней нет красоты (т. е. гармонии), хотя есть куски очень красивые. Всё пёстро, образы толкаются, наползая друг на дружку. Её текст, как фольгу, хочется разгладить ногтем. «Энергетика и моторика» вместо ровной любви к земле и людям. Асоциальность и сильное мистическое, даже метафизическое, начало. Религиозная космогония, «босховщина». Боль, которую ничем не утишишь. Способна и впрямь если не на всё, то на многое, хотя со мною она — «ручная». Как мне дороги её повадки, движения, её «онтологическое» бескорыстие, сколько б ни говорила о премиях и деньгах. По большому счёту, никакого инстинкта самосохранения, как только земля носит. Не от мира сего, но знает языки, мастерски шоферила, гуляет в Интернете; вообще «между прочим» ей даётся многое, на что я не способен и ленюсь.

Загромождённость образами и ритмами — всё хочется развести по своим местам. Поэзия Петербурга. Ну, отчасти Москвы. Но никак не России. Кузмин, Хлебников, обэриуты; даже Мандельштам ей пресен. Цветаевская экзальтация ей по сердцу. Но не Ахматова, которую не может терпеть. Ревность к Бродскому — и его не любит. Меня любит как человека, к поэзии моей снисходительна; может по дружбе за неё даже и заступиться. У вчера мне подаренной её новой книжки замечательное название: «Дикопись последнего времени». Сильная поэзия, но в которой (которой) нельзя дышать: весь воздух отравлен кошмарцем. Ну можно ли, скажите на милость, жить с видениями Эрнста, Дали, Бэкона, немецких экспрессионистов? А вот в мире Эндрью Уайеса как славно (хотя порою и приторно). Но какие у Елены сильные строки («В скобяной провинции»):

---

1. Фрагменты дневниковых записей Юрия Кублановского о петербуржском поэте Елене Шварц (17.05.1948–11.03.2010) были впервые опубликованы в дальневосточном альманахе «Рубеж» № 10 за 2010 год. Предлагаем нашим читателям их расширенный авторизованный вариант.

Это ли оковы, звенья, цепи?
Посинело или снова ало?
Ничего нет мягкого на свете,
Кроме раскалённого металла.

Такие вкрапления отточенных формулировок и сфокусированных образов особенно эффектны на фоне общей полуимпровизационной рыхлости текста.

. . . .

Собственно, Ленина жизнь, главный внутренний конфликт её — борьба с врагами, с теми, кто не признаёт её гениальности. И как странно мы встретились! Обычно у памятника Пушкину толчётся народ и скамьи заполнены. А тут — так не бывает — *никого;* Лена одна сидела на правом скамейном полукружье и, чуть нахохлившись, как всегда, курила. А ведь было три часа дня, очень оживлённое для центра Москвы время! Я ещё когда подходил, издали заметил эту странность, но осознал лишь позднее: отсутствие, как обычно, народа. Булгаковская какая-то атмосфера Патриарших прудов…

21 апреля, суббота

Порой у Елены Шварц заводится мотор, и она импровизирует-фантазирует. Порой эти фантазии — мимо цели. Они «зависают» как бы по касательной к тому идеальному, что должно было бы получиться. Но иногда она может «дофантазироваться» до чего-то невероятного. Сейчас перечитал «Гостиницу Мондэхель». Кусок с виде́нием Блаватской — вплоть до жертвенника «меж Лахтой и Чёрною речкой» гениален. Тут и Достоевский, и атмосфера Питера в запустении и забросе. А какие слова! Только по высшему вдохновению способно прийти такое:

Хлопнула дверь внизу. *Колоколясь,* тень подымалась?
Снега шакальи резцы и изразцы леденились.
. . . .
Ближе, всё ближе шаги, неужели ты, демоница?
О, слава Богу! С опухшею рожей
Мимо скользнул, подмигнув, пьяный прохожий.
Вот он стоит на морозе меж Лахтой и Чёрною речкой,
Дым от него, — *(как гениален тут пропуск глагола!)*, —
здесь я и жрица,
И чёрная злая овечка…

Умопомрачительно, превосходно.

Я всегда отличу, когда в стихотворении подстёгнутое воображение, когда — свободно работающее.

29 августа, среда, 5 утра

Вчера вернулся из Рыбинска. Ранний автобус шёл то в золотисто-молочном тумане, то выныривал в надтуманную отчётливость на холмах. Дым автокатастрофы под Переславлем: три гигантских грузовика с прицепами с тёсом, искорёженные и опрокинутые. В Рыбинске — на закате — зеркально-слепящее солнце в «торце» Никольской; а вчера утром, когда ехал на такси на автовокзал, клубился дымок, отслаивался туман над чёрнозеркальной Волгой…

Елена Шварц и Юрий Кублановский, 2000 г. Фото Павла Крючкова

У меня ещё смолоду была тяга к совершенствованию каждой строки и слова, чреватому пересыханием стихотворчества. А Губанов, позднее Шварц, своим чтением, речевым потоком меня *расколдовывали*, подпитывая энергетику вдохновения.

2004

28 июля, среда, 9 утра с минутами

Елена Шварц: «*Распространённое заблуждение.* Так долго все принимали всемирный всеобщий идиотизм устройства человеческого общества именно и исключительно за свойство советской жизни». (Елена Шварц, Видимая сторона жизни. СПб. 2003, стр. 335).

Точно. Какая умница.

5 августа, 8:30

Кажется, сколько же всего сказано о Петре и Петербурге (в том числе и мною, неисчислимо). А лучше Лены Шварц (ей было тогда 20 лет) никто не сказал:

Чёрной икрой мужиков мостовые мостил,
но душ не поймал, вёртких как моль.

22 сентября

Если бы Елена Шварц не была поэтом, она стала бы первым русским сюрреалистом, и Кирико, Магрит и Дали отдыхали б — такие у неё образы.

Только зря в холода ты ныряла
В пеплом подёрнутом тёмном пруду.

И какая мощь в самых, казалось бы, «проходных», не ударных отнюдь строках:

Очередь осеней затосковала,
Лязгнул топор о топор в саду…

Такого не придумаешь, образец вдохновенности.

Да, да, есть *воображение* и — воображение. Оно *только тогда плодотворно*, «когда под ним струится кровь» реальности и открываются возможные и даже достоверные альтернативы реальности.

А не когда оно — разнузданная игра фантазии (т. е. когда оно попадает в яблочко подсознания, а не просто — размагниченная абракадабра). Когда у Шварц воображение «№ 1» — бывает и гениально, когда «№ 2» — читать это малоинтересно и неприятно.

2005

10 февраля, 8 утра

Несколько раз «по жизни» я подсыхал, матерел в «классике», в гладкописи, а поэзия Шварц меня… расколдовывала. Один раз это были «Элегии на стороны света», другой — замечательная, таинственная «Песня птицы на дне морском», и, наконец, недавно «Бабье лето — мёртвых весна». Она ко мне прикасалась… кончиком посоха своего воображения. И я — оживал.

19 сентября, понедельник

Вчера острейший приступ артрита — и сегодня ещё хромаю. Ночью — приснились стихи о Фирсе. Всё не даёт покоя маяк в Биаррице. Кажется, не видел ничего прекраснее. Жить бы мне там, видеть этот маяк ежедневно — много бы чего написал, окреп физически и «излечился» психологически. Какая простая и благородная белая башня, какой фонарь.

2007

25 июня, понедельник

Да, моё воображение неотделимо от виртуальной точности. Когда ко мне начинали приходить стихи, я как раз в Рыбинске штудировал «Постимпрессионизм» Джона Ревалда и в своих пристрастиях, в сущности, так и остался «на уровне» Сезанна и постимпрессионизма. Полёт моей фантазии всегда подрезан реальностью. «Песню птицы на дне морском» (Е. Шварц) мне не написать никогда, я могу только с завистью следить за свободным полётом её воображения. А я — «пейзажист», меня пробуждают только свежие реальные впечатления плюс визуальные воспоминания. (Я тут «визуальное», конечно, понимаю шире, чем просто «зрительное». Это не только реальные впечатления, но и *реальные* переживания и соображения мирочувствования.)

2008

26 февраля, 7:30 утра

Воспринимать судьбу свою как… жизнетворческий сюжет — русским писателям это в высшей степени свойственно. Тургенев был какое-то время политическим клерком — но судьба его как профессионального дипломата — скорей комична. Чиновником — да — был Случевский. Ну и, конечно, в основном, советские литераторы…

Пушкин — образец жизнетворчества. Блок, Мандельштам, Есенин, Цветаева — и т. п.

Жизнетворческая судьба лишена иссасывающего инстинкта самосохранения, это, во-первых. Лишена корыстной выстроенности и — главное — интриганства.

Например, судьба Елены Шварц — судьба в смысле жизнетворчества — образцовая.

3 декабря, 8 утра

«Туалет на ней был — оторви и брось: какие-то декоративные тряпки» (Бобышев о Шварц). Узнаю Елену! То же и у меня:

> Всё с твоих допотопных одежд
> снится мне — от каймы до горошин.

Бобышев в своих мемуарах был бы комично-безвкусен, если б не был столь обезоруживающе простодушен («Автопортрет в лицах», книга II, «Время», 2008).

(Уморительный пассаж, как шварцевский Яшка сорвал ему чтение «Стигматов», начав — по её наущению — «совокупляться» с его ногой.)

Для меня наш тогдашний андеграунд — братство. И никогда не променяю я никого из *наших* на совковых (по моим тогдашним представлениям, да так и было на самом деле) шестидесятников…

Бобышев сделал Шварц предложение, да накануне «очнулся»; Шварц, устроившая погром у Стратановского… И все они переругались. Но для меня они все навсегда *мои* — органичная (как и Володя Кормер) часть второй половины 70-х (А. Величанский, скорее, 60-х). Не ходили мы по советским журналам, были «нонкомформисты», и — «это многое объясняет».

У Бобышева впервые открыл я «гроссбух» стихов Шварц. «Да вам не понравится, это совсем другое», — предупредил Дима. Но мне *понравилось*, даже очень — многое. И он нас свёл. А на другой вечер я уже был у неё один (после поездки с ним в Комарово). «Не задерживайтесь, — строго предупредил он, — соседи сердятся, если ко мне поздно возвращаются гости». И потом звонил поминутно, требуя, чтобы я возвращался, ревнивец. А Елена своими чарами специально, чтоб ему насолить, меня удерживала.

2009

3 июня, среда

Поразительное недавнее стихотворение Шварц (в «Знамени», кажется?). Оно держится не на метафоре, не на фонетической вязи, не на визуальной картинке, а исключительно на *смысле*. А «формы» там ровно столько, сколько для него требуется. Оно о том, что как было бы хорошо, если б умерших нам не приходилось закапывать или сжигать, а они попросту б — исчезали. Нам легче было б верить в бессмертие.

И связанное с ним напрямую тоже: что вот уже десять лет после смерти мамы не открывала она шкаф, где висят платья покойной.

Лена стала писать стихи, которые можно пересказывать, и при этом — всё равно сжимается сердце. Высший пилотаж.

Елена Шварц. Комарово, июнь 2009 г. Фото Павла Крючкова

А это:

> Бабье лето—мёртвых весна,
> говорят в Тоскане, говорят со сна…
>
> и проч.

Там клён остаётся голым и беззащитным—гениальная вещь—как это передано в десяти строчках.

13 июля

Сон: Лена Шварц жалуется, что на заднем дворе возле баков с отбросами появляется перевязанное шпагатом собрание сочинений Шекспира. «Я уже три таких отнесла домой, больше складывать негде». И предлагает рядом с новой появившейся стопкой книг ставить какой-нибудь завлекательный приз—подарок, чтоб люди брали.

2 ноября, понедельник,
4:30 утра, Поленово

Вчера поздно вечером позвонил Павел. Говорил со Стратановским. У Лены Шварц—рак, и уже сделали операцию. (Сказал: Б. Улановская после аналогичной операции жила ещё два года.) Как такой «зверь-цветок» перенёс эти экзекуции—Бог весть. А где же её моська? Хозяин не должен погибать прежде своей собаки.

3 ноября, 15:30

Сейчас говорил со Шварц. И в больнице «выбегала из палаты» писать стихи. Поразительно, словно прочитала мою запись: «Я бы умерла, но жалко было мою собачку, она бы без меня не смогла…» Теперь надо 5 месяцев (по 4 дня) делать химиотерапию. Болезнь обнаружилась в конце лета, неожиданно, и «потом начались все эти ужасы». Слава Богу, есть кому помогать, ухаживать: как и у С., у Елены плотный круг верных и преданных друзей-почитателей.

4 ноября, 11 утра,
Переделкино, солнышко и снежок

Говорил сейчас с Леночкой по телефону. Лежит в военном госпитале визави Большого Дома—окнами на Неву. Говорит, что долго, хотя «время как-то сместилось, я уже не слежу за его течением». Операция была долгой, а теперь началась химиотерапия—«очень тяжело». «Уж и не понимаю: то ли умирать, то ли два-три года отсрочки». Договорились созвониться вечером (её вроде бы как раз сегодня выписывают).

Весь день читаю давние Еленины стихи и вспоминаю 70-ые, нашу молодость. Какая мощь, какая свобода воображения! И апогей этого периода—«Элегии на стороны света»… Да, нет в нашем поколении поэта *ярче*. <…>

Я как-то посетовал Лене, что с трудом привыкаю к постоянному сбою ритма в её стихах.
— Ну как же,—пояснила она.—Ведь писание стиха это не упёртый взгляд в одну точку. А постоянно меняешь угол зрения. Соответственно, изменяется ритм.

2010

12 марта, пятница, 20 часов

Вчера, ближе к пятничной полночи, умерла Лена Шварц. Сегодня вечером (придя со службы в Notre-Dame) кликнул мышкой «Культура» и… И не мог ни записать, ни обдумать—так обожгло. Отпевание в воскресенье, послезавтра. Не успеваю. Не успел к Думешу, теперь—к Лене, не успеваю на похороны к самым близким людям… Поэт высочайшего полёта, мощного воображения. И целый пласт жизни. Сейчас записывал в дневник всё подряд, лишь бы оттянуть написать вот это:

Елены Шварц уже больше нет.

Вот последние наши письма:

---

30 октября 2009

Дорогая Леночка!
Как ты? Был недавно в Риме, общался с Таней и чувствовал твои эманации…

Скоро выйдет моя книжка—называется «Перекличка». Как видишь, по стихотворению, обращённому к тебе. Итак, напиши, пожалуйста, о себе.

Любящий тебя Юра

---

3 ноября 2009

Дорогой Юра.
Вот захотелось, как в былые времена, показать тебе ненапечатанные стихи, написанные в больницах неожиданно для меня самой.

С любовью Лена

Это было Петром, это было Иваном,
Это жизнию было — опьяневшей, румяной.
А вот нынче осталась ерунда, пустячок —
Опуститься ль, подняться на века, на вершок.
И всего-то остался — пустячок, кошмарок —
Нежно-хилой травинки вскормить корешок.

16 окт.

**Воспоминание о реанимации
с видом на Невы теченье**

Елене Поповой — с любовью

На том берегу мы когда-то жили
(Отчуждайся, прошлая, отчуждайся, жизнь).
Я смотрю в Невы борцовские прожилы
И на угольные угриные баржи.

Я у окна лежала, и внезапно
Взяла каталку сильная вода.
Я в ней, как будто Ромул, утопала,
А вместо Рема ёрзала беда.

И влекло меня, и крутило
У моста на Фонтанке и Мойке.
Выходите встречать, египтянки,
Наклоняйтесь ко мне, портомойки!

К какому-нибудь брегу принесёт,
И руки нежные откинут одеяльце
И зеркало к губам мне поднесут,
И в нём я нового увижу постояльца.

2 ноября [2]

---

17 декабря, 2009

Милая Лена,
была ли ты в больнице? Я со своими болячками уже в заснеженном Париже…

Напиши мне о своём самочувствовании, дорогая.

Твой Юрий

---

17 декабря, 2009

Дорогой Юра,
надеюсь, ты поправляешься. В предрождественском Париже должно быть хорошо, хотя и грустно немного. Во всяком случае, мне почему-то всегда было грустно за границей перед Рождеством. Я была в больнице больше недели назад, очень тяжёлый был сеанс, но сейчас довольно бодра. Читала корректуру книги о Д'Аннунцио, которая должна выйти весной. Так всё пока ничего.

Оля Назарова передавала тебе привет. Может быть, ещё увидимся.

Обнимаю.

Твоя Лена

---

31 декабря, 2009

Дорогая Лена,
с Рождеством, с Новым годом!

Желаю тебе в Новом году крепости и стихов (т. е. того, что всегда с тобою).

Люблю тебя, до встречи,

Кублановский

---

1 января, 2010

Дорогой Юра,
и тебе того же! Спасибо!

До встречи,
с любовью.

Лена

---

25 января, 2010

Лена, дорогая,
черкни хотя бы два слова: как ты себя чувствуешь, как твоё здоровье?

В первом номере «Нового мира» опубликована подборка моих стихов, заканчивающаяся стихотворением про тебя.

Очень волнуюсь за твоё самочувствие.

Твой Юра

---

26 января, 2010

Дорогой Юра,
ещё раньше прочитала твою подборку. Мне кажется, в последнее время в твои стихи вернулась прежняя лёгкая и сильная поступь. Я за тебя рада. И ещё мне очень нравится «Обнова».

Я тоже за тебя волнуюсь, хотя, слава Богу, у тебя не так ужасно. Я пока ничего и ко всему готова. Беспокоюсь только о своей собачке, её, конечно, возьмут друзья, но сможет ли она, верней, он, без меня.

Помню, как гуляли на Стрелке и у виллы Роде, и мало ли ещё где…

Обнимаю.

Твоя Лена

---

27 января, 2010

Дорогая Леночка,
нет, нет, я не согласен ни на какой дурной вариант.

И назло всему верю, что ты выкарабкаешься.

Кстати, в дате под посвящённым тебе стихотворением — опечатка: оно от 4 ноября, а не сентября.

Целую тебя крепко, до встречи.

Юра

---

28 января, 2010

Дорогая Лена!
Как хорошо, как славно, что характер моего дарования позволил многие из тех наших прогулок замуровать в стихи. Там они длятся и по сегодня.

Твой Юра

---

28 января, 2010

Да, Юрочка, и ещё долго будут длиться.

---

2. Увы, это Еленино письмо с замечательными стихами уже не застало меня в Поленове по тамошнему электронному адресу и попало мне в руки только через три месяца. Досадная накладка! Лена могла подумать, что я не отозвался на её тексты, потому что меня они не тронули. *(Примечание от 28.1.2011)*

И моё последнее:

---

5 февраля 2010

Дорогая Ленуля!

Сейчас приехал в Поленово и на своём письменном столе первое, что увидел, слегка запылённый листочек с твоими последними замечательными стихами. «Борцовские прожилы», «угриные баржи»—какие эпитеты! Сколько силы и сердца в тексте!

Есть ли у тебя ещё что-нибудь? Тогда пришли, дорогая. Ты же знаешь, какой я благодарный читатель.

Твой Юра

Итак, в последний раз Лена обратилась ко мне в четверг, 28 января,—и ровно через шесть недель, тоже в четверг и чуть ли не в тот же час, умерла.

«Да, Юрочка, и ещё долго будут длиться».

13 марта, суббота, 4:40 утра

Проснулся, как подкинуло, словно от голоса, разбудившего фразою Достоевского: «Маша лежит на столе. Увижу ли Машу?» А где сейчас лежит Лена? Дома? В морге? «Я пока ничего и ко всему готова». И опять внутренний голос: «Для меня это как для Гоголя смерть жены Хомякова». Хотя и совсем другое.

Поэт *беспокойной* поэтики. Потому-то Цветаева, футуристы, Маяковский, даже Вознесенский ей ближе Ахматовой (и Мандельштаму, видимо, не могла простить его ранней акмеистической упорядоченности). Меня если и любила—то только за то, что много о ней. «Посмотри,—помнится, говорила она мне—мы шли белой ночью, уже под утро, к Елагинской стрелке, выгуливали её пуделька Яшку,—посмотришь направо—одно, налево—уже другое—(а ветер шевелил листву)—как же можно сохранить *один* ритм на протяжении целого стихотворения?»

Как раз сегодня *Поминовение усопших.* <…>

Путешествие наше на Валаам; отплытие от Сенатской; плыли мимо Дворцовой, мимо Смольного… Белой ночью—мимо Шлиссельбурга.

Помнится, вытянуть Лену было непросто: Яшку не с кем оставить (в итоге оставили с Беллой Улановской и т. п.). «Ты меня, как резиновую присоску на кухне, оторвал от стены». (Были тогда такие крючки-присоски для полотенец.) Всё обошли, любовались на дальний островок, забирались на колокольню… Была у неё в стихотворении (об этом) строфа, которую она потом опустила:

И если нам отсюда вниз
сойти не суждено,
мы братний хлеб привыкнем есть,
пить сестрино вино.

У себя же простоты, кажется, не ценила. Так, когда я выразил ей своё восхищение стихотворением про *клён* («Бабье лето, мёртвых весна, / говорят в Тоскане, говорят со сна» и проч.—поразительное стихотворение)—она отмахнулась: «Да ну, что ты. Там (т. е. в новой книге) есть гораздо лучше». Надулась на меня, когда я её подборке в «нм» дал заголовок «При чёрной свече». Она-то хотела что-то такое… с Богом. Но разве не безвкусно Бога выносить в заголовок подборки?—убеждал я её. Этого не умела понять.

Московские концептуалисты её, кажется, не любили. И впрямь: для них она была слишком беспокойна, экстравагантна, ершиста. Она всё-таки «зверь-цветок», а они—математики. И хотя в литературный социум она была вписана намного благополучней меня, она *по существу* одиночка.

30 с лишним лет назад на Валааме… И вот сегодня, сейчас, под сводами парижского Александро-Невского храма отец Анатолий поминал—по моей записке—новопреставленную рабу Божию Елену…

Когда Лене было лет 15–16, её, знаменитую уже ну хотя бы строчкой «О море чёрное, тебя пересолили», познакомили с Иосифом Бродским. Двадцатитрёхлетний мэтр спросил юного вундеркинда, какая часть «Божественной комедии» ей особенно по душе. «Конечно, „Чистилище“»,—ответила Лена.

14 марта, 7:40 утра

Значит, в Москве около десяти. Так что тело Елены, видимо, уже в храме. Сейчас ещё в последний раз *тело*, лицо, которое я с такой нежностью вспоминаю. А через 2–3 часа останется только пепел. (Гениальное стихотворение о кремации у Бориса Слуцкого).

Это было Петром, это было Иваном…

…А теперь и то, *что было Еленой.*

17:20. Ну, вот и сожгли Лену (сейчас говорил со Стратановским по телефону). Ну ничего, поминальные записки тоже сжигают—в тазике на церковном дворе. (Сам сжигал, когда сторожил в Никольском.)

19 марта, пятница

«Она ведь была с искрой гениальности. Поклон ей, улетающей»,—написал мне Дм. Бобышев.

«С „искрой гениальности“» я знал *троих* (а их и не было, и нет больше). Но первый хоть своей смертью и обжёг, но случилась она где-то далеко, а здесь его адепты так назойливо и шумно о нём «скорбели», что мешали оплакать. Смерть Солженицына, его утрата—личное и культурное горе, но сами похороны носили постановочный характер—с присутствием властной номенклатуры и военным салютом.

И вот Лена; где-то горсть пепла от неё.

5 апреля, Переделкино

<…> Рядом с постелью на тумбочке—самиздатский талмуд Елены Шварц, третья какая-нибудь машинописная копия. Но сразу со страниц зазвучал её голос, её интонации. И сразу:

Крематорий—вот выбрала место для сна!

Какой кошмар.

10 апреля, суббота

<…> Цыганские стихи Шварц:

И вернусь я тогда, о, глухая земля,
в печку Африки, в синь Гималаев.
О, прощайте вы, долгие злые поля
с вашим зимним придушенным лаем.

«С вашим зимним *придушенным* лаем»—какой эпитет! Гениально. Ничего более тоскливого о русской, «степной» зиме—не сказать.

А *печка* тут суть *топка*. Раскалённая *топка* в *сини*—провидческий образ.

1 июня, 5:30 утра

Вчера вечер памяти Саши Сопровского на Петровке. А потом долго брели с Павлом Крючковым предночной Москвой, *новодельной*, но тёплой, майской, поблёскивавшей стеклом и огнями. Днём бы весь этот новодел, конечно, привёл в ужас, а тут даже и ничего, тем более, когда подшофе… Вспоминали Шварц, говорить о ней иссасывающее грустно.

Это та Москва затемно, которая так возбудила Пастернака, когда он приехал на авто из Переделкина на «Марию Стюарт» («Вакханалия»). Правда, то была ранняя весна, а тут первая летняя ночь. Дошли до Минина и Пожарского, потом Александровским садом, потом мимо университетских решёток, старых, с утерянными звеньями, но жирно-чёрных, как будто дёгтем покрытых. Людям книжной культуры, поэзии—нам было по-родственному уютно вместе.

А сейчас—птичий разнобой, предрассветье, рассвет, а впереди, видимо, летний и жаркий день.

Звезда—тусклый огонёк дальнего (на границе с небытием) гарнизона, заставы…

8 июня, вторник

Три дня в Питере. У Лены Шварц: сначала на квартире. Её друг и наследник Кирилл готовится к ремонту, пакует вещи, книги. Дал мне на память Еленины чётки, пепельницу, монографию Гращенкова (моего преподавателя в мгу) об Ан. Мессине (изд-во «Искусство», 1981).

Потом на кладбище. У Елены была возможность похорониться в Комарове. Но захотела—с мамой на Волковом. Места же рядом не было. Согласилась на крематорий: компактную урну легче подхоронить к маме.

Неподалёку Олег Охапкин. Питерская художественная богема умирает как-то по-своему, старорежимно, по-декадентски: дурдом, самовозгорание, угар и т. п.; кончины инфернальнее московских. И захоронения на старых, на благородных кладбищах (Кривулин—на Смоленском).

…Царское Село, Острова. В Питере—новые громоздкие богомерзкие силуэты справа от «нашей» с Леною Стрелки, даже пожалел, что пришли с Наташей сюда: загубил старое и доброе визуальное впечатление. Нынешняя нажива хищнее позднесоветского вялотекущего разрушительства и выходит Питеру боком. Так сломали целый квартал (!) в устье Невского возле Московского вокзала—вышел, оторопел.

Вчера с Серёжей Стратановским. Поехали в Комарово, из-за пробки замешкались и повернули в Репино, на взморье. Примостились в ресторане на террасе прямо возле глади (зыби) Балтийского моря. С умным человеком, во многом единомышленником, и поговорить приятно: делился своими зоркими соображениями, почему Ленин ненавидел Пилсудского (тот—косвенный виновник казни Александра), вспоминали—это Серёжино—Короленко. От совестливого демократа я поспешил отвести разговор в *своё* русло: как мог Хлебников—после *всего*—назвать Николая «ста народов катом»? А Тынянов—восхищённо это цитировать? «Стыда у них не было, совести не было». Сергей легко согласился: «Стыда у них не было, а революционная составляющая была».

Вспомянули Лену, говорили о ней, об их последнем разговоре тотчас после Нового года.

Кирилл рассказал, что у Е. Ш. было как бы два почерка (он разбирает остатки её бумаг, не отосланных ею в Бремен на консервацию к Гарику Суперфину, тамошнему университетскому архивариусу). Один—запись диктованных вдохновеньем стихов, она спешит, это почти «стенография»: слова не дописаны, строки нервные и, как у Гёте, могут уползти за границу листа. Другой почерк—обыденный, ясный.

…Незадолго до смерти Елена разбогатела: перевод—для театра—«Дон Карлоса», книга о Д'Аннунцио, стипендия от Ходорковского. Купила «домашний кинотеатр»—большой плазменный экран, всякие навороты и проч. Стратановский: «Неожиданные, не характерные для неё приобретения». И сетовала: впервые в жизни можно пожить безбедно, а тут—умирать.

Как это славно, как простодушно вырвалось у Достоевского (в отрывке о нищих детях): «Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живёт, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли Государь…» Вот монархическое сознание, которое—сымитировать невозможно.

12 июня, суббота. Париж

Если уж вспоминать Льва Шестова, то вот мощная экстраполяция его мирочувствования в наши дни: пронзительная книга Сергея Стратановского «Смоковница» (спб, 2010). Книга такой религиозной силы и боли, что… не для 2010 года. Откуда в этом неловком, вневозрастном петербуржце—такая религиозная словесная сила? Просто невероятно. И страшно, и грозно (и сладко), что есть в наши дни такое.

Словно лёгкое пёрышко,
выронит Он меня,
Как пушинку, отдаст меня ветру ночному,
И полечу вдоль Невы,
вдоль заводов чугуно-летейских
В то, последнее море.

Ну, а уж это религиозная классика:

С болью наедине
С Богом наедине
Страшно остаться мне
Зверю Его охот
Рыбе Его тенёт

И он, и Шварц—два питерские Иова, и у каждого свои интенсивные вопрошания.
А как хорошо у Лены:

Я разгребаю выгнутой стопою
Осенний сад, где были мы с тобою.

Какая мощная лирика.

В третьем томе Ленинового собрания (Пушкинский фонд, 2008)—милые и рельефные её зарисовки. И там: «Мне было лет двадцать, когда я неизвестно почему и зачем вышла замуж за Женю Вензеля».

Я его вспомнил. Однажды в день рождения Елены мы потихоньку выпивали, дожидаясь гостей. Вдруг—звонок в дверь, и без телефонного предупрежденья этот самый Вензель (внешности его не запомнил, но мерещится рыжеватая бородка-щетина) с букетом сирени (такой, как росла у Лены под окном и попала в мои стихи). Я хотел было выйти на кухню, но они туда вышли сами. Разговор был недолог, на повышенных тонах, вскоре хлопнула входная дверь… Появилась рассерженная Лена с сиренью: «Что нам с ней теперь делать? А вот что». Мы вышли на балкон, Вензель как раз выскакивал из подъезда. «Женя!» Он поднял голову, и сирень в него полетела.

Тогда же Елена прочитала мне его стихи, где, помнится, он сетовал на отца, зачем тот не кончил на простыню, когда его зачинал.

Гениальная по точности самохарактеристика Шварц: «Я—сложный человек. Бессознательное у меня—как у человека дородового общества, сознание—средневековое, а глаз—барочный».

А как точно бывает выражена её мысль! «Можно подумать, что я склонна к самолюбованию. Скорее, я пристально вглядываюсь в себя с опасным вниманием экспериментатора, с каким он может следить за животным, опыты над которым наконец-то начали подтверждать теорию».

Рассуждая об именах городов, Шварц пришла к выводу: «А уж если говорить о нашем городе, то, кажется, имя его истинное—Петроград». То есть (исходя из совсем другого) она пришла к тому же, что Солженицын (и как всегда думал я). И, конечно, так оно и есть: *Петроград*. И надо быть Собчаком, болтуном, пустомелей и Хлестаковым, чтобы *после всего* наименовать его Санкт-Петербургом. Образчик либерального маразма.

Заграда между посюсторонним и потусторонним (во всей его амплитуде—не просто «экуменической», но аж до Блаватской и до Тибета) у Шварц была взаимопроницаема, и потустороннее её, так скажем, нередко навещало. Сама её поэзия порой была этим потусторонним; она видела самого Антихриста («Элегии на стороны света»). И это—типично питерское. У Седаковой аналогичное вылилось в… филологию москвички, оно у неё трезвее. Елене, правда, Андрей Белый был брат родной, а он москвич. Но это исключение, подтверждающее правило. Да и петербургская мистика, несмотря на всё арбатство, бежала у Белого по жилам. Уже в 13 (!) лет Лена «всё время говорила об Андрее Белом».

А какая у Шварц точность сравнений, ненавязчиво меткая и «по делу». Пудель «Яша—(хорошо его помню, его фотки с Леной у меня на стене в Переделкине аж дважды)—увидел меня раньше, рванулся и побежал, уши на ветру—как кепка козырьком назад. И мама бежала, как могла, за ним. И я побежала… Вот счастье, когда бежишь навстречу тому, кого любишь, большее, чем объятье».

А какой дивный конец эссе «Комарово»:

«В первые жаркие весенние дни, когда залив в абсолютном штиле, и, обмелевший за зиму, как скатерть, оттянут назад, и напоказ выставлены целые отары серых, как будто замшевых, камней (некоторые из них так экспрессивны, что могли бы без всякой обработки быть выставлены в музее современного искусства), в такие дни, когда залив светлеет к горизонту и при соприкосновении с небом делается белым, тогда куличик Кронштадтского собора предлагает себя мартовскому небу, а ближний форт, провиденциально названный Тотлебен, будто вырезанный из серо-фиолетового картона, подчёркнутый белой полосой воды, парит над этим заливом, как летучая баржа».

Как же худо чувствовал я себя в новогодние дни (подагра и проч.), что не рванул к Лене на встречу. Но и ведь, честно сказать, боялся: боялся за своё сердце, за то, что глаза встретят ту Лену, которая помешает помнить её прежний чудный образ. А теперь? Теперь вместо неё воздушная яма.

13 июня, 8 утра

Уж сколько я писал о мерзости посттоталитарной России, а у Елены это сильней, эпичнее:

В городе сняли трамвай,
Не на чем в рай укатиться,
Гнусным жиром богатства
Измазали стены.
Седою бедною мышкой
Искусство в норку забилось,
Быстро поэзия сдохла,
Будто и не жила.

Сколько в этой нарочитой грубости—горечи, силы! Напускное презрение от безмерной любви.

Шварц—единственный поэт, которого адепты называют *гениальным*. (Ну, ещё Бродского.) Я этого не люблю: тут есть какое-то педалирование назло оппонентам и недоброжелателям, есть какой-то примитивизм. Я (для начала) назвал в некрологе её поэзию *сказочной*—и проще, и точнее.

А это как сильно:

И Смерть, мастер, на все руки ломастер,
Трудолюбивей любой пчелы.

Какой надо иметь слух, какой дар, чтобы *так* использовать детскую присказку: *мастер-ломастер*.

20 июня, воскресенье

Заканчиваю триптих памяти Лены Шварц. Ключ — Дученто, Раннее Возрождение…[3]

7 декабря, вторник, за полдень

Потрясающее «Бестелесное сладострастие», об уничтожении останков французской королевской четы Дагобера и Нантильды в революцию, Елена написала в 22 года. А волшебное «Плаванье» *приснилось* ей (за исключением двух последних «пассажей») на четыре года позднее — в 1975 году. Мы плыли на Валаам, и она поведала, как кто-то не ко времени её разбудил, оттого и концовка «Плаванья» рукотворная.

В конце 90-х она побывала в базилике Сен-Дени у плиты Нантильды и Дагобера и рассказала об этом в миниатюрном «Путеводителе по стихам». Чтобы перечитать его, я два часа перелопачивал сегодня всё её прозаическое, уже думал, что мне это примерещилось, пока, наконец, не разыскал эссе это — предпоследним в четвёртом томике. На королевской плите Лена обнаружила буквально иллюстрацию к «Плаванью»! «Выходит, что я должна была написать стихотворение о королях, потом о лодке Харона, и, наконец, захотеть увидеть эту плиту и убедиться в неотменяемости и необходимости этих стихотворений. И когда я в Ленинграде сочиняла их — всё это уже было предвещано на плите в парижском соборе!»

Как приеду в конце января в Париж, обязательно навещу Сен-Дени с «Путеводителем» Шварц… по её волшебному миру.

P. S. *30 января 2011 года*. Скоро годовщина смерти Елены Шварц.

На днях побывал я во Флоренции, холодной, безлюдной, вдвойне прекрасной от этого холода и безлюдия. Батюшка в тамошней Рождественской церкви отец Евгений (Блатинский) — сам из Питера и знал Лену. Помянули её тосканским красным вином… Она, оказывается, дважды бывала здесь, читала, и её благодарно слушали — итальянские слависты и русские.

Клуб читателей

Флоранс Кролак

Ливри и Ницше совершенствуют Платона[4]

Докторская диссертация Анатолия Ливри, переписанная автором по-русски свойственным ему литературным стилем, сводится не только к остроумной полемике с Кареном Свасьяном, оказывается, неверно переведшим некоторые отрывки из «Так говорил Заратуртра», — главный тезис автора «Физиологии Сверхчеловека», бывшего преподавателя Сорбонны, ныне слависта в Университете Ниццы — Sophia Antipolis Анатолия Ливри, состоит в объяснении разработки Фридрихом Ницше платоновского «Пира». Ливри раскрывает степень важности «Академии» для Ницше, а именно: как философской — но и филологической — основой трудов Ницше стало наследие Платона, изученное немецким мыслителем в бытность студентом, а впоследствии профессором классической филологии. В «дионисическом переиначивании человека» состоит, по мнению Ливри, подход Ницше к философии — однако это не поэтическая импровизация, но твёрдое следование классическим канонам, заключающееся в анализе платоновских мифов и в собственной версии их продолжения.

Но самое знаменательное в работе Ливри, — это наглядное доказательство того, что русские классики, перечисленные в третьем названии его книги — Пушкин, Булгаков, Набоков, Достоевский, — вводили на страницы своих романов и поэм платоновские образы и предлагали подобные ницшевским продолжения авторских легенд, изложенных в «Пире».

«Физиология Сверхчеловека» — труд, называемый Анатолием Ливри «одной из баз своего философского учения», и преподаваемый им с кафедры русистики университета на Лазурном Берегу, — предоставляет и филологам, и философам, и профессиональным литераторам почву для размышления и самосовершенствования. «Физиология Сверхчеловека» — продолжение «Набокова-ницшеанца», изданного по-русски в 2005 году петербургской «Алетейей» и получившего премию «Серебряная литера», а в 2010 году опубликованного по-французски парижским издательством «Hermann». Предисловие же Президента международного общества «Фридрих Ницше», профессора Гумбольдтского университета Ренаты Решке и послесловие профессора МГУ Н. Т. Пахсарьян являются гарантами высочайшего профессионального уровня «Физиологии Сверхчеловека».

---

3. Цикл стихотворений Юрия Кублановского «Елене Шварц, на годовщину помина» опубликован в «Новом мире», № 3, 2011. *(Прим. ред.)*
4. Анатолий Ливри, «Физиология Сверхчеловека, или Введение в третье тысячелетие. Ливри, Пушкин, Ницше, Булгаков, Набоков, Достоевский — жрецы Диониса», Ст.-Петербург, «Алетейя», 2011, 312 с.

Татьяна Барботина

Легенда о маленьком корректоре

Однажды в главный офис одной уважаемой фирмы пришёл маленький корректор. Маленький, потому что невысокий, но опыт у него был огромный в каких-то известных в узких кругах литературных журналах. Скажите, пожалуйста, а что же этот одухотворённый человек, потративший лучшие годы своей жизни на корректуру художественных текстов, делает в коммерческой организации, хотя бы и уважаемой, хотя бы и в главном офисе?

Да, скажите, Антонина Андреевна, что это вы тут забыли?

«Денюжки,—говорит Антонина Андреевна,—не хватает».

Два года трудился корректор над текстами, освещающими вопросы автострахования, страхования жизни, медицинского страхования и прочих видов компенсации за весьма неприятные события. И всё делалось тихо. Так неощутимо разогревался и поедался маленьким корректором бутерброд с сыром на кухне. Не дольше положенного времени, но, нужно сказать, и не меньше. Не успеет редактор отвернуться, а на столе уже откорректированные материалы, защемлённые пластмассовой скрепкой салатового цвета. Такого, знаете, слишком салатового. Салату в таком цвете было бы просто неприлично. И не видать корректора, и не слыхать.

И вот однажды, а бухгалтер Зоя Валерьевна помнит тот день, пришёл корректор в офис и странно замялся в коридоре.

— Что с вами?—спросила Зоя Валерьевна, неправильно интонируя фразу, намереваясь поставить в её конец имя и отчество и не обнаруживая в голове ни того, ни другого.

— Не могу я туда идти, пугают меня там…—осторожно ответил корректор.

— Кто?!—вскричал бухгалтер, сладострастно и в предвкушении глядя на пожилую маленькую женщину.

Антонина Андреевна мяла серые замёрзшие руки, приоткрыв рот, будто намереваясь ответить. Зоя Валерьевна низко-низко наклонилась поближе к нему, к этому сморщенному ротику, приговаривала:

— Да не бойтесь, говорите: кто?

Но, так ничего и не ответив, корректор ушёл на рабочее место, на ходу снимая вязаную шапку и отряхивая её ладонью.

Вечером того же дня все узнали, что та невыразительная старушка—ну та, с сырными бутербродами и фаянсовыми серёжками, которая в грязь ходила в калошах и пересчитывала по три раза зарплату, корректорша эта,—с ума сошла.

Как маленькая щепочка, подхваченная пенным потоком, разнёсся этот слух по офису, обрастая всё новыми и новыми подробностями. Человеческие массы плавно вращались от корректорского отдела до кабинета главного редактора, ища повсюду маленького корректора, не забывая наведываться и в туалет, и на кухню,и даже в канцелярию.

Толпа маскирующихся любопытствующих, в основной массе—женщин, среди которых затесались два бородача из коммерческой дирекции, хотела узнать, зачем же и как можно было откорректировать текст следующим образом:

«Действительно, вдохновенные страховые компании исцеляют глаголом достаточно большое, измеряемое в душах десятками и сотнями количество человечных филиалов и отделений. Как правило, о, помни слово, брошенное сгоряча, высокопрофессиональные и златокудрые специалисты в области методологии страхового (с отсутствием страха в трепещущем сердце!) дела концентрируются в центральных, небесных, любых, головных, головастых, курчавых подразделениях компаний.

Рассматривая вопросы создания системы продаж, мы говорим о совокупности различных технологий продаж:

- технологии прямых продаж (продажные, трусливые душой!) кадровыми сотрудниками;
- технологии брокерских продаж; о, озари их чёрные надежды!
- технологии косых, карманных, наживных почтовых и электронных рассылок;
- технологии интернет-маркетинга; на тумбе я сижу, сижу на тумбе я!»—

и так далее, и так далее…

В течение рабочего дня то тут, то там организовывались небольшие и, естественно, негласные собрания по поводу потерянной старушки. И шапка вон её висит, и портфель коричневый, а её нет как нет. Как сквозь землю провалилась. Через три дня все её вещи перенесли на хранение в канцелярию, потому что Антонина Андреевна так и не пришла за ними. Да и уходила ли? После этого случая в главном офисе уважаемой компании стали ходить слухи, что поздно ночью, ближе к утру, кажется… к петухам (хотя какие петухи в центре Москвы?), можно услышать, как маленький корректор читает незнакомым голосом чьи-то стихи. Зоя Валерьевна убеждала всех, что слышала их, когда однажды осталась на сутки в офисе, доделывая годовой бухгалтерский отчёт для налоговой. Стихи были, конечно же, Пушкина.[1]

---

1. Конечно же, Баратынского. *(Прим. авт.)*

Андрей Лазарчук

Мой старший брат Иешуа

От автора

Дорогой читатель! Жизнь складывается так, что нам всё труднее встречаться: книги мои издаются, но тиражи их заметно падают, зато цены непомерно растут; и получается, что книги эти стоят на полках нескольких дорогих магазинов в столицах, а более же нигде. Что ещё печальнее, новые книги перестали поступать в библиотеки… Поэтому я благодарен и издательству «Эксмо», подарившему журналу «ДиН» право на публикацию этого романа, и журналу, принявшему подарок,—прежде всего, потому, что главными получателями журнала являются именно районные библиотеки. Надеюсь, что таким путём роман доберётся всё-таки до моего читателя: умного, подготовленного, проницательного—и, думаю, соскучившегося по текстам многослойным и многомерным, а также твёрдо знающим, что «в действительности всё обстоит совсем не так, как на самом деле».

Роман написан на основе перевода так называемого «Китирского кодекса», выполненного профессором Анатолием Павловичем Серебровым, с разрешения переводчика и с единственным условием: избегать прямого цитирования. Это условие выполнено полностью.

Первоначально я намеревался внести в текст романа и биографию А. П., и историю поисков кодекса, и коллизию его утраты и компрометации. Однако после первых же десятков страниц от этой мысли пришлось отказаться, так как история эта выглядела слишком неправдоподобной. Поразмыслив, я решил отложить написание биографии А. П. Сереброва, включающей, разумеется, детективно-приключенческий сюжет, развивающийся вокруг «Китирского кодекса», на какое-то время, лучше всего до тех пор, когда имя этого замечательного учёного будет возвращено в научный оборот.

Итак, при написании я имел на руках фотокопии самого кодекса, перевод кодекса на русский язык, около двухсот страниц комментариев А. П. к переводу и его предсмертное письмо ко мне, приводить которое я считаю излишним. Где находятся оригинал кодекса и его имитация сейчас и какие инструкции получили те люди, которые, я надеюсь, будут добиваться научной публикации, мне неизвестно.

Мои сердечные благодарности поэту и писателю Даниэлю Клугеру, который уже не в первый раз приходит мне на помощь, и Руслану Хазарзару, чей фундаментальный труд «Сын человеческий» помог мне сориентироваться во многих реалиях древности. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем, желающим не только верить, но и знать.

И, конечно, отдельное спасибо Иосифу Флавию.

Ещё несколько слов от автора

Об именах и географических названиях. В рукописи они, как правило, приводятся в непривычном для нас виде, а именно: греческими буквами воспроизводится звучание имени либо названия; иногда бывает трудно понять, о чём или о ком идёт речь. Есть случаи, когда имя одного и того же человека в одном месте написано так, как оно звучит по-еврейски, в другом—как по-гречески, в третьем—скорее всего, по-арамейски. Я говорю «скорее всего» потому, что точной фонетики арамейского не знает никто. Если учесть, что кодекс написан на одном из диалектов лаконского (спартанского) языка, который в произношении отличался от общегреческого койне весьма значительно, то понятно, насколько тяжело было иногда разобраться, кто или что имеется в виду.

Я постарался везде, где это не мешает восприятию, это непривычное написание сохранить. С другой стороны, в зависимости от контекста пришлось применять, наряду с арамейской, и еврейскую форму имён, и греческую, и привычную нам орфографию, принятую в русском синодальном переводе Библии (например, Элишбет—Элишева—Элисбет—Елисавета; Иешуа—Йешуа—Иэсус—Иисус). В описываемое время точно так же применялись различные формы одного и того же имени: еврейская космополитичная знать говорила по-гречески и называла детей греческими именами (совершеннейший аналог России девятнадцатого века, только вместо греческого был французский), простые горожане и крестьяне говорили на арамейском и использовали арамейские формы имён и названий, священнослужители—древнееврейские. Римляне же всех именовали на свой латинский манер; грамотные люди их понимали.

В рукописи есть персонажи, которые именуются попеременно то на греческий, то на арамейский манер. Дабы избежать лишней путаницы, я оставил им только по одному имени.

Хасмонейская династия—Хасмонеи в рукописи именуются только Маккавеи и Маккаби (есть оба варианта написания). Причина этого мне неизвестна, но я решил так и оставить.

Еврейский календарь, как я понял, использовался прежде всего для определения религиозных

праздников, а сирийско-македонский — в повседневном обиходе[1]. То есть когда в тексте упоминается праздник, называется еврейский месяц, а когда рядовая дата — македонский. Римский счёт месяцев и лет в рукописи не встречался ни разу.

Довольно часто даты событий, приводимые в рукописи, отличаются от тех, которые имеются у Иосифа Флавия. Разница невелика и составляет один-два года в ту или другую сторону. Я сохранил датировку, которая дана в рукописи («от воцарения Шимона Маккаби», т. е. от 142 г. до н. э.), и решил больше доверять датам, приведённым там, нежели Флавию, — тем более что Флавий довольно своеобразно использовал летосчисление «от первой Олимпиады», называя месяц, но не называя год (скажем, «в мае такой-то Олимпиады» вместо «в мае первого-второго-третьего-четвёртого года такой-то Олимпиады»).

Климат в Средиземноморье в те времена несколько отличался от нынешнего: температуры были ниже, дожди шли чаще. Видимо, сказывалось то, что Сахара имела площадь в несколько раз меньшую, чем сейчас. Благодаря этому земледелие повсюду было неполивным, и пшеницы и ячменя собирали по два, а во многих местах и по три урожая. Впрочем, именно в описываемое время климат начал довольно резко меняться к худшему: начинались те подвижки, которые вскоре привели к Великому переселению народов.

Собственно, это всё, чем я хотел бы предварить книгу. Благодарю за внимание.

Глава 1

Одарил или наказал меня Господь тем, что каждое утро я просыпаюсь двенадцатилетней девочкой, а каждый вечер умираю старухой, забывшей счёт своих лет? Наверное, всё же одарил в милости своей, потому что я ведь и есть на самом деле старуха, что забыла счёт прожитых лет. А видеть встающее солнце и петь, встречая его, дано не всякой старухе — и даже самой счастливой из старух.

Я пережила уже всех, кто был со мной тогда, и своих детей, и детей моих близких. Кто-то шепчется за спиной, что я проклята на вечную жизнь и что я не одна такая… Чем дольше жизнь, тем больше слёз и потерь, а из радостей — только память.

И ещё вот эта одна: я могу видеть по утрам солнце, и я могу петь.

Потом и солнце заволакивает волнистой мглой, и лишь по краям этой мглы, этого косматого пятна цвета зимнего моря остаётся что-то живое. Впервые мне вот так загородило взор, когда храмовые стражники приволокли меня на гору и велели опознать в распростёртом на камнях убитом человеке моего брата, а я смотрела и не могла понять, что такое происходит со мной. Куда бы я ни обращала взгляд, пылающая лиловым пламенем ладонь с короткими загнутыми когтистыми пальцами не давала мне увидеть ничего из того, что должно было быть передо мной…

Толпа вопила и требовала, а я молчала. Потом они бросились.

Говорят, меня спасли римские солдаты[2], но этого я уже не помню совсем. Когда я очнулась, то подумала, что идёт какой-то весёлый праздник. Я слышала радостные песнопения. На самом деле было тихо и страшно. У меня выпали все волосы, а кожа легко собиралась в обширные тонкие складки. Без сознания я пролежала почти два месяца. Никто не верил, что я выжила, и говорили, что восстала из мёртвых и что это не чудо, а чёрное злое волшебство.

С тех пор я так и осталась тонкой, как лучина, волосы на мне не росли нигде, а видела я лишь то, что творилось сбоку от меня, и ничего, что творилось впереди.

Дети мои боялись меня и с трудом сдерживали крик, когда мама побуждала их войти в комнаты, занимаемые мною. Потом мама плакала. Она думала, что я не слышу. Но я всё слышала.

Мы снова жили в нашем старом доме в Еммаусе[3]. Я боялась, что дом развалится — так скрипели, трещали и пьяными голосами пели половицы и балки. Но дом выдержал, он выстоял до той ночи, когда и нам пришлось бежать от убийц. Я уже могла ходить и что-то нести.

Я росла в этом доме — с восьми лет и до одиннадцати. Тогда он был огромен.

Дом был огромен, а свет светел. Он пронизывал дом косыми лучами. Отец был велик и добр. Руки его пахли смолой многих деревьев. От мамы пахло молоком. На руках она всё время держала маленького Зекхарью, а он плакал. Потом он перестал плакать, а плакали все вокруг, и я плакала тоже.

---

1. *Сирийско-македонский календарь:*

диос	ноябрь	артемисий	май
апеллай	декабрь	дасий	июнь
аудинай	январь	панем	июль
перитий	февраль	лаос	август
дистр	март	гарпей	сентябрь
ксантик	апрель	иперберетай	октябрь

Еврейский календарь: В Библии встречаются только семь пришедших из Бабилонии названий месяцев еврейского календаря: нисан (приходится обычно на март–апрель), сиван (май–июнь), элул (август–сентябрь), кислев (ноябрь–декабрь), тевет (декабрь–январь), шват (январь–февраль) и адар (февраль–март). Названия остальных месяцев — иар (апрель–май), таммуз (июнь–июль), ав (июль–август), тишрей (сентябрь–октябрь) и мархешван, или хешван (октябрь–ноябрь), иногда с обозначением их порядковым числительным, — появляются наряду с уже перечисленными только в рукописях первого века до н. э. — первого века н. э. — в частности, в свитках Кумрана. Сутки делились на 24 часа, а час — на 1080 долей. Начало суток считалось с конца заката, когда край солнца исчезал за горизонтом.

2. Здесь и далее, когда речь идёт о римских солдатах, римском лагере и т. п., следует иметь в виду, что регулярных римских войск, легионов, в Иудее не было вообще, а развёрнуты были только вспомогательные войска, набираемые из местного населения; организация их и вооружение не отличались от римских, но язык использовался туземный; также другими были и регалии. Расквартированные в Иудее, и в частности близ Иерушалайма, части комплектовались преимущественно самарянами и декаполийцами, говорившими на греческом.

3. В рукописи используются как греческий (Еммаус), так и арамейский (Хаммат) варианты написания названия; мы используем только первый, как более привычный, дабы не создавать путаницу.

Тётя Элишбет была выше мамы, а волосы её, тёплые и волнистые, светились, выбиваясь из-под траурной головной повязки. Волосы у мамы были тёмные, очень длинные, она подбирала их гребнем. Но всё равно мама и тётя были очень похожи, и все говорили, что они похожи, как родные сёстры, старшая и младшая, а не как тётка и племянница. У тёти Элишбет был сын Иоханан, а мужа её велел убить безумный царь Ирод, мучимый духами зла; духи же смогли войти в него потому, что он втайне поклонялся нечестивому богу и хотел заставить всех нас поклоняться ему. В честь убитого мужа тёти Элишбет родители и назвали моего брата. Таков обычай. Но брат тоже умер.

И тогда мы остались вдвоём с Иешуа.

Иешуа — мой старший брат. Он старше меня на два года. Иоханан ещё старше, чем мой брат, но мне с ним легче и проще. Жалко, что тётя Элишбет живёт далеко и они могут бывать у нас нечасто.

Я много раз слышала, что где-то на небесах Иешуа и Иоханана перепутали родителями, отдали не тем. Потому что Иешуа светлоглазый и светловолосый, как тётя Элишбет, и светловолосым был её убитый муж, а Иоханан смуглый, черноглазый, и волосы у него почти чёрные и торчат во все стороны, а наша с Иешуа мама темноволосая, глаза у неё карие, а на лице много веснушек, поэтому даже во дворе дома и в саду она прикрывает лицо, как женщины кенитов, а если она не будет прикрывать, то лицо станет совсем чёрным. А у отца волосы седые и лицо всегда загорелое, потому что он часто ездит в Сирию, а потом из Сирии с караванами. Там он выбирает лес и привозит сюда, чтобы строить дома. Поэтому у нас большой просторный дом с густым садом и много слуг и рабов. Глаза отца прячутся под густыми седыми бровями и сидят очень глубоко, и совсем нельзя рассмотреть, какого они цвета. А когда я спросила его, может ли так быть, что Иешуа отдали не тем родителям, он вздохнул и сказал, что да, наверняка не тем.

Детство — это когда ты можешь задавать любые вопросы без тени страха.

Здесь, в Еммаусе, у мамы родились Иосиф и Яаков. А ещё позже — мне исполнилось одиннадцать лет, и мы уже жили в Канне, — Шимон и Иегуда.

Последней родилась сестра Элишбет. Её тоже назвали по недавно умершей. Отец наконец-то смог баловать детей столько, сколько хотел, — и её, и внуков. Жаль, это счастье длилось не так долго. Страшная болезнь поразила его кости. Острые осколки, похожие на иглы рыб, выходили через множество язв.

Я сидела с ним рядом, держала за руку и меняла мокрые тряпки на ногах. День и ночь. И снова день, и снова ночь.

Он многое рассказал мне тогда. Многое, но не всё. Может быть, потому, что всего он и сам не знал.

Я уже не могу отделить в моей памяти воспоминания собственные и рассказы других людей; узнанное мною наверное — и то, о чём я догадалась из намёков и умолчаний. Я не была во многих городах, о которых буду рассказывать, и не видела тех знаменитых и славных, от которых нам нет покоя; да и саму возможность видеть я потеряла весьма рано. Какая разница? Всё это живёт во мне, и я просто не хочу, чтобы оно умерло вместе со мной. Оно слишком горячо. Оно до сих пор слишком горячо и слишком болит.

Глава 2

Отец мой, Иосиф, богатый лесоторговец, овдовел на пятом десятке лет. Моровое поветрие в одну зиму унесло его сына Иешуа, беременную сноху Эглу, дочь Алдаму и жену Рахель. Все они умерли у него на руках, хотя он молил Всевышнего забрать лучше его и оставить их жить на земле, но Всевышний либо не услышал — много таких молитв долетало до него той зимой, — либо считал, что Иосиф ещё будет нужен Ему здесь, внизу.

Говорили, что прежде Иосиф был суров и вспыльчив. Теперь это стал совсем другой человек: кроткий, добрый и богобоязненный. Он роздал многое из своего имущества и земель, купил мужей двум самым расторопным рабыням, обильно жертвовал Храму. Он говорил, что начинал жизнь простым бродячим плотником — и простым бродячим плотником он её закончит. Может быть, он действительно избавился бы от всего своего имущества, но вмешалась тётя Элишбет со своим мужем Зекхарьей, старшим священнослужителем Храма. Зекхарья, добродетельный саддукей, сумел убедить Иосифа, что праведно приобретённым богатством человек только славит Бога, а тётя Элишбет взяла в свои руки устройство его жизни.

У неё была племянница, дочь её двоюродной сестры, по имени Мирьям, в пять лет оставшаяся без матери и отданная отцом, Иоакимом, владельцем тучных стад из богатой деревни Кохба, на воспитание в Храм, на Женский двор. Иоаким был щедрый жертвователь, и род его принадлежал к знати колена Левитова, и что заставило его отказаться от взращения дочери дома, не знает никто. Впрочем, может быть, им двигала только забота о ней, потому что девушки, выросшие при Храме, всегда находили себе в женихи священников, или наследников царских родов, или других достойных.

Мама очень не любила вспоминать проведённые на Женском дворе годы, а когда я однажды по глупости попыталась настаивать, она побила меня по щекам. Я, вся в слезах и в страшной обиде, стояла и не знала, как мне теперь жить и видит ли эту несправедливость Предвечный; она обняла меня, заплакала вместе со мною и прошептала: «Вот я и рассказала тебе всё».

На пятый год её жизни при Храме пришло известие о смерти Иоакима. Тогда ей сказали, что он просто умер. Потом до неё дошли слухи, что отца убили разбойники. И только когда она уже была обручена с Иосифом, моим отцом, дядя Зекхарья под большим секретом рассказал, что Иоаким был замешан в заговоре против царя Ирода — и когда его и двух других заговорщиков попытались

схватить, они заперлись в доме и зарезали друг друга ножами, чтобы не попасть живыми в руки палачей.

Возможно, это был так называемый заговор Александра и Аристобула, сыновей Ирода от Мариамны, последних из рода Маккаби; заговор этот якобы длился несколько лет и провалился только из-за трусости царевичей, которые за неё и поплатились в конце концов сами. Но это мог быть и другой заговор, реальный, случившийся в близкое к тому время. Слишком много людей хотело убить царя-вероотступника, и уже слишком многих хотел убить он сам.

Потом мне с разных сторон рассказывали, что заговор мариамнитов с самого начала плёлся под постоянным контролем потаённых людей Ирода и потому был раскрыт удивительно вовремя. Вместе с сыновьями Ирода казнь или тайную смерть приняли больше ста мужей только в Иерушалайме; сколько же погибло всего людей, не знает никто. Для Ирода—так считали почти все—это был всего лишь повод расправиться с теми, кто его ненавидел, сломить сопротивление как саддукеев, так и фарисеев—и позволить язычникам вновь строить свои храмы и капища в стенах Иерушалайма. Ради этого-де он не пощадил и родных сыновей…

Я уверена: всё было иначе. Значительно проще—и, наверное, страшнее. Но об этом—в своё время.

Итак, когда смерть пришла за Иоакимом, пожертвования от него Храму прекратились, что неудивительно. Не без помощи Зекхарьи Мирьям оставили при Женском дворе, но теперь она должна была жить вне Храма, а лишь приходить днём и учиться—учиться послушанию и рукоделию, манерам и танцам, умению управляться на кухне и содержать дом в порядке и законе. Это было маленькое счастье, выросшее из большого несчастья: теперь маме не нужно было оставаться в постылых спальнях, а можно было выйти из ворот, пройти по мосту, потом два квартала налево—и вот уже дом Элишьи, троюродной её сестрицы, другой племянницы тёти Элишбет. Не имевшая своих детей Элишья, которой в ту пору минуло двадцать лет и муж которой, именем Йоэль, служил в войске царя и был мастером колесниц, а потому дома появлялся редко и ненадолго, только рада была этой нечаянной обузе. Они устраивали весёлые шумные игры, иной раз вовлекая в них служанок, и помногу разговаривали как равные сердечные подруги, перед тем как уснуть.

Тётя Элишбет всякий раз, как приезжала в Иерушалайм, навещала племянниц. Удивительно ли, что разговоры всегда так или иначе сводились к ничем не заслуженной бездетности и тёти, и племянницы; и обе они убеждали маму, что у той обязательно всё будет в порядке, потому что Господь милостив к невинным?

(Будто бы они сами были в чём-то виноваты!)

А потом шло обсуждение самых нечестивых и языческих способов зачать и отяжелеть…

Так прошло несколько лет. Маме исполнилось четырнадцать, и это был предпоследний год её обучения. Тогда-то и произошло несчастье с Иосифом, и тётя Элишбет взяла в свои руки устройство его новой жизни.

Даже Элишья пришла в ужас и содрогание от идеи тёти: всё-таки Иосиф был почти старик, а Мирьям только-только выходила из поры детства; она была ещё и миниатюрной, а потому выглядела младше своих лет. Но время показало, что тётя Элишбет была мудра и проницательна и лучше всех на свете разбиралась в людях: все составленные ею пары жили счастливо, а мои родители оказались самой верной, самой любящей и самой счастливой парой из всех тех. Не было на свете никого, кто мог бы сравниться с ними в гармонии, мудрой уступчивости и взаимной поддержке; и что было для одного, то же было и для другого. Двадцать два года они прожили вместе, и только малость этого срока омрачила их жизнь; только это.

Глава 3

Хотя Мирьям и была единственной наследницей своего когда-то богатого отца, оказалось, что приданое её не слишком велико. Как разузнали Зекхарья и нанятые им судейские служки, большую часть своего достояния Иоаким либо продал, либо заложил незадолго до смерти; куда делись вырученные деньги, можно было только догадываться. Один из его домов сгорел, а другой забрали как имущество преступника, и поделать с этим хоть что-то не было никакой возможности. Оставались не очень большие, но плодоносные виноградники в Галилее и старый дом при них; там жила семья арамеев-арендаторов, бежавшая от кого-то из самой Рас-Шамры на юг; Иоаким назначил им очень скромную плату в пятьсот динариев в год—меньше, чем оплата двух простых работников,—и они вносили её охотно и предупредительно; по оценке, дом и виноградники стоили четыре тысячи драхм, и арендаторы готовы были в любой час внести эту сумму. Помимо этого, людям Зекхарьи удалось выручить две тысячи динариев по старым долговым запискам Иоакима, а потом выяснить и доказать в суде, что нечестные пастухи присвоили себе его овец; это принесло ещё почти столько же. За вычетом доли, полученной наёмными служками, приданое Мирьям составило шесть с половиной тысяч драхм—то есть меньше двенадцатой части того, чем когда-то владел Иоаким[4].

Но вряд ли это хоть сколько-нибудь интересовало Иосифа. Он попал под очарование Мирьям,

4. Денежные и имущественные расчёты были в то время весьма сложны, поскольку на территории Иудеи существовало одновременно несколько денежных систем: римская (аурии, динарии, сестерции), старая хасмонейская, вплетённая в греческую (драхмы, оболы, халки), собственно иудейская (шекели, пруты, лепты, причём шекель был не монетой, а лишь мерой веса серебра); имели хождение также драхмы Тира и Сидона. В силу скорее традиции, нежели удобства, земля и недвижимость оценивались в драхмах, труд и товары—в динариях, храмовый налог—в шекелях. Шекель равнялся одной тетрадрахме или четырём динариям; стоимость же медных и латунных монет относительно серебряного номинала изменялась, и если при Ироде один шекель (тетрадрахма) стоил 384 пруты, то после низведения Архелая—256 прут. Легко понять, почему так распространено, доходно и востребовано было ремесло менялы.

и весь прочий мир утратил для него интерес, музыку и цвет.

Они обручились в двенадцатый день священного праздничного месяца Тишри, после Дня очищения и накануне весёлого шумного праздника Кущей; саму же свадьбу назначили на весну, на месяц Нисан, на один из благоприятных дней по завершении Пасхи и Праздника Опресноков. Вот уже Иосиф в радости начал приглашать гостей…

Увы: начались тайные, но грозные события, в которые по воле судьбы оказались ввергнуты и мои родители.

Что бы ни говорили люди и что бы в сердцах ни сказала и я, а Ирод был поистине великим царём — пока не пришло к нему старческое безумие. Да и то сказать: а действительно ли старческое безумие это было? Немного позже я поделюсь своими сомнениями…

Царство его простиралось шире царства Соломонова, и Храм, воздвигнутый им, затмевал Храм Соломона — тот, что был чудом света, описанным в книгах. Доблестью своей Ирод сыскал расположение римских военачальников, и сам Гай Юлий Кесарь называл его своим другом. Благодаря этому народ наш почти миновали разрушительные войны, ведомые римлянами на границах Империи; а плата за мир и покой составляла мизерный динарий в год — ровно столько, сколько положено было платить за день работы наёмному жнецу или сборщику винограда. При жизни Ирода его не раз попрекали этим динарием — а когда он умер, знатные фарисеи, шесть тысяч человек, на священном собрании постановили считать время его правления золотым. Задним умом оказались крепки фарисеи…

Нет, я несправедлива к ним. Они просто имели смелость высказать то, что думали многие другие. Думали — однако кротко молчали.

Чем же отвратил от себя Ирод евреев? Да только тем, что не гнал язычников, посещал их храмы и капища и даже восседал на почётных местах на чудовищных и бесстыдных многодневных игрищах, устраиваемых греками в честь их ложных олимпийских божков. Этого ему не простили, припомнив, а то и придумав и арабское происхождение, и подлый — едва ли не рабский — род, и содомские похоти в молодости: из-за них он якобы и отлучил от себя первую жену, Дору, мать Антипатра, и благодаря им же получил из рук своего любовника, римского полководца Антония, трон Иудеи, ещё тёплый от крови царя Антигона Маккаби. И много другого говорили про него и при жизни его, и после смерти. Злость людская всегда проточит себе путь, как вода, без дела стоящая за дамбой…

Есть ли правда в сказанном? Я не знаю. И никто не знает. Ложь и правда неразличимы ни на взгляд, ни на ощупь, и только долго прислушиваясь в темноте, можно понять, что звучат они чуть-чуть по-разному. И я думаю, что если бы можно было легко отличать правду от лжи, род людской иссяк бы задолго до потопа. Ложь подобна той тине и грязи, в которой ленивые рыбы, обитающие в прудах, переживают засуху страшной опаляющей истины.

Мирьям после обручения с Иосифом и ухода из Женского двора несколько месяцев жила в просторном поместье Зекхарьи под Ем-Риммоном, совсем маленьким городком между Хевроном и Бершебой, в двух днях пути от Иерушалайма. Согласно закону, она уже находилась на попечении будущего мужа и даже могла жить под его кровом, но тётя Элишбет не торопилась отпускать её от себя, обучая мудрости и терпению.

Однажды всё кончилось. Это было так: поздним вечером, слушая шум ветра и дождя в ветвях сикомор — с трёх сторон могучие деревья окружали дом, закрывая его в знойные месяцы от палящих лучей, — тётя Элишбет и Мирьям при трёх светильниках, разложив Книгу, беседовали о старине.

Надо сказать, что тётя Элишбет была учёная женщина, умевшая читать и на арамейском, и на языке священных книг, и на греческом, и на арабском, и на египетском, и на латинском; Мирьям, постигшая грамоту только арамейского и греческого, восхищалась ею.

— Тётя, — спросила она, задумавшись, — мне странно: почему даже нас, посвящённых Всевышнему девственниц, не учили читать по написанному в книгах, а только велели запоминать слова, сути которых мы не знали? Они были так похожи на обычные, но если их услышать один раз, то невозможно понять. Мы повторяли и повторяли их, пока голова не начинала кружиться, а в сердце проникал страх, и чудился страшный смысл, который вот-вот и будет постигнут, вот порвётся завеса, и я всё увижу и всё-всё узнаю, но обязательно что-то случалось, что-то плохое, как будто я уставала и разжимала руки — и падала куда-то, и поэтому не понимала ничего. Разве нельзя учить священному языку так, как учат римской речи? Ведь было же иначе в старину: когда в царствование Иосии, сына Хаммона из рода Давидова, первосвященник Халкья нашёл в Божием доме старинную книгу, слова из которой вызывали ужас и у него, и у писца Шафана, и у самого царя Иосии, который услышал их и разорвал на себе одежды, — так вот, чтобы понять написанное, они отдали книгу женщине, пророчице Хулде, и только она смогла прочесть её, и перетолковать, и предсказать гибель Иерушалайму за то, что жители его отвергли Бога единого и кадят другим богам. То есть женщина знала тайные священные языки, которые были запретны для мужчин, — почему же иначе сейчас?

Тётя Элишбет посмотрела задумчиво.

— Тебе приходят в голову опасные мысли, девочка моя, — сказала она. — Не стоит делиться ими ни с кем больше. Хулда — знаешь, кто была эта пророчица? Бывшая жрица храма Аштарет, что во времена Хаммона стоял у подножия Масличной горы. Иосия разрушил этот храм, чем заслужил любовь почитавших Яхве. Жриц же — кого прогнали, кого продали замуж. Хулде повезло, муж её, Шломо, хоть был хром и изъеден оспой, оказался человеком добрым и незлобивым, а заодно и в меру способностей учёным; дед его был хранителем

одежд великого царя Давида; муж этот позволял Хулде читать и египетские, и ассирийские, и персидские книги, а также книги народов, о которых иссякла память… И ещё, девочка моя: никто ведь не знает на самом деле, что было написано в той книге, которую не мог понять ни один мудрец, и все лишь впадали в ужас при чтении её. Хулда сказала лишь то, что от неё хотели услышать: Иерушалайм-де падёт в прах из-за воскурений ложным богам… А что там было написано, я не знаю, и не знает никто.

— Ты думаешь, именно поэтому женщинам так неохотно позволяют учиться ремеслу чтения? Что многие из тех, древних, знали недоступное мужчинам?

— Старая память — самая страшная память, девочка. Никто уже не вспомнит, из чего взялся запрет, но сам запрет от этого становится только крепче. Мощь и беспрекословность заслоняют собой бессмысленность. Страшно лишь то, чего ты не видишь и не можешь понять.

Дождь и ветер в ответ на эти слова усилились, и вдруг словно ветка часто-часто заколотила в ставни из сосновых досок. На ставнях вырезаны были знаки, запрещающие злобному ангелу Паху, князю собак, и ночным демонам окрестных холмов заглядывать в окна и тревожить людей, — но женщины вздрогнули и разом посмотрели в ту сторону. И тут же погасли два светильника из трёх.

Тётя Элишбет тронула колоколец, и появился хромой сторож Мафнай с копьём в руке.

— Сходи посмотри, кто там под окном, — сказала тётя.

Мафнай молча кивнул, исчез и через несколько долей вернулся.

— Госпожа. Там чужестранец, но он назвал твоё имя.

— А своё?

— Его зовут Оронт.

— Оронт? — воскликнула тётя Элишбет. — Оронт? Зови же его и дай ему тёплое платье переодеться!

Вскоре вошёл, кутаясь в пушистый синий шерстяной плащ, мужчина, невысокий, но статный, с блестящими глазами цвета старого янтаря. Гладкие щёки и подбородок выдавали в нём перса.

— Госпожа! — он поклонился. — Госпожа! — повернулся к Мирьям и поклонился ещё ниже.

— Что-то стряслось, Оронт? — спросила тётя Элишбет. — Мой муж знает, что ты здесь?

— Он позволил и приказал мне приехать, госпожа. И да — стряслось.

— Я пойду в свои комнаты, — сказала Мирьям.

— Хорошо, — сказала тётя. — Я тебя позову, если будет нужно.

— Не уходи, госпожа Мирьям, — сказал ночной гость. — Тебе тоже доверена эта тайна.

— Какая? — спросила мама. — И кем?

— Мной, — сказал Оронт.

Придётся специально рассказать об Оронте, иначе будет непонятно.

Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал задушить его в тюрьме почти в те же дни, когда по приказу Ирода Антипы был убит Иоханан Очищающий; а появился Оронт при дворе Ирода Великого за два года до того, как царь взял в жёны мать Антипы, Мальфису. Молодой перс пришёл наниматься помощником дворцового садовника, но очень скоро стал главным садовником царя и его любимцем. Всё росло и цвело в его руках, подчинялось воле и желаниям, по слову Оронта распускались цветы и начинали петь птицы, и даже бесплодные деревья начинали плодоносить. Но не только эти умения увлекли Ирода, а ещё и запретные искусства волшебства и предсказания будущего, которыми новый садовник владел в совершенстве; великий же царь пока ещё тайно, но благоволил гадальщикам и астрологам и часто поступал согласно их советам.

Но в конце жизни Ирод, на своё несчастье, отвернулся от Оронта…

Я помню его. Мне было три года, но я его очень хорошо запомнила. Я сидела у отца на коленях и смотрела на незнакомца с тёмным узким лицом и странными глазами, таких я не видела больше ни у кого, а потом я сползла под стол и споткнулась о тяжёлый кожаный мешок. Я споткнулась, мешок упал набок и раскрылся, и из него покатились серебряные и латунные монеты. Их было много.

Оронт приезжал едва ли не каждый год, и каждый раз после его приезда мы собирали свой лёгкий скарб и перебирались в другой город, и наконец — мне исполнилось восемь лет — оказались в Александрии, шумной, прекрасной и величественной, а оттуда по морю отправились в Иоппию, а из Иоппии — в Еммаус. Это было возвращение домой.

Жестокий правитель Архелай накануне истощил терпение императора Августа и лишился почестей и государства. Нам ничто не угрожало…

Так казалось не только родителям, но и Оронту. Даже прорицатели ошибаются, когда речь идёт о властителях.

Через несколько лет по совету Оронта мы уже большой семьёй — на свет появились Иосиф и Яаков — переехали в Галилею и записались галилеянами. Там, в нашем доме в Кпар-Нахуме, я и видела Оронта последний раз. Иешуа ушёл тогда с ним — чтобы вернуться только через семь лет…

Оронта казнили как парфянского шпиона. Судьи придумали это, чтобы извратить его роль в событиях, раскручивающихся вокруг Иоханана и Иешуа, и тем самым извратить сами события. Но я уверена, что камень, брошенный в темноте через плечо наугад, таки да, разбил драгоценный светильник.

Как ни крути, а Оронт действительно был парфянским шпионом. Но не тем шпионом, который разузнаёт о числе колесниц и лошадей в войске и пересылает тайные записки своим командирам, а тем, который медленно и постепенно меняет склонности и предпочтения царей и первосвященников, рассыпает и собирает царства, начинает и заканчивает войны…

Я почти знаю это. Отец говорил голосом, пустым от боли, а я вытирала пот с его лба, щёк и шеи и думала: как же так, ведь ты такой умный и такой хороший, а он даже ничего не скрывал и не прятал, и вы столько раз встречались и беседовали

обо всём на свете, и ты так ничего и не заподозрил? Отец верил, что Оронт — тайный и доверенный слуга великого царя, и всё. А я уже тогда знала, видела ясно, что — нет, не только.

Потом были тому и другие подтверждения.

…Вот этот человек и постучался холодным дождливым зимним вечером в ставень окна.

Глава 4

— А теперь, — сказал Оронт, — позволь мне, госпожа, привести сюда ту, ради которой я и позволил себе разрушить твой мир и покой.

Тётя Элишбет молча кивнула. Оронт вышел и тут же вернулся.

— Отошли слуг, госпожа, — сказал Оронт.

— Конечно, — сказала тётя. Она потянулась к колокольцу: — Мафнай! Позови служанок, сядьте в задней комнате и пойте песни. Пойте громко. Ты понял меня, Мафнай?

Сторож поклонился и исчез.

Мама ещё не понимала ничего.

— Кто этот человек? — спросила мама. — Мне страшно.

— Мне тоже, — сказала тётя Элишбет.

Они обнялись, и мама вдруг заплакала.

— Желания могут сбываться совсем не так, как мы думаем, — сказала тётя. — Никогда ничего не проси у незнакомых богов.

— Тётя! — в ужасе воскликнула Мирьям, отстраняясь.

— Я шучу, — сказала тётя. — Мне страшно сейчас, поэтому я шучу. Я и не так буду шутить… когда будет ещё страшнее. К этому человеку, Оронту, я ходила узнать, будет ли у нас с Зекхарьей дитя. И Оронт, глядя в чёрную воду, сказал, что я рожу, когда уста моего мужа запечатает страх и он не сможет вознести молитву. Кажется, настаёт этот день…

— Но, тётя! Ведь чрево твоё порожнее!

— Бывает всякое, — сказала мудрая тётя Элишбет.

Вскоре вернулся Оронт, почти неся кого-то, с головы до ног закутанного в синий сирийский плащ без кистей. Вода стекала с плаща…

Когда сняли плащ, под ним обнаружилась крошечная, серая от холода женщина с огромными испуганными зелёными глазами. Она из последних сил держалась на ногах, придерживая руками торчащий вперёд живот; мокрый виссон облегал его, и выступал пупок, похожий на инжирную ягоду.

— Пусть имя ей будет Дебора, — сказал Оронт. — И пусть никто не видит её в вашем доме. А со служанками я поговорю сейчас.

Он поговорил со служанками, и ни одна не проболталась. А я, ещё не родившаяся и даже не зачатая, получила своё имя.

И знаете что? Оно мне нравится.

Теперь нужно немного рассказать о царской семье. Ирод, сын Антипатра, арабского царя без царства (что давало повод злым языкам называть его чуть ли не беглым рабом; что делать, у евреев потому так много демонов зависти и злословия, что существует очень много разных слов для обозначения оттенков этих чувств), и Кипры, жены из знатного арабского рода, стал царём иудейским во многом благодаря случаю. Антипатр оказал настолько значимую помощь первосвященнику и царю Иудеи Гиркану Второму в борьбе с его братом, узурпатором Аристобулом (который вообще-то просто-напросто избрал себе не тех покровителей — Парфию, а не Рим), что вскоре стал умным и сильным фактическим правителем при слабом, мягкосердечном государе. Антипатр назначил своих сыновей, Фасаэля и Ирода, начальниками провинций: Иудеи и Галилеи. Ироду было тогда пятнадцать лет от роду; он был необыкновенно красив, статен, с лицом выразительным и умным, с глазами редкого зелёного цвета и пшеничными вьющимися кудрями, как у Самсона; в шестнадцать он женился на Доре, или, как её звали на греческий манер, Дорис, и спустя положенный срок на свет появился первенец Ирода, названный в честь деда Антипатром. Дора была из бедного, но знатного рода, берущего своё начало от Халева, одного из военачальников Иехошуа бен-Нуна, или по-гречески Иисуса Навина; прапрадед её бежал от Маккаби из Вифлеема в Хеврон, который в те времена был главным городом арабского Эдома; еврейская община в Эдоме была велика, но не все на чужбине сумели соблюсти истинную веру, а многие даже ели свинину — поэтому легко понять, что в семье Гиркана к Доре относились почти презрительно, называя в глаза простолюдинкой и вероотступницей, хотя и то, и другое было ложью, продиктованной тайной завистью: ведь царский род Маккаби ни древностью, ни знатностью не отличался; они-то как раз и были самыми что ни на есть простолюдинами на царстве.

Как это нередко случается, после родов Дору отвратило от мужчин; долгое время она просто не допускала Ирода на своё ложе, а потом нашла утешение с рабыней Авихаиль. Может быть, это и подвигло самого Ирода к содомским утехам? Не знаю. Но то, что это ожесточило его сердце и заставило искать смерти, — наверняка.

Галилея в те времена была поистине разбойничьим краем, и Ироду понадобилось потратить семь лет времени и пролить семь рек крови, прежде чем и последняя вдовица из Гишалы заимела возможность беспечно пройти весь путь до Иерушалайма, чтобы принести свою лепту в Храм и, как заповедано, съесть пасху в стенах великого города. Тысячу раз молодого правителя могли поразить в схватках, и сотни раз к нему подсылали убийц с кинжалами или ядом, но он был словно заговорён; и об этом роптали. Наконец, враги его попытались расправиться с ним на высшем совете, санхедрине, который на греческий манер произносится «синедрион». Дело в том, что разбойники те были не просто разбойники, а шахиты, воины за веру, то есть как бы продолжатели дела всех Маккаби и духовные наследники Александра Янная, огнём и мечом расширившего иудейские земли и опустошившего языческие города; эти люди — может, на словах, а может, и на деле, — стремились к независимости и к свободе от Рима, а также к дальнейшим завоеваниям окрестных земель;

и многие богатые и знатные галилеяне (живущие в основном в Иерушалайме) сочувствовали им и поддерживали их оружием, деньгами и влиянием. Особенно лютовал некий Хизкийяху, якобы внучатый племянник Янная. Однажды, после особо жестокого набега разбойников Хизкийяху на приграничные сирийские земли, Ирод разорил разбойничьи деревни, а самого Хизкийяху и ещё сто сорок человек из его шайки захватил, отвёз в Сирию и там казнил на свежих пепелищах при огромном стечении народа, восхищённого такой простой и даже примитивной, животной справедливостью,—так что стоит ли удивляться, что по возвращении домой Ирода ждало приглашение на суд?—родственники казнённых обвинили его в нарушении множества законов; правду сказать, так оно и было: Ирод искренне не понимал, как писаный закон может быть выше природной справедливости.

Об этом суде было много толков, но что интересно: никто не знает точно, чем он закончился и был ли даже произнесён приговор. Одни говорят одно, другие другое. Известно только, что Ирод передал Галилею своему старшему брату Фасаэлю, правившему до этого Иерушалаймом и его ближайшими окрестностями, а сам отправился дальше, в Дамаск.

Я думаю, в этой истории проявилось всё слабодушие Гиркана: он не осмелился ни осудить преступившего закон Ирода, вызвав тем самым возмущение галилеян, ни возвеличить героя—да, возмутив бы при этом ту часть знати, что покровительствовала разбойникам; нет, Гиркан пошёл трусливым путём, и этот путь в конце концов привёл его самого к такому позорному концу, что и рассказывать об этом не хочется…

Ирод со всем семейством и многими приближёнными прибыл в Дамаск[5], где в то время находилась военная ставка Секста Юлия Кесаря, наместника Сирии и дяди самого Гая Юлия, и предстал перед ним. Секст осыпал Ирода милостями и, в знак признания заслуг его перед Империей, поручил ему в управление маленькую, но чрезвычайно важную в военном смысле Гауланиту—и богатую, полную неги Самарию; область, разумеется, а не город; город так и лежал в полуразвалинах, и если там жила тысяча человек, то это много. Самария, как известно, хоть формально и вошла в состав Иудейского царства, созданного Александром Яннаем, но по сути своей оставалась греческой страной, управлявшейся выборными людьми; и все жители Самарии поклонялись греческим богам. После, когда пришли римляне, Самария, клином входящая между Иудеей и Галилеей, стала считаться частью римской провинции Сирия. О нравах и обычаях самаритян[6] волнами расходились жуткие слухи.

Итак, Дора поселилась в вечно праздничной и праздной Самарии, в купеческом городе Нарбате; Ирод жил в маленькой приозёрной Бет-Шеде, которая была если уж не рыбацкой деревушкой, то никак не городом. Впрочем, во дворце своём он проводил куда меньше времени, чем в полевых шатрах…

(Злые языки говорили, что в шатрах ему проще устраивать оргии с мальчиками и рабами—и с верблюдами, добавляли самые злые. Возможно, так оно и было. С другой стороны, почему бы тогда ему самому не осесть в совершенно огреченной Самарии, где на подобные утехи испокон веков смотрели как на данность?..)

По Иерушалайму долгое время ходили слухи, что Ирод вот-вот придёт с несметным войском и отомстит за обиду и что-де только мольбы отца и брата останавливают его; но этого не происходило и не происходило, год шёл за годом, и наконец все успокоились. Но напрасно.

В Риме убили Гая Юлия Кесаря. И тотчас полыхнуло в провинциях, как в молодом сосновом лесу на исходе засушливого лета при ударе сухой молнии. Нормальный человек не в состоянии ни запомнить, ни постичь, кто кого поддерживал в этих молниеносных войнах, кто с кем заключал союз и кто и в каком порядке предавал и убивал вчерашних союзников. Это была война каждого против всех. Побеждал не самый сильный, а самый умный, самый прозорливый и самый беспринципный.

В числе первых погиб Секст Кесарь; соратник Помпея (того, который покорил Иудейское царство и разрушил стены Иерушалайма) Квинт Кекилий Басс арестовал и тут же убил его, сам встав во главе войска. Немедленно против него двинулись друзья убитого Гая Юлия, прежде всего Гай Антистий Вет; они заперли изменника в крепости Апомее, но взять крепость не смогли. В числе осаждавших Апомею был и Ирод с той частью войск, которой мог доверять безусловно. Месяц спустя из Рима прибыл назначенный Сенатом новый прокуратор Сирии Стаций Мурк с тремя легионами. Мурк должен был сменить Секста, который доверия у новых властителей не вызывал, но Секст уже был убит, на его место претендовали другие, всё смешалось, и могло бы произойти большое кровопролитие—однако в последний час подоспел Кассий, один из главных убийц Гая Юлия. Кассий выступил миротворцем—и перед лицом парфянской угрозы сумел помирить и Вета с Бассом и Мурком, и враждующие легионы. Парфяне тем временем, пользуясь смутой, уже заняли значительную часть Сирии, и вблизи Дамаска скопилось немало отступивших войск, римских и сирийских, которые отчаянно нуждались в оружии, отдыхе, деньгах и продовольствии.

---

5. Дамаск в то время не принадлежал Сирии, а был главным городом Декаполиса, объединения автономных эллинистических городов-государств. Хотя Декаполис переводится как Десятиградие, в разное время в него входило от семи до тридцати шести городов. Административно Декаполис был одной из провинций Рима.

6. Самаритянами (шомроним) в рукописи называются как все жители Самарии, так и иудеи весьма специфического толка, полагающие себя более правоверными, чем все остальные иудеи, а свой храм на горе Геризим—единственно истинным Храмом (в отличие от иерусалимского). На этой почве возникало множество конфликтов, в том числе и вооружённых. В описываемое время в Самарии численность этих шомроним составляла от четверти до трети всего населения страны.

Разумеется, и Антипатр, и Ирод с Фасаэлем изо всех сил поддержали Кассия. То, с какой немыслимой лёгкостью и скоростью Антипатр и его сыновья, главным образом Ирод, обеспечили армию всем необходимым, произвело и на Кассия, и на Мурка очень сильное впечатление.

А рвение происходило оттого, что к парфянам склонялся Антигон Маккаби, из рода Иоханана Маккаби, старшего сына Маттафии, что был возведён в цари самим народом; да и то сказать — у Антигона были все права на царство, ведь Гиркан (из рода Симона Маккаби, третьего сына) в своё время отрёкся от престола; и что с того, что много после этого благодаря мужеству и хитрости Антипатра и по прихоти Помпея Великого он вновь стал первосвященником и этнархом, а значит, почти царём: мало кто забыл, как воины Гиркана вместе с римлянами Помпея ворвались в Храм и затушили светильники кровью молящихся…

Если бы Антигон занял престол Иудеи, Антипатру и его детям была бы уготована скорая и мучительная смерть. И это была бы лишь самая малая неприятность, самая малая толика куда более страшных поражений и потерь.

В скором времени Кассий, готовившийся к схватке с Гаем Октавианом и Марком Антонием на одном фронте и с парфянами на другом, а потому страшно заинтересованный в прочном тыле, назначил Ирода наместником всей Сирии, Келесарии и Финикии, а также посулил в случае своей победы ни много ни мало, а престол Иудейского царства.

Примерно через полгода произошла странная история. У Антипатра был дальний родственник, Малх, человек в общем неплохой, но бесцельный. Араб, когда-то он бежал из Эдома и прижился под рукой могущественного правителя, время от времени исполняя незначительные дела. Когда потребовалось собрать деньги для Кассия, Антипатр поручил ему сделать это в нескольких городах близ Иерушалайма — в том числе и в Еммаусе. Как и следовало ожидать, ничего собрать Малх не сумел. Более того — несколько раз его изгоняли из городов и даже отрезали ухо. Узнав об этом, Кассий приказал казнить бездельника, а горожан, допустивших насилие над римским чиновником, продать в рабство, но Антипатр этому воспротивился, сам собрал недоимку, однако родственника в расправу не отдал. После этого Малх всей душой возненавидел римлян, о чём и кричал на каждом углу.

И вот, после того как Антипатра на пиру у Гиркана хватил удар и он умер несколько дней спустя, — представьте себе, именно этого ничтожного человека молва обвинила в отравлении правителя! А может быть, это слуги самого Ирода распустили слухи? Так или иначе, Ирод во главе большого отряда прибыл в Иерушалайм — вопреки прямому запрету Гиркана вводить чужеземцев в город — и призвал Малха к ответу. Тот, разумеется, всё отрицал и оплакивал своего благодетеля. Однако, похоронив отца, Ирод тут же отправил письмо Кассию с просьбой разрешить ему казнить отравителя — и Кассий не без удовольствия разрешил.

Поняв, что происходит что-то неладное, Малх как-то очень нерешительно, бочком, бежал из Иерушалайма. Ирод, разумеется, позволил ему скрыться в Тире, потом нашёл его там, свирепо, с посвистом, с криками «куда делся этот негодяй?!!» гнал обратно до Иерушалайма и наконец настиг в своём собственном дворце, где, по его словам, намерен был разобраться во всём в присутствии первосвященника-этнарха Гиркана и римских трибунов. Что интересно: за время путешествия в Тир и обратно у Малха появилась целая армия сторонников; я удивляюсь нашему народу: всегда найдётся множество людей, готовых поддержать любое ничтожество, — главное, чтобы у ничтожества был бойкий язык и проблемы с властями. Боюсь, что этого обстоятельства хитроумный Ирод не учёл.

Или наоборот — именно к этому он и стремился?

Не знаю. И никто не знает.

Словом, на начавшихся переговорах Малх якобы хотел убить Гиркана, а римские трибуны не позволили ему этого сделать и в последний миг убили его самого. Не сомневаясь во второй части этой фразы, я крайне сомневаюсь в первой; сторонники же Малха, наоборот, не только подтверждают первую, но и развивают её: хотел убить, чтобы самому сесть на престол! Вот так, ни больше ни меньше. Это говорит прежде всего о том, что к власти Гиркана уже никто всерьёз не относился. Он был хворостяным идольцем на троне — таких делают некоторые язычники, чтобы сжечь перед приходом весны.

Сам же Малх будто бы избежал смерти, скрылся — и готовится поднять людей против римского засилья…

Эта история, как бы нелепа она ни была, имеет второй смысл, а именно: Ирод уже поставил себя фактически выше Гиркана.

Меж тем сторонники Малха не складывали оружия. Среди них выделился человек, называвший себя братом Малха, но бывший при этом римлянином, беглым гладиатором по имени Юл Феликс, сражавшимся в своё время в Италии против Марка Красса — того самого, что сгинул вместе со всей своей армией за Евфратом после того, как окончательно разграбил Храм, забрав даже то немногое, что оставил нетронутым Помпей. На что рассчитывал Красс, совершив такое святотатство, не знает никто.

Феликс несколько месяцев готовил восстание в Иерушалайме, полагаясь в основном на рабов, подёнщиков, бедных ремесленников, недовольных воинов, безработную молодёжь, мечтающую только о наживе и не думающую о том, под чьими знамёнами и против кого воевать, — сугубо подобно тому, как прежний его вождь, Спартак, произвёл удачное восстание в Капуе и неудачное — в самом Риме. И, подобно тому как в Риме невозможно было сохранить тайну среди болтливых домашних слуг, так же — и многократно хуже — в Иерушалайме, где настоящих тайн не бывает вообще и где тайна сохраняется некоторое время лишь потому, что трудно отделить истину от мириад ложных смыслов. Мятеж провалился, даже по-настоящему не начавшись; многих, поднявших

копьё, стражники Фасаэля истребили; впрочем, уцелевшие мятежники довольно быстро собрались уже за стенами, в месте слияния Кедрона и Хинномa, где их ждал основной отряд, в порядке отступили на юг и заняли две полуразрушенные придорожные крепости (одну из них Ирод десять лет спустя восстановил и назвал в свою честь Иродионом), откуда тут же начали набеги на окрестные поселения. Фасаэль подступил к крепостям, но вынужден был остановиться: силы осаждённых едва ли не превосходили силы осаждающих. Он смог лишь перекрыть дороги на Иерушалайм и Бет-Лехем. Меж тем к мятежникам ручейками стекалось подкрепление со всей округи, и неизвестно, чем всё кончилось бы, но подоспел Ирод со своим отрядом. После расправы с Малхом он заболел; говорили о порче, насланной египетскими колдунами, и об отравлении; это, однако, была всего лишь болотная лихорадка.

Произошло несколько незначительных схваток. Тем не менее, Феликс сразу понял, что новый противник ему не по зубам, и дал команду отступать в Масаду, большую крепость, выстроенную в своё время Маккаби против эдомитян. Стены этой крепости были целы, склоны горы, на которой она стояла, неприступны, и в ней можно было держать настоящую осаду. Тем более, как стало потом известно, его сторонники создали там к тому времени немалый запас зерна.

Отпустив Фасаэля и усилив своё войско войском брата, Ирод подступил к Масаде. Терять людей ему не хотелось, и он вызвал Феликса на переговоры. Тот не сразу, но согласился. Неизвестно, о чём они разговаривали целых одиннадцать дней, зато известно, что Феликс увёл своих людей из крепости вооружёнными, а Ирод не преследовал их. Говорили также, что в том же году Юл Феликс примкнул в Сицилии к Сексту Помпею, сыну Помпея, а его армия рабов и подёнщиков стала едва ли не костяком армии Секста; воевал Секст Помпей на стороне республиканца и кесареубийцы Кассия, которому Ирод обязан был своим возвышением, против Марка Антония и Гая Октавиана; переправилась через море армия Феликса на кораблях Стация Мурка, который намерен был отсидеться в тихой Сицилии, выждать, когда триумвиры перебьют друг друга, и стремительно войти в Рим, чтобы возродить там истинную Республику. Узнав, что Секст Помпей к тому времени уже провозгласил себя императором, Мурк возроптал и был немедленно заколот…

В Иерушалайме тем временем продолжалось неспокойствие и нестроение. Гиркана чуть ли не в глаза обвиняли в том, что он содействовал мятежу Феликса, а тот факт, что он отдал под суд воинского начальника за трусость и нерешительность, молва истолковала превратно: что-де и воинский начальник поддержал мятежников, а теперь Гиркан пытается всё свалить на него одного. И всё громче звучали голоса: а не позвать ли нам Ирода на царство?

Гиркану не оставалось ничего другого, как заручиться поддержкой столь популярного римского наместника, и он придумал самый простой и безотказный ход: породниться с ним.

Младшая дочь Гиркана, Мариамна, была красавица — из тех редких красавиц, которые красотой своей не торгуют и не воюют. В тот год ей исполнилось шестнадцать лет.

О, Мариамна знала и про Дору, и про страсть Ирода к мальчикам, но сказала, усмехнувшись, что после того, как этот неразумный насладится ею, он больше и думать не будет о ком-то ещё. Что ж, почти так всё и произошло. Почти так.

Между обручением и свадьбой Ироду пришлось провести ещё одну маленькую молниеносную войну: Марион, тиран Тира, вторгся в Галилею и захватил несколько пустующих крепостей — под тем предлогом, что власть римлян пошатнулась, а парфяне подступают вплотную. Резон в этом был, но порядок следовало блюсти; Ирод отнял крепости, взял в плен почти всё войско Мариона, после чего отпустил их всех домой, многих ублажив подарками; с одной стороны, ему не хотелось омрачать близкую свадьбу кровопролитием, а с другой — нет лучшего способа расположить к себе простых людей, а их правителю отравить жизнь.

Правитель отомстил ему примерно тем же: щедро снабдил деньгами Антигона, претендента на иудейский престол, и позволил ему нанять две тысячи тирианских солдат для своего войска. Две здесь, пять там — с этими силами Антигон в первый раз вторгся в Иудею со стороны Скифополя и Енона — городов, так и стоящих безлюдными со времён войн Александра Янная, — и, пройдя вдоль Иордана сквозь Самарию, остановился лагерем в дне пути от Иерихона. Ирод появился там на исходе того же дня во главе пятисот всадников; пехота отстала. Сделав передышку лишь для того, чтобы пересесть на подменных лошадей, воины Ирода понеслись в атаку, и вся армия Антигона тут же побежала, не сделав ни малейшей попытки к сопротивлению; сам Антигон с двумя десятками приспешников пытался какое-то время собирать по частям забывшие честь войска, но понял тщетность затеи и, переправившись через Иордан, исчез в зарослях.

Какое-то время о нём можно было не думать.

Итак, в Иерушалайме заканчивалась подготовка к свадьбе, когда случилось страшное: Кассий был убит в битве с Гаем Октавианом и Марком Антонием, и теперь этот самый Антоний, друг покойного Кесаря, будет полновластным владыкой Асии, Ликии, Сирии, Келесарии, Финикии, Иудеи, Египта — и прочего, прочего, прочего; в общем, полумира. Антоний прославлен своей жестокостью, жадностью и прямотой, и к нему уже направляется депутация богатых евреев, чтобы склонить его к устранению проклятых эдомитян — Ирода и Фасаэля. Которые, ко всем прочим своим грехам, всячески поддерживали кесареубийцу Кассия, поддерживали, деньги ему давали и воевали за него!

В общем, депутацию следовало опередить.

Ирод и Фасаэль сделали это. На трёх лёгких биремах они вышли из Япы[7] в неспокойное море

7. Вероятнее всего, это Яффа, Иоппия.

и, плывя день и ночь, сумели обогнать несущийся по Великой Азиатской дороге караван. В Эфесе братья организовали грандиозную встречу новому правителю и вручили ему двести талантов золота и пятьсот серебра—всё, что было заготовлено для свадьбы.

Я думаю, Антоний был не только жаден и жесток, но ещё и опытен и мудр. Он лучше, чем кто-либо, понимал, какова судьба клиентеллы, вынужденной примыкать то к одному, то к другому патрону. Поэтому невольное изменничество сыновей Антипатра (которого он, кстати, хорошо знал ещё со времён войны Кесаря и Помпея; в той войне Антипатр твёрдо стоял на стороне Кесаря) Антоний великодушно забыл. Надо сказать, действительно забыл—и никогда не вспоминал.

Во время этой встречи Ирод и Антоний понравились друг другу и не стали этого скрывать. Другое дело, что времени для утех в тот раз у них было не так много.

Тем временем прибыли жалобщики. Антоний арестовал их и собрался предать казни, но Ирод стал горячо отговаривать его от свершения этого неправедного дела. Антоний скорее удивился, чем прислушался к доводам, но отказать не смог.

Из Эфеса Антоний отправился в Антиохию, а затем на Кипр, а братья вернулись в Иерушалайм—по суше, поскольку и корабли с гребцами и лучниками они преподнесли в дар великому владыке.

Итак, свадьбу пришлось отложить, но Гиркан был доволен хотя бы тем, что Антоний подтвердил его титул этнарха, а также назначил тетрархами Иудеи и Галилеи Фасаэля и Ирода соответственно. Теперь у них были свои родовые земли. Ирод также сохранил наместничество над всей Келесарией и теми остатками Сирии, которые ещё не отпали к парфянам…

В это же самое время Дора с сыном переехала в Тир. Причина этого неизвестна; во всяком случае, шпионы Ирода не смогли сообщить ему ничего существенного. Возможно, Дора была озабочена прежде всего образованием и воспитанием сына. Антипатру пошёл четырнадцатый год; Тир же славился своими школами и академиями. А может быть, ей просто прискучила небольшая Самария. Тир был куда больше, шумнее и ярче.

Вернувшись, Ирод застал Гиркана за сбором внеочередной дани с подданных—дабы возместить подарок Антонию и сыграть наконец злосчастную свадьбу—и своей волей отменил этот сбор и даже раздал обратно уже собранное. Гиркан пытался протестовать, но полномочия Ирода как римского наместника оказались куда весомее, чем самовластье этнарха Гиркана. Что сказать, Ирод лучше кого-либо понимал: в смутные времена поддержка народа значит больше, чем всё серебро мира, и почему бы, отказавшись от малого, не получить большое?

Что странно, Фасаэль в споре стал на сторону Гиркана, и это была, наверное, первая и последняя крупная размолвка братьев.

Тем временем мирные дни стремительно истекали. До большой и долгой войны оставалось совсем немного.

Познал ли Ирод свою невесту Мариамну? Она утверждала, что да, но так ли это, сказать невозможно, потому что далеко не всем словам этой женщины можно было верить. Не потому, что она была лживой, нет; просто она—возможно, от скуки, возможно, из-за необузданности воображения,—измышляла для себя жизнь, полную интриг и опасных тайн, жизнь, в которой никому, и в первую очередь ей самой, не отличить было правды от вымысла, так плотно они переплелись, так проросли друг в друга; в конечном счёте, именно за это она и поплатилась.

Вести о том, что парфяне вышли к морю, заняв в числе прочего Тир и Сидон (вернее, в Тир они не вошли по договорённости с Марионом, но получали от него деньги и подкрепление), и что Антигон поднял в южной Сирии и Галилее уцелевших от расправ Ирода цибаев, сторонников казнённого Хизкийяху, достигли Иерушалайма одновременно. Ирод, чьё войско в тот момент было разбросано по разным местам, понёсся его собирать; Антигон успел напасть на тот отряд, что оставался в Галилее, и частью разоружил его, а частью уничтожил. Произошло это у городка Харазин. Через несколько дней Антигон вошёл в Иерушалайм—в ту пору, напоминаю, не защищённый стенами. Следом, опоздав буквально на несколько часов, в Иерушалайм привели войска Фасаэль—он пришёл от Масады и другой эдомской крепости, Мариши,—и Ирод, снявший гарнизоны из Генона и Скифополя. Антигон, у которого было более десяти тысяч войска, заперся в Храме; братья, имевшие под рукой менее трёх тысяч, осадили храм. В ближайшие дни к ним должно было подойти подкрепление…

Но парфяне подошли раньше.

Завоеватель полумира, парфянский царевич Пакор никогда не будет прославлен как великий полководец по одной-единственной причине: он не любил проливать кровь. Нет, он умел сражаться, и римский консул Марк Красс мог бы многое рассказать об этом, если бы остался жив. Но высшим мастерством военачальника Пакор полагал умение пожинать плоды побед, не одерживая самих побед, а если это ему не удавалось почему-то, то хотя бы—побеждать без сражений. Мир и лёгкие налоги—вот что начертано было на его знамёнах. Мудрый, вдумчивый и милосердный правитель; спустя несколько лет его кончину оплакивали все покорённые им народы.

Да, он умел покорять себе…

Кесарь Август многому у него научился.

Но я забежала вперёд.

…Парфяне вошли в Иерушалайм. Их было немного, но они вели себя так, что им хотелось подчиняться. Спокойная и даже добрая сила. Они пришли, чтобы вокруг всё стало хорошо.

Потом, разумеется, это очарование развеялось, хотя и не до конца. Время парфян долго вспоминали как золотые годы.

Итак, Антигону—с одной стороны, и Гиркану, Фасаэлю и Ироду—с другой, было предложено предстать перед царевичем Пакором и принять

его суждение. Подождать царевича можно в спокойном месте, вдали от иерушалаймской суеты,—в загородном дворце царя Сидона, под сенью пальм и фонтанов.

Потом было много пересудов, почему Ирод не воспользовался приглашением. Якобы его предупредили о заговоре—то ли добродетельный сирийский купец, то ли даже тайный римлянин на парфянской службе…

Сам он ни о чём таком не рассказывал. По его словам, и заговора-то никакого не было: Антигон был настолько уверен в своей правоте, что строить какие-то козни считал попросту излишним. Ирод же остался в Иерушалайме, во-первых, потому, что его опять трясла лихорадка, а во-вторых, он опасался за некоторых не в меру горячих командиров-эдомитян, которые выражали недовольство парфянами. Малейшая искра—и он бессмысленно лишился бы армии, которую так долго налаживал и выправлял…

Ещё больше пересудов было о том, что же на самом деле произошло во дворце сидонского царя. Увы, я не в состоянии ответить на этот вопрос. Могу только опровергнуть самые распространённые слухи. Конечно, ни Гиркан, ни Фасаэль не находились там под арестом; они могли уехать в любой момент, но тогда бы Антигон оказался единственной стороной на суде. Конечно, Антигон не мог сулить в качестве подарка царевичу ни пятьсот, ни пять тысяч девушек и жён из лучших иудейских семейств—эту сплетню распространяли сторонники Фасаэля и Ирода; впрочем, и они могли бы придумать что-нибудь поумнее; хотя, если разобраться, почему-то самые бездарные сплетни оказываются и самыми живучими.

И, конечно, Фасаэль не кончал с собой. С одной стороны, он был мужествен, с другой—богобоязнен. Фарисей до мозга костей, он верил в Страшный суд и дальнейшее воскрешение для жизни новой; в его глазах самоубийство, чем бы оно ни диктовалось, было величайшим грехом, закрывающим врата, ведущие к посмертному перерождению. Я думаю, слух о самоубийстве был пущен Антигоном или его подручными как последняя бессильная месть ему, несломленному…

Вы спросите: как же так, у всех этих событий был живой свидетель—почему не спросить его? Неужели он молчит? Нет, хуже: Гиркан не молчал, Гиркан рассказывал много, но каждый раз—разное. Он немного повредился умом, а главное, у него проявилась та же особенность личности, что привела к гибели его внучку, Мариамну,—безудержное фантазирование и неумение отделить реальность от собственных фантазий.

Только отбрасывая невозможное, немыслимое, удаётся воссоздать тот день и час—во дворце, во внутреннем его дворике, под сенью пальм и фонтанов.

Антигон, взбешённый то ли общим упрямством, то ли каким-то замечанием Гиркана, бросился на старика (Гиркану недавно минуло восемьдесят лет), повалил его и ножом ли, осколком мраморной столешницы ли отсёк ему оба уха. Фасаэль бросился на помощь к поверженному этнарху, но его заколол в спину один из охранников Антигона. Всё произошло так быстро, что охрана Фасаэля попросту не успела вмешаться…

В этот же день, ещё ничего не зная о происшедшем, а руководствуясь совсем другими соображениями, Ирод ушёл из Иерушалайма. Он увёл все свои войска—более семи тысяч пехотинцев и две тысячи всадников, забрал младшего брата Ферора, мать, невесту, мать невесты, жену и детей Фасаэля и ещё несколько сотен горожан, по разным причинам опасавшихся гнева Антигона. Парфяне не мешали этому исходу, но разбойники Антигона попытались дать бой и были разгромлены наголову. Это произошло совсем неподалёку от Иерушалайма, на той же дороге, по которой Ирод совсем недавно преследовал Феликса.

Впрочем, разбойники не отстали—однако, преследуя уходящую колонну, держались на почтительном удалении. Дойдя до Масады, Ирод занял эту крепость (припасы из которой не только не вывезли, но и пополнили; этим занимался другой его младший брат, Иосиф), расположил там семью, часть горожан, оставил сильный гарнизон под командованием Иосифа, а сам двинулся дальше, в родную Петру, рассчитывая там пополнить армию, установить отношения с парфянами и триумфально вернуться в Иерушалайм.

Там, в Петре, его и настигла весть о смерти старшего брата, о низложении Гиркана (который, потеряв уши, уже не мог быть первосвященником, поскольку первосвященником может быть только муж безупречный) и о том, что Антигон, с соизволения парфянского правителя Пакора, провозглашён царём иудейским.

И там же, в Петре, его в первый раз предали свои.

Было это так: эдомский царь Малх—разумеется, не тот Малх, которого убили якобы за покушение на Гиркана, но, как выяснилось, человек не менее гнусный,—был должен покойному Антипатру и самому Ироду огромную сумму денег; он решил воспользоваться обстоятельствами и объявил Ироду, что имеет приказ от парфянских начальников (на самом деле никакого приказа у него не было), чтобы Ирода в город не пускать, денег ему не давать, а имущество его конфисковать. Его, да заодно и имущество всех прочих иудеев Эдома.

Первым побуждением Ирода было взять Петру штурмом. Но он поразмыслил и решил не рисковать. Он распустил большую часть своей армии по домам, наказав собраться по первому его зову, а сам с небольшим отрядом воинов и горожан бежал в Египет.

Ирод рассчитывал застать там Антония, но, увы, Антоний уже отбыл в Рим—в Риме его ждали совершенно неотложные дела. Может быть, оно и к лучшему, поскольку Антоний воспламенился страстью к Клеопатре, египетской царице, дочери царя Птолемея Авлета и недавней возлюбленной Гая Юлия. Говорят, Клеопатра не была красива, но поражала мужчин живостью характера, умом и необыкновенной доброжелательностью. Она владела почти забытым ныне женским искусством занимать мужчин беседой—притом, что познания её были обширны и точны. Тётя Элишбет говорила

мне, что когда-то во всём эллинском мире многих девочек специально обучали и риторике, и музыке, и стихосложению, и драматическому искусству, и истории, и многим другим умениям поддерживать к себе интерес. Но после кровопролитных греческих раздоров образование пришло в упадок, и более всего—образование женское. Многие эллинки и ныне не умеют читать, а считают на пальцах. В Иудее есть специальные храмовые школы для девочек, но там обучают другому. И только грубые римлянки, как ни странно, оказываются самыми грамотными…

Устоял ли Ирод перед очарованием Клеопатры, сказать трудно, а пожалуй что и невозможно. Сам он говорил, что устоял, но тогда совсем непонятно, зачем она к нему приезжала впоследствии. Оронт полагал, что Ирода и Клеопатру связало глубокое чувство роковой неутолённой любви, и в особо трудный час один бросался на выручку другому, забывая обо всём. Но при этом Ирод любил и Антония…

Пробыв у Клеопатры около трёх седмиц, Ирод воспользовался её помощью, зафрахтовал небольшое торговое судно и ринулся в бурные зимние воды. У берегов Родоса судно налетело на камни; к счастью, люди спаслись, но Ирод потерял всё, что имел с собой. Кто знает, как повернулась бы судьба, но именно в это время и по схожей причине на острове оказались его друзья, Саппин и Птолемей; втроём они сумели изыскать достаточно средств, чтобы не только снарядить корабль, но и оказать помощь городу, страшно разорённому войной Антония и Октавиана с Кассием.

Друзья прибыли в Италию, в порт Брундизия. Там им стали известны подробности недавних трагических событий, а именно: мятежа, поднятого женой Антония, Фульвией, и его младшим братом против Октавиана—и чуть было не состоявшейся войны самих Антония и Октавиана, с трудом разрешённой к миру стараниями легионеров-ветеранов; здесь, в Брундизии, и был подписан мир. Для закрепления мира Антоний женился на сестре Октавиана, Октавии; пять дней назад все они отправились в Рим праздновать успех дипломатии.

Ирод поспешил следом. Имело смысл ковать это железо, пока оно горячо.

Ирода Антоний принял в бане. Из бани Ирод вышел царём Иудеи—совершенно неожиданно для себя, поскольку знал щепетильность римлян в вопросах крови. Слушанья в Сенате были пустой формальностью. Впрочем, Ирод использовал трибуну Сената для того, чтобы показать себя лучшим другом Рима, чем ставленник Парфии Антигон, и заодно донести до римлян свою версию произошедшего в саду дворца сидонского царя. Дворец превратился в тюрьму, безобразная драка—в хладнокровно подготовленное убийство (и хуже того: якобы к раненому и распростёртому на ложе скорби Фасаэлю ночью пробрался сам Антигон и под видом лекарства втёр в его раны яд), а парфяне предстали дураками и скаредами, продавшимися Антигону за жалкие тысячу талантов серебра и пятьсот женщин—причём ни то, ни другое им не досталось, поскольку Ирод сумел вывезти серебро и вывести женщин! И сейчас и серебро, и женщины хранятся в безопасном месте!

…Надо сказать, что место это назвать безопасным было трудно. Хотя Масада и неприступна снаружи, но в случае осады имела слабое место: в ней не было источников воды. Вода хранилась в огромных бассейнах и подземных цистернах, а попадала она туда только с небес; все кровли крепостных строений были оборудованы желобами и водостоками, чтобы ни одна капля не пропала даром. Для нормального гарнизона этой воды, запасённой в дождливые месяцы, хватало на весь год; но на этот раз в крепости скрылось больше тысячи человек, и дожди, как назло, были скуднее обычных лет. Через три месяца началась жажда.

Иосиф оставил записки о той осаде, и однажды я их прочла. Было очень страшно читать, хотя он писал необыкновенно холодно и ровно. Может быть, поэтому и страшно. В некоторых подземных цистернах оставалась грязь—местами по пояс, местами по грудь; её вычерпывали и откидывали на простыни, чтобы хоть как-то отделить воду от гнили. В грязи копошились бледные черви. Каждому сидельцу крепости доставалась маленькая чашка вонючей слизистой жижи.

Начался мор. Гробницы скоро переполнились. Пришлось вырубать новые.

Через две седмицы сделали первую вылазку. Пошли днём, когда разбойники и солдаты Антигона разомлели от жары и спали. Некоторых убили, остальных отогнали и опустошили придорожный источник, вычерпали до дна, таская воду в крепость за десять стадий кувшинами, мехами и даже корытами для омовений. И когда опомнившиеся разбойники вернулись, мало кто из воинов решился выпустить кувшин и взяться за меч…

Ещё через две седмицы вылазку попытались повторить, но безуспешно—их ждали. Да и в ложе источника разбойники побросали тела погибших.

Тогда в отчаянии Иосиф решил отправить две трети своих воинов под командованием Ферора прорываться в Эдом, в Петру, чтобы испросить подмогу. Он не знал, что эдомитяне уже предали и Ирода, и всех, кто был с ним. Самому Иосифу, Мариамне, другим родственникам Ирода, горожанам и последним воинам оставалось лишь ждать и молиться о лёгкой смерти. Грязи в исчерпанных цистернах было уже ниже колена.

И вот, когда готовы были открыть ворота, выпустить отряд и закрыть ворота снова, издали донёсся рокот. Небо над головами стремительно темнело и наполнялось тучами.

Прилетел дикий холодный ветер, хлынул дождь, сменившийся градом. Через несколько часов все бассейны и цистерны были полны, а дождь не прекращался. Дорога превратилась в реку, в которой тонули не успевшие убраться на возвышенность разбойники. Казалось, Бог не в силах был уже выносить злодеяния людей и наслал новый потоп…

Всю ночь ливень хлестал изо всех сил; никто бы не удивился, обнаружив наутро вокруг сплошное море. Но нет: утром лёг густой непроглядный

туман; ливень же сменился редким крупным дождём, словно капли падали с ветвей невидимых деревьев.

Масада вновь была неприступна.

Тем временем в Тир прибыла семья Антигона—жена и две дочери; одной было шесть лет, другой—двенадцать. Как звали жену царя и его младшую дочь, я помню нетвёрдо; кажется, царицу звали Филона. Или Филомена. Младшая дочь умерла, и имя её стёрлось из моей памяти. Старшую дочь звали Антигоной, и вот этого я никогда не забуду.

Почему царь удалил их от себя, точно неизвестно. Ходили разные слухи. Думаю, он просто убрал их из очень опасного места, каким стал Иерушалайм, в сравнительно безопасное—Тир.

Очень скоро Дора и Филомена (пусть будет так) познакомились и подружились. Надо полагать, Дора в те дни очень не любила Ирода и выражала нелюбовь всячески. Получился странный союз: порочная последовательница Сафо, пьющая вино, сочиняющая возмутительные стихи и открыто живущая с чёрной рабыней,—и тихая богобоязненная царица, похожая на испуганного хомячка; казалось, что она никогда не снимает чёрный парик и золотую головную повязку.

Познакомились и Антипатр с Антигоной. Ему было шестнадцать, ей—только что исполнилось тринадцать. Рядом с бешеным Антипатром сама собой начинала дымиться и тлеть пакля; Антигона казалась тихой и кроткой, как голубка. Им хватило одного взгляда друг на друга…

Матери начали что-то подозревать и к чему-то подспудно готовиться, но тут пришла весть о том, что Рим признал царём иудейским не Антигона, а Ирода. Что произошло дальше, представить легко, а понять невозможно: дружба цариц немедленно превратилась в пылающую безудержную вражду, и вскоре пролилась кровь—племянник Доры при множестве свидетелей зарезал сводного брата Филомены и бежал в Эдом. Дора почти не выходила из дому, опасаясь мстителей; ей было нечем заплатить отступного.

Антипатр и Антигона тайно обручились. Обряд произвёл местный левит Иешуа бар-Абба.

Конечно, это был не тот бар-Абба, с которым то ли по недоумению, то ли по чьему-то наущению вдруг стали кто перепутывать, а кто отождествлять моего брата и который без малой к тому вины упокоился на площади перед царским дворцом, побитый сотнями камней, предназначенных совсем для другого,—конечно, не тот, ведь между этими событиями прошло семьдесят лет; множество проповедников в те годы брали себе это имя, Сын Отца; и можно считать это просто совпадением…

Мне же видится в этом тонкая насмешка Предвечного.

На исходе зимы Ирод высадился в Сирии, в Птолемаиде. Армия его насчитывала четыреста человек, большей частью наёмников. Путь до Иерушалайма оказался долог и извилист: два года, двадцать два сражения и неисчислимое множество шагов. Он дважды подступался к Иерушалайму, но не решался на штурм; он снял осаду с Масады и поставил новую крепость, чтобы отрезать Иерушалайм от Иерихона; он загнал галилейских разбойников в пещеры и удушил их там дымом огромных костров; он разгромил парфян в Самосате и соединился с Антонием как войском, так и телом, и уже не разлучался с ним до самого взятия Иерушалайма и даже какое-то время после; он потерял в битве брата Иосифа и обвенчался с Мариамной…

Последняя битва за Иерушалайм длилась полгода. Пролилось столько крови, сколько не проливалось никогда ранее. Ирод много раз обращался к Антигону, умоляя того отречься и обещая милость и почести, и отправлял жертвенных животных в Храм, но битва продолжалась. Сколько пало людей, не знает никто. Говорят, что двести тысяч.

Когда Антигона, закованного в цепи, привели к Ироду, тот не стал с ним разговаривать, а лишь послал за прибором для омовения рук, горячей водой, щёлоком, скребком и полотенцем. И потом, когда низложенного царя, последнего Маккаби, вели по улицам Иерушалайма, на шее его висела дощечка с надписью: «Евреи! Кровь ваша на нём».

Месяц спустя Антигона казнили в Антиохии: задушили или отрубили голову—разные говорят разное. Узнав об этом, дочь его Антигона родила мёртвого ребёнка. Она уже была обвенчана с Антипатром и жила в его доме. Сестра её недавно умерла от крупа, а мать пропала бесследно. Тогда многие так пропадали.

А ещё через год—нет, больше, наверное, через полтора с лишним года,—Ирод обвенчался с Мариамной. Кто-то яростно доказывал мне, что он перед этим развёлся с Дорой, но Оронт считал, что нет, и я скорее склонна верить ему—даже если он говорит один против всего мира.

Оронт держал в своих тонких пальцах слишком много нитей…

Глава 5

Я утомила вас своим долгим рассказом о старом—нет, тогда ещё молодом!—Ироде и его семействе? Но что делать, без этой истории остальной рассказ мой будет просто непонятен…

Когда Дебору устроили спать на широкой египетской кровати, согрев ей постель медными грелками, полными горячей воды, и укрыв бедняжку семью согдийскими покрывалами из тончайшей шелковистой шерсти, и когда она уснула—уснула и ещё вздрагивала во сне, будто убегала от кого-то, и глаза её метались под веками,—Оронт поманил тётю Элишбет и Мирьям из спальни, и они все вернулись в большую комнату. Тётя Элишбет позвала Мафная, тот принёс жаровню с углями и молча исчез; тут же прибежала кухарка и стала накрывать на стол, но Оронт сказал ей: «Повремени». Он только выпил бокал крепкого финикового вина, которое привозят из Междуречья.

Женщины молчали.

—Будет так,—сказал наконец Оронт.—Дебора родит через два месяца. На днях, Элишбет, ты купишь рабыню, очень похожую на неё. Будешь

посылать её на рынок и по разным другим делам. Себе начнёшь подкладывать подушки на живот… Когда девочка родит, все будут знать, что родила ты. Такое вот случится чудо… Потом Дебора будет жить у тебя столько, сколько понадобится. Она рабыня сейчас и рабыней останется, но ты будешь добра с нею — строга, но добра… Звёзды говорят мне, что родится мальчик. Но если и девочка… это ничего не значит. Ты будешь растить ребёнка как своего. Год, или пять лет, или десять. Или пока он не вырастет. Не знаю. Столько, сколько придётся. Потом, когда настанет время, я скажу тебе, что надо будет сделать. И ты это сделаешь.

Тётя Элишбет помолчала.

— Мать — рабыня. Я могу узнать, кто его отец?

Теперь помолчал Оронт.

— Об этом будет знать твой муж, Зекхарья. И уже он будет решать, сказать тебе или нет. Может быть, лучше тебе этого не знать. Не потому, что я тебе не доверяю… наоборот. Ты же понимаешь, что я тебе доверяю бесконечно. Я тебе доверяю, может быть, самую большую ценность в этом проклятом мире. Но я просто хочу отвести недобрый глаз. А он будет на вас смотреть. Он будет вас искать…

— Я, кажется, знаю имя этого недоброго глаза, — тихо и медленно произнесла тётя Элишбет.

Она наклонилась к уху Оронта и шепнула ему это зловещее имя.

Оронт отстранился от неё, посмотрел пристально.

— Ты умна, Элишбет, — сказал он наконец. — Я не ошибся в тебе.

Он не ошибся. Тётя Элишбет была действительно умна. Потом она разыграла всё, как в греческом театроне. Публика ахала, плакала, восхищалась, замирала в ожидании — и в финале разразилась аплодисментами…

Но это я забегаю вперёд.

— А теперь ты слушай меня, девочка, — Оронт повернулся к Мирьям. — Ты ведь уже что-то начинаешь понимать? Так вот: тебе предстоит то же самое.

— Что? — вздрогнула Мирьям.

— Скоро ты начнёшь изображать, что понесла от своего мужа. Вам придётся поторопиться со свадьбой. Когда придёт время, я вот так же приеду к вам…

— И когда же? — только это и спросила Мирьям.

— Ребёнок родится через семь месяцев, — сказал Оронт. — Ещё есть срок, чтобы приготовиться. Должен тебя огорчить, тебе придётся до тех пор воздержаться от супружеских радостей. Потому что…

— Я понимаю, — сказала Мирьям. — И мне ты тоже не скажешь, кто отец моего будущего дитя?

— Твой муж будет это знать. И кто мать, и кто отец. Он и решит, сообщать ли тебе и в какой должный срок сообщать. Пусть пока знает он один. Мужчины, видишь ли, менее прозрачны для волховства…

— Ты видел моего обручённого мужа? — спросила Мирьям.

— Я видел его вчера и говорил с ним. Скоро он заберёт тебя в свой дом в Еммаусе… А вот теперь, — он повернулся к тёте Элишбет, — вели подать на стол.

Тётя позвонила в колоколец.

Имя, которое тётя Элишбет прошептала на ухо Оронту, было такое: Антигона. Но прежде чем я объясню, чем страшна была эта женщина, мне придётся закончить историю царя Ирода и его девяти жён.

Итак, после свадьбы Ирода и Мариамны прошло два года, и можно было наконец сказать, что воцарился мир на земле. Ирод смог надолго оставить седло и боевую колесницу. Один за другим у Мариамны родились два прекрасных сына — Александр и Аристобул, названные так в честь недавно умерших двоюродного и родного братьев Мариамны; и если смерть первого не вызвала никаких пересудов — юноша тихо угас от ран, полученных в боях, то вокруг кончины Аристобула ходило много странных и диких слухов. Совсем ещё молодой человек, он был назначен Иродом первосвященником взамен многомудрого, но тяжёлого и неуступчивого Ананила, сразу после взятия Иерушалайма призванного из Бабилонии на место старого Гиркана, который мало что заговаривался, так и лишён был обоих ушей; а человек с увечьем не может занимать этот пост, как бы учён и мудр ни был. Но Ананил не ужился с Иродом и был отставлен; на место его заступил Аристобул — и не прошло и года, как он утонул, купаясь на мелком месте в компании знатной молодёжи. Всем тут же стало ясно, что виноват Ирод: он-де избавился от последнего мужчины из рода Маккаби. Об этом разве что не кричали ярмарочные глашатаи…

Понятно, что это глупость. Таково мнение толпы, а толпа глупа всегда. У неё есть утробная мудрость, как у египетского крокодила, и есть злобность, но ума — нет, ума нет.

Если не считать этого неприятного обстоятельства, в остальном жизнь Ирода и Мариамны протекала счастливо. И кабы не её мать, Ирод жил бы в Элизии. А так… Ну, скажем: он довольно часто наведывался в Элизий.

Александра, дочь Гиркана и мать Мариамны, была хитра не по разуму. Кроме того, она была типичной еврейской матерью в наихудшем смысле этого слова. Ей никак не удавалось смириться с мыслью, что дети её выросли и готовы жить сами по себе, руководствуясь своим умом и здравым смыслом; и если у Мариамны со здравым смыслом имелись расхождения, то Аристобул, напротив, во всех своих начинаниях руководствовался только им. Кроме того, несмотря на молодость, он был необыкновенно образован и выделялся этим не только среди сверстников, что было бы не так удивительно, но и среди убелённых сединами мужей Книги; однако, в отличие от многих из них, образование его не ограничивалось только еврейским Законом (который можно изучать вглубь до абсолютной бесконечности), он был силён и в греческой философии, и в римском искусстве государства. Ах, если бы Аристобул остался жив, каким сильным, каким мудрым помощником он сделался бы для Ирода, который видел своё царство единой мощной многоплеменной веротерпимой страной…

Но Аристобул погиб. И тут же стали распространяться слухи о том, что именно Ирод и убил молодого первосвященника. И действительно: а кто же ещё?

Толпа, толпа… Ты безголова, толпа. Ты ничего не понимаешь.

Так вот, Александра громко и бессмысленно квохтала над своими детьми, особенно над сыном. Она дошла до того, что отправила несколько писем Клеопатре, просясь в Египет в убежище — вместе с сыном, разумеется: только-де в Александрии с её лицеями и библиотеками он может продолжать свои учёные занятия, а без матери он и дня не проживёт, ибо не приспособлен; ну и так далее. Клеопатра сумела как-то утешить её, вместе с тем отказав, а Ирод не нашёл ничего лучшего, как посмеяться над тёщей. С этого момента он был обречён на самое страшное несчастье.

Вы поняли уже, чьи люди распускали слухи после несчастной гибели Аристобула?..

Говорят, кстати, что возвышением своим Аристобул косвенно обязан и Антонию. Один из любовников Антония, женоподобный Деллий, увидел однажды Мариамну и Аристобула рядом и восхитился их красотой. Не смея всё же обращать взгляд на жену царя, он всё своё внимание предложил её невинному брату, долгое время даже не понимавшему, что происходит. Обманом и посулами он выманил у глупой и честолюбивой Александры позволение сделать живописный портрет Аристобула — и, хотя это было действие вопреки Закону, Александра такое позволение дала. Деллий отправил портрет Антонию с приложением письма, в котором описывал все достоинства юноши. Узнав об этом, Ирод всё очень быстро понял и принял те меры, какие мог принять, не раня самолюбия своего могущественного патрона и любовника…

Увы, всё кончилось плохо, ведь самые лучшие покидают нас раньше и охотнее, чем прочие. Говорят, что такова Божья справедливость.

Что же тогда я? И перед кем мои грехи, и каковы они?

Но продолжим.

В те годы в Иерушалайме проживали два брата-близнеца, Яшем и Ишмаэль. Род их я называть не буду, дабы не бесчестить многих достойных. При царе Антигоне они пострадали (хотя есть те, кто говорит, что осуждены они были за клевету, возводимую ими на честных людей), а потом, когда Ирод подступил к городу, поддержали Шемайю…

Я, кажется, забыла упомянуть об этом удивительном человеке: когда Ирод предстал перед синедрионом, Шемайя был единственным, кто смело перед людьми обвинил его в убийствах и измене; он же впоследствии был единственным из высокопоставленных людей Иерушалайма, кто призывал народ не противиться Ироду и открыть ворота. За непреклонную честность и за бесстрашие Шемайя был обласкан Иродом и доживал свой век в гордости и достатке.

Яшем же и Ишмаэль оказались обиженными. Ишмаэль какое-то время назад сватался к Мариамне, и Гиркан поначалу пообещал ему своё согласие, но в последний момент передумал, сочтя, что Ирод будет куда лучшей партией. Яшем, по только ему известным причинам (скорее всего потому, что он владел самой большой конюшней в Иудее), рассчитывал на пост командующего конницей. Ирод отказал: командующий конницей у него уже был. Не совладав с обескураживающей действительностью, братья решили её подправить по своему разумению.

Конницей Ирода — организованной, как и вся его армия, по римскому образцу — командовал Кенас, эдомитянин, человек невеликой знатности, но умелый и твёрдый воин. Ирод целиком и полностью доверял ему. Именно этого человека Яшем и Ишмаэль решили использовать как орудие своего коварного замысла.

Антоний как раз вернулся из тяжёлого и не слишком удачного похода через Армению в северную Парфию и, не заезжая в Рим (отношения его с Октавианом становились всё хуже, причём без каких бы то ни было к тому оснований; они просто не переносили друг друга), отправился в Египет. Туда же он вызвал Ирода, своего самого сильного союзника, дабы договориться о дальнейших действиях.

Ирод отправился на эту встречу, прихватив с собой молодую жену, а вот что произошло дальше, я знаю от слишком многих, и все говорят разное. В общем, вышло так, что после долгих переговоров он отправил Мариамну обратно сушей, а сам доверил себя неверному морю. Как правило, морской путь быстрее двукратно и более; здесь же вышло так, что караван уже прибыл, а о кораблях ничего не было слышно. Встречный ветер задержал их прибытие почти на четыре дня. По крайней мере, так было объявлено.

Мариамна буквально на крыльях примчалась в летний дворец, расположенный поблизости от прибрежного городка Япу, где Ирод предпочитал держать свой маленький флот; более старый и куда более удобный порт, Стратонову Башню, Ирод в ту пору недолюбливал — скорее всего, из-за удалённости его от Иерушалайма. Впрочем, прошло время, и он переменил своё мнение и построил на том месте самый роскошный из своих городов, Кесарию Морскую; Япу же постепенно впал в ничтожество. Однако в описываемое время это был хоть и маленький, но оживлённый и гордый своею честью городок.

Итак, повторяю, Мариамна примчалась, а о кораблях ничего не было слышно. Её утешали и укрепляли как могли. Это море, говорили ей, морская стихия; там никогда нельзя ничего знать точно. Она верила, но металась. Япу был прибрежным городом; здесь — как бы нечаянно, незаметно для себя — поклонялись заодно и греческому морскому богу. Устроили игры: будто для увеселения, на деле же — в его честь. Соревновались многие, всех превзошли Кенас и Яшем. На пиру в честь победителей вдруг появился Ирод: корабли прибыли невредимыми. Пир возобновился, вновь подали вина. Что вышло дальше, сказать трудно, поскольку трезвых свидетелей не нашлось. Будто бы повздорили Кенас и Ишмаэль, их стали

разнимать, и вспыливший Кенас ранил кинжалом финикийца-кормчего, который попытался встать между дерущимися. Тут же появился Ирод — и перед ним Яшем принялся преувеличенно выгораживать Кенаса, которому за последнее время сделался чуть ли не лучшим другом и названым братом. Надо сказать, что Яшем пользовался славой грубияна и в то же время честного малого, у которого что на уме, то на языке; он сам придумал себе этот образ и тщательно его оберегал. Я старый солдат, говорил он, хотя никогда солдатом не был. Но ему верили, настолько убедительно он лгал глазами.

Заступничество Яшема, разумеется, сильно повредило Кенасу: Ирод решил, что Яшем столь яростен и неловок в выгораживании друга лишь потому, что вынужден кривить душой; а следовательно, Кенас виновен. И он сделал одну из первых своих ошибок — ну, не совсем первых, а первых из тех, которые произошли из-за его излишней доверчивости; он так до конца жизни и не научился разбираться в подлых людях, проникать до смрадных глубин их мерзости — поскольку сам таким не был и просто никогда не мог поставить себя на место подлого человека. Итак, Ирод сместил Кенаса и назначил на его место другого эдомитянина, имя которого я никак не могу вспомнить.

Яшем пришёл в ярость, что план его удался лишь частично, но виду не показал. Он спрятал от людей совершенно убитого горем и стыдом Кенаса, дал ему выплакаться, а потом в разговорах как бы между прочим втравил в его голову мысль искать милости Ирода через Мариамну — она-де добра, великодушна и справедлива. Одно семя было брошено; теперь следовало бросать другое…

Но тут произошли драматические события: неприязнь между Антонием и Октавианом перешла все возможные пределы, и началась война. Я не готова утверждать, что дело только в неприязни — скорее, сказывалось неумение одного и нежелание другого улаживать конфликты к обоюдной выгоде. Кроме того, Антоний стремительно богател — Октавиан беднел; Антоний покорил Армению и налаживал отношения с Парфией — Октавиан понимал, что это для него смерть. Эта война просто не могла не разразиться… Но я категорически не согласна с тем, что в ней хоть сколько-нибудь виновата Клеопатра. Ей-то как раз был нужен мир, и чем дольше, тем лучше: благодаря миру, а не войне Египет укреплялся и прирастал землями. Просто мужчины, если есть хоть малейшая возможность, в своих грехах и промахах обязательно обвинят женщину. Я знаю.

Антоний и Клеопатра проиграли войну и спустя полгода покончили с собой в своём дворце. Об этой двойной смерти ходит много легенд, от возвышающих до оскорбительных, и я не буду их приводить здесь — за исключением одной. Будто бы тела Антония и Клеопатры сожгли в малом саду дворца, а головы увезли в Рим и там из черепов сделали два магических кубка, один из которых Октавиан подарил своей матери, которая долгие годы была любовницей Антония (и не исключено, что именно Антоний был настоящим отцом Октавиана), а второй — своей сестре, которая была женой Антония всё то время, что он прожил с Клеопатрой, но имела сына от своего родного брата.

Это Рим. Это властелины нашего мира. И боги у них такие же, как они сами…

Ирод со своей армией в войне не участвовал, но обильно снабжал легионы Октавиана всем, чем можно, и даже больше. Октавиан писал потом, что не помнит другого столь же лёгкого и приятного похода.

Какими именно намёками Яшем навёл Ирода на мысль о возможной неверности Мариамны, мы, конечно, никогда не узнаем; разве что фарисеи правы и всем нам суждено пережить второе рождение и быть публично судимыми за всё содеянное нами. Как назло, в то же самое время произошёл ещё один неприятный случай: телохранитель Мариамны, Соэм, проговорился ей, что Ирод, собираясь ехать на Родос предъявлять свою верность Октавиану, новому земному воплощению Кесаря, велел в том случае, если не вернётся, убить Мариамну и её мать — незаметно и безболезненно. Это было в каком-то смысле разумно и оправданно: тогда никто не мог бы взять Мариамну в жёны, через это сделаться царём и навсегда закрыть дорогу к престолу сыновьям Ирода: Александру, Аристобулу и Антипатру. Возможно, этим узурпатором Ирод видел последнего из своих братьев, Ферора; возможно также, что медленный яд Яшема, вливаемый ему в ухо, уже действовал, и претендентом на своё место в постели Мариамны Ирод видел Кенаса, о котором Мариамна столько раз просила его; возможно всё.

Так вот, возвращаясь к Соэму и его неосторожной речи: будь Мариамна одна, я думаю, она всё поняла бы правильно, но мать её, Александра, пришла в панический ужас и сумела-таки смутить и дочь. Более того, она смутила и отца, всё более терявшего память о настоящем; и конечно, по её наущению Гиркан написал изменническое письмо царю Малху, тому самому, прогнавшему Ирода от Петры в пустыню. Гонец, которому поручено было письмо доставить, показал его сначала царю. Гиркан предстал перед синедрионом и был единогласно приговорён к смерти; казни он, однако, не дождался и умер в тюрьме. Был то милосердный сок аконита, подушка на лицо или же просто старое сердце не выдержало, продолжает быть тайной.

Говорят, что в связи с этим случаем Ирод казнил мужа своей сестры Шломит, Иосифа: якобы это он, а не Соэм, рассказал всё Мариамне, с которой спал. Это вымысел и смешение. Первый муж Шломит, Иосиф бен-Йегуда, один из самых доверенных людей Ирода, помогший ему собрать и содержать армию в годы войны с Антигоном, много раньше умер от опухоли в горле, а в описываемое время Шломит уже четыре года была несчастливо замужем за Астабаном, таким же, как когда-то Антипатр, эдомским царём без царства; он командовал иерушалаймской городской стражей, а потом — всеми городскими стражами царства;

вернувшись, Ирод назначил его на место Малха, а через скорое время казнил за измену. Но вот получается, что кто-то назвал Ирода виновным в смерти Иосифа — и люди подхватили…

Итак, когда Ирод, ликуя, вернулся с Родоса, где его принимал Октавиан, с подтверждением своих прав на престол и уверениями в вечной дружбе (это было ещё до гибели Антония и Клеопатры, как раз между битвой при Акции и походом Октавиана в Египет), Мариамна встретила его холодно и отрешённо; она месяц назад родила пятого ребёнка, девочку, роды были тяжёлыми, и у женщин после такого иногда случаются перемены настроения. Но мужчинам этого не объяснить. Ирод долго не мог понять причин охлаждения к нему; здесь вновь как бы случайно подвернулся Яшем. Помня о том, что Яшем был соратником славного Шемайи, и обманувшись его показной честностью, Ирод назначил этого негодяя начальником тайных соглядатаев, которыми вынужден был насыщать и Иерушалайм, и всё царство. Одним из первых поручений, данных Яшему, было разузнать о возможных тайных посещениях царицы кем-то посторонним…

— Что происходит на свете, описывается потом в книгах. А что написано в книгах, то происходит потом с нами и вокруг нас, — говорил Оронт, глядя в огонь жаровни; светильники потушили, чтобы не метались, привлекая нечистых, тени. В пальцах прорицатель крутил бокал из зелёного кипрского стекла — пузатый, низкий, с серебряным ободом, на котором вычеканены были заклинания, защищающие от козней Ангрихона, демона лихорадки. Бокал был давно пуст. — Бог не слышит речей, потому что мы непрерывно галдим, но охотно читает написанное и иногда по написанному поступает. Нужно лишь писать так, чтобы он увлёкся чтением и забыл о своём обещании не вмешиваться в дела наши. Потому-то всегда и повторяется то, что было прежде, — повторяется, но иначе, в других странах и других лицах. И ничего нельзя скрыть навсегда, а только на время. Всё сущее сохранится — в орнаментах, страхах, тенях, приметах; в форме облаков, расположении звёзд, полёте птиц; в судьбах сильных и жалобах слабых; в плаче сирот и вдов…

Ветер шумел ветвями снаружи дома и шевелил тяжёлые занавесы внутри него.

Отдав это поручение, Ирод разгневался на весь мир, хотя винить должен был только себя. Не в силах сопротивляться гневу и не имея, на ком его выместить, он заболел и несколько дней пролежал в жару. Мариамна помнила, что среди её приданого есть древнее бабилонское головное покрывало с письменами, запрещающими Ангрихону и другим демонам болезней и зла творить своё непотребство; она бросилась его искать — и не нашла. Очнувшись, Ирод вдруг и сам попросил принести чудесное покрывало, ибо в бреду ему было видение: он, мёртвый, стоит у стены, увитой плющом; с головы его медленно сползает это самое покрывало, а рука выводит на стене неведомые огненные буквы, отдалённо похожие на латинские. И он знает, что когда упадёт покрывало, он увидит себя и умрёт уже наяву, но зато в момент смерти поймёт написанное…

Он совершил немыслимое усилие и проснулся. Буквы ещё долго стояли в глазах.

Мариамна снова приказала перерыть все вещи, но чудесное покрывало исчезло, как будто его никогда и не было на свете.

Что ж. Ирод выздоровел и смягчился сердцем, хотя так и не узнал собственного пророчества. Мариамна тоже смягчилась сердцем и согласилась на удаление Александры из столицы. Наверное, это на некоторое время отсрочило гибель злобной старухи, потому что уже тогда Яшем представил Ироду изменнические письма Александры к Малху, но Ирод от них отмахнулся, справедливо полагая, что мужчине нет чести враждовать с полубезумной стервой и что ради мира в доме можно сквозь пальцы смотреть даже на государственную измену… Малху же эти письма стоили головы.

Яшем вскоре раскрыл ещё один заговор: сменивший царя Малха царь Астабан (женатый, как я уже упоминала, на единственной сестре Ирода, Шломит) скрывает в Хевроне двух мужей из рода Маккаби, намереваясь восстановить прежнюю династию в обмен на полную независимость Эдома. Это потом подтвердила и Шломит — впрочем, ей вряд ли можно доверять свидетельствовать, поскольку она ненавидела своего мужа такой холодной нечеловеческой ненавистью, что все приходили в недоумение: что надо сделать с женщиной, чтобы заслужить такое? Ответа не знал никто.

Мужи эти, Гешем и Ахирам, из рода Иоханана, действительно были последними Маккаби. Мастера-горшечники, они не помышляли о престоле и тихо жили себе в Хевроне, куда в своё время — сразу после воцарения — Ирод их и сослал, да и забыл о них там. Соглядатаи Яшема сумели сначала братьев рассорить — чтобы они не разговаривали друг с другом и не могли понять, что происходит, — а потом обманули, запутали и подкупили обоих, чтобы те дали показания против Астабана — о его якобы злоумышлениях. Но всё было подстроено так хитро, что из этих показаний, данных порознь, вместе составлялось показание и об измене самих братьев…

На место казнённого Астабана начальником над городскими стражами царства пришёл брат Яшема, Ишмаэль. Яшем же ещё более возвысился в глазах царя.

Говорят, Астабан так и не понял, за что же его казнили, — надёжнее его не было слуги и друга у Ирода. А Гешем и Ахирам лишь горько плакали и проклинали обманщиков.

Это произошло ровно, день в день, на шестнадцатый год воцарения Ирода.

В это же время или чуть раньше бродячий торговец пришёл к жене Кенаса и продал ей почти за бесценок несколько старинных вещей — в том числе и бабилонское головное покрывало с замысловатым орнаментом. Жена Кенаса из-за болезни ног не выходила из дому и, чтобы хоть как-то себя

занять, неистово предавалась рукоделию, а потом щедро раздавала то, что сделала. Во многих семьях были вещи, вышедшие из-под её рук. И у мамы был среброшитый пояс с лазоревыми кистями, я очень хорошо помню его…

Жену Кенаса звали Фамна.

Фамна восхитилась старинным бабилонским узором и скопировала его для оторочки нового плаща, который вышивала мужу. Мариамна как раз уговорила наконец Ирода вернуть Кенаса на службу, на место, утерянное им из-за пустяка, из-за глупой пьяной ссоры и неопасного пореза. А ведь сейчас, когда мир шатается (а Ироду достались многие земли, доселе принадлежавшие Клеопатре, и соседи были этим очень недовольны), опытный начальник конницы должен быть на своём месте, а не пропадать в греческих гимнасиях…

Кенас пришёл на встречу с царём в новом плаще. Ирод сразу узнал орнамент. Он изменился в лице, пообещал Кенасу, что всё будет так, как должно быть, и отпустил его.

Дальше произошло что-то не до конца известное. Кенас бросился домой, а потом — на поиски Яшема. Но вместо Яшема ему подвернулся Ишмаэль — напомню, с Яшемом они были братьями-близнецами. Кенас заколол Ишмаэля, но и сам был ранен. Яшем, узнав об этом, попытался скрыться, но стражники Ишмаэля его схватили. События происходили именно так и именно в такой последовательности, но почему они так происходили, какие колёсики за какие зубчики цепляли, я не знаю.

Это происходило вне дворца. А во дворце разворачивалась трагедия. Подозрения Ирода относительно измены Мариамны вдруг подтвердились так прямо и так грубо! Он попытался добиться от неё признания — и, к сожалению, не поверил оправданиям, поскольку и подозрения, и улики укладывались в стройную картину, а всё, что в картину не укладывалось, Ирод посчитал наглой, в глаза, ложью. И он убил Мариамну — будучи в горе и в ярости и ничего не понимая из того, что делает. Он несколько дней носил её труп на руках…

Потом её всё-таки отняли у него.

Яшем на допросе сказал, что хотел лишь добиться развода царя с Мариамной — с тем чтобы Ишмаэль женился на ней некоторое время спустя. А проклятый Кенас испортил такой замечательный план.

Синедрион приговорил Яшема к смерти, но Ирод помиловал его, заменив казнь тюрьмой. Это была мокрая подземная тюрьма в Суккоте. Там через год Яшем и испустил дух, заживо пожираемый червями.

Кенас снова стал начальником конницы. Он славно служил царю и умер в седле.

Глава 6

Иосиф приехал на следующий день, ближе к закату, в новой крытой повозке, запряжённой двумя белыми мулами.

— Жена моя, — он склонился над Мирьям, как будто хотел закрыть её собой от всех бед мира. — Прости, что я не сумел тебя оберечь. Жребий пал на нас…

— Это не страшно, — сказала Мирьям, улыбаясь. — Это счастливый жребий. Я знаю.

И она сделала всё, чтобы сбылось по слову её.

Иосиф хотел, чтобы обвенчал их Зекхарья, но с Зекхарьей случилась беда: он онемел, а руку его, когда он пытался что-то написать, сжимал болезненный спазм. Что произошло, у него так и не удалось выяснить, и среди священников, особенно провинциальных, ходили самые дикие слухи. Якобы Зекхарья, оставшись один в храме, увидел нечто настолько непотребное, что Всевышний запечатал ему уста. Якобы пол и колонны испещрены были отпечатками ослиных копыт, а воздух пропитан нестерпимым зловонием. И якобы… впрочем, зачем повторять чужие глупости? Просто по наущению Оронта Зекхарья постарался привлечь к себе общее внимание — подобно тому как базарный чародей величественно вздымает вверх руку, дабы никто не заметил, что другой рукой он вытаскивает из-за пазухи голубя. О, о-о! — великое чудо случилось с Зекхарьей — Господь коснулся его уст! Что же удивительного в том, что чудо случилось и с его женой, доселе бездетной и понесшей в тридцать четыре года? Ангел всегда слетает дважды, а подобное тянется к подобному…

Так что обвенчались Иосиф и Мирьям в скромной книште, или по-гречески синагоге, Еммауса, и на свадебном пиру у них было немного гостей. Малое время спустя Иосиф нанял служанку, пожилую свободнорождённую женщину из города Магадан, того, который стоит на границе Египта и страны Куш. Женщина носила мужское имя Эфер, что значит «газель», и сама была похожа на воина пустыни: коричневое удлинённое сухое лицо, орлиный нос, белые волосы, которые она собирала в пук на темени, и зоркие жёлтые глаза. Она умерла, когда мне было шестнадцать лет, и я до сих пор очень хорошо её помню. Муж её, Шимон, мастер колодцев и каналов, работал у Оронта в саду, и ему помогали две их дочери, Ханна и Фамарь. Муж и старшая дочь погибли в страшные времена мятежа Архелая, которые наступят уже совсем скоро, а младшая, Ханна, вышла замуж за финикийского купца, чтущего Закон, и в один год с моим рождением родила дочь, которую назвала Мирьям, но по обычаю города Сидона произносила на греческий манер: Мария.

Думаю, понятно всем, что Эфер нам послал Оронт. Она научила маму изображать беременную, подсказывала, что носить, как ходить и о чём говорить.

Настала середина лета, и широко разнеслась весть о рождении у тёти Элишбет сына. Его назвали Иоханан.

Но вернёмся к царю Ироду, который как раз в эти дни начал чувствовать себя скверно. Томила жажда, и несильные, но изнуряюще-долгие потуги заставляли его подолгу проводить время

в отхожем чулане. Увы, Оронт числился узником и пребывал то ли в башне в Антонионе, в светлом и просторном застенке, то ли в Александрионе, в тюрьме похуже, его-де перевели, чтобы освободить помещение для Антипатра, то ли где-то ещё; на самом деле он жил в Иерушалайме, на постоялом дворе, и считался сабейским заклинателем змей. Увы, если бы Оронт был рядом с Иродом, он наверняка распознал бы первые признаки отравления мякотью индийского ореха (того самого, который нельзя есть сырым, а нужно только варить) и, очень вероятно, сумел бы помочь. Но именно поэтому Оронта и удалили из дворца…

Ночами Ирод не спал и всё время мёрз. Обильно потели шея и грудь, от тела исходил запах мокрых лежалых перьев. Иногда он погружался в полубред и видел себя молодым.

Два года после смерти Мариамны он прожил вообще без женщин, просто забыв про них. Сестра его, Шломит, даже пыталась предложить ему себя, по примеру египетских цариц и царей, но он равнодушно отверг её, сумев, впрочем, не обидеть.

Возможно, Ироду было просто не до утех. Небывалая засуха поразила все земли от Индии до Сиренаики и от Галлии до страны Куш. В Галилее пшеница уродилась меньше, чем сам-три—вместо обычного сам-десять; во всех прочих областях урожая не было совсем. И даже в Египте, этой житнице Ойкумены, намолот упал на четверть. Наместником Египта в ту пору был Петроний, известный своим любостяжательством. Ирод собрал все свои драгоценности, камни отделил, а золото переплавил, и отвёз всё это Петронию, и вручил сам, своими руками. За это он получил право купить пшеницу по огромной цене, но зато в первую очередь.

Он раздавал её народу, как величайшую ценность, едва ли не сам проверяя списки и из своих рук отсыпая меры. Многие хитрые, кто хотел урвать из запасов, были убиты нещадно, и весовщик, пойманный с горстью зёрен в кошеле, отправлялся ломать камни. Оделены были и здоровые—большей мерой, чтобы могли работать, и больные и старые—меньшей, но такой, чтобы не умереть; часть пшеницы он послал в Сирию как семена для посевов—в обмен на шерсть и овчины для тёплой одежды; это раздавалось даром. Он кормил свой народ и держал его в тепле, сколь это было возможно, и только благодаря его заботе ту зиму пережили те, кто пережил, а кто не пережил, так в том вина не царя. Чума медленно и чадно горела во многих городах, и к весне остались безлюдными Тифон и Фаратон в Самарии, Лод, Гофна, Меранот, Мицпа, Геба, Азмабет в Иудее, Элам и Небо в Эдоме—и это только те, что я помню…

И дом Ирода не миновала чума: умер младший сын Мариамны, Ферор. А у государственного управителя, Птолемея Самарского, чума забрала всю семью: жену и семерых детей…

Весной царь разослал всех, кто мог держать мотыгу, возделывать землю, и многие земли были подняты заново, а то и впервые. Семян едва хватило для такого посева, но урожай отдал всё сторицей, и можно было не только напитать себя, но и помочь соседям. Никто из тех, кто просил помощи, не получил отказа. За голодную зиму и за следующий трудный год Ирод раздал больше ста тысяч медимнов (то есть две тысячи телег, запряжённых волами) зерна иноземцам и больше восьмисот тысяч—своему народу.

Даже самые яростные враги его вынуждены были сквозь зубовный скрежет цедить ему скупые хвалы; простые же люди не скрывали своей любви, и если бы Господь действительно слышал наши молитвы, Ирод при жизни был бы взят на небо…

Но это длилось недолго, сытость памяти не подруга. Скоро снова со всех сторон стало раздаваться змеиное шипение.

Дело в том, что Ирод, изыскивая, с одной стороны, расположение римлян, а с другой—желая привлечь в Иудею язычников самаритян и филистимлян: купцов, ремесленников, строителей дорог,—стал мягко, но решительно ограничивать власть кохенов в миру. Вначале у них было отнято право судить, если провинность не касалась вопросов веры; потом язычникам разрешили воздвигать—правда, вдали от стен городов,—храмы своих богов; наконец, в тот год, когда казнены были Гешем и Ахирам, он велел построить в самом Иерушалайме театрон, а рядом с городом—стадион, тот самый, который в дни его смерти обратился в гигантскую тюрьму и только чудом не сделался местом чудовищного кровопролития. Там Ирод велел проводить подобие греческих Олимпиад—Аттические игры, приуроченные к годовщине победы при Акции. Проводились состязания борцов, кулачных бойцов, бегунов, метателей, гонки колесниц—одиночек, пар и квадриг, а также диспуты поэтов, музыкантов и танцоров. Игры эти проводились раз в пять лет, и тогда Иерушалайм и его окрестности становились сугубым Бабилоном, полным язычников и нечестивцев, собравшихся со всей Ойкумены. Слава Ирода как покровителя игр разнеслась, и однажды греки пригласили его председательствовать на их Олимпиаде, и он председательствовал на этом непотребном зрелище, на главном жертвоприношении ложным чужим богам, ибо именно так сами греки объясняют свои Олимпиады.

А тогда на новом стадионе, на первых же Аттических играх, Ирода попытались убить—тем же манером, как римляне убили Гая Юлия: много мужчин с кинжалами, и каждый наносит по удару… Впрочем, Оронт подозревал, что это покушение было подстроено через подставных лиц Яшемом, который таким способом хотел и расквитаться с давними врагами, и укрепить своё положение. Это ему полностью удалось: двенадцать юношей из хороших семей были казнены, Яшем удостоился почестей и наград, Ирод же услышал от подсудимых много горьких слов о попрании веры отцов и о том, что всё, что раньше поддерживало в народе благочестие, теперь подверглось презрению…

Может быть, Ирод задумался бы над словами, сказанными прямыми и честными людьми на пороге смерти, но тут произошло то несчастье с Мариамной, о котором я недавно рассказала, и он

просто забыл свою жизнь и дела своего народа. А потом были мор и глад, а потом — возвышение. Возможно, Ирод просто поверил в то, что всё, что он делает, он делает верно и Господь одобряет и подбадривает его.

Что ж. Такое представление о себе всегда чревато ошибками и опрометчивыми делами. В один год Ирод взял сразу двух жён, породив тем самым бурю споров среди книжников и законников. Вначале он женился на Мальфисе, самаритянке довольно простого происхождения, дочери городского судьи; она была принята на службу во дворец и занималась воспитанием сыновей Мариамны, Александра и Аристобула. Сказать, что Мальфиса была просто красива,—значит, прошипеть что-то злое и завистливое. Её красота ослепляла, и тревожила, и не забывалась, в ней был вызов и была дерзость. Увы, все эти качества в сыне её, Ироде Антипе, неблагоприятным образом преобразились, и где прежде был вызов, стала наглость, а где дерзость — грубость и нежелание считаться с ближними.

Другой женой, которую Ирод взял, была его родная племянница, тринадцатилетняя Эгла, дочь его сестры Шломит от Иосифа. Брак устроила Шломит с целью получить большее, чем прежде, влияние на Ирода. И это ей, к сожалению, удалось. Эгла, дети которой умерли во младенчестве, и сама умерла первой из всех — за год до казни Александра и Аристобула.

Отдельного упоминания стоит другая Мариамна. Оронт говорил, что взял её Ирод по совету и с согласия Мальфисы, и я ему верю. Дело было не только в красоте и имени этой ещё юной девушки, а в том, что Ироду необходим был доверенный первосвященник. После гибели Аристобула на этот пост вернулся Ананил — а с ним, напомню, у царя отношения складывались самые нелёгкие; Ананил был из тех фанатиков, которые по городу ходили пятясь, чтобы даже на миг не поворачиваться спиной к Храму. Во время чумы Ананил умер, проклиная Ирода, которого считал виновником всех казней и язв, насланных на обетованную землю. Его сменил Иешуа бен-Боэт, внучатый племянник великого саддукея-книжника Боэта бен-Шмуэля из Александрии, основателя обновленческой ветви саддукеев — боэциев (известной прежде всего тем, что наставники-цадоки практиковали битие учеников по голове специальными расщеплёнными палками; считалось, что благодаря этим ударам ученики глубже проникают в суть Закона и не заучивают отдельные положения, а охватывают всю мудрость целиком). Увы, Иешуа тяготился этим постом — хотя бы потому, что не мог подолгу пребывать на ногах под тяжестью драгоценных одежд. Он просил Ирода обратить внимание на его младшего брата Шимона, выдающегося священнослужителя, известность которого простиралась далеко за пределы Иерушалайма. Когда же Ирод пришёл в дом Шимона, он увидел Мариамну…

Всё сошлось. В первую очередь Ирод получил умного, верного и преданного ему первосвященника, а во вторую — юную Мариамну. Потом оказалось, что она капризна и зла, но Ирод терпел её ради отца, ради рода Боэтов и саддукеев-боэциев, которые стали ему мощной опорой. И потом, когда Ирод несколько раз смещал первосвященников (по разным причинам; скажем, самому Шимону пришлось уйти после того, как лицо его обезобразила оспа), он всё равно назначал на это место либо выходцев из дома Боэта, либо видных боэциев.

Нельзя сказать, чтобы священнослужители всех прочих направлений были в восторге от такого положения дел, — тем более что боэции, ощутив поддержку, ввели в обычай приходить на религиозные диспуты с палками, отнюдь не расщеплёнными, и группами по двадцать-тридцать человек…

Тем временем Дора, Антипатр и Антигона перебрались из Тира в Александрию Египетскую. Там они жили скромно, но честно. Антипатр продолжил образование, Антигона пыталась излечить своё бесплодие — до тех пор, пока знаменитый врач Филистарх не сказал ей, что можно не тратить деньги, детей у неё не будет больше никогда. От этого известия Антигона хотела покончить с собой, но фармацевт-египтянин, к которому она пришла за ядом, сумел её разубедить.

Он рассказал ей много интересного о гадах, растениях и минералах. Вскоре Антигона стала его тайной ученицей.

Глава 7

Я просыпаюсь рано, иногда до рассвета. Мой дом стар. Балки пахнут смолой, как руки отца. Я не закрываю ставни на ночь, и птицы будят меня своими криками. Дом стоит на пологом склоне, вблизи ручья. За домом загон. Рядом проходит козья тропа. Остальные дома деревни стоят ниже и немного в стороне, и я могу — пока видят глаза — из своих дверей смотреть на площадь и на маленький навес на четырёх столбах, храм Гебы, которая почему-то считается покровительницей здешних сёл, а дальше, за деревней, у поворота на кладбище, чернеет кумирня Гекаты, ночной охотницы; когда в темноте ветер с гор, я слышу рык её псов за стеной.

Но я ещё жива, и дух мой не бродит среди камней. Я сама спускаюсь к воде, сама дою своих коз и сама пеку хлеб. Мне дают в долг всё, что я ни попрошу, потому что четырежды в год из города приходит мальчик и приносит мешочек с латунью и серебром. Что хорошо у римлян, так это точность в деньгах. Евреям я не доверила бы и оловянного обола.

И не говорите мне, что я не люблю соплеменников. Я всего лишь справедлива.

Мой дух не бродит среди камней, но странствия его не прекращаются ни на долю часа. Стоит мне забыться или отвлечься от грубого, шершавого и холодного, что вокруг, как он устремляется назад, назад, и не вернёшь, и приходится ждать. И я жду, терпеливо и кротко.

Вскоре после свадьбы отец вновь отправился в Сирию — покупать лес, а мама осталась управлять

домом — с помощью Эфер. Дом Иосифа показался ей огромным, но неустроенным; слишком много помещений пустовало, в них просто были свалены какие-то ненужные вещи. В помощь к рабам — всего их у Иосифа было четверо, две женщины и двое мужчин, но конюх Иегуда для работ по дому не годился, он был слишком стар и не мог наклоняться, Иосиф содержал его просто из милосердия, — она наняла ещё двух сильных работников, и за то время, пока Иосиф отсутствовал, дом удалось привести в какое-то подобие порядка. Несколько возов хлама вывезли, множество вещей роздали бедным, деревянные полы отскоблили добела, стены обили циновками из египетского тростника, а потолки покрасили смесью соли, мела и извести. На заднем дворе соорудили очаг и там, в огромном котле, долго, день за днём, кипятили с золой прокопчённые занавесы; некоторые из них распались в прах от старости, и пришлось покупать новые.

Трудно сказать, удивился ли отец, вернувшись; скорее, он растерялся. Он рассказал мне потом, что именно в этот момент понял вдруг, что всё, происходящее с ним, происходит по-настоящему. Прежде события казались чем-то вроде долгой игры или того, как ведёт себя человек, попавший в чужое племя, в чужую страну, то есть пытается присмотреться к нравам и обычаям и держать себя соответственно им, не выдавая подлинных своих чувств — потому что не поймут. А сейчас он вошёл в дверь — и оказался в подлинной жизни. В той, которой грезил во сне, но сны эти забывал поутру.

Ещё все эти дни Эфер учила маму, как ведут себя беременные, и давала пожевать какую-то сухую траву, от которой немного бледнело лицо и как-то по-особому начинали поблёскивать глаза…

Нет, пока я не дорасскажу историю Ирода и его жён и сыновей, я никак не смогу продолжить историю нашей семьи. Кто же распорядился, чтобы мы оказались так вот сцеплены? Бог евреев или греческие мойры? Или армянские бахты, которые бродят по всему миру, где только есть армяне, опираясь на тяжёлые свои посохи и зорко вглядываясь в людей из-под пергаментных век? Или парфянские боги, так похожие на усталых воинов, забывших, за что они сражаются, и не верящих, что война когда-нибудь кончится? Или прав странный рабби Ахав из Сидона, у которого Иешуа скрывался почти три года и который говорил, что всё, назначенное нам в этой жизни, мы заслужили своими прошлыми жизнями и сейчас лишь искупаем неизвестные нам грехи или пожинаем плоды столь же неведомой благодетели?

Праздные мысли. Какой смысл искать причину, когда всё равно ничего не исправить?

Прошу меня извинить, но я нарушу благородную последовательность изложения и перейду сразу к тому роковому году, когда Ирод вернул к себе Дору и старшего сына. Случилось это так: однажды, во время приезда Антипатра в новый город отца, Себастию, выстроенный на месте древней Самарии (Ирод вдруг обнаружил, что тяготится Иерушалаймом; всё-таки этот город отторгал его, как отторгает плоть застрявший в ней наконечник стрелы), царь устроил большую охоту, взяв на неё троих старших сыновей: Антипатра, Александра и Аристобула. Младшие дети ещё не доросли до седла.

Детей уже было немало от разных женщин: царь завёл обычай жениться через каждый год. Из новых жён его какого-то внимания заслуживает иерушалаймская гречанка Клеопатра, племянница Птолемея (на плечах которого лежало повседневное управление всем государством). Нельзя сказать, что Клеопатра была как-то особенно красива — как нельзя было сказать этого про её царственную одноименницу. Та Клеопатра обжигала. В этой чувствовался спокойный ум и такая же спокойная уверенность. Я видела её изображения на геммах. Геммы передают не всё. Впрочем, о качествах Клеопатры можно судить хотя бы по её сыну Филиппу, единственному из тетрархов, кто правил мудро и мирно и оставил свой удел богатым и спокойным…

Вернёмся, однако, к охоте. Несколько дней проведя в сёдлах, они то загоняли мелких пятнистых оленей, живущих в лесах в долине реки Киссон, когда-то многоводной, судя по разбросанным валунам, а ныне текущей лишь в зимнюю пору, то подымали птиц; а под конец в дубраве затравили нескольких кабанов. Самого крупного секача почти в упор застрелил из лука сам Ирод.

При сыновьях Ирод не стал есть мясо свиней, пусть и диких, а значит, чистых; в другие времена он ел его с удовольствием, пренебрегая Законом, потому что, как уже было сказано, полагал, что здравый смысл выше написанных когда-то слов. Но тут он отдал туши прислужникам-самаритянам, велев лишь изготовить из головы секача трофей, чтобы повесить на стену; сам же царь с сыновьями воздали должное великолепно приготовленной оленине. И вот за длительным пиром, слегка осовев от обильной пищи и сладкого вина с филистинских виноградников (это вино делают, собирая полузавядшие ягоды), Ирод рассказал, как бы он хотел удалиться от дел управления страной, передав им, своим детям, управление отдельными областями: Антипатр получал бы собственно Иудею, Александр — Галилею, Аристобул — Самарию, Ирод Боэт, сын младшей Мариамны, — Филистину, Архелай — Эдом, Ирод Филипп — Декаполис… А сам бы он странствовал по царству, любуясь красотами и останавливаясь погостить по очереди у всех своих любящих сыновей.

Может быть, Александр и Аристобул и сами очаровались такой перспективой; может быть, просто не поверили. Но вспыльчивый и простодушный Антипатр (тоже, наверное, как и отец, слегка ослабивший вином поводья разума) вскочил и закричал, что это гибель царства и гибель всех, что сильный правитель не имеет права отлынивать от возложенной на него ноши, а должен упрямо и обречённо, как верблюд по раскалённой пустыне, идти, и идти, и идти — до колодца или до могилы, что, в общем-то, одно и то же. Он никак не ожидал услышать от отца такие малодушные и трусливые речи!

Ирод обиделся. Он предлагал от чистого сердца. Он позволил себе помечтать о спокойной старости, и вдруг такое услышать… Словом, он прогнал от себя Антипатра. Всё, Антипатр ему больше не сын и пусть лучше не показывается на глаза никогда: слышишь, ты,—никогда!

Антипатр пытался возразить. Он кричал, что отец его пьян, как Ной, но пусть лучше он, Антипатр, выступит сейчас Хамом, чем всё вокруг погибнет в огне пожаров.

Ирод повторил: пошёл вон, сын ящерицы!

Антипатр вскочил на коня и куда-то поскакал.

Искали его два дня.

Ирод поставил Антипатра перед собой и долго говорил с ним наедине. Он сказал, что таким жестоким способом проверил ум и преданность своих старших сыновей—и вот убедился, что именно Антипатр лучше, чем кто-то, понимает суть дела, и притом достаточно бесстрашен, чтобы устоять перед слепым гневом отца. Если я когда-нибудь сойду с ума от забот, сказал Ирод, на тебя вся надежда.

И с тех пор Антипатр жил при нём. Жена его, Антигона, вела себя тихо и кротко—настолько, что на неё просто не обращали внимания. Через короткое время Ирод предложил и Доре перебраться в Себастию. Она подумала и согласилась.

Себастию, как я уже говорила, Ирод поставил на месте древней Самарии, снеся старый и почти необитаемый город до основания. Новый был раз в десять больше по размерам и в четыре—по населению (сравнивая, разумеется, с тем временем, когда Александр Яннай ещё не опустошил это гнездо язычества и не предал ножу его обитателей), причём население это состояло преимущественно из язычников либо самаритян, извращённо толкующих Закон; правоверные иудеи жили здесь обособленно, почти как в Риме или Александрии. Чтобы придать значение этой ещё не столице, но уже вполне царскому городу, Ирод решил выстроить на морском побережье большой порт (взамен маленького Япу), который мог бы сильно оживить торговлю. Таким портом стала Стратонова Башня. Природной бухты, чтобы укрывать корабли от морских прихотей, там не было, зато была длинная каменистая отмель, идущая почти вдоль берега на расстоянии трёх-шести стадиев. За три года совершенно безумных работ эту отмель соединили с одной стороны с берегом, по верху её насыпали дамбу, поставили маяки и таким способом создали рукотворную гавань, хоть и узкую, но длинную, а потому вместительную. Я видела там стоящими сто пятьдесят кораблей одновременно, и были свободные места у причалов. Вскоре вырос и сам город, названный Кесарией, и прекраснее его не было в мире другого города…

Мощёная дорога, полностью подобная римским, вела от Кесарии до Себастии и дальше на восток, по долинам рек Фарах и Яббок, а после частью ответвлялась на Филадельфию и дальше тянулась в Аравию, через города Эфа и Ятриб,—в Сабейское царство и страну морских пиратов Хазар-мабет, а частью—переходила в древнюю караванную тропу, огибающую по северному краю Великую пустыню, приводящую в Междуречье, где пески заволакивают проклятый святыми и пророками Бабилон, и дальше в Кабул, и дальше, через Гиндукуш и Пенджаб,—до самой Индии и страны Церес.

Я там не была, а вот Иоханан—был. Он вернулся, богатый, сильный и крепкий, и думал, что это конец пути, а это было только начало…

Нет, это я слишком забежала вперёд.

Итак, Антигона поселилась в большом и год от году всё менее уютном доме Ирода…

Мне волей-неволей приходится приступать к той части истории, которую просто не хочется рассказывать. Я знаю, что многие из пишущих не умеют совладать с собой и, если сталкиваются с подобным, просто пропускают горький кусок жизни—в лучшем случае; обычно же заменяют его вымыслом, и не простым, а с моралью. Либо же пишут, смакуя людскую низость, и этого я уже совсем не понимаю. Я не хочу делать ни того, ни другого. Я сожму зубы и расскажу, как всё происходило и как один за другим умирали хорошие люди, потому что их смерть причиняла боль царю. Но не ставьте мне в вину то, что я расскажу это сухо и коротко, потому что в противном случае я снова начну плакать, а от слёз глаза мои слепнут надолго.

Она казалась кроткой, как ягнёнок. Её шпыняли со всех сторон, она терпела и лишь виновато улыбалась. Ей ставили в вину бездетность, и она соглашалась. Шломит, к тому времени уже схоронившая третьего мужа и от этого ожесточившаяся безмерно, делала вид, что не может запомнить имени, и называла её «эй, ты». Прочие жёны царя тоже не любили её, и даже добрая Клеопатра с ней не сблизилась, что вроде бы совсем необъяснимо. Оронт говорил, что всё дело было в духах Антигоны: они слишком отдавали мертвечиной. Известно, что для правильного аромата духов парфюмеры кладут в них либо зловоннейшую амбру и мускус, либо жижу, получающуюся при гниении мяса; в самых малых, неуловимо дробных долях эти мерзкие запахи становятся необыкновенно привлекательными. Антигона сама составляла духи и благовонные палочки, и то, что она дарила другим, отличалось поразительно гармоничным ароматом; почему для себя она выбрала отталкивающий, можно только догадываться.

Несчастнее её была только Эгла, одна из старших жён Ирода. Эглу другие жёны отвергали, так же как и Антигону, и нет ничего удивительного, что бедная женщина потянулась к невестке, которая казалась много опытнее её. Даже запах мертвечины не действовал… Смерть трёх детей Эглы в совершеннейшем младенчестве подействовала на неокрепший разум бедняжки: она как будто вернулась в свои девичьи двенадцать лет и не желала с ними расставаться. Дни она проводила за ткацким станком, создавая всё более и более замысловато-узорчатые покрывальца и простынки, а вечерами приходила к Антигоне в комнаты и там

играла с куклами. У Антигоны было много кукол с головами, вылепленными из ячменного теста и хлопчатой ваты и раскрашенными тонкими кисточками; лица кукол очень походили на лица Ирода и его огромного семейства, а также многих придворных и приживалов. Всего кукол было больше двухсот. Специально для Эглы Антигона сделала кукольного младенца с мёртвыми глазами. Но и это не отпугнуло несчастную дурочку. И тогда Антигона её отравила. Она использовала, по мнению Оронта, киноварь и какие-то смолы или млечные соки, которыми долгое время заправляла сладости из мёда и орехов; Эгла обожала сладости. Киноварь, если давать её маленькими дозами, но подолгу, накапливается в селезёнке и может начать действовать разрушающе даже через некоторое время после того, как перестанет поступать извне, и не остановится после этого, а погубит человека медленно и неотвратимо; млечные же соки, добавленные тогда, когда начали проявляться первые признаки отравления, хитро замаскировали симптомы и направили мысли врачей по ложному следу.

На Антигону не пало и тени подозрения.

Вдохновлённая первым успехом, она запустила сложный механизм отмщения. Я уверена, что ей хотелось не просто убить царя — сделать это было легче лёгкого, при её-то познаниях, и никакие пробователи блюд не помогли бы воспрепятствовать замыслу, и никакие врачи не спасли бы, — нет, ей необходимо было медленно вымучить, заистязать его, заставить рыдать над могилами своих любимых детей, которых он по её наущению убьёт собственными руками, — а потом объяснить ему, абсолютно беспомощному, распростёртому пред вечностью, суть происходящего; лишить его прожитой жизни и заставить до конца всё понять и всё прочувствовать…

Мысль, что в результате этих действий на престол сядет её муж, Антипатр, тоже была не чужда Антигоне, но она отдавала себе очень трезвый отчёт, что шансы на такой исход исчезающе малы. Весь её разум был направлен только на мщение — даже ценой жизни. Более того, если для полноценного возмездия понадобится смерть её любимого (без тени иронии; Антигона искренне и преданно любила Антипатра и готова была ради него на всё; почти на всё) мужа — она будет согласна.

Итак, первыми жертвами Антигона наметила себе Аристобула и Александра, самых любимых Иродом сыновей. В них он видел черты первой Мариамны, их он баловал и строго наставлял, их он отправлял в Рим на высшую имперскую выучку; они были обласканы Октавианом Августом и его женой Ливией, которая — как многие не без оснований полагали — ведала отбором претендентов, достойных занять высшие посты в Риме и в провинциях. Надо сказать, что и Антипатр прошёл горнило Рима и римской службы и не посрамил чести отца; он командовал тысячной алой сирийской союзной конницы в жестоких пограничных схватках с германцами; слава о его воинской доблести дошла в конце концов и до Себастии.

Возможно, присутствие мужа как-то отвлекло бы Антигону от её замыслов. Возможно, он заметил бы что-нибудь и принял меры. Антипатр более вдохновлялся прежней Элладой, нежели Римом; а в Элладе всем прочим городам предпочитал Спарту, героем же его юношеских грёз был царь Леонид. И сам он был по-спартански прям и невыносимо честен — при врождённой арабской вспыльчивости.

Не знаю, к чему его присутствие привело бы. Возможно, к чему-то очень страшному.

Но судьба распорядилась так, что всё это время он был далеко от дома.

На этот раз вместо яда Антигона пустила в ход клевету. Оронт, к которому она довольно часто приходила погадать о чём-нибудь невинном, уверен, что она откуда-то знала историю Яшема и его роль в смерти первой Мариамны. Откуда — остаётся загадкой; впрочем, различных предположений можно выстроить огромное количество. Слуги неприметны; а многие из них умны, и даже очень умны. Тот факт, что одной из последующих жертв оказался евнух Багой, дворцовый управляющий, Оронт объясняет тем, что Антигоне, вероятно, понадобилось избавиться от опасного свидетеля.

Оронт допускает также, что вольной или невольной помощницей Антигоны была Шломит, сестра царя. Дочь Шломит, Береника, стала женой Аристобула и родила ему пятерых детей; и чем была вызвана звериная ненависть Шломит к зятю, я не знаю. Возможно, он и сам этого не знал и не мог понять. Шломит в те годы межмужества казалась голодной пантерой, посаженной на суровые повода. Она могла в любой момент взбеситься и пустить в ход зубы и когти, а через долю плакать над жертвой и требовать быстро привести сюда нищих, чтобы выдать им милостыню. Все близкие претерпели от неё. Все, кроме Антигоны, которую она подчёркнуто не замечала. Так что Оронт не исключает и того, что Шломит раскусила Антигону, но решила некоторое время использовать её в своих интересах. Да, роль Шломит в опутывании Александра и Аристобула паутинами клеветы была немалой — но, как я уже сказала, нельзя наверняка утверждать, делала она это намеренно или же невольно.

Таково высокое искусство придворной лжи.

Кто знает, как бы ещё проявили себя демонические качества Шломит, но тут её очень кстати выдали замуж за Алекса, который был доверенным лицом госпожи Ливии, и он увёз сразу ставшую тихой и всем довольной жену к себе в Филистину. Но тень её ещё очень долго скользила в коридорах и анфиладах дворца.

Итак, с помощью подмётных писем и опасных слухов Антигона сумела создать сначала у Фемана, тогдашнего начальника дворцовой стражи, а потом и у самого Ирода картину опасного заговора отравителей. Более того: похоже, что она создала и сам заговор, сумев при этом остаться невидимой. И когда у Александра нашли яд, и когда нанятый египетский отравитель во всём сознался под пыткой, и когда несчастный раб, которому

дали попробовать пищу, тут же немедленно умер в страшных мучениях (и никто не заподозрил неладного, а ведь в Египте давным-давно не применяли как яд ни мышьяк, ни сурьму, ни медь, потому что это было грубо и слишком очевидно), и когда предъявили письма, написанные рукой Аристобула, но которых он никогда не писал,—но кто ему теперь мог поверить?—Ирод был просто потрясён. Уже тогда многие близкие ему люди отметили, что ум его потерял присущую прежде прозорливость и цепкость, а гневливость, напротив, возросла, но все думали, что это из-за того, что царь не в силах справиться с несчастьем.

Я же думаю, что это следствие постоянного употребления высушенных грибов, которые раавиты используют в своих истовых радениях и называют плащевиками. Грибной порошок имеет приятный запах и тонкий вкус и вполне мог быть подмешан к приправам, которые Ирод очень любил и употреблял помногу.

Синедрион приговорил к смерти и Александра, и Аристобула—одного как отравителя, а другого как подстрекателя к отравлению. Поскольку оба они были римские граждане, приговор должен был утвердить сам Август.

Не знаю, приложила ли Антигона руку к следующему действию драмы, или же просто так всё удачно для неё совпало, но в Галилее снова вспыхнуло восстание сторонников Маккаби, а в Иудее неожиданно выступили фарисеи и асаи[8], вежливо, но непреклонно отказавшиеся присягать Августу и Ироду; и то, и другое римские аудиторы напрямую связали с намерением восставших посадить Александра и Аристобула на отцовский престол. Таким образом, Август сделал вывод, что всё дело не в мнимом отравлении, а в старой междинастийной грызне, в которой все средства хороши; Ирод же просто не хочет, чтобы истинные причины, по которым он устраняет последних Маккаби (хоть и исключительно по материнской линии, но прежними законами престолонаследования такое допускалось), стали известны народу.

И он подписал приговор.

Когда письмо Августа доставили Ироду, у того уже проснулись сомнения в своей правоте, но—вместе с глубочайшей апатией. Он не смог заставить себя повторить дознание и суд, тем более что волнения в Галилее нарастали, фарисеев неожиданно поддержали их извечные враги саддукеи, было раскрыто несколько настоящих заговоров с целью убийства царя, на городских площадях открыто кричали к мятежу беснующиеся назареи, и даже боэции и армия, его две железные опоры, роптали. Громадный надулся гнойник, и невозможно было избежать крови…

Единственно, на что Ирод пошёл,—это не стал устраивать казни. Сыновьям объявили об освобождении и повезли из Александриона—крепости на границе Самарии и Иудеи, где их содержали до получения решения императора,—в Себастию. По дороге обоих напоили вином с маковым соком и потом задушили во сне.

Понятно, что волнения не прекратились.

Следующей жертвой Антигона избрала младшего брата Ирода, Ферора,—того самого, который вместе с Иосифом отстоял крепость Масаду и спас многих, в том числе Мариамну. Ферор был самым младшим из братьев Ирода и самым любимым. Антигона знала, куда бить.

Орудием, поразившим Ферора и его жену, отважную красавицу Иохивид, были не отрава и не клевета, а пророчество.

Здесь мне придётся немного рассказать вам, эллинам, о еврейских странностях, которые в ту пору вдруг оказались очень важны как для Иудеи, так почему-то и для Рима. Эллинам это понять трудно, почти невозможно, потому что у них совершенно иначе устроены головы.

Вся вера евреев заключена в книгах, и они молятся по написанному. Это не самое странное, что есть в мире: Иоханан говорил, что видел в Мидии и Кабуле храмы, где не молятся вообще, а походя крутят колёса с нарисованными на них молитвами, которые предназначены тому, кто видит всё с закрытыми глазами. Мир велик, и люди в нём разные, и все хвалят Предвечного на своём языке, а тот не возражает. Нет, еврейские обычаи не самые чудесные. Но есть в них пугающая особенность: время от времени некто пишет на простом пергаменте простыми чернилами простые слова, и эти слова вдруг начинают быть непреложной истиной—и лишь потому, что они написаны теми же буквами, что и священные книги. Это трудно понять, но это так. У евреев, как и у эллинов, есть свои оракулы, известково-бледные и с глазами, красными от дыма воскурений,—но если эллины от своих оракулов ждут простых ответов на простые вопросы бытия, и желательно на каждый заданный вопрос по одному ответу, то евреи в необъяснимом ослеплении считают, что все самые безумные пророчества, вываленные на пергамент, сбудутся в точности так, как написаны,—надо лишь дождаться дня.

Конечно, и двести, и сто лет назад люди в Асии, в Парфии, в Египте—да и в самом Риме—грезили тем, что придёт новый царь и появление его на свет будет обставлено знамениями и чудесами; царь же, как по волшебству, преобразует наш мир, и установится золотой век. Вспомним Вергилия: «Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, сызнова ныне времён зачинается строй величавый, дева грядёт к нам опять, грядёт Сатурново царство. Снова с высоких небес посылается новое племя. К новорождённому будь благосклонна, с которым на смену роду железному род золотой по земле расселится, дева Луцина!—уже Аполлон твой над миром владыка. При консулате твоём тот век благодатный настанет, о Поллион!—и пойдут чередою великие годы. Если в правленье твоё преступленья не вовсе исчезнут, то обессилят и мир от всечасного страха избавят. Жить ему жизнью богов, он увидит богов и героев сонмы, они же его увидят к себе приобщённым. Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей. Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, лучших первин принесёт, с плющом блуждающий баккар

8. Более известно, но менее правильно—ессеи.

перемешав и цветы колокассий с аканфом весёлым. Сами домой понесут молоком отягчённое вымя козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут. Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами. Сгинет навеки змея и трава с предательским ядом…»

Да, все так или иначе верили в эту легенду, потому что больше ни во что верить не оставалось, но только евреи сумели низвести песню к числу и таблице…

Я несправедлива? Да, я несправедлива. Око за око.

Как растолковали книжники, царь-избавитель должен быть из дома Давидова или, в крайнем случае, из Ароновой ветви левитов (так захотели, будучи у власти, Маккаби, и священники не могли с ними не согласиться); это будет как бы новое воплощение Давида, он воссоздаст царство больше прежнего, изгонит или истребит иноплеменников и установит жизнь по единому для всех Закону. До тех же пор надлежит разжигать ненависть к врагам народа и составлять списки тех, кто истинный последователь Завета, а кто ложный, и на дверях их домов рисовать знаки; когда же начнётся война против иноплеменников — а она начнётся со свержения царя-узурпатора, — небеса разверзнутся, и Господь сам встанет во главе безудержного и всепобеждающего войска… Царь-избавитель должен появиться на свет (или впервые прославиться) в Иерушалайме, и появление его будет сопровождаться знамениями: новой косматой звездой в небе, опрокинутым солнцем и невыносимыми холодами; родиться он должен в хлеву одновременно с ягнёнком, козлёнком и телёнком; когда вырастет, он станет вначале царём иудейским, а затем подчинит себе Рим и всю Ойкумену. Многие толкователи уточняли детали, что-то добавляли, а что-то отнимали от перечисленного: например, родиться он должен от непорочной девы в Бет-Лехеме Иудейском, родном городе царя Давида, избежать множества покушений, избрать духовное служение, сделаться новым богом или быть при жизни взятым на небо…

Множество непонятных и хитрых людей примеряли себя к этому набору качеств, и некоторые из них вдруг понимали, что это сказано про них; например, римский император Гай Юлий Кесарь Второй, прозванный Калигулой, верил, что пророчество — именно о нём: родился в хлеву, небо украшала красная хвостатая звезда, в раннем детстве побывал в Иерушалайме и там предстал перед народом, избежал множества покушений, стал царём… Римляне убили его самого, его жену и дочь и растоптали самоё память о нём. Возможно, он был плохим правителем, я не берусь судить. Но говорят, его очень любила городская беднота.

Много больше резонов думать о себе как об Избавителе было у Ирода Агриппы, внука Ирода. Но он, несомненно, сам распускал о себе многозначительные слухи с целью сплотить вокруг себя народ, уже и так доведённый до отчаяния. Агриппа умер в точности так же, как его великий дед, и я даже догадываюсь, чья рука приготовила, а чья поднесла яд.

«…Сомкнулись источники вечные в безднах средь гор высоких, ибо не было среди людей тех никого, кто творил бы справедливость и суд. От правителя их до малейшего из народа — во грехе всяческом.

Царь в беззаконии, а судья в неправде, а народ во грехе. Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова, в тот час, который Ты знаешь, Боже, да царит он над Израилем, отроком Твоим. И препояшь его силою поражать правителей неправедных.

Да очистит он Иерушалайм от язычников, топчущих город на погибель. В премудрости и справедливости да изгонит он грешников от наследия Твоего, да искоренит гордыню грешников, подобно сосудам глиняным сокрушит жезлом железным всякое упорство их.

Да погубит он язычников беззаконных словами уст своих, угрозою его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом сердца их.

И соберёт он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет судить колена народа, освящённого Господом Богом его.

И не позволит он поселиться среди них неправедности, и не будет с ними никакой человек, ведающий зло.

Ибо он будет знать, что все они — сыны Бога их, и разделит он их по коленам их на земле.

Ни переселенец, ни чужеродный не поселятся с ними более. Будет судить он народы и племена в премудрости и справедливости его.

И возьмёт он народы язычников служить ему под игом его, и прославит он Господа в очах всей земли, и очистит он Иерушалайм, освятив его, как был он в начале.

Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, неся в дар истомлённых сынов Иерушалайма, и дабы видеть славу Господа, коею прославил Он эту землю; и сам справедливый царь научен будет Богом о них.

И нет неправедности во дни его среди них, ибо все святы, а царь их — помазанник Господень.

Не понадеется он на коня, всадника и лук, не станет собирать себе в изобилии золота и серебра для войны, не станет оружием стяжать надежд на день войны.

Сам Господь — Царь его, надежда сильного надеждою на Бога, и поставит он все племена пред собою в страхе.

Ударит он по земле словом уст своих навеки, благословит он народ Господа в премудрости с радостию.

И сам он чист от согрешения, дабы править народом великим; обличит он правителей и уничтожит грешников властию слова своего.

И не ослабеет во дни те, уповая на Бога своего, ибо сделал его Бог сильным духом святым и премудрым в рассуждении, с мощью и справедливостью.

И благословение Господа с ним в силе его, и не ослабеет он. Упование его на Господа, и кто может против него? Мощный в делах своих и сильный в страхе Божием, пасущий стадо Господне в вере и справедливости, не даст он ослабеть никому на пастбище их.

В благочестии поведёт он их всех, и не будет среди них гордыни для угнетения среди них.

Такова краса царя Израиля, которую познал Бог, восставив его над домом Израиля для вразумления его.

Речи его, пламенем очищенные, драгоценнее золота, в собраниях будет судить он людей — колена освящённых.

Слова его — как слова святых среди людей освящённых.

Блаженны, кто будет жить в те дни, ибо узрят они сотворённое Богом счастие Израиля в собрании колен его.

Да ускорит Бог милость Свою над Израилем, да избавит нас от нечистоты врагов нечестивых. Сам Господь — Царь наш во веки вечные, с того дня, как утвердил их Бог, и от века. И не отклонились с того дня, как утвердил Он их; с давних времён не отступили они от пути своего, если Сам Бог не приказал им через слуг Своих»[9].

Помните, гордецы и надменные: какою мерою меряете, такою же и вам будет отмерено…

Так говорил Иешуа.

Я отвлеклась. А хотела быть краткой.

Так вот, Ферор и Иохивид. Вдруг в городах появились бродячие проповедники, кричащие, что то ли именно Ферор и есть грядущий царь-избавитель, то ли Ферор будет царём, при котором Избавитель родится — от кого бы вы думали? — от евнуха Багоя. Как раз накануне Иохивид внесла в казну штраф за фарисеев, не желающих давать присягу Августу, чем вызвала недовольство первосвященника и его присных. В это же время стали известны подробности о страшной резне, учинённой в Трахоне тамошними горцами: они вырезали всех поселенцев из Эдома и Бабилонии, получивших пустующие земли кто за заслуги, а кто по земельному закладу; всего погибло, если считать с деревенскими стражниками, четыре тысячи человек. А несколько раньше был раскрыт заговор армейских командиров…

В общем, Багоя, схваченных проповедников и нескольких столичных фарисеев, открыто призывавших к бунту, казнили, а Ферора с женой отправили в ссылку в Перею. Там их по-родственному навестила Антигона, грустившая без мужа: Антипатр опять уплыл в Рим с важным посольским поручением. Спустя месяц после её отъезда Ферор заболел. Сначала врачи решили, что это камни в почках… Ферор умер после семидневной агонии в страшных мучениях на руках у старшего брата, который уже и сам чувствовал необъяснимые недомогания. И тут опять появились перехваченные письма к Иохивид, где некто перечислял, какие порошки и притирания нужно использовать при магических обрядах, позволяющих убить жертву на расстоянии, имея лишь её изображение.

Иохивид была схвачена, обвинена в причастности к попыткам отравить царя и в непотребной волшбе, подвергнута пыткам, во всём призналась и умерла в петле. Это страшно возмутило фарисеев и вылилось в открытый бунт со схватками на улицах…

Бывший первосвященник Шимон попытался образумить Ирода, был тут же лишён милости и отправлен в ссылку. За ним последовала и Мариамна с сыном Иродом Боэцием; говорили даже, что Ирод развёлся с ней; возможно. Во всяком случае, Ирод Боэций не участвовал в разделе наследства своего отца.

По делу Иохивид допрашивали также и Оронта; суда над ним не было, обвинений не предъявлялось, но после казни Иохивид он оставался в тюрьме ещё долго. Казалось, о нём просто забыли. Впрочем, сам он так не думал. Просто Антигона не стала его убивать немедленно. Он был ей нужен живым. Она раскрыла его тайну (он догадался как), она знала, что он парфянский шпион и что он мастер ядов.

Лучшего виновника грядущей смерти Ирода было просто не найти.

Надо сказать, что только на допросах и потом в тюрьме Оронт понял, кто был виновником всех умертвий и что двигало её рукой. Почему-то раньше это ему категорически не приходило в голову. Наверное, опять же из-за духов. Женщину, от которой вызывающе пахнет мертвечиной, трудно заподозрить в намерениях совершить убийство.

Тогда Оронт понял, что нужно спешить. Он написал начальнику дворцовой стражи Феману письмо, в котором делился своими соображениями. Феман письма не получил — во всяком случае, так он утверждал после. Но Оронта вдруг решили перевести из Гирканиона в другую тюрьму — в крепость Эфрон. Это была даже не крепость, а башня с крошечным гарнизоном в девять человек; рядом с башней стояли несколько хижин. Узника никто не охранял. Башня была доверху набита неразобранными книгами на всевозможных языках мира, и это было единственное, что удерживало здесь Оронта. И всё же однажды утром он собрался, попрощался с солдатами и ушёл.

После несчастья с Александром и Аристобулом Ирод видел около себя единственного настоящего наследника своего дела, который сумеет удержать в пригоршне эти неистово пылающие угли, почему-то именуемые народом. Понятно, что имя наследнику было Антипатр. Все остальные сыновья либо ещё не вышли летами, либо казались слабыми — например, Ирод Антипа. Священники и женщины могли вертеть им как угодно. Кроме того, слабые часто бывают жестокими. Так оно и случилось, кстати.

И, похоже, он не понимал Филиппа. Я думаю, просто не понимал. Они были очень разные.

У Антипатра был единственный изъян: любимая бездетная жена. Поэтому, когда траур был снят, Ирод призвал к себе Антипатра, Антигону и Дору и распорядился — очень мягко, но непреклонно — подыскивать наследнику вторую жену.

Как ни покажется кому-то странным, Антипатр, сын столь многолюбивого отца, не знал другой женщины, кроме Антигоны. Может быть, этому

9. Псалмы Соломона, псалом 17.

виной было любовное зелье, которое она ему регулярно подливала в вино; может быть, что-то ещё; может быть, те самые духи, которые другим людям казались отталкивающими. Тем не менее, Доре пришлось преодолеть немалое его сопротивление, прежде чем она смогла заставить его взять для начала наложницу. Чтобы научиться не отгораживать потом от себя новую жену болезненной привязанностью к прежней.

Наложница, маленького роста пухленькая львинокудрая иудейка простого рода с огромными глазами цвета маслин, была робка и молчалива днём и расточительно обильна любовью по ночам. С нею Антипатр вдруг стал задумываться о том, а действительно ли так уж хороша была его прежняя жизнь…

И тут подоспело обручение, а вскоре и венчание. Женой его стала тринадцатилетняя—старшая—дочь безвинно погибшего брата Аристобула, по имени, как нетрудно догадаться, Мариамна.

Случилось это за год до смерти Ирода.

Ирод добился мира. Стольких лет мира подряд не было ни до него, ни после него.

Ирод искоренил разбой. В последние десятилетия его царствования двери домов вновь перестали запираться, а добрые люди перестали бояться выходить из домов по ночам или ходить из города в город поодиночке.

Ирод расширил царство. Никогда Закон не властвовал на стольких землях—ни при Шауле, ни при Давиде, ни при мудрейшем блистательном Шломо.

Ирод построил города. Никто до него не создал таких прекрасных городов, как Себастия, Кесария Морская, Аполлония Суза, Бетания. Никто не построил и после—разве что Филипп; но Филипп построил только один город, хотя и имел больше времени.

Ирод построил и крепости, чтобы обезопасить земли. Он восстановил и усилил Масаду и Михвару, он поставил заново Александрион, Киприон, Гирканион, Иродион, Малату, Гамалу, Панею—и более двадцати малых крепостей и сторожевых башен; армия его была сильна и быстра; она восхищала даже врагов.

Ирод восстановил Храм. Он восстановил его в той силе и в том великолепии, которых хотел достичь блистательный Шломо, но не смог.

Ирод спас свой народ в голодные годы. Он буквально из своих рук выкормил его…

Такое не прощается. Ненависть к царю крепла год от года и наконец охватила всех. Невозможно было найти хоть кого-нибудь, кто не желал бы Ироду скорейшей мучительнейшей смерти. И, конечно, никто не способен выжить, когда его так ненавидят.

Оронт поселился в Себастии под чужой личиной и немедленно протянул во дворец свои руки и глаза. Картина, увиденная им, была страшна.

Ирода было не спасти. Медленный яд проник в его кости, в костный мозг и в селезёнку. Чёрная желчь разливалась по телу. Царь похудел; в чертах лица крылась смерть. Кожа его, и прежде смуглая, стала тёмной и истончилась. Слабость и дрожь в руках приводили его в бешенство; он начинал кричать и уже не мог остановиться. Никто не может знать, какими чудовищами он видел в часы затмения своих домочадцев…

Антигона вдруг оказалась самой приближённой к нему. Она всегда была рядом, всегда помогала, говорила умные и успокаивающие слова. Он звал её, а не кого-либо из жён, когда неутоляемая боль охватывала тело и нужно было в кого-нибудь вцепиться и переждать.

Антипатр, теперь уже царь и соправитель, уехал в Рим улаживать чрезвычайно нелепый казус, произошедший по вине Шломит, тогда ещё незамужней любвевзыскующей вдовы, и одного эдомского царька, который не захотел менять веру. Всё это тянулось не один год, привело к небольшой войне и в конце концов попало на суд кесарю Октавиану Августу. Антипатр провёл защиту блестяще, доказал, что Ирод был оклеветан и что Августу предоставили ложные сведения как о причине войны, так и о жертвах и разрушениях (реально погибло двадцать человек; царь же Скилла—кажется, так его звали—в письме к Августу заявил о двадцати тысячах погибших; Август вначале разгневался на Ирода, а когда узнал правду—на Скиллу; более всего Августа гневила заведомая ложь—и он мог простить всё что угодно, только не её); внезапно он получил сразу несколько писем, в которых тайные друзья советовали ему скрыться или хотя бы как можно дольше тянуть с возвращением в Себастию. Разумеется, Антипатр немедленно начал собираться домой, поскольку негоже царю в смутные времена пребывать где-то не там. И тут пришло письмо от Ирода, где ему прямо предписывалось вернуться.

В порту Кесарии Антипатр был арестован и под сильной стражей препровождён в Иерушалайм. Там состоялся очень странный суд над ним—в присутствии сирийского наместника консула Вара.

Оронт объясняет странности суда и некоторых последующих событий тем, что Ирод прозрел, но только на один глаз. Он понял, что кто-то целенаправленно истребляет его род, но решил, что это делают римляне руками своих ставленников. Поэтому он вывел из-под удара Антипатра, заключив его как бы до казни в крепость Антонион, что в черте Иерушалайма (к дожидающемуся смерти узнику не станут подсылать убийцу с кинжалом или ядом, не так ли?), а римлянам предъявить малодостойного, но хитрого и осторожного Антипу, выправив завещание и назначив его единственным наследником. Что ж, если бы дело было действительно в римлянах, то план Ирода был бы великолепен; более того, он полностью бы удался.

Но, увы, Ирод заблуждался. Опасность исходила не из Рима.

Стремительно умерла Мальфиса, вернувшая было себе расположение царя. Ни с того ни с сего у неё начались кровотечения, и буквально за семь дней вся кровь вытекла из неё. С похожей болезнью слегла Клеопатра, но выжила. Наверное, она

вовремя, едва почувствовав недомогание, уехала в Себастию…

Почему Оронт понял, что следующими целями Антигоны будут жена и наложница Антипатра? Только потому, что заставил себя думать, как она. Целью Антигоны была не власть, не богатство и вообще не приобретение; целью её была месть — гибель всех чад и домочадцев и выжженные всходы. Сам Ирод должен был умереть у неё на руках, в последний час перед смертью узнав, кто истребил его род, разрушил царство и убил его самого…

Умрёт ли следом она сама, Антигону совершенно не волновало.

Ах да. Я забыла сказать. И младшая Мариамна, и наложница — обе ждали детей. Наложница раньше, Мариамна пятью месяцами позже.

Наложницу звали Эстер, но Оронт велел звать её Деборой. Так Деборой она навсегда и осталась, и передала своё имя мне.

Глава 8

Думаю, что исчезновение Эстер-Деборы встревожило Антигону, но не остановило. Остановить её могло только слоновое копьё.

Я видела однажды, как старую львицу пробило копьём насквозь и пригвоздило к пню и как она, изогнувшись, перегрызла древко и бросилась на загонщиков. Ею тоже двигала только месть.

Это происходило на том стадионе, где Ирод когда-то устраивал соревнования борцов и турниры поэтов. Потом стадион сожгли. Он горел, не переставая, четыре дня.

Сам Оронт не смел показаться во дворце, даже приняв чужую личину, но встретился с несколькими нужными людьми в Нижнем городе. Этот последний год своей жизни Ирод по большей части проводил в нелюбимом Иерушалайме, а не в милой сердцу Себастии; с одной стороны, Оронту это было на руку — в Иерушалайме было проще затеряться, а в здешнем дворце у него было больше надёжных людей среди старых слуг и рабов; с другой — в Себастии он мог рассчитывать на помощь знатных самаритян, которые всё ещё были крайне расположены к царю; здесь такого мощного рычага у него не было.

Не знаю, правда ли он так думал или же просто оправдывал себя за недостаточное рвение, но, по его словам, спасти самого Ирода было уже нельзя. Может быть, если бы ранней весной убить Антигону и начать лечение царя, ещё были бы шансы на успех; но уже летом царь был обречён. Антигона искусно провела отравление: одни её яды медленно разрушали печень, другие — портили кровь, третьи — делали так, что простые болезни становились смертельными. Всё это нарастало постепенно, могучий организм сопротивлялся долго, но когда сломался, то сломался весь. И теперь уже можно было поосторожничать, спрятать яды, долго не появляться, сказавшись больной, — а Ирод уже сам искал её общества и её мудрых и глубоких бесед; ах, как она была умна, серьёзна, тонка и обольстительна… Нет, спасти Ирода возможности не было, повторял Оронт, должно быть, убеждая себя. И можно было только не дать восторжествовать Антигоне. И не дать рухнуть царству.

Казалось бы, какая корысть огромной Парфии в маленькой Иудее? Самая прямая: чем спокойнее тут, тем меньше римских войск в Сирии. Парфии, терзаемой внутренними распрями, был жизненно необходим мир и покой вблизи её границ…

Осенью царю стало настолько плохо, что он несколько раз терял сознание в обеденном зале и наконец перестал выходить к людям. В конце иперберетая — начале диоса Ирод слёг окончательно.

Жить ему осталось три месяца. Эти три месяца были самыми страшными и в его жизни, и в жизни его царства.

А потом, когда он умер, стало ещё страшнее.

Мама очень не любила вспоминать те дни, да и отец отделывался короткими историями — обычно о каких-то смешных и нелепых поступках знакомых людей. И действительно, многие вели себя нелепо. Так уж устроены люди, и с этим ничего не поделаешь. Звери, когда пожар, бегут прочь. Люди бросаются спасать что-нибудь из огня — и в суматохе спасёнными оказываются старый бурав да сточенная виноградарская серпетка…

И другое: ведь никто ничего по-настоящему не знал, все пересказывали друг другу слухи и сплетни. Мне понадобился не один год, чтобы день за днём восстановить, что же на самом деле творилось там, в сумрачных залах дворца и его внутренних двориках. Тогда же, повторяю, никто ничего не знал. Кто-то тяжело возился где-то за стенами, что-то наутро изменялось, чьи-то трупы волокли крючьями по дорожной пыли, а те, кого это не коснулось, старательно смотрели в другую сторону. Как будто невидимая мгла упала на землю, и во мгле властвовал демон Такритейя, подкрадывался, выбрасывал длинную когтистую руку, хватал за горло и мгновенно срывал человека с тропы, и все говорили: как? мы видели, человек был там; наверное, он зашёл за угол; нет, он уехал к родственникам, я знаю, он давно собирался, но он вернётся, он должен мне пять динариев, прежде он всегда возвращался… Так говорили, чтобы заклясть мглу и того, кто прячется во мгле.

Случилось, что привезённый отцом лес повис тяжким грузом на семье: отец заплатил за него, отдав три четверти свободных денег, а продать не мог, потому что все разом перестали строить дома и делать столы или ставни. Близилась зима, близились дожди, а брёвна и напиленные брусья и доски так и лежали под навесом на заднем дворе.

Полусумасшедший старый длиннобородый раавит, бывший жрец, в одной козлиной шкуре вокруг бёдер, долго кричал под окнами, что Иосиф припас брёвен достаточно, чтобы римляне наделали из них крестов и повесили на них весь Израиль. Отец пригласил его к столу и сам обмыл ему ноги. Старый жрец рассказал между прочим, что обычай казнить на кресте беглых каторжников и рабов, поднявших руку на господина, римляне

создали, злонамеренно извратив обычаи восточных народов. Крест у тех был символ четырёх стихий: земли и огня, воды и ветра; и двуединый бог, Митра и Варуна, отвечал за всё, причём как Варуна он обозревал Вселенную снаружи, а как Митра—изнутри, проникая взором вглубь до самых тончайших нитей, из которых сотканы тенёта человеческих душ. И те, кто ощущал в себе подвиг сблизиться с Митрой, опивались особого вина и велели привязывать себя к кресту, в день новолуния воздвигаемому на перекрёстке дорог; и если не умирали, то постигали тайны мира и становились святыми. Когда македонский царь Александр расширил пределы Ойкумены, обычай этот стал известен в Греции и других царствах; и до сих пор на Кипре и Родосе есть собрания митридатов, то есть «постигающих Митру». Римляне же принизили и обесчестили этот ритуал, превратив его в заурядную и позорную к тому же казнь, и скоро кресты выстроятся вдоль всех дорог, идущих от Иерушалайма, и на каждом будет висеть человек, но ни один из них не познает тайн мира и не сможет мир изменить и сделать лучше, потому что ум его будет занят одним пустым, глупым и бессмысленным вопросом: за что?!

На пустошах, чего не было уже много лет, появились стаи не то волков, не то одичавших собак. Они осмелели до того, что ночами забегали в города. Видели волчицу, которая тащила в пасти ребёнка.

Много дней подряд солнце садилось не за гору, а расплывалось в багровой пелене, затянувшей полнеба. Подобное этому бывает перед ветром из пустыни, но ветра так и не дождались. Такой же багровой и громадной, в шесть раз больше обычного, была и луна на небосклоне.

Несколько дней в Еммаусе хозяйничали моряки. Они были размалёваны, как женщины, и не знали пощады. Многих мальчиков они увели с собой; вернулся только один, но и он умер.

Приехавшие из Иерушалайма какие-то новые стражники в тёмно-красных коротких плащах схватили и увезли полтора десятка купцов, имевших торговлю с Индией. Через какое-то время стражники вернулись и забрали жён и детей купцов. Никто не знает, что стало с этими людьми, их как бы и не было никогда, а в домах их поселились пришлые филистимляне.

На рынке убили торговца мясом: в ободранном козлёнке один цирюльник опознал своего хромого пса, которому не так давно собственноручно складывал и закреплял лубком раздробленные косточки. Труп торговца пролежал на базаре целый день, пока реб Ишмаэль не уговорил людей унять гнев и разрешить похоронить мертвеца.

А через несколько дней беда случилась с ним самим. Было так: пропали двое подростков, мальчик и девочка. Их пошли искать—сначала по городу, потом за городом, в оливковых рощах и зарослях тёрна. Спустилась ночь. Какая-то часть мужчин вернулась по домам, а шестеро остались на холме, дабы переночевать и с первыми лучами зари продолжить поиски. Но ещё не настало утро, как в город вошёл и повалился на руки сторожам реб Ишмаэль. Его не узнали: вечером он был чёрен как сажа, а стал сед. Он даже не пытался говорить, а лишь смотрел на подбегающих людей, не понимая их. Разумеется, тут же, вооружившись копьями и факелами, многие—и отец среди них—бросились на холм. Холм был чуть более чем в часе ходьбы. Там ещё догорали угли костров. Среди костров был воткнут крест, на который насажена была голова осла, а отрубленные копыта привязаны к перекладине. Многие знали, что это глумление над древними богами, и людей охватила дрожь. Но куда страшнее было другое: подножие креста окружало пятиконечное как бы колесо, составленное из голых мужчин, оставшихся здесь на ночь. Лёжа головами наружу колеса и лицами против хода солнца, каждый был левой рукой привязан к правой стопе другого, а правой рукой держался за срамное место, как будто давал клятву перед судом. У всех были вспороты животы, раскроены бока в подреберьях—так, что вываливались почки,—перерезаны горла и вытащены наружу языки.

Всё вокруг было изрыто ослиными и кабаньими копытами.

Какие демоны пировали здесь?..

В страхе, в панике люди хотели броситься назад, но отец и ещё несколько сильных мужей сумели дозваться до их ставшего жалким разума; наконец убитых развязали, завернули в мешковину и унесли, чтобы похоронить по обычаю.

Реб Ишмаэль ничего не мог рассказать, и приехавшие стражники в красных плащах забрали его с собой. Как они выразились, на покаяние.

В воздухе всё время стоял запах дыма, а иногда начинало пахнуть горелой плотью.

Неизвестные маленькие банды по ночам появлялись на улицах, кого-нибудь убивали или насиловали—и исчезали, растворялись без следа, ничего не взяв.

Вскоре настал если не голод, то скудость. Пастухи отогнали стада подальше в горы, дабы не привлекать демонов, торговцы покинули рынки. А демоны между тем куражились над поздним ячменём, рисуя круги на полях. Иногда круги эти объединялись в какую-то сложную картину—а может быть, надпись,—но рассмотреть её не было ни малейшей возможности.

Говорили, что в Галилее начали летать жабы и змеи. Иногда они уставали и падали с неба. Ещё там прошёл кровавый дождь, надолго испачкав землю и сделав её непригодной для посева.

Наступали последние времена.

Мама говорила, что жили они в эту пору от утра до утра, как будто за утром уже ничего не было бы. Дважды в день Иосиф подолгу читал ей из Книги; иногда к этим чтениям присоединялась Эфер. Пища их в основном состояла из лепёшек, твёрдого козьего сыра и оливок; виноград погибал на виноградниках, и только лисам было торжество. Не было работника настолько отчаянного, чтобы решиться пойти туда.

Эфер время от времени исчезала на ночь или на две. Вернувшись, она не рассказывала ничего, но лицо её было чёрным, а глаза полны скорби.

В один день дошла весть о двух смертях: в Иерушалайме молодые фарисеи, ученики одного из бет-мидрашей, «домов мудрости», набросились на дядю Зекхарью прямо во дворе дома бывшего первосвященника Шимона и до смерти забили его тяжёлыми каменными плитами, вывернутыми из дорожки, а государственного управителя Птолемея кто-то зарезал ночью в постели и написал его кровью на стенах слова настолько ужасные, что дом пришлось сжечь. Про смерть дяди Зекхарьи ходило потом много гнусных историй: якобы он в Храме призвал Нечистого, и что его за это судил Великий Синедрион и приговорил к побиванию камнями прямо в Храме, у алтаря, и прочую подобную небывальщину,—но нет, всё это ложь, и ложь, и ложь. Просто старый Шимон знал, что боэции пользуются чем дальше, тем всё более дурной славой, что фарисеи доведены до отчаяния и готовы взяться за оружие и что первосвященником и народ, и царь хотели бы видеть личность мудрую и уравновешенную,—так вот, не готов ли Зекхарья взвалить на себя эту ношу? Зекхарья сказал, что подумает и даст ответ через несколько дней…

Ученики-фарисеи творили в те месяцы столь страшные дела, что у меня не поднимается рука всё это описывать, а главное—я не могу объяснить, почему они это делали. Те, кто после покаялся и продолжил своё служение, говорили о демоническом затмении, о том, что все их мысли и чувства как будто подменили, испачкав глумливой скотской радостью; многие-де из них понимали, что думают и поступают неверно, но не могли найти в себе силы остановиться, хотя и хотели. Их как будто несло общей волной.

Я не могу объяснить. Но что страшнее—я знаю, как это бывает. Как нормального вроде бы человека подхватывает общий поток, начинает кружить—и вдруг налетает невыносимая радость освобождения от всего человеческого, радость исступления и простоты…

Весной многих из них убили стражники и римские солдаты, а вожаки разбежались по разным странам или ушли в разбойники. Иешуа рассказывал много лет спустя о встречах с некоторыми из них; я, может быть, в своё время тоже расскажу. Но той осенью и той зимой ученики, пребывая в демоническом затмении, громили «неправедные», по их мнению, синагоги и метивты, преследовали, а порой и убивали священников и некоторых судей, которые осмеливались их вразумить, изгоняли из городов язычников и оскверняли их храмы… Говорили, что молодые фарисеи намеренно нарушают все заповеди, кроме Первой, чтобы доказать себе и другим: их действия продиктованы одной лишь любовью к Господу, а не страхом перед посмертным наказанием.

Поэтому путь их был во мраке, во лжи, в похоти и в крови.

Отец несколько раз порывался уехать из Еммауса (город был слишком близко к столице, а главное—в нём был и большой бет-мидраш, где главенствовали фарисеи, и метивта асаев, и бет-ваад, то есть «дом собрания» саддукеев, к которым стекались ученики преимущественно из Филистины,—так что диспуты в синагоге и в пригородных садах всё чаще кончались безобразной сварой) куда-нибудь подальше, и лучше всего в Рим,—но, как я уже сказала, из-за налетевшей внезапно сумятицы он не мог выручить деньги за лес, а без денег добраться до Рима попросту невозможно.

Тогда Иосиф подумал про дом в Галилее, мамино наследство. Он написал арендаторам, и те ответили, что с радостью примут хозяев, но должны предупредить, что в округе стало небезопасно и разбойники приходят даже днём, пока ещё никого не убили, но забирают и молодых парней, и девушек.

И тут вдруг пришло известие о смерти Зекхарьи. Папа и мама немедленно отправились в Ем-Риммон, поскольку там была родовая гробница дяди. Они, конечно, не успевали на похороны, но не оплакать столь замечательного родственника просто не могли. Тем сильнее был их ужас, когда выяснилось, что тело Зекхарьи то ли было предано земле в Геенне вместе с телами бродяг и прокажённых, то ли даже сожжено там же, а поддержать тётю Элишбет пришли и приехали лишь четыре её племянницы да двоюродный брат Зекхарьи, цадоки Шаул; всего же по земле живых родственников у Зекхарьи было не менее ста, и уж точно не одна тысяча учёных кохенов и левитов должна была бы провожать его на встречу со Всевышним, прервав ради этого даже изучение Закона.

Но, я думаю, слёзы собравшихся в те дни под крышей дома Элишбет были более угодны Господу, чем заученные причитания сонмов египетских плакальщиц, заполнивших в те дни Иерушалайм. Что сказать? Птолемей, бессменный государственный управитель, старинный друг нашего царя, держал в руках все поводья от царства; он не стеснялся, когда надо, натягивать их; его не любили совсем и не скоро поняли, чего лишились в его лице. Тогда же, на похоронах его, толпа исподтишка глумилась…

Плач по Зекхарье был тих, но долог. Минул положенный семидневный срок, а слёзы у всех катились и катились.

И только маленький Иоханан хранил молчание. Ему было меньше полугода, но голову его уже покрывали жёсткие чёрные кудряшки, и он всё время переворачивался на животик.

—Моё сердце сгорает в пепел, как только я подумаю, что будет с нашими детьми,—сказала Элишбет.—Этот мир не для невинных.

—Ах, тётя,—сказала мама.—Ведь все на свете были такими. И мы были такими.

—Береги себя,—сказала тётя. Они уже прощались. Она сказала это так, что маме стало зябко и страшно.

Родители тронулись в обратный путь—на повозке, запряжённой белыми мулами. Это была их любимая повозка и, пожалуй, самое большое богатство в ту пору.

В городке Бет-Лехем—крошечном, в две сотни домов, весь смысл которого заключался в том, что вырос он на перекрёстке дорог,—они

остановились на ночлег. Постоялый двор был забит: все, кто мог, расползались из Ерушалайма под самыми разными предлогами; ночи были холодны и дождливы, ночные дороги — смертельно опасны; но в дома на ночлег не пускали, да у Иосифа просто и не было чем прельстить хозяев — несколько мелких латунных и медных монет и последний серебряный шекель[10]. Ему удалось найти только пустующее стойло и купить мулам немного сена и овса; хозяин стойла, сокрушённо качая головой, принёс им толстую пропотевшую попону. Они прижались друг к другу и к стене, подоткнули с разных сторон попону и, как это ни странно, уснули.

Проснулся Иосиф от нахлынувшей тревоги: за стеной ходили и недобро совещались. Он, стараясь не шуметь, поднялся на ноги и взялся за меч. Как любой торговец, водивший караваны, он хорошо владел мечом, но сейчас было темно и слишком тесно. Потом шаги раздались уже перед стойлом, и на землю лёг синеватый свет финикийского слюдяного фонаря.

— Хозяин, — тихо позвала Эфер. Её здесь не могло быть, а значит, это была демоница Махлат, умеющая принимать любые обличия. — Хозяин, отзовитесь…

Иосиф, как любой человек, боялся нечистой силы, но боялся с позиции равного. Мулы молчали, а перед демоницей они должны биться. Хотя, может быть, мулы уже умерли… Он осторожно шагнул вперёд и, стараясь ничего не уронить, выглянул из стойла.

С тусклым фонарём в одной руке и с каким-то свёртком в другой в нескольких шагах от него действительно стояла Эфер. Над левым плечом её, путаясь в голых ветвях старого гранатового дерева, хвостом вперёд поднималась в небо косматая звезда, предвестница всех ещё не наступивших бед и несчастий.

— Я вас еле догнала, — сказала она. — И еле нашла. Подержите…

Эфер передала Иосифу тёплый свёрток, поставила фонарь на землю, а сама беззвучно скрылась за углом стойла. Там что-то происходило. Потом послышались неровные дробящие затихающие шаги: человек вёл в поводу лошадей.

Вернулась Эфер; в руках у неё был перемётный мешок.

— Пойдёмте внутрь, — сказала она. — Плохо, если нас увидят.

Они вернулись под крышу. Мулы проснулись и радостно зафыркали.

— У меня нет ничего для вас, — грустно сказала Эфер.

Мулы замолчали.

Мама уже проснулась, но выбираться из-под попоны не хотела. Хотя попона просто-таки воняла ослиным потом и даже ослиной мочой, но под ней было тепло.

— Эфер? — сонным голосом спросила она. — Это ты? Что случилось?

— Всё, — сказала Эфер. — Случилось всё. А главное, дитя моё, тебе пришло время рожать.

Свёрток на руках Иосифа издал тонкий звук.

Глава 9

Так на свет появился мой любимый брат. Вернее сказать, так он был предъявлен свету.

Что сказать? Вряд ли в Бет-Лехеме кто-то заметил хоть что-то нескладное. История была одна на много тысяч подобных ей: жена на сносях родила младенца, вполне живого; стараниями Всевышнего поблизости оказалась бродячая повитуха, которая и приняла роды; в хозяине одного из домов проснулась совесть, и он пустил родителей с младенцем пожить день-другой; у молодой матери не пошло молоко — дело житейское, — но через два дома наискосок жила кормящая мать, которой этого добра было совсем не жалко…

Плохо то, что младенец, кажется, болел, и болел серьёзно; во всяком случае, он редко открывал глазки, был вял, бледен, с синевой под глазами и возле губ; животик у него сильно раздулся, и повитухе пришлось повозиться, чтобы выпустить дурные газы. Но даже это ребёнка как будто не беспокоило: он покорно давал себя ворочать с боку на бок и поднимать за ножки.

Видимо, толика яда, убившего его мать, теперь готовилась убить и его самого.

Младшая Мариамна, жена Антипатра, умерла быстро — будто бы от укуса какой-то многоножки. Многоножку видели многие, ранка на запястье была, так что не исключено, что и яд был тот же самый. У Мариамны стала сгущаться кровь, и уже к вечеру руки и ноги её похолодели, стали по цвету почти чёрными, и из-под ногтей начала сочиться сукровица. Ночью Мариамна потеряла сознание, и наутро дворцовые лекари решили сделать ей рассечение, чтобы попытаться спасти хотя бы младенца.

Они спасли его. И в тот же день Оронт младенца похитил, подменив его мёртвым. Как это ему удалось, я не знаю. Он не рассказывал, а представить этого я не могу.

Мама говорила, что в Бет-Лехеме они провели два дня, а отец — что девять. Из этого видно, что беспокоились они о разном.

Когда мне пришлось одной охранять от беды моих детей, я поняла, что правы были оба. Тогда же я научилась и премудростям врачевания.

Эфер могла сделать очень немногое, но это немногое она сделала как надо. Дважды она отворяла младенцу кровь (и шрам от разреза над лодыжкой остался у Иешуа на всю жизнь; почему так получилось, не знаю, обычно раны и ссадины заживали на нём моментально и без следа), поила кислым соком лимона и граната, заставляла срыгивать и снова поила; ручки и ножки нужно было постоянно растирать и согревать. Когда младенец,

10. Вряд ли речь идёт о тирской тетрадрахме, которой положено было платить храмовый налог, поскольку на ней не изображались люди или животные. Скорее, имеется в виду мера веса, то есть — несколько серебряных монеток общим весом около 15 граммов. Не очень много: на самый скромный кров, хлеб и чечевицу для двоих — хватит на неделю, на десять дней, не более.

утомившись, засыпал, все стояли рядом и слушали, как он дышит…

Когда он порозовел, все робко заулыбались. А когда первый раз заплакал — заплакали сами.

Потом произошло ещё одно настоящее чудо: у мамы появилось молоко. Те, кто понимал, в чём состоит чудо, молились молча, а остальные — хозяева дома, кормилица, соседи, — просто порадовались, что у таких симпатичных людей теперь всё будет хорошо.

Иосиф продал красивых и дорогих мулов, купил двух осликов, а на разницу принёс богатую жертву. На самом деле кое-какие деньги появились и без того, Эфер их привезла, но появление денег следовало объяснить людям…

На восьмой день по рождении положено совершать обрезание крайней плоти, но старый равви бен-Хашавия, приглашённый прежде всего для совета, предложил повременить с обрядом и подождать поры, когда младенец станет совсем здоров, ибо ждал же Господь сорок лет, пока Моисей водил народ по пустыне необрезанным, и не отвернулся от народа. Иосиф с благодарностью принял совет, так что обрезали младенца уже в Еммаусе, и в доме был весёлый пир, на котором ели, пили, плясали и пели все соседи и родственники, и эти песни и музыка заглушили на время вой волков или собак на пустошах, хохот сов и другие звуки страха. Даже ветер перестал в тот вечер гнуть деревья, даже дождь обошёл стороной наш город.

Младенец перенял имя умершего в моровой год старшего сына Иосифа, Иешуа. Многие родственники потом говорили, что они необыкновенно похожи и лицом, и характером. Но это, наверное, путаница в воспоминаниях; такое случается чаще, чем принято думать.

Тем временем царь Ирод доживал свои дни. Оронт говорил, что он изучил все описания болезни и так и не пришёл к окончательному выводу о природе её. То есть он не сомневался, что в основе всего лежала смесь растительных и минеральных ядов, действующих медленно и как бы последовательно выпускающих друг друга на арену из клетки. Значительно более простая, хотя и похожая по сути, комбинация погубила Ферора… Но какие именно яды применила хитроумная Антигона, не мог сказать даже Оронт, не сомневавшийся в самом отравлении ни на миг; что говорить о других врачах, которые по разным причинам отравление отрицали?

Я не буду описывать язвы Ирода, потому что уже многие сделали это со сладострастием; не желаю уподобляться им. Он умирал в сознании и в отчаянии. Припадки умственной слабости следовали один за другим, сменяясь яростью бессилия. Ироду не хватало мудрого наставника в смерти.

Шумные и слезливые жёны кругом, тщетно скрывающие жадную радость дети…

Не этого он хотел для себя. Не этого.

Лишь Антигона была с ним постоянно, безотлучно. Неизвестно, когда она спала и спала ли вообще. Домашние полагали, что так она пытается отмолить приговорённого к смерти мужа.

Но она, наверное, даже и забыла про мужа. Ей важно было не упустить момент, когда уже можно будет всё открыть — медленно, мучительно, в подробностях, — и в то же время не дать Ироду упоить свою погибающую душу даже самым маленьким глотком самого ничтожного возмездия — например, смертью самой Антигоны…

В те дни, когда готов был родиться Иешуа, Ирод начал последнее в своей жизни путешествие. Случилось так: опьяневшие от безнаказанности молодые фарисеи из двух больших столичных бетмидрашей — в основном ученики, но с ними было и два наставника, раббуни Маттафия бен-Маргалаф и рабби Иегуда бен-Сараф (а имя Сараф означает «змея»), — осквернили Храм. Ослеплённые ненавистью и невежеством, наставники сочли сами и убедили столь же невежественных учеников, что позолоченное изваяние орла, венчающее главные ворота Храма, — это языческий римский идол, которому Ирод принуждает поклоняться всех евреев, проходящих в ворота. Вы спросите меня: могут ли рабби и раббуни не знать, что золотой орёл, распростёрший крыла, венчал также и Храм, построенный великим царём Шломо? Тень от крыльев того орла покрывала весь внутренний двор… Впрочем, и Шломо современные ему священники обвиняли в идолопоклонстве. Воистину, что ты ни делай для этих людей, а они найдут изъян в твоих благодеяниях и возненавидят тебя люто, чисто и искренне…

Так вот, толпа учеников, ведомая беспамятными наставниками, залезла сначала на кровлю Храма, перебралась на ворота и сбросила орла на камни. Потом они принялись разбивать его на части.

Ни храмовые, ни городские стражники не осмелились им помешать, и только прибытие солдат из крепости Антонион (где содержался Антипатр, но об этом чуть позже) прекратило святотатство. Многие бежали, но основных зачинщиков схватили. Оставлять арестованных фарисеев в буйствующем Иерушалайме было небезопасно, поэтому их отправили в Иерихон, город весьма традиционный, один из оплотов саддукеев. Туда же, чтобы творить суд, отправился и сам Ирод.

На суд собралось множество людей, среди них многие учителя и толкователи Закона; ни одна синагога не вместила бы их, и суд творился в амфитеатроне. Царь говорил, лёжа на постели, но его слышали все. Яростные споры продолжались четыре дня, и наконец Маттафия и Иегуда названы были исказителями заповедей и слепыми поводырями, а также виновниками осквернения Храма. За это раббуни Маттафия и несколько его учеников, непосредственно срывавших орла с ворот или дравшихся с храмовыми стражниками, были приговорены к смерти, а рабби Иегуда отправился в темницу. Через тридцать лет он вышел оттуда, когда Иешуа отворил тюрьмы…

Участие в суде отняло у Ирода последние силы. Чтобы хоть как-то сопротивиться недугу, он приказал отвезти себя на горячие источники

у Асфальтового моря, которые прежде помогали ему от всех хворостей. Но испытанное средство не помогло, и говорят, он там чуть не умер—в первый раз. Я говорю «в первый раз», потому что таких прервавшихся смертей у него было ещё четыре.

Почти безжизненного, его привезли в Иерушалайм. Тут его ждал старый тейманский лекарь, за которым посылали давно, но которого долго не могли найти. Лекаря нашёл и привёз племянник Ирода, сын его погибшего на войне брата Иосифа, Ахиб. Ахиб был необыкновенным человеком, поставившим себе целью обойти всю Ойкумену и составить её правдивое описание. Он был учён не на еврейский, не на парфянский и не на греческий, а на какой-то свой особый манер, но передать суть его понимания мира я не могу, потому что никто из знавших его не потрудился этого ни понять, ни хотя бы просто запомнить. Говорят, что, устав от странствий, Ахиб поселился где-то в Индии, высоко в горах, и там его почитали как великого учителя и пророка. Но доподлинно об этом ничего не известно ни мне, ни тем, кого я спрашивала.

Возможно, старания лекаря, а возможно, радость от общения с Ахибом сильно улучшили самочувствие царя. Но это улучшение длилось лишь два или три дня…

То, что случилось в последний день жизни Ирода и в первый день по его смерти, покрыто плотным мраком тайны и лжи. Я не буду повторять чужие выдумки, а расскажу то, что составила сама из затерявшихся по дальним углам осколочков истины. Не могу ручаться головой, что именно так всё и было на самом деле, но утверждаю и клянусь, что все до последнего мои рассуждения честны и прямы, и я ничего не скрываю, ничего не придумываю и не ставлю целью кого-то обелить, а кого-то невинного представить злодеем. И ещё: когда я думаю о произошедшем, я каждый раз вижу только одну картину и только одну цепочку событий. В цепочке нет недостающих звеньев и нет болтающихся без дела. В картине нет пустых мест и сомнительных лиц. Всё сходится.

Я хотела бы сказать: как в греческой трагедии,— но, увы, это не так. Трагедия призвана очищать душу.

Торжество Антигоны не состоялось. С приездом Ахиба Ирод вдруг сразу забыл о ней. Она несколько раз попыталась вернуть себе прежнее место у ложа скорби, но царь поблагодарил её за все заботы и велел отдыхать.

Тейманский лекарь прямо, как и положено человеку пустыни, сказал Ироду, что болезнь его неизлечима, и при этом, скорее всего, последние дни свои он будет поражен безумием. Безумия—а точнее, бед, которые он мог натворить в безумном порыве,—Ирод боялся больше, чем просто смерти.

Он составил последнее завещание, в котором объявлял, что все обвинения с царя Антипатра снимаются и он становится единственным и полновластным царём. Секретарь Ирода, Николай Дамасский, заверил это завещание; свидетелями были также Шломит и муж её Алекса. Шломит по этому завещанию отходили филистинские города Ашдод и Ашкелон.

Потом царь всех отпустил, поскольку накатывал новый приступ боли. Остались лишь лекарь и Ахиб. Лекарь напоил Ирода маковым отваром и тоже вышел. Дверь была открыта. Потом раздался вскрик Ахиба.

Ирод попросил у него маленький кривой кинжал—якобы чтобы очистить яблоко. И вонзил этот кинжал себе в грудь.

Хотя кинжал был невелик, но Ирод страшно исхудал, кожа при дыхании втягивалась меж рёбер. И острие кинжала достало до сердца.

Кто успел из близких—сбежался к его постели. Скоро царь закрыл глаза, последний раз вздохнул и вытянулся.

Ахиба и лекаря, как возможных виновников, стражники схватили и заперли тут же, в подвале дворца. Почему их не убили, никто не знает. Наверное, поначалу из-за неуверенности, а потом про них просто забыли. Однако же в начале лета оба вышли на свободу и вскоре отправились по своим делам.

А над мёртвым телом сестра царя и некоторые из детей устроили непотребный делёж. Демон Самаэль был здесь же, среди них, невидим, но пахнущ кровью и гноем.

В эту ночь произошло затмение Луны.

Первым делом договорились, что царь ещё жив. Он-де поранился, но ничего страшного, и теперь он спит.

Послали за секретарём Николаем. Тот явился. Не знаю, сколько ему заплатили, но очевидно, что не поскупились, и всю оставшуюся жизнь Николай ни в чём себе не отказывал. В результате завещание Ирода было переделано: царство его разделили по частям те, кто стоял сейчас у его тела. Произошло то, о чём (не знаю, взаправду или притворно) грезил сам Ирод и от чего яростно предупреждал его Антипатр.

Итак, Ирод Антипа получил Галилею и Перею, Архелай—Иудею и Самарию, а северные области: Гауланита, Трахонея, Батанея и Панеада—отошли Филиппу. Шломит ко всему, уже полученному ею по подлинному завещанию, добавила Фазаелиду.

Антипатр, разумеется, как противник любого раздела царства, не получил ничего.

Впрочем, никто из тетрархов тогда не помышлял о его смерти, а если и помышлял, то не говорил этого вслух; Архелай первым же своим указом намеревался помиловать старшего брата; поэтому прибытие гонца из крепости как громом поразило самозваных четверовластников (а правильнее сказать—четвертьвластников)…

Весть о том, что Ирод то ли умер, то ли совсем при смерти, как-то проникла за стены. Антипатр, содержавшийся в застенке весьма вольно, помчался к начальнику крепости, умоляя выпустить его, чтобы проститься с отцом.

Начальник в потерянности сказал что-то отказное и резкое, Антипатр не выдержал этого и бросился на него с кулаками, и стражник, тупой

деревенский парень, ударил царя копьём. Один в один повторилось то же, что когда-то произошло с Фасаэлем…

Ангел всегда слетает дважды, а подобное тянется к подобному.

Четвертьвластники ещё семь или даже восемь дней правили страной тайно и от имени как бы живого Ирода, во множестве издавая указы, сводя счёты и набирая союзников, составляя письма к императору и расписывая завещание,—так что похоронили царя только тогда, когда смерть невозможно стало скрывать.

Тогда же и принялись громко обсуждать на всех углах, за сколь же тяжкие грехи тело Ирода разложилось ещё при жизни.

Оронт навестил моих родителей через полмесяца по их возвращении в Еммаус—как раз в те дни, когда Ирод уже умер, но все думали, что ещё нет. Он пришёл под видом странствующего прорицателя, ночью, и Иосиф чуть не побил его палкой. Слишком много странствующих прорицателей шлялось тогда по дорогам, по двое и по трое, и пока один разглагольствовал с намеченной жертвой о её тяжёлой судьбе, другой незаметно пробирался человеку в душу и потом мог заставить беднягу сделать всё что угодно. Негодяи не стеснялись забирать последнее даже у вдов и сирот; старики выносили им из дому отложенные на похороны льняные плащаницы и деньги…

Оронт был невесел, он провидел беспросветные времена. Ему никак нельзя было задерживаться, потому что он опасался навести на наш дом соглядатаев и стражников, поэтому он вручил отцу мешочек денег, попросил прощения, что не может дать больше из-за своего нынешнего положения—потом он рассказывал, как выживал в этот год и чем зарабатывал, и это могло быть почти смешно, хотя на самом деле было страшно,—и посоветовал—да нет, велел, приказал—собирать вещи и бежать. Потому что, как выяснилось, случилась беда, которой не сумели предвидеть и от которой не было защиты.

У Эфер, когда она везла младенца из Иерушалайма в Ем-Риммон—и, к счастью, встретила Иосифа и Марьям на четверти пути туда,—были двое помощников, мальчик и молодая женщина, кормящая мать. Мальчик в основном и расспрашивал встречных, не попадалась ли им повозка, запряжённая приметными белыми мулами. На след упряжки они наткнулись, уже миновав Бет-Лехем, в Иродионе. Что в этих расспросах показалось подозрительным тамошним стражникам, сказать нельзя. Когда поиски завершились успешно и Эфер отпустила помощников, то они поехали прочь от Иерушалайма, намереваясь отсидеться где-нибудь в глуши—и поехали, увы, через Иродион. Там их схватили, мальчик сумел обмануть стражников и убежать, а женщину бросили в крепость. Как Оронт предполагает, её заподозрили в связях с разбойниками, стали допрашивать—и под первой же пыткой она рассказала всё, что знала. Хорошо, что она не знала ни настоящих имён, ни настоящих целей того, для чего её наняли. Однако утаить, что из Иерушалайма тайно вывезли младенца и в Бет-Лехеме передали его супружеской паре, разъезжающей на приметной упряжке из пары белых мулов, она не могла. Родителей и Иешуа спасло пока лишь то, что тайная стража бросилась искать упряжку—благо, несколько именно таких проехало в те дни через Бет-Лехем,—и никто не подумал, что похитители младенца простодушно задержатся на месте преступления, а мулов продадут по одному.

Но больше рассчитывать на везение не стоит. Рано или поздно, а след приведёт сюда, в этот дом…

Родители приняли удар стойко—как ещё не раз они потом принимали не меньшей силы удары. Что-то в них было, отличающее от многих других людей, которых я знала; у них были ясные глаза, и они никогда не теряли присутствия духа и не впадали в панику. Даже сильный страх, который они испытывали—обычно за нас, детей,—не заставлял их останавливаться как громом ударенных, размахивать руками и громко, бессмысленно кудахтать. Нужно бросить всё и куда-то бежать?—не будет никаких стенаний, царапаний лиц и проклятий, а просто и деловито побросали самое нужное в два мешка, побольше и поменьше, отдали необходимые распоряжения—если есть кому их отдавать,—вышли из дома, повернули за угол, и всё. Очень легко, очень непринуждённо, и это не только другим так казалось—это они сами так ощущали жизнь. Будь как птица, говорил мне отец, не обременяй себя придуманными пустыми заботами и ходи как летай—без дорог и троп.

Я так и делала. Никто не скажет, что я прожила неправильную жизнь. Потому что все, кто это мог бы так сказать, давно мертвы, а я вот—разговариваю с вами, и скоро снова поднимется солнце, и я его увижу.

Глава 10

Много людей шло в те дни прочь от Иерушалайма… Рынки в городе были пусты, и у ворот зерновых складов стояли тревожные толпы—ждали: а вдруг начнут выдавать пшеницу, и им не достанется. Но никто и не думал выдавать пшеницу.

Похороны Ирода—их устроил Архелай практически за свой счёт, не договорившись с братьями и тёткой о разделении расходов и в тот раз махнувший на это рукой,—и по пышности они скорее напоминали похороны какого-нибудь ассирийского владыки или фараона, а не иудейского царя. Над телом потрудились египетские бальзамировщики, поэтому смотреть на него можно было без сердечного ужаса. Упокоенное на золотом ложе, усеянном драгоценными камнями, укрытое пурпуровым тяжёлым шёлком, ниспадающим складками до земли, облачённое в багряницу, с диадемой и золотым венцом на голове, тело тем не менее казалось куда более мёртвым, нежели любое другое мёртвое тело; говорили потом, что все те, кто обихаживал тело для похорон и потому дотрагивался до него, не очистились за седмицу, а вынуждены были очищаться кто семь седмиц, а кто семижды семь; уж не знаю, правда ли это. Пятьсот священников и служителей шли впереди и по бокам от носилок,

дабы дым курений заглушал смрад. Говорят ещё, что нефритовый скипетр с золотыми ободами, который был вложен в правую руку усопшего, трижды выпадал из неё и на третий раз раскололся.

Сыновья, сестра, жёны царя, другие родственники шли рядом с носилками и позади них, простоволосые, в рваных одеждах. Следом шло войско в полном вооружении, как иудеи, так и германцы и галлы, всего двенадцать тысяч только тяжёлой пехоты. Похоронная процессия, начав движение своё на рассвете, дошла до Иродиона лишь к раннему вечеру; оттуда уже с меньшим эскортом она проследовала до Хеврона, где в пригородном летнем дворце, воздвигнутом на вершине рукотворного холма, и состоялось погребение великого царя; якобы таковой была его последняя воля.

Что сказать?—наследники проявили осторожность и осмотрительность, начисто забыв о милосердии, и величественная гробница, построенная Иродом для себя,—слева от Царского моста, в месте, откуда открывался прекрасный вид на большую часть великого города и на Храм,—эта гробница осталась стоять пустой. Говорят, потом, когда царский дворец стал дворцом префекта, римляне устроили в ней винный погреб.

В Иерушалайме же в этот день произошла большая давка. Вышло так: путь процессии лежал от дворца по Царскому мосту до Царских ворот Храма, и оттуда после молитв и жертвоприношений тело должны были вынести через Золотые ворота на окружную дорогу и уже по ней нести к Иродиону. Буквально в последнюю долю кто-то понял, что широкие носилки не пройдут в ворота, которые изначально не были предназначены для колесниц и всадников, а лишь для пеших и потому состояли из семи отдельных проёмов, разделённых мраморными колоннами с позолотой и прозванных «игольными ушками». Нельзя было начинать ломать возведённое Иродом так рано… Тогда Архелай распорядился изменить путь процессии и выносить тело через Ворота Енномовы, что в южной части городской стены,—а для того чтобы процессии не тесниться в узких переулках Нижнего города, туда пустили несколько тысяч рабочих—пробить прямой и широкий проход, причём немедленно, пока возносятся молитвы. Сколько заборов, домов, лавочек и мастерских снесли, я точно сказать не могу—много, просто много. Обломки же сбрасывали в поперечные улочки и переулки, и поэтому горожане, желающие проводить в последний путь своего царя, стекались к немногим перекрёсткам, которые оставались свободными для прохода,—в частности, к тому месту, где Водяная дорога, идущая от Ворот Источника к Сионским воротам, сливалась с этой новой дорогой, вскоре ставшей самой оживлённой в городе и получившей название Иродовой. Процессия запаздывала, народ плакал и томился; шёл час за часом. Когда же понесли носилки, толпа, стоявшая за спинами передних и довольствующаяся только звуками, чуть-чуть шевельнулась, чуть-чуть ужалась в тесной горловине старой дороги—и этого оказалось достаточно, чтобы многие стали терять сознание и после умирать, будучи подпёртыми со всех сторон такими же несчастными, как они сами; мёртвые продолжали стоять. Тома по прозвищу Дидим рассказывал мне, как оказался в той толпе ребёнком и потому только спасся, что его подхватили на плечи и передавали с рук на руки, пока не забросили на какую-то крышу. Там он и сидел до ночи, пока его не нашёл дед…

И эти смерти потом тоже поставили Ироду в укор; этот-де тайный язычник-идолопоклонник, возомнивший себя языческим богом, сам для себя устроил это человеческое жертвоприношение, эту гекатомбу. Что поделаешь? Люди таковы. Они подобны беспризорным детям или одичавшим щенкам. Брошенные и оставленные, в первую очередь они безумно несчастны, хотя и не понимают несчастья, потому что счастья никогда не испытывали. От этого их злоба. Только от этого.

(Позже первосвященник Ханан бар-Шет, в руках которого окажется вся практическая власть над городом, постановит, чтобы именно по Иродовой дороге через Енномовы Ворота из города вывозили по ночам нечистоты; и дорога, и ворота стали называться Навозными. И это лишь одна из малостей, которыми оскверняли память царя…)

Соседи рассказывали потом, что на дом наш в Еммаусе кто-то неизвестный и очень страшный совершил налёт чуть ли не через несколько часов после того, как родители покинули кров. Но отец посмеивался над этими историями, считая про себя, что в оставленный хозяевами и рабами дом пробрались сами соседи—проверить, не забыли ли тут чего ценного; так что настоящим разбойникам, вломившимся уже много позже, и оловянного обола не досталось. Он также был уверен, что за ними самими никто не гнался и специально их не искал, потому что если бы гнались и искали, то и настигли бы. Нет, говорил он, все эти жуткие истории, бывшие по дороге в Египет, ничего особенного из себя не представляли, просто тому подобного было множество в те дни…

И всё же про путь в Египет он вспоминать не любил. Потому что это было действительно страшно. Мама не рассказывала вообще ничего. Никогда и ничего.

Так что если бы ещё и Эфер забрала с собой в гробницу свои воспоминания, то эта часть истории так и осталась бы неизвестной. Но Эфер рассказала то, что помнила, своей дочери Ханне, а та—мне.

Мы были очень дружны с Ханной, несмотря на разницу в возрасте,—мы, двое заговорщиков; так длилось много лет. Потом, увы, всё кончилось плохо.

Итак, где-то под утро—час прошёл, как ускользнул Оронт,—маленькая процессия покинула дом. Вышли через задний двор, заваленный строевым лесом: впереди отважная Эфер с тисовым копьём вместо посоха и в железном нагруднике под плащом; за нею на сером ослике мама с Иешуа на руках; замыкал отряд Иосиф, вооружённый посохом из крепкого ясеня с бронзовыми обечайками, на поясе его прятался короткий киликийский меч;

в поводу Иосиф вёл второго ослика с перемётными мешками на спине.

Рабам было объявлено, что хозяева удаляются в свой дом в Галилее, и велено вести хозяйство и торговлю, но почти сразу же двое убежали, а бессильный конюх Иегуда ближе к лету умер своей смертью; оставшись одна, кухарка Фамарь перебралась в маленькую каморку на заднем дворе, оставив дом разрушаться. Впрочем, когда настали более спокойные времена, ей удалось и продать часть леса, и сохранить деньги, и даже частично восстановить дом…

Идти в Галилею можно было как через Иерушалайм, так и по приморской дороге, через Лидду и Антипатриду; в Лидду наши беглецы прибыли, замеченные многими, и ещё более многие видели, как они отправляются на север; но с дороги — действительно заполненной, как городская улица в базарный день, — они умудрились свернуть незамеченными и к исходу этого бесконечного дня оказаться в Иоппии.

Гостиница называлась «Благопосланный дельфин». Иосиф, вежливо и терпеливо поговорив с хозяином-евреем, снял для себя, «своей жены, снохи и внука» комнатку на втором этаже, имеющую отдельный выход в переулок; обычно эта комната использовалась для тайных свиданий. Плачущий ночами ребёнок здесь не так мешал бы другим постояльцам — каковых было немало. С другой стороны, сами беглецы были там почти незаметны ни для кого из посторонних.

Представился Иосиф мастером-колесничим, владельцем колёсной мастерской в Иерушалайме (один из его постоянных покупателей и давних друзей имел там подобную мастерскую, Иосиф в ней много раз бывал, дело видел, а в молодости ему ещё и учился); обеспокоенный событиями, он решил пожить пока у младшего брата на Кипре, брат давно предлагал ему долю в своём деле, он мастерит огромные телеги для перевозки камня, в каждую телегу впрягают восемь быков; и как жаль, что сын не может пока отправиться с ними, царская служба… В ответ он выслушал историю, почему гостиница называется именно так — в честь дельфина, спасшего в субботу тонущего рыбака, — и посмеялся над срамными обычаями иоппийских матрон-язычниц. В конце концов он расплатился за три дня вперёд (корабли, идущие на Кипр, стояли у причалов, но не могли покинуть порт из-за противного ветра и тяжёлых волн) и вышел из гостиницы, чтобы забрать женщин и подняться в комнату. Его провожал мальчик с фонарём и ключом.

Когда Иосиф подошёл к коновязи, где его ждали ослы и женщины, он увидел рядом с ними двух человек, по-арабски укутанных в тёмные плащи. Один что-то говорил, второй держался чуть сзади. Эфер стояла перед ними, двумя руками сжимая своё копьё и как бы отгораживаясь им, а не угрожая; Мирьям с младенцем на руках сидела под стеной и ни на что не реагировала. Сцена показалась Иосифу не угрожающей, но какой-то неприятной, нечистой.

— В чём дело, уважаемые? — громко спросил он, забрав фонарь у мальчика и подняв его левой рукой вверх.

Арабы обернулись. Они обернулись как-то неправильно, не так, как оборачиваются люди, внезапно окликнутые сзади. Тот, что до этого стоял молча, был то ли женщиной, то ли женоподобным юношей с подведёнными сурьмой раскосыми глазами. Второй, разговаривавший с Эфер, скуластый, имел аккуратно заплетённую в косицы седую бороду. Арабами они казались только со спины.

— Мир вам, — сказал седобородый. — Мы купцы из Сугуды, я и мой племянник. Сегодня мы прибыли в этот город и теперь по обычаю нашего народа хотим сделать подношение гению этого места. Это происходит так: мы выходим на улицу и вручаем подарок первой встреченной нами женщине с младенцем. Дар ни в коем случае не оскорбляет вашего Бога и не требует от вас ни малейшей благодарности. Поэтому прошу вас, господин, позвольте вашей жене или дочери принять эти скромные дары, потому что иначе дела наши пойдут скверно и неправильно.

— Вы не похожи на кушан[11], — сказала Эфер.

— Мы не кушаны, женщина, — сказал юноша с подведёнными глазами. У него был необыкновенно низкий густой гудящий голос. — Кто тебе сказал, что мы кушаны? В Сугуде живёт тысяча племён.

— Хорошо, — сказал Иосиф. — Я разрешаю. Возьми подарки, Фамарь.

Он намеренно назвал Мирьям чужим именем, но почему именно Фамарью? Это загадка и чудо. Дело в том, что именно в этот вечер разбойники из городской черни забрались в дом Шимона, мужа Эфер, и убили его самого и их старшую дочь Фамарь. Они что-то искали в доме или выпытывали что-то, потому что умер Шимон не сразу, а лишь под утро…

Может быть, это были и не разбойники. Кто знает?

Так или иначе, а осиротевшее имя Фамари хоть на время взяла себе моя мама.

— Потом можете выбросить, — прогудел юноша. — Если наши подарки для вас нечисты.

— Мы с благодарностью принимаем подарки, когда они даруются от чистого сердца и с чистыми помыслами, — сказал Иосиф.

— А мы не можем позволить себе нечистые помыслы, — сказал седобородый. — Иначе в следующий раз мы родимся врагами сами себе. — Он опустился на колени. — Как зовут тебя, малыш?

— Шимон, — сказал Иосиф.

— Вот как! — воскликнул седобородый. — «Шимон» на нашем языке означает «садовник». Значит, ты будешь возделывать свой сад и преуспеешь в этом, и сад будет цвести и благоухать весной

11. Куш, Кушанское царство — один из множества парных топонимов, часто сбивающих с толку, наряду с Бабилоном (в Месопотамии и Египте), Антиохией (в Сирии и Декаполисе), горой Геризим (в Самарии и Декаполисе же), множеством Магдал и Александрий — ну и так далее. Одно Кушанское царство находилось южнее Египта, другое — примерно на месте нынешнего Таджикистана с окрестностями. Будучи родом из африканской страны Куш и зная понаслышке, что Сугуда — часть Кушанского царства, Эфер ожидала увидеть совсем другие лица.

и приносить обильные плоды осенью. Но помни, что сухие ветви надо состригать, а стволы деревьев обматывать циновками, чтобы кору не обглодали ненасытные козы.

И с этими словами седобородый передал маме небольшую шкатулку из дерева, тёплого на ощупь. Потом он встал и поклонился.

И в следующий миг он и юноша отступили в темноту, вышли из света фонаря—и исчезли, как будто здесь никого не было.

В шкатулке было шесть золотых монет со странными знаками и с дыркой посередине, чётки или бусы из сорока четырёх тёмных ароматных деревянных шариков, двух каменных и одного серебряного, и шершавый стеклянный пузырёк размером с куриное яйцо; горлышко его было залито красным сургучом, а сквозь стенку угадывалась какая-то маслянистая жидкость. Дно шкатулки устилал шёлк, и когда—через много дней—его догадались вынуть, оказалось, что это сложенный многократно тончайший огромный прекрасный платок с такой росписью и таким тканым узором, что родителям за него несколько раз предлагали большие деньги, но они наотрез отказывались его продавать. Мама надевала его по большим праздникам, а потом подарила его Марии, внучке Эфер. Куда он делся после смерти Марии, я не знаю.

Первая ночь прошла спокойно, а может быть, они просто настолько устали, что ничего не слышали. Днём отец сходил в порт, где разговаривал с моряками о том, как бы уплыть на Кипр. Несколько капитанов готовы были взять пассажиров, однако ветер не оборотится в попутный в ближайшие три-четыре дня, это известно совершенно точно, о ветре гадали ежеутренне…

Потом Эфер сходила на базар и купила лепёшки и сыр, чтобы есть дома, а не спускаться к гостиничному столу. И ещё она купила целебных трав и настоев, потому что младенец хоть и чувствовал себя лучше, но продолжал нуждаться в лечении.

Вечером Иосиф долго молился в маленькой синагоге неподалёку от гостиницы и принёс жертвы: ягнёнка и голубя. А ночью на гостиницу произошёл налёт.

Было так: ночью маме приснилось, что младенец не дышит. Она в страхе вскочила и наклонилась над корзиной (младенец спал тяжёлым сном, разметавшись и часто дыша, он испачкался, но не проснулся; мама обмыла его, поменяла подгузник и уложила; он засунул палец в рот и задышал спокойно)—и уже хотела было лечь, но тут в заднюю стену комнаты с другой стороны дважды ударили чем-то тяжёлым, ударили настолько сильно, что с полки упал кувшин, но не разбился. Тут же страшно закричала женщина—и замолчала, будто ей заткнули рот.

Вскочила Эфер, приподнялся Иосиф. Он был в сонной одури и ничего не понимал. Эфер выглянула наружу. В переулке пока было тихо, но всё громче доносились звуки побоища из-за угла.

—Давайте быстро на крышу,—сказала Эфер.

Иосиф забросил на крышу мешки с поклажей, подсадил маму, подал ей младенца в корзине. Потом подсадил Эфер и забрался сам. Они распластались на кровле, молясь про себя, чтобы младенец не заплакал. Через малое время по лестнице застучали сандалии, твёрдые, как копыта, и два или три человека ввалились в комнату.

—Ну и где эти гиеньи ублюдки?—спросил кто-то.

—Да там же, где твоя жена!—ответил кто-то другой и захохотал.

—Ещё раз вспомнишь про мою жену, я намотаю твои кишки на кулак!

—Ты уже так давно это обещаешь, что я перестал ждать. Вон, смотри, что там в углу?

В углу, за умывальником, стояла корзина с грязным бельём. К ней, наверное, и направился разбойник.

—Да это дерьмо!

Второй снова захохотал, теперь ещё громче.

Раздался удар, звук разлетающихся осколков и плеск воды.

—А ведь дерьмо-то тёплое,—сказал первый.

—Дерьмо всегда тёплое,—сказал второй.—В пустыне, знаешь, где воробьи ночуют? Ладно, пошли. А то стражники нагрянут.

—Ага. С топорами… Ну, жаль, жаль. Сбежали, получается. Почуяли, что ли?

—Может, услышали.

—Так, значит, недалеко ушли. Поищем?

—Бесполезно. Тут спрятаться, как два узла завязать. Шаг шагнул, и настоящий лабиринт…

Они ушли. Эфер тихо, как ящерица, подползла к другому краю крыши, с которого был виден внутренний двор, и выглянула. При свете факела разбойники грузили добычу на мулов. Разбойников было человек семь или восемь. Наконец они убрались, и через некоторое время отовсюду раздались плач и причитания.

Слава Всевышнему, обошлось без убийств, но несколько постояльцев были жестоко избиты и все без исключения ограблены до нитки. Просто чудо, что ослики как стояли в стойлах, так и продолжали стоять. Должно быть, они не представляли для разбойников никакого интереса.

Когда Иосиф обратил на это внимание хозяина, тот пожал плечами, словно речь шла об очевидном, и сказал, что грабежами обычно промышляют скверные матросы, а им в последнюю очередь придёт в голову забрать осла. Да и зачем им осёл?—от него трудно избавиться, его невозможно спрятать…

Но если матросы так дерзко идут на открытый грабёж, не значит ли это, что они вот-вот отплывут на своих кораблях?

Скорее всего, да. Хотя, развёл руками хозяин, у них совсем исчез страх; может быть, днём они вернутся и будут предлагать купить у них за седьмую часть цены ваши же вещи. Сейчас повсюду так много крадут и грабят, что продать награбленное можно лишь за сущие гроши—скупщики стали капризны и переборчивы, как женихи после войны…

—Но если корабли выходят в море, нам надо поспешить в порт!—воскликнул Иосиф громко, чтобы его услышали многие вокруг.

Он всё-таки попросил на всякий случай оставить за ними оплаченную вперёд комнату, помог маме сесть на ослика, они быстрым шагом двинулись в сторону порта, потом свернули налево — и затерялись среди тёмных домов, у которых верхние — деревянные — этажи были значительно шире нижних и почти смыкались над головами, полностью закрывая небо и луну в небе.

Пока пробирались через город, они не встретили ни единого стражника и даже ни разу не слышали ударов палки о щит, которыми ночные стражники пугают воров. Зато дважды, затаившись, они пережидали проход маленьких разбойничьих шаек; разбойники были пьяны и вели себя развязно.

Крадучись выйдя из города и перебравшись через пустошь, которыми всегда обрастают города, они забились в оливковую рощу на склоне холма и там смогли отдохнуть до позднего утра. Было очень холодно, промозглый ветер так и дул с моря, не стихая. Небо было чистым и до восхода солнца полнолунным и звёздным.

Потом мне много раз упорно доказывали, что Ирод умер весной, накануне праздника Пасхи. Я точно знаю, что это не так. Возможно, путаница возникла из-за затмений: в ночь его смерти случилось лунное — это был двадцать первый день месяца аудиная, исход зимы, — а в начале ксантика (в тот год оно почти день в день совпало с началом нисана) произошло солнечное. Я думаю, людям специально нашёптывали, чтобы увязать имя уже умершего царя с событиями Кровавой Пасхи. Под этим именем она запомнилась на многие годы…

Повторюсь: великий царь умер поздним днём двадцать первого аудиная, был объявлен мёртвым двадцать девятого, похоронен тридцатого. Траур продолжался тридцать дней (а не семь, как утверждали шептуны; длить траур семь дней было бы недопустимым публичным позором для детей его), да и после этого события не могли развиваться так быстро, как об этом рассказывается…

Антипатра убили рано утром двадцать второго аудиная. Антигона отвезла его тело в Гирканион и похоронила рядом со своим великим дядей. Она тоже держала тридцатидневный траур, а потом не покидала дом и по окончании этого срока. Думаю, кто-то благодаря её добровольному затворничеству выжил.

То, что великолепно исполненный план мести не имел подобающего разрешения — Ирод так и не узнал, кто убийца его самого и его жён и детей, — сильно подкосило Антигону. Она осталась жить в Гирканионе, стремительно постарела и, кажется, потускнела умом. Восемь лет спустя её укусила крыса; от заражения крови Антигона и умерла, промучившись двадцать дней.

Дорис пережила всех. Она уехала в Рим, а потом в Сицилию и последние письма писала оттуда, будучи восьмидесятивосьмилетней. В них был стиль и отменное злое остроумие. Мне есть на кого смотреть с восхищением.

До сыновей Мальфисы, Архелая и Ирода Антипы, руки Антигоны просто не дотянулись. Будь у неё немного больше времени — и они бы непременно умерли тем или другим способом. С другой стороны, Ирод никогда не рассматривал их как реальных наследников престола, поэтому их готовили в военачальники, и лучше на императорской службе. Воспитание они получили далеко не идеальное, а образование — весьма одностороннее.

И когда вдруг и внезапно перед сыновьями Мальфисы открылась сияющая перспектива, в них обоих проснулись худшие черты характера: злобность и вспыльчивость у Архелая, завистливость и гнусное позёрство у Антипы. Кроме того, оба были жестоки без надобности — в отличие от отца, который мог быть жесток, притом чудовищно жесток, но жестокость была его мечом, который он, использовав, возвращал в ножны; сыновья этой тонкости не понимали.

Антипа знал, что при живом старшем брате ему царём не быть; на меньшее же он был не согласен. Однако подготовить полноценный заговор у него не было ни времени, ни склада ума. Антипа попытался было соблазнить своих друзей из придворной молодёжи, с которыми он, переодевшись арабом или греком, устраивал непристойные и кровавые проделки в кварталах менял и блудниц, но друзья с ужасом отказались от участия в прямом убийстве и сумели отговорить и его. Но нашёлся один, кто подсказал Антипе, как надлежит действовать, чтобы в случае неудачи не попасть под меч самому.

Это был некий Руф, филистимлянин, за несколько лет до того занявший место начальника царской конницы взамен погибшего Кенаса. Он был совсем молод для своего поста и выдвинулся исключительно за счёт храбрости и точного военного мышления. Оронт подозревает, что советы, которые Руф давал Антипе, были направлены на то, чтобы стравить обоих братьев и тем самым уничтожить их обоих — или физически, или хотя бы в глазах императора, — и, если немного повезёт, самому сесть на престол. Надо полагать, Руф хорошо знал историю возвышения Ирода.

Советы были такие: во-первых, под предлогом предотвращения волнений черни стянуть в Иерушалайм и пригороды стражников из всех сколько-нибудь крупных городов. Результатом будет разбойничий разгул по всей стране и недовольство простых честных людей, которое неминуемо обратится против правителя. Во-вторых, послать несколько десятков шептунов, которые своими речами растравят почти зажившую рану — наказание смертью бунтовщиков, сбросивших орла с фронтона Храма; их провозглашали мучениками за веру. И, наконец, в-третьих, обратить народный гнев на римлян, которые сейчас, в междуцарствие, осуществляют значительно больше власти и поэтому всегда на виду — а значит, во всём виноваты! Трудно представить себе худшие обстоятельства, чтобы самовольно присевший на престол Архелай получил бы императорское дозволение на царство.

И вот тут-то на сцене жизни появляется блистательный младший брат…

Антипа воспламенился. План был осуществлён в точности и даже с добавлениями. А именно: во время траура народное негодование подогревалось, а когда настал час решительных событий, Антипы уже не было. Антипа уплыл в Рим сразу, как только истёк срок траура.

Архелай, поняв недоброе, через несколько дней устремился следом, сделав только самые общие распоряжения.

Глава 11

Родители и Эфер, отдохнув и посовещавшись, решили идти не быстро, но чутко, опасаясь людных мест. У них был небольшой запас лепёшек, сыра и ячменя, а вода попадалась по дороге в ручьях и овечьих колодцах. Но на третий день пути, сами не желая того, они наткнулись на настоящее стойбище в несколько сот шатров и повозок. Оказывается, солдаты в крепости Азот взбунтовались, отказываются подчиняться начальникам, никого пока не обижают, но и не пропускают на юг.

Обойти же Азот было тяжело. Как все пограничные крепости, он и ставился в том месте, которое не миновать.

Что самое скверное, здесь нельзя было добыть еды, а запасы подходили к концу. Наверное, чем-то Иосиф и Эфер выделялись на фоне остальных беглецов, потому что буквально через два часа к ним подошёл молодой человек, похожий на финикийца, и сказал, что ищет попутчиков — он-де договорился с рыбаками, но у него недостаточно денег, чтобы оплатить всю большую лодку, в которой есть место ещё для троих или четверых, а их с сестрой только двое. Сначала молодой человек не вызвал ни у отца, ни у мудрой Эфер никаких подозрений, но по дороге отчего-то забеспокоилась мама. Они шли вдоль короткой быстрой реки, в устье которой и располагалась рыбачья деревня, и молодой человек как-то не так оглядывался по сторонам. Мама шепнула на ухо отцу, тот — Эфер, и они снова стали настороженны. Поэтому, когда тропа раздвоилась (часть её уходила вниз, в ложе реки, а часть продолжалась по-над ним) и юноша попытался увлечь их вниз, отец воспротивился и сказал, что пойдёт только поверху, и ничего, что это дальше. Юноша настаивал, утверждал, что тропа у берега отрывается отвесно и там не пройти, но отец ничего не хотел слышать и продолжил путь так, как желал сам.

Рыбацкая деревушка в устье действительно существовала, но она была совершенно пуста, там жила одна-единственная полуглухая старуха — и, конечно, никто не нанимал лодку, да и лодок не было никаких. На зиму рыбаки отплывали в дельту Нила и там подрабатывали перевозом, а семьи почти у всех жили в Ашкалоне. Деревня, по существу, была не деревней, а летним лагерем, потому что жить здесь зимой было невыносимо.

До Ашкалона можно пройти берегом. На повозке не проехать, а пешком и на осликах вполне можно пройти. Если не будет сильного шторма.

Она продала родителям пять сухих лепёшек и две солёные рыбины.

Разбойники не показывались: скорее всего, их было мало, может быть, двое, и нападать на ожидающую нападения жертву было не с руки, тем более что совсем рядом было множество тех, кто нападения не ожидал. Поскольку близилась ночь, Иосиф испросил у старухи разрешения переночевать в деревне, под кровом, и она сказала, что они могут войти в любой дом, дверь которого не завязана узлами от злых демонов побережья. Они нашли более или менее целый, заперлись в нём, Иосиф просидел всю ночь с обнажённым мечом, читая молитвы, а наутро обнаружилось, что у обоих осликов в нескольких местах прокушены шеи и по шкуре течет кровь. Кто это был, ласки или летучие мыши, так и осталось неизвестным. Впрочем, ослики вроде бы ничего не заметили.

Выйдя с рассветом, к полуночи добрались до Ашкалона. Город был переполнен, люди грелись у очагов, наскоро сложенных на улицах под навесами. Цены на еду были чудовищные, но её все-таки можно было купить. Хуже всего, что у мамы пропало молоко. Чудо закончилось. Эфер говорила, что это произошло из-за всех переживаний и из-за солёной рыбы.

Пришлось искать кормилицу. Вскоре на известие о беде подошла молодая египтянка. Собственная её дочь умерла два дня назад от крупа, и она готова была помочь даром, чтобы утешиться хотя бы сотворением доброго дела. Женщину звали Зоэ, что значит «жизнь». Это было знамение. Муж Зоэ, Главк, небогатый караванщик, утратил всё своё состояние от грабителей и вот в довершение потерял ещё и ребёнка. Он плакал и ничего не видел перед собой. У него остался один старый верблюд и один верблюжонок. Иосиф предложил ему — а вернее, Зоэ, — объединить два скудных скарба в один и хоть как-нибудь добраться до Египта.

С этого часа всё пошло гладко. Надо полагать, Предвечный решил, что испытаний достаточно и делать из Иосифа второго Иова просто ни к чему.

Главк и Зоэ поначалу просто пустили родителей в свой дом. Дом находился в городе Биарра, что на берегу озера Сладкого — одного из тех, что лежат на полпути от Великого моря к Красному; есть ещё Горькое, оно же Крокодилье, но я в тех местах не побывала ни разу. Когда-то через эти озёра проходил древний персидский судоходный канал; потом персов прогнали, и канал постепенно затянуло песком. Теперь вместо канала — волок. Много позже я видела, как тащат корабли по суше… Вперекрёст волоку рядом с городом проходила большая торговая дорога, соединяющая Мемфис и Петру; по ней день и ночь тянулись возы с пшеницей. Сам город утопал в зелени. Озеро было пресным и холодным; рассказывали, что время от времени вода в нём начинала бурлить и либо уходила надолго, либо выплёскивалась из берегов. Но пока родители жили там, ничего подобного не происходило.

Главк и отец сложили в одну мошну то немногое, что у них было, и открыли столярную мастерскую, где стали делать оконные ставни, двери, лестницы и кровати, а позже ещё ярма и колёса. Дерево

в Египте стоило намного дороже, чем в Иудее, и при строительстве домов его почти не использовали, а выводили сводчатые потолки из камня или кирпича. И хотя в таких домах прохладнее в сильную жару, мне больше нравятся наши, с деревянными крышами, или греческие, крытые камышом или соломой. В них легче дышать, и камень не отгораживает тебя от неба. Нельзя отгораживаться от неба камнем.

К исходу лета родители сняли себе отдельный домик — на самом берегу озера. Во дворе росли финиковая пальма и несколько инжирных деревьев. Урожай принадлежал хозяевам дома, но то, что падало на землю, можно было поднимать.

Там, под инжирными деревьями, Иешуа научился ходить.

Пока родители шли из Иоппии в Ашкалон, а из Ашкалона в Биарру, пока устраивались в Биарре и налаживали там новую жизнь, в Иерушалайме заканчивалась жизнь старая. Я расскажу об этом коротко, многое пропуская — не потому, что я чего-то не знаю, а потому, что мне об этом рассказывать противно. Я не люблю, когда глупых, но честных людей обманом гонят под меч и когда громко кричат о Боге, а сами имеют в виду золото.

Итак, пока длился траур, шептуны Антипы не теряли времени и по всей стране настраивали людей против умершего Ирода и против Архелая, присевшего на краешек его престола, но ещё не получившего от императора подтверждения своим притязаниям. Поэтому на Пасху, праздник опресноков, в Иерушалайм множество народу сошлось и съехалось не потому, что так полагал Закон, а потому, что был слух: объявит о себе новый царь, царь-искупитель, Мессия.

Антипа к этому времени был уже в Риме, Архелай — на пути к Риму. В Иерушалайме распоряжались Шломит и Вар, наместник Сирии.

Про Шломит и Вара рассказывают много плохого, но, по-моему, это всё ложь. Интереснее другое: была ли Шломит в заговоре с Антипой против Архелая? И вот здесь мне кажется, что да, была. Причём это мог быть заговор наивысшей пробы: когда заговорщики действуют сообща, не обменявшись ни единым словом и ни единым тайным знаком.

Вар привёл в Иерушалайм один легион и вскоре отбыл обратно в Дамаск. Легионом командовал некий Сабин, прибывший в Иудею из Германии буквально только что и не знавший обычаев. Поэтому, когда он заметил появление в городе и окрестностях большого количества людей, здесь явно не живущих, он отдал приказ об усилении патрулирования — тем более что по всему царству, за исключением самых северных провинций, поднялась какая-то неистовая разбойничья волна, со стороны похожая едва ли не на бунт.

Появление вооружённых римлян на улицах священного города накануне главных праздников вызвало понятное возмущение. Кроме того, шептуны пустили слух, что Сабин то ли уже разграбил царскую сокровищницу, то ли ищет спрятанное золото, то ли готов по примеру Марка Красса покуситься на сокровища Храма…

Тем временем приверженцы раббуни Маттафии, казнённого за то, что сорвал орла с фронтона Храма, вновь стали проповедовать на улицах, требуя теперь убрать из Иерушалайма уже и римских орлов — а если вдруг римляне станут возражать, то и вместе с римлянами. Помутнение началось ещё до отъезда Архелая в Рим, и он тогда сумел успокоить бунтовщиков, пообещав (разумеется, притворно) потребовать этого у императора. Скорее всего, про себя он имел в виду, что, будучи утверждённым на престоле, сумеет договориться с наместником — и римлян, как во времена Ирода, на улицах городов видно не будет. Но терпения у фарисеев не хватило, и, скорее всего, потому, что среди них были близкие друзья Антипы — те самые, которые занимались с ним ночными непотребствами, но испугались участвовать в открытом покушении на Архелая. Так что стоило Архелаю уехать, как бунт молодых фарисеев возобновился. Они громко на всех перекрёстках и площадях обвиняли и покойного царя, и Архелая во всех мыслимых и немыслимых грехах и требовали наказания для всех начальников, священников и судей, которые арестовывали Маттафию, судили и казнили; они требовали также сменить первосвященника, а нынешнему отрезать уши и вырвать ноздри; ну и так далее.

Евреи называют себя народом Книги, но при этом стараются не уточнять, что они — народ одной-единственной Книги. Среди них не принято вести, подобно римлянам, повседневные записи, и даже письма друг другу с описаниями событий они отправляют чрезвычайно редко. В понимании мира они опираются на божественные откровения, а знания о прошлом черпают из народной памяти, которая причудлива и прихотлива. Стоит ли удивляться, что в римских документах мы читаем совсем не то, что вроде бы помним наизусть с детства и принимаем за непреложную истину?

С другой стороны, римляне точны, но нелюбопытны, и если их что-то не касается напрямую, то этого как бы и не существует.

Я вот о чём: народная память сохранила события Кровавой Пасхи так, как будто они происходили дважды: непосредственно в Пасху и в Пятидесятницу. Я думаю, это произошло из-за того самого упомянутого мною смещения на два месяца (из-за путаницы с затмениями) дня смерти Ирода. Получается, что бунтовщики дважды захватывали Храм и их дважды выбивали оттуда, и всё это сопровождалось грандиозными кровопролитиями (причём в Пятидесятницу кровопролитие было несравнимо большим, каким оно всегда и бывает в вымышленных битвах). Нет, на самом деле к Пятидесятнице волнения как раз улеглись, Архелай и Антипа вернулись, оба не получив желаемого — император был мудр и понимал, что ни один из них не стоит и ногтя отца,— большой Синедрион провозгласил Ирода Великим, а время его царствования — золотым, тем самым заставив молодых фарисеев задуматься и хотя бы на время замолчать, а мятеж в армии ещё не начался, и Шимон не возложил на себя венец…

Но это я немного забежала вперёд.

Итак, накануне Пасхи в Иерушалайме наряду с паломниками собралось и немалое число людей, намеренных поднять бунт и сбросить Архелая и римлян; среди них были некий пастух Афронт и четверо его братьев, все огромного роста и нечеловеческой силы; в них сразу же признали вернувшихся Маккаби. Весть об этом облетела весь город со скоростью молнии, и как от молнии вспыхивает высохший лес, так за несколько дней до срока, предусмотренного заговорщиками, вспыхнул Иерушалайм. Завязались стычки с римскими патрулями, но поначалу дело ограничивалось переломами и синяками; римляне тоже охотнее пускали в ход дубинки, нежели мечи. Это случилось на третий день пасхальной седмицы; кровь пролилась на следующий день.

Помните, я упоминала о начальнике конницы Руфе — том самом, который и придумал весь этот демонический план? Полагая, что волнения в городе не нарастают и дело едва ли не идёт к замирению (он ошибался, поскольку не знал того, что готовят фарисеи и Афронт, но это неважно), Руф воспользовался тем, что несколько его конников дезертировали, изобразил дело так, будто их похитили и удерживают мятежники, и бросил всю алу на поиск и вызволение мнимых пленников. Вот тут уже пошли в ход мечи и стрелы…

К концу дня находившихся в городе римлян и царских пехотинцев (их было на тот момент около трех тысяч в Иерушалайме; командовал ими Валерий Грат, фракиец и, как говорят, бывший гладиатор, прошедший на службе у Ирода путь от простого кентуриона до командира гвардии; впрочем, другие люди говорят, что он происходил из обедневшей патрицианской семьи, был в молодости продан в гладиаторы за долги, смог выкупить себя и после этого поступил на службу к Ироду; что из этого правда, я не знаю) загнали в Антонион и в царский дворец, примыкающий к западной городской стене; большая часть римского легиона и сам Сабин располагались на ипподроме, за городской стеной. Бунтовщики же заняли Храм, здания вокруг Храмовой площади, обе Иосифовы стены с воротами, весь Нижний город и часть Давидова, а также кварталы вокруг Овечьего рынка. В Верхнем городе многие дома тоже были заняты бунтовщиками, в некоторых заперлись стражники, в некоторых — солдаты.

Ночь прошла, озарённая множеством костров и пожаров.

Наутро римляне легко сбили заслоны, которыми предполагалось запереть их в ипподроме, и через Рыбные и Судебные ворота вошли в город. Бунтовщики забрасывали их сверху камнями и стрелами. Убитых у римлян было немного, но раненых до половины. Это их только разозлило. Тем временем царские гвардейцы вышли из дворца и стали методично, квартал за кварталом, вытеснять бунтовщиков из Верхнего города. Ближе к вечеру римляне с севера, а гвардейцы с запада вплотную приблизились к Храму. Конница Руфа в это время держалась за стенами, контролируя мосты через Кедрон и не давая подойти подкреплениям.

Сколько было народу в Храме, сказать трудно. Ещё труднее разделить честных паломников и вооружённых бунтовщиков. Говорят, что среди молящихся вспыхнуло возмущение бунтовщиками, и именно вследствие этого множество вооружённых людей перебралось на крышу деревянных галерей, опоясывающих храмовую стену снаружи — на том уровне, где собственно подпорная стена Храмовой горы переходила в парапет, — с трёх сторон: с севера, запада и отчасти с юга; галереи эти предназначались для храмовых стражников и давали прекрасный обзор в стороны и вниз, но не предоставляли серьёзной защиты при осаде. Однако защитники Храма вовсе не были обескуражены лёгкостью своих укрытий — вернее, они решили уравновесить её грозным оружием.

На Женском дворе хранился огромный запас деревянного и каменного масла для светильников и факелов. Кувшины с ним разнесли по галереям, а наконечники стрел во множестве обмотали паклей. Именно горящие стрелы хотели использовать бунтовщики, а также глиняные и каменные лампы, которые они намеревались метать руками и пращами.

Пращники и лучники стояли на крышах и в окнах галерей тесно, мешая друг другу. Стоит ли говорить, что огонь вспыхнул при первых же звуках боя?

Спаслись оттуда немногие…

Римляне на этот раз не стали входить в Храм. Они ограничились тем, что поставили караульных у сокровищницы, что располагалась в Царском притворе, а несколько дней спустя перевезли серебро из Храма во дворец. Как выяснилось, император приказал наложить временный арест на средства умершего царя. Увы, к тому времени от двадцати тысяч осталось только четыреста талантов…

Почти все, кто погиб в Храме, погибли от давки в воротах. Когда гвардейцы Грата, прикрываясь щитами, вошли во Двор язычников, они обнаружили страшную картину: раздавленные тела у ворот лежали в несколько слоёв, и отовсюду раздавались стоны и проклятия. Самые ужасающие горы трупов лежали у Золотых ворот и у Царских…

Бунтовщики заперлись за внутренними стенами: в Женском дворе и Святилище. Поскольку большая часть гвардейцев была фракийцами, то вход им туда запрещался. Тут к Грату присоединился первосвященник Иозар, не бывший с бунтовщиками, а правильнее сказать, едва спасшийся от них по подземным переходам. Они вдвоём, презрев опасность, вступили в переговоры с вождями мятежа. Следует сказать здесь же, что и прежде Грат не раз пытался утихомиривать бунтовщиков словом, ещё при не уехавшем Архелае; молодые фарисеи его не слушали, но зато к нему привыкли.

На этот раз слова Грата подтверждены были адским пламенем, пожравшим половину защитников Храма. Оставшиеся были необыкновенно удручены этим событием.

Однако и Грат с Иозаром были ошеломлены и удручены известием о том, что, пока бушевало пламя, в Святилище на голову Афронта был

возложен царский венец, а сам он провозглашён новым царём и новым Маккаби…

Положение спасли двоюродные племянники Иозара, Шимон и Уриэль, боэции из Иерихона, возмущённые таким оборотом дела. Во главе сотни своих учеников, вооружённых мечами и копьями, они по подземным помещениям проникли внутрь Женского двора, в Клеть прокажённых. Они захватили и открыли изнутри ворота Никодима и схватились врукопашную за круговую лестницу, ведущую из Женского двора в притвор Израилев. Видя, что защиты от царских солдат и от римлян уже нет, большинство бунтовщиков побросало мечи, но несколько сотен их, во главе с Афронтом и его братьями, другими подземными помещениями ушли за городскую стену, а может быть, и за Кедрон—говорят, там есть и такие тайные ходы…

Я уже не раз сталкивалась с тем, что, когда я рассказываю про ту или иную осаду Храма, меня не понимают. Дело в том, что иерушалаймский Храм еврейского невидимого Бога, имя которого не произносится вслух, не похож ни на один из прочих храмов в Ойкумене—как не похож и сам еврейский Бог ни на одного из прочих многочисленных богов (существования которых он, впрочем, не признаёт). Храм в Иерушалайме—это мощнейшая крепость, равной которой я не встречала больше нигде. Здесь была когда-то скала и гора, позже частью срытая по краям, частью досыпанная и со всех сторон обложенная каменными брусьями, составляющими исполинскую стену; высота стены от подошвы превышает семьдесят локтей, с внутренней же стороны парапет возвышается на десять локтей. Каменные брусья в стене такие, что для доставки каждого требовались упряжки в пятьдесят и в сто быков. Таким образом, ни подкопом, ни стенобитным тараном проникнуть за стену нельзя, да и какой в этом толк, если по ту сторону стены только земля и камень? Ворота же располагаются наверху, в парапете, и к ним ведут узкие мосты или лестницы ступеней, тоже не слишком широкие. А когда неприятель всё-таки пробивается за ворота, перед ним встаёт вторая стена, в сорок локтей. И только за той стеной возвышается сам Храм…

Во множестве подземных сухих галерей постоянно хранился огромный запас муки, зерна и сена, содержались жертвенные животные, а главное—были многочисленные колодцы, в которых никогда не иссякала вода. Были также пещеры, полные отборных речных окатышей величиной с кулак—специально для пращей. Были клети, доверху забитые связками стрел и дротиков. Кто-то говорил мне, что пять тысяч солдат могут обороняться в Храме год, не испытывая нужды ни в чём[12].

Итак, бунтовщики в массе своей бежали из Иерушалайма, а те, что остались, затаились. Тем временем Вар, получивший известие о мятеже и о том, что опасности подвергнут и легион, оставленный в городе, отправился на подмогу. Понимая, что бунт надо прекращать ударом быстрым и сильным, а иначе пламя только затаится и раздуется заново, он бросил в дело два римских легиона, две римские кавалерийские алы, три сирийские алы и—с юга—армию арабского царя Ареты, давнего недруга Ирода. Также и других отрядов набиралось до пяти тысяч человек по самому скромному счёту.

Ещё до смерти Ирода, но лишь когда стало ощущаться, что власть в стране переламывается, в Галилее напомнил о себе Иегуда бар-Хизкийяху, или Иегуда Гауланит—сын того самого знаменитого разбойника, за казнь которого Ирода судил синедрион. Опустошив немало сёл и небольших городов, он отменно вооружил несколько отрядов и даже захватил Сефорис, самый крупный город провинции. Сам Иегуда расположился в тамошнем царском дворце (по разным городам у Ирода было четырнадцать дворцов) и, понятное дело, объявил себя царём, новым Маккаби. Этому никто не удивился, но никто и не поверил. Впрочем, кто знает, как обернулось бы дело, если бы не скорая смерть Иегуды в бою? Легионы Вара и конница его сына Гая окружили Сефорис, заперев там армию Иегуды, и после восьми дней боёв уничтожили всех разбойников, а город сожгли; жителей же, сумевших спастись из огня, римляне и подоспевшие сирийцы продали в рабство.

Гораздо дольше сопротивлялся царь Афронт с братьями. Они орудовали в самой Иудее, в окрестностях Иерушалайма и, стараясь не вступать в бои с крупными силами римлян, нападали исподтишка на обозы и небольшие колонны, после чего рассеивались по горам и ущельям или смешивались с местным населением. Так, в окрестностях нашего родного Еммауса Афронт разгромил римскую центурию—так неожиданно и быстро, что уцелевшие легионеры бежали, не подобрав раненых товарищей. Разбойники всем—и убитым, и раненым—отрезали детородные органы, сложили в мешки, погрузили на козла и пустили козла в римский лагерь. За это римляне сожгли половину Еммауса…

Только через год Грат сумел одолеть Афронта, да и то хитростью: он сделал вид, что хочет со своими гвардейцами перейти на его сторону, и стал вести переговоры. Когда же наступил подходящий момент, он схватил Афронта и его братьев. Братьев убили сразу, а Афронта, как венчанного царя, передали Архелаю. Что с ним случилось потом, никто доподлинно не знает; одни говорят, он просто умер в тюрьме, другие—что Архелай держал его в тайном городе где-то в горах для повторного мятежа, и только отрешение Архелая императором от власти этот мятеж предотвратило.

Самая долгая и таинственная история была с царём Шимоном Благодатным—так его прозвали. Долгое время Шимон считался просто учёным приживалом, с которым Ироду было приятно вести беседы. Шимон жил почти безвылазно во дворце в Иерихоне, очень редко приезжая в Себастию. Кроме того, у него была небольшая вилла в Магдале, на берегу Галилейского озера. Дни и годы

12. Дебора не преувеличивает. Храм по размерам почти не уступал Брестской крепости, а как инженерное фортификационное сооружение значительно превосходил её—разумеется, с поправкой на вооружение.

он проводил в учёных занятиях. Когда же Ирод умер и началось нестроение, Шимон заявил, что он — законный сын Ирода от свободнорождённой иерихонской женщины Ханны, обвенчаться с которой царю помешала только война против Антигона. Шимон предъявил народу пергаменты, очевидно написанные рукой Ирода, в которых слова эти подтверждались и имели печати. Также Шимона поддержали боэции, которых в Иерихоне было большинство среди священников и с которыми он имел давние и замечательные отношения. А поскольку Шимон был старшим среди оставшихся сыновей Ирода (и вторым по старшинству после Антипатра), то он без тени сомнения объявил себя царём и возложил на голову золотой венец…

Это произошло после Кровавой Пасхи, но до того, как Вар ввёл войска. Плохо понимавший обстановку Сабин отправил пятьсот стражников в Иерихон, чтобы они навели там порядок и привели ему самозванца в цепях и колодках.

Стражники вошли в Иерихон и остались там все. Несколько человек было по недоразумению убито, остальные присоединились к Шимону. Шимон открыл оружейные кладовые крепости Киприон и вооружил пять тысяч человек.

Следующим на усмирение Сабин послал Руфа, придав его коннице римскую когорту с осадными орудиями. На подходе к Иерихону передовой отряд попал в засаду. Конница бросилась на выручку, отбила нападение, некоторое время преследовала и убивала нападавших среди рощ. Когда Руф вернулся, оказалось, что римлян нигде нет, а осадные орудия все сожжены. Других следов боя не обнаружили. Никто так и не знает, что произошло.

Вечером того же дня Руф вошёл в Иерихон через южные ворота и поразился: город был пуст. Не было даже голубей. Он оставил полсотни всадников охранять ворота, а с прочими проследовал к царскому дворцу. Убедившись, что и во дворце нет ни души, и рассудив, что самозванец ушёл, скорее всего, в Киприон, Руф оставил отряд ночевать во дворце, за надёжными высокими стенами. К рассвету он недосчитался сорока человек — а также тех пятидесяти, что оставались у ворот. И опять же не было ни малейших следов боя.

А когда поредевшая ала покинула город, кто-то закрыл позади них ворота. Перед собой же поперёк дороги Руф увидел несчётные ряды пехотинцев с длинными копьями…

Погиб сам Руф и погибли два десятка его всадников. Ещё два десятка сумели бежать. Остальные перешли на сторону Шимона.

Настал черёд гвардии. Её повёл не Грат, который был некстати ранен и ещё не оправился, а его заместитель Ипполит. Пять тысяч отменно обученных храбрых фракийцев и германцев легко заняли Иерихон, сбив непрочные заставы на пути, посадили свой гарнизон в Киприоне, но дальше почему-то не пошли. Более того, вскоре в когортах, до того монолитных и дружных, начались распри, потом вспыхнул настоящий мятеж — и в результате гвардия раскололась: две тысячи вернулись обратно, уведённые подоспевшим Гратом, две — перешли на сторону Шимона, остальные просто куда-то делись…

К лету Шимон владел всей долиной Иордана, кроме крепости Александрион, и всей Переей, да и Декаполис склонялся к нему: как и большинство евреев Декаполиса, Шимон был саддукей; а местные язычники хорошо помнили добро, сделанное им Иродом, от чего Шимон не только не отказывался, но и говорил, что будет продолжать делать то же самое, но больше и лучше. Вообще, как я заметила, язычники и саддукеи всегда умудрялись находить общий язык; фарисеи же с язычниками обычно ссорились…

Никто не может сказать достоверно, что же погубило Шимона. Думаю, если бы он двинул свою огромную армию на Иерушалайм, одновременно завязав бы отношения с римлянами (а они бы охотно пошли на это), он неминуемо занял бы престол и правил огромным царством до конца своих дней. Но Шимон почему-то не двигался; возможно, он ожидал, что его пригласят; возможно, был уверен (а к тому шло), что Архелай и Антипа схватятся между собой, и тогда он, Шимон, выступит миротворцем и объединителем; не знаю. Кто-то вспоминал потом, что слышал, как передавали из уст в уста его слова, что-де царь не желает занимать трон в крови. Увы, он не учёл одного, а именно: огромная армия, собравшаяся для сражений, должна сражаться. Остановка и отдых означают разложение.

Огромный, едва ли не пятитысячный, отряд самовольно ушёл к Галилейскому озеру и, разбившись на шайки, на несколько лет оседлал все торговые пути — и сухопутные, и водные. Кстати, именно с тех пор разбойников, взыскующих дань на дорогах, стали называть мытарями, а тех, кто с этой же целью нападал на озёрные и речные караваны, — рыбаками. Брать немного, но готовыми деньгами — это оказалось куда более прибыльно и безопасно, чем отымать всё и потом попадаться на продаже награбленного.

Другая часть армии Шимона попыталась захватить Масаду, а когда это не удалось, ушла в Набатию и растворилась там.

Наконец, множество мелких отрядов рассеялось как по самому царству Шимона, так и по Иудее, везде творя бесчинства и грабежи. Дошло до того, что один из таких отрядов захватил, разграбил и сжёг дворец Шимона в Иерихоне. Впрочем, из них никто не ушёл живым.

Власть Шимона расползалась, как слишком жидкое тесто из рук неопытного пекаря. Ко всем прочим бедам добавился и неурожай, не позволивший собрать средства на взятку Вару, который эту взятку откровенно вымогал. Шимон предпочёл купить зерно… Тем не менее он пробыл царём ещё полтора года после сожжения дворца, демонстративно живя в походном шатре. Когда же к Перее подступил Грат с десятитысячной армией, и вокруг Шимона вновь сплотились крестьяне с копьями и кольями, и эти армии сошлись на берегах Иордана и встали, глядя друг на друга, Шимон предложил Грату не прибегать к кровопролитию,

а решить дело поединком вождей. Они сошлись на Иродовом мосту, и Грат первым же ударом убил Шимона, книжника, не умевшего сражаться на мечах…

Кстати, в этот день родилась я.

Но вернёмся ко дням после Кровавой Пасхи.

Говорят, император изначально всё же был настроен утвердить Архелая царём, имея в виду то, что и к Ироду не сразу пришла мудрость правителя. Но известия о мятеже возродили его сомнения, и он отложил это решение на неопределённый срок, даровав Архелая лишь этнархом и наказав ему стараться заслужить с годами большее.

Те же говорят, что император то ли узнал, то ли просто почувствовал, что за событиями в Иудее стоит Антипа, и хотел его незаметно казнить, но божественная Ливия отговорила императора: Антипа-де не позволит всем прочим четвертьвластникам объединиться против Рима. Так и произошло по слову её; Ливия была мудра и прозорлива до волшебства и ошибалась крайне редко.

И, наконец, говорят, что Архелай, вернувшись и узнав о трёх самокоронованных царях, громко рассмеялся, но зато когда начальник тайной стражи рассказал ему, что ребёнок Антипатра и Мариамны не умер вместе с матерью, как считалось, а был спасён лекарями, тут же кем-то неизвестным выкраден и увезён в Бет-Лехем, и там след его пропадает, тут Архелай пришёл в ужас и ярость. Поскольку Антипатр был царь и умер царём, ибо император не лишил его царского звания, а лишь подписал вынесенный приговор. А значит, где-то среди людей скрывается подлинный наследник незанятого престола…

Можно ли считать совпадением, что буквально через несколько дней какие-то разбойники числом до сотни средь бела дня напали на Бет-Лехем и помимо обычных творимых злодейств ещё и поотбирали у родителей детей по виду до года, причём многих детей даже и не забрали с собой для продажи, а просто разбили о землю во дворах или сразу за городом? И ещё два города вскоре поразила эта же беда: Бет-Ашерем и Нетофу. Впрочем, в Нетофе многих разбойников убили мужчины, и там часть младенцев уцелела.

А тот, кого они искали, в это время умирал в Биарре, в доме Главка и Зоэ. Летучая лихорадка, от которой покрываются пятнами, трясла его, и даже многие чудесные умения Эфер ни к чему не приводили: Иешуа молча сгорал в жару, таял, будто был сделан из воска, и глаза его, когда ненадолго открывались, были мучительно сухи.

По какому наитию и с каких небес Эфер вспомнила о подарке сугудских купцов? Она говорила потом, что руками её кто-то водил и она как бы смотрела на всё со стороны. Так бывает, когда долго не спишь. Она разыскала шкатулку и вынула флакон. Соскребла сургуч. Оловянная пробка вынулась с трудом. Тут же распространился тяжёлый аромат сандала и пачулей. Смочив в маслянистой красной жидкости кончик пальца, Эфер провела линию по бровям младенца, потом — от темени к кончику носа. Другой крест она нарисовала на грудке, третий — на спине. Кончик пальца у неё онемел. Вскоре Иешуа задышал свободнее, а к вечеру жар его унялся, и он стал влажный и слабый, но спокойный.

Это волшебное масло ещё не раз спасало и его, и меня, а вот на маленького Зекхарью уже не хватило…

Глава 12

Я родилась ещё в Биарре, в домике на берегу озера, под инжирными деревьями. Увы, я не помню этого домика и этого города, и даже когда я потом сама бежала в Египет, то побывать на родине мне не пришлось.

Начала я помнить себя только в Бабилоне, правобережном предместье Мемфиса; мне было три года, отец сажал меня на плечи, и мы шли к реке смотреть на лодки и мосты. Мосты тоже были на лодках, по ним проносились золотые колесницы, запряжённые восемью лошадьми. Отец был одним из тех, кто делал и содержал эти мосты.

Потом приехал Оронт. Это тогда я рассыпала мешок с деньгами. У Оронта были сапоги, каких я никогда прежде не видела: жёлтые, блестящие, с рисунками звёзд, винограда, птиц и волков; твёрдые щитки закрывали колена. Я вообще никогда раньше не видела сапог, все вокруг ходили босиком или в сандалиях с ремешками. Этими сапогами он поразил меня навсегда.

Из Бабилона мы перебрались в Агриппию, городок-крепость в пустыне, но там долго не задержались. Агриппия мне запомнилась жаркой, почти раскалённой, и будто бы вдавленной в землю; возможно, её понемногу засыпало песком. Чтобы выйти из дома, нужно было подняться по лестнице. Из Агриппии родители ушли сами, без воли Оронта, потому что в окрестностях жило что-то, что крало детей. Возможно, это был старый лев, но египтяне говорили, что тварь слишком хитра и изворотлива для льва и что лев не оставляет таких следов — лапы с когтями. Отец участвовал в одной из облав, однако охотники нашли только остатки пиршества чудовища, а более ничего.

Следующим местом, где родители попытались осесть, был городок Ламфас, лежащий в долине Нила, но не на берегу, а почти в дне пути от великой реки. Но когда Нил разливался, вода подступала к самым воротам, другого же края вод видно не было вовсе. Волны гуляли по жёлтым гладям. Ламфас был купеческим городом, а значит, очень богатым. Я помню огромные золотые барханы — это лежало зерно. Отец делал веятельные колёса, чтобы отделять зерно от плевел. Огромные — для зерноторговцев, а одно небольшое, в человеческий рост, — для нас с Иешуа. Я очень любила, когда Иешуа крутил колесо и тёплое зерно текло в подставленные ладони. Крестьяне, которые выращивали пшеницу, жили в тростниковых домах; когда был разлив, они перебирались на высокий берег в такие же тростниковые дома, а многие и просто под навесы из пальмовых листьев. Всё, что у каждого было накоплено за жизнь, умещалось в длинный узкий полотняный мешок, и египтяне верили, что этого более чем достаточно.

Потом мы жили в Канопе—городе, где строили корабли…

Как я понимаю теперь, родители выбирали—или Оронт выбирал для них—те города, где еврейской общины не было совсем или она была крошечной. И смысл этого мне вполне понятен: чем меньше глаз нас видят, тем меньше шансов, что кто-то кому-то расскажет, а тот догадается. Но я представляю себе, каково было моему богобоязненному и благочестивому отцу, не имевшему счастья помолиться рядом с единоверцами или предаться учёной беседе с другим книжником. Время от времени он, конечно, не выдерживал и уезжал, обычно в Александрию или—пока мы жили в Ламфасе—в Мемфис. Я говорила ли уже, что он наизусть помнил Пятикнижие, Псалтырь Давида, Книгу мудрости, Притчи и многое другое, причём и на священном языке, и на греческом? Больше всего я любила, когда отец читал, полуприкрыв глаза и чуть покачиваясь, из Книги Проповедника; я мало что понимала, но по спине бежали мурашки, а каменные стены казались тонкими и слабыми, как паутина в углу…

Из-за того, что мы жили среди греков и среди египтян—а надо сказать, что тех и других было нелегко отличить друг от друга,—мы с Иешуа больше походили на греческих детей, чем на еврейских. Так, например, нас не смущала нагота, и мы умели плавать. Иешуа плавал как рыба, он мог уплыть в море утром, а вернуться к вечеру; ещё он глубоко нырял и доставал со дна огромные раковины. Потом, много лет спустя, Иешуа это умение спасло: их лодка попала в бурю на Галилейском озере, и кто-то из гребцов в панике столкнул его, сидевшего на корме, в воду. Он легко добрался до берега вплавь, причём даже быстрее, чем туда пришла лодка, чем немало изумил своих товарищей. Я тоже любила плавать, но всё-таки плавала заметно хуже, а почему так, не знаю. Потом, когда мы жили в Иудее, это умение и эту любовь к открытой воде приходилось скрывать; почему-то всех умеющих плавать подозревали в том, что они, плавая, то ли намеренно, то ли незаметно для себя отдаются безглазому крокодилу Таниниверу, демону худшему, чем сама Лилит. Слава Предвечному, что галилеяне оказались куда проще и куда терпимее—разве что сами купались одетыми в специальные купальные повязки со знаками, отводящими демонов…

Так вот, у Иешуа были знаки на теле: незагорающее пятно цвета слоновой кости на левом плече размером где-то в две ладони с четвертью; и другое пятно, тёмное и поросшее волосами, на правом бедре повыше сустава—размером со сливу. И ещё у него были почти сросшиеся пальцы на ногах, второй и третий, и вообще пальцы на ногах были необыкновенной длины и гибкости, он мог ими взять с земли и бросить мячик.

Отец рассказывал потом, что корабельные верфи меня поразили настолько, что я неподвижно сидела целыми днями и во все глаза смотрела, как из ничего, по волшебству, из дощечек и палочек сначала вывязывается днище, потом плавно вырастают борта, встаёт мачта… Обычный «круглый» зерновоз, берущий в трюм сто воловьих повозок пшеницы и могущий идти при боковом ветре, возводили за три седмицы—правда, без палубного настила и без надстройки, их делали уже после того, как корабль спускали на воду. На дальних верфях, отделённых от нашей длинным и узким заливом, строили военные галеры. Галеры строили дольше—по два месяца каждую.

Отец, работая на верфи, узнал и освоил главную хитрость сборки кораблей, которую практичные римляне заимствовали у афинян и которая давала большой выигрыш в прочности по сравнению с привычной нам всем простой финикийской сборкой (когда скелет судна поверх обшивается досками, а щели забиваются паклей). Доски при римской манере сборки сшивались ещё и между собой при помощи поперечных стяжек, помещаемых в пазы и потом пришиваемых дубовыми штырями; и когда дерево немного намокало и разбухало, щель между досками затягивалась намертво, до полной неразличимости. Благодаря этой хитрости и обшивка, и скелет судна получались гораздо более лёгкими при большей прочности—и даже получившие пробоину, с залитыми трюмами, корабли эти не тонули, а держались на волнах сами и держали людей. На дно их мог увлечь только тяжёлый груз…

Когда мы уже жили в Кпар-Нахуме, отец построил несколько—шесть или семь—лодок таким способом. Они долго служили рыбакам и перевозчикам, и называли их «ладьи Иосифа». Увы, отец к тому времени был уже стар, и сил у него не хватало на всё, что он хотел, но так и не успел сделать.

Самое забавное, что всё это я помню только по рассказам родителей, а верфь—ну, верфь я помню тоже, однако лишь в ряду всего прочего, никак не выделяя из простых повседневных обыденностей. Другое дело—рынок… Это лишнее подтверждение тому, что память наша странна и причудлива, и понять либо объяснить её нельзя никак.

Иешуа хотел стать моряком, и скорее даже не капитаном, а проревсом—то есть тем, кто следит за погодой, изучает полёт птиц и направление волн, меряет глубины и определяет путь.

Потом мы перебрались в Александрию, и этот переезд я не забуду никогда. Мне было шесть лет.

Дом наш в Канопе был небольшой и странный, да и не дом это был, в сущности, а пещера: в склоне холма, как бы сложенного из громадных каменных плит, прослоённых щебнем и известковой глиной, люди издавна выкапывали помещения себе, а также скоту; и там, где мы жили, была прежде конюшня. Отец в складчину с другими плотниками купил её, и из конюшни получилось девять отдельных комнат разного размера и формы, выходящих в общий наполовину крытый двор. Две комнаты занимали мы впятером, и остальные семьи тоже имели по одной комнате или по две. Всего в нашей пещере жило десять человек взрослых и тринадцать детей, а также ослик, четыре

козы и сколько-то кур, за которыми ухаживала старая ливийка Яга. Куры галдели, а петухи громко орали и дрались клювами.

Ещё во дворе росло необыкновенное дерево, и для него когда-то специально пробили дыру в «крыше» — благо, это место располагалось близко к краю и камень там был тонкий и потрескавшийся. Дерево было, я думаю, можжевельником, но подобных ему можжевельников я больше не встречала ни разу: ствол внизу нужно было обхватывать вдвоём. К высокому обрезанному суку отец привязал два каната и сделал качели.

Двор открывался на каменную террасу, под которой находились такие же обитаемые пещеры. Их в холме было много — наверное, три десятка. Или больше. По террасе проходила дорога, а вообще-то спуститься вниз или подняться наверх можно было по деревянным и каменным лестницам.

Дом этот был бы хорош, но солнечный свет радовал нас только по утрам. И ещё было долго ходить за водой к ближайшему фонтану. Полчаса налегке, а сколько с водой, я даже боюсь вспомнить.

Мама ходила с кувшином, а мы с Иешуа — с мехами, так же, как и Эфер. Фонтан был неподалёку от рынка, кажется, на соседней площади. Мы старались ходить туда утром, но не самым ранним, а когда людей будет поменьше. Вода лилась из нескольких мраморных львиных пастей. Считалось, что львы отгоняют демонов.

И вообще вода из этого фонтана была целебной. За ней посылали из самой Александрии…

Первой неладное почуяла Эфер. Она ходила на рынок, принесла сыр, хлеб и яйца и сказала маме, что видела на рынке двух евреев, которые только делали вид, что интересуются товаром, а сами о чём-то пристально расспрашивали торговцев.

Потом старая Яга рассказала отцу, что к ней на улице пристала горбатая попрошайка-гадалка, наговорила чепухи, но между делом пыталась выпытать, не знает ли Яга чего-нибудь про старого еврея-лесоторговца с молодой женой и не похожим на него сыном? Яга сказала, что нет, не знает ничего.

Но на следующий день на стене возле входа в наш двор — стена была сложена из плиточника и аккуратно оштукатурена, а вход окаймляли столбы из отёсанных сосновых брёвен, — появился глубоко процарапанный знак креста с длинным нижним концом, символизирующим землю…

Я потом так и не смогла узнать: действительно ли нас разыскивали тайные стражники Архелая и действительно ли они нас настигли в Канопе? По всему выходило, что нет, после резни в Бет-Лехеме Архелай махнул рукой на призрачную угрозу со стороны украденного кем-то царевича. Тем более что его занимали другие проблемы и беды, и главная из них — это утрата престола им самим, утрата навсегда, без всякой надежды на возвращение.

Дело в том, что попытки Архелая уговорить императора назначить его царём закончились комично, в духе Аристофана. Объявился один человек в городе Сидоне, который назвал себя Александром, сыном Ирода, не убитым когда-то при перевозке из тюрьмы в тюрьму, а подкупившим конвой и бежавшим. Названный Александр прибыл в Рим, где поразил всех редким сходством с тем, настоящим Александром. Но то, что этот — не настоящий, становилось ясно каждому, кто говорил с ним хотя бы полчаса, хотя бы четверть. Александр был блестяще образован, а в силу присущего ему самолюбования (что в молодости сходит с рук любому красавцу) он эту образованность постоянно подчёркивал, легко переходя в разговоре с языка на язык и рассыпая цитаты из Эсхила и Софокла, а также Вергилия. Речь же самозванца была бедной и грубой, и далеко не все обращённые к нему вопросы он понимал.

Однако еврейская община Рима взволновалась. Думаю, к этому волнению причастен был и Антипа, который в нужные моменты умел быть щедр на деньги. Почти десятитысячная депутация прибыла к императору…

Тот показал, что не чужд смешного. Не знаю, правда это или нет, что у настоящего Александра имелся содомский друг; но об этом было сказано, и друг предъявлен. Звали его Келад, он был вольноотпущенник самого императора и, как я догадываюсь, занимался тайными делами. Келад разыграл радость встречи с названным Александром, уединился с ним, а когда вышел, объявил, что ничего подобного, это не Александр, а просто похожий на него лицом другой человек, ибо всё остальное у него сильно отличается. В частности, на теле его нет белых незагорающих пятен…

Итак, лже-Александр покаялся перед императором, назвал ему какого-то никому не известного римлянина, вольноотпущенника по имени Барб, подбившего его на эту гнусную подмену, и объяснил, что поначалу целью было всего лишь собрать побольше денег с римских и египетских евреев, которые все ненавидели Архелая и по-прежнему боготворили Ирода. Но как-то незаметно для себя он слишком вошёл в роль, ибо все ему верили и все давали деньги и разные дорогие подарки.

В итоге, посмеявшись, император отправил самозванца на флот, в гребцы; спустя несколько лет тот сбежал с корабля к испанским пиратам, стал царём какого-то острова и умер сравнительно недавно в возрасте самом почтенном, окружённый множеством внуков и правнуков. Организатора преступления, Барба, император казнил. Архелаю же было сказано, что сам факт такого низкого покушения на престол покрыл этот самый престол позором, и должно пройти время, когда всё забудется. До особого распоряжения Иудея будет простой римской провинцией, и управлять ею станет сам император посредством сирийского наместника. Архелай окончательно провозглашается этнархом, в его ведении будут вопросы мелкие и средние, те, что касаются дел внутренних и дел религиозных.

Остаток бывшей армии Ирода вывели в Сирию. Валерий Грат некоторое время командовал всей сирийской армией, а после по болезни ушёл на покой и поселился в Паннонии. Там у него было

огромное поместье. Потом император Тиберий вновь призвал его…

Так вот, возвращаясь к тому знаку креста, нацарапанному на стене. Я не знаю, кто его нанёс, и сомневаюсь, что это сделали люди Архелая. Но то, что нас искали другие, для меня несомненно. Возможно, это они тогда в первый раз настигли нас. Но мы ускользнули. Их было мало, и мы ускользнули, просочились между пальцами.

Потом они нас всё-таки нашли. Но это было уже другое время и совсем другие обстоятельства.

А тогда мама разбудила меня ночью, я никак не могла вырваться из снов, Иешуа уже был на ногах, все были на ногах, и мы тихо ушли из дома, бросив всё, что не могли унести на себе. Я была одета в шерстяной плащ и несла мешок с моими платьями и куклой; Иешуа нёс книги. Отец когда-то за латунные деньги купил на рынке шесть старых выцветших свитков с греческими стихами и написанными по-гречески неведомо чьими притчами; он прочитал их все, но развёл руками и сказал, что ничего не понял.

Глава 13

Про лёгкие дни писать трудно.

В Александрии мы прожили два года, и годы эти были простыми и светлыми. Полагая, что мы так и не сумели стать незаметными среди греков и египтян, отец решил на этот раз поселиться в еврейском квартале. Он только так называется — квартал, а на самом деле это была половина города, та, которая отстояла от моря, примыкая скорее к мелкому и заросшему Мареотийскому озеру и к каналу, начиналась за ипподромом и доходила до шлюзовых ворот; ворота закрывали во время большой воды на Ниле, чтобы ил не забивал сам канал и гавань Озёрного порта, в которую канал открывался. В обычные дни корабли, влекомые волами, ползли по каналу почти непрерывной чередой, а если был ветер с моря, то в гавани их скапливалось до пятисот; я никогда больше не видела столько кораблей одновременно. С корабля на корабль были перекинуты мостки, и получался целый город на воде.

На острове, как раз напротив дворца, где убили Антония и Клеопатру, возвышалась огромная башня маяка; на вершине башни ночью горел огонь, а днём, особенно когда под небом повисало горячее марево, а солнце становилось похоже на серебряное мутное нечищеное зеркало, или когда неподвижные воды затягивало туманом, тогда с маяка пускали чёрный смоляной дым. Моряки говорили, что это самый лучший и самый высокий маяк в Ойкумене.

Итак, мы поселились в еврейской части города, сняв комнаты на втором этаже четырёхэтажного дома на улице Ткачей. Дом стоял спиной к каналу, но всё равно постоянный рёв и мычание волов было нам слышно; окна же и дверь выходили на улицу, на другой такой же дом и на маленький рынок, что было очень удобно для Эфер. Отец, не желая показывать свою связь с лесоторговым и плотницким делом, сказался учителем — и вскоре стал им! Целыми днями он проводил в синагоге, обучая детей письму, чтению и благочестию, и по нему казалось, что ничем другим он в жизни не занимался. Однако Иешуа он препоручил другому учителю и платил за его обучение, а когда его спросили, зачем он так поступил и не проще ли было сэкономить, ответил: «Жил в старые времена великий учитель Закона. Умирая, он оставил свою старую одежду лучшему из учеников. Когда же младший ученик пришёл к этому лучшему и спросил, а что ещё оставил ему учитель, помимо старой одежды, тот ответил: тебя. О брат мой! — воскликнул младший. И тогда старший протянул ему старую одежду учителя и сказал: можешь надеть её, ты постиг суть Закона». И ещё он сказал: «Учитель — всегда слуга ученика. Вправе ли отец быть в услужении у сына?» И вопрошавшие ушли, поражённые великой мудростью Иосифа.

Зато он велел Иешуа обучать меня всему тому, чему научился сам. Так и я начала читать и писать[13].

Архелай между тем почти удалился от дел. Хоть ему и удалось установить в стране покой и порядок, но вот вернуть либо заново завоевать доверие и любовь подданных он не мог, да и не пытался. Он оставил Иерушалайм под властью первосвященников (которых поменял двух или трёх, я точно не помню; кажется, все они были из рода Боэта, то есть братья, родные или двоюродные, младшей Мариамны), а сам поселился в небольшом уютном поместье под Иерихоном, в тени пальмовой рощи, среди каналов и фонтанов. Поместье называлось Архелаидой. Раз в год, а когда мог, то и реже, он встречался с братьями и сестрой. На этих встречах всё внимание присутствующих уходило на то, чтобы чего-нибудь случайно не съесть или не выпить.

Вообще он очень хорошо отстроил и благоустроил Иерихон — почти так же, как в своё время Ирод отстроил Себастию. На месте разорённого и полуразрушенного во времена бунта дворца встал новый, семижды краше. К городу подвели воду из горных ключей. Всю долину засадили пальмами, дававшими масло и волокно.

Но Иерихон был саддукейский город, и всё, что было хорошо здесь, слыло отвратительным в Иерушалайме и других городах.

Ещё он женился на Глафире, вдове своего брата Александра. Не помню, упоминала ли я об этом, но Глафира отличалась какой-то особенной красотой, губящей мужчин. Сначала погиб Александр; после она вышла за ливийского царя, но и он умер. Вернувшись в отчий дом, она случайно встретилась с Архелаем (а до этого, так случилось, они не встречались ни разу); тот воспылал страстью и взял её в жёны, даже расставшись ради этого с прежней своей женой.

Древний Закон не только не осуждал, но даже повелевал братьям жениться на вдовах своих

13. К сожалению, нигде нет даже намёков на то, где и когда Дебора получила дальнейшее образование — хотя несомненно, что получила, и очень хорошее. А. П. Серебров высказал предположение (исходя из владения реалиями, особенностей сказовой речи и т. д.), что это произошло в Египте, и скорее всего — в Александрии. В пользу этой гипотезы говорит и упоминавшееся «повторное бегство в Египет».

братьев — дабы не пресекался род. В сравнительно недавние времена фарисеи стали учить, что деяние это — грех, сходный с кровосмешением. Глупо, скажете вы? И я отвечу: да, конечно, глупо. Но многие ли неразумные станут ценить закон, подобный старой разношенной обуви, которая не трёт и не давит?.. Впрочем, вряд ли бы люди решились осудить этнарха, не будь брошенная его жена дочерью Шломит. А так — и шептуны на рынках и углах, и старые равы в деревенских синагогах в один голос, буквально одними словами…

Императора забросали жалобами. Понимая, что ничего доброго из этой грязи родиться не сможет, он вызвал Архелая к себе. Глафира поехала с ним, хотя вполне могла бы остаться.

Император ознакомил Архелая с некоторыми из доносов и спросил: что бы сам Архелай сделал с человеком, вызывающим — заслуженно или нет, неважно, — такую ненависть? Архелай сказал, что казнил бы его, не задумываясь о степени вины. Император с ним согласился, но поправил: поскольку-де может выявиться смягчающее обстоятельство, то казнь пусть пока повременит, а виновный — поживёт в далёкой ссылке, где про него забудут.

Местом ссылки Архелаю определили Галлию.

Глафира посчитала виновной во всём себя — то есть свой злой рок, губящий её мужчин. Она легла в ванну и вскрыла вены на обеих руках. Её пытались спасти, привезли врача, но ничего не получилось. Родственники захотели скрыть факт самоубийства, объявив, что она умерла от нервной горячки. Но рабыня-нубийка, помогавшая лекарю, позже рассказала всё, как оно было на самом деле.

Архелай умер в ссылке спустя семь или восемь лет. Тело его привезли в Иродион и похоронили в фальшивой Иродовой гробнице. Мне в этом видится бессмысленная насмешка рока.

Совсем скоро после новоселья к нам приехал Оронт.

Он вновь был в предпочтении, на этот раз у Марка Колония, префекта[14] Иудеи. Иудея стала частью провинции Сирия и управлялась теперь уже исключительно римлянами. Колоний жил то в Антиохии, то в Кесарии, наведываясь в Иерушалайм лишь изредка, но царский дворец, свою резиденцию, содержал отменно, и Оронт снова был дворцовым садовником и имел в подчинении семь сотен работников и рабов. Собственно содержание сада он взвалил на учеников, а сам ездил по миру в поисках необыкновенных цветов и деревьев.

К тому времени мы прожили в Александрии почти два года, и — я уже говорила, кажется? — это были лёгкие и простые годы. Но когда Оронт, почему-то смутившись, сказал, что мы можем вернуться, а дом наш исправлен после запустения, и слуги ждут, и родственники ждут тоже, — тут родители мои обнялись и заплакали, а глядя на них, заплакали и мы с Иешуа. Хотя мы-то никогда не видели этого дома…

Но пришлось немного повременить, потому что маме нужно было родить маленького Зекхарью, а потом отдохнуть. Мы тронулись в путь четыре месяца спустя, весной, на корабле. И мне, и Иешуа очень понравилось плыть по морю, берега не было видно, мерно всплёскивали вёсла. Вслед кораблю летели чайки; дельфины обгоняли нас и возвращались. Луна была необычно маленькая, такой она никогда не бывает над сушей, и голубая. Ночью мы тоже плыли вперёд, хотя обычно по ночам корабли стоят.

В Иоппию мы прибыли на рассвете дня; отец нанял прямо в порту две повозки, и к вечеру мы уже были в Еммаусе, и там стоял наш дом и ждал нас с открытыми дверями. В дверях со светильником в руках сидела кухарка Фамарь…

А в доме нас ждали тётя Элишбет и Иоханан.

И опять же: всё радостное забывается скоро, всё горестное помнится вечно. В памяти моей белорозовое пятно размером в полгода, как будто бы ничего не было, а на самом деле — было, и было хорошо. Но осенью маленький Зекхарья — он уже начал ходить на четвереньках — вдруг заболел, покрылся коростой и умер. А волшебного масла не осталось в пузырьке…

Мне снова придётся забежать вперёд, довольно далеко — в год, когда на римском троне уже прочно утвердился беззлобный Клавдий, взнесённый туда не без помощи внука Ирода, Агриппы, который вскоре после того стал последним царём. Я тогда звалась Чёрной Вдовой, или Слепой Смертью, и у меня был отряд в шесть десятков всадников, и мы держали в страхе весь юг Галилеи и всё приозёрье, стараясь не трогать римлян, но солдатам и стражникам Антипы пощады не было, как не было пощады тем, на ком не высохла кровь моих родных…

В тот раз мы захватили, пытали и в конце концов убили человека, имени которого я не назову, потому что не хочу, но это из-за него чуть не началась война между Галилеей и Самарией. Потом говорили, что он был простым паломником. Смешно. Простые паломники не ездят в окружении дюжины вооружённых охранников, и из-за них не начинаются войны и не горят деревни.

Некоторые из охранников разбежались; их не преследовали. Во врагах следует поощрять трусость.

От этого человека я узнала много всего, что позволило мне новыми глазами посмотреть на прожитую жизнь и понять то, что я не могла понять до тех пор. Может быть, где-то в своих умственных построениях я ошибаюсь и вижу смысл там, где ничего нет. Может быть. Теперь уже не проверить.

Принято считать, что движение каннаев, или по-гречески зелотов — и то и другое означает «ревнители», — создали молодые фарисеи, которые после подавления волнений в Иерушалайме ушли на север, к Иегуде бар-Хизкийяху. На самом деле это был всего лишь выход ревнителей на поверхность

14. Позже, при императоре Клавдии, полномочия римского управителя в Палестине были расширены до прокураторских. Строго говоря, ни Колоний, ни Пилат, ни прочие управители до Куспия Фада (44–46 гг.) прокураторами не были.

событий, поскольку прежде все свои дела они старались делать исподтишка. Организовалось же оно во времена парфянского владения, ещё до появлении Ирода на престоле. Многие говорят, что оно возникло ещё раньше и что-де Маттафия Маккаби был «первым каннаем»; я думаю, что это естественное стремление казаться больше, чем ты есть, но и только.

Ревнители всегда делились на две очень неравные группы: фанатическая молодёжь либо люди без возраста, но не допущенные к тайнам (они называли себя «цорек», красный виноград,— в отличие от зелёного винограда, то есть всего остального Израиля; римляне по созвучию звали их «сикариями», то есть кинжальщиками; согласитесь, смысл различный)—и небольшая группка начальников-хашидов, людей без чести и принципов, отлично знающих и понимающих, к чему они на самом деле стремятся—и ради достижения цели готовых положить мёртвыми половину народа, а то и весь народ. Вы скажете, что ничего нового в этом нет? Допускаю, что вам виднее, но я вот не припомню больше, чтобы так бесстыдно и бессовестно заставляли служить своим целям веру людей в Бога, да что там—служить заставляли самого Бога…

Если смотреть издали, не видя деталей, то учение ревнителей не слишком отличалось от основных школ: фарисейской, саддукейской и асайской. Они отщипнули от каждой ту толику смысла, что могли использовать для своих целей: у фарисеев взяли понятие бессмертной души и посмертного суда и воскрешения для новой жизни в небесном Иерушалайме, у саддукеев—понимание Закона как единого целого, без дополнений, изъятий и толкований, у асаев—неразделение мирской жизни и служения Всевышнему, а также ежечасное пребывание в готовности умереть; в сущности, вся жизнь асая была предуготовлением к смерти. Что самое страшное—хашиды придумали оправдывать любое преступление и заблуждение, авон и шегага, если они совершены как бы во славу Предвечного; как и у асаев, высшей мерой любви к Нему и главной целью земного существования объявлялась смерть—своя или близких, всё равно. Я читала их книги для учеников, написанные на простом арамейском, простыми словами, чаще всего в форме вопросов и ответов. Сквозь папирус просачивался холодный смрад.

Так вот, истинной целью ревнителей-начальников было—установить свою власть на всей территории Царства Маккаби, а если повезёт, то и Царства Ирода, изгнать с земли всех иноверцев либо обратить их в рабство, а Рим заставить служить и выполнять приказы. Для этого им и нужны были бесчисленные толпы бойцов, с великим счастьем идущих голой грудью на острия мечей или прямо в огонь.

Да, боевые искусства асаев позволяли умелым тренированным бойцам парализовать и даже убивать воинов врага простым прикосновением руки либо, особым образом расслабившись, проходить сквозь плотные шеренги закованных в броню легионеров или катафрактиев, дабы обрушиться на них сзади; да, были случаи, когда юноши-цореки, на радениях своих достигшие последней степени экстаза, входили, во всём подобные Шидраху, Мишаху и Авед-Наво, в пылающие дровяные печи для обжига горшков и танцевали в жёлтом и розовом пламени, пока не обращались в пепел, и пепел продолжал танцевать…

Все это было.

Наставник их, надо сказать, не отличался подобными качествами. Он закричал при первом прикосновении раскалённого клинка к подошве, а потом визжал, стоило только вынуть кинжал из огня и показать ему.

Так вот, ещё к середине жизни Ирода ревнители представляли собой немалую тайную силу, действующую медленно, тихо и неприметно. Как подобает тайной силе, они никогда не выходили на свет. Например, это они сделали так, что Антигона имела под рукой любой яд раньше, чем подумает о нём, но при этом Антигона даже и не подозревала, что кто-то мягко и беззвучно опекает её.

К концу жизни Ирода шпионами ревнителей было напитано всё государство, и все новости, тайны и секреты ревнители-начальники узнавали раньше, чем царь или государственный управитель Птолемей. А когда Птолемей, заподозрив неладное, попытался начать расследование, его попросту убили. Также убили и дядю Зекхарью, который по наивности открыто отказался плясать под их дудку.

А кроме того, они узнали—и слава Господу, что не сразу, а лишь на следующий день!—о краже родившегося сиротой сына Антипатра и Мариамны, что была дочерью Аристобула; я говорю «сиротой», потому что по всем законам осуждённый на смерть и лишь дожидающийся благоприятного для казни дня уже считается мёртвым.

Даже если он всё ещё царь…

В отличие от Архелая, пославшего стражников в Бет-Лехем и близкие к нему города, шпионы ревнителей разъезжали по всей стране поодиночке или маленькими группками, и целью их было не убить, а найти и присвоить. Убить они могли родителей, что и делали без тени сомнения.

Захваченных так мальчиков, белокурых и светлоглазых, рождённых в год смерти Ирода, увозили потом в Галилею, давали другие имена и селили в двух деревнях, Бет-Шеде (которую Антипа позже расширил, населил пришлыми, обнёс стеной и превратил в город) и Асоре, труднодоступной и редко посещаемой. Многие из них, выросшие, пошли после за Иешуа…

Четыре раза шпионы ревнителей почти настигали моих родителей—и каждый раз промахивались. А потом Оронт сумел договориться с ними…

Короткую и бедную событиями историю нашей детской жизни в Еммаусе я завершу вот чем: как нас навестил раббуни Шаул. Я уже упоминала, что мама воспитывалась в Храме и была одной из тех храмовых девственниц, которые пряли, ткали и вышивали одежды и занавесы. После того как приходил срок и девственниц выдавали замуж, наставники время от времени объезжали дома воспитанниц и проверяли, не обижают ли

их мужья, а если мужья обижали, то обходились с ними сурово.

Понятно, что в смутные времена такие поездки были нечасты, а когда всё успокоилось—затруднены тем, что народ перемешался и трудно было узнать, кто где живёт. Сразу после отрешения Архелая от власти римляне провели перепись населения и имущества, но понадобился ещё год, чтобы новый первосвященник Ханан бар-Шет—первый за многие и многие годы первосвященник из ортодоксальных саддукеев, из не-боэциев,—переборол высокомерие и попросил сирийского наместника Квириния предоставить результаты переписи для нужд Храма. Вскоре он их получил—правда, не полные, а касаемые исключительно евреев. Но и этого было вполне достаточно.

Поскольку Храм сам ещё раньше ввёл перепись тех, кто приезжал на праздники, то сравнение результатов было обескураживающим. Лишь пятая часть мужчин чтила Закон в достаточной мере и лишь двенадцатая часть женщин. Остальные проводили праздники у своих очагов, опасаясь надолго оставлять их холодными.

Мы всей семьёй не ездили в Иерушалайм ни разу, хотя жили близко. Ездил только отец, но и он никогда не задерживался там на полный срок, а лишь на день или два.

Поэтому раббуни Шаул был почти гневен, когда входил в наш двор.

Да, говорила ли я про устройство нашего еммаусского дома? Кажется, нет. Дом выделялся из прочих тем, что стоял в глубине квартала, отделённый от улицы широким, в двадцать шагов, садом с фруктовыми деревьями и кустами роз. Сад огораживала деревянная решётка, увитая плющом и диким виноградом. Слева, впритык к соседскому дому—там жил трёхпалый плотник Авва,—была калитка, и от калитки мимо сада и мимо дома, на задний двор, шла дорожка, мощённая торцами толстых пней; эту дорожку сделал Давид, отец отца, когда был ещё молодым. От времени и солнца дерево стало походить на кость, и кольца на нём стали выпуклыми под пальцами. Пока дерево жило, каждый год прибывало по одному кольцу. На некоторых пнях я насчитывала шестьсот пятьдесят колец. Около этой дорожки я стала понимать, что такое древность. На покупателей это тоже производило впечатление.

Сам дом был частью сложен из ракушечного камня, а частью сколочен из дерева—то есть как и большинство домов в царстве; дома из одного только камня я видела лишь в Иерушалайме и в Кесарии, да ещё в Петре,—ну и в Риме, конечно,—но и здесь дедушка Давид проявил свой талант делать всё иначе и лучше, чем прочие разные. Обычно, выведя кирпичные или каменные стены, строители клали на них поперечные балки, выступавшие за пределы стен на два-три локтя. На эти балки опирался каркас, который обшивали изнутри и снаружи толстыми досками; плоскую крышу закатывали смесью глины с известью или песка с цементом.

Строение получалось стойким к жаре и дождям и приятным, воздушным для проживания, но, на радость плотникам и лесоторговцам, не слишком долговечным; и редко можно было видеть дом, на котором ровная природная чернота старых досок не нарушалась бы жёлтыми и светло-серыми полосами. Дедушка же сделал не так: второй этаж покоился на могучих дубовых столбах, пяти по короткой стороне дома и восьми по длинной, и стены его были сложены из цельных стволов смолистой родосской сосны, которые с годами не чернели, а оставались цвета старинной бронзы.

Крыша была на греческий манер устроена со скатом и устлана, наподобие рыбьей чешуи, небольшими дощечками из граба. Когда дул ветер, он шевелил эти дощечки, и дом наполнялся тихим шёпотом…

Ах да. Раббуни Шаул.

Близнецам, Иосифу и Якову, исполнилось полгода. Мы с Иешуа изо всех сил помогали родителям, но выдался час, когда мы играли в саду: Иешуа учил меня подбрасывать и ловить кожаные мячики, насыпанные песком. Он легко управлялся с семью; я никак не могла осилить больше трёх, да и те постоянно роняла.

—Не думай о руках!—говорил он.—Забудь про руки и смотри только вверх. Руки тебе мешают. Расслабься, как будто хочешь уснуть…

Мои мячики продолжали падать. Я не могла забыть про руки, и они продолжали мне мешать. Потом мы увидели старика с посохом и в длинных белых одеждах. Он стоял давно, переводил взгляд с Иешуа на меня и обратно, и тут со мной в первый раз случилось то, от чего я потом страдала в своей жизни много раз: я увидела всё его глазами. Мальчик и девочка, наверняка брат и сестра, но до чего непохожи: он худой, бледный и белокурый, она—толстая, чёрная волосом и дочерна загорелая. И если у них одна мать, то один ли отец? А если не один, то чего же стоит храмовое воспитание?..

Тут появились родители, заговорили обрадованно, приветствуя такого гостя, он знаком велел им замолчать, стукнул посохом о деревянный торец—удар разнёсся, кажется, по всей округе, так он был звонок,—и спросил, показывая рукой на нас:

—Мирьям?!!

Мама повернула голову, не понимая, потом вздрогнула—и в ту же долю раббуни Шаул с коротким вскриком повалился на землю. Родители кинулись к нему, а с улицы прибежали служки, ожидающие там, на солнцепёке. Правая нога раббуни стремительно толстела, и он не давал до неё дотронуться. Послали за костоправом. Костоправа не нашли, но зато пришёл грек-цирюльник Полипемон, наш сосед через дом; Полипемон складывал сломанные кости лучше, чем наши костоправы, отец в своё время по его указаниям сделал ему специальную кровать, к которой пострадавшего привязывали так, чтобы кости сломанных рук и ног не шевелились и быстрее срастались; за всё это цирюльника боялись и считали колдуном. Полипемон успокоил раббуни и осмотрел его. Оказалось, что одна из костей голени переломлена. Руководствуясь указаниями Афанасия, отец смастерил лубки, позволившие облегчить

страдания. Потом, поскольку ехать в сидячих носилках раббуни было неудобно, отец сделал лежачие с матерчатым навесом. Он был чрезвычайно огорчён произошедшим. Раббуни всё это время лежал молча и напряжённо размышлял. Потом, когда носилки подняли, он подозвал маму.
— Господь наш покарал меня за чёрные мысли,— сказал он ей.— Прости меня, дитя.
— Я верна моему мужу, учитель,— сказала мама.— Я не изменю ему даже с ангелом.— И она поцеловала старику жёлтую пергаментную руку.

Вскоре после этого мы переехали в Галилею и записались галилеянами.

Глава 14

Поначалу мы около года прожили в мамином доме на виноградниках; там было неплохо, но уж очень тесно. Отец попытался и здесь наладить торговлю лесом, но для этого всё-таки нужно было жить в большом городе, поэтому мы переехали в Кану. Кана в те годы росла стремительно, и леса требовалось много. Увы, вскоре один из его помощников сбежал со всей выручкой от продажи большой партии сосны и кедра, и отцу пришлось пойти в плотники, чтобы прокормить нас. Иешуа, уже неплохо к тому времени освоивший инструмент, помогал ему. Четвертьвластник Антипа, про которого я не хотела бы говорить добрых слов, но придётся, вознамерился, как в Бабилонии, покрыть всю Великую долину рек Кишон и Харод сетью оросительных каналов, чтобы меньше зависеть от погоды и пустить в оборот пустующие земли,— так что требовалось много плотников сооружать шлюзы и мостки.

В Кане у мамы с отцом родились Шимон и Иегуда, вторая пара близнецов. Говорили, что это к немыслимому счастью.

На деньги от постройки шлюзов отец купил дом в Кпар-Нахуме, потому что там был лучше климат, а цены на всё ниже почти в два раза. Дом был большой, старый и полурассыпавшийся, но отец и Иешуа с помощью других плотников за седмицу сделали из него почти дворец.

Мне понравились товарищи отца, они своей разностью и необычностью напоминали моряков или кораблестроителей, которых мы видели в Канопе. Среди них был даже фиолетовый негр Нубо из Нубии, бывший раб небогатых римлян, сумевший выкупить себя и теперь копящий деньги, чтобы выкупить свою жену…

Кпар-Нахум не считался городом, поскольку никогда не имел стен, но был обширным поселением, через которое пролегала Царская дорога от Нила к Евфрату. Ирод основал здесь таможню, поэтому несколько поодаль стоял постоянный военный лагерь с длинными низкими домами из красного кирпича. Окрестности были плодородны, и так же, как в Ламфасе, мы видели здесь золотые барханы из зёрен пшеницы. Кроме того, воды Галилейского моря полны были рыбы, и рыбная торговля процветала. Соль для засолки привозили набатийцы с солеварен Сидона или из далёкой Набатии на огромных двухколёсных телегах, запряжённых горбатыми белыми, почти светящимися, пряморогими быками, я таких раньше и не видела; говорят, эти набатийцы пытались устроить солеварни и на Асфальтовом озере, но соль ту никто не стал покупать, поскольку там, под толщей тяжёлых маслянистых вод, Предвечный погрёб нечистые города Гоморру и Содом.

Так мы прожили три года. Потом меня выдали замуж.

Тётя Элишбет после нашего возвращения из Египта гостила в нашем доме часто. Своё поместье в Ем-Риммоне она уже давно уступила двоюродному брату Яакову, которого я никогда не видела, а себе купила дом и сад в селении неподалёку от Скифополя, который сожгли дотла во время несчастной «войны с Варом» и теперь начинали восстанавливать…

Я уже говорила, что все пары, созданные тётей Элишбет, жили счастливо? Да, говорила. Так вот, я немного ошиблась. Подыскивая жену своему сыну, тётя промахнулась. Она выбрала меня.

Что с того, что я любила Иоханана с такой силой, что сердце моё не выдерживало и временами останавливалось? Тогда возникал звон над головой, и мир делался прозрачным и синим. Что с того, что и он не скучал со мной, и я летела к нему и за ним, всегда понимая его даже раньше, чем он успевал подумать,— а он отвечал на мои вопросы раньше, чем я задавала их? Что с того?

Другая стезя увела Иоханана, и он не сумел, не стал противиться голосу крови.

Он не мог. А если бы и смог каким-то чудом, то о страшном его долге напомнила бы ему я…

Вот в чём была тётина ошибка. Может быть, другая жена удержала бы Иоханана. Другая. Я не смогла. Даже не пыталась. Я слишком любила его.

Всё было предрешено уже. Всё, кроме смерти.

Случилось так: тётя и Иоханан приехали к нам в пыльный и пасмурный день вскоре после уборки пшеницы. Тучи голубей кружили над Кпар-Нахумом, требуя свою десятину урожая; многие из них попадали в силки и далее на стол. Вот и наша кухарка Сара приготовила в тот день блюдо жареных голубей — правда, не только что отловленных диких, а выкормленных в клетках едва не до размера кур,— как будто предчувствовала появление дорогих гостей. И они, вдохнув чудесный запах, не замедлили явиться — в новой, украшенной лентами белой коляске с льняным навесом, запряжённой гнедым мерином по имени Гиппот.

Гиппота я помнила ещё жеребёнком. Потом я на нём училась кататься верхом. Мы не держали лошадей, а только двух осликов и сердитого мула Хмурого. На осликах ездили отец и Иешуа, а мул возил за ними их тяжёлый инструмент.

Наших плотников ещё не было дома, но работали они неподалёку и должны были вернуться вечером, когда сядет солнце. Пока же звучали приветствия, приглашения, раздавались подарки, восхищённо вопили старшие близнецы и бессмысленно заливались-хохотали младшие. Я вдруг увидела, как сильно постарела и сдала тётя. Нет, не

постарела, я сказала неправильное слово. Устала жить. Устала терпеть. Примерно так.

Мне Иоханан тоже привёз подарок: вправленное в серебро и слоновую кость прозрачное стёклышко, делающее далёкое резким и видимым. Всё даже как будто приближалось немного и увеличивалось в размерах. Я последние несколько лет плохо видела вдаль, предметы расплывались и словно терялись в тумане, особенно по вечерам.

Зато я прекрасно видела то, что делаю руками.

Это оправленное стёклышко и сейчас при мне. Оно уже стало слабым и мутным. У меня есть на всякий день другое, побольше, но то я храню и всегда буду хранить. Так надо.

Как всегда, встречаясь с Иохананом, мы заговорили о чём-то—и тут же пропали в этом разговоре, заблудились в словах и мечтаниях.

Потом меня позвала мама и спросила, как я отнесусь к тому, чтобы выйти замуж. Я, разумеется, спросила: а за кого? Мама посмотрела на меня с интересом и сказала, что за Иоханана. Ой, сказала я. Я ожидала чего угодно, только не этого. Иоханан был слишком свой, и—клянусь!—я никогда ни на миг до того не думала о нём как о возможном муже. Были люди, о которых я думала; кто они?—это уже не имеет значения. Он мне совсем как брат, сказала я. Но ведь не брат же, резонно сказала мама; так что? Здорово, сказала я. Здорово—в смысле, да?—уточнила мама. В смысле, да, в смысле, да. В смысле—да, да, да, да, да!—спела я. Отлично, сказала мама, вечером приедет отец, и договоримся. Подожди, сказала я, а как же сам Иоханан? Он знает? Мама рассмеялась и смеялась долго. По-моему, даже младшие близнецы знают, сказала она. Весь рынок знает, сегодня торговки Сару допрашивали и отпускать не хотели. Двое всё узнают последними: честные невесты и обманутые мужья…

—Мама,—сказала я немного спустя,—а почему так? Ведь я такая… я толстая, я плохо вижу…

—У тебя зато голос красивый,—сказала мама. И рассказала притчу:—Выбирал царь себе наложницу, и главный сводник привёл ему двух девушек: одна была ослепительно красива, но знала мужчину, а вторая была попроще, но невинна. И красавица сказала: в одну ночь уйдёт её невинность, зато пребудет моя красота. Царь оставил её при себе, и тогда сводник привёл для сравнения женщину менее красивую, но умную. И сказала умница: в один год уйдёт её красота, зато пребудет мой ум. Царь теперь оставил её, и тогда сводник привёл девушку простую, но с ангельским голосом. И сказала она: через десять лет пресытишься ты её умом, зато пребудет мой голос, и даже на смертном одре будешь слышать его. И она прожила всю жизнь с царём и закрыла ему глаза…

Увы: я прожила с Иохананом лишь тринадцать лет (и ещё четыре года без него, почти вдовой, хотя и знала, что он жив) и родила ему лишь двух детей, мальчика и девочку, и меня не было рядом, когда казнили его. Зато никто из тех, кто был причастен к его убийству, не умер своей смертью. Как они ни прятались…

Никто.

Труднее всего мне дался даже не Ирод Антипа (десяток подложных писем да три десятка настоящих ауриев—и вот ты уже не тетрарх, и ты уже не в Галилее, моя прелесть; ведь правда же, есть из-за чего расстроиться и подавиться рыбьей косточкой?—так отписали императору, хотя на самом деле причиной смерти были грибы—они надёжнее) и не Иродиада (просто не проснулась утром; о том, что шею бедняжки украшал белый шёлковый шнурок с вплетённой золотой нитью, решили не сообщать), а стражницкий сотник, отрезавший уже мёртвому Иоханану голову и привёзший её Антипе как доказательство исполнения приказа. Девять раз по его следу пускали кровавую собаку, натасканную на выслеживание и поимку убийцы, и все девять раз он уходил от неё. И только на десятый раз, почти случайно, собака нашла дом, где он прятался… Ему дали помолиться, а потом Нубо приколотил его к дверным косякам буквой «каппа»—в знак того, что этот человек запятнан кровью[15].

—Я не убивал,—простонал он мне в лицо.

—Значит, подохнешь легко,—сказала я и заколола его.

Когда я умру, то вновь появлюсь на свет кровавой собакой, идущей по следу. И потом ещё раз. И ещё раз, и снова, и без конца.

Глава 15

Мы прожили с Иохананом год в доме его матери, а потом вдруг он и мои отец и брат засобирались в дальнее путешествие. Позже я узнала, что Оронт назначил им встречу в Дамаске, а сам не явился; тем не менее, поездка оказалась полезной, отец познакомил Иешуа и Иоханана со своими сирийскими партнёрами по лесоторговле, провёз по другим городам—в общем, по всему побережью до Антиохии; денег в семье было накоплено достаточно, чтобы заново и сразу с размахом открыть торговое дело, но нужно было подготовить молодых, потому что отец чувствовал отток сил. Правда, когда он вернулся, мама шепнула ему на ухо, чтобы потихоньку начинал готовиться к пополнению семьи…

Эту беременность, в отличие от предыдущих, мама переносила плохо, у неё отекли ноги и страшно болела спина; египетская растиральщица сумела облегчить её страдания, но не до конца, мама всё равно ходила, держась за поясницу. Мы с тётей Элишбет—теперь уже мамой Элишбет—попеременно жили в Кпар-Нахуме, чтобы поддерживать и подбадривать её.

Однажды—маме оставался месяц до намеченных родов—Элишбет и Эфер пошли на ярмарку, которая четыре раза в год раскидывалась рядом с городом, поблизости от таможни. Они хотели купить ткани, благовония и украшения; Эфер

15. Очевидно, имеется в виду греческое слово «катамасса»—окровавить, запятнать кровью.

также искала составляющие для целебных притираний, которые она в последние годы делала со всё большим и большим искусством. У неё уже была большая и постоянно прибывающая клиентура. Ей даже пришлось обзавестись лавочкой на окраине, чтобы больные с язвами и струпьями, а то и прокажённые не собирались толпой около дома. Вера в её искусство была велика.

— Вера решает всё,— говорила она мне иногда,— вера, а не искусство. Разбуди в людях веру, и они станут творить чудеса. Все болезни можно снять рукой, кроме четырёх. Другое дело, что люди сами жаждут не силы, а жалости, и хотят быть не здоровыми, а больными и несчастными, ибо так проще.

Эфер не любила людей, но помогала им из последних сил.

Итак, они пошли на ярмарку, взяв с собой наёмного носильщика, чтобы тот носил покупки. Он и привёз их обеих, избитых и изломанных, на ручной тележке, сам избитый до помрачения рассудка. У мамы тут же начались роды, которые, слава Предвечному, окончились благополучно, хотя и не очень скоро: на свет появилась девочка. Поэтому имя Элишбет совсем недолго побыло сиротой…

Эфер прожила ещё два месяца и вроде бы стала поправляться и даже вставать на ноги, как вдруг внезапно скончалась от остановки сердца. Я знаю, что так бывает, и не раз сталкивалась с подобным после, но каждый раз это великая неожиданность и великая досада.

Что же случилось? Ещё до того как Эфер пришла в себя, об этом поведали соседи. На ярмарочной площади, где по обыкновению устраиваются танцы и выступления акробатов, собрал толпу проповедник, имя которого недостойно памяти,— худой, лысый, с козлиной бородкой и безумными глазами. Он говорил, в сущности, то же, что и все они: настали-де последние времена, народы восстают один на другой и каждый на каждого, вода обращается в желчь, а золото в песок, из которого и было когда-то рождено, а смешение языков продолжится, и будет у каждого человека свой язык, и один не поймёт другого, а будет слышать только брань и похоть; происходит же это потому, что люди забывают Господа своего и кадят чужим богам, а то и демонам; и не только простые люди творят измену, но и священники, и даже высшие из них, допущенные к Святыне. И тут он стал пересказывать ту небыль, которую возвели на Зекхарью, и рассказывал в таких подробностях и красках, как будто сам присутствовал при событиях. Якобы один из старших священнослужителей череды Авии, Зекхарья бен-Саддук, чья очередь священнодействовать у алтаря была в месяце мархешван, оставшись в строгом одиночестве, осквернил алтарь маской осла и запретными знаками, выведенными кровью чёрного петуха и чёрной кошки, и творил заклинания; тут же по всему Святому залетали все светильники и сосуды, которые не были закреплены, с потолка хлынула вода и залила пол слоем на пол-локтя, а из стены вышел сам Баал-Забул, Повелитель Нечистоты. И Зекхарья кадил ему и служил ему самым срамным образом…

— Ты лжёшь, мерзавец!— не выдержала Элишбет.

Проповедник замолчал, будто невидимая рука вогнала ему в глотку кол. Он лишь таращил глаза и шипел, как змей. Рука его медленно поднималась, пока не вытянулась в указующую стрелу. Наконечник стрелы упёрся в лицо Элишбет. И из горла проповедника вырвался страшный вопль:

— Это она!!!

Кто «она»— никто не спрашивал. Бросились сразу, без раздумья. Эфер попыталась закрыть Элишбет, но у неё не было с собой копья…

Наверное, я пропущу многие события и сразу приступлю к истории Иешуа. Но кое-что мне придётся рассказать, потому что, как сказано, нет памяти о прошлом.

Жизнь медленно, почти незаметно для глаз, ухудшалась. Урожаи падали, потому что летние дожди стали редки, а осенние начинались раньше и губили созревшие хлеба. Затеянная Антипой сеть каналов орошения оказалась бесполезной, а то и вредной, и многие плодородные земли в Великой долине заболотились или засолились. Всё меньше привозили товаров из Сугуды, Индии и страны Церес, потому что за них нечем стало платить. Дома и дороги ветшали; однажды после паводка разрушился Иродов мост, и его не стали восстанавливать.

Всё больше людей скиталось по дорогам, ища любую работу или выпрашивая еду у тех, кто ещё имел лишний кусок хлеба. Среди скитавшихся были и такие, к кому не стоило поворачиваться спиной.

С удивительной точностью, раз в три года, нападал мор на мелкий скот. Однажды, проезжая из Кпар-Нахума в Скифополь, я в семи разных местах видела, как рабы и нечистые либо копают глубокие рвы, либо уже забрасывают их землёю. Смрад стоял такой, что ветер казался липким.

Произошло землетрясение в Галилее. Слабее того, что было при Ироде,— города не разрушились, и стены их не упали, но что-то испортилось в сердце земли, и многие источники сделались солёными или горькими. И счастье, что осенние дожди начались ещё раньше, чем обычно, иначе смертей было бы много, много больше…

И только в двух местах жизнь казалась прежней— то есть становилась лучше день ото дня. Это Иерушалайм и новая столица Антипы, Тибериада. Новый город строился на берегу Галилейского озера, в самом благодатном месте, на пологом берегу, окружённый рощами с трёх сторон. Мрамор для его постройки привозили из Сицилии, из Испании— шиферный камень, с Санторини— чёрную санторинскую землю, которая, будучи растёрта в порошок и смешана с жидкой известью, по высыхании превращалась в камень крепче гранита; с Кипра и Крита везли сосны и дубы, из Ливана— кедр и сикомору. Отец мой принимал участие в поставках и покалечился однажды— или был покалечен… Но об этом чуть позже.

Иерушалайм тоже процветал, и сердцем его процветания был Храм. Посещение его дважды в год стало обязательным для всех, за исключением

дряхлых немощных старцев и тяжелобольных — да и тех зачастую несли или везли туда родственники. У немногих, кто пренебрегал обычаем, мог сгореть дом, пасть скот, да и сам он не был в безопасности. Ревнители всё более побеждали в споре философских школ, и многие уже с нежностью вспоминали боэциев…

Итак, отец. Это случилось, когда Иешуа исполнился двадцать один год, день в день. Сам Иешуа был в кратком отъезде по делам и вернулся только вечером, а если бы он был с отцом, несчастья бы не случилось, я знаю; но кто же способен предугадать всё? Даже всеведущий Бог, когда посылал двух ангелов в Содом, не представлял себе, чем это кончится.

Так вот, отец принимал и пересчитывал очередную партию брёвен, как вдруг соседний штабель рассыпался, и катящимся сосновым стволом отцу помяло обе ноги — одну до колена, а вторую и выше колена. Его привязали к широкой доске и так принесли домой. Многие врачи пытались лечить его, и Оронт привозил ему знаменитого парфянского военного цирюльника, ставившего на ноги многих покалеченных воинов, но всё впустую. Отец только тягостно вздыхал под их пытками и сетовал, что-де не вовремя ушла Эфер — вот она-то точно помогла бы ему… Эфер, как я помню, использовала для очищения язв и ран мазь, сделанную из желудков свежеубитых голодных собак… решился бы отец на такое? Ох, не уверена я…

Отец пролежал дома четыре месяца и умер во сне незадолго до праздника опресноков. Вот о чём он молился:

— О Боже, Источник всякого утешения, Бог милосердия и Владыко всего рода человеческого, Бог души, духа и тела моего!

Я поклонюсь Тебе и молюсь, о мой Бог и Господь: если уже исполнились дни мои и пришло время, когда я должен уйти из этого мира, то пошли, я молю Тебя, великого Микаэля, архангела.

И пусть пребудет со мною, дабы жалкая душа моя вышла из этого бренного тела безболезненно, без страха и нетерпения.

Ибо великий ужас и жестокая тоска овладевают всякой плотью в день кончины, мужи это или женщины, звери полевые или лесные, ползают ли они по земле или летают по воздуху.

Все твари, сущие под небом и в которых есть дыхание жизни, бывают поражены ужасом, великим страхом и крайним отвращением, когда души их выходят из тел их.

И ныне, о мой Бог и Господь, Твой святой ангел да удостоит своим присутствием душу мою и тело моё, пока не совершится разделение их.

И да не отвратится от меня лик ангела, назначенного хранить меня со дня рождения моего. Но да будет спутником моим, доколе не приведёт меня к Тебе.

Да будет лик его радостен и благосклонен ко мне и да ведёт меня в мире.

Не допусти демонов, грозных духов, приблизиться ко мне на пути, которым я должен идти, доколе не приду благополучно к Тебе.

И не допусти, чтобы стражи рая запретили мне войти в него.

И, открывая грехи мои, не подвергни меня позору перед страшным судилищем Твоим.

Но храни детей моих и вдову мою так, как хранил их я. В руки Твои передаю их и доверяю Тебе.

О Боже, Судия праведный, Тот, Кто будет судить смертных судом правым Своим и воздаст каждому по делам его! Пребудь со мною в милосердии Твоём и освети путь мой, дабы я пришёл к Тебе. Ибо Ты изобильный источник всех благ и слава в вечности, аминь…

Мы отвезли отца в Еммаус и там похоронили рядом с дедом Давидом. Погребальную колесницу сопровождали почти пятьсот человек. Все дороги были забиты ликующими паломниками. Но нас пропускали вперёд.

Много времени спустя один из бывших помощников отца сказал мне, что верёвка, стягивающая замок того злосчастного штабеля, не лопнула и не перетёрлась, а была кем-то перерезана. Но кто это сделал и с какой целью, я просто не могу вообразить. Разве что другие лесоторговцы, кому отец когда-то вольно или невольно перешёл дорогу…

Вскоре после смерти отца мы с Иохананом и детьми продали дом под Скифополем и перебрались в Геноэзар, самый старый из городов на берегу озера и лежащий совсем рядом с Кпар-Нахумом; от нас до мамы можно было дойти пешком всего за час. Иешуа и Иоханан посоветовались друг с другом и со знающими людьми и решили, помимо торговли деревом, заняться ещё и торговлей шёлком и шерстью, а также железом. В Сугуде железо было дёшево, его там вытапливали просто из песка, но зато был очень дорог провоз через Сирию: римляне стали брать за железо высокую пошлину, вынуждая тем самым покупать дамасское, которое было хуже: сугудское ржавело медленно, а дамасское — очень быстро. Но Иоханан придумал способ обмануть таможенников. Какой это способ, я не знаю, да если бы и знала, то не стала бы выдавать его — может быть, кто-то им ещё пользуется. Почти весь привезённый товар он продал Антипе, чем заслужил восторг и благодарность; и ещё не раз он возил таким образом железо, которое большей частью шло на строительство Тибериады, а какой-то меньшей — на мечи и наконечники копий. Что касается шерсти, то здесь Иоханан тоже придумал простую и замечательную вещь. Известно, что евреи, в отличие от арабов, не едят мяса верблюда, не пьют молока и не используют шерсть, а лишь возят на нём грузы и неохотно ездят сами, отделяя себя от соприкосновения с нечистым животным ковром из овечьей шерсти или просто шкурой. В Галилее верблюдов немало, а ещё больше их во владениях Филиппа; и по весне, когда начиналась линька, крестьяне и работники просто закапывали вычесанную шерсть. Мой муж нанял два десятка краснобаев, и они объехали множество деревень, объясняя всем, что закапывать шерсть нельзя, поскольку-де так оскверняется почва, и не от этого

ли все наши невзгоды? — а нужно её сваливать в загородку под навес, и специальные люди будут её оттуда забирать… А потом собранную эту шерсть женщины-язычницы распутывали, расчёсывали, и Иоханан отправлял её огромными тюками, которые было под силу поднять только двоим сильным мужчинам, в Грецию и Фракию, где верблюдов не было, а холода были.

Да, и ещё: моих детей звали Эфер — сына и Эстер — дочь. Больше я не буду о них вспоминать здесь, потому что тогда я впадаю в глубокую печаль, из которой долго не хочу выбираться. Мне ещё нужно о многом рассказать, силы же мои не беспредельны.

Глава 16

Когда Иешуа впервые узнал о своём происхождении и предназначении? Сам он не говорил мне об этом, а я никогда не спрашивала, потому что испытывала вполне понятную неловкость — всё-таки я была родным ребёнком, а он — приёмышем. Но, думаю, это произошло задолго до того, как он, глядя вдаль пустыми глазами, ровным, слишком ровным голосом рассказал мне всё: и историю своего происхождения, и то, что ему вскоре предстоит сделать. Я слушала в ужасе, я готова была умереть на месте, вот здесь и сейчас, лишь бы это оказалось неправдой…

— Тебя убьют, — прошептала я. — Не надо.

— Так меня убьют ещё вернее, — сказал он, помедлив, а я уже знала, что он прав.

Иешуа вдруг оказался в положении Александра Великого: спасение его было только в смелости и стремительном, неудержимом движении вперёд.

Мы сидели в саду моего дома. Потом Иешуа встал и молча ушёл. Я вдруг подумала, что больше не увижу его. Но он вернулся, просто погулял по саду и вернулся.

По-настоящему он ушёл три седмицы спустя.

Это случилось на четвёртый год после смерти отца, ранним летом.

Узнал же брат о своей судьбе — увы, я могу лишь предполагать, но сердце моё подсказывает мне, что я предполагаю правильно, — года за три до ухода; он ездил в Кесарию по торговым делам и вернулся домой совершенно больным и разбитым, закрылся в комнатах и никого не желал видеть. Лишь изредка Иешуа выходил, серый и бессловесный, похожий на свою тень. Так прошло полмесяца, а потом он стал почти прежним, но время от времени, наклонив голову, начинал как бы прислушиваться к далёкому тёмному гулу…

Да, наверное, это произошло именно тогда. Три года он носил тайну в себе, оберегая нас.

А когда Иешуа ушёл, я узнала ещё одну, куда более страшную тайну. Муж мой, Иоханан, зажёг светильник и сказал:

— Сядь и слушай, Пчёлка. Только не кричи…

— Ты тоже? — спросила я.

Он кивнул.

Я плакала только тогда, когда муж мой меня не видел. Потом ушёл и Иоханан, он получил какое-то письмо, которое не показал мне, поцеловал меня, поцеловал спящих детей, взял на спину мешок и ушёл в тёмную ночь. Потом приехала Мария, и мы плакали с нею вместе.

Мария — это внучка Эфер.

Мария и Иешуа познакомились вскоре после похорон нашей необыкновенной служанки; Ханна, дочь Эфер, со своею дочерью приехали лишь к концу семидневного траура, поскольку весть о смерти дошла до них не сразу. Мария видела бабушку четыре или пять раз в жизни — и, как она говорила потом, не чувствовала утраты, а честно играла роль, как хористка в театроне: она знала слова и знала, что делать. Боль дошла до неё лишь несколько лет спустя…

Она говорила мне, что сразу и навсегда поняла: Иешуа предназначен ей и только ей. Ещё в самый первый миг — она увидела его со спины, увидела лишь плечо, шею и поворот головы, — её как будто пронзила тихая молния, и картина эта больше никогда не исчезала, и стоило Марии прикрыть глаза, как на обратной стороне век проступали эти плечи, эта шея — и золотые кудри, присыпанные белёсым пеплом. Но ни в тот день, ни на следующий, ни через день они ещё ничего не сказали друг другу, и лишь когда траур завершился, когда разбили и зарыли горшки, в которых готовили чечевицу и просо с изюмом для последней тризны, Иешуа и Мария заговорили друг с другом легко и ласково, как будто были знакомы страшно давно, долго и с интересом.

Мария была замужем тогда; муж тот, житель Сидона, но римский гражданин, вместе с её отцом находился в долгой поездке — кажется, в Эфесе; они торговали камнями, драгоценными и просто поделочными, что-то покупали, что-то продавали, ища выгоду повсюду и находя её для себя. Это он, муж Марии, прислал Антипе гигантские глыбы зелёного узорчатого африканского камня, из которых сирийские и египетские мастера изготовили ванны, чаши для омовений и столы для пиров, так поражавшие каждого из гостей тетрарха, включая римских утончённых бездельников, повидавших всё на свете. Мария не любила мужа, но отцу был необходим надёжный компаньон.

Вернувшись домой и вскоре поняв, что ничего не может поделать со своим рвущимся сердцем, Мария созналась матери. Ханна пришла в ужас. Она знала кровь и гордость своей дочери и понимала, что та не остановится ни перед чем. Следовало что-то предпринимать, а муж и не думал возвращаться. Написав зятю извинительное письмо, Ханна отправила Марию под надуманным предлогом в морское путешествие в Сиракузы, к старшему брату своего мужа, Филарету. Пройдёт время, и Филарет окажется едва ли не в центре всех событий…

Братья эти, по рождению финикийцы, Филарет и Тирам (так звали мужа Ханны и отца Марии), были ещё менее похожи, чем Иоханан и Иешуа. Тирам до глубокой старости оставался худым, сухим, жилистым и темнокожим, а волосы на его голове, вначале цвета палой листвы, с годами стали ослепительно-белыми, но неизменно красивыми;

он жил по еврейскому закону и молился в синагоге; его почитали как праведника и большого книжника (что не помешало ему, впрочем, выдать дочь за богатого язычника). Филарет был невысокий, толстенький, очень подвижный и с малых лет лысый; многобожием своим он превосходил и греков, и римлян, вместе взятых, но верил, мне кажется, только и исключительно в силу золота и серебра.

Согласно букве римского закона, Мария должна была раз в год хотя бы на три дня покидать дом мужа и возвращаться к родителям или другим родственникам, а иначе она теряла свои права в браке и могла стать полной собственностью мужа—почти рабыней. Вот она и покинула его, но не на три дня, а на полтора года. Муж претензий не предъявлял—как позже стало известно, в Эфесе он увлёкся развращённым рабом Абессаломом и надолго утратил интерес к женщинам вообще. И все позднейшие его притязания на Марию объясняются только ущемлённым самолюбием глупца, не более.

Мария же мучилась посреди жизни, как казнимый раб в яме со скорпионами. То есть ей удавалось временами засушить свою страсть, убедить себя, что жизнь есть жизнь и в ней не всё удаётся, и нужно смириться, подчиниться природному ходу событий, року, если угодно.

Но потом она закрывала глаза и на внутренней стороне век видела это: плечи, шею и поворот головы…

Много времени спустя я слышала много злых и гнусных слов о Марии, и среди них такие: она-де развелась с мужем только тогда, когда узнала об истинной сущности Иешуа, а до того вела себя как шлюха из филистинского портового притона. Это лишь кажется правдой, на самом деле истина не здесь. От развода Марию удерживала лишь слепая любовь к отцу—ведь тогда он терял компаньона, который к тому времени своею хитростью и бесчестностью завладел большей частью денег и имущества тестя. Но как только отец умер и уже не мог испытать огорчения, Мария заявила о разводе; они с матерью остались почти ни с чем, почти нищими, но с каким облегчением обе сделали этот шаг!..

Я пыталась, я много раз пыталась рассказывать об этом, но меня не желали слушать. Или слушали, но тут же забывали всё услышанное ими. Таковы люди—им хочется, чтобы известные были хуже и гнуснее их самих, ничтожных и забытых посреди мира.

И ещё одно заблуждение о Марии, на этот раз добросовестное. Родной город её предков, Магадан, лежащий на границе Египта и страны Куш, по-арамейски называется Магдала, потому что оба эти слова значат «башня», вследствие чего и прозвище Марии было Магдалина. Но ни к галилейской Магдале (кстати, тоже в древние времена называвшейся Магаданом), что в трёх часах пути от нашего дома, ни к Магдале филистинской, ни к покинутой людьми Магдале набатийской (после землетрясения там прогоркли все источники и колодцы и жить стало нельзя) Мария никакого отношения не имела, и свидетельства людей, якобы знавших её в тех городах,—или праздная ложь, или прихотливые извивы неверной памяти.

Нельзя сказать, что путешествие в Сиракузы—а дальше в Рим, в Афины и на Родос—излечило Марию от любовной лихорадки, но зато добавило много знаний о мире. Купцы говорят, что месяц в дороге стоит года за книгой. Не скажу, что я полностью согласна с этим изречением, но краешек правды в нём есть. Мария стала спокойнее и мудрее. Закон, конечно, в мире один на всех, сказала она как-то Иешуа, но мы сами переводим слова его с божественного языка на людской по словарям нашего сердца…

Это были годы, когда отец постепенно отходил от дел и всё чаще оставался дома, пестуя детей и нещадно балуя внуков; что тот дом, что этот были завалены игрушками по крышу. Мне кажется, дети мои слышали постукивание посоха или цокот копыт ослика, впряжённого в тележку, за четверть часа до того, как отец сворачивал на нашу улицу. Они бросались к нему и тут же лезли в мешок… Брат же мой и мой муж всё больше времени проводили в разъездах, трудясь, чтобы мы ни в чём не знали нужды; времена же, повторю, были непростые, и каждый следующий год делался хоть немного, но хуже предыдущего.

Через три года после смерти Эфер, почти день в день, дети мои забеспокоились и устроились у окна, время от времени подпрыгивая по очереди, чтобы что-то увидеть. И действительно, вскоре зацокали копытца и во двор вкатилась тележка, на которой сидели двое. Ханну я почему-то долго не узнавала—до тех пор, пока она не вошла в дом. На ней был богатый, серый с золотом, плащ, жаркий не по погоде. Обнимая её, я почувствовала, что бедняжка дрожит.

—Что случилось, сестрица?—шёпотом спросила я.

—Расскажу после,—шепнула она в ответ.

Я позвала служанок, чтобы они обиходили гостью, потом мы поужинали и приступили к разговорам; отец же оставил нас и занялся вознёй с внуками; я слышала смех и шум. А Ханна спросила разрешения погостить—разумеется, я с восторгом и радостью её пригласила,—после чего замолчала. То есть она начинала о чём-то рассказывать, но вскоре сбивалась, теряла нить и продолжала что-то другое, начала чего я не знала.

—Сестрица,—сказала я.—Ты хочешь что-то сказать, но не решаешься?..

—Потом,—сказала она.—Когда дядюшка уйдёт.

Мы не состояли в родстве, но почему-то чувствовали себя ближе, чем иные близнецы.

И вечером она рассказала мне страшное. Мария, дочь её, попыталась свести счёты с жизнью. Как истинная римлянка, она легла в горячую ванну и вскрыла вены на левой руке, у локтя. Ханна, которая незадолго до этого покинула дом дочери, вдруг почувствовала томление в груди и вернулась, и только благодаря этому дочь её осталась жива

и никто из соседей не узнал о происшествии. Но целую седмицу Мария находилась между жизнью и смертью, склоняясь то в ту, то в эту сторону. Спас и выходил её раб-лекарь Тимофей. Было это месяц назад; теперь Мария окрепла, и жизни её ничто не угрожает. На неистовые вопросы матери, зачем она это сделала, Мария просто ответила, что не может больше бороться с собой, поскольку любовь, которую она носит в сердце, разрастается всё больше. Не помогло ничего — ни путешествие, ни сильные мужчины, которых она по совету дяди Филарета допустила к себе. Теперь она испробовала последнее средство и убедилась, что только оно и действенно; всё остальное не в счёт. Не пугайся, мама, сказала Мария, пытаясь улыбаться, и улыбка у неё была не из этого мира, меня ещё надолго хватит, я ведь теперь не боюсь, потому что точно знаю: выход есть…

Окончание следует

Дмитрий Косяков

65 лет без великих побед

После событий 1993 года власти официально отреклись от советского прошлого. Это был важный пункт идеологической программы: вся новейшая история России была объявлена сплошной ошибкой и катастрофой. Таким образом, во время правления Ельцина отношение ко всему советскому периоду оставалось крайне негативным. Не была исключением и Великая Отечественная война. Её преподносили как позор нашей страны. И потерь мы понесли гораздо больше, чем немцы, и руководство армией состояло сплошь из бездарностей и мясников. Однако тут возникла сложность: собственных побед и достижений у власти не было (не считая, конечно, приватизацию народной собственности и позорную чеченскую войну), а патриотизм развивать было необходимо. Образ большой победы должен был воодушевить разочарованный народ.

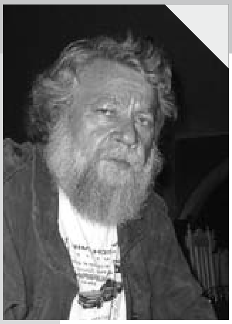
Сверху поступило указание по реабилитации образа Великой Отечественной, но без каких-либо послаблений советской власти. С этой непростой задачей разные авторы справлялись по-разному. Упор был сделан на то, что Великая Отечественная — это война русского народа против иноземных захватчиков, причём упор делался не на интернациональный характер войны, а, напротив, на национально-почвеннические настроения. Ярким примером может служить мультфильм, нарисованный японскими аниматорами по заказу России, «Первый отряд». Воспитанная православным монахом девочка-экстрасенс ведёт духовную борьбу с призраками тевтонцев, воскрешённых фашистами. Таким образом, Великая Отечественная война преподносится не как попытка насильственного включения СССР в систему капиталистического обмена, но как продолжение сражения православной Руси с католическим Западом.

События Второй мировой аккуратно вырезаются из новейшей истории и помещаются в историю средних веков, против которой наши идеологи ничего не имеют. Та же линия, хоть и менее отчётливо, видна в фильме «Мы из будущего». Советские солдаты не кричат: "За Сталина!», не говорят ничего, что могло бы указать на их отношение к коммунизму, зато они крестятся перед боем.

Куда более отчётливо религиозная составляющая прослеживается в фильме «Поп», действие которого также разворачивается в годы войны. В нём с открытой неприязнью изображены советские солдаты, агенты КГБ; немецкие солдаты показаны с состраданием и симпатией; но главным положительным персонажем является священник, который совершает добрые поступки и никак не участвует в войне.

Хороший пример современной идеологии даёт фильм «Кукушка», где волею обстоятельств двое солдат противостоящих армий оказываются вырваны из военных событий и вынуждены жить вместе на лоне природы. Таким приёмом автор полностью устраняет из темы войны её историческую, экономическую и идеологическую основу. Создаётся впечатление, что война — это недоразумение, и если бы люди чуть лучше понимали и любили друг друга — ничего бы не произошло. Но ведь немецкие солдаты шли на войну не по своей воле, такова была воля нацистской партии, воля власти, которой обыватель не умел противостоять ни 65 лет назад, ни сегодня.

Отдельного рассмотрения заслуживает фильм Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2». Здесь вновь смакуются кровавые подробности, большую часть фильма составляет месиво из грязи и мяса. Снова расстрельно-вредительская роль советской власти плюс несколько вежливых реверансов в адрес фашистов. И представитель простого народа, поднимающий голыми руками танк. Нам снова пытаются подсунуть былинно-мифологическое восприятие истории, заставить нас верить в лубок, как это уже давно практикуется в той же Америке. Что ж, осталось дождаться смерти последних ветеранов — и можно творить с памятью что угодно.



Владимир Алейников

Пора хризантем

28 января 2011 года исполнилось 65 лет выдающемуся поэту, публицисту и художнику, основателю и лидеру группы СМОГ, постоянному автору «ДиН» Владимиру Дмитриевичу Алейникову. С днём рождения, Владимир Дмитриевич! Пусть Ваше небо будет ясным, солнце ласковым, Муза — щедрой, друзья-читатели — внимательными и мудрыми!

«Владимир Алейников — классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим поэтом. Алейников — поэт редкой группы крови. Все мы — патриоты времени. Он — патриот пространства… Алейников выиграл своё сражение и чётко держит свою дистанцию в русской поэзии».

Евгений Рейн

«Владимир Алейников был центральной фигурой среди смогистов потому, что именно Алейникову более всех удалось воплотить изначальный пафос новой эстетики, больше других в ней самоопределиться. Именно Алейников более всех своих товарищей зависим, «неотрываем» от своего времени (что, кстати говоря, делает ему честь).Отличительной чертой смогистов, и в частности Алейникова, является великая вера в таинство поэзии, во всесильность её собственной, не поддающейся осмыслению, жизни. Гармония знает больше, чем тот, кто реализует её,— вот несформулированный, но основополагающий тезис поэтической традиции, главным выразителем которой стал Алейников. Поэзия Алейникова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что в существе своём заключает тайну единовременности всего сущего. Владимир Алейников, вне всякого сомнения, самый одарённый поэт своей плеяды, а может быть, изначально, один из самых одарённых поэтов своего времени…»

Александр Величанский

Обрывки фраз истерзанных — о том,
Что хаос днесь ощерился войною —
Побудь со мной, обвей меня весною,
Прижмись ко мне в дому моём пустом,
Не вспоминай ни жажды, ни нужды,
Вглядись со мною в марево ночное, —
Хотя бы тем, что рядом ты со мною,
Утешь меня средь злобы и вражды.

О том, что впрямь кружилась голова
От этих снов, от этих обещаний,
От этих встреч — и, стало быть, прощаний,
От этих свеч, мерцающих едва,
Тускнеющих и гаснущих в ночи,
Чтоб вспыхнуть непредвиденно однажды,
Я говорю, — ну что теперь отдашь ты,
Чтоб всё вернуть? — рыдай, но не молчи.

Тебе как воздух нужен сей простор —
И если ты давно, подобно чуду,
Воспринимаешь речь — пускай повсюду
Пылает нескончаемый костёр,
В котором слово в муках обретёт
Блаженство жизни — пусть и несуразной,
Зато родной — а стало быть, прекрасной,
Когда она средь хаоса цветёт.

Один, один… Конечно же, один!
А кто ещё? Кому ещё подвластно
Всё то, что для других огнеопасно
В кругу миров, безвестности годин,
Расхристанности веток и вестей,
Спросонок в окна тычущихся с маху? —

Не к спеху вздох — и вот навстречу страху
Встаёшь один — без близких, без гостей.

Нету сладу со словом смолёным,
Прокалённым, солёным, земным, —
Что за шляхом встаёт пропылённым?
Что растёт, продолжаясь за ним?

Что за люди встречают с поклоном,
Полумраком объяты ночным?
Что за словом — неслыханным лоном?
Что за свет за изгибом речным?

Пора хризантем

Наступает пора хризантем—
За мостами низовий не видно,—
Ты одна затворись насовсем,
Чтобы сумеркам было обидно,—
Ни в друзья, ни в полон не берут,
На поруки принять не желают,—
А кому приглянулся уют,
Те поют и глаза опускают.

Занавесок сквозящая ткань
Шевельнётся к вискам своевольно,—
И покамест осознана грань,
Чем на свете ты столь недовольна?
Опустевшую грудь не теснит
Пребывание в зале зеркальной,
Где подземной воды хризолит
Откликается, эха печальней.

Сердце горлицам станет сродни,
Приютясь под железною крышей,
И оранжевый шорох в тени
Пробежит за лисицею рыжей,—
Ну а если холмам лиловеть,
Винограду хмелеть на закате,
Чтобы лучше тебя рассмотреть,
Появляется белое платье.

По аллеям, где шёл не дыша,
Чтобы к тихой руке прикоснуться,
Приближаешься ты, хороша,
И, наверное, надо вернуться,—
Приглянулась ты осени вновь,
Не забудь о плащах и ненастье,—
Ближе губы, и поднята бровь,
Всепрощенье сегодня у власти.

Как избыток любви ни храни,
Грустно ласточкам в хижине ветхой,
И на ветках мерцают огни
Золочёной шумящею клеткой,—
Не припомню и я сгоряча,
Что грядущая стужа бормочет,
Где подводного царства свеча
Отражаться в желании хочет.

Мы теперь не зовём за собой,
Набродившись вдвоём в переулке,
Где пора бы идти за судьбой,—
Ну и что же?—всё то же—прогулки,—
И стоим на виду между тем,
Что открыто и что—за открытьем,
И окно, как октябрьский тотем,
Не гордится теплом и наитьем.

Золотого вина набирай—
Утешенья огнём добывают,—
И бредущие в будущий рай
О неслыханных снах вспоминают,—
А пока мы вздохнём наяву,
Успокойся—светло и невольно
Я и в горе тебя назову—
Задержаться дыханию больно.

Это, найденных дней не щадя,
Не пылает хрусталик зелёный,
И подобен струенью дождя
Перламутровый гребень Вероны,
Избавительных заводей звон
Изобилием листьев украшен—
Если имя им впрямь легион,
Остеречься бы шахматных башен.

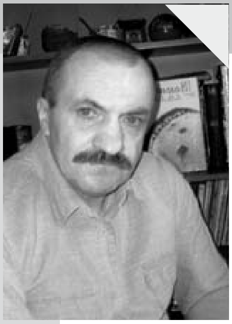
Я издревле хранил и прощал
То, что в слове сказать не сумею,—
Словно жилки его ощущал—
Озари меня жизнью своею,—
Чтобы свидеться в этой игре,
Ты навек разгляди и запомни
Коронацию крон в октябре,
Глазомер запестревшего полдня.

И замедленный ход кораблей,
Уводящих к обители граций,
И в садах развлечения фей
Объясни мне сегодня, Гораций,
Здесь, где празднество было вчера—
И оставлены ратью хмельною
Негасимое пламя костра
И летучая мышь—Алкиноя.

Лишь близкому осталось рассказать
О том, как жили, и о том, как пели,
О том, как слово вымолвить успели,
Судьбы незримый узел развязать,
Оставить всё, с чем издавна срослись,—
И всё вернуть отважно и упрямо,—
И на пути от логова до храма,
Шагая вглубь, уйти куда-то ввысь.

Ничего не страшись!—говори
С тем, что душу возвысит твою
В час, как брезжит полоской зари
Грустный день в киммерийском краю,
В час, как медлит вечерней зарёй
Всё вокруг отойти на покой,—
И негаданно вдруг приоткрой
Всё, что собрано долей такой.

Выпуск подготовила Марина Переяслова



Алексей Курганов

Сомнения деда Титка

Если требуется охарактеризовать деда Титкова одним словом, то долго ломать голову не придётся: Титок — *злой*. Злость — это его сущность, натура, смысл и образ жизни, манера поведения, основа существования, принцип мировоззрения; короче — всё, всё, всё и даже ещё сверх этого. Злость — его нормальное состояние, он злится всегда, везде, на всё и по любому поводу. Вообще — уникальный тип, который ну никак не мог родиться, расти и дожить до седых волос в стране почти победившего социализма, который, как известно, воспитывал в человеке самые лучшие, самые светлые, самые добрые чувства — и нате вам, воспитал такое вот уродливое, пышущее лютой хронической злобой исключение. Как он ещё в диссиденты не угодил, как не пошёл гулять по Красной площади с каким-нибудь антисоветским плакатом типа «Свободу Синявскому и Даниэлю!»!

А вот не пошёл. Потому что он не только злой, но ещё и хитрый. Он, может, сразу просёк эту фишку про диссидентство. Он сразу понял, что места там хотя и злобные, но тихие — в смысле, чреватые не совсем удобными последствиями, и поэтому ловить здесь абсолютно нечего. Молодец! Хоть академиев и не кончал, а кой-чего к носу запросто прикидывает. Куда там до нашего Титка этим самым злобным диссидентам, выкормышам западных разведок и несоветских голосов! Да и самим этим «интеллидженс сервисам» и прочим шпионским лавочкам до деда Титка как до Луны. А умный потому что. Ему палец в рот не клади. И руку тоже. Он если есть начинает, то сразу с головы. Вот такой достойный гадёныш-выкормыш нашего бывшего социалистического строя, при котором «стук» на соседа приравнивался к торжественному исполнению священного гражданского долга.

Вообще-то чёрт его знает, чего он такой злой. Да, жизнь его не баловала, порой даже весьма ощутимо прикладывала — ну и что? А кого она, спрашивается, пинками-то не отметила? Вот, например, соседка его, бабка Матрёна. И мужа в войну потеряла, тащила на своём совсем не богатырском горбу троих ребятишек да свекровь парализованную. И в это же время в «стальнухе» работала, в сталелитейном цехе паровозного, а потом тепловозостроительного завода. В этой, без всякого преувеличения, адовой преисподней и здоровенные мужики-то порой не выдерживали, ломались — и грохот, и шум, и грязь, и, конечно, жарища; ведь не просто так здесь по «горячей» сетке работали, в пятьдесят лет мужики, в сорок пять бабы на пенсию уходили, да всегда нездоровыми и часто инвалидами — «стальнуха» соки из людей умеет высасывать… А Матрёна работала. До самой пенсии. И как её черти в той геенне огненной не изжарили — чудо чудное. Перефразируя Ф. И. Тютчева, вполне серьёзно можно сказать, что «умом Матрёну не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать, в Матрёну можно только верить».

А жильё? До шестидесяти лет прожила она в халупе, которую постоянно приходилось латать, красить, крысиные дыры без конца-края заделывать. Без водопровода и тёплой уборной, с печкой, которую каждый день надо было протапливать, а печка бестолковая, дров жрала много, а где их взять, дрова-то эти, а найдёшь (какое там «найдёшь»! Купишь! А это всё денежки, денежки, а за спиной-то трое малых да бабка Люба, и все они есть-пить хотят, да и одежонку какую-никакую…),так привезти надо, а привезла — напили, наколи, сложи в поленницу да поглядывай, как бы соседи не украли… Это поставь в такие условия какую-нибудь англичанку, француженку, итальянку или американку, так они разом руки на себя наложат, развесятся по деревьям, утопятся в пруду, устроят из себя коллективную Анечку Каренину. А нашей Матрёне страдать некогда, ей всё нипочём! С виду, понятно, нипочём. Сколько же она подушек слезами своими умыла, сколько раз, когда уже, казалось, всё, предел, сдохнуть — не встать, а она, бедолага, забьётся куда-нибудь в уголок, чтоб не видел никто и не слышал, навоется там от души, глядь — и вроде полегчало. И опять вперёд, опять горбиться, и снова поднимать, копать, собирать, набирать, пилить, рубить, косить, опять *валдохать*, и опять, и снова, и ещё… И что уж совсем в диковину деду Титку — всегда она, Матрёна, улыбчивая, всегда приветливая, всегда готовая плечо подставить, помочь, приласкать, обогреть… В общем, не в себе баба, всю жизнь не в себе. По глубокому титковскому убеждению — малахольная на всю её седую голову. Одно название — русская женщина! Загадка феномена диковинной российской природы! Ну как на такую не разозлиться?

Единственная отрада у Титка — внучка Лиза и правнучка Поленька. Они и живут все вместе, втроём, в двух комнатах старого, но крепкого ещё бревенчатого дома. Жена Титка, богомольная Серафима, умерла уже лет как пятнадцать тому, а единственная дочь Нюша — три года назад, на Покров, от страшной женской раковой болезни. Нюшин муж, Мишка-прощелыга, бросил её, когда

Лизоньке и двух лет не было, на Север подался, за длинным рублём, да и сгинул там, успокоился. Должно быть, заработал тугую копеечку полной ложкой… У Лизоньки с замужеством тоже не сложилось, родила, как говорится, для себя, да и правильно сделала: ей уже за тридцатник перевалило, чего ждать-то? Прынцы на белых лошадях давным-давно по своим королевствам разъехались, а те королевичи, которые безлошадные, или своими семьями обзавелись, или спились, горемыки, от этой самой выпивки бесплодные, а потому совершенно бесполезные… Да ладно, ерунда всё это, им и втроём-то больно хорошо! Спокойно, удобно, уютно, никто не шумит, кроме телевизора с холодильником. И денег хватает: Лиза технологом работает в железнодорожном депо, а железнодорожные всегда неплохо зарабатывали; дед пенсию получает повышенную, как участник трудового фронта (нашлась бумажка-то, нашлась, что окопы противотанковые в мальчонках рыл под Зарайском да в поле ломил с утра до ночи в орденоносном колхозе «Красная пойма»). Шесть с лишним тысяч ему сейчас положили, да и вечерами, когда Лизонька с работы возвертается, ходит мусор подметать у привокзальных пивнушек, а это ещё полторы тысячи в месяц плюс пустые бутылки: если водочные — по двадцать копеек, если пивные — по целому полтиннику, тоже приварок на тот же «беломор», всё не у Лизоньки спрашивать.

И вдруг *случилось*… Поленька заболела. И такой болезнью, что, как сейчас молодые говорят, мама не горюй. Какое-то очень редкое заболевание крови, осложнение после гриппа — после обычного, пустякового, на который всегда поплёвывали и за болезнь-то никогда не считали, гриппа. Истаяла Поленька за какие-то три месяца, из пухленькой хохотушки с такими прямо до слёз трогательными ямочками на розовеньких щёчках-персичках превратилась в никакое существо с бледной кожей, синюшными губами, хриплым дыханием и застывшими в немом удивлении огромными, василькового цвета глазищами, которые так недоумённо спрашивали: чего это со мной, деда, приключилось-то? И, главное, за что? Никого не обижала, никому не мешала (да и кому ребёнок помешать-то может, Господи?) — и на тебе, кровь заболела. Нет в жизни справедливости. Прав дед: кругом одно сплошное злое-презлое зло.

— И это врачи? — орал дед, в очередной (который уже по счёту?) раз появляясь в больнице и распугивая своим рёвом посетителей. — Коновалы с купленными дипломами! Ничего, я найду на вас управу! — и, кипя от бешенства, отправлялся в комиссию по делам здравоохранения (бывший горздравотдел).

— Жулики! — разносился его крик по коридорам городской администрации, и здешние посетители тоже пугались, и охрана спешила на крик, чтобы утихомирить крикуна. — Негодяи! Без взятки и пальцем не пошевелите! В Москву буду жаловаться, там-то вам хвосты прищемят!

Дед — человек слова, тут же собрался и рванул в Белокаменную. Пропадал там два дня. На третий день Лизонька разволновалась, позвонила родственникам, у которых дед должен был остановиться. Те успокоили: жив-здоров, носится где-то целыми днями, ничего не рассказывает, только знай себе матерится… На четвёртые сутки, вечером, дед вернулся. Лиза молча подняла на него глаза. Дед так же молча свои глаза опустил и ушёл в свою комнату, даже не поужинав. Всё понятно: сейчас лужёной глоткой никого не проймёшь, на «хапок» никому ничего не докажешь. Рынок, господа! Ни профкомов вам, настоящих защитников трудящихся масс, ни комитетов народного и партийного контролей! Вот если у вас в кошельке сытно шуршит — тогда другой разговор! Тогда милости просим, будьте так любезны, в доску расшибёмся, а сделаем всё чики-чики! Если же у вас там «ветер северный, умеренный, до сильного», то внимательно разглядывайте картину художника Репина «Приплыли». Разглядывание — бесплатно и временем не ограничено. Хоть усмотритеся все до полного вашего посинения вместе с окоченением.

И закрутилось по новой: унылые казённые бесконечные коридоры поликлиник и стационаров, таблетки, уколы, капельницы, профессионально озабоченные лица врачей, консилиумы, консультации — и снова таблетки, и снова капельницы, и снова тоска больничных коридоров… Не оставили без внимания и экстрасенсов, колдунов, гадалок и прочих подозрительных целителей. И везде — мимо, везде — картина Репина. Замкнутый круг. Точка.

— Здравствуй, баба Матрёна! — поздоровалась Лиза.

— Здравствуй, Лизанька, здравствуй, милая… На смену собираешься? А дед где?

— К Поленьке пошёл. Её сегодня заведующий отделением должен был смотреть. Может, чего нового скажет…

— Я к ней заходила с рынка… Ничего, Лизанька, дай Бог, поправится… Я вот чего зашла-то. Вчера по телевизору передача была, там как раз про таких вот детишек рассказывали. И вот чего — предлагали людям, кто может, деньгами помочь — кому на операцию, кому на лекарства. Я и подумала: а чего бы тебе в ту передачу не позвонить? Телефон я записала.

— Неудобно как-то, баб Матрён…

— Да, с протянутой рукой по миру пойти — это не каждый может. Это ты права. А коли деваться некуда, тогда чего? Пойдёшь, куда денешься…

Лиза заплакала: денег действительно нет, какие и были — закончились. Качественное лечение-то сегодня — дело дорогое, можно сказать — барское, а Поленьке без операции никак нельзя. И где этот миллион (даже произнести страшно — миллион!) проклятущий взять? И опять Матрёна разрешила все её сомнения.

— Пошли, — сказала, как припечатала. — Нечего сидеть, делать надо. У Валюшки сегодня как раз дежурство, вот от неё и позвоним. Пойдём, пойдём! Тебе как раз по пути на работу. Ты ведь с работы-то не позвонишь, постесняешься, я знаю…

Бабка неожиданно замолчала, вроде задумалась о чём-то.

— У меня, Лизавета, папаня бакенщиком был,— разлепила она губы.— Все ладони себе вёслами стёр. Я уж и не помню, с какой такой стати разговор однажды зашёл и о чём, но вот слова его хорошо запомнила. Сказал он: бывает, Мотя, что, кажется, и силов-то никаких уже не осталось, что всё — гребок, другой, и больше уже не поднимешься. И до цели ещё далеко, даже и не видно её — а отдыхать некогда, время упустишь… Чего делать? А ничего! Грести. Просто грести… Это я знаешь, Лизанька, к чему? К тому, девонька, что грести надо. Кроме тебя — некому. Вот и весь сказ. Ну, собралась? Тогда пойдём…

На следующий день, утром, после смены, Лизавета уехала в Москву. Она и не ожидала, что телефонный звонок окажется таким удачным. Её вежливо выслушали, предложили, не откладывая, приехать, захватив с собой все имеющиеся медицинские выписки из историй болезни. Домой вернулась поздно вечером: путь-то неблизкий, три с половиной часа только в один конец. Дед сидел на кухне, якобы пил чай, а на самом деле ждал. Услышав звук открывающейся двери, встречать не вышел, лишь повернулся ожидательно.
— Это я, дед…
— Вижу… — привычно хмыкнул Титок.— Ну, чего там, в Москве-то? Небось, опять одни… — он хотел было привычно выругаться, но выражение Лизаветиного лица его удержало.
— Я, дед, сама не пойму… Встретили хорошо, внимательно выслушали, сказали, что в начале следующей недели пришлют корреспондента и телеоператора, чтобы снимать это… ну, кино, что ли… в общем, передачу о Поленьке.
— А ты им и поверила,— заключил дед, усмехнувшись горько.— Эх, Лизавета, доверчивая ты душа…
— Поверишь, когда делать нечего, а делать надо. Надо грести.
— А вот теперь понятно. Матрёна заходила. Научила, богомолка хренова…
— Да! Научила! — вдруг повысила голос Лизавета. Это было до того неожиданно (чтобы повысить голос на деда? И кто? Лизавета, внучка любимая, внучка единственная, свет в окошке! Такого никогда не бывало, да и представить такого было никак нельзя!), что дед откровенно растерялся (тоже впервые в жизни), отступил, забормотал непривычно:
— Да я ничего… Так, по привычке… Ты не сердись, Лизанька… Не со зла ведь… — и умолк как-то побито.

Тут уж пришла пора растеряться Лизавете: чтобы дед — да извиняться, прощения просить? Чудеса, и только! Вот уж воистину неисповедимы пути твои, Господи!
— И ты меня, деда, прости. Я же вижу, ты и сам измучился, только виду не подаёшь, хорохоришься, как всегда. Только чего ж делать-то? Приедут, снимут, покажут… А вдруг?
— Я и говорю: доверчивая ты очень, Лизавета. Сама подумай, как это совсем незнакомые люди, совсем посторонние, тебе деньги будут присылать? С какой такой стати? Богач не пришлёт, он жадный, богач-то, хапуга, он за копейку удавится. А бедный, может, и хочет послать, а где же он возьмёт-то, если бедный? Это диалектика, Лизанька, наука такая! Или эта… философия мирового зла, вот! Короче, сплошной марксизьм-ленинизьм! Вон, Петровича третьего дня у магазина сердчишко прихватило, упал. Так что, кто к нему, думаешь, подошёл, поинтересовался: дескать, чего это ты, дядя, посередь тротуара загорать удумал? Никто, ни одна … — и дед матюкнулся,— не подошла! Даже наоборот, стороной обходили да ещё чуть ли не плевались: пьяный, дескать, обожрался и вот теперь валяется, проход загородил для культурных, мать вашу, граждан, никакой жизни нет с этими алкоголиками! Хорошо, скорая мимо проезжала, подобрала, да только до больницы всё одно не довезла, крякнул Петрович по дороге. Думали, на самом деле пьяный, а оказалось — инфаркт! Его бы хоть чуть-чуть пораньше привезли, глядишь, выжил бы, опять бы во дворе в домино играл, опять бы жульничал… Врачи сами его жене так и сказали: если бы пораньше, была бы надежда, а так… А он, Петрович, между прочим, на «заречке» почти пять десятков лет отбарабанил! Электромеханик высшей категории, это тебе не хухры-мухры, таких и всегда-то было единицы, а сейчас и подавно. На Доске Почёта сколько раз висел! А помирал как собака! Никто и ухом не повёл, не подошёл, не спросил: чего с тобой, старый пенёк? Вот тебе, Лизанька, и люди. Самые распоследние козлищи!
— А те, кто в скорой был? Кто подобрал его? Те тоже?
— Ты эта… Ты, Лизанька, кой-чего с пальцем-то не путай! У их работа такая — подбирать! Им за это деньги плотют!
— А с телевидения которые? Им какая радость так вот, добровольно, ехать к нам за сто с лишним вёрст? Их ведь никто не обязывает! Сказали бы мне: извиняйте, ничем помочь не можем, и все дела, никакой канители. Здесь как?
— А тоже работа! Тоже деньги за неё получают! Не всё же время про проституток да бандитов фильму снимать, надо и другие передачи тоже зарабатывать!
— Ладно, может, и за зарплату… А баба Мотя? Почитай, каждый день к Поленьке ходит! Это как? Никакая не родная, просто соседка, своих внуков трое, да и по дому дел… Она-то чего? Без всякой зарплаты!
— Мотька всю жисть малахольной была! — категорически заявил дед.— Ей, бывалочи, самой жрать нечего, а другим давала! Малахольная, она малахольная и есть! Ходит — спасибо! Ей просто дома не сидится, привыкла летать-то целыми днями!
— Прекрати! — не выдержала Лизавета.— Сейчас же! Что ж ты, дед, за наказание такое? Все тебе не милы, все кругом враги. Как же так жить-то, с такими мыслями?
— Ничего! Можно! — огрызнулся дед.— Под семь десятков годков уже отбухал — и скриплю пока, живой, знаю, чего почём! Мне доверчивым быть не с руки, воспитанный не так, чтобы доверяться!

В общем, разругались. Впервые в жизни. Что ж, в этой самой жизни всегда всё когда-нибудь в первый раз бывает. А иногда полаяться, пар выпустить — это только на пользу. Даже очень полезно. И ничего страшного.

Телевизионщики не обманули, приехали через неделю, а ещё через неделю телепередача о Поленьке была показана по одному из главных телеканалов страны (дед демонстративно отказался смотреть «эту показуху, от которой толку ждать нечего»). А ещё через неделю на специальный счёт для лечения Поленьки начали приходить деньги. Дед, узнав о поступлениях, целый день, ошарашенный, просидел в своей комнате, а вечером, набычившийся, но похожий от этого не на быка, а на старого обиженного индюка, появился-таки на кухне, молча попил чаю и вернулся в комнату. Лиза понимала его состояние и ни с какими торжествующими, а тем более язвительными разговорами к нему не лезла. Пусть подуется (прямо ребёнок, честное слово!), и подольше подуется — тем быстрее ему захочется выговориться. Так оно и произошло. Дед не выдержал пытки (как это так — на него не обращают внимания!), заговорил первым.
— Много… прислали-то? — как будто случайно, нехотя, походя — дескать, просто так, из мимолётного любопытства, потому что всё это чушь собачья, — поинтересовался он.
— Почти пятьсот, — ответила Лизавета и уточнила. — Тысяч.
— Хм… — деда по привычке потянуло съехидничать. — Благодетели, значит… Интересно… И кто же это такой богатый?

Но Лизавета, казалось, его ехидства не замечала.
— Действительно, дед, интересно. Присылают-то не такие уж и богатеи. Они, правда, много о себе не рассказывают, только некоторые… Вот, например, из Саратова. Многодетная семья, пять детей, хозяин трактористом работает, жена на ферме, дояркой. Пять тысяч прислали, попозже, написали, ещё переведут… Фермер из Орловской области… Пенсионерка из Тюмени… Из Ленинграда студенты…
— Ну и это… Почему?
— Что «почему»?
— Деньги присылают? Они что, у пенсионерки этой… и у других… лишние, что ли?
— Не знаю. Навряд ли лишние-то. Пишут, что посмотрели передачу и хотят помочь.
— И всё? — не поверил дед.
— А чего ещё-то?
— Не, ты погодь… Что значит «хотят»? — деда привычно понесло — истомился, бедолага, без гневных обличений. — Хотят они, вишь ли… Я, может, на Луну хочу слетать — и что с того? Кто это меня пустит, если материальных возможностев не имеется — я финансовые деньги имею в виду? Что, у тех же, например, которые из Саратова, их девать некуда? Сама же сказала — пять детей! Или та же пенсионерка!
— А вот пенсионерка как раз и объяснила. У неё правнучка была, маленькая, три годика всего, и такая же болезнь, как у нашей Поленьки. И не спасли, денег не хватило на операцию. Вот она и решила: своей не помогла, так чужой помогу. Я как её письмо читала — прямо комок в горле.

Дед нахмурился, ничего не ответил, снова ушёл в свою комнату. Ночью он долго ворочался в кровати, никак не мог уснуть. Какой-то зудящей занозой сидел в его голове один-единственный вопрос: зачем? И опять: не должно так быть, не положено! Потому что человек человеку не просто волк, а самый настоящий волчара. Он, человек, по самой сути своей завистлив, бездушен и жаден. Одно слово — человек! Исчадие порока!

От этих привычных мыслей дед начал было успокаиваться, и вроде бы даже на сон потянуло, но тут опять его ужалила эта проклятая заноза: зачем и почему? Настоящий дурдом, и тем более непонятно, что и он, дед, и эти… доброхоты… в одном же обществе-то воспитывались, в одной великой державе под гордым названием Союз нерушимый республик свободных! А оказалось, не то что в одной стране — на разных планетах они произрастали, во дела! И бабка ещё эта тюменская душу разбередила… Нет, есть люди правильные, понятные, нормально воспитанные, которые за копейку удавятся, которые неукоснительно придерживаются строгих волчьих правил нашего сегодняшнего общества. С такими всё понятно, от таких лично он, Титок, никаких неприятных неожиданностей уже давно не ждёт. Но, оказывается, как говорил дедушка Ленин, есть и другая партия! Простые-рядовые, которых к богачам никак не отнесёшь, — и на тебе, присылают! А те, понятные, которые пальцы веером, с золотых тарелок жрут, яхты покупают, на «мерседесах» катаются, те — ни копейки. Уж кажется, от своих миллионов с миллиардами им малую толику отстегнуть — раз плюнуть. Тем более что все мы смертны, а они уже и на детей, и на внуков-правнуков, и ещё на сколько много своих поколений досыта наворовали, так чего жаться-то? Опять же если не на кого копить, если один как перст, ни одного спиногрыза наследного нету и не предвидится, а хапать всё хочется и хочется, это уже у человека болезнь такая, вроде алкоголизма: пьёт — а всё мало, всё ещё больше надо, тогда совсем уж непонятно. Ведь все свои капиталы в гроб-то с собой всё равно не возьмёшь, а и возьмёшь, запихаешь как-нибудь, то опять же — зачем и кому? Если только червякам, так им твои капиталовложения до глубокого фонаря, они и за бесплатно тебя переварят. Да и тебе-то уже всё равно будет — есть у тебя деньги, нет их… пенсионерка ещё эта как приклеилась… Да-а, похоже, бессонница ему сегодня обеспечена.

К концу месяца необходимая сумма была собрана. Поленьку ждали в одной из московских клиник. Дед провожал её и Лизавету на вокзал.
— Вы там это… — он хотел сказать — побыстрее, но вовремя спохватился и испугался.

Чего побыстрее-то? Не надо никаких побыстрее! Надо, чтобы как надо! Сколько положено, значит, столько и пробудьте. Старый дурак! Ещё не проводил, а уже ныть начал! Вот язык, вот язык!

— Ничего. Лишь бы всё хорошо… — и опять замолчал. (Чего «хорошо»? Накаркай ещё!)
— Ладно, дед, пора прощаться. Поезд подходит, — сказала Лизавета и чмокнула его в предательски задрожавшую щёку. — Ты уж не скучай здесь.
— Я тебе, деда, чего-нибудь из Москвы привезу. Какой-нибудь подарок. Понял? Ты только жди обязательно! — шепнула Поленька ему на ухо, и у Титка от слов этих защипало в глазах.
Чтобы не заметили предательских слёз, он нахмурился, пробурчал:
— Ну идите, идите, чего уж сырость-то разводить. Долгие проводы — лишние слёзы. Идите…

Поезд уже давно скрылся из глаз, а Титок всё стоял и стоял на перроне, всё силился вспомнить, чего он хотел сказать Лизавете.
А ведь чего-то хотел, точно… Спросить чего-то… Склероз, пора таблетки пить… Да какие, к шутам, таблетки! У него теперь одно верное лекарство — погост.
Хотя рано ещё, надо девок дождаться. Обязательно, а как же…
По пути домой он зашёл в магазин, купил хлеба, заварку и, поколебавшись, чекушку. Пришёл домой, разогрел картошку, открыл бутылку — и вспомнил, вспомнил! Хотел у Лизаветы адрес спросить той тюменской пенсионерки! Письмо написать, покалякать по-стариковски: может, ответит, может, расскажет, как живёт, чем занимается… Нет-нет, он совершенно не будет у неё спрашивать насчёт того, зачем деньги посылала, нет, это было бы совсем уж ни в какие ворота! Просто писали бы друг дружке письма, чего в этом такого… А, ладно, ничего ещё не потеряно, вот его девки вернутся, тогда он и спросит у Лизаветы адрес. И напишет обязательно! Он уже и забыл совсем, когда кому письма писал…
В эту ночь дед впервые за прошедший месяц уснул быстро и спал без снов, словно после тяжелейшей, многодневной и теперь уже окончательно законченной работы.

ДиН реплика

Александр Лейфер

Идём на «Грозу»!

Открытое письмо в Министерство культуры Омской области

Господа Министерство!
А вы сами смотрели магнитогорский спектакль по «Грозе»? Который с таким «захлёбом» рекламируется на вашем сайте?
Если нет, то плохо, — надо бы вначале посмотреть, а уж потом рекламировать.
А если всё-таки смотрели, но именно этот спектакль выбрали для «обмена», то это другой разговор. Значит, он вам нравится.
Значит, вам, например, нравится, как Борис на глазах у зрителей справляет с обрыва малую нужду — делает он это и впрямь «по Станиславскому» — долго, «со вкусом», реалистически передёргивая плечами. При этом времени не теряет — через плечо беседует с другим персонажем спектакля.
Значит, ваши эксперты в восторге от того, как другая героиня спектакля, вначале натолкав в свои панталоны печенья (где оно напиталось соответствующими ароматами), кормит потом этим печеньем гостей — морщащихся, не понимающих, откуда у угощенья такой странный привкус. Можно предположить, что, по вашему мнению, это — одна из блистательных режиссёрских находок автора спектакля, питерца Льва Эренбурга, смело «соскребающего» с отечественной классики «коросту» традиционного её прочтения. Так?
Могу предположить, что особенно этим экспертам понравилась сексуальная сцена, в которой Кудряш пытается изнасиловать… кого бы вы думали? Нет, не Варвару, она с большим удовольствием отдаётся ему сама, издавая при этом такие счастливые и громкие вопли, что их, думаю, будет слышно и на улице Ленина. Кудряш пытается вступить в секс-контакт с… Борисом. А ведь это так свежо, так современно, так актуально в наше время, когда всё передовое человечество борется за свободу секс-меньшинств!..
Продвинутый омский зритель будет весьма благодарен нашему Минкульту за этот праздник, за этот пир духа, за этот новый шаг в сегодняшнем осмыслении классики — ведь после того, как наш город покинул режиссёр с красивой итальянской фамилией, который когда-то поставил на сцене Омского *академического* драмтеатра горьковских «Дачников», изобразив при этом 11 (одиннадцать!) половых актов, он, этот продвинутый зритель, ничего подобного не видел. (Только слышал, что автора того спектакля (он попытался повторить его в Калининграде, куда от нас уехал) неблагодарные калининградцы из своего города почему-то после премьеры по «Дачникам»…выгнали, пригласив при этом в «рецензенты» прокуратуру).
Но нет преград новому в искусстве! Нет пределов сексуальной революции! Все идём на «Грозу»!

Александр Лейфер
писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Марина Копылова

Криксы

По мотивам фольклора
Белорусского Полесья

«Детская книжка о взрослой любви…»

Фольклорные версификации в прозе и стихах пишутся теперь в большом количестве: появилось много популярной этнографической литературы. Но цикл стихов Марины Копыловой «Криксы» по мотивам фольклора Белорусского Полесья — не фольклорная версификация. Скорее, это поэтическое освоение традиции поэтом в контексте своего времени и культуры. Автор стихов использует аутентичные тексты, записанные собственноручно в экспедиции, в составе одной из групп Молодёжного театра фольклора и этнографии народов СССР при МГУ им. М. Ломоносова, в феврале 1985 года. Театр этот был образован осенью 1984 года по инициативе и существовал до 1988года под руководством Дмитрия Покровского, фольклориста, музыканта, этнографа, считавшего, что фольклорист сам должен становиться носителем традиции, к которой однажды прикоснулся, со всеми выходящими отсюда нравственными и этическими последствиями.

Д. В. Покровский, будучи прекрасным музыкантом, понимал *онтологическую разницу музыки и пения*, особенно народного пения — в котором *слово* превалирует над мелодией и организует ритм и формы звуковых и музыкальных построений, певческого многоголосья и даже пространства жилищ, храмов и ландшафтов… Это понимание дало начало нескольким интересным молодёжным студиям в Москве в 70–80-е годы XX века.

Марина Копылова в конце 70-х, будучи студенткой филологического факультета МГПИ имени Н. К. Крупской, увлекалась классическим вокалом, театром и поэзией одновременно; в 1984-м продолжила учёбу в Москве, на книгоиздательском факультете Полиграфического института, сочетая её с занятиями в «славянской студии» Покровского при ДК МГУ, объединявшей студентов разных вузов, учащихся школ и рабочих Москвы. С осени 1987-го по 2004-й годы Марина сама организует несколько детских и молодёжных студий в Йошкар-Оле, совмещая обучение детей, студентов и учителей школ народной певческой традиции с профессиональной журналистикой, экспедициями и созданием книг.

«Криксы», по признанию автора, вызваны не только «генами» (дед Марины Копыловой по линии матери был белорус, бабушка — украинка), но, в первую очередь, впечатлениями первой в жизни самостоятельной Полесской экспедиции 1985 года. На их возникновение повлияло и знакомство автора с материалами к Полесскому этнолингвистическому атласу Института славяноведения и балканистики РАН, и две короткие личные беседы с Никитой Ильичом Толстым, крупнейшим исследователем Полесья.

«Криксы» — авторский поэтический цикл по мотивам традиционного фольклора. И то, что порой фольклорные тексты включаются в поэтическую ткань прямым, грамотным и корректным цитированием с сохранением народной фонетики, придаёт этим стихам культурно-этническую ценность и художественное обаяние. С точки зрения причастности к роду литературы цикл «Криксы» можно определить как лирический эпос, или эпическую лирику, или лирику с элементами драматургии, — что является продолжением народно-поэтической традиции в эпоху авторской литературы и поэзии.

Часть стихов цикла появилась в конце 80-х годов, в эпоху «перестройки». Но образы молодых родителей и девочки первого года рождения, волею «трудных времён» и исторического развития нашей страны оказавшихся в глухой полесской деревне и вынужденных разрываться между городским и деревенским бытом, вновь стали актуальны в России середины 90-х, в период «дефолта». И вновь становятся «злободневны» (если так можно выразиться в отношении стихов) при новом экономическом кризисе. В силу своей высокой духовности и прекрасной структурной ритмической и фонетической организации, стихи эти направляют энергию и внимание читателя от внешних стрессов и ажиотажа политических событий к красоте «вечных ориентиров» — природе, семье, любви к местам, где ты вырос или родился, ответственности за жизнь и счастье близких. Эти стихи приятно (и полезно) произносить вслух, читать про себя, читать даже в подростковом возрасте, когда наши дети и внуки, как известно, не слишком охотно обращаются к книге вообще. Потому что хорошие красивые стихи правильно и благоприятно «структурируют» реальность вокруг нас в направлении добра и гармонии.

Разумеется, это взрослые стихи, и внутренне они адресованы более всего молодым родителям. Именно этому читателю адресованы почти все книги М. Копыловой: «Ребёнок под шубой» (2006), «Пьески для уличного и домашнего театра» (2003), «Песни поются для радости» (1991), «Розовая лошадь» (1991–1993) и, в известной мере, монография о русском традиционном фольклоре «на вырост» «В поисках костяной иглы» (2001).

Николай Куторов

доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ (Йошкар-Ола)

В Полесье есть старинный обычай: если маленький ребёнок много и сильно плачет ночами, его купают в воде, в которой сварены старый гребень и песок с могилы предка; купание сопровождают специальными приговорами старой бабушки. Ребёнок после купания спокойно спит. Этот обряд называется «варить криксы».

1. Колыбельная

Месяц по небу ходил,
Ясно Солнышко просил:
«Солнце, по небу ходи,
Дитя за руку води
Тёмными лесами,
Сырыми берегами,
Высокими горами…
Там в тёмном лесе пташки
Широколапые, ширококлювые,
Ширококрылые!
Они лапами разгребут,
Они клювами расклюют,
Они крылами разметут
Плаксы-криксы
Варькин сон!..»

2. Письмо папы своему другу детства

«Давно за шумом городским,
Ужатые, как сельди в бочке,
Бежим, работаем и спим
В заботах о любимой дочке.
Как кислород вдохнуть—в авто,
И—вновь в деревню, в томный угол,
В тепло зарыться! Мне—по… грудь
Всё, в чём я прежде туго думал!
Дружище! Мир такой простой
И настоящий! Это круто!
Женись, покуда холостой,—
Потом—не будет ни минуты…»

3. Криксы варим…

Варька больше не кричит,
Варька по ночам молчит.
Были мы невежды—
То ли было прежде!..
Мамке, папке спать мешала,
Не сидела, не лежала,
Всё кричала да кричала.
Но однажды с колотушкой
К нам на двор вошла старушка,
Покряхтела, как медведь,
Стала воду в печке греть
Против кухонна окна,
Где была луна видна.
Не сидела, не лежала,
Всё шептала да мешала:
«Это я для Варьки милой
Принесла песок с могилы.
Это гребень костяной
С головы моей седой…»
В ванну налита вода,
Варьку ухнули туда…
Мамка с папкой под окном—
И кричат бабуле в дом:
—Эне-бене-риксы!
Что варите?
—*Крыксы!!!*
Чтобы плач и Варькин крик
Прекратить в единый миг!
—Вари-вари горше,
Чтоб не варить больше!!!

Варька вдоволь накупалась,
Бабушки не испугалась,
А в подушки закопалась
И заснула… до утра…
—Ур-р-р-ра-а-а-а!..

4. Колыбельная

Ходит Котко
по лесочку
в червоному
поясочку,
приморозил
Котко лапки,
скочил Котко
на кроватку…
Люля-люля-
люлясеньк!
Поел Котко
галусеньк!..

5. Письмо мамы к папе

«На Пасху дождик нас полил,
А после солнышко светило,
Трава росла изо всех сил
И даже крышу прорастила.
Под камышовой кровлей дом,
Под печкой—мышка, запах пепла,
Но—твой приезд, и всё—вверх дном!
Кисель, с брусникой пироги,
Оладьи, смалец, борщ, сметана:
Чтоб быть счастливым неустанно
И нежно отдавать долги…
Бушует пламя… Как оно
Не разнесёт бока у печки?!
…Здесь в сумерки заняться—нечем…

Опять в закатном танце мух
Златые пчёлы пролетают,
Кометы с лунами блистают,
И мозг тоскует от наук—
Без Вас, мой друг…»

6. Когда ты приедешь?..

(Второе письмо мамы к папе)

«…Я всё понимаю: «съедает» работа…
Безумец, кто время проводит в деревне…
Когда ты приедешь? Под вечер, в субботу?..

Запрёмся в тумане, обнимемся крепко,
Услышим, как дождик по крыше щекочет.
Нам разницы нет, день сменяется ночью…

А дождик всё мочит от дома до церкви,
Дорога раскисла… Заснуть бы, но не с кем…

Нам разницы нет, день сменяется ночью,
Летаю, как призрак, в мечтах и кормленьях
От дома до церкви, от ночи до ночи…
Дитя—это Время…
Дитя—это Время, оно направляет,
Оно нас ведёт,
Приведёт и поставит…
Пелёнка к пелёнке, кормленье к кормленью—
И, может быть, силы меня не оставят…
Когда ты приедешь?
Уже—понедельник…»

7. Радуница

*(Мысли папы, посланные
маме на расстоянии)*

Сегодня в окно залетела синица,
Смешная, как будто унюхала сало.
Отец мой вчера заходил подкрепиться—
И плакал, и мать вспоминал… Их начало…
Спина у отца испаряла дождинки,
И зонтик в углу тоже плакал, как мальчик…
Мы пили «Чумай» из прабабкиной кринки
И плакали оба—чем больше, тем дальше…

8. Письмо папы к маме

*(Написанное на «запоротом» бланке,
порванное на мелкие клочки и потому
не дошедшее до адресата и оставшееся
в тайне для будущих поколений)*

…Этот кризис!..
Этот офис…
Этот долбаный компьютер!
Поднимают хвост и голос
Шеф и зам его, Анюта.
Если бросить всё, уехать—
Нас неправильно
Воспримут
И куда-нибудь «задвинут»:
Им же просто, ибо—
Кризис!
Я уже купил что надо,
Кукиши зажал в карманах,
Но… вошла шефиня Анна:
«…А не хочешь—не работай!»
Злой я, как с утра будильник…
Жди уж как-нибудь субботы…
Мясо суну в холодильник.

9. Предчувствие (Русальная неделя)

Чёрная корова…
Дом бодает рогом.
Почему-то жутко
Утром за порогом:
В туалете—ведьмы!
В сенях—вурдалаки[1]!
В огороде—леший
На кривой собаке!
Олесь Штремпик ходит
На прогоне[2] ночью,
Голосом младенца,
Хохоча, бормочет:
«Дерево промокло…
Глина размокает…
Чёрная коровка
К дому привыкает…»
Старый дом шаманит—
Шум травы и веток…
Скроемся в тумане,
Нарожаем деток?
Было бы картошки
В поле да капусты.
И деньжат негусто…
Я воды нагрею,
Варю искупаю,
Будет веселее,
И теплее станет.
Жёлтою луною
Полночь накатила.
…Я тебя… простила…

10. «Куст»[3] (Троица)

«Добрый дэнь, пани, дядьку, до хаты!
Чи спрозволите нашому «Кусту» дэсь статы?
У нашого куста ноженьки невелички,
Чи сподайте ёму козловые черевички!»—

Утром у ворот
Куча девок орёт…
Нет, поёт…
Очень странно поёт:
«Трийца-Трийца[4]!
Пресвятая Богородица!
Як насэймо мы лёну,
Тай нэхай зародыться!
Як зародыться—
То для моей мамоньки.
Нэ зародыться—
То для моей свя-кровк!!!»

…А где теперь моя свекровь?—
Да пухом ей земля!
А кто хранит наш шаткий кров?—
То мамонька моя.
Здоровья ей и долгих лет,
Храни её, Бог мой!
Пока наш папа приплывёт
Из города домой,
Она готовит есть и пить,
Пока мы спим в тепле,
Коровкам варит, курам сыплет,
Кормит во дворе.
Льняные синие поля—
Повсюду на холмах,
Но пашут их и боронят
На чёрных тракторах.

---

1. Вурдалаки—в Западной Белоруссии и Украине так называют умерших вампиров из родни…
2. Прогон—проулок между огородами, перпендикулярный основной деревенской улице.
3. «Куст»—обряд «вождения куста». В «зелёные святки» (неделя после праздника Троицы) группа девушек и девчонок обходила с пением дворы в деревне с пожеланием богатого урожая льна и достатка в доме. За пение полагалось одаривать водильщиц «куста» едой, денежками и нарядами. В «куст»—в зелень и ветки—наряжали маленькую девчонку.
4. Трийца—праздник Святой Троицы.

Зачем же девушки галдят—
Зачем и для кого?

Проснулась Варенька моя
И машет им в окно:
«Возьмите, девочки, меня!
Оденьте в зелень трав!
Я буду кустиком, пока
Не вырасту, как граб,
Или, как тот огромный вяз,
Я вырасту большой!
Он был же маленьким тогда,
Когда сюда пришёл…»

11. Лито (лето)

Вот какое наше Лито!
Лито солнышком облито,
Лито дождиком омыто,
Лито радугой обвито,
Лито спит коротки ночки
В чистом поле во стожочке—
Ножки на дорожке,
Ручки на серпочке.

Лито ходит тёплой речкой,
Гонит лодки, волны, листья,
Греет кошку на крылечке,
Гладит Вареньке ресницы,
Тёплой нежною ладонью
Разметает пух подушек,
Голубою стрекозою
Утром пламя свечки тушит.
Лито роется в песочке,
Нюхает цветы и травки,
Листики несёт в ладошке,
Как большой букет для мамы.
Лито учит слушать ветер,
Шорох бабочкиных крыльев,
Ноги греть в дорожной пыли,
Вить гнездо среди деревьев.

И оттуда, с высотищи,
Мы когда-нибудь увидим
И Москву, и Брест, и Витебск,
И в садах весёлый Киев!
Видеть, как проснётся солнце,
Восходя звездою красной,
Знать, что многим недоступно,—
Это радостно и трудно…
(Но немножечко опасно.)

12. Варькина дорога

Мама учится ходить,
Я её вожу за ручки.
На дорожке закорючки,
Стружки, гвоздики, липучки,
И шипучие щипучки,
И клевучие гребучки,
И ревучие бодучки
Роют ямы впереди!..
Только мы их не боимся
И идём своей дорогой!
Чтоб её ногами трогать,
Надо ручками трудиться.

13. Чёрные коровы

…Они пришли ко мне в лугах,
Жуя огромными губами!!!
Я расскажу об этом маме,
Когда она забудет страх.

Она расскажет мне о том,
Как бабушка меня теряла,
Как бегал в поле папа с мамой,
И как нашли меня потом…

14. Заговор от мышей

*«На Воздвиженье[5], када последний
сноп кладётца, кобно мыши того
стожка нэ илы, на то место кладут
дуа пальца и тако говорють…»*

Стоги в поле—как холмы…
Вот последний смечем мы,
Место лучшее найдём
И дедулю позовём…
Он, крестяся на восход,
На колени упадёт
И на место, где быть стогу,
Посоветовавшись с Богом,
Всех прогонит из кольца,
В круг положит два пальца,
Тихо глазоньки закроет
И вполголоса говорит:
«*На Сиянской горы*[6]
*Ходылы тры свыньи,
Позадралы вони хвосты,
Бо глубоко имо было брэсты.
А за ними хорты-хортынята,
А за ними мыши-мышенята
Позаворачывали рты и ртынята!
Просю Козьму, Дамьяна
И Купальнаго Ивана,
Чтоб не дали забраты
У моем стогу зерняты!*»

Мышки сена не едят,
Грустно в полюшко глядят.
Думали-гадали:
Где б зерна подали?..
Сели мышки на доску
И поехали в Москву:
Клянчат там на паперти
У Вариной матери
Зёрнышка и снетку,
Серебряну монетку…

---

5. Воздвиженье—православный праздник Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня. В народе издревле живёт представление, что в этот день ужи, змеи, медведи, души умерших предков и русалки уходят спать на зиму в Ирий—подземный рай, место покоя,—до весны…

6. Сиянская гора—священная гора Сион. На ней, по библейскому преданию, людям были переданы заповеди Бога через пророка Моисея. В старых деревнях всегда над рекой было высокое место, где собирались по праздникам на гулянья,—это место по традиции (в христианские времена) называли «Сионской горой». Три свиньи, водящие хоровод на Сионской горе, в народном заговоре—образ, ведущий за собой богатство и достаток.

15. Колыбельная

Положили Варю спать,
Будем девоньку качать.
Месяц вырос до луны,
До луны, Луны, *Луны…*
Ей дороги не страшны.
В золотой тележке
Деда едет в город,
Привезёт орешки,
Варе—лялек новых
В бархатных камзолах,
В шляпах с кружевами,
С золотой трубою
Ангела с крылами.
А тележка—скрип-скрип…
А дедуля спит-спит…
А лошадка у него
Добрая и умная:
Сама домой придёт,
Если дедушка заснёт…

16. Рождество

Не плетут постолов[7],
не прядут и не ткут—
у накрытых столов
щедра вечера ждут.
От лучин и свечей
в окнах праздничный свет—
от волков и сычей
до далёких планет…
Тех, кто бродит впотьмах
на дороге глухой
и чинит людям страх,
Добрый Дух, успокой!
Тем, кто сбился с пути,
правый путь освети
и к теплу очага
в эту ночь приведи.
От деревни к деревне
за вьюгой седой
мы идем со звездой.
Мы заходим в дома,
где нас ждут, где нас любят,
и поём во весь дух
(а у нас не убудет!):
«Колядушка-Коляда!
Вшивая борода!
Попрошайка-Коляда!
Побирушка-Коляда!»

…Золотая звезда!
Разноцветный вертеп[8]!
Расцвети их года,
дай забвения бед:
к этой ночи в тепле
был нелёгким их путь—
будь им детской игрой,
кратким праздником будь!..
От лучин и свечей
в окнах ласковый свет—
от волков и сычей
до далёких планет…
Этим светом в веках
правый путь освети
всем, кто бродит впотьмах,
всем, кто сбился с пути.

Щёдрик

Шчодрий вячор!
Та й добрий вячор!
Чи уси коровки
Потелилися?
Чи вже уси свынки
Попоросилися?
Чи вже уси овэчкы
Окотилися?
Чи уси кобылки
Пожрэбылыся?
Чи вже…

7. Постолы—полесские лапти из коры лещины.
8. Вертеп в переводе со старославянского—пещера, сад, грот; здесь—старинный святочный кукольный театр со сценами Рождества Христова. В деревнях Западного Полесья колядование с вертепом и звездой на рождественской неделе бытовало до 1939 года—до перехода этой территории из состава Польши в состав СССР.

Сергей Назаров

Как я был Дедом Морозом

Запилила моя меня совсем:

— Посмотри вокруг: мужики в поте лица добывают хлеб насущный и каждую свободную минуту работают на семейный бюджет — мёрзнут на базарах и горланят на майданах. Даже молодёжь по улицам бегает, рекламки раздаёт. А ты, лежень, с работы придёшь и — бабах с пивком на диван смотреть, как двадцать две сардельки гоняют по полю одну маленькую фрикадельку. Каждый день гоняют и всё никак не нагоняются! У других детей отцы как отцы — привозят чад в школу на авто, почти у всех в классе каждый год новые мобилки. А у нашего на зиму нет новых ботинок. Парень в седьмом классе, а до сих пор всё к Витьке на компьютер бегает. Помнишь, ребёнок целую неделю с нами не разговаривал? Оказывается, Виткина мама ему тогда сказала: «Когда уже, наконец, тебе родители свой купят?..» У сына депрессия, а отцу — хоть бы хны!..

И так она меня долбит почти каждый божий день.

А тут ещё кум:

— Чего ты теряешься?! Деньги сами под ногами лежат, только поднимай. Вполне можно по праздникам и выходным подрабатывать. Кстати, Новый год на носу — вон агентство «Снежинка» вербует Дедов Морозов. Мужики в прошлом году на корпоративах огребли немерено. А ты у нас в самодеятельности участвовал — подойдёшь в самый раз. Я бы и сам с удовольствием, но ведь ты знаешь, какая Ленка у меня ревнивая — изойдётся вся, увидев меня со Снегурочкой. В общем — давай, потом ещё и магарыч поставишь.

Ну, была не была. Решил я своей на Новый год сюрприз сделать в виде подзаработанных денег. В понедельник отпросился с работы пораньше и отправился в агентство. Народу прилично. Мужики в одну очередь выстроились, а будущие Снегурочки — в другую. Кастинг прошёл без осложнений — благо комплекция подходящая, да и навыки молодости пригодились: стишки почитал, спел, даже сплясал. На следующий день явился на инструктаж. Познакомили с моей напарницей. Зовут её Света, тоже хочет своему супругу сделать предновогодний сюрприз (как потом выяснится, к сюрпризам у них семейная тяга). Снегурочка как Снегурочка, ничего особенного. Не знаю, как Ленка кума, а моя, думаю, меня к ней и не очень бы ревновала: грудь — не больше второго размера, волосы жидковатые, а если макияж с лица смыть, то вполне возможно, что детки с утренника разбежались бы. Ну да ладно — мне ведь не с лица у неё воду пить, а совместно с ней трудиться.

Вместе с другими Дедами и Снегурочками получили мы трёхдневную разнарядку, соответствующую амуницию и адресные подарки. На работе я всё уладил, и со среды мы приступили к работе. Поначалу всё шло хорошо и слаженно. В первую половину дня — детсадовские утренники, во вторую — домашние заявки. На утренниках, конечно, запарка побольше — хороводы вокруг ёлки, стишки на табуретках, раздачи подарков. Но и оплачивались утренники по более высокому тарифу. Зато частные заказы обычно скрашивались традиционным гостеприимством хозяев, да и проще там всё было: побазаришь чуток, вручишь подарок, пропустишь рюмашку, получишь расписку — и good bye! В крайнем случае, дашь ребёнку несильно подёргать себя за бороду. А моя Снегурочка даже завела специальный мешочек для ответных сладких подарков.

В последний день намечалось самое ответственное, но и самое заманчивое поздравление — в загородном мотеле. Высадил нас там со Светкой заказной bus, обещав по нашему звонку забрать. Уже переодетые, мы прошли через скопище крутых тачек и мимо внушительного секьюрити в светящуюся огнями и гудящую от застолий постройку, стилизованную под терем. Администраторша провела нас к апартаментам наших заказчиков и исчезла за дверью. Застольный гул смолк, и через несколько секунд оттуда послышалось разноголосое скандирование: «Де-ду-шка Мороз!!! Сне-гу-роч-ка!!!»

Мы зашли в ярко освещённую комнату и предстали пред уже не очень ясны, но всё ещё любопытные очи собравшихся за большим пиршественным столом. Нам хлопали. Я уже готов был произнести стандартное приветствие, когда мой взгляд вдруг упал на визуально доминирующую за столом фигуру. Ба-а-а!!! Да это же Толька Бондарчук, мой одноклассник, с которым я не виделся лет уже, пожалуй, пятнадцать! Тут я вспомнил, что в заявке в графе «заказчик» действительно значится: «Бондарчук А. В.». Только великое множество его однофамильцев в какой-то степени извиняло мою недогадливость. Пути наши давно не пересекались, но я слышал, что Толян за эти годы сильно «поднялся» на торговле недвижимостью и стал преуспевающим бизнесменом. Все приветствия у меня застряли в горле.

— Толян!!!

Толька встрепенулся на мой голос, внимательно всмотрелся в мои глаза под кустистыми наклеенными бровями и закричал:

— Лёха!!! Ты?!! Вот это да!.. Это мой школьный дружбан! — пояснил он публике. — Всё, разоблачайтесь, ряженые, вы — мои гости… Какие там ещё поздравления… И вот вам за хлопоты. — Он достал из внутреннего кармана, отсчитал и протянул мне несколько приятно хрустнувших зелёных купюр. — А то потом не до того будет.

Прямо как в воду глядел Толик. За столом оказалось несколько свободных мест и приборов — ожидались ещё гости. Компания (Толькины подчинённые и коллеги по бизнесу со своими спутницами) с хлопаньем и восклицаниями приняла нас в свой круг. Поначалу мы были в центре внимания — выслушали несколько дружелюбных шуток в наш адрес и пожелание в конце вечеринки не перепутать наши шубы (я представил, как натягиваю Светкину голубую в снежинках, а она утопает в моей красной со звёздочками!), дабы не вызвать резкое неприятие нормальных людей.

Дальше всё пошло своим чередом: тосты, анекдоты, звон бокалов и вилок, ненавязчивая музычка, вежливые девушки с подносами. Постепенно мне становилось всё приятнее, теплее и умиротворённее, как при убаюкивающем покачивании на прогретых морских волнах. Со Светой тоже происходила метаморфоза. Она порозовела, потом разрумянилась. В медленном танце мне было приятно касаться её как-то вдруг округлившихся пружинящих форм (нет, явно больше второго размера), слышать её прерывистое дыхание, смотреть в её затуманившиеся глаза. С каждой новой рюмкой Света мне нравилась всё больше и больше. Кажется, и она испытывала подобное. Поэтому, когда в очередной викторине, по правилам которой парочка должна была уединиться в соседней комнате на двадцать минут, выбор пал на нас, мы как по команде вскочили и уединились…

Мы волновались и торопились. Мы очень торопились, но не успели даже толком раздеться, как за стеной раздалось дружное скандирование: «Стрип!.. Стрип!.. Стрип!..», за чем последовал чей-то густой бас, заставивший Светку мгновенно насторожиться, а через несколько секунд судорожно натянуть юбку. Я тоже стал машинально застёгивать брюки. В щёлку приоткрытой двери я увидел громадного, похожего, как мне тогда показалось, на гориллу культуриста, обнимающего миниатюрную девушку в костюме восточной танцовщицы. Их окружили и продолжали скандировать. По всему, вновь прибывшие были стриптизёрами, призванными развлечь Толькину команду…

Слова Светы: «Это муж. Вот ур-род…» — протрезвили меня в мгновение ока. Я ещё успел подумать, что женская логика, как всегда, на высоте: он урод, а она, при всей недвусмысленности нашей ситуации, по сравнению с ним оказывается как бы красавицей. Но мои размышления были неожиданно прерваны быстрым развитием событий. С криком «С-скотина-а!!!» моя Снегурочка выскочила в общую комнату, в три прыжка преодолела расстояние до мужа, попутно дёрнув за волосы взвизгнувшую «шахерезадочку», и замолотила кулачками в железную грудь великана. Ну прямо Валерия, избивающая Валуева на глазах онемевших зрителей.

— Я т-тебе дам «уехал на пару дней к маме»!.. Я т-тебе покажу «сделаю новогодний сюрприз»!..

Накладная снегурочкина коса у Светки съехала набок, и было бы всё это до колик в животе смешно, если бы не было мне чуточку грустно из-за женской непоследовательности и (совсем уж не чуточку) тревожно из-за неопределённости моего собственного положения.

Оторопевший верзила первое время пытался лишь удержать маленькие ручки, стараясь не причинить им вреда. Потом пророкотал его, в общем-то, логичный вопрос:

— А ты что тут делаешь?..

Я не стал дожидаться её ответа и постепенного прояснения истины. Несодеянность умышленного не является смягчающим обстоятельством, особенно если суд — точнее, самосуд, — будет вершить эта гора мышц, увенчанная небольшой головкой. Эту гору не сможет удержать и вся собравшаяся тут компания. Решение пришло очень быстро. Я запер дверь. Слава богу, это был второй этаж, а ограниченное по площади окошко всё же позволило мне без шубы протиснуться в него…

Только очутившись на снегу, я понял, что первое решение не всегда является верным. Дело было не столько в подвихнутой ноге, сколько в лютом морозе, мгновенно вытряхнувшем из меня остатки градусов. Застёгнутый пиджак меня, естественно, не согрел. Не согрели меня ни подпрыгивание, ни тряска. Вскарабкаться назад было тоже немыслимо. Первая здравая мысль — позвонить в агентство — была тут же отброшена: мобилка, как и деньги, осталась в шубе, а шуба — в комнате, где монстр, вероятно, уже топчет её. Не увенчалась успехом и мирная попытка добраться до мотельного телефона мимо бдительного секьюрити. На его вопрос: «Ты кто?» — я не нашёл ничего лучшего, чем ответить: «Дед Мороз», — на что получил вполне прогнозируемую отповедь: «Тогда я — Дима Билан». Уговорить его не представлялось никакой возможности. Прихрамывая, я начал бегать вокруг терема, стучась по очереди во все подсобки. Безрезультатно. Кроме неумолимого стража у входа — ни души. Кричать бесполезно. До города восемь километров, дойти живым по такому морозу нереально. А если и удастся добраться до трассы из этого леса, то кто даст гарантию, что такую подозрительную личность подберёт кто-нибудь из водителей?..

Я начал тихо паниковать. Господи! Чего я только не передумал за эти минуты (или десятки минут?), бегая трусцой. Я покаялся во всех своих действительных и мнимых грехах. Я мысленно попросил прощения у моей Галки, лучше которой нет никого на свете, за своё сегодняшнее недостойное поведение. И мысленно уже простился с ней. И чуть не заплакал, вспомнив, что так и не успел купить сыну новые ботинки. Наконец, почувствовав, что ноги уже стали коченеть, волосы обледенели, а тело почти перестало ощущать холод, я решился на последний и отчаянный шаг. Я приблизился к подъезду и несколько притупил бдительность

охранника, сделав вид, что говорю по мобильному телефону (на самом деле я застывшими руками как мог отогревал уши). Он усмехнулся, что-то пробормотал и отвернулся. Собрав последние силы, я ринулся в дверной проём. Последнее, что я ощутил, это согревающий удар в лицо…

Очнулся я от резкого запаха спиртного. Меня, совершенно голого, растирал водкой Толик, а его подруга Люська ставила мне под глаз холодный компресс.

— А-а-а! Очнулся наконец, Мороз—Синий Нос,— захохотал Толик.—Нет, скорее, всё-таки Мороз—Красный Нос, но Синий Глаз.

— Намёк понял…

— Ну ты и учудил, парашютист, блин! Мы тут всех на уши поставили, когда поняли, что ты сиганул. Испугались, что не успеем, ведь хватились не сразу—дверь-то ты запер.

Я прохрипел:

— А где этот… страшный?..

— Ты о Мишке-культуристе, что ли?—Толик снова захохотал.—Где же ему быть—выступил у нас, поехал с напарницей дальше. И Снегурочку твою, то бишь жену свою, с собой прихватил. Он хочет подзаработать на Новый год, чтобы шубку норковую ей справить. А ко всему тому, из-за чего ты в окно сиганул, он отнёсся как к простой новогодней шалости. Ведь мимолётная страсть и любовь—это разные вещи…

Я купил сыну новые ботинки, Галке—сапоги, куму поставил магарыч. Куплю теперь и компьютер, потому что Толик предложил мне место пиар-менеджера в его фирме. А своей благоверной я твёрдо решил теперь не изменять. Даже в мыслях. По-крайней мере, в наступившем году.

Николай Игнатенко

Какое чудное ненастье!..

Воспоминание о белом пароходе

Не трепещите, сердце! Всё устроит клир,
когда о смерти речь. А если о надежде?
Есть жизнь, любовь, а с ними вечный мир,
но что из них ко мне явилось прежде?

Я знаю, что любил сто тысяч лет,
кого—не помню, только верю—всё же
для любящих зажжётся тот рассвет,
когда мы станем зрячи и похожи.

Не трепещите, сердце! Жизнь вот-вот пройдёт,
и в руки перестанут плыть удачи,
как в Хайфу с Кипра белый теплоход,
где на корме поэт зашёлся в плаче.

От жизни полноты—не более того!
Прекрасные мгновения уходят
трепещущего сердца моего,
плывущего на белом теплоходе.

Март

Как хорошо быть смелым и умелым,
без зависти, не совершать грехи,
пусть даже глупым занимаясь делом
писать стихи. Опять пишу стихи.

И надобность единственная гложет:
быть одному, и чтобы чистый лист,
и чтоб жена не досаждала тоже—
зимою я индивидуалист.

Но как-то надо с мокротой душевной
до осени далёкой завязать:
ведь в марте свет пронзительный и гневный,
что в полдень уже хочется летать.

И я взлечу, не дожидаясь лета,
жена сварливо вскинет кулаки.
Я счастлив, что весны дождался света,
поэтому прощайте, старики!

Вчера летал я селезнем во сне.
Ты знаешь, я во сне всегда летаю.
Порой охоты, целясь в полутьме,
старайся—в особь, а не просто в стаю.

Хотя я вряд ли лакомая дичь,
во мне такая горечь накопилась,
что никогда такого не достичь,
чтобы любовь вымаливать как милость.

Поэтому, любимая, стреляй!
Спокойно, как в тарелку, чашку, блюдце.
Потом ложись и крепко засыпай,
чтоб я успел от дроби отряхнуться.

Метёт, по-прежнему метёт!
Какое чудное ненастье,
когда зима насыплет счастья
и все дороги занесёт.

Я буду жить совсем один
в засыпанном по крышу доме,
без мыслей глядя, словно в коме,
на жизнерадостный камин.

И жизнь как будто не идёт—
наоборот, пошла на вычет.
Лишь ставень в раму тычет, тычет.
Метёт. По-прежнему метёт.

Галина Кузнецова-Чапчахова

Парижанин из Москвы

Избранные главы из романа[1]

Часть первая

Франция — Германия — Россия — Голландия

3. Москва, хранимая в сердце

Ведь где-то есть простая жизнь и свет
Прозрачный, светлый и весёлый…
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчёлы
Нежнейшую из всех бесед.

За время после смерти жены Ольги Александровны Иван Сергеевич передумал всю прошедшую жизнь, то обвиняя себя, что принимал бездумно, как должное, преданную, не знающую слов упрёка любовь жены, то умоляя простить. Он просил Олю присниться ему, сказать, что же ему теперь делать. Ему казалось, он больше не мог писать, а значит, совсем нечем было жить.

Когда-то, во времена, отошедшие в безвозвратное прошлое, он любил песни исторические и военные. Оказавшись на берегу Атлантического океана, они пели их в Капбретоне со своими друзьями и соседями по даче — генералом Антоном Ивановичем Деникиным, его женой Ксенией и дочкой Ириной, чуть старше их племянника Ивика, с поэтом Константином Бальмонтом, доктором Серовым, философом-богословом Карташёвым. А настоечки, изготовленные каждым единолично и с сохранением в глубокой тайне секрета изготовления, под Олины знаменитые пироги и Ванины собственноручно собранные и посоленные грибочки, хотя бы на короткое время помогали забыть, что они на чужбине.

Они пели «Как ныне сбирается вещий Олег», «Горел, шумел пожар московский», «Ревела буря…», «Коль славен наш Господь…». Много чего они пели. Даже знаменитая песенка двух детских голосов, подпевающих шарманке, навещавшей их Калужскую улицу, теперь воспринималась как пароль Родины:

Кого-то нет, кого-то жаль,
И чьё-то сердце рвётся вдаль…

Константин Дмитриевич Бальмонт, поощряемый женской половиной, пел из «Аскольдовой могилы» «Уж как веет ветерок…». И все вдохновенно подхватывали, едва он выводил начало романса Чайковского «Благословляю вас, леса…» на слова А. Толстого. И, конечно, дружным хором — любимую их жёнами лихую гусарскую «Оружьем на солнце сверкая, под звуки лихих трубачей».

Друзья находили, что И. С. очень похож на стрельца, стоящего перед Петром, в известной картине В. Сурикова «Утро стрелецкой казни».

— Из русских русский! Я не оригинален, это же утверждает наш уважаемый Александр Куприн, и он решительно прав! — восклицал Бальмонт. — Так и вижу вас, дорогой Иван Сергеевич, под Кремлёвской стеной, в стрелецкой шапке, с горящими глазами…

— К нему Иван Александрович Ильин, тоже ведь наш, московский, в письмах иногда обращается «Вулкан Сергеевич», — негромко подтвердила Ольга Александровна.

— Эх, где-то наша красавица Красная площадь… — сладость славы Бальмонт когда-то, в начале века, вкусил, обосновавшись в Москве, и полюбил её, величественную и уютную, в шуме и в молитве. — Это вам не квадратики торговых рынков перед ратушами.

Тут начинались вечные-бесконечные разговоры, почему уставшие от войны и неразберихи с правительствами мужики могли поверить, что им новая власть даст навечно землю.

Во время одного из свиданий с женой в Сент-Женевьев-де-Буа он разговорился с человеком, представившимся Васильчиковым Павлом Александровичем. Тот рассказал ему «случай», который просто не мог не затронуть мистическую натуру писателя. В поруганном, обманутом Отечестве, среди разора и обмана, страха и преследований, в ещё недавно сытой, щедрой российской жизни, а теперь, как по мановению ока, скудной пайковой, некто, кого назвать опасно для того человека, находит близ Куликова поля старинный большой нательный крест. Он и передаёт его случившемуся тут старичку, направляющемуся в Троице-Сергиеву лавру…

Переписывая «Куликово поле», Шмелев будет плакать слезами благодарности Оле, которая вняла его мольбам и подала добрый знак, о чём ему будет «захватно» писать. Подала свой добрый знак участия в его жизни здесь же, где лежит её прах и витает бессмертная душа. Жена помнит и любит его по-прежнему и *там*. И теперь радуется вместе с ним, что он не потерялся совсем, не разучился своему ремеслу и будет всегда жив им.

И. С. только молил покойную присниться ему, хотя бы во сне побыть немного вместе с ним, помочь забыть о страшной реальности. Но Оля не снилась, а вспоминалась молодость, Москва и первые их встречи возле калитки отчего дома на Калужской — весной далёкого 1891 года.

1. Отрывки из романа «Парижанин из Москвы» опубликованы в «ДиН» №6 за 2010 г.

После трагикомической истории, случившейся с ним на шестнадцатом году жизни,—он потом, уже за границей, немолодым известным писателем опишет её, так и назвав «Историей любовной»,—после того женского авантюризма и пошлости, о которых не подозревал дотоле, Тонька-Иван считал себя искушённым и разочарованным, сторонился даже безобидных, совсем ещё глупых подруг младшей сестры и вполне снисходительно выслушивал донжуанские фантазии своего друга Женьки Пиуновского, не сильно доверяя его «победам».

Для себя он выбрал путь труда и аскетического образа жизни. Да и когда было развлекаться: готовился к экзаменам, много читал, брал книги в библиотеке Мещанского училища, что на другой стороне Калужской улицы. Обожал Большой театр, особенно оперу, но даже билеты на галёрку требовали некоторых расходов, для него чувствительных. Отец умер, когда ему было семь лет. Выгадывал на перепродаже прочитанных книг, ненужных учебников, прекрасно ориентировался в книжных развалах на Сухаревке. Давал уроки, гоняя через всю тогдашнюю Москву от Калужской до Красных Прудов—разумеется, пешком.

Вот так, возвратившись под вечер, хотел пройти в сад и столкнулся у самой калитки с незнакомой девушкой. Опалила несмелым огнём синих глаз, от смущения ещё сильнее натянула уголки вязаной косыночки на плечи, на прижатые к груди детские локотки… отстранилась, потупив взор, пропуская гимназиста, слишком стремительного по темпераменту, чтобы успеть затормозить и пропустить незнакомку.

Механически, не помня себя, влетел в дом. На кухне никого, в столовой, у маменьки, у сестёр—ну вымер дом! Есть расхотелось, вышел во двор—прогуляться, может быть, встретить ещё раз незнакомую девушку. И тут никого. Куда она делась? Кто она? Вот так, налегке, с косыночкой на плечах,—не в город же отправилась… Нет и на лавочке, и в небольшом их саду из нескольких деревьев да ягодных кустов вдоль забора. Прошёл с безразличным лицом, вернулся совсем раздосадованный.

К дворнику толкнуться? Лишнее. Гришка ещё со времён «истории любовной» нет-нет да и подморгнёт ему как сотоварищу по амурным делам. Это противно. Спросить его—всё равно как загрязнить незнакомку. Надо потерпеть, само выяснится. Сколько раз няня его учила: поспешишь—людей насмешишь, а он всё нетерпеливый, таким мама уродила.

К ужину, однако, народ набежал. Матушка Евлампия Гавриловна после смерти папашеньки вела как умела хозяйство, то есть строго и расчётливо. За столом всё и разъяснилось. Въехали новые жильцы на сдаваемый внаём третий этаж, а это их родственница, барышня, студентка. Кто родители? Люди достойные. Отец—штабс-капитан в отставке Александр Александрович Охтерлони, человек достойный, участник Крымской и русско-турецкой кампании.

Да ещё сестра Маша добавила, что зовут Ольгой,—какое красивое имя!—училась в Петербурге в Патриотическом институте—учебном заведении для девушек из военных семейств. Приехала на каникулы. Хотелось ещё что-нибудь услышать о ней, но разговор пошёл о чём-то другом. Странно, что можно о чём-то другом. Поблагодарил маменьку за ужин, ушёл к себе под неодобрительным взглядом—небрежно перекрестился. Места себе не находил.

Перед сном вышел на крыльцо, что-то распирало грудь, в доме ему было тесно. Конечно, её встретить в этот час не надеялся, просто ходил и ходил, пока не погас свет у жильцов. Вышел дворник Григорий проверять запоры.

Лёжа у себя в комнате на спине, закинув голову на руки, он прислушивался к музыке имени Ольга, видел её пытливо-скромные глаза, смешные бровки, доверчиво взлетевшие вверх. Глаза звали куда-то вдаль, обнадёживали, обещали неведомое и обязательно счастливое.

Утром солнце осветило Кремль, его лучи дотянулись, как всегда, и до его окна. Он об этом не думал, он просто знал, что, куда бы он ни собрался утром, он—за рекой, встречь солнцу, поднявшемуся над Кремлём. Никто никогда не говорил: вот взошло солнце над Кремлём, просто так ощущали, хотя бы и целый день не видели купола кремлёвских соборов. У них не называли Москву-реку кормилицей-поилицей, но просто знали, что у отца вдоль берега—бани, портомойни. Зимой устраивались горки для гуляний на Девичьем поле и в Зоологическом саду на Пресне, ранней весной нарезали на реке лёд—заготавливался и складывался в погреба для летних нужд. А напротив, на Болоте, над которым ныне нависает юный Пётр-мореход, паслись их гуси без всякого пригляда. Здесь, напротив Храма Христа Спасителя, на правом берегу, брали воду из «басейны», поили лошадей по дороге.

И всё это было совсем недавно, чуть больше века назад: огромное государство просыпалось с колокольным звоном к заутрене в Кремле, в сверкании куполов храмов и монастырей города.

И всё было рядом и по порядку. На Калужской, в приходском храме Казанской Божией Матери, староста церкви—его отец, всеми уважаемый Сергей Иванович Шмелёв,—крестил своих детей. Своего четвёртого ребёнка Иоанна крестил в числе прочих, о чём, как водится, была сделана запись в церковных метриках. Потом ещё успеет родиться Катичка, чтобы, как полагается, было «семь Я».

Здесь стояли на службе по воскресеньям, и по призыву батюшки «Благодарим Господа!» прихожане помоложе, посубтильнее кидались на колени, постарше да подороднее, склонив головы, серьёзно, как дети перед учителем, слушали евангельские слова Иисуса Христа: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

В большие праздники причащались Христовых Таин, причащали детей. В Богоявленье брали крещенскую воду, весной окропляли вербы, через

неделю святили куличи. Заказывали молебны. Отпевали усопших.

От Калужской заставы уходили две улицы. Калужская — вечно в работе, в деловых поездках из города и в город, в увеселительных разъездах горожан на Воробьёвы горы. И Донская улица, по которой увозили отмаявшихся в вечной человеческой суетной суете; по ней увезли и отца на вечный покой на кладбище Донского монастыря. Всё рядом, и всё чередом и порядком, угодным Богу…

Встреча с «суженой» входила в ряд непреложного.

Нет, но какая прелестная девушка — у них таких не видывали. Ну, сняли и сняли квартиру, но кто же мог подумать, что есть на свете такая девица? Учится в Петербурге. Сроду не был в Петербурге, наша Москва лучше всех городов мира. Надо ей всё показать: и сады, спускающиеся к реке, и укромные места, где они с Женькой Пиуновским ловят рыбу и где однажды познакомились с весёлым господином в соломенной шляпе, оказавшимся братом учителя гимназии, к тому же писателем, Антошей Чехонте, его смешные рассказы даже учитель Закона Божия читает.

И Кремль, и соборы, и Большой театр — всё надо показать. Пусть услышит Бутенко: «Власть на власть встаёт войной… сатана там правит бал… люди гибнут за металл…» Бас Бутенко-Мефистофеля угрожает миру; кажется, нет спасения от могущественного Врага рода человеческого… А тут как раз треск, молнии, дым, огонь — и его хозяин в красном колпаке, как жалкая кукла из тряпья, проваливается в Ад среди грохота, от которого, кажется, вот-вот рухнет огромная люстра.

Оля оказалась всего на два года младше его, просто невысокая и в те времена худенькая, как подросток. Она с первых же разговоров беспрекословно приняла его верховенство, при этом имея свою программу жизни. Как это можно не уважать преподавателей? Может, ему просто не повезло, что немец тройки ставит, сколько ни старайся? У неё был такой случай, надо добром, прилежанием…

И Ваня тут же даёт ей честное слово, что к выпускным экзаменам в его Седьмой гимназии станет ну не первым, но одним из первых.

А Оля твёрдо знает, что будет сельской учительницей. Молиться Богу и ходить в церковь для неё не обязанность, не то что для него, а просто необходимость.

Какая она тихая, светлая. Ни на кого не похожая. Возле неё так покойно. Не знал, что такие бывают.

— Вы же, должно быть, иностранцы?

— Охтерлоне или Охтерлони, даже не знаю толком. Знаю, что родом из шотландских дворян. В четвёртом поколении русские, православные, на военной службе у царя. Дедушка умер раньше моего рождения. Сколько помню, мы ездили с отцом и жили, где он служил. Я родилась в Орле, там мы оставались, пока отец участвовал в турецкой кампании…

— А я помню эту войну с турками потому, что по Москве ходили люди в белых рубахах ниже колен; старики, женщины и дети, некоторые без языков, — они издавали жуткие звуки, вздымая к небу тёмные жилистые руки. Взрослые подавали беженцам, качали головами: какое зверство у этих нехристей, наш царь вступился за несчастных братьев наших. Няня как могла объяснила мне, испуганному ребёнку…

Они не заметили, как прошло лето. Над Ваней подшучивали сёстры, хмурилась суровая матушка: позже она откажет постояльцам. Старший сын Николай в купцы метит, Соня замужем, Мария в консерватории учится, Иван когда ещё в люди выйдет — что за баловство эти «ухаживания»!

Но они всё равно будут встречаться.

Никто не принимал всерьёз их осторожных коротких бесед у всех на виду. Не замечали как бы случайных встреч, когда Олимпиада Алексеевна Охтерлони шла прогуляться с младшими — Олей и сыном Григорием. Иван разговаривал по преимуществу с Гришей, что было ему не в тягость: вся семья, даже их фамилия, вызывала в Иване, обычно строптивом, трепетное чувство.

И ведь ничего-то не надо, а только увидеть, как мелькнёт впереди её аккуратно причёсанная головка. Днём выйдет в сад, посидит у стола в открытой беседке. Вечером с Гришей опять в сад, и Иван с ними. Вот и всего-то. Всё на виду у взрослых; и на прогулку, и в театр — со старшими. На какие деньги? Удачно перепродал Загоскина.

Да, забросил свои интересы, всё Ивану кажется скудным, глупым, кроме Оли, вот и «вьётся вьюном» вокруг приезжих. Недаром няня в детстве называла его «гороховой болтушкой». Рассказывает постояльцам, как в детстве у него были друзья, с которыми он убегал на представленья возле Новодевичьего поля. Там целое поле — открытая сцена, там Наполеон кричал простуженным голосом, что возьмёт Москву, а потом, охрипнув от мороза, очень смешно «убегал». Там некий француз — и вправду настоящий француз — в спортивном трико летал на воздушном шаре, вернее в корзине, поднимаемой вверх огромным шаром. А однажды француз в трико сорвался вместе с корзиной вниз, но зрителей уверили, что завтра представление повторится. Ребятам, однако, не удалось на другой день сбежать — их заперли дома, а Драпа, у которого был не родитель, а хозяин-сапожник, жестоко избили. Но они всё равно ещё не раз убегали к Новодевичьему и там познакомились с настоящим слоном.

Гриша так не увлекался его рассказами, как Оля. Она только не любила о печальном, она чуть не заплакала, так ей было жаль Драпа; Иван тоже не любил жестокость. И очень понравился ей рассказ о том, как Ваня со своими товарищами отстоял старую лошадь, чтоб её не увели на живодёрню. Гришу дома с пристрастием допрашивали, о чём говорили молодой хозяин и Оля, что делали в саду: такой милый, такой приятный и умный молодой человек.

А Ольга? У неё ничего нельзя было выведать, у молчальницы. Даже Ване редко удавалось её разговорить. Что спросишь, на то и ответ. Но так слушает, словно никогда не слышала ничего интереснее. И только глаза под вопросительно

взлетевшими бровками как бы хотят знать: а вы не шутите, когда говорите так серьёзно?

Оля уезжала на учёбу с новой шубкой в саквояжике, перешитой из маминой. Накануне отъезда Оля обещала отвечать на Ванины письма незамедлительно.

4. В Утрехте

В это утро, пока мама и Ар пили кофе, Ольга (у мужа получалось твёрдо: «Олга») продолжала по его просьбе свои рассказы о России.

— В Рыбинске на Волге, где я родилась, столько красивых храмов! Ты бы полюбил этот город над великой русской рекой Волгой, весь в садах и красивых домах, город купеческий, гостеприимный, богатый и, как в сказке, захваченный обманным путём злыми волшебниками. А теперь ещё и внешним врагом.

— Дорогая Олга (получалось, как «Волга»), я разделяю с тобой ностальгию. Вот и моя трудолюбивая прекрасная страна пыталась защитить нас нейтралитетом. Вся Европа ненавидит этого грязного Гитлера, который вверг народы в войну. Он посмел нарушить неприкосновенность Нидерландов, но ему это даром не пройдёт… И ты сама видишь, у нас все города на берегу, тебе же это нравится. Это напомнит тебе Ру… как называется твой город?

— Рыбинск.

Вряд ли запомнит, подумала она, но возражать, что всё равно забудет, не стала. О. А. вспомнила без видимой связи письмо Шмелёва о том, как он с женой голодал в Крыму зимой 21–22-го года, как хлопотал что-нибудь узнать о сыне, рискуя быть арестованным. Она вдруг так внезапно расплакалась, что муж и мама бросились к ней с тревожными вопросами, что такое у неё случилось. Понятно, она не сказала правды — никто бы её не понял.

«Я также думаю о Вашем сыне, и мне очень, очень больно», — напишет она в ответном письме.

Она так давно хотела уединения, чтобы вспомнить свои размышления, сосредоточиться, пересмотреть лекции Ивана Александровича Ильина, заняться не одним только хозяйством, но, самое главное, осуществлением собственных творческих планов.

Эта спасительная мысль о собственном творчестве в который раз примирила её и успокоила относительно выбранного ею пути.

Ольга с трудом сдерживала нетерпение: уедет Ар, мама уйдёт к себе читать или молиться, и она наконец сядет работать. Нестерпимо нужно побыть одной! Вот только сначала напишет письмо Ванечке и съездит к Фасе.

Да разве можно бронёй почтового запрета перегородить потоки людских привязанностей и страстей? Муж новой Ольгиной подруги Фаси, Фавсты Николаевны Толен, тоже русской, замужем за голландцем, регулярно бывает во Франции по дипломатической линии — письма русской к русскому и наоборот поедут в экспрессе между двух столиц, находя заждавшихся адресатов. Изобретательности Ольги Александровны Бредиус можно было бы позавидовать.

Наконец-то можно высказать родному человеку — пусть по-детски наивные — жалобы. Её по-прежнему изматывали странные недомогания, ничем не объяснимые боли, иногда кровь; врачи ссылались на плохую работу почки. Отчего почти всегдашняя слабость — и редкие внезапные обнадёживающие периоды бодрости, прилива сил, просветы нежных и светлых чувствований? Тридцатишестилетняя замужняя женщина, со средним медицинским образованием, она терялась в догадках о причине своих недомоганий; не были едины в диагнозах и врачи.

Позже она осознает, что очень давно начала жить как бы через силу.

Что поселило в самой её глубине нездоровье, ощущение некомфортности? Из упрямства, из надежды переупрямить судьбу она совершила два главных волевых поступка в своей жизни, стоивших ей огромного напряжения. Она вышла замуж, устроила дела семьи, то есть личные и мамы с братом, вызволив их к себе в Утрехт. И она позволила своему сердцу маленькую радость — вступить в отношения, пока ещё заочные, с любимым русским писателем-современником. Пусть эта переписка окажется её и его судьбой.

Безбедная наконец-то после стольких лет мытарств, социально защищённая жизнь полноправной подданной Королевства Нидерланды и заботы молодой хозяйки-жены старшего сына не только не успокоили, но, напротив, разверзли перед Ольгой Александровной щемящую пустоту, требующую наполнения. Конечно, это не берлинская лаборатория с её ежедневной проверкой на прочность. Но и не настоящая жизнь, как она её представляла, без высокой цели и вдохновения.

И это — всё? — в несчётный раз спрашивала она себя. Ну да, чуткий муж, мягкий климат, прелестная природа, восхитительные цветы, особенно выращенные твоими руками. Всё так натурально, так живительно: и пробивший скорлупочный панцирь цыплёнок, и кошка, готовящаяся стать матерью, женственная, прижимающаяся к хозяйке в ожидании ласки, добрых слов, и молодой жеребёнок, через час после рождения уже на ногах, и дивный густой запах свеженадоенного молока — всё это замечательно. Но ей всё равно чего-то не хватало, было мало только этой сельской жизни.

Это — всё, — вновь и вновь не то спрашивала, не то утверждала Ольга Александровна. Какие загадки её летящих желаний хранят ухоженные купы дерев в своей сени, в какие дали зовут аккуратные разлинованные поля — кто знает? Если бы не выезды в православный храм Святой Магдалины в Гааге (но тут с отцом Дионисием как-то долго не складываются отношения) — нечем жить. Разве это доступно пониманию Арнольда? Александра Александровна всегда рядом. Она грустно качает головой: не выдумывала бы ты, доченька. У неё и о Сергее сердце болит: как он там, в Арнхеме, в строительной компании?

Ольгу начали томить тишина и чужие люди в имении и вокруг, в не менее, если не более, холодной, чем Берлин, среде, в совершенно чуждой, добропорядочной, довольной собой и прелестными

своими цветами — единственной бесспорной прелестью этой страны — Голландии. Маму, едва с помощью семейных связей Бредиусов вызволенную из Берлина, она не отпускала от себя ни на шаг, загораживаясь ею и от Ара, и от его родственников. Но если бы хоть немного занять мудрого смирения матери, благоразумно внять её всегдашнему «ох, не мудрила бы ты, доченька».

Тоска по безвозвратному детству в старинном русском городе Рыбинске с годами только росла, находя некоторое утоление в книгах о России — здесь, в эмиграции, это были книги Шмелёва. Да разве только она одна? — вся эмиграция нарасхват, в очередь, читала его «Историю любовную» и, конечно, «Лето Господне», каждую новую главу. Она слышала, когда в 1936 году была опубликована первая книга «Путей небесных», достать роман практически не было возможности.

По сути, Ольга Александровна, как и многие изгнанники России, продолжала жить двумя жизнями: реальной эмигрантской и воспоминаниями о прошлом, как бы ни велики или малы были те воспоминания. Ольга оставалась даже не в ранней юности, а в далёком-далёком детстве на Волге — так она писала Шмелёву — в мире, наполнявшем гордостью её маленькое сердце, в мире уважения к отцу, священнику церкви Спаса Нерукотворного.

Т а м было первое говенье Великого поста и первое причастие, добрая нянюшка Айюшка, незабвенные поездки с матерью и братом в Калугу в гости к дедушке-благочинному и бабушке. Как всё было тогда славно, бестревожно. Как могло всё это, надёжное, исчезнуть, разрушиться?!

И вот теперь забрезжила надежда духовно соединить Россию с певцом России — спастись от себя самой и своих страхов, от разочарований и тоски.

Что может быть достойнее, изысканнее, интереснее дружбы с большим писателем? Разве он такой, как все? Она и себя не чувствовала такой, как все, испытывала потребность излить своё на бумаге. Это призвание — писать, это не жизнь, это больше, чем жизнь: это — подвиг.

О, как она подробно запомнила Шмелёва в тот октябрьский день 1936 года в аудитории Союза русских журналистов и литераторов, которую обычно снимал и для своих популярных лекций на немецком языке Иван Александрович Ильин! Им же было внушено его поклонникам и ученикам восхищение творчеством Шмелёва. Проезд писателя через Берлин был воспринят как огромное событие в культурной жизни русских в Берлине. Ивана Сергеевича встречали не просто с почётом — с ликованием, а он, по всей вероятности, не замечал ничего, даже не чувствовал удовлетворения. Скорбное лицо, неправдоподобная худоба, весь его аскетический отрешённый облик говорил о том, что его дух не здесь, вновь и вновь рождая в Ольге Александровне Субботиной безотчётную для неё самой зависть к истории неведомой ей личной жизни писателя. Иван Александрович Ильин представил тогда Шмелёву некоторых своих учеников — Квартировых, её брата Сергея. Ольга с матерью стояли позади присутствовавшего на встрече философа Семёна Франка. Она не посмела продвинуться вперёд. О, если б она не была тогда такой робкой и не считала себя «хуже всех»! С горечью писала О. А. о том, что была она тогда «совсем свободна». Позади была «главная» в её сердце история. Но в тот памятный вечер она видела только Ивана Сергеевича. Да, всё могло бы сложиться совсем иначе. А сложилось, как напевала одна её знакомая француженка:

> Если кто-нибудь сроет гору крутую,
> Мы камни притащим, построим другую.

Теперь Ольге казалось, что они знали друг друга всегда. Когда и как не только получать, но и писать друг другу письма стало частью жизни для каждого, да что частью — сутью жизни?! Это происходило так стремительно, что Иван Сергеевич не мог уловить момент, чтобы реально взглянуть на некоторые заявления О. А. — например, о том, что ей предоставляется свобода действий, но расторжение брака исключено. Что помешало ему остановиться, свести к вежливому постепенному, но решительному прекращению их переписки?

Он хорошо помнил этот августовский вечер 40-го года, когда он, выключив немецкие победные марши по французскому радио, вдруг без видимой связи пытался внять голосу рассудка, призывавшего к благоразумию уставшего, изработавшегося, измучившегося человека. Но тогда — опять космический холод одиночества, «без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви». Он провёл рукой по лицу — оно было мокрым от слёз.

По-прежнему падали с неба звёзды, словно нет оккупации Европы, нет войны, тяжёлым катком катившейся к границам России. Глухо. Никаких подробностей, только марши «Великой Германии» по приёмнику и вскоре послышавшиеся речи об освободительной миссии уничтожить большевизм. Пускай бы немцам удалось задавить большевистскую гадину, опутавшую его Россию. Но Гитлер не может победить, он обязательно договорится со Сталиным, предложит ему мир, и тот примет, они одного поля ягоды. В конечном итоге, без сомнения, будут сметены историей оба.

Так он думал о врагах России и о начавшейся Главной войне — с Россией. Из Голландии его уверяют, что «их дорогой бабушке не может пойти на пользу предложенное доктором лекарство, оно опасно, может быть, смертельно». Так писала Бредиус-Субботина, в целях конспирации называя Россию любимой больной бабушкой, а Гитлера — хирургом. Ведь на каждом письме — немецкая свастика, печать военной цензуры. Но Шмелёв знает: хуже, чем при большевизме, быть не может. Как безнадёжно, томительно давно они не видели «Родное» — так он назвал прекрасный сборник рассказов, лет десять назад изданный в Белграде, отмеченный критикой. Немцы — культурная нация. В конце концов, что-то должно сокрушить свалившуюся на его Родину напасть!

Напрасно пока что пытаться что-нибудь представить достоверное. Только время покажет, выполнит ли свой долг Европа, давний, неоплаченный долг русским…

Он ещё чаще, чем прежде, ездил к родной своей Оленьке на русское кладбище. Там, в де-Буа, за пять лет вымахала большая берёза, но не заслонила восьмиконечный дубовый крест с накрытием, как если б где-нибудь в Угличе или Ростове, и лампадка в фонарике-часовенке горит, за этим следит сторож за небольшую мзду. Кто знает, может быть, он ещё окажется после смерти в родной московской земле, освобожденной от ига. Он давно лелеял эту надежду—единственный среди собратьев по перу, кто оставит подобную просьбу о себе и о жене в своём завещании. Он—верил и будет верить всегда: «России—быть!»

И. С. знал: ещё немного, и у него уже не будет сил отказаться от нежданно предлагаемого, скажем так, общения. Но к чему это приведёт? Они даже видеться не могут, а это значит—новая безысходность.

Конечно, он очень боялся оказаться смешным: «не цвести цветам зимой по снегу». Горько, но как же верна народная мудрость. «Как объяснить этот ужас хотя бы самому себе, что я всё ещё *живу?* Я не должен жить после всего, что было. Пора смириться».

Ответ последовал незамедлительно, благо уже по-немецки чётко работало почтовое сообщение между Голландией и Францией.

«Я люблю Ваше каждое произведение, каждое слово, каждую мысль. Я всё, всё бы отдала, чтобы отнять у Вас страдания и неудобства, дать Вам и уют, и тепло, и беззаботность, но мне кажется, не страдания ли это Души Вашей одинокой дают Вам то, перед чем мы только можем склонить колени?.. Вы так нужны нам, Господь избрал Вас, чтобы Вы не умолкали. Я никогда никому не смогла бы столько сказать, сколько пишу Вам. Я так же полюбила О., как и Вы, я плакала, читая Ваше письмо о жене под вуалью-саваном, о «прекрасном лице, которое украшали лилии». Будто я тоже знала и тоже любила её всю жизнь…

Я, как и Вы, свято верю, что русский народ свергнет мучителей-большевиков, оправдает себя перед Богом и перед историей. По ночам я просыпаюсь в слезах из-за нашей родственницы, нашей дорогой бабушки. Вы плохо знаете этих докторов, а я с ними имела дело. Говорю Вам, в *её* доме скверно. Домашние пожимают плечами—я то плачу, то смеюсь. Даже маме я не могу объяснить своё состояние, она осудит меня. Но я не хочу, понимаете, не хочу отказываться от этой муки и умоляю Вас поверить мне, это не каприз, не выдумка. Вы призываете меня работать, находите во мне таланты, но я ничего не сделаю без Вас, мне нужен добрый учитель. Всё становится без Вас бессмысленным и ненужным. Разве у Вас иначе? Там течёт крыша, бабушка простужена…»

И горькое бессилие что-либо сделать для неё.

Невозможно не верить этим письмам, так хочется знать, что ты в самом деле не одинок, можешь довериться всем сердцем. Так не лгут:

«…И я не знаю, как дальше жить без Ваших писем, без надежды на счастье. Не может быть. Не верю. Я полюбила Вас до всего, что было до и после 36-го года и берлинской встречи с Вами, с тех пор, как открыла для себя Ваши книги, я только не понимала этого, а теперь знаю и живу надеждой на нашу встречу, я слышу Ваш голос то над водной гладью, то в тёплом ветре, овевающем меня, идущую по полю; то в храме я узнаю Вас среди толпы, и мы вместе подхватываем пение церковного хора «Слава в вышних Богу, и на земле мир…». А то у Вашего камина нам тепло, уютно, и мы внимаем шуму дождя за окном и плачу ветра в осенней стуже… Нет, я не мыслю не увидеть Вас…»

И опять: чем он питается, соблюдает ли диету, какие у него лекарства? Ей, например, помогает селюкрин. Кажется. Во всяком случае, аппетит стал лучше, продукты же свои, деревенские. Ах, если б она могла ему послать посылку, у них ведь своя ферма! Умоляет больше не передавать с Фасиным мужем цветов—этот дубина Толен (и правда дубина: обернул её подарок—фотографию—её же письмом, когда передавал Ивану Сергеевичу!), да, этот дубина Толен знает Арнольдову родню, для них всех г-н Chmelev только большой русский писатель-эмигрант, маленькая отдушина для русской жены и невестки Бредиусов. Оставаться ли ему в этом качестве и как долго?

И снова: как ей одиноко, как пусто. Она не может жить без его писем, без его тепла, она должна знать, что нужна ему. Если бы не его книги, которые она перечитывает и ждёт новых, жить было бы совсем невыносимо. И он пишет, пишет длинные письма, много писем.

И ещё бесчисленные зовы исхлопотать визу и приехать в Голландию. «Я бы нашла тебе комнату с пансионом в Arnheim'е. Это маленький городок. В нём часто бывают туристы». То есть для посторонних его приезд—вполне естественный интерес иностранца к новой для него стране. К тому же у него может быть литературный интерес в Голландии.

«Я больше не могу жить без наших писем друг другу. Твоя Ольга».

«У меня болит в груди. Сжимает грудь как обручем железным по ночам, и я должна вставать, то есть садиться. Это бывало и раньше. То болит рука, то грудь. Врачи пожимают плечами: нервное. Наверно. Ведь когда я думаю о нашей бабушке и вижу её во сне, и тогда боль тоже. Ну да, это всё объяснимо, значит, пройдёт. Только бы увидеться…»

Ольга Александровна писала, что у неё физически болит сердце в день кончины его жены Ольги Александровны. Возможно ли это—такая пронзительная чуткость у этой молодой мятущейся женщины? Он—верит. Эти её просьбы—крик души немедленно отвечать на её письма, потому что война, закрыты ставни магазинов, холод, и она места себе не находит при мысли, что Иван Сергеевич нездоров, что у него нет продуктов, лекарств, за ним нет настоящего ухода. Ему снятся странные сны? Но и она никогда не спит без снов, это мучительно, хоть бы раз отдохнуть вполне…

«Мой родной, мой милый! Бесценный мой, чудесный, дивный… Как я люблю Вас… я иногда чувствую себя как бы во власти тёмной силы. Но Вам

я пишу, я это точно знаю, не во тьме. М. б., из тьмы, взывая, хватаясь за Свет, именно от жажды Света… Меня мучает разлад внутри меня, а по ночам — изнуряющие сны. Вот один из них: мы вдвоём, но тут же ты на корабле, и он, дрогнув, совсем немного отошёл, и я не могу дотянуться… Мне иногда до ужаса бывает страшно, совестно перед миром, что Вы такое богатство, такой редчайший жемчуг мне, мне одной лишь рассыпаете…»

Вот это была святая правда! И. С. так страстно желал помочь душевному покою любимой, уже необратимо любимой!

Он уверял себя, что вот-вот всерьёз примется за второй том «Путей небесных»! Он, видно, забыл, что творчество не прощает измены, скорее простят женщины, чем пустая белая бумага, но уже был не властен над своим чувством.

«Солнышко моё, Олюшка! Для всего, даже для писаний моих, у меня уже ничего не остаётся. Ты всё закрыла. Так — я никогда никого не любил. Оля — особо, она детская любовь, перелившаяся в необходимость такой любви — очень тонкой. А к тебе всё — и эта очень тонкая, и сильная, и бурная, и умная… Сердце должно подсказать тебе, когда уйти от тяжкой атмосферы Шалвейка. Я прошу тебя церковно связать мою жизнь с твоей. Мама и брат будут с нами тоже. Я буду очень тебя любить. И писать Дари. «Пути» не должны быть оскоплёнными, кульминационный пункт — зачатие… я всё сведу в страстную симфонию… Но только чтоб мы были рядом».

И чтоб был у него от любимой женщины долгожданный ребёнок. За все муки, за всю невыносимую реальность, которую почему-то надо терпеть.

5. «Монахини сказали…»

Как известно, бракам, совершаемым на небесах, присуща ясность и доброе согласие. Трудно представить, чтобы «двое» могли подходить друг другу больше, чем Иван Шмелёв и Ольга Охтерлони. За время «ухаживания» у конфликтного, порывистого, неспокойного Ивана не случилось ни одного разногласия с ровной, доброжелательной, невозмутимой Оленькой. Первая слушательница его жизненных проектов, она становилась ему всё необходимее от одного приезда до другого. Её всегдашняя готовность разделить его недовольство или восторг, принять к сведению любое мнение о чём угодно, неспособность хитрить, что так свойственно многим барышням, лукавить, искусственно вызывать ревность, дурачить, наслаждаться своей хитростью, то есть лживостью. Короче, тот самый идеал Пушкина, о котором все знают со школьных лет. Это был и его идеал:

Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей,
Всё было тихо, просто в ней.

Иваном теперь владело горячее желание стать лучше, любить Бога, хорошо окончить гимназию, поступить в Московский университет: в частном и в большом — во всём у него была теперь высокая цель.

Эта девушка внушала ему веру в себя: он будущий юрист, жена, возможно, если захочет, сельская учительница, уедут в провинцию, будут жить своим домом… Через двадцать с лишним лет Ольга Александровна скажет жене Бунина Вере Николаевне: вижу, человек серьёзный, не то что другие, вот и пошла за него.

Её не смутил взрывной характер суженого. Однажды Оле пришлось поехать с папиным сослуживцем выправить какие-то документы. Их, сидящих рядом в пролётке, случайно увидел Иван. Он немедленно пустился в «погоню». Пожилому военному едва удалось убедить молодого человека не устраивать скандал в присутственном месте. Позже, когда остыл, Иван извинился. А Оля для себя извлекла урок: всегда давать Ване отчёт в своих делах, не так уж это и трудно.

Вопреки воле матери он продолжал встречаться с Олей, когда её семья жила уже в другом районе Москвы. Как всегда, ходил пешком. Однажды он запоздал домой, и ему не отворили, сколько ни стучал. В лёгком пиджачке, окоченевший, он отправился ночевать к замужней Соне.

Иван дотерпел только до второго курса университета. Летом 1895 года двадцатилетняя Ольга и двадцатидвухлетний Иван обвенчались в храме подмосковного материного имения-дачи в селе Трахоньево на Клязьме в окружении родни, детишек старшей сестры, под перешёптывание деревенских баб: «Совсем дети…» Такие они были бесплотно худющие и безгрешно наивные. Через два года родился сын Сергей.

О пушкинской Татьяне и о том, как ему в жизни повезло с женой, впервые подумает сорок лет спустя во время пушкинских торжеств, пышно отмечавшихся в 1937 году и в СССР, и русской диаспорой за рубежом, уже после смерти Ольги Александровны, уже давно известным писателем Иваном Шмелёвым, выступая со статьями и речами в Париже, Праге, позже в Женеве.

Иван Сергеевич никогда не воспринимал жену отдельно от себя: она есть, потому что он есть. Она так считает, потому что он собирался иметь такое же мнение и принять такое же решение. В их век вызывающе безбожного, интеллигентно продвинутого, напоказ выставляемого атеизма, когда отношения с Богом заканчивались в гимназии сдачей экзамена по Закону Божьему, когда Бог остался у народа, не сдававшего экзамен на право знать, «против» Кого — это латинское «а», человек Замоскворечья из верующей семьи, Иван по-старозаветному принял венчание, как все без исключения его предки крестьянского происхождения, — навсегда, «в высшем суждено совете».

В маленьком парижском кафе много позже Александр Куприн рассказал Ивану Шмелёву, почему разошёлся с первой женой Марией Иорданской.

«Для совершения брака надо было предъявить среди документов свидетельство о говении. Столичный дьячок был человек понимающий: «Вы хотите — говеть или т а к? Свидетельство я могу вам выписать сейчас. Это будет стоить десять рублей…» Свидетельство о говении скоро было

в руках, так что и само венчание было уже — «*так*», и развод был неизбежен».

Студент Шмелёв писал в те годы, когда стали венчать «т а к», своей невесте: «Надо молиться, Оля, чтобы Бог благословил наш шаг… Мне, Оля, надо ещё больше молиться. Ведь ты знаешь, какой я безбожник». А ведь и его как-то «замели» в Манеж по случаю студенческих волнений, оттуда ненадолго в Бутырки. Правду сказать, Шмелёв не придавал большого значения студенческому буйству, ведь он серьёзный семейный человек, несолидно играть во Французскую революцию… Чтобы понять, как священен для них брак, понадобились годы, чужбина, горькие годы без России, без «родного». Страдания ещё нераздельнее слили их в одно целое…

Их свадебным путешествием была поездка на Валаам. С повести «На скалах Валаама», позже переработанной, символически начнётся путь в писательство Ивана Сергеевича, ещё не отдающего себе в этом ясного отчёта. Да вся жизнь его, обыкновенная и творческая, — путь духовного руководства жены, по утверждению богослова и философа А. В. Карташёва, сблизившегося со Шмелёвыми в эмиграции: «Она потихоньку очистила божницу от пыли, заправила остывшую лампадку и засветила её». Он же назвал его «писателем русского благочестия».

Но это потом, а пока в нём ещё живо заложенное предками.

Такое бывает, когда «брак совершается на небесах», когда жена — «как солнца луч среди ненастья». И так естественно безотчётен этот свет, просто он есть и не может не быть. Когда холодное «солнце мёртвых» отразится в навсегда застывших зрачках сотен тысяч убитых в Крыму, их сохранит взаимное тепло и поддержка. Только работа и преданная жена спасают мужчину от безумия. Пережил бы впечатлительный, с его мгновенной взрывной реакцией, Иван Сергеевич мученическую смерть сына от рук «красных палачей»? Трудно сказать. Он не был политиком и позже, в чём признавался сам. Его называли пророком. Пророкам «даётся благодать предвиденья», но столько же отнимается в сиюминутности. Низменного. Бытового. Житейского. Ольга Александровна делила с ним непоправимое горе, вбирая в себя и его боль, это знают все любящие, и они перетерпели своё горе.

После всех страданий, голода в Крыму, утраты Родины и сына, виновного лишь в том, что был честен он и его родители, несчастный отец написал «Это было», чтобы самому не сойти с ума. Они — перетерпели и были одно целое, неделимое, это остаётся внутри них на всю остававшуюся жизнь. Муж попытается научить её печатать на машинке, которую называл своим «орудием перепроизводства». Поздно. Потрясения, отсутствие постоянного жилья, «без причала» (Шмелёв), борьба с грязью и нехватками оказались немилосердны к её рукам; изнуряющий страх за подорванное здоровье мужа, какая-то непреодолимая скромность, отстранённость от окружающей, чужой и чуждой, европейской жизни, вечное беспокойство об Ивике, освобождение мужа от каких-либо бытовых забот — подточили её здоровье. Шила и вязала всё, что можно было заменить магазинным, требующим дополнительных расходов. Никогда не затихающая боль утраты сына состарила сердце, но она считала — поздно и бесполезно лечить его. Полное равнодушие к себе, своим личным потребностям, сверхотдачу и сверхжертвенность маленький Ивик скрашивал, но горе оставалось в ней. Она умрёт от инфаркта, до последнего вздоха заботясь о муже, умрёт так же необременительно для мира, как жила.

После неё на земле оставалась память о женщине, не сделавшей никому никакого зла, о чём писала в своих воспоминаниях Вера Бунина-Муромцева. Полны нежности к горячо любимой тёте Оле воспоминания внучатого племянника Ивистиона Жантийома, написавшего, что дяде Ване и тёте Оле Шмелёвым он «обязан счастливым детством». Самая большая благодарность, которую может чувствовать человек, вспоминая детство.

Как бы предчувствуя потерю, Иван Сергеевич успевает порадовать жену окончанием первого тома «Путей небесных». Ведь именно жена подарила ему замысел романа, и что бы он вложил в понимание своей героини Дариньки, если бы не тончайшее знание возвышенной души «его Оли»? Именно жена могла вдохновить его на создание столь необычного женского образа…

Жизнь чистой женщины подобна лёгкому сну наяву, как бы в одновременном соприкосновении с двумя мирами — земным и небесным. Такова была жизнь его Оли, Ольги Александровны, остававшейся до самой смерти нежной пугливой птицей с взлетевшими бровками над глазами, взявшими голубизну у небес и беззвучно вопрошавшими: как это возможно — такое в мире злодейство?? Защита от бед — только вязаная косыночка, туго натянутая на плечи и удерживаемая хрупкими когда-то, а теперь натруженными руками на груди. Да так и застывшими в миг жуткой боли и потом разрыва исстрадавшегося сердца.

«Пути небесные» как литературный замысел были навеяны рассказами жены Ольги Александровны о семейном предании в материнском роду Вейденгаммер, к которому принадлежала тёща Олимпиада Алексеевна, та самая, что сопровождала Олю и Ивана, не находившего ничего лучшего, как занимать всех своими рассказами о детстве в ту далёкую пору прогулок по Мещанскому саду, спускавшемуся от родной Калужской к Москве-реке. Да и не такое уж это было семейное «предание»: Виктор Алексеевич Вейденгаммер был родным братом матери и, следовательно, дядей Ольги Александровны. В роду Вейденгаммеров и Охтерлони не было никогда, чтобы муж покинул жену и детей, сошёлся с другой, а после её трагической гибели ушёл в монастырь. Не Виктор Алексеевич, а его невенчанная жена Дарья Королёва, Даринька, увлекла Шмелёва и была воспета им. Он увидел в Дари ценнейшее свойство духовной работы над собой, возрастания личности.

Пути земные и небесные, которые предстоят героине романа Дари, вписывают этот образ в ряд, открытый Достоевским,—не поддающихся однозначному определению душевно одарённых женщин, внезапно и навсегда взрывающих устоявшуюся жизнь мужчины.

Над первым томом, несмотря на стремительно прогрессирующую сердечную болезнь жены, а может быть, именно поэтому, Шмелёв работал стремительно и сразу же опубликовал его. Планы относительно второго и даже третьего тома, казалось, не вмещали задуманного.

Ко второму тому Иван Сергеевич вплотную приступит, пробуждённый к жизни письмами Ольги Александровны, то есть уже в другой своей жизни, после глобальных и личных потрясений, с не меньшим горением только в 1943 году. Однако роман останется как бы неоконченным, обращённым к Вечности. Всего этого писатель ещё не знает, после смерти жены жизнь ему в тягость. К тому же после первого тома он томится мукой опустошённости, так хорошо известной художественным натурам в период душевного и творческого кризиса.

И вот время ожидания естественного ухода «к ней» вдруг и как-то сразу прервётся, поначалу обменом двумя-тремя письмами с почитательницей его таланта и его художественного мира, одной из многих почитательниц.

А потом абсолютно нежданным обвалом взаимных писем, в который он включается, ломая образ солидного, сурово-нравственного, твёрдого замоскворецкого «замеса» и давно уже публичного человека.

Этим жизненным поворотом в определённом смысле писатель становится сродни своему герою «Путей небесных»—Виктору Алексеевичу. С небольшой, но существенной разницей: искушают теперь не неопытную монастырку Дарью Королёву, а его, писателя, отшельника по натуре и специфическому свойству писателей. Искушают связующей общностью судьбы изгнанников и общей тоски по невозможному, несбыточному счастью оказаться в России.

Этим психологическим превращением автора и его корреспондентки в героев романа «с точностью до наоборот» вполне объяснима по-человечески щемящая, бурно разворачивающаяся история двух совершенно разных личностей, которым предстоит испытать все муки рая и ада. При этом останется глубокая фатальная убеждённость, что это «дано», «дадено», таков «План». И самое интересное—такова воля «отошедшей», это она, именно она, по мнению и искреннему убеждению Ивана Сергеевича, заменила себя, уставшую жить, другой Ольгой Александровной.

Когда он уже и не надеялся, Ивану Сергеевичу наконец приснилась жена, но совсем не такая, какую он знал больше полувека. Никогда в жизни она не смотрела на него строго, даже грозно, и ему никогда не было так жутко, как в этом сне.

«Монахини сказали: тебе предопределено что-то очень, очень трудное, тяжёлое».

Он понял: дурное, страшное. Но во сне ведь живёшь не по своему желанию, не расспросишь, не уточнишь, главного так и не узнаешь.

«Зачем, зачем ты мне это сказала? теперь я буду думать, мучиться».

Оля молчит и смотрит.

«Мне и так тяжело, лучше бы умереть…»

И тут прежняя, жалостливая Оля согласилась: «Да, правда… лучше бы…»

Она и в жизни вот так же молча, про себя, прикинет и повторит его же слова. Но зачем же и во сне соглашается, когда надо возразить, обнадёжить? И что же на самом деле—Ольга его предупреждает о плохом, или всё же есть какая-то надежда? И что она имеет в виду? Ну не может, не может его Оля желать ему зла. Почему не предупредила, не объяснила? Ах да, ведь и она не властна иметь свою волю во сне…

Иван Сергеевич заболел и проболел два месяца. Его почти каждый день навещал доктор Серов, милый Сергей Михеич, единственный, кто поставил Оле правильный диагноз—грудная жаба. И такому врачу, как не имеющему зарубежного диплома эмигранту, платили в клинике копейки. И дежурил он чаще других и всегда все праздники. Ох уж эта заграница!

А сон этот он долго обдумывал, но потом надолго забыл: решил, что, наверно, не понял сна. Сон был такой страшный, тёмный. Точно, он что-то не понял.

Когда появились силы думать, он размышлял о Пушкине, о «Медном всаднике», о милосердии и сострадании—ключе русской литературы.

И снова о «Путях небесных». Критика молчала. Написал только П. Пильский в «Сегодня»; молчало «Возрождение». «Последние новости»—и подавно, но оттуда он и не ждал ничего хорошего. Но он помнил доводы жены, которыми она убедила его писать этот роман: «Посмотри, какие у тебя планы, сколько людей разных сословий идут в твою книгу—инженеры, крестьяне, старцы, неверы, циники… Россия помещичья, уездная, народ у стен монастырей, свет и тьма нашей жизни, какие зимы, вёсны, лета, осени, дали дней, проблески судеб грядущих…» А может, это уже не её, это его самого думы? Да-да, уловить Небо, заметить невидимое «вождение» нас Создателем…

Едва появились силы держать в руках ручку, И. С. поведал Ильину, человеку чёткой, организованной мысли, о своей интуитивной, неупорядоченной манере писать единственно потому, что невозможно не писать и нет выдержки ждать, чтоб отложилось, приняло крепкую форму, да и отложится ли, он не знает. Просто он умеет только так, и никак не иначе.

«Все мои книги явились вне обдумывания, а вскипали от неведомых мне опар, совсем для меня нежданно и непоследовательно. Часто я за минуту не знаю, что напишу, как и почему напишу т а к, как потом явится… из туманной дымки, из дрожи. Из вспышки между сердцем и… душой. Из сладостного какого-то волнения, до дрожи лихорадочной внутри. И уж после—сколько надо уминать, причёсывать, разбирать спутку…»

Что ответит Иван Александрович—не беспутны ли его «Пути…»? Но если даже он назовёт его роман ошибкой, разве это остановит Ивана Сергеевича? Разве в самой глубине его добрый умный друг—не предпоследняя для раба Божия Ивана инстанция перед Ним? Но если Оля пришла к нему *оттуда*, если вправду лучше бы ему умереть, чем жить дальше…

Приходится смириться: непостижим замысел Бога в отношении каждого из нас, грешных, но лишь горячей молитвой, то есть трудом души, мы обретаем хотя бы на время надежду, что мы услышаны и нам отвечено.

Он уж давно проверил и убедился: надо просто встать перед иконой, затеплить лампаду, произносить древние слова предков, обращённые к Богу: «…яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию». И приходит ясность и бодрость духа. И тогда: «Утренюет бо дух…»

Да, да, утреневать, молиться по утрам, обновляться, как весь мир после ночных кошмаров возрождается под лучами восходящего утра. Вот она, высота, выразительность Слова, данного нам Богом Слова.

А Олин сон—что ж, деться некуда, надо жить. И молиться. И трудиться. И надеяться. Сейчас бы услышать звон колоколенки, помолиться—наступает новый день, но за окном только дом напротив, и окно в окно что-то шьёт горбунья, а у неё за спиной висит на стене литография—Божья Матерь.

Ну вот, кажется, он выздоравливает: надо приниматься за дело. И пора поставить в известность дорогого друга философа Ивана Александровича Ильина о новостях в письмах новой своей корреспондентки. А сон о монахинях он забыл окончательно и очень надолго.

Трудно было не забыть—Ольга Александровна начала упрекать его в бездействии.

«Оля, голубочка, не думай, что я удовлетворён «оригинальностью наших отношений»! Каждый день разлуки с тобой—для меня ужас, утрата заветной надежды…—ты знаешь. Быть с тобой, слиться не только душой—чувством, а всем в нас… дать жизнь… Думать страшно, что мы не встретимся!»

В залог их любви он посылает Ольге Александровне пудреницу покойной жены, принятую с благодарностью.

Однако там новый неожиданный поворот: «Я обязана совершенно вне тебя «перед Небом и перед собой» всё «выяснить». И это в письме об анализах, врачах. Лечись, пожалуйста, но как понимать—вне тебя?! И что выяснить?!

«Сумасбродка безумная, что Вы со мной делаете?! Сколько в Вас молодой отваги, нетерпения. Я не знал, что так ещё может быть. Да, конечно, нам надо встретиться…»

Гораздо позже он найдёт её дёрганности окончательные определения. «Срывы». «Провалы». Но до этого ещё далеко.

6. Вокруг Арнхема

Арнольд мирился с особенностями своей жены. Пусть уединяется, пусть читает и плачет над русскими книгами, что ей присылает из Парижа их знаменитый писатель. Пусть сама пишет—было бы странно, если бы такая выдающаяся женщина, как «Олга», только тем и занималась, что отдавала визиты и принимала гостей, подобно его сестре Бетти, которая, едва выпроводив приятельниц, принимается за пересуды и сплетни. И ещё: пусть не досадует, что её все дёргают, не дают сосредоточиться. Разве её заставляют?

Пусть только не болеет. О, эти загадочные женские недомогания его нервируют почти так же, как нахальство и лень работников на ферме.

Самым лучшим оказалось предоставить ей возможность самой или с мамой решать выбор докторов и лекарств. «Олга» считает, что ему следовало родиться для научной кабинетной работы, но кто-то же должен думать о прозе жизни—хлебе насущном.

И вообще, как-то всё неясно. Отец слышал в верхах, что авантюрист Гитлер проглотил Европу временно, главная его цель—Россия.

Только успеть бы собрать урожай—виды самые обнадёживающие. Вот сейчас проверит, не пора ли косить ячмень, заодно заедет на почту.

Подтянул подпругу, погладил коня по шее.

— Сейчас Олга вынесет письмо, отправим нашему знаменитому русскому другу.

Вышла Ольга, кутаясь в платок.

— Ар, постарайся управиться до темноты, я буду волноваться, как всегда, когда ты задерживаешься. Будь осторожен, не забывай, у нас военное положение. Ну вот…

Она, словно боясь, что муж выронит по дороге, сама вложила конверт в дорожную сумку, проверила застёжки, поправила ему ремень через плечо: пусть все видят—у них хорошие отношения. Пусть и мама не беспокоится, не поглядывает на неё тайком. Никак не решит, счастлива ли её дочь. И удивляется, как это её строптивая с другими дочь ладит с мужем и во все его дела вникает с неподдельным интересом.

Счастье, конечно, теперь понимают иначе. Вот её молодая мать, согласно своему времени, не разрешала в неё влюбляться, ухаживать за ней молодым людям понапрасну. Это безнравственно, объяснила она когда-то дочери. «А вот встретила твоего отца, тогда другое дело». И до сих пор помнит своё подвенечное платье, лайковые белые перчатки до локтя, икону, которой благословили их родители. И потом десять лет вдовства, борьбы за жизнь детей…

Об этом, о женском счастье, она обязательно напишет, её словно овевают некие тени образов, вспыхивают мысли, которым только надо дать развить себя. Чаще всего вспоминается детство и юность. Лицо мёртвого отца поразило Олю полным безразличием к этому миру и прежде всего к ней. Сквозь рясу и священнический крест на груди она пыталась дотронуться до груди, там, где ещё недавно, стоило ей прильнуть к отцу, она слышала, как глухо, словно колокол, но с разной частотой стучит его сердце. Казалось ей, так и должно быть, так будет всегда. Теперь т а м, под материей, было что-то окаменелое, такое же недоступное,

как и лицо, в котором так мало осталось от отца. Его отпевали в храме Спаса Нерукотворного, провожали в короткий путь до церковных стен всем городом.

Оля ни на минуту не оставляла мать одну — вдруг и та умрёт. Потом она стала уходить — её всё тянуло неизвестно куда и зачем. Её отвезли к батюшке и матушке Груздевым — родителям Александры Александровны. Она слышала, как бабушка покачивает головой: едва смогли оторвать Олины ручонки от гроба отца. Дедушка посматривал неодобрительно и тоже молча.

Бабушка читала ей прекрасную книгу о Матери Божией. Там подробно рассказывалось о Её детстве и юности. Как Её привели в храм после смерти родителей, чтобы там обучить всему, что полагается знать и уметь девушке. И как Она смутилась, когда Ангел передал Ей волю Господа. Замечательная книга, но автор и название Ольге неизвестны. Да и вряд ли теперь книгу переиздадут когда-нибудь.

Ольга Александровна тихонько, чтоб не слышала мама, прошла на кухню за чаем. Сюда же, переваливаясь как-то неуверенно, пробралась и Марго. Стала ластиться к ногам хозяйки.

— Маргоша, ты чего-то боишься. Скоро у тебя будут маленькие котятки. Ты не знаешь, что ты счастливая. Чего волноваться-то? Мы с тобой обмоем деток, уложим рядком на тёплую подстилочку… Ах, как мы все-все знаем страх гораздо чаще, чем покой или радость.

Всё это она только что рассказала в письме Ивану Сергеевичу.

Немного чая, лекарство. Всё. Пора за дело — писать повесть о жизни.

…Отчего её всё время знобит? Лето тёплое, флоксы зацвели на две-три недели раньше.

О, уже пятый час, она опять не уложится, не только десяти, но и пяти страниц не напишет. Но всё равно надо пойти к флоксам — они уже повеяли своим чудным вечерним ароматом. Она отложила ручку, такую же, какую подарила родному Ивану.

Ольга спустилась с крыльца. Ну вот, на дворе гораздо теплее, чем в доме.

Что же она хочет сказать об отце? Что за всю свою жизнь она не встречала ещё одного такого же прекрасного человека, как отец. Кроме Ивана Сергеевича…

Она нагнулась над белыми флоксами. Их запах был сильнее и красивее, чем у сиреневых. А вот с розами можно быть уверенной: чем гуще красный цвет, тем победней запах. Ольга пожалела, что у розы Дагмар оставила один боковой бутон — в результате верхний ослаблен, как и следовало ожидать.

Не надо было выходить к цветам — они напоминают о крови. Что-то есть пошлое в красном цвете как таковом, без пурпурных оттенков. Флоксы редко бывают такого откровенно красного цвета, как розы.

И всё-таки Ивану она пошлёт самую пронзительно-красную бегонию — уж очень она мила, и в её пушистости есть что-то смущённое, робкое, скрадывающее победность, пронзительность цвета.

Красные розы умные мужчины не дарят — красные розы обязывают.

А вот Джордж вообще не дарил ей цветов, этот единственный достойный её поклонник. Нет, не поклонник — рок. Джордж!..

Вот уже десять лет она складывает в особую папку любое сообщение о нём в печати. Когда-то его привёл к ним домой отчим — надо же было поставлять приёмной дочери «скальпы»; Джордж посещал в то время лекции русских профессоров. Он совершенствовался в знании русского языка, который выбрал как специальность после окончания какой-то американской академии. Она помнила каждый день тех нескольких месяцев пребывания Джорджа-Георгия в Берлине. И каждую их прогулку на его машине.

Почему они расстались? Она объяснила это в письме Ивану так: оба любили только свои и ничьи другие отечества. Ольга была уверена, что со стороны они похожи на заговорщиков, у которых общая тайна. Так ей хотелось думать, так было не очень больно думать.

Но это было не всё. Тайна была в непреодолимости рока. Прежде она не знала, чтобы воли её не было. А рядом с Джорджем она забывала обо всём, не помнила себя ни в большом, ни в малом, летела куда-то в пропасть. И что ей надо пореже оказываться в профиль к Джорджу, что у неё красивые ножки и ручки, а крепко сжимать рот нежелательно, это у неё получается некрасиво. Не помнить себя — это бывает раз в жизни.

Одевалась она всегда со вкусом, мама перешивала что-то своё, подкупали необходимое. Она и теперь помнила синее бархатное платье со старинным кружевным маминым воротником, оно так подчёркивало её глаза! А какое на ней было зелёное пальто с рыжей лисой и лисьей шапочкой в день первой встречи — и вообще все-все мелочи, которые отчим называл «доспехами»!

Чтобы было не так больно, она назвала его женитьбу на Аннели Соренсен пошлостью — Джордж не мог любить эту куклу, его опутали интригами! Самое удивительное — его выдержка: он умел держать людей на расстоянии. Георгий и теперь вызывал в ней восхищение, Ольга втайне гордилась своей причастностью к этому блестящему, благороднейшему из людей. Никто не имел права подозревать его в чём-либо проигравшим, облапошенным. Так она его понимала. Только по-особому вышколившие себя люди так управляют собой, то есть другими. И это как раз завораживало в нём.

Когда он открывал перед ней дверцу машины и потом обходил машину и садился за руль, у неё обрывалось и куда-то падало сердце. Всё, всё в нём было безупречно.

Сон оканчивался возвращением с загородной прогулки, он так же почтительно распахивал дверцу и, подведя к подъезду, молча раскланявшись, медленно уезжал, оставляя её полумёртвой от страха: увидит ли она его ещё раз и как скоро?

Непонятно только, откуда вдруг взялась эта особа — приехала, видите ли, стажироваться. И как, когда это случилось? Но от неё, от Ольги, ему не скрыться… Он был по-прежнему безупречно

внимателен к ней? Ну, так и он никогда не увидит её мук, не узнает, какой наносит ей жестокий удар. Игра—пусть игра. Раненной насмерть нетрудно играть смертельный удар.

Вот так мы не знаем, что именно нас не сразу, очень медленно, как особо страшный медленнодействующий яд, подтачивает и обязательно сведёт на нет. Страх потери? Убитая мечта? Обида на всю жизнь? Вопросы без ответа? Запоздалое сожаление о допущенных ошибках? Но каких ошибках?!

Джордж исчез позже жены. Исчез внезапно, не попрощавшись. И она ещё продолжала года два-три ждать, что он появится в Берлине. Она ходила в церковь каждое воскресенье и молила Бога о счастье. После одного газетного сообщения о том, что Джордж Кеннан как-то связан с большевистской Россией, она не могла взять в толк, как это возможно. Жаль, отчима уже не было в живых—объяснить наивной падчерице, что это означало. Впрочем, он и сам был старомоден со своей милой шуткой о её победах над мужчинами—«снятии скальпов». Какие уж там победы!

Это был единственный мужчина, от которого она хотела бы иметь ребёнка. Позже смирилась: хотя бы от кого-нибудь. Но жалко было маму, и гордость не позволяла. Боже! Как это было давно—десять лет назад.

Изредка встречались люди, чем-то похожие на Джорджа—взглядом, улыбкой, походкой,—вообще-то он принадлежал к не бросающимся в глаза, располагающим к себе людям…

Но теперь наконец у неё достойная цель: О. А. приступает к осуществлению давней мечты—писательству. Её небольшие рассказы о первом причастии, о нянюшке Айюшке, о цыплёнке, выхоженном ею в буквальном смысле в собственных тёплых ладонях—вызывают искренний восторг у Шмелёва. На очереди «Повесть жизни». Она начиналась подробностями детства и юности. В её памяти были ещё свежи уроки жизни, разбуженные её же письмами «дорогому и родному Ванечке», и вскоре её девичьи страдания, обиды, ошибки становятся основным содержанием писем: цепь встреч и разочарований, описание молодых и немолодых людей, по работе, в компаниях. Обычные истории. Кроме одной. Единственной. Такое неповторимо. Вот её начало.

«Вернувшись из клиники, я торопилась кончить одно рукоделие, чтобы отнести как подарок одной имениннице. А у отчима сидел кто-то, кого оставили чай пить. Я извинилась и дошивала своё, тут же, у лампы. И ушла в гости. Кто это? Не всё ли равно».

Горько-сладкие воспоминания вставали перед ней… Второй визит вместе с отчимом—были в русском храме, Рождество: гость интересуется всем русским. У нас ничего не приготовлено. Мы видим друг друга впервые. Я помню только большие, как-то особенно прямо смотрящие глаза, синие, не голубые, как море. Ответное приглашение всей семье к нему за город. И вот была сказка. В зимнюю ночь. Морозно. Поехали на его чудесной машине… Холостой мальчик, без всякой хозяйки. На стенах русские картины, в углу образ. За столом русские закуски и вина. Самовар. Ужин, заказанный в русском ресторане. Шаляпин на чудесном граммофоне, Собинов, Нежданова. Откуда? В Риге, в Пскове—приобретается всюду, где приходится бывать по службе. Атмосфера добра, взаимной доверительности. Отчим декламирует своего любимого Тютчева, Георгий—из «Евгения Онегина»: «…и умереть у Ваших ног».

Георгию—Джорджу Фросту Кеннану—посвящено много страниц подробного, томительного страдания Ольги. Что он делает в Германии в самом начале 30-х годов? В институте, где преподаёт отчим, и где-то ещё совершенствует свой русский язык, это его специализация после окончания учёбы у себя в США. Разумеется, наивным Овчинниковым-Субботиным всё представляется по-человечески просто.

Человечно и просто, как письма Ивана Сергеевича, которые она ждёт с таким нетерпением на фоне отмершего, похороненного в папке прошлого. Вот недавнее:

«Олюша, я сегодня ночью проснулся—и так хотел тебя!.. до слёз, так и уснул в слезах. Дай мне твою чудесную, милую головку, я положу её себе на грудь, я буду ласкать твои локончики, целовать лобик твой, бровки-ласточки, грудки твои нежные, голубка, душку твою… и всю, всю заласкал бы!—и ты отдала бы мне всю страсть свою и жизнь дала бы… нашему ребёночку—о, как я верю!..»

О. А. надо поскорее освободиться от прошлого. Она продолжает свою «Повесть жизни», для краткости «нумеруя» свои истории. Роковая—последняя. Раны прежние давным-давно залечены, надо только уложить это в слова. И только Жорж по-прежнему жив в ней.

«…Он говорил, что полюбил, как только я вошла тогда впервые, в зелёной шубке с лисой и на воротнике, и на рукавах, и на подоле. Как потом тихонько шила что-то. Он сказал себе: «Вот она, которую я искал всюду». Что девушки его страны чужды ему, крикливы, шумны, модны, пусты—куклы. Что русский язык—его души язык, что он на нём только молиться может, на нём он не лукавит, «не пачкает его буднем», так и сказал. Просил меня сберечь язык и не потерять ни чёрточки на западноевропейском базаре… Дивной сказкой развёртывался чудесный роман моей юности. Волшебный, как сказка, короткий, как сказка. Над нами стояла в небе звезда, то плакала, то смеялась.

Он себя винил потом, что «дал себе волю», что «не скрыл, не ушёл раньше, не открывшись».

Они ещё встречались—в концертах, кино, театрах, но уже знали о невозможности их брака и неизбежности конца:

«Мы мчались по берлинской автостраде. «Останови, я хочу выйти, остаться одна… Жорж, я выскочу, я не могу, я с ума схожу, к чему жить?!»—«Ни к чему, Оля, но всё же останься». И он, держа меня правой рукой до боли, левой правил. Ужас…»

Дальше—коротко о причине невозможности их любви. Об этом знала от Георгия мама. Отношения его сородичей с бабушкиным домом, её управляющим и т. п. были таковы, что Ольга Субботина… отпадала. Любовь Георгия к ней не нравилась его

родным. Они постановили на «семейном совете» женить Г. на девушке из совсем другой семьи. Но даже уход из-под опеки своего дома не решал вопроса: «Я не хотела такой жертвы».

Они прощались в комнате, где не раз читали вместе Чехова. «Я уезжала в отпуск. На прощанье, целуя мне руки, он сказал: «Оля, ты должна запомнить: что бы ты ни узнала обо мне, верь, что только ты — прекрасна! Я только тебя любил и буду любить».

Всё, что дальше, — боль и нелепость. После этой нелепой женитьбы какие-то странные официальные встречи, сообщения знакомых, почему-то считающих своим долгом рассказать, как он, Георгий-Джордж, несчастлив в браке. Параллельное, будто они не знают друг друга, пребывание в гостях у общих знакомых, на каком-то дипломатическом балу. Ах, эти музыкальные шлягеры, разрывающие душу даже теперь, когда прошло столько лет. И боль, боль…

Роман в жизни и его художественная обработка — здесь воображение и реальность перемешаны. Где тут жизнь, где литературный штамп? Вспомним, это первые литературные опыты. И. С. Шмелёв тоже старается помнить об этом, не раз оговаривает личный писательский принцип не писать о себе. Но то запрет для себя: ни слова о себе и близких в своей прозе. Что касается О. А.:

«Олёчек, ты вышла с честью из трудностей сжатой картины жизни, но местами дала прямо отлично, мастерски. Стараешься избегать избитых выражений… Г. у тебя вышел совсем бледно: ни вида, ни характера, никакой. Лучше — сцена дипломатов, сцена за стеклянной дверью… автомобиль у них занял место свахи…» Как и следовало ожидать, прежде всего И. С. был оскорблён за судьбу русской девушки за границей.

Забегая вперёд: судьбе будет угодно после окончания войны вернуть наших героев к короткому эпистолярному общению с Дж. Кеннаном, одним из самых убеждённых русофобов-антисоветчиков. То будет время более жёстких оценок О. А. и всё-таки не умершего до конца чувства. И откровенной дипломатически-вежливой отстранённости с его стороны.

Ольге Александровне — истинно женщине своего времени, не лишённого искренности простоты! — не кажется сентиментальным закончить письмо Ивану Сергеевичу об этом горестном отрезке своей жизни вот каким образом:

«Посылаю кусочек платья, в котором «прощалась» с Ж. — оно всё в воланчиках, длинное и широкое. Под «Татьяну». Целую. Оля».

Так её мама Александра Александровна Субботина-Овчинникова хранила свои подвенечные белые лайковые перчатки, но ведь — подвенечные!..

После войны О. А. много раз посмотрит модную фильму «Мост Ватерлоо» — его безупречно причёсанный герой так напоминал Джорджа-Георгия!..

Ах, как далеко увели её цветы. Она остановилась на том, что закажет в Утрехте в цветочном магазине махровую бегонию, чтобы послать её в Париж родному человеку и большому писателю.

А письма продолжали своё круженье. Неправда, что мы любим один раз и навсегда. О. А. безотчётно сожалела, что так быстро вошла в сердце Ивана Сергеевича и так стремительно стала в нём полновластной хозяйкой. Она сердилась, если долго не было писем от него, но тогда он становился ей особенно дорог. Вот как сейчас. Одно грустно: его заблуждение относительно «бабушки», у которой опасная болезнь, и неизвестно, починят ли крышу её дома. Он предупреждён ею, он давно догадался, о какой бабушке и каких родственниках она пишет: в каждом конверте — о ней, России, захваченной жестоким «хирургом» Гитлером. О «хозяине» Европы постоянно напоминает военная цензура хозяина — штамп со свастикой.

Иван обещал ей приложить все силы, чтобы получить визу в Нидерланды. О, только бы его пустили. Арнхем — дивный, сказочный городок, в котором работает брат Сергей. Будут вполне естественны её частые отлучки к брату. Естественны и хлопоты о визе известного русского писателя в страну, в которой у него, возможно, есть литературные интересы.

Как же хочется счастья, а его ни у кого нет. Вот и Фася несчастна, жена высокомерного холодного чиновника особых поручений, часто ездящего в Париж. Именно с господином Толеном она послала г-ну Шмелёву свой автопортрет и письмо, когда немцы целый год не разрешали почтовую связь.

Фася такая красивая и такая несчастная, у них тоже нет детей, она взяла на воспитание девочку. Фася в восторге от «Богомолья». Когда Ольга, бывая в Утрехте, заходит к ней, им так хорошо, так славно говорить друг другу обо всём далёком русском.

— Ты веришь, что мы когда-нибудь вернёмся на родину?

— Ходят слухи, Вертинский хочет хлопотать перед самим Сталиным, просить разрешения вернуться. А муж говорит, его там сошлют на Колыму. И всех наших безумных, что в Париже откликнулись на приглашение идти добровольцами в формирующийся русский полк. Их ждёт та же участь.

Они слушали пластинки Вертинского, всё ту же щемящую любовь-тоску о России — это разрывало сердце, дополняя иными, тоже русскими, картины прошлого, изображённые Шмелёвым в «Богомолье» и «Лете Господнем» — так верно, так понятно, близко. Одно странно — эти картины вызывали разную боль. Слово Ивана исцеляло, а романсы Ю. Морфесси и А. Вертинского ранили сердце, подтверждали невозвратность времени чистой любви их матерей: «Я очень спокоен, но только не надо со мной о любви говорить…»

Наедине Ольга и Фася не боялись поверить друг другу свои тайны, ещё крепче привязываясь друг к другу. Они расставались, благодарные судьбе, что могут иногда поплакать и не скрывать слёз, как при чужих.

Чего нельзя было делать, например, в обществе младшего зятя.

Как-то Кес пригласил её покататься на велосипедах. Раз поехали покатались, другой. «Красивая,

ухоженная страна трудолюбивых людей»,—искренно восхищалась Ольга, Потом он слишком часто стал нечаянно наезжать, плотно прикасаясь к ней. По тому, как он ухмыльнулся, когда она потребовала немедленно вернуться домой, стало понятно, что она не ошиблась: он позволил себе заигрывать с ней, женой старшего брата!

Но ещё страннее была реакция Арнольда:

— Когда видишь красивую лошадь, разве не хочешь на ней прокатиться?

Вот уж действительно…

Вся надежда на Ивана. Он должен приехать, он должен найти выход. Ну, не сразу, но надо же встретиться, надо же всё обсудить.

Ну невозможно годами жить ожиданием жизни.

Так уже было однажды: среди всей пошлости и прозы жизни явился Джордж (ах, опять вспоминается он!). Преданный своему делу, своей стране. А она предана России, она не может жить без надежды когда-нибудь вернуться в родной Рыбинск!.. Да если б она тогда только захотела!

Но она—хочет. Не повторить ошибку. Иван—вот её судьба. Вот сейчас она напишет, что не хочет больше жить иллюзиями. Хочет—жить. Вот только что отправила письмо родному своему Ванечке и снова разговаривает с ним:

«Недавно была в Гааге в храме Святой Магдалины, у отца Дионисия. Подала записочки. Одну—«За здравие рабов Божиих Иоанна и Ольги», а вторую—«За упокой душ убиенного воина Сергия и Ольги». А отец Дионисий, знаешь, он бывший офицер Белой армии. Мы как-то не сразу сошлись, но в последнее время поняли друг друга.

И ещё расскажу тебе об одном удивительном совпадении: когда в нетерпении резко вскрывала конверт твоего письма, первой выпала карточка Серёженьки. Я вскрикнула от изумления, не сочти за святотатство, Ваня, Серёженька так похож на того человека, ну, я писала тебе о том, он войдёт в «Повесть моей жизни». И мама согласилась, только поправила меня: «Это он похож на Серёженьку». А я думаю, они потомки одних предков. Только Серёженька—святой. Герой. Шотландский рыцарь. Шмелёв-Охтерлони с твоей душой и с обликом матери.

О, мой единственный. Целую тебя нежно-нежно. Оля».

Опять Жорж-Георгий! Это замечание о том, что какой-то американец похож на сына, было отмечено, но не возмутило, не поколебало уверенности простодушного Ивана Сергеевича: ну, похож и похож, у Олюшки большое воображение. Ведь они предназначены быть вместе! Как в юности, невозможно испачкать подозрением «светлую дружку», до самого конца единственную.

…Вот только опять Ивану Сергеевичу привиделся какой-то странный сон. Снилась весенняя земля—распаханная, ожидающая человека, который бросит в неё семя. Странно было только, что земля была не ровная-бескрайняя, а вырытый ров—и с двух сторон поднимались высокие гряды, вынутые изо рва. Как же бросать сюда семя? Надо бы сначала разровнять развороченную землю, но мешают какие-то наваленные друг на друга остатки неизвестно зачем оказавшейся здесь кирпичной клади, неподъёмные глыбы, их за здорово живёшь не расколешь.

И где-то здесь должна быть его Оля, он чувствует. И что за манеру взяла куда-то, не сказавшись, мотать. Отчего она не идёт на его зов, будто её кто-то не пускает, что за фокусы?!

Земля пышет от щедрого солнца, готовящего её к принятию семени, от земли поднимается лёгкий пар; потрогать бы землю, сжать в горсти, как это делали мужики в Ключевой перед севом в его давней повести «Росстани».

В нетерпении и досаде Иван Сергеевич проснулся, и сразу ему стало ещё тяжелее: вчера он получил от Олюшеньки то, что она включила в свою повесть. О её «претендентах». У них были условные, чтобы не путать и покороче обозначить, номера: №№ 1, 2, 3, 4. Если б он не знал её прежних опытов, которые так пленили его, ну хоть вой, вопи во всё горло—никто не услышит!..

Особенно хорош её чудесный рассказ «Мой первый пост», он одобрил его искренно и предложил писать ещё. Но кто же мог подумать, что она сочтёт нужным писать о прохвостах, мерзавцах, которые пытались испортить его Олель, его весеннюю песенку? Ну да, мужчинам всё хочется знать о любимой, но он не знал, что будет так больно.

Он был отравлен. Он метался по квартире, не находя себе места. Какие муки испытывал в нём его чувственный, голодный, столько лет загоняемый в глубокую нору и вот вырвавшийся на волю зверь греха! Он хорошо был ему знаком когда-то; хорошо, что его Оля никогда ни о чём не знала—даже если чувствовала, знать не хотела… Но теперь—теперь…

Вот когда он понял свою ошибку—согласиться открыть друг другу давние увлечения. Ну и что такое его Даша, деревенская девчушка, няня Серёжечки, ангел, почитавший ангелами их с Олей, рядом с этими хлюстами?

Разве он искал уединения с ней? Он охотился на ястребов, об этом у него есть рассказ, когда услышал голосок сына: Серёжа собирал малину на опушке, а Даша, раскинув руки и ноги, лежала в траве и глядела в небо. Он увидел её плотно обтянутые чулками ноги целиком, не скрываемые вздёрнувшейся юбкой, до самых резиночек и штанишек с оборочками. Домашнего шитья Дашиного. Её юбочка задралась непроизвольно, они оба с Серёженькой были дети. Она даже не в первый миг осознала, как выглядит со стороны, когда он, неподготовленный к такой картине, не успевший отвести взгляда, застыл на мгновение, и в следующее мгновение они встретились глазами и оба застыдились, да, застыдились, и она мгновенно вскочила, оправила юбку, и все трое они были теперь ангелами, потому что не было никакой чувственности во всём этом, хотя и стало взрослым чего-то стыдно.

Но не забылось. Чувственность, а вернее, страсть с её стороны, а ещё вернее, её любовь к нему, молодому, доброму, и его симпатия к ней—придут позже, когда Серёженька с Олей болели у тёщи,

а И. С. вызвали во Владимир в Счётную палату, где он тогда служил, и они с Дашей оказались одни в доме. Когда она просто чудеса какие-то вытворяла из приготовления пищи, зная давно его вкусы, и пока она гремела посудой в кухне и металась между кухней и столовой, где он в кресле пытался читать газету, овевая его своим духом, только дуновением, но и этого было довольно, чтобы он, не огрубевший от встреч с безнравственностью других,—о, сколько приходилось выслушивать сальностей и историй в мужском обществе, где нужно было делать вид, что его это не шокирует,—так обострённо, так… первородно веяло на него плотью этой девушки, так он слышал каждую её клеточку трепетавшую. Как нестерпимо хотелось протянуть руку, дотронуться до её волос, от которых, он слышал, исходил запах воды; да, только провести пальцем по её губкам, поцеловать её руки.

Ничего, ничего он не сделал, не встал, не привлёк к себе.

О, у него при всём его окаянстве—так ему казалось, кто без греха!—была многолетняя суровая школа самовоздержания, самообуздания. Вот и теперь, когда уже пять лет как без «Оли своей», он и в мыслях не держал ничьей близости. Та дама, что везла его на своём авто после выступления в Риге, она не предлагала—она умоляла поехать к ней. Иногда являлись, звонили в дверь читательницы, приходилось принять, выслушать. Задача была только в том, чтобы помягче выпроводить, не озлобить отказом—женщины редко умеют держать удар, а их хитрости, как и «месть»,—их же видно невооружённым взглядом. Не такова Ольгуночка, она исключение из правила.

Были ли у него когда-нибудь другие женщины? Да, были, но кто поверит—совсем недолго, в те далёкие времена, когда он вдруг оказался знаменитым автором «Человека из ресторана»,—короткая томительная история. Женщины летят на знаменитость, как пчела на цветок. Ему казалось сначала, что он—не хотел обидеть… Запомнилась та, перед его отъездом в Крым,—та женщина так прекрасно пела—но всё-таки расстались. Кажется, её убили красные за связь с белогвардейским офицером, какой-то заговор. У страха глаза велики, то есть у большевиков, за свой переворот.

И что же теперь, когда он полюбил до самой гробовой доски и даже за пределами земного, где ему и Олюше предстоит встреча с женой? Когда любимая зовёт его в Арнхем, чтобы встретиться, пусть втайне от «больного»? Но для того лишь, чтобы «глаза в глаза» всё обсудить, наметить, что делать дальше, а не разбежаться по прежним стойлам до другого подходящего случая.

Никакой он ей не муж, этот травмированный в детстве развратным протестантским священником, любителем мальчишечьих задов, этот больной человек!

Ну да, для посторонних у них нормальный брак, и никто не смеет перемывать Бредиусам косточки. И всё это жертвенно несёт на себе Оленька! Ну хорошо, как-то сладились, приспособились жить рядом, не тревожа друг друга. Судя по всему, этот Ар по-своему добр и благороден—во всяком случае, оценил Ольгино благородство.

Пусть только кончится война, они обязательно будут вместе.

Странная вещь—несовпадения. Тогда в Берлине, его глаза ослепли от слёз, он же готовился умереть. Зачем, зачем не подошла к нему, зачем тогда же не обещала спасти его от одиночества?! Слава Богу, она всё-таки вернула своего Ваню из небытия, из глубокого чёрного рва безнадёжности—как же она страдает! Как же неровна, нерадостна, неуютна её душенька.

И что же—Арнхем и встречи тайком исправят положение вещей? Он, конечно, хочет этой встречи и этой связи, пусть только удастся выхлопотать разрешение на въезд в Нидерланды беспричальному бродяге с «нансеновским паспортом». Кто осудит рвущегося к любимой, к жене? да, к жене, он писал ей, и не раз уже, что желает всё сделать официально и навсегда.

Сколько же ему обливаться ледяной водой? Он и об этом написал ей, Олюшеньке, он так привык с 22-х лет, после женитьбы—ничего не скрывать от жены.

Да, конечно, Арнхем—это испытание их любви.

Тайный голос говорит ему, что может случиться всё что угодно: Ольга может разлюбить его (шутка ли—30 лет разницы?)—и тогда окажется, что они «разменяли свой золотой на ржавые железки». Большое чувство иссякнет, уйдёт в песок и тину жалких, уворованных встреч? Воришки—какие они будут жалкие!

Самое страшное—это если они с Ольгушонком смирятся с жизнью в разлуке. То, что принято называть французским любовным треугольником и называть любовью—грех, а грех не может быть любовью. Это, как сказал русский классик устами дворянина Нехлюдова, «всё так, всегда так», но это грязь, её не должно быть между ними. Войны не вечны. Олюша переедет от больного, по сути, человека к нему в Париж.

Тяжкие думы отогнали предутренний сон о чёрном рве вместо подготовленной к севу пашни. Иван Сергеевич заставил себя вылезти из-под одеяла. Хозяин дома не отключил только электроплитки—не околели бы без горячего. За отопление надо было платить по более высокому тарифу, а хозяин экономил и ссылался на какие-то ремонты, обещал скоро всё наладить.

Сначала согрелся чаем с молоком и двумя тощими галетами. Зато язва не донимает. Последнее время его «пушкинская няня» Анна Васильевна, она когда-то служила у генерала Слащова, почти не готовила—не из чего. Ей нездоровилось, приходила редко, в основном немного прибраться.

Когда брился, смывая с лезвия тёплую воду, опять вспомнил об этих проклятых поклонниках под номерами, и снова раздражение мешалось с жалостью.

Горячка, лупоглазка, огонь загорится, запылает—не погасишь, себя сжигает и его не щадит. Только и написал одно словечко: «Твой—пока—Иван».

И для чего написал-то—чтоб опровергла, что верит в него, что он—«её». Господи, что было! А он

ведь только ревность свою успокоить хотел — вот что было. А надо, оказывается, бессчётно твердить: «Твой навеки». Вот что с ней сделали эти негодяи: не верит, что её полюбил человек, а не подонок.

Когда же он вылечит её от ревности? Трудно с ней. Но, может быть, любят именно тех, с которыми трудно.

За письменным столом он в несчитанный раз рассматривал её фотографии. Вот давняя, 29-го года, времён Джорджа. Дивно хороша, хотя тут не очень похожа на его Олю. Фотограф ли выбрал этот полуповорот к плечу немного склонённой головы: что там, в этом чудно слепленном лобике? А «Девушку с ромашками» прошедшего лета нельзя рассматривать без слёз восторга и страха — какая худышка его Олеля. Её бы к нему, в тишину, покой, А там она — как на юру. В русской катастрофе полегли предназначавшиеся юным девушкам герои, разбросала уцелевших судьбина по чужбине. Вот и пошли русские красавицы к чужому… «Девушка с ромашками» на фоне прекрасной лужайки — как здесь много рассказано ему без слов! Вот только невозможно рассмотреть глаза, прикрытые рукой от солнца: не плачет ли? Его рука сама привычно нашарила ручку — надо успокоить Ольгу, отогреть любовью.

«Божество моё, детка моя, счастье моё. Сам не знаю, как я мог упрекать тебя — эти №№ ничего не значат, их пошлость, их гадкие приёмы развращения не для таких, как ты. До меня наконец дошло, что они только материал для воспроизведения картины жизни. Ты писатель, но сама этого не знаешь пока. Не дословно, но ты запомнишь, как это делается».

То есть рассказать здесь ничего невозможно. И всё-таки. Писатель никогда не пишет о себе, он не стал бы писателем, если бы писал только о себе. «Человек из ресторана» или «Солнце мёртвых» — здесь нет ни слова о Серёженьке, и нигде никогда в художественных произведениях и даже в статьях — ни слова о непрекращающейся боли о сыне.

А ведь жена, О. А., поседела на другой день после гибели сына, у неё выпали зубы. Она никогда уже не смеялась, разве что с маленьким Ивиком. Догадываются ли читатели о пребывании писателя за чертой рассудка и времени, хотя он одновременно знает об этом тогда же, продолжая жить и реальностью, и помрачённостью. Только помрачённость записывается в повесть «Это было», не переиздававшуюся с 20-х годов. Она особенно понравилась Редьярду Киплингу, он прислал Ивану Шмелёву письмо.

Даже «История любовная» навеяна известной повестью Тургенева, где, ясное дело, французский треугольник: отец — женщина — сын.

«Я никогда бы не позволил себе писать такое о своём отце. Хотя я знал его «историю»; наша матушка, царствие ей небесное, была суровая женщина, отец — весь из света и тепла». Но нет, он никогда, никогда не занимался описанием себя и своих близких.

Итак, вот первая заповедь И. С. Шмелёва: писатель пишет не о себе.

Писателю, во-вторых, нужен глаз, который неустанно видит всё помимо и даже вне его естественной жизни. В нём живут многие картины, и многие из них ещё не использованы, они как наброски в запаснике у художника: понадобятся — достанет. Вот они с женой в Ландах, 20-е годы, крутится пластинка патефона. Вальс «Берёзка». Костя Бальмонт подхватил Ксению Деникину, уверен в своей неотразимости. Оля танцевать не хочет, зато рвётся Мари-Марго Серова, И. С. приглашает её — о, это не женщина, это огнедышащий кратер. Оживает картина из «запасника»: вспоминается Севастополь и танцующие — они с Олей, тогда молодые, такие счастливые, и духовой оркестр из моряков в «раковине», исполняющий «Берёзку». «Если я и напишу когда-нибудь, то о капельмейстере-боцмане, а ведь он был мною едва увиден со спины, и всё же давно «написан» в голове».

Он до сих пор помнит шорох мокрого гравия (потому что у сухого гравия другой звук), шипящий звон пузырьков разливаемого в бокалы Абрау-шампанского и этого капельмейстера-боцмана, лихо перескакивающего, чтобы подыграть на валторне; помнит острый горьковатый дух рябчиков, которым несёт от ресторанчика.

И во всём этом присутствует горячая, как расплавленное солнце, Марго, жена добрейшего доктора Серова, — в 40 лет такая хрупкость, такое «горенье»-самосожженье. Не дай Господь, какие это вывихи и изломы Достоевского, не приведи Бог полюбить такую женщину — хоть десять лет мучайся, всё равно разрыв неизбежен.

Вывихи, изломы — он ещё вспомнит о них, но не скоро и при других обстоятельствах.

О писательстве — это о ниве. Многие ли знают, приходилось ли оказаться в поле, когда цветёт рожь — и внезапно в полной тишине лопаются семенники? Этот святой звук знают мужики, он им кажется нормальным — «я, грешный, вставал, услышав, на колени».

«Ольга, ты пишешь, «как бы я творить хотела и всю любовь свою туда отдать…». Так твори же! Писательству никто не учит, но если вдумчиво читать великих, тогда они *учат*».

Дальше о том, о чём всегда: что не может без неё, хотя терпелив и сговорчив, когда просит она. Не годы — дни, как годы, без неё. Если б мог без неё, разве стал бы обивать пороги насчёт визы? Обещают. А дни длиннее вечности.

«Целую, целую. Бессчётно. И крещу тебя. Твой навсегда Ваня».

Он отложил перо — осталось немного времени до закрытия почты.

Нет, он не преувеличивает. Она действительно талантлива. Она пишет: «Звёзды глубоко тонут и в прудочке». Понимает ли сама, как это объёмно? Они будут расти вместе. Его Дари — это Ольга. Что есть любовь, они поймут по мере страдания. Тогда самообман с Арнольдом и её «жертвенность» раскроются перед ней. Его Оля продолжает молиться и *там*, чтобы он закончил «Пути небесные». Вот пожелание «отошедшей», это её завещание. Она обеспокоена, что за эти годы он создал только одно законченное произведение — «Куликово поле»,

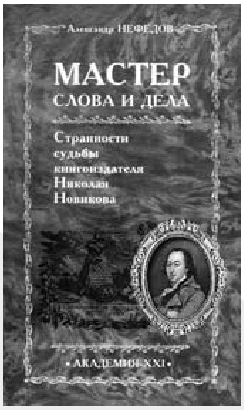
подсказанное ему возле её могилки, тоже с её участием.

И кто знает, может быть, его Оля вымолит не только «Куликово поле» и «Пути». Ведь Ольгуна ещё очень молода. Ведь он — нет, они оба так сильно хотят маленького, Серёжечку! Ни одного прямого слова вслух не произнесено — страшно.

Бедная Оля после несчастных родов и смерти девочки перестала поднимать голову, ей казалось, она в чём-то виновата. В чём, всемилостивый Господь?! Но, значит, *дано* так. «Через муку и скорбь», говорит его герой, «человек из ресторана жизни».

И только зажатый в груди крик:

«Серёженьку, Оля, Серёженьку мне, у-мо-ляю!..»



Антон Толубеев

Сохраняя память

Что может заставить нашего современника взяться за жизнеописание своего соотечественника, жившего и творившего в XVIII столетии? Только искреннее восхищение его жизненным подвигом, подвижническими делами, прогрессивными идеями, выразившимися в беззаветном служении своему Отечеству и высоким идеалам своего времени.

Вот и известный московский журналист, автор ряда книг и многочисленных статей о прошлом и настоящем Московии Александр Нефёдов обратил свой взор исследователя к «странностям судьбы книгоиздателя Николая Новикова»[1], желая напомнить своим современникам об этом уникальном человеке и его великом вкладе в отечественное просвещение. В предисловии к своей книге А. Нефёдов очень ёмко и выпукло нарисовал личность Н. И. Новикова и особенности его непростого и насыщенного многими делами и свершениями жизненного пути: «Судьба Николая Новикова, впрочем, как судьбы многих талантливых, неординарных личностей всех времён и народов, была действительно полна странностей. Он сумел при скудности средств затеять и успешно приумножить издательское дело и книготорговлю в России, объединить славных писателей, переводчиков, учёных своего времени. Он был баснословно богат, но умер в нищете. Будоражил умы современников, полемизировал с самодержицей российской Екатериной II, не сломленный духом, вынес заточение в сырых казематах, но провёл последние годы жизни в своём подмосковном селе, борясь с недугами, безденежьем, практически всеми забытый. Десятки историков и филологов, основываясь на изучении его наследия, защитили кандидатские и докторские диссертации, но никто так и не сумел достойно увековечить его имя в названиях столичных улиц или на мемориальных досках...»

А ведь этот видный просветитель и книгоиздатель, основоположник отечественной журналистики первым открыл для российских читателей волшебство трагедий Шекспира, прозы Сервантеса, Свифта, Дефо... Он издавал сатирические и научно-просветительские журналы, газету «Московские ведомости», составил и выпустил первый в нашей стране биографический справочник «Опыт исторического словаря о российских писателях». Всё, что делал для своей страны Николай Иванович Новиков, остаётся необычайно актуальным и для наших дней: забота о том, чтобы лучшие произведения современных писателей стали достоянием широких народных масс путём создания разветвлённой книготорговой сети, сотрудничество с общедоступными библиотеками, реальная, а не декларативная поддержка талантливых мастеров слова — желательно самим фактом публикации их произведений и издания книг с последующим распространением по читальным залам и библиотекам — это ли не главная задача любого издателя, в каком бы веке он ни трудился? Да и не только издателя, но и всякого состоятельного гражданина Отечества, предпринимателя, чиновника и руководителя государства. Потому что нет большей чести для человека, чем оставить свой след в культуре родной страны, и нет большего дела, чем поддержать родную культуру в её трудные годы. Пример Николая Ивановича Новикова говорит нам, что только так и должен жить всякий, кто любит своё Отечество и не на словах, а на деле служит ему своим умом, энергией и талантом...

Похоронен Н. И. Новиков в своей подмосковной усадьбе Авдотьино, на берегу реки Северки. «Ревнителем русского просвещения» назван он в проекте мемориальной доски, которую планируется укрепить на фасаде здания на улице Садовой-Спасской, дом 1, в Москве, где он жил и работал в 1785–1790 годах. И не просто жил и работал, а — во славу горячо любимой им Москвы и великой русской литературы. То есть — для нас с вами.

---

1. Нефёдов А. В. «Мастер слова и дела. Странности судьбы книгоиздателя Николая Новикова». — М.: Академия-XXI, 2010. — 240 с.: ил.

Маквала Гонашвили

Сияющее сердце

Перевод с грузинского языка Николая Переяслова

Исповедь

Меня—вы не узнали.
А, признаться,
мне показалось, я вам так нужна…
Но мало ли что может показаться,
когда душа мечтой ослеплена!
Я с дневниками чувствами делилась,
им поверяя боль своей души.
И, сотворяя мне Господню милость,
они в тиши шептали мне: пиши…
Но сколько ж быть мне стойкой, как деревья,
что ветер гнёт над бурною рекой?
Но сколько ж мне ломать стальные перья,
сражаясь молча с дерзкою строкой?
Нам только раз даровано от Бога
явиться в мир, неся тоску в крови,
чтоб отыскать кратчайшую дорогу
до ждущей нас испуганной любви.
На это нам отведено—мгновенье!
А вот на злость и ненависть—года.
Нас жизнь несёт, словно реки теченье,
не говоря нам—для чего, куда…
Не узнают нас матери порою—
так мы стареем прямо на глазах.
Вчера мечты нас окружали роем—
и вот уже, как в зимний день в лесах,
лишь страх витает в птичьих голосах,
как хрип в часах с кукушкою и с боем…
Душа ослепла, стало сердце глухо.
И, всё вокруг считая за пустяк,
друг друга мы, словно серьгу из уха,
теряем где-то, не заметив как.
Погас в груди живой огонь сердечный.
Как в этой мгле свою любовь найти?..

Ах, вы смеётесь? Вам смешно, конечно…
Ну, так ступайте… Нам—не по пути.

Сияющее сердце

Посвящается Джансуг Чарквиани

Нет никого, кто сравнится с тобой,
ты—настоящий мужчина и воин.
Словом зовёшь ты на пир нас и в бой.
Ты—больше всех быть героем достоин!

Злобно завистники лают вослед
и ядовито шипят, будто змеи.
Но—и с ногами встав на табурет,
все они рядом с тобою—пигмеи!

Ты отдавал им последний кусок,
а получал лишь плевки и побои.
Каждый старался ударить—в висок,
чтоб в одночасье покончить с тобою.

Бог наши души, как дно под водой,
видит и все наши чаянья слышит.
Это не мы—это Он тамадой
дал поручение быть тебе свыше.

Стали безвкусны вино и еда
в час, когда край наш раздором терзаем.
Кто для поэзии всей тамада?
Ты, генацвале, мы все это знаем.

Если грустишь ты—то всех твоя грусть
мучит сильнее, чем злая простуда.
Кто тебе зла пожелает, тот пусть—
лучше удавится, точно Иуда!

Пусть твои дети, как песен слова,
в мир этот входят легко и крылато.
Бьётся в груди у тебя сердце льва,
и твои песни сильны, точно львята.

Чем бы судьба ни грозила из туч—
ей не согнуть твою спину трудами.
Ты, как гора, величав и могуч—
и не стареешь душою с годами.

Сердце повесь своё с солнышком в ряд—
пусть его свет разгоняет кручину.
Ты всей планете отдать себя рад.
В этом и есть назначенье мужчины.

Гадание

Наливала мне бабушка кофе, просила: «Выпей,
а потом на тарелочку гущу из чашки выбей…»
Ну а после—на чёрную массу она глядела,
головою качая, ворчала: «Лихое дело!
Ты уже носишь тайну в душе? Ты уже—влюбилась?
И когда ты успела, дитя, расскажи на милость?
Ну-ка, глянем скорей на то, кто там твой избранник…
Он же—мальчик ещё, что любовью смертельно ранен!
Оттолкнёшь—и погибнет он, захлебнувшись местью.
А навстречу шагнёшь—сама распростишься с честью.
Знаю, радостно жить с душой, первый раз влюблённой.
Мир вокруг весь такой большой—золотой, зелёный!
Только знай, что живёт в нём зло—словно зверь обозлённый,
чтобы счастья испортить вкус нам слезой солёной…
Будет жизнь твоя до конца—вся за правду битва.
Будет трогать людские сердца твоя песнь-молитва.
Над тобой вижу светлый луч. Быть тебе—невестой!
Вижу рядом прозрачный ключ—значит, будешь честной.

(Жаль, что станешь счастливой ты—позже, чем известной,
лишь взобравшись тропой судьбы по скале отвесной…)»

…И затмились её глаза вдруг слезой незваной,
и коснулись меня слова, как из мглы туманной:
«А умрёшь, когда песнь твоя—долетит до Бога.
В самый сладкий миг бытия… Вот—твоя дорога».

Поэтессе

Источило душу одиночество,
исхлестали сплетни, будто плети.
Омывают слёзы твоё творчество,
и судьба ревёт в ночи, как ветер.

Ну а ты капризничаешь снова
и всё хмуришь брови неуместно…
(О, кому ж судилось твоё слово
под луной раздеть, словно невесту?)

…Ты всё стелешь на кровать обновы,
но пустует в твоей спальне место…

Я постигла бед твоих причину:
ты—несчастна оттого, что в жизни
любишь стих свой больше, чем мужчину,
и чуть меньше, чем свою Отчизну.

Не согреть себя пустой постелью,
не ласкать красавцев сочинённых.
Лишь осталось—петь над колыбелью
для детей, тобою не рождённых…

Слезинка солнца

Посвящается Лали Тотадзе

Женщина — это уже сложившаяся поэма,
а ты — ещё только набросок стихотворения.
Ты даже не луч — ты ещё лишь слезинка солнца.
Ты выткала себе одеянье из грёз и мечтаний,
но, не дождавшись сна, вдруг оставила спальню
и убегаешь от жаждущего тебя мужчины,
не объяснив ни ему, ни даже себе причины…
Никто не познал ещё вкус твоего винограда,
ты августа ждёшь, дав лозе полноценно дозреть.
Но твой виноградарь устал с чудо-гроздьями рядом
все дни находиться — и к ним прикоснуться не сметь.
Смотри, как бы он не ушёл на другой виноградник,
оставив глаза твои без поцелуев своих…
Когда он забудет тебя, ты наполнишься злостью
и станешь лелеять гордыню, всем дерзко грубя.
И, слыша, как тёмным вином наливаются гроздья,
обрушишь проклятье на тех, кто жалеет тебя.
Ты срежешь блестящие косы с отливом печали,
решив, что умчавшийся ветер уже не поймать…
И в келью твою среди ночи войдёт твой мучитель —
и молча положит фиалок букет на кровать.

Похоже, я стала стареть. Чуть чего — и реву.
И дни пролетают как будто в два раза скорее.
У зеркала встану — а в нём моя мать наяву…
О Господи, это же я! Как я быстро старею.
Гляжу каждый день в календарь — и всё время грущу:
мне кажется, в нынешней жизни ускорилось что-то.
Наверно, старею. Иначе — зачем я ищу
для будущей книги своё институтское фото?
Старею, старею… Уже привыкаю к врачам.
Простила обиды врагам, себя мыслями грея
о том, что спокойно теперь можно спать по ночам,
ни их, ни судьбу не ругая… Конечно, старею.
И лишь иногда, когда в город ко мне погостить
приедет порой моя мама без предупрежденья —
за тысячей дел я теряю привычку грустить
и вновь превращаюсь в девчонку, себе в удивленье.
А мама целуется с внуками, пьёт сладкий чай.
Мы с ней говорим о знакомых, о счастье, о горе.
Но даже вполслова, но даже на миг, невзначай,
она не коснётся отца моего в разговоре.
Он умер давно. (Все мы канем однажды во мгле!)
Он был, как и все, не бессмертен. И жил очень мало…
Я раньше считала, что знаю всё-всё на земле.
Но жизнь пролетела — а что я в ней толком узнала?

Николай Алешков

Зачерпнув из реки небесной…

На Демидовой горе

С крутой горы на санках и на лыжах
не каждый был готов скатиться вниз.
— А на больших санях?—придумал Рыжий.
Мы поддержали Рыжего каприз.
— Внизу—обрыв!
— Метель сугробы лижет.
Удержимся за них, как за карниз…

Зимою сани лучше, чем телегу,
использовать мальчишкам для игры.
По льдистому укатанному снегу
на розвальнях с Демидовой горы
летели мы. И розвальни с разбегу
таранили оглоблями бугры…

Пусть мелюзга свои морозит сопли!
В сугроб влетаем с криками «Ура!»—
и нос разбит. Вкус крови слаще соли.
Визжат девчонки. Пляшет детвора…
Мы розвальни со сломанной оглоблей
оставили у конного двора,
где их и взяли. Кажется, вчера…

о. Владимиру Гофману

В крещенский день как никогда
благословенна вся вода,
текущая по рекам.
Благословен весь мир Творцом,
небесным праведным Отцом
и Сыном—Человеком.

Небесный свет струит добро.
Январский снег, как серебро,
на солнышке бликует.
Я окунаюсь в полынью,
чтоб душу грешную свою
очистить—пусть ликует.

И пусть в купели ледяной
благословляются со мной
жена, и сын, и внуки.
Увидим, коль душа чиста,—
с Животворящего Креста
Спаситель тянет руки.

И греет паству вновь и вновь
Его вселенская любовь.
Не поздно и не рано
Он небесами воскрешён…

Весь православный мир крещён
водою Иордана.

Стихи о Насте

1.

Вновь соловьи голосят над Россиею.
Дождик по яблоням белым прошёл.
Солнышко яркое. Настя красивая.
Бабушка добрая. Всё—хорошо…

2.

Кто сказал, что любовь в опале?
Кто сказал, что мы духом пали?

Мы очнёмся и горы сдвинем.
Мы глаза от земли поднимем.

Град небесный узреют очи.
Благодатны в России ночи.

Каркать вороны не посмеют.
Наши снохи рожать умеют.

Моя внучка—Анастасия.
С ней рифмуется вся Россия!

Дважды два

О свободе толкуют много.
О свободе мечтает всяк.
Отрекись от себя, от Бога,
и—свободен… Иначе—как?

Будь ума у тебя палата,
будь ты круглый совсем дурак…
Одиночество—это плата
за свободу. Иначе—как?

Был, как ветер, вчера свободен
путешественник и моряк.
Где он ныне? Вернулся вроде
к миру, к людям. Иначе—как?

В одиночку тебе и вьюга
в снежном поле—смертельный враг.
Несвободны мы друг от друга
и от Бога. Иначе—как?

По морозцу, хрустя снежком,
через лес прохожу пешком.
Иней, как серебро седин,
с ёлок падает и осин.

Замечаю на склоне лет,
одолев не одну версту:
седина переходит в свет—
в абсолютную чистоту.

Привет, Москва!

Москва! Как много в этом звуке…
Александр Пушкин

Толпа. И сплошь чужие лица.
Бреду с поникшей головой.
Привет, нерусская столица,
когда-то бывшая Москвой!
Не узнаю тебя. Давно ли
всё так знакомо было тут?
Родными виделись до боли
Тверской бульвар, Литинститут.
Но труд поэта обесценен.
К кому взывать? Болеть о ком?
Застыли Пушкин и Есенин,
как чужестранцы, на Тверском.
Звонарь лихой, со смутным сердцем
пером ударивший в набат,
из-за ограды смотрит Герцен,
как будто в чём-то виноват…
Сверкает мраморная глыба,
сусальным золотом маня.
За храм Христа Москве спасибо,
но он помпезен для меня.
И я не буду здесь молиться —
душе в провинции светлей.
Ведь чем богаче ты, столица,
тем равнодушней и подлей
ко всей России, что веками,
страдая, мучаясь, любя,
несла за пазухой не камень —
последний грошик для тебя.
Нет и теперь душевной муки
за мать-Россию у Москвы…
Москва! Как мало в этом звуке
осталось русского. Увы…

Высокий порог

Памяти Юрия Кузнецова

Ему, как попутчику, Слово вручил
идущий путём Христа —
душа воссияла в кромешной ночи,
поскольку была чиста.

Не хуже, не лучше — такой, какой есть, —
по древней родной земле
от предков потомкам небесную весть
понёс он, как луч во мгле.

О том, что посеешь, то и пожнёшь,
сказал непростую быль.
О нашей Отчизне подмётную ложь
развеял в веках, как пыль.

Сияющим Словом умел побеждать.
К победе его вело
небесное знамя твоё, благодать,
безродным врагам назло.

Не стало поэта. Высокий порог
пустует — поди, спроси…
И нету того, кто подняться бы смог
к порогу, на всей Руси.

Здесь

Правый берег, поросший лесом,
левый берег — цветущий луг.
Здесь крестьянским ржаным замесом
был я втянут в житейский круг.

От истока реки до устья
рыба плещется под волной.
Если вдуматься, каждый кустик
мне с рождения здесь родной.

Здесь отец мой всю жизнь трудился.
Здесь мой дом и моя родня.
«Где родился, там пригодился» —
эта присказка про меня…

Долго смерти ждать иль недолго —
здесь меня похоронят пусть!
Я по Каме впадаю в Волгу
и взлетаю на Млечный Путь.

Зачерпнув из реки небесной
благодати, увижу вдруг
правый берег, поросший лесом,
левый берег — цветущий луг.

Наверно, я впадаю в детство…
Хоть память рвётся, словно нить,
но как же хочется вглядеться
во всё, чего не возвратить!

В двенадцать лет я был подпасок.
Кнут бригадир доверил мне,
чтоб я учился без подсказок
держать порядок в табуне.

Вот по лугам вечерним кони
бредут чуть слышно. И верхом,
небрежно повод сжав в ладони,
я восседаю на Лихом.

Пуглив и дик ещё трёхлеток
каурой масти, и горяч.
Вспорхнёт пичуга между веток,
и он сорвётся с места вскачь.

И в этой скачке рвётся воздух,
и по дороге вдоль реки
летим — с полуторкой колхозной
во весь опор вперегонки…

Озёра плавятся в закате.
И запах трав, и вкус ухи!
Растут из этой благодати
мои негромкие стихи.

И если пристальней вглядеться
в судьбу свою и в жизнь свою,
я б навсегда остался в детстве,
как ангел в сказочном раю.

Понадеюсь, как встарь,
на звезду, на судьбу и на Бога.

На звезду, на судьбу и на Бога
понадеюсь—авось пронесёт.
Вновь летит под колёса дорога—
только жаль, что ямщик не поёт.

Понадеюсь—звезда не погаснет,
раньше срока упавши в жнивьё.
Я не знаю романса прекрасней,
чем старинный романс про неё.

Понадеюсь—судьба не обманет,
по тропинке меня проведёт
сквозь глухую чащобу в тумане
мимо гиблых вонючих болот.

Бог поможет к родному порогу
возвратиться—дождитесь вестей!
Я опять отправляюсь в дорогу,
чтоб подумать о жизни своей.

Стихи, ей-богу, удаются
и душу радуют мою…

Стихи всё реже издаются,
стихи совсем не продаются,
«поэтам деньги не даются».
Как соловей—за «так» пою.

Да! Божий дар всего дороже,
и я внимать ему готов.
Лишь об одном молю: о Боже,
избавь поэта от долгов.

Вот прошло наше времечко летнее.
Подари мне свиданье последнее.

Больше я ничего не прошу.
Память, словно песок, ворошу.

И горюю (смешной человек):
неужели разлука навек?

И я нагуливал тоску
вдали от женщины любимой.
Тоску укладывал в строку,
тоска была неутолимой.

Прощайте, посох и сума.
Домой вернуться есть причина.
Я без жены схожу с ума
и как поэт, и как мужчина.

В мае, в зелени листвы,
возле общежития
соловей (слыхали вы?)
пел в пылу наития.
Не в лесу, а посреди
города огромного,
где вчера прошли дожди,
и гудка паромного
не слыхать ещё с реки,
и река—под радугой…
Коменданту вопреки
я стою и радуюсь,
что не зря среди ветвей
яростно, неистово
соловьиху соловей
два часа высвистывал.
Два часа свистел и я…
Только ближе к вечеру
вышла милая моя:
— Больше делать нечего?

Издалека хоть взглядом
откликнись на ветру!
Тебя не будет рядом—
и я умру.

Умру. И вновь воскресну,
когда издалека
твоя пробьётся песня
сквозь все века.

Нонна Алиева

Вкус ветра

Я знаю наперёд прологи и развязки
и кожей узнаю пути на эшафот.
Сорвите ж с глаз моих проклятую повязку —
я вижу сквозь неё:
мой
не пришёл
черёд.
Нам среди тысяч солнц одно дано судьбою.
И сердце не пьянят слепящие *не те*.
А если час пробьёт, то выбор лишь за мною,
и я сгорю лишь там,
в желанной
высоте.
А музыка звучит, пусть даже режут связки —
я буду взглядом петь, пока ещё дышу…
Я знаю наперёд прологи и развязки,
быть может, оттого…
что их
себе
пишу.

Я отдаю долги — подставьте шляпы:
всё как положено — как в час
перед концом.
Не надо каяться — ведь я не Римский папа,
а сантименты портят вам лицо.
Всю боль, всю жизнь до дна,
до самой капли,
чтобы уйти, как ветер,
налегке.
Я отдаю долги —
подставьте шляпы:
всем по одной
непóнятой
строке.

И вновь апрель, и мир дурманом дышит,
и сердце ритмы путает
в ночи.
Ты что-то говоришь,
меня не слыша.
И лишь Господь
всё слышит.
И молчит.

Какая сила разметала костры,
смешала имена?..
Твоя душа — на *дне* бокала,
а я не буду
пить
до *дна*.

Уйду…
чтобы не видеть, и не слышать,
и не знать
ничего.
Войду
в пустую комнату, где счастья нет —
лишь тень
от него.
Прости,
я не бывала в тех краях,
где все века —
мерзлота.
В горсти
одни лишь звёзды, и, наверное,
я просто
не та.
А дни
мои длиннее и длиннее,
всё короче —
года.
Одни
мы во Вселенной не останемся
с тобой
никогда.
Успеть
прожить все жизни не дано,
и, видно, нить
коротка.
А спеть —
я всё спою, не подвела б,
не оборвалась
строка.

За тыщи миль, за сто веков вперёд
я знаю неизбежность нашей Встречи.
И ни к чему запреты,
козни,
речи…
И даже смерть
здесь не идёт в расчёт.
Ведь там, за Гранью Граней,
в новой сути,
в ином обличье и в мирах иных,
нас всё равно,
как два комочка ртути,
Столкнёт. Притянет.
И соединит.

Я знаю цвет звука и вкус ветра,
запах Вечности и вес снов.
Но я ничего не пойму в этой жизни,
пока не увижу,
как ты улыбаешься,
когда встаёт
солнце.

Как хорошо не дни — шаги считать.
Ступить на край без дрожи и опаски.
Как хорошо над пропастью стоять
и пьяной быть
от близости развязки.
Что за спиной? Не помню. И к чему?
Не отступиться больше ни на йоту.
Вся жизнь была прелюдией к тому,
чтобы вдохнуть мгновение полёта.

Город спит, и луна однорогая —
как подвеска фольги на ветру…
Снова полночь, такая глубокая:
дай-то, Боже, мне выплыть к утру!

И позолота с дней уже сошла,
и меркнут незакатные светила…
Я позабыла всех, кого могла,
и отпустила всех, кого любила.

Задор остыл, дурман исчез,
и память никого не судит.
Венчал ли Бог? Смутил ли бес?
Шутили оба. Ну, и будет.

Даже если жизнью наказанье
на исходе — что же, не беда.
Ты — моё последнее желанье
перед восхожденьем
в *никуда.*

Родится Знанье из запретов
и выбора на развилках.
Не делайте ссылок на поэтов…
которых не было…
в ссылках.

Я дышу, и пока я жива,
прорастают из сердца слова.
Не кружи надо мной, воронье:
мы бессмертны,
всё прочее — вранье!

Репетиция

(к жизни)

Сто веков на исходе…
С масок сброшены лица.
Скажи,
ты и вправду уходишь —
иль это так…
репетиция?

Есть начало

Не зарекайся,
что, взяв билет,
ты будешь это лицезреть,
всё, до титров, в которых нет
имени режиссёра.
Этот бред по прозвищу
«жизнь» —
просто афера — брось,
завяжи,
покинь зал…
Тебя пугало
слово «финал».
Какой ты, к чёрту,
поэт,
когда не знаешь: конца нет —
Есть Начало!

Я больше глаз не отведу
от глаз твоих.
Я от себя в себя уйду,
но не от них.
Мне незабытые слова
принадлежат,
и в жизнь мою стучится тот
смущённый взгляд.
С годами горше и острей
всё та же грусть —
руки твоей, судьбы твоей
я не коснусь.

Смеялась, пела —
хватит —
ни к чему!
Сожгу — и ветер по свету развеет.
Мне затяни
молчаньем
крепче
шею,
чтобы не пела
больше
никому.

Всё скомкано — и это плата
за глупость сердца,
за обман ума.
Не торопи меня на плаху.
Помедлю…
и взойду
сама.

За то, что поздно появилась
и что не отняла,
прости. Я, кажется, любила
сильнее…
чем могла.

Дина Асикаева

На отдыхе с Моне

Зажигай фонари
За моею спиной,
Ухожу далеко—возвращаюсь домой!

Мне дорога легка
Ранним утром в восход,
Чуть развеется мгла—проводи до ворот.

Что беру я с собой—всё останется вам,
На ладонях пути выбираешь ты сам.

Никогда не грусти—за горами поля.
Упадёшь? Вновь иди,
Никого не моля.

Слёз не жди,
Если что-то в пути потерял.
Жди—осветят огни
Всё, что ты не узнал!

Время—миг (так мелькают вдали миражи).
Ветер стих—моих рук не держи, не держи.

По хрустальной росе
Ухожу поутру.
Не жалей ни о чём—я вовек не умру!

На отдыхе с Моне

Я смотрю на цветы—
И вижу… цветы,
Струи воздуха—в тонком воздухе.
Прошепчи мне, что ты—это ты
В уплывающей лодке на отдыхе.

Не рисуя портреты чужих,
В быстрой ритмике времени,
Разлюби-полюби меня вновь
Среди гаммы теней и цветов.

И, смотря на цветы,
Что ты видишь—цветы?
Струи воздуха—в воздухе?..
Расскажи мне, кто я, а кто ты
В приплывающей лодке… на отдыхе.

«Бубново-валетный» натюрморт

Лежат апельсины.
Павлины танцуют
в малине.
Красиво и дико.

Соловей в терновнике

Отчего не поёт соловей?—От потерь.
Оттого, что не молод теперь.
Оттого, что желтеет листва.
Оттого, что не вечна весна.

Он сидит за ветвями один,
И печалью, и страхом томим.
Пленом стал ему лиственный дом,
Что когда-то наполнил мелодией он.

И порхает он с ветки на ветку,
И не знает, куда себя деть.
Так оставил кровавую метку
Прошлой жизни таинственный след…

Отчего не поёт в тёрне мой соловей?—
Оттого, что темнеет вода.
Оттого, что сереет заря.
И крадётся, крадётся зима…

Живопись

Бродит ветер в саду,
Капли вновь стучат по стеклу:
пейзаж—монтаж.
Обнажённые руки и торс—
Из-под кисти выходит
натура.
Третий день принимаю микстуру.

Надоедливый персик и груши
Создают на столе
натюрморт,
говорят: «Высший сорт».

Леди-скука сжигает мне душу
и рисует гравюру—
зануда!

Не спасает микстура.
Даль уныла и хмура.
Чуть живая натура
Соблазняет мне руки.

Сонно, ленно… скользки
По телу движенья.

Я—скульптура!

Иван Волосюк

Продолженье земли

Мы через лес пошли. Не жалко мне
Листвы, разбуженной шагами,
Но ветер в нас бросает палками
И словно гонится за нами.

И вся пронизана грибницами
Благоухающая почва.
Я ждал свободы: станем птицами
Не мы, так дети наши—точно.

За пять минут я понял многое:
Мне край чужой—как лес густой.
Всё дышит смутною тревогою,
И ветер гонится за мной.

Здесь боль и смерть моя смолистая,
И продолжение пути.
Мне не укрыться, мне не выстоять
И не осмелиться идти.

И столько птиц канатоходцами
Смотрели с высоты, когда
Лилась, спасённая колодцами,
Во фляги выживших вода.

И были все тогда уверены,
Что, как бы ни были сильны,
Вы отдадите нам со временем
Пространство, взятое взаймы.

Торопиться опасно,
Тонок лёд к середине весны.
Птица кажется красной.
Или только лишь крылья красны?

Птица кажется синей,
Я за нею иду и молчу,
Если справлюсь с гордыней,
То великое мне по плечу.

Между веток—пробелы,
Крыльев взмах, и беда—не беда.
Птица кажется белой,
Улетает она навсегда.

Бесконечное лето
Я бы в памяти смог удержать,
Но какого ты цвета,
Мне до смерти теперь не узнать.

Есть сто ночей. В них мало сходства:
Ночь-нищенка, воровка-ночь.
Нам, продающим первородство,
Уже ничем нельзя помочь.

Из всех ночей я выбрал эту—
Ночь-сводницу и ночь-вдову.
В лучах искусственного света,
Ненастоящий—я живу.

Ты слишком медленно разделась,
И я солгал тебе—легко,
Как будто ложь мне в сердце въелась
И в душу въелась глубоко.

Мир становится старше,
Но Москве не забыть никогда,
Как в прудах Патриарших
Потемнела от страха вода.

Эти камни живые
Я, как книгу, читал между строк.
Над советской Россией
Тихий ангел как перст одинок.

И пустынно, и дико,
Чёрный пар поднялся от земли.
По России великой
Поминальные свечи зажгли.

Е. В.

Зима страшна, как ночь переворота.
Как факелы, в печах горят огни.
Душа пуста, но сердце знает что-то,
И голоса слышны из-под земли.

Так прорастают зёрна архетипов,
И, зная то, что видеть не могли,
Боятся дети шорохов и скрипов
И произносят жуткое «враги».

Уже сошёл тяжёлый снег
С полей и пашен,
И новый день, как новый век,
Велик и страшен.

К. С.

Две случайные фразы, а так одинаково сказаны.
Это леска закона, её не порвёшь безнаказанно.
Скоро будет деревьев, как виселиц чёрных, несчитано.
Удали эти письма, покуда они не прочитаны.

Хочешь—каждой дороге пойди поклонись по отдельности,
Чтобы чёрные книги душили тебя беспредельностью,
Чтоб пришло вдохновенье с какой-то улыбкою нищенской,
Чтобы морем не пахло, а пахло сторожкой кладбищенской.

Чтобы всё было серо и скупо, темно, искалечено,
Только ручку возьми—популярность тебе обеспечена,
Собирай свои залы, своей удивляй эрудицией,
И как хочешь пиши, и глумись, и глумись над традицией.

Я не боялся жить и воду из реки пил,
Свободы не ценил и не боялся уз.
Зачем же вы тогда придумали R-keeper,
Explorer и Bluetooth?

Мне некуда бежать, везде меня поймают,
Сим-карту вложат мне в мобильный, чтобы я
Не слышал, как Господь задумчиво играет
На флейте бытия.

Я губ твоих искал огня и постоянства,
Не страсть меня вела, и не был я слепым.
Ты девочка была, вернувшаяся с танцев,
И превратилась в дым.

Я подарил тебе ручей, но ты разбила
Кувшин воды живой, и не заметил я.
Рукой коснись воды… Но ты не попросила
Прощенья у ручья.

Я понял: устрашит тебя не этот холод.
Быть может, позовёшь, решила—уходи.
Булавкою твоей, как бабочка, приколот,
И мировая ось—лишь боль в моей груди.

Нам в этом мире—тесно,
Если смогу—воскресну,
Если ты скажешь честно:
Это—твоя игра.

Нам говорили: здесь он,
В десять—уже на месте.
Помнишь, искали вместе
Бога ещё вчера?

Маем, там пахло маем,
Дождь сентябрём хлестал нас,
Сыпал свои кристаллы
Сверху на нас январь.

Многого мы не знаем,
Что-то внутри сломалось,
Что-то в душе осталось,
Только тебя не жаль…

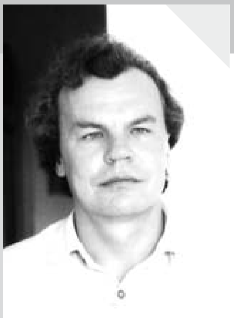
2012

Остаться. Чёрными платками
Уже застелены поля,
И скоро мы увидим сами,
Как шевелит материками
Чревоугодница-земля.

А он всё сможет. Всё успеет…
Эсхатология. Судьба.
Нас только солнышко пригреет—
И мы исчезнем без следа.

Мы—поколенье, связанное крепко
Одною цепью, кабелем одним,
И торрентов вытягиваем репку
Из серых оцифрованных глубин.

Взрослеем рано, умираем рано,
Живём не так и молимся не так:
«Прости меня и сохрани от спама,
Убереги от хакерских атак!»



Юрий Беликов, Николай Воронов

Запрещённый с юности, или Байрон из Магнитогорска

Сначала я обратил внимание, как он слушает музыку. В переделкинском доме-музее Корнея Чуковского, где мы познакомились, в перерывах между читкой стихов играла девушка на фортепьяно. Я увидел, как человек преклонных лет с тёмными выразительными глазами отмечает каждый музыкальный такт кивком, но не головы, а как бы… всего лица. Потом он заговорил. Речевые ассоциации вынесли его на… Рабиндраната Тагора, причём — легко и свободно, будто бы Николай Павлович Воронов всю жизнь занимался творчеством этого индийского поэта. А Воронов, хоть и написал впоследствии роман «Побег в Индию», но мальчишкой жил в бараке Магнитостроя, работал на домне металлургического комбината, о чём рассказал в своём главном, как он считает, романе — «Юность в Железнодольске». Произведении многострадальном, опубликованном Твардовским в 1968-м году в 11 и 12 номерах «Нового мира», а затем запрещённом, обруганном и «проваренном» покруче солженицынского «Ивана Денисовича» во всех щелоках инстанций.

Точно так же, как музыку, Воронов слушал и стихи. Он некоторое время терпел мелконькое, немотивированное подхихикивание, то и дело сопровождавшее эмоциональные позывы поэта-песенника Виктора Пеленягрэ, тоже пришедшего в дом Чуковского. Затем лоб Николая Павловича пересекла молния огорчения, он резко встал и вышел. В этом было что-то старомодное, давно позабытое, байроническое.

Когда он подарил мне свою повесть «Приговорённый Флёрушка», я с первых же её страниц, аки изголодавшийся шмель, был пригвождён ароматом его прозы. Если цвет — то «истемнасиний» (именно так — слитно). Если кедрёнок — то «иглисто-веерный». Если сугроб, то «затверделый до фаянсовости». Если рука — то «накогчённая в пальцах». Если «мытьё вперегиб, по старинке», то оно «отзывалось в женщинах надрывным выражением лица». А вот ещё: «Как земснарядом, своим главноредакторским портфелем он качал золотые пески гонораров». Это — из ещё не изданной автобиографической «Истины о самом себе…». Казалось бы, мемуары — можно расслабиться. Но не расслабляется классик русской прозы, коему в этом году исполнится 85. В той же «Истине…» нахожу: «Выращенный рабоче-крестьянской средой, я сложился писателем чести и остаюсь им». Задержимся на слове «честь». А вот строки из письма Воронову Валентина Катаева, находившегося 5 апреля 1969 года в Кунцевской больнице: «Дорогой Коля! Или, если вам больше нравится, Николай Павлович… Ваше положение понимаю вполне и должен вам сказать следующее: вы написали выдающуюся книгу «Юность в Железнодольске». Это не комплиментность и не преувеличение, а так оно и есть. Я считаю вас выдающимся писателем. Если оставить в стороне те придирки, которые вам учиняют и которые никакого отношения к искусству не имеют — по моему разумению! — то могу сказать, что с художественной стороны всё почти безукоризненно. Какие дивные описания! Какая точность, свежесть, правдивость, какая душа и сердце! Не имеет смысла перечислять все эпизоды, которые могли бы украсить книгу любого первоклассного писателя, включая и самых великих. Болезнь не позволяет мне написать более подробно, но смысл в том, что Вы высокий прекрасный писатель, художник, гуманист, и я счастлив, что Вы когда-то немного учились у меня нашему прекрасному писательскому ремеслу…»

— Николай Павлович, «Юность в Железнодольске» требовали запретить ещё до того, как она увидела свет в «Новом мире». Запретить — не читая. Были ли в тексте «Юности…», с точки зрения того времени, действительно веские основания для её запрета? Или — «оттепель» заканчивалась, и наступали «заморозки»?

— С точки зрения того времени, в моём романе было много правды. Правды о Магнитке, но я имел в виду и другие металлургические заводы, где мне приходилось бывать. Например, описал пуск домны, то, как американские специалисты убеждали не торопиться, а наши гнули своё, и пуск начался с аварии. Это считалось клеветой. А это было на самом деле. Кроме того, я написал, что люди жили бедно. И не просто написал — изобразил.

— В этом смысле вы могли бы преподавать мастер-класс живописи: «Столбы дыма были кольчатыми, раструбистыми, жуково-чёрными, космы из них свисали желтоватые; клубы, летевшие из кирпичных труб над огромным стекляннокрышим зданием, восхитили Марию: синее трепетало рядом с красным, оранжевое, сливаясь с голубым, возносилось зелёным, на тёмном пылало алое»… На палитру дымов вы, ей-богу, не поскупились.

— Но и это — правда. И вот на имя Суслова, тогдашнего идеолога ЦК КПСС и Тяжельникова, возглавлявшего комсомол, пришло письмо от так называемых ветеранов Магнитогорского землячества в Москве, требующих запретить публикацию. Вы верно заметили: пришло оно ещё до того, как был напечатан 11-й номер «Нового мира». То есть люди, его написавшие, вообще не читали этой

вещи. В результате воздействия цензуры, отдела культуры ЦК, обсуждения в самом журнале и двух обсуждений на Секретариате Союза писателей СССР от моего романа в семьсот двадцать страниц осталось только триста шестьдесят, которые и были опубликованы Твардовским. Чтобы я не печатал вторую половину «Юности»… меня вызвал секретарь Калужского обкома партии. Живя в Калуге и будучи там ответственным секретарём писательской организации, я вёл довольно независимый образ жизни, в которую до сей поры никто не вмешивался. А тут мне говорят: «А вы знаете, что журнал Твардовского — криминальный? Завтра прибудете к девяти утра к Беляеву (он был замзавсектором печати отдела культуры ЦК). И то, что он вам предложит, считайте, что это мнение ЦК и членов Политбюро. Если вы не согласитесь с его предложением, три года вас печатать не будут». Я приехал к Альберту Беляеву, целый день у нас было собеседование. Время от времени в кабинет заходили работники ЦК. Все заходившие советовали прислушаться к тому, что говорил Беляев. Он настаивал, чтобы я признал критику. На второй день беседа шла уже в присутствии членов редколлегии «Нового мира» Лакшина и Хитрова. Потом их выпроводили. И Беляев задал мне вопрос напрямик: «Ну как, вы забираете вторую половину романа на доработку?» Я: «Нет!». А Кондратович, первый заместитель Твардовского, ещё утром мне сказал, что Александр Трифонович будет ждать меня в редакции из ЦК даже ночью. Я пришёл к Твардовскому в половине одиннадцатого ночи. Он встал из-за редакционного стола. «Согласились?» — «Не согласился». — «Ну, молодец! — воскликнул Александр Трифонович. — Мы вас защищали, не соглашались. И вы не согласились. Это здорово!» Вдруг — звонок. Слышимость колоссальная. На проводе Альберт Беляев. «Александр Трифонович, — исходит из трубки, — а Воронов-то согласился забрать вторую половину своей «Юности…»! Я кричу: «Александр Трифонович, дайте мне трубку!» Беляев — из своей преисподней: «Не давать ему трубки!» И тут Твардовский так его понёс! Матом! И таким, что я, возросший в рабочих бараках, не слыхал, чтобы кто-то из мужиков, даже уголовников, так выражался. Потом мы с Твардовским посидели молча, о чём-то слегка поговорили, и он сказал: «Я вас подвезу — где вы остановились?» И когда он подвёз меня на Кропоткинскую, где я остановился у своей сокурсницы по Литинституту, прежде чем мы расстались, Александр Трифонович с усталой горечью произнёс: «Наступают последние времена!»

— *Известно, что название вашему роману дал сам Твардовский. То есть у романа было первоначальное звучание?*

— «Всё время ветер». На Магнитке всегда практически ветер. И не один: другой раз дуют они вперекрёст, и от этого волны, когда ты смотришь на пруд, становятся «клетчатыми». Но Александр Трифонович предложил назвать «Юность в Железнодольске». Он считал, что надо преподносить всё скромнее, чтобы не возбуждать нежелательных толков. К тому же в последние «новомирские» годы Твардовский однажды признался Кондратовичу: «У меня не было юности». Может, поэтому он и назвал мою вещь «Юность в Железнодольске», соединив юность с железной участью? Вообще, у Твардовского за годы его редакторства сложилось правило, явно романтическое и неуклонное: говорить на редколлегии одному в честь самых значительных, с его точки зрения, произведений. Этой чести удостоились только отдельные авторы: Александр Яшин, Василий Белов, Борис Можаев, Гавриил Троепольский, Василий Шукшин, Виталий Сёмин… Об этом меня известил Алексей Иванович Кондратович. В спешке я не всех запомнил.

— *То есть вторая часть «Юности в Железнодольске» всё-таки не была напечатана? Роман увидел свет многие годы спустя, когда он вышел отдельной книгой. Я знаю, что на определённом этапе вы сделались фигурой поднадзорной: ваши письма перлюстрировались, телефон прослушивался. Но ведь нельзя сказать, что писатель Николай Воронов жил в изоляции и его перестали печатать, как предрекали партийные альберты?*

— И тут я хочу сказать, что в ту пору меня поддержали… пермяки. Когда в ЦК пригрозили: если я не соглашусь с критикой, меня три года не будут публиковать, в Пермском книжном издательстве напечатали мою книгу «Женское счастье», в которую входили повести и рассказы. Книга — на 10–12 авторских листов. И она меня подпёрла экономически. А привёл меня к пермякам не кто иной, как Виктор Астафьев, с которым мы тогда познакомились и подружились. Мало того, когда я к нему приехал в Пермь, он прочёл вёрстку второй части моего романа за ночь. Утром сказал: «Вот когда настоящая правда литературы начинается, тогда её всячески стараются уничтожить!» После нападок на меня и обсуждения моей «Юности»… по всем республикам и во всяких высоких инстанциях, включая цензуру, Виктор написал два протестующих письма. Замечательные по силе и красоте воздействия письма! Их, конечно, тогда не опубликовали… И даже некоторое время перестали писать об Астафьеве и печатать его вещи.

— *А как вы познакомились с Виктором Петровичем?*

— При всех сложностях моего литературного бытия меня обычно избирали на писательские съезды. В том числе, на первый съезд Союза писателей РСФСР. И вот иду я его кулуарами, смотрю: рядом с моей знакомой — красивой молодой женщиной, редактором издательства «Молодая гвардия», стоит довольно приятный человек с некоторым искажением в лице. Слышу: «Коля, иди сюда!» Я подошёл. Она: «Вот Виктор Астафьев. Тебе пришлось его читать?» А в это время Виктор уже печатал свои первые вещи. И мне понравилась его повесть «Стародуб».

— *Удивительное совпадение: мне тоже она понравилась и нравится до сих пор!*

— Оказалось, что Виктор тоже читал мою прозу. И вот съезд заканчивается. Астафьев и говорит: «Я живу в Чусовом и тебя туда приглашаю. Давай поедем ко мне вместе». И мы поехали. Астафьев жил в Чусовом на самой его верхотуре. Гора!

И у него там была землянка. *(Скорее всего, Николай Павлович имеет в виду домик на улице Партизанской, чья крыша располагалась так, что почти касалась земли, напоминая землянку. Сейчас здесь — музей — Ю. Б.)* Вообще Чусовой конца пятидесятых мне запомнился своей задымлённостью, каким-то земляночным обустройством быта и пивнушками, одна из которых располагалась едва ли не у проходной завода. Я поразился: несмотря на то, что это два металлургических города, на Магнитке такого не было. А в Чусовом человек, не снимая суконной куртки сталевара, шёл из проходной прямо в пивнушку. Очевидно, чтобы как-то скрасить беспросветную жизнь. Зато тогдашняя уральская природа щедро одаривала людей. Перед самой Москвой Виктор ездил в тайгу — настрелял рябчиков, тетеревов, наловил рыбы. Мы сели за стол. А Маша у Виктора очень хорошая хозяйка — налепила пельменей, нажарила птицу, рыбу. Она быстро всё делала. Выпили мы водочки. И вот тут мне не понравилось, что Астафьев стал вставлять в застольную речь матерные выражения. Это даже для меня, барачного человека, было неожиданностью. Я ему сказал: «Витя, если ты будешь материться, я встану и уйду на вокзал! Я много этого слышал в детстве, но если ты хочешь, чтобы мы были друзьями, я тебя прошу это дело прекратить. Нельзя материться при детях и жене». И Виктор больше никогда при мне не сквернословил. При других — наверное, но при мне — нет. И там, в Чусовом, я узнал об Астафьеве любопытные вещи. Оказывается, его критический взгляд на действительность берёт свои истоки не с первого, как принято считать, его рассказа «Гражданский человек», который он написал за одну ночь на вахте колбасного завода в качестве протеста против того вранья о войне, которое он услышал на литкружке при газете «Чусовской рабочий». Когда ещё Виктор был на фронте, он писал родным письма и в них отдельные фронтовые вещи подвергал критике. А Маша, служившая цензором, как-то вызвала его к себе: «Вот смотрите — «треугольнички», я ставлю штамп «Проверено цензурой», но вы пишете такое!.. За это вас могут арестовать, а меня разжаловать. Я этого не одобряю. Вы должны себя поберечь».

— Выходит, с этого и началась любовь Виктора Петровича к Марии Семёновне?

— Можно сказать и так. А ещё он мне рассказал о таком случае. Однажды, идя по городу в ночную пору, Виктор услышал, как кто-то за ним гонится: «А ну-ка стой. Снимай одежду!» И он побежал. А была темнота, и когда Астафьев бежал, он упал в открытый канализационный колодец. И сильно зашибся. Но тот, кто гнался за ним, не увидел, куда он угодил. И вот это был сложный момент в жизни Виктора, когда ему трудно было выкарабкиваться и физически, и душевно, потому что он побил ноги и прочее-прочее. Обычно он никому об этом не рассказывал.

— А почему? Ну, погнался кто-то, ну, упал… В Чусовом всегда хватало всяческой шпаны.

— Очевидно, потому и не рассказывал, что ему, вояке, который многое что повидал на фронте, пришлось убегать, да ещё оказаться в каком-то колодце. Словно спрятался от страха. Впрочем, вот другой, тоже говорящий, эпизод. Когда Астафьев меня провожал из Чусового и мы пришли на вокзал, то повстречали там пьяную татарку, которая, оказывается, влюбилась в кого-то из местных, да неудачно. А она копила деньги — видимо, для будущей замужней жизни. И вот теперь плакала горючими слезами и вдруг распахнула свой чемодан и стала вытряхивать на землю червонцы! Кое-кто из вокзальной публики бросился эти червонцы хватать. Астафьев крикнул: «Не трогать деньги!» И мы с ним начали собирать небывалый урожай и, в основном, собрали. И отдали деньги этой несчастной женщине.

— Собственно, вернули нажитое?

— И она сразу как-то пришла в себя. Будто очнулась. Это была наша первая совместная с Астафьевым акция. Потом мы частенько, не сговариваясь, выступали дуэтом. Однажды оказались на совещании литераторов в Казани. Тогда и он, и я уже подвергались цензурным ударам. Поэтому знали, против чего выступаем: против цензуры в СССР. На совещание прибыли из ЦК всё тот же Альберт Беляев, Василий Шауро, заведующий отделом культуры и другие функционеры. Это был год, когда решили открыть журнал «Урал». Поэтому подыскивали кандидатуру главного редактора. Но мы с Астафьевым уже выступили против засилья цензорского карандаша. А до этого главным редактором рекомендовали меня. Однако после моего «неосмотрительного выпада» в адрес цензуры это предложение было тут же отвергнуто. Потом предложили главным редактором Астафьева. Но и его кандидатура не прошла по той же причине. И тогда главным поставили детского писателя Олега Корякова, выступавшего против меня.

— То есть вы с Виктором Петровичем — два отвергнутых главных редактора? Известно, что вы долгие годы состояли в переписке. Какими темами она подпитывалась?

— Переписка носила, как правило, всяческий характер, включая бытовой. Но прежде всего всё-таки — литературный. Он присылал мне свои новые, ещё допечатные, вещи, а я — свои. И получалось так, что мы оба участвовали в формировании друг друга: и стилистически, и духовно, и душевно. Я думаю, он мне добрую сотню писем прислал, да и я, пожалуй, не меньше. Был очень важный, к примеру, эпизод и в его, и в моей судьбе, когда он написал повесть «Кража» и прислал мне её машинописный текст. Я обратил внимание: в тексте много неудачных фамилий. Сейчас уже не могу точно воспроизвести фамилии героев, которые у Виктора были первоначально. Кроме того, на мой взгляд, страдала и стилистика. Я ему написал, что повесть надо править и заменить целый ряд фамилий. Скажем, у него заведующий детдомом — из дворянского рода. А дал он фамилию совсем не дворянскую. Помня о том, что я автор «Нового мира», Виктор как-то мне признался, что хотел бы там напечататься. А к нему хорошо относился заместитель Твардовского Александр Григорьевич Дементьев. И когда я прибыл в Пермь на конференцию и мы

поехали на родину Чайковского, а потом шли на корабле по Воткинскому водохранилищу, на этом же судне был и Александр Григорьевич. И я ему сказал насчёт Виктора. Он: «Я читаю Астафьева. Мне он нравится, и вы найдите возможность меня с ним свести». Когда «Кража» Виктором была закончена, он приехал ко мне в Калугу. Наверное, мало кто знает, но у Астафьева были намерения перебраться из Перми в наши места. Я там, как говорится, был ещё правящим лицом и мог содействовать в получении жилья или обмене квартиры. Мы с ним пропутешествовали по калужской земле на автобусах и пешком. У Виктора был биографический интерес к старинному городу Белёву. Во время войны их, не умевших водить машины, посадили в полуторки, в том числе Астафьева, и послали на Белёв. И в Белёве, останавливаясь и чуть ли не угробливаясь, они ехали дальше—в сторону фронта. Поэтому в памятных ему местах Виктор смотрел природу—Оку, озёра, в общем, землю, где бы он мог купить себе дом. Но в итоге на этом варианте не остановился.

Когда мы вернулись в Калугу, я позвонил Дементьеву и сказал, что Астафьев привёз новую повесть. «Она, я думаю, труднопроходимая, но вы смелые люди и можете её напечатать». Это уже было после публикации в «Новом мире» моего романа и скандала вокруг него. Дементьев назначил день, и мы приехали. «Кражу» он сегодня, допустим, взял, а на завтра уже прочёл. И говорит: «Этому произведению не дадут хода—ни в цензуре, ни в цк. Тем более, что это связано с описываемым периодом коллективизации. Но я уже,—продолжил Александр Григорьевич,—позвонил в журнал «Сибирские огни» и договорился, чтобы «Кражу» опубликовали там». Астафьев отнёсся к этому с большим огорчением. Я умолял Александра Григорьевича: «Давайте попробуем—может, всё-таки пройдёт в «Новом мире»?» Дементьев покачал головой. И Астафьев поехал в Новосибирск, где выходят «Сибирские огни», отдал повесть, и вскоре её там напечатали. Конечно, не без сокращений.

Вот здесь я хочу подчеркнуть одну особенность Виктора, его и моей судьбы. Когда мы вышли из «Нового мира», он говорит: «Коля, я привык к тому, что мои вещи идут с ходу. Это первый случай, когда мне отказано. Я привык, что у меня на три года есть денежный запас. А так получается, что, если эта вещь будет задержана, из того запаса, который у меня есть, мне придётся тратить». На что я Астафьеву ответил: «А я привык жить без запасов и пользоваться тем, что есть, и залазить в долги». Вот такой у нас был диалог.

—А каким образом могла прерваться переписка двух друзей?

—Раньше, наезжая из Перми в Москву, Виктор заруливал ко мне в Калугу. Однако то, что я попал в нети и нахожусь под слежкой, прервало его посещения, прежде овеваемые не просто дружбой, а чувством братства. Узнав в столице, что он живёт в гостинице «Москва», я, естественно, стремился встретиться с ним: звоню ему в апартаменты, в которых обязательно кто-то находится из застольников. Замешательство—и не подзывают Виктора Петровича. Стучу в номер, за дверью, закрытой изнутри, спрашивают: «Кто?» Называюсь—шепоток, глухота и ответ: «Виктор Петрович неизвестно где закружился»,—или: «Он в скитаниях по делам». Уклончивость Астафьева—нет, не ущемила меня—обидела до глубины души, затронула внутреннюю спасительность—честь. Без экивоков и утайки я написал Виктору о своих удивлении, возмущении, оскорбительности. Он ответил, будто бы со мной невозможно общаться из-за заносчивости моей жены, Татьяны Петровны, и что я перестал видеть что-либо, кроме собственных осложнений. Бурное, взахлёст, послание моё остановило нашу переписку с Виктором…

—Вы, наверное, помните, как звучит эпитафия, найденная после кончины в письменном столе Астафьева: «Я пришёл в мир добрый, родной. И любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». Многие ставят этот выстраданно-жёсткий вздох ему в вину—дескать, не в лучшую пору написал Астафьев эти самые слова. Но разве не прав Виктор Петрович? И неужто мир на наших с вами глазах перелицевался в лучшую сторону?

—Астафьев относится к той небольшой группе писателей, которые ещё в советскую пору оценили сложность и опасность нашего существования—в данном случае России и её народа. Виктор, когда учился в Москве на Высших литературных курсах, как-то мне сказал: «Вот мы здесь несколько человек подумали и решили, что бывшую империю советская власть превратила в колонию. Хуже, чем Россия, никто из федеративных республик не живёт. Мы пребываем в глубоком убеждении, что за счёт России и русского народа делались и делаются тяжелейшие вещи». И здесь я не мог не согласиться с Виктором.

—Да, но астафьевская эпитафия относится не только к тому времени, о котором вы сейчас вспоминаете, она, на мой взгляд, больше—о послеперестроечном десятилетии XX-го века…

—Я хочу сказать, что Виктор Петрович, прежде чем приехать ко мне и попытаться зацепиться на калужской земле, до этого съездил в Красноярский край, к себе на родину. И когда оттуда воротился, он сказал: «Коля, это место ссылок. Я не могу там жить. Я буду искать другое. Может быть, у тебя зацеплюсь». Когда не зацепился за Калугу, он зацепился за Вологду. Помню, в Калугу пришла его телеграмма: «Приезжай в Пермь проводить меня в Вологду». В Перми оставаться он тоже не мог. По многим причинам.

—Но всё-таки Виктор Петрович, после его вологодского периода, о котором он всегда очень тепло отзывался, вернулся на свою родину—в Красноярск, в «место ссылок».

—Да, вернулся… Но что касается той его оценки, которая заключена в эпитафии, я думаю, что у Астафьева есть в ней перебор. Я его роман «Прокляты и убиты» так и не принял. Он там ударился, конечно, в нечистоты. У Виктора Петровича произошёл какой-то сильный морально-психологический сбив, который возник в результате его личных переживаний и переживаний о судьбе

страны. И то, что он, учась на ВЛК, участвовал в открытии этой страшной вещи, о которой я уже сказал,—когда колонии превратили в империю, а империю—в колонию,—это постепенно начало не лучшим образом сказываться и на Астафьеве.

— Вами написан целый свод произведений, среди которых романы «Похитители солнца», «САМ», «Котёл», «Побег в Индию». Но всё-таки человек, чью изобразительную силу Твардовский сопоставлял с уровнем Аксакова и Пришвина, не может, глядя на сегодняшних литературных фаворитов, не испытывать горечи. В «Истине о самом себе, о Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто оклеветан» (её начала печатать газета «Магнитогорский металл») я нашёл этому подтверждение: «Спохватился: если ты есть прозаик, то в прошлом, и смотрят на тебя собратья, как сквозь оконную тусклоту в городе металлургов». И это касается не только вас, но и других писателей, по которым прошла волна смены вех. Однако сие ведь не означает, что нет такого прозаика Воронова. Я бы даже сказал так: есть сделавшийся незримым классик Николай Воронов. Отчего классики в России иногда становятся незримыми?

— Это сложный вопрос, распрямляя который, мы выйдем на целую цепочку следов. После разгромленной в «Новом мире» «Юности в Железнодольске» в журналах и издательствах в разное время было опубликовано несколько моих вещей. Тоже не без скандалов. Но я в это время создал два романа-фантазии. Один, как вы уже сказали, назывался «Похитители солнца». И его не удалось напечатать в Москве—он был опубликован в журнале «Урал». Когда был издан другой роман, «САМ», моя внучка стала называть меня фантазитором. Почему после реалистического романа я обратился к жанру антиутопии? Обжегшись на молоке, дуют и на воду? Да нет, прежде всего, меня натолкнула на это возможность большего обобщения человеческой истории применительно не только к нашей стране, но и к Человечеству в целом. Для того чтобы постичь Главного руководителя и дать его исчерпывающий портрет в романе «САМ», я усиленно читал о многих предводителях разных государств. И в результате, как мне кажется, написал портрет человека, который, обладая гением, был антинароден. Поскольку мой роман вышел в «Советском писателе» в 1988 году, многие увидели за образом главного героя Михаила Горбачёва, хотя я его не имел в виду вообще, потому что, когда подступал к своему персонажу, Горбачёв ещё даже не вошёл во власть. Кстати, этот роман издавать боялись. И после его выхода в свет, хотя и появилась хорошая пресса, её было немного, потому что люди помнили, как меня охаживали за «Юность в Железнодольске». Всё-таки удар по моей «Юности…» какое-то количество моих читателей оттолкнул, оставив за мной небольшую их часть. Однако эта пристальная часть мне писала: «Но мы-то знаем, что всё вами предсказанное—эра сержантов, секс-религия и «император Болт Бух Грей»—планомерно осуществляется в нынешней российской Самии». Вот почему в этой Самии Вороновы неуместны, и их охотно делают незримыми.

— Ваш дар «проснулся» на Урале. Считаете ли вы, что есть на Земле особые энергетические точки подключённости к Пространству-Времени, которые, улавливая «носителей подходящей среды», начинают их «использовать» в своих «подспудных целях»? Предположим, не очутились бы в нужный час волею судьбы на Урале Александр Грин, Борис Пастернак и Виктор Астафьев, кто знает, быть может, не произошло бы чудо преображения их в крупных писателей? И, если взять Николая Воронова, то представьте: не было бы у вас Урала… Зародились бы тогда те самоцветы слов, которыми вы насыщаете свою речь?

— Вообще, существование и формирование деятелей литературы и искусства связано с определёнными местами на Земле. Например, если говорить о России, это Орловщина, Курщина, тульская земля—родина Льва Толстого и, конечно же, Урал. Эти точки в пространстве, благодаря своим красотам, подземно-наземным сложностям и накоплению народной культуры, не могли не влиять на тех, кого вы называете «носителями подходящей среды». На Урале, особенно на Южном, жило могущественно-умное казачество, которое не только служило военным целям—оно, по сути, стало сокровищницей, в которой сберегалось богатство русского языка. Очень богатый язык был у моей бабушки, у моей мамы, да и у всех барачных людей…

— Несмотря на то, что они—барачные?!

— Как это ни кажется странным, все они, как правило, были хранителями великого русского языка. В частности, песенной культуры трёх народов—русского, украинского и белорусского. Когда у нас в бараке случались застолья, то все люди пели на трёх языках. Мама моя, если в застолье она была заглавной, обычно спрашивала свою мать, мою бабушку: «Как ты будешь петь—примой или вто́рой?» Бабушка не знала ни одной буквы. Не умела читать. А мама окончила три класса…

— Но спрашивала: «Примой или вто́рой?»

— Да. Это показатель песенной культуры в станице. Ну и бабушка с мамой, конечно, были женщинами танцевальными. Особенно любили кадриль.

Летел голубь, летел сизый
С изголу́бицею,
Шёл удалый молодец
С милой девицею…

Это же поэзия! И, конечно, барачные люди оказали на меня колоссальное влияние. И, само собой, пейзаж, который открывался в разработках горы Апач. Это главная составляющая часть горы Магнитной. Такая красота, такое многоцветье! Ступенями! А ведь железные руды, они же сопровождаются разнородными кристаллами—от чёрных до алых. Уже одно то, что ты выходишь из барака и смотришь, как солнце всходит из-за горы Магнитной!.. Это просто зачаровывает. И, ясное дело,—живопись самого производства. Я видел, как к моей маме, работавшей на блюминге оператором, подвозили огненные слитки, и она их прокатывала… Когда

слиток входил в валки, его поливали водой, и над водой вставало изумительной красоты зелёное пламя!.. А водород ведь так красиво горит! Боже мой! Это такое необычайное зрелище. И как потом брусок превращается в длинную заготовку. Затем её режут на так называемых ножницах. И когда металл остывал, он менял свои тона до серых и пепельных. И я тогда понял, что серый цвет и его многоцветье, таящееся в остывающем металле, колоссальны. И серый цвет в пейзаже тоже имеет огромное значение. Особенно—рассвет, когда ты на рыбалке или на охоте и ещё не взошло солнце, а небо уже начинает сереть…

— Слушая вас, вдруг вспомнил концовку одного из стихотворений фронтовика Сергея Наровчатова, написавшего в 1970-м:

Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

Почему Наровчатов обратился к этой приглушённой гамме?

— У него просто, видимо, живописный глаз был!

— Александр Солженицын всю жизнь складывал «Словарь расширения русского языка». Я прочитал вашу повесть «Приговорённый Флёрушка» и увидел, что вот он, образец этого расширения. По-сегодняшнему так уже не пишут. В вашей прозе соединения слов дают новые объёмы, оттенки. Теперь, когда вы рассказали, какие многоцветные ступени руд и кристаллов вам на Южном Урале открывались и какие казачьи песни пели у вас в бараке, я понял, откуда этот «Всё время ветер». «…Её глянцевый ротик лакомки извергнул постыдную брань». А? В некотором смысле это отличало и прозу Астафьева, но, мне кажется, ваш стиль выходит наружу даже ярче. Вы к этому пришли с годами, это природное свойство таланта или—производное от чьего-либо влияния?

— Трудно себя оценивать. Но об одном своём свойстве скажу: я никогда ни с кем не тягался и никому не завидовал. Я ещё мальчиком в отрывном календаре прочёл как-то батюшку Крылова: «Лучше проквакать по-лягушачьи, но по-своему». Как ни парадоксально, на меня подействовали два писателя—Крылов и Байрон. Биографы обычно приписывают Ивана Андреевича к Москве. А я сейчас в своём журнале «Вестник российской литературы» опубликовал материал о том, что отец Крылова служил в Троицке, относящемся к отделу Оренбургского казачьего войска. Вот там-то, в Троицке, где когда-то родился ваш покорный слуга, оказывается, и был явлен на свет наш великий баснописец. Что касается Байрона, то от него на меня исходило влияние нравственное. Вернее, даже так: меня взращивала нравственная неприемлемость его главного героя.

— Чайльд-Гарольда?

— Нет, Дон Жуана. Помните?.. Главный герой плывёт на корабле, и корабль тонет, и те, кто спаслись, устроились на плоту, съели все возможные припасы и уже договорились, что будут вытягивать записки и есть друг друга… Когда Дон Жуан очутился на суше, он, съевший вместе с другими своего слугу, влюбился и целиком забыл о том, что произошло. Я, когда это прочёл, подумал: «Как можно после всего происшедшего заниматься любовью, отринув всё, что с тобою было?!» Но Байрона в моих глазах спасло то, что мы оба с ним пловцы и ныряльщики. Пушкин в «Евгении Онегине» писал:

Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал…

Так вот, когда Байрона приглашали во дворец, он, выпивши, выходил на балкон, бросался в пролив Дарданеллы и переплывал его—это же много километров!

— И вы тоже переплывали «сей Геллеспонт»?

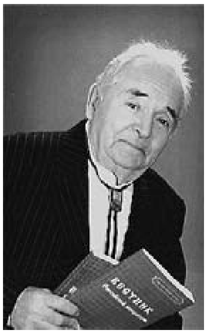
— У меня был свой «Геллеспонт». В своё время я переплывал реку Урал. Два километра семьсот метров. Я переплывал и, не вставая на дно, возвращался. Это получалось больше пяти километров. И когда я прочёл, как Байрон решил помочь Греции в борьбе за независимость (а там, на корабле находилась девочка, родители которой попросили его отвезти её в Грецию к родственникам), как корабль потерпел крушение, и всю ночь Байрон плыл к берегу—тащил за собой эту девочку, вышел на берег и упал, и сутки спал,—это произвело на меня такое неизгладимое впечатление, что не могло не сказаться на моём нравственном созревании. То есть Байрон сильно воздействовал на меня как в приятии, так и в неприятии чего-либо.

— Вам выпало близко общаться с легендарными ныне личностями из писательского мира. Среди них—Константин Паустовский, Юрий Олеша, Павел Нилин, Юрий Казаков, Валентин Катаев… УКатаева вы вообще учились в литинститутском семинаре и, если я не ошибаюсь, часто бывали на даче. Какая атмосфера там царила?

— А вот тут, пожалуй, стоит открыть мою «Истину о самом себе»… и привести пару периодов. Итак, читаю: «Застолья у Валентина Катаева отличались переизобилием еды. Пирожки румяно-коричневые, начинённые яйцами с зелёным луком, мясом, ливером, иззолота-коричневый курник, испечённые домработницей Наташей, шли нарасхват (сказывалась тоска по домашним печёностям), хотя тут были всяческие колбасы, даже копчёные, не портящиеся в тропическую жару, сыры, включая зелёно-крупитчатый рокфор, рыбные изыски, вроде сёмги и чавычи, нарезанные пластинками, селёдочное масло, салаты и фрукты, вплоть до королевских ананасов с Цейлона, миндаль, осыпанный солью, жареные грецкие и земляные китайские орехи…»

— Фух! Прямо-таки обед турецкого султана! Так вот на чём вас взрастил Валентин Петрович?!

— Слушайте дальше: «Как-то так странно получалось, что после восторженных тостов за блистательного писателя Валентина Катаева начинались критические щипки в адрес его сочинений. Затевал их массивный огромина, энциклопедист Владимир Кревенченко (ловил на неточностях стилевого, нравственного и исторического характера, отнюдь не случайный уроженец Злынки, хотя щедродей


В качестве главного редактора журнала «Вестник российской литературы»

в общежитском быту) и, благодаря уверенному нахрапу, втравливал в нападки на вещи мастера почти всех, кроме меня, Бориса Бедного — он потешался над критиканами — и Альгиса Чекуолиса: мы с Альгисом обороняли Валентина Петровича. Что удивляло, Катаев с весёлым великодушием, азартно улыбаясь, слушал и задирал студентов. А провожая нас, добросердечно ухмылялся: „Позови, накорми, напои, и тебя же распатронят, как вислоухого цуцика“».

— Валентин Петрович очень высоко оценил ваш роман «Юность в Железнодольске». Вы — один из тех, кто описывал жизнь рабочего класса. Сейчас это понятие практически вышло из оборота. Теперь мы то и дело слышим: «наёмные работники». Может быть, рабочего класса вообще больше не существует как класса?! Или он перестал быть объектом художественных наблюдений?

— Я считаю, что в советскую пору к рабочим людям проявляли самый живой интерес и относились с должным уважением. Рабочие люди, они ведь делают всё — от спичек до космических ракет. А сейчас рабочий класс унижен. Это даже не рабочий класс, а действительно наёмные работники, если не рабы. Унижаемые зачастую зарплатой, тем, что им не выдают бюллетени и могут выбросить на улицу по мановению руки прикатившего из столицы хозяина или назначенного им менеджера. О нынешнем рабочем классе, по преимуществу, молчит литература, телевидение и кинематограф. Зато взахлёб говорят и пишут о бандитах, авторитетных бизнесменах, проститутках, бомжах, садистах и серийных убийцах. И это затяжной, мерзкий плевок в самую сердцевину России. И хотя мне удалось узнать наше общество во всём его многослойном состоянии, изображение и постижение рабочего человека было и остаётся для меня первостепенной потребностью вне расчёта и каких-либо вненравственных целей. Поэтому в последнее время я издаюсь, в основном, в родном мне Магнитогорске, и на книгах моих обозначена серия «Литература Магнитки», которая печатается под патронатом всё той же редакции газеты «Магнитогорский металл». «Литература Магнитки» — это противовес всем тем сериалам и серийным персонажам, которые вышли сегодня на первый план в литературе внешней.

— Стало быть, есть литература внутренняя? Кто-то может парировать: тем самым вы подразделяете — существует «Литература Магнитки», «Литература Кузбасса» (дальше проставьте любой подходящий регион) и… русская литература?

— Что касается внешнего ядовитого облака современной словесности, то, за редким исключением, язык не поворачивается назвать её русской. Если речь о «Литературе Магнитки», то ещё пацаном я наблюдал, как магнитный железняк притягивает иголку. Потом написал в «Юности…», как «иголка дрожала и пританцовывала, стоя на ушке». В данном случае я хочу подчеркнуть: при всей нынешней сложности российского бытия сегодня вокруг Горы Магнитной, словно притягиваемые ею, сберегаются поэтические и прозаические силы России. Сейчас литература, не поддерживаемая государством и мало поддерживаемая спонсорами, развивается не менее стремительно, чем в советскую пору. Даже, может быть, посильнее. И я — один из представителей этой большой и, если хотите, внутренней литературы.

— С некоторых пор вы — главный редактор журнала «Вестник российской литературы», о котором, в связи с «казачьим» происхождением Ивана Крылова, уже упомянули. То, что вы создали свой журнал, о чьём существовании, если взять нынешний журнальный фарватер, вероятно, не многие знают, — это своего рода вариант продолжения «Литературной Магнитки»? Писатель, которого не устраивает нынешний художественный уровень и принципы столичных литературных журналов, тянется к своей нише и в результате обретает её? И предлагает свой вариант прочтения современной русской литературы?

— Да, правильно! Наш журнал родился на преодолении падения художественного уровня этих журналов — как правых, так и левых. Это одна из возможностей с помощью писателей Урала и России, а также других национальностей (разнородность журнальных рубрик это подчёркивает) выразить собственные представления, каким должен быть современный литературный журнал. Я думаю, мы создали журнал нового типа, который сочетает в себе художественность и научность. Такого журнала, в принципе, не было. Одно время «Вестник»… печатался здесь, в Москве, а теперь — в Магнитогорске. Распространяется он стихийно. Мы, как правило, его дарим.

— И всё-таки, если оттолкнуться от высказывания Виктора Астафьева про наступающий на наше бытие «мир чужой и злобный», какую бы оценку дал Николай Воронов современной российской действительности?

— При всём при том, что в России произошли тяжёлые изменения, обрушившие нашу страну нравственно и разделившие людей по достатку, включая падение уровня художественной литературы и культуры в целом, я вместе с тем обнаруживаю: этот период примечателен тем, что очень рано возбуждает в нашем народе сильные таланты. И даже существуют таланты, которым нет и двадцати лет. В том числе на Урале. И при всех очевидных разочарованиях и безотрадности, которые сопровождают нашу ежедневную жизнь, есть очарование и красота.

Анатолий Вершинский

Этот мир, где так мало тепла…

Вкус

Не доблестями князя-самовластца,
но храмами на Клязьме и Нерли
прославлен и забвенью не предастся
Андрей, держатель Суздальской земли.

И царь Иван, переписавший дерзко
ордынское наследство на Москву,
отмечен в ней не бронзою имперской—
цветным собором Покрова на рву.

Архитектура—зеркало эпохи,
а зеркала шлифуют мастера.
Петровские реформы были плохи,
но чуден величавый град Петра.

Мы в отчимы зачли «отца народов»,
но в «сталинских» высотках—дух страны,
которую с лоскутных огородов
в открытый космос вывели сыны.

У тех, кто строил Русскую державу,
Российскую империю, Союз,
в придачу к необузданному нраву
был недурной художественный вкус.

Друзей заводят в юности, а прочие—
близки, покуда близок род занятий,
соседствуют ли то места рабочие
иль койки в хирургической палате.

Обещал не всем Спаситель
после смерти благодать:
верных ждёт Его обитель.
Что неверующим ждать?
Тоже люди, а не звери:
нешто канут в никуда?
Если каждому по вере
воздаётся—значит, да!

В ад наезжен путь удобный.
В рай протоптан узкий ход.
Кто отринул мир загробный,
даже в ад не попадёт.
Мрак земной иль свет небесный—
заслужу ли что-то я?
Ведь страшнее всякой бездны
пустота небытия…

Небесный велосипедист

Велосипедные дорожки
мостит Европа, а у нас
велоездок—что мышь для кошки—
для мастодонтов автотрасс.

Они, скорей, объедут кустик,
чем байк с несчастным седоком,
чьё прозвище звучит как «хрустик»
на злом жаргоне шоферском.

…На трассе вечером весенним
машина сшибла паренька.
Но тень его перед паденьем,
привстав, легла на облака.

А ночью тонкую фигуру
соткало небо в городке,
где заправлял хозяин фуру
с царапиной на передке.

Небесный байкер сделал сальто
и заложил такой вираж,
что искры высек из асфальта
педалью, твёрдой, как палаш.

И дальнобойщик с бензобака
не успевает сбить огонь.
И недруг байкера—собака—
скулит отчаянно: не тронь!

Но призраки не мстят дворняжкам:
он ей простил былой укус
и едет к озеру овражком
легко, как будто скинул груз.

Он по воде кружит на байке!
Ты скажешь: никого там нет.
Смотри: очерчивают чайки
его скользящий силуэт.

Этюд в четыре руки

Этот мир, где так мало тепла,
даже с милым не кажется раем.
Но, сливая в объятьях тела,
мы от холода души спасаем.

Что за музыка в доме у нас?
Будто снова мы робки и юны
и, танцуя в предутренний час,
задеваем небесные струны…

Князь и писарь

По мотивам старинной хроники

«…Сего же лета бысть пожар».
Сгорело сорок сёл.
Но дал Господь просимый дар:
стеною дождь прошёл.

Из мест, нетронутых огнём,
в столицу ехал князь.
Придворный писарь был при нём
в возке, месившем грязь.

И оба слушали гонца:
— Народ посадский лют.
Без дозволения Дворца
на площадь вышел люд.

Кричали: «С нами князь расторг
отцовский договор—
и правый суд, и вольный торг
у нас украл, как вор!»

С трудом оружные мужи
скрутили крикунов,
предупреждая мятежи
с крушением основ…

— Смутьяны!—вздрагивает князь.—
Набатов мало вам?
На площадь вышли не спросясь?
Дубьём по головам!

А княжий писарь (чином дьяк,
но званием холоп)
запоминает, что да как,
и морщит битый лоб.

«Прямые, свойские слова
близки простым сердцам.
Умён хозяин, голова…»
И вздрагивает сам.

Ягодки

Летний мир—как на ладони.
За полями, за борами…
Помнишь, были молодыми?
Землянику собирали.

День в лесу—веселья на год.
Нам лесные сласти любы.
Только чаще спелых ягод
я твои встречаю губы.

Завлекала земляника,
мягче пуха листья стлала…
В очи дочек загляни-ка
без уныния и страха.

Не жалей о вольном лете:
зелены его поляны,
и не мы—так наши дети
миру летнему желанны.

А когда цветы полягут
и листва сойдёт в ложбины,
кинет горстку терпких ягод
нам в ладони куст рябины…

Пичуги

Одну восточную страну
тревожил щебет птичий,
и против птиц вести войну
в стране вошло в обычай.

Кричать все жители взялись
от мала до велика—
и улетали птицы ввысь
от яростного крика.

Им придавал отваги страх,
но силы их иссякли,
и гибли птицы в небесах…
А мы живём, не так ли?

А мы летим на шум и гам
и о любви щебечем,
хоть наших слов не слышно вам
(да вам и слушать нечем).

И вы—за то, что наш напев
звучит для вас невнятно,—
браните нас, рассвирепев,
и гоните обратно.

Но нам нельзя умчаться прочь:
внизу гнездовья наши,
для них поём мы день и ночь
у края звёздной чаши.

Ведь если в небе замолчит
последняя пичуга—
расколется небесный щит,
сойдут планеты с круга.

Северо-восток

Нине

Эта радость безотчётна,
будто вера в чудеса…
Если радуга бесплотна,
что же делит небеса?

Сверху—темень грозовая,
снизу—ясный полукруг.
Что за обруч, остывая,
в небо выкатился вдруг?

Кто кузнец надежды зыбкой
не на счастье—на покой—
с тихой любящей улыбкой,
с доброй книгой под рукой?

Как намёк на лучший жребий,
за которым вместе шли,
засиял высоко в небе
семицветный нимб земли.

Анна Сафонова

Чтоб лепет жизни не спугнуть…

Там, за горами, качается в люльке
Месяц растущий — закутанный свет.
Позднюю песню свою, посвистульку, —
Ветер выводит на старости лет.
Так надо мной, первобытной и смелой,
Тронул паук паутины струну.
Мне б нацарапать крошащимся мелом
Солнечный круг… А за ним — тишину!
Не нарисуешь, тайком не запишешь
Выпавших слов из горбатой строки.
Там, за горами, — шумишь и не слышишь —
Сеть занята, не проходят звонки.
Значит, зима… Вновь колдобы и наледь.
Месяц подрос и глядит свысока.
Люльку качнёт — и поднимется заметь,
И отодвинет, как тюль, облака.

Кого ты ищешь, лунный свет?
В каком, скажи, краю?
Быть может, той давно уж нет,
Но я взамен стою…
Ну хоть бы глянул на меня!..
Незрячий, что ли, ты?..
Всё пыжишься добыть огня
Для вечной мерзлоты…
Да что ж так холодно!.. Постой!
Вдруг я смогу помочь!..
Но оборвался свет пустой,
И вновь ослепла ночь.

Ни выгоды, ни боли,
Ни жертвы, ни огня…
Скажи-ка мне, доколе
Ты вытерпишь меня?
О глупый Мефистофель,
Балкон тебе закрыт!
Твой суррогатный кофе
Был выпит и забыт.
Ты — первый среди прочих,
Таиться — не с руки…
Вымарывай средь ночи
Из выцветшей строки
Свиданий наших даты.
Потух цветок огня…
Твои скупые траты
Лишь высушат меня.

Лети, мой ангел, над полями,
Где пробивается трава,
Над неспокойными домами
Лети, чтоб кругом голова.
Чтоб не напрасно волновалась
Моя поющая душа,
Само собою чтоб сказалось:
Жизнь удалась! Жизнь — хороша!
Я за тобой ещё успею,
Лишь это небо полюблю…
И ни о чём не пожалею,
И ничего не утаю!

Опять на улице зима,
Пинается метель.
Себе хозяюшка сама:
То — заметь, то — капель…
А то запрячется в туман
И, глядя с высоты,
Сплетёт нечаянно обман
Прозрачной наготы.
И кажется, что навсегда
Тебе согреет кровь
Вновь воссиявшая звезда —
Любовь.

Слышишь, как над нами
Шум стихает крыл? —
То над головами
Ангел наш проплыл.
В небе, где разлиты
Олово и медь,
Всё для нас открыто,
Нужно лишь взлететь.
Всё, что не бывает, —
Исполненья ждёт.
Хорошо, что в мае
Не растаял лёд.
И у самой кромки
Тенью у воды
Голос мой негромкий
Не зовёт беды…
Вот и пролетела
Новая весна.
Ах, недоглядела!
Заговорена…

* * *

Ты мне напомнила одну
Подсмотренную мной весну.
Девичий профиль той весны
Срисован с веточки сосны,
Упавшей поперёк ручья…
Картина, стало быть, ничья.
Но ради малой правоты,
Я подпишу, что автор—ты.
Чтоб среди мшистых рваных скал
Тебя луч солнца отыскал,
Чтоб выучить земля могла,
Какою юной ты была.
Растаяв, слепленный снежок
Ручьём бежит у самых ног.
И, вторя скрипнувшей сосне,
Я радуюсь твоей весне!

* * *

Хочу туда, где было лето,
Оно вовсю ещё шумит.
Полынным облаком рассвета
В глаза белужьи мне летит.

Мы вместе долго ликовали
На Средиземных берегах,
И сокрушали нас печали
В холодных питерских домах.

Московских улиц перешейки
Толкали к людным площадям.
И голос дудочки-жалейки
Взывал из перехода к нам.

Какое солнечное время
Теснилось в берегах реки
И было всех времён добрее,
И согревали—пустяки.

Хочу туда, где будет лето,
Где нарисуют новый путь,
Где снова облако рассвета
Не даст глазам моим уснуть.

* * *

Как часто про себя жалею,
Что не читаю по губам.
Сама не знаю, чем владею,
Твоим доверившись словам.
Да, я люблю пустые рощи,
Когда в них дотлевает снег:
Деревьев призрачные мощи
Купают корни в струях рек.
Я обещала быть к обеду…
Но кто-то мысленно за мной
Идёт, я чувствую, по следу.
Не ты ли это, ангел мой?
Не обернусь. Я не просила…
Но сколько можно разбирать,
В каких словах сокрыта сила,
Которую—не прочитать…

* * *

Всё, что имею, берегу.
А что, вы спросите, имею?
Припрятаны давно в фольгу
Цепочки тонкие на шею,
В оправе мелкий изумруд,
Кулон барочный с фианитом…
Теперь вам точно не соврут,
Что стал мой дом подобен скиту.
Мой дом—нора, но в нём живут
Такие призраки и судьбы,
Которым побоку уют—
Лишь было б место, где вздремнуть бы.
Какие здесь витали речи,
Так орошённые вином,
Что ульем становился вечер,
Гудящий мерно над столом…
Лишь книг зачитанных страницы
Взлетают, шелестя, вослед…
Не люди были—птицы. . .
Птицы,
Каких теперь на свете нет.

* * *

Сложу китайский зонт
И выйду прогуляться—
На лавовом плато
Под камнем заяц спит.
Прозрачен горизонт,
Дышу—не надышаться!
Хоть кутаюсь в пальто,
От радости знобит.

И Будда молчалив…
Над током и полями
Ладонями покрыл
И сдвинул небосвод.
О солнечный разлив—
Полмира под ногами!
И шорох птичьих крыл
Под облаком плывёт.

Тростник вдали звенит,
Играет с ветром в прятки,
Озёрная волна
Сбегает на восток…
Как подлинник, хранит
Звериные повадки
Поднявшийся со дна
Таинственный росток.

Прогулка удалась,
И я—китайский Будда—
Свободная расту—
Мешает потолок.
Откуда я взялась?
Не ведаю—откуда…
Но если расцвету,
Возрадуйся, Восток!

Вадим Коченко

Весёлое никто

Овражная проповедь

На фоне грязных штор
прозрачнее окошки.
У всех бездарных книг
изящные обложки;
У всех красивых жён
мужья такие лохи.
У благородных псов
породистые блохи.

На сломанных ногах
бегут быстрее в шоке.
Есть фарс в похоронах,
харизма в лжепророке…
На верхних этажах
до Бога путь короче:
Лишь сделал шаг в окно—
и всё. Без проволóчек.

При тусклом фонаре
массивней партизаны.
Дороги все ведут
в тропические страны.
Познавшие нужду
спешат в карман соседа;
Спасающие нас
спасаются от бреда.

Рождённые вчера
бегут к финалу кросса.
Наш путь—кулёк идей;
весь мир—кусок вопроса.

В стенгазету

Нарисую два минуса,
Назову это равенством.
Надо ближе придвинуться:
Молодые мне нравятся.

Я люблю полнолуние—
Так талантливо воется,
И в законе безумие,
И воинственно воинство.

Где-то там, в подсознании,
Конвульсивная Родина.
Но присяга у знамени
Слишком дёшево продана.

Мы стремимся запраздновать
Немоту абсолютную
И стыдимся по-разному
Ту, что губим салютами.

Не убивай меня непониманьем.
Прими как есть, крутых не надо мер.
Со временем развалится барьер—
Мы прекратим вещать на тараканьем.

Не унижай меня, во всём жалея,
Не обрывай сочувствием струну—
Я всё равно «на ручках» не засну.
Я сам! Мне надо выползти из клея.

Я стану подкормкой для вишни,
Как только мне скажут: пора.
Как только пойму, что я лишний,
Останусь для всех во вчера.

Стремился по тонким канатам
В своё бытие-шапито.
Молился, как правило, матом;
Откладывал жизнь на потом.

А время, за сутками сутки
Скачками—в глубокий овраг.
Когда-то кончаются шутки…
Печально, но всё это так.

На каждое новое «больно»
Я буду смеяться в котле.
А всё-таки было прикольно,
Когда я ходил по земле!

Ещё раз о войне

Вспышка. Больно. Пустота.
Был пацан—и нет солдата.
Так сбывается мечта
Пострелять из автомата.

У последней у черты
Человек, теперь уж бывший:
Бесполезные бинты
Не согреют взгляд остывший.

Рвётся нить, неверен ключ.
Вещи, ордена в пакете…
И заплачут из-за туч
Неродившиеся дети.

Холм. Оградка. Скорбь креста.
Фотоснимок. Дата—дата.
Вот и всё, сбылась мечта
Пострелять из автомата.

Не смотри в депутатские лица серийных маньяков,
Пробуждая в последних позыв искупленья греха
И желание сдохнуть под кем-то, по-детски заплакав;
Или вены вскрывать, игнорируя чёткость штриха.

Не кричи на собак, что кричат на твою сигарету—
Это слёзы и боль никогда не куривших собак.
Подсмотри в интернете чужие стихи и секреты.
Удержись на ступеньках крыльца в привокзальный кабак.

Разреши прикоснуться к твоим независимым темам
На рассвете, пока не пришла диктатура белья.
Поделись с близлежащим товарищем духом и телом
И начни продвиженье к разводу привычно—с нуля.

За глупый вопрос у лохматого деда
Я выменял право не спать по ночам,
И думать в тетрадь квинтэссенцией бреда,
И близких с собой приводить к палачам.

За десять минут до объявленной казни
Умру я от страха—ну ладно, ну трус.
Я думал, что смерть—это маленький праздник.
А смерть—это крупнозернистая грусть.

Под острым ножом скоростной гильотины
Диаметр шеи—последний рубеж.
Но есть позитив—излеченье ангины:
Здоровый, но мёртвый; не стар, но несвеж.

По твоим «ну и пусть» пропыхчу «Москвичом»,
Догоняя вчерашний троллейбус.
Эта ночь—не про нас, и кино ни о чём,
А с балкона—такая нелепость.

Про вчерашний звонок и сегодняшний снег
Говорят по второму каналу…
Я случайно забрёл: чай-бабай и ночлег—
И привык к твоему одеялу.

Я останусь на жизнь или просто пожрать
И с утра пылесосить жилплощадь.
Никакие стихи ни в какую тетрадь
Я не стану писать—это проще.

Когда меня разбудят спозаранок,
Борьба добра и сна идёт во мне…
«ТаТу» опять вербует лесбиянок
На популярной радиоволне;

По всем каналам голубых экранов
В рассветный час внедряют негатив.
На кухне затихает звон стаканов:
Соседи засыпают, не допив.

Но в новый день в такой вот атмосфере
Я всё равно с улыбкою вступлю
(Здесь можно в рифму что-нибудь о вере—
Но бог с ней, с верой): я тебя люблю.

Комариные укусы
В тонкой воле колют дыры.
Молодые Иисусы—
Никакие командиры.

Неразумные фанаты
Носят детские пинетки;
Пьют довольные солдаты
По три смерти из пипетки.

Никотиновое лето
Предвещает метастазы;
Меч античного скелета
Предлагает сдохнуть сразу.

Многотрудные задачи
Удлиняют жизнь на время.
Экзотичные апачи…
Впрочем, это не по теме.

Паутина обещаний
Преградила выход к морю.
Ангел с крупными прыщами,
Я с тобой уже не спорю.

Весёлое никто

А ты попробуй не упасть
С кривой кровати,
Когда горячечная пасть
Промолвит: «Хватит».

Когда очередной Большой
Прикажет: «В кому!»,
Тянусь упрямо всей душой
К себе, такому.

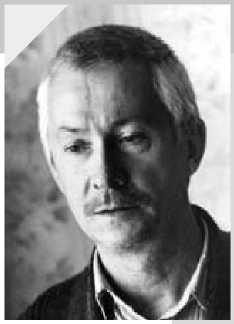
Вот хмурый цокольный этаж
И чьи-то ноги;
Вот Бог садится в экипаж…
Костюмчик строгий…

А я—весёлое никто,
Мне жить в подвале,
Курить бычки, читать Барто
В оригинале.

Старые привычки

Пока ракеты бороздят пространства,
И жизнь всё лучше, и всё ближе цель—
В моей семье, ячейке государства,
Опять на ужин варят вермишель.

Теперь детей клонируют из клетки.
Дитя в пробирке: прогрессивно—жуть.
Я, недотёпа, снова, как и предки,
Для этой цели сверху громозжусь.



Игорь Иванченко

Такова жизнь

Скрипач

Закрой глаза. Таинственным сверчком,
Творя в душе музы́ки мессианство,
Скрипач наканифоленным смычком
Раздваивает время и пространство…

Как будто стайки снегирей летят
На свет рябин — магические звуки
В душе моей измученной хотят
Соткать печаль из радости и муки…

Рябину птицы расклевали в кровь.
У ноября манишка белоснежна.
А музыка Вивальди неизбежна,
Как неизбежна к музыке любовь.

Вновь скрипка прикорнула на плече;
Скрипач к ней голову склонил, и — звуки
Меня вернули к жизни из разлуки,
Как будто я читаю при свече

Стихи любимой, а она, внимая,
Робеет в ожиданье перемен…
…Скрипач колдует, душу вынимая
И — вкладывая музыку взамен…

О музыки мистическая власть,
Дарующая и мечты и грёзы!..
От скрипки напечаловаться всласть,
Смахнув ладонью восхищенья слёзы.

О музыки прельстительный полон!
О музыкант, моей судьбы вершитель!
…Скрипач отвесил публике поклон
И… воспарил, бессмертный небожитель…

Такова жизнь

И. И. И.

Зубрил правописание «жи-ши» —
по-русски правильно мели, Емеля!..
На жизнь остались жалкие шиши,
до пенсии — аж целая неделя.

В окно бесстыже пялится Луна,
а я брожу по комнате в исподнем,
стих сочиняя. Лирики струна
звучит мне вдохновеньем новогодним…

Хрупка полночной рифмы оборона —
пробью… Усну. Залётная ворона
разбудит, горлопанка, поутру,

на тополе заснеженном присев.
Мне жизнь собачья явно по нутру.
Жизнь — это смерти ласковый припев…

Ноет в районе сердца, печаль светла —
К дому вернулся один, точно перст, бродяга,
Где без него медленнее росла ветла,
Ласковая и лохматая, как дворняга…

Каменным гостем вошёл и застыл, истукан,
Покочевавший по родине, им любимой, славно:
Высохшим хлебом тонкий накрыт стакан —
Умер давно отец, мать умерла недавно…

Пахнет ладаном в доме. Фото стоит —
Мать, молодая, красивая, чисто ангел.
Гвоздь раскаянья в душу по шляпку вбит,
Как в фундамент дома — железный анкер…

Впору завыть, словно волк, — на Луну,
То ли оплакивая их, то ли их отпевая…
Холод могильный в дом, тоску навевая,
Змеёй заползает сквозь полночь и тишину…

Может, душа поможет жить на земле
Так, чтобы совесть жгла, но утихали боли?..
…Фото матери светит, словно маяк во мгле,
Словно солнце узнику — с воли…

Живёт в Москве Владимир Салимон,
Поэт, и обо мне совсем не знает.
А здесь мне время — мудрый Соломон —
Грибным дождём прозрачно намекает:

Проходит всё… И это, мол, пройдёт.
Сначала осень в отчие пределы,
Где завтра птичьи стаи поредеют,
Захватчиком любимейшим войдёт…

И — всё на свете будет ей к лицу:
Туман с реки, зардевшиеся клёны
И дождь, соавтор ветру-подлецу, —
Вредитель листопаду и влюблённым…

…Благое время быстро пролетело.
У зрителей надеясь на успех,
Зима, как Дездемону — мавр Отелло,
Задушит осень на глазах у всех…

А после — в новый саван завернёт
И похоронит где-то под снегами…
И лишь журавль — сибирский оригами,
Любивший осень, — в Африке всплакнёт…

И. И. И.

Неприступным для тела
становится юности замок:
Время — цепи гремят —
за спиной поднимает мосты…
В организм, как захватчик,
вторгается старости амок[1],
И симптомы её — на лице —
до бесстыдства просты…

Утром в зеркало глянешь —
без медиков точный диагноз;
Лучше бы не смотреть —
от расстройства душа заболит…
(Вмиг столбом соляным,
словно дочери Лота, стал агнец;
В атмосфере сомнений
сгорает надежды болид…)

Время — скульптор безжалостный:
видишь, уже засверкал
В гениальной руке
облик твой искажающий шпатель…
Может, было бы лучше
лишиться правдивых зеркал, —
Точно брак гончара,
стёкла вдребезги расколошматить?..

Только вряд ли поможет:
на зеркало неча пенять,
Коли рожа кривеет,
легко одеваясь в морщины…
Изгоняет нас возраст
в пустыню из райских пенат,
И — чуть менее женщин —
от этого плачут мужчины…

Старость — Гидра Лернейская,
старость — Медуза Горгона:
Взгляд — ты в камень;
холодной обиды ушат…
(Если воздух лишить
одного компонента — аргона,
Мы не сможем нормально
ни жить, ни любить, ни дышать…)

Жизни воздух горчащий.
Не жду ни спасенья, ни чуда.
Видишь, лодку смолит
перевозчик в хитоне до пят —
Неизбежный Харон…
Я — скорее Иисус, чем Иуда:
На погостном кресте
скоро старостью буду распят…

В тонкой сеточке трещин,
Джоконда и Маха из рамок
Улыбаются мне…
И на бронзе — веков патина.
…Память выйдет на штурм,
чтобы взять давней юности замок;
И — разрушится в пыль
неприступная с виду стена…

Рифмовать стихи, видно, не к добру:
Пуст карман, жена насовсем ушла…
Я под шелест снега сойду с ума.
Я под ветра вой навсегда умру.

Вот зима ведёт ноябрь под уздцы,
Как сибирского скакуна перед забегом.
А поэты все, в незнаемое ездцы,
Аж до рифм пронизаны гиблым снегом…

Вот зима с куплета перешла на припев;
В бренном теле моём замёрз каждый атом.
Это ветер, не на шутку рассвирепев,
Снова кроет меня продувным матом…

Осень кончилась. Стало бело поутру.
Продолжение жизни — смерть-подземка.
Я под ветра вой навсегда умру,
И — напишет эпитафию мне позёмка…

Скрипка и кларнет

И на бедной выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.
Борис Поплавский

В час, когда влюблённый ищет ровню,
В час, когда Луна идёт на нет,
Истекая музыкой, как кровью,
Умирают скрипка и кларнет…

Всё, что Родиной моей зовётся,
Всё, что бережно хранит душа,
Музыкой, как пламенем, займётся…
Купол мирозданья сокруша,

С мест насиженных сорвутся звёзды
И — сгорят, где в небо взгляд разверст…
И — перечеркнёт скитаний вёрсты
Инструментах лишь о двух оркестр…

Над стыдом рассветным краснотала,
Над душой, что в облака рвалась,
Музыка прекрасная витала
И — как чья-то жизнь — оборвалась…

Пусть судьба накажет за ошибки,
Пусть оттачивает смерть стилет, —
Я умру под причитанье скрипки
И под плач, что издаёт кларнет…

Завтра я, как музыка, воскресну,
И к тебе сквозь миллиарды лет,
Через жизнь, без вдохновенья пресну,
Поведут и скрипка, и кларнет…
. . . .
Снова, в Берлиозе умирая,
Остановят в двух шагах от ада
И к вратам перенаправят рая
Скрипка и кларнет — души отрада…

1. Амок — психическое заболевание.

Виктория Чембарцева

Межсезонье

Предощущение весны

Ещё коростой — вмёрзший в крыши снег…
Чернеет пустотой гнездо сорочье…
Но отдаёт слегка дубовой бочкой
уже вино из кружки на огне…

Меж рамами застыл крылатый прах
нашедшей свой приют осенней мухи…
А пред Крещенской службою старухи
судачат что-то о чужих грехах…

По снегу пеплом в томности лучей
слепое солнце тянет длинно тени,
но слышится весны предощущенье
в обледенелом шёпоте ветвей…

Межсезонье

Весну уже недолго умолять:
«Дождливой акварели для отмывки
и ветра, расплетающего нитки
лучистых дней из пряжи февраля»…

Состаренною бронзой бьют часы,
слегка встревожив пыль на фортепьяно…
Вивальди… «Шардоне» с кислинкой пряной
в бокале тонконогом… На весы

саднящих прошлым въевшихся потерь —
для уравненья колебаний чаши
(и то и это — неразрывно наше) —
объёмный клок из ватного «теперь…»

Чернильной кляксой стаи воронья
на омуте линяющего неба,
нечёткий абрис тающего следа —
свидетельства сезонного вранья.

А, под зонтом ссутулившись, душа,
продрогшая от степени сомнений,
в пространстве временны́х несовпадений
бредёт по межсезонью не спеша…

Светопадение зимы

зернистым подаяньем, снежной манной
не долетит… оттаявшим дождём,
слепою взвесью волглого тумана
прильнёт к земле… и тёплым декабрём,

как ангел падший, обронивший перья,
несущий свой насущный южный крест,
продрогнет от сомнений и неверья
зима… светопадение небес…

В твоих словах живёт печаль…

Сергею Пагын

в твоих словах живёт печаль —
я слышу… тихо тают свечи,
чуть сладковат лампадный чад,
и шепчет сны сверчок за печью.

сквозь дым надтрубный — неба стынь —
так вымораживает душу
чужая боль, и слёз полынь
твердит отчаянное: «слушай!»

скрипит колодезный журавль.
сквозняк меж рам тепло уносит
в промозглый и сырой ноябрь.
за пазухой согреться просит

былинка… суета сует…
а мир — такой же, как и раньше…
в твоих словах печаль… и свет,
и искренность без пятен фальши…

Февраль

Триптих

После…

когда по пульсам сорванных минут,
украденных украдкой в стылой бездне,
все тени от шагов моих замрут,
спугнув ворон, собравшихся к обедне,
бесцветность неба высинит эмаль…
увидишь ли меня?!.. когда февраль…

До…

а если расплескать слова!..
а если не заметить время!..
от близости сойти с ума
и стать хоть на момент лишь теми,
о ком тоскуют голоса,
и память — запахом жасмина,
твой взгляд, и летняя река,
и ветер равнодушный в спину…

июнь уйдёт в закат… как жаль!
а я жива тобой… февраль…

Навсегда…

земле не испить до дна луны,
а небу не трепетать корнями,
и для Горизонта они равны,
как мы и февраль, болеющий нами…

Кишинёвское наводнение. Четверг. Через час после дождя…

За десять минут до своей внезапно произошедшей нелепой смерти
она строила радужно-светлые планы на скорое будущее,
отправляла куда-то совсем немодные письма в бумажном конверте,
ругалась на сонную нерасторопность ленивых почтовых служащих…

За семь часов до того, что потом случилось прозрачным июльским утром,
она, босая и в майке, варила на кухне дешёвый арабский кофе,
пила его маленькими глотками, поджавши ноги в кресле уютном,
и ничего не подозревала о приближающейся катастрофе…

Когда ей было лет девять-десять, ей очень хотелось стать знаменитой:
читать о себе большие заметки под фотографиями в газетах.
«После дождика в четверг»,—язвили соседки, смеясь в лицо ей открыто…
Четверг и дождь… Она утонула на улице в центре Европы где-то…

Через час после смерти своей жизни она вдруг неожиданно стала
трагической жертвой ливневого дождя, записью в полицейском журнале,
двухминутной героиней центрального новостного телеканала,
телом под упаковочной бумагой, которое так и не опознали…

На тысячи вечностей

Терракотовый воин на верность не нам присягал.
За мгновение тысячи лет прикоснулись к Лишаню.
Охраняет в молчании армия Цинь Шихуана.
Император, Стреноживший Время,—он, видимо, знал…

Он, наверное, знал о вселенской бездонной тоске,
захлебнувшейся слепнущим солнцем, погашенным в ливнях;
одиночество—чувство, которое не осчастливит
ни царей, ни богатых лишь живностью на волоске…

Облекаются дни в непосильную радость из снов
ожиданьем, что всё впереди и что всё ещё будет…
За грудиною гулко стучит терракотовый бубен,
присягая на тысячи вечностей слову *любовь*…

Рождённая пустотой

Просыпается левая грудь её раньше правой,
и жемчужный тёмный сосок упирается в небо.
На губах—немеющий голос, звучащий отравой,
послевкусием сладких грехов и именем Ева.
Под ладонями лёд, обезумев от жара пальцев,
проливается диким соком над жертвенной чашей.
Под босыми ступнями дымятся пути от танцев,
и мерцают глаза-обереги зелёной яшмой.
За щекою утраченность слов собирают осы.
Молчаливостью горсть тишины наполняет уши.
Прорастают горчинкой полынной сквозь дни вопросы,
и ответит на них лишь ветер, умеющий слушать…

Дилемма

«выхода нет[у]»—
предупреждают врата
адского входа…

яблоки сохнут.
засуха в райском саду—
сущее пекло…

можно в трудах добывать
воду для Сада…
можно дождаться, когда
сделают выход…

Иллюзия свободы

венчику злака
кажется, будто бы он—
песнь муэдзина…

зёрнышком мака
видит себя океан
в детской ладошке…

мысли—начало пути
к мнимой свободе.
для заблуждения всем
хватит иллюзий…

Николай Кавин

Отзвуки

Записки радиожурналиста

С благодарностью вспоминаю тот день, час, ту минуту, когда мне в голову пришла мысль записать для всероссийского радио Виктора Петровича Астафьева.

К тому времени закончилось моё пребывание в Красноярске, я возвратился в родной Петербург и начал работать на «Радио России». Сетка вещания телерадиокомпании периодически перекраивалась, обновлялась, из неё уходили морально устаревшие программы, появлялись новые, отвечающие духу изменившегося времени. Когда появилась рубрика «Литературные чтения», наши режиссёры на свой вкус стали выбирать те или иные литературные произведения, приглашать актёров, и те без репетиций, «с листа», читали их. Поскольку и режиссёры, и актёры были людьми профессиональными, получалось неплохо. Но меня почему-то не покидало чувство неудовлетворённости. Ну хорошо, если говорить о классической литературе, конечно, не пригласишь к микрофону Александра Сергеевича, Михаила Юрьевича, Николая Васильевича, Фёдора Михайловича… Да мало ли ещё достойных литераторов было в России. Но почему рассказы или повести современных авторов, тем более живущих в городе на Неве, читают актёры? Ведь никакой, даже самый великий, артист не прочтёт так, как это сделает автор. Пусть без артистического блеска, пусть не очень внятно дикционно, но ведь авторская интонация, отношение к своим героям во сто крат дороже.

И потихоньку, никому ничего не говоря, я начал осуществлять свой план — записывать самих авторов. В первую очередь позвонил Борису Натановичу Стругацкому, с которым в последнее время довольно много общался, но по заданию главного редактора записывал, в основном, его отклики на общественно-политические события в стране. Так или иначе, мы часто встречались, я знал его телефон, бывал у него дома, и, главное, он меня хорошо знал. К моей радости, Стругацкий сразу же согласился. Но с условием:

— Я никуда ездить не буду. Приезжайте вы ко мне. Надеюсь, у вас есть профессиональная аппаратура, чтобы записывать у меня дома?

— Конечно, — с трудом скрывая радость, вымолвил я. — А что будем писать?

— Какого объёма должен быть материал?

— Пять или десять передач по двадцать пять минут.

— Тогда… — на том конце провода повисла пауза — Борис Натанович размышлял. Затем врастяжку произнёс: — Тогда, по-жа-луй, «Улитка на склоне».

— Прекрасно! Когда я могу вас навестить?

Стругацкий назвал день и час встречи.

И вот я в гостях у Бориса Натановича.

Мэтр отечественной фантастики удобно расположился в любимом кресле. Верхний свет был погашен, в полумраке кабинета поток света от торшера выхватывал только книжку в руках автора да мою руку, держащую микрофон. Таинственная, чуть фантастичная атмосфера — под стать литературному материалу.

— Я готов, — произнёс Стругацкий.

Я был готов давно, оставалось только нажать кнопочку «Запись» и произнести сакраментальное:

— Пишем!

«Улитка» была прочитана мною давно, содержание её я помнил и следил не за сюжетом, а за тем, чтобы не было оговорок. Но вскоре поймал себя на том, что и это ушло на второй план. Я вслушивался в интонацию голоса Стругацкого, чуть хрипловатого, но энергичного, я бы сказал — «делового», если можно было применить этот термин к этой ситуации.

В голове мелькнула мысль: «Какая радость — я первый слышу, как сам Стругацкий читает свою «Улитку на склоне», и я могу сделать это достоянием многих».

Одна неприятность — державшая микрофон рука затекала. Я подставлял под локоть ладонь другой руки, опирался на подлокотник кресла Стругацкого, извиняюще улыбнувшись в ответ на его вопросительный взгляд, снова вытягивал руку перед собой.

Но все мои страдания были ничто по сравнению с результатом — в течение двух недель голос Бориса Стругацкого звучал в эфире. Пришло несколько писем, в основном благодарственные, одно — ругательное: престарелая бабуля «ни черта не поняла в этой белиберде».

Успех окрыляет, и я задумался над тем, кто будет следующим моим героем. Долго ломать голову не пришлось. Конечно, обаятельный душа-человек Виктор Конецкий. Я у него тоже бывал пару раз, знал о его нелёгкой судьбе моряка-спасателя, знал, что вся нижняя часть его тела обморожена и самое удобное для него положение — беседовать с гостем, полулёжа на огромной тахте.

Это была картина, достойная кисти… Два взрослых мужика развалились на тахте. У одного в руках книжка, у другого микрофон. Один, грассируя «р», читает свои смешные морские рассказы о Пете Ниточкине, другой беззвучно трясётся от смеха (микрофон включен!).

Весело было и в эфире. И письма приходили весёлые и благодарственные.

С Валерием Георгиевичем Поповым было както обыденно. Он пожелал записываться в студии, чтобы всё было серьёзно — как сейчас говорят, по-взрослому. Рассказы он тоже читал смешные: про себя, наивного, и про своих знакомых-чудаков. Но мне было неинтересно. Я не соучаствовал в этом процессе. За пультом сидел звукорежиссёр, крутился на магнитофоне километровый «блин» плёнки. А я с книжкой в руках следил по тексту, чтобы не было оговорок, выполняя, по сути, техническую работу. Нас с Поповым разделяло не только толстое стекло, но что-то большее, что стало непреодолимым препятствием для общения. Единения между нами не было, как в случае со Стругацким и Конецким. Запись, конечно, вышла в эфир, но отношение у меня к ней осталось какое-то отстранённое. Я даже немного расстроился. Но…

Но тут я вспомнил об Астафьеве.

…Это были самые радостные, самые счастливые годы моей жизни (это я понял потом, спустя много лет). Четырнадцать лет я жил в Красноярске, работал в театре юного зрителя сначала актёром, потом заведующим литературной частью. Но моим условием перехода на новую должность было желание по-прежнему выходить на сцену. Сначала это условием соблюдалось, но потом приходили новые режиссёры, которые изначально воспринимали меня как завлита и не видели во мне актёра. И я стал играть всё меньше и меньше. Обижался ли я? Конечно. Как и любой человек, которого лишили любимого дела. Отдушину находил в литературной работе, в общении с интересными, замечательными людьми. И первый среди них — Виктор Петрович Астафьев.

Никогда не забуду первую встречу с ним.

Весною 1983 года ТЮЗ остался без завлита. Милая дама, которую, по-моему, звали Лена (фамилию память не сохранила), окончившая ГИТИС и поступившая в аспирантуру, неожиданно забеременела. Рожать приехала на родину, к маме, в Красноярск. Воспитывала ребёнка, в свободное от этого важного занятия время работая в театре. И вот отпросилась на недельку слетать по личным делам в Москву. И не вернулась. Прислала лишь привет телеграммой. Мол, извините, сами понимаете: Москва, ГИТИС, аспирантура, восстановилась — прости-прощай, ТЮЗ. А на носу гастроли, самая горячая пора для завлита — реклама, статьи, теле- и радиопередачи в чужом, незнакомом городе. Руководство театра в задумчивости. А я к тому времени играл мало, литературой интересовался всегда, работу завлита умозрительно представлял. И, набравшись смелости, подошёл к главному режиссёру А. И. Каневскому:

— Предлагаю свою кандидатуру.

Александр Исаакович удивился такому повороту событий, был к нему явно не готов.

— Дайте подумать до завтра.

На следующий день сам нашёл меня:

— Я не против. Иди к директору. Оформляйся.

Так нежданно-негаданно я стал помощником главного режиссёра ТЮЗа по литературной работе.

Испытания гастролями выдержал. В отпуске укрепился в своём намерении серьёзно заняться литературной работой, собрать историю театра и, может быть, когда-нибудь, со временем, написать книгу о родном театре.

Незаметно минул август. В последних числах — традиционный городской педсовет. Просят прийти, рассказать о театре, репертуаре, новых спектаклях. Впервые я должен выйти на такую большую и серьёзную аудиторию, как учителя Красноярска. От моего выступления в какой-то мере будет зависеть, возникнет ли у них интерес к детскому театру, захотят ли они стройными колоннами привести своих детей к нам в театр.

Прихожу, поднимаюсь на сцену. Заведующая гороно говорит вступительное слово и спускается в зрительный зал. И мы остаёмся на сцене вдвоём… с Виктором Петровичем Астафьевым, тоже приглашённым на педсовет. Он выступает первым. Говорит о престижности профессии учителя, вспоминает своих учителей, рассуждает о великой роли книги в воспитании детей, рассказывает, какие первые книги он прочитал в детстве… Короче говоря — страстное выступление умудрённого опытом человека, прошедшего непростой жизненный путь от сироты из детского дома Игарки до выдающегося писателя…

Сижу, дрожу, безумно волнуюсь: что я могу сказать учителям Красноярска после такого выступления Астафьева?

Он заканчивает, идёт ко мне, садится рядом. И, видимо, понимая моё замешательство, толкает локтем в бок:

— Давай. Не волнуйся. Просто расскажи, как ты любишь театр.

Встаю, на ватных ногах выхожу на авансцену. И тут понимаю, что вольно или невольно Виктор Петрович подсказал мне ключ к выступлению. Ну что учителям скажет простое перечисление спектаклей, имён драматургов? Не пересказывать же содержание пьес, не перечислять же имена актёров. Нужно сказать что-то эмоциональное. И невольно в памяти всплыли воспоминания о том, как я сам мальчишкой впервые пришёл в театр, на спектакль Ленинградского ТЮЗа. В какой удивительный мир я попал, сколько радости приносили мне новые свидания с театром. Я почувствовал перемену в себе, которая определила мои увлечения и интересы, я невольно потянулся к книгам, чтобы побольше узнать о юном Пушкине после спектакля «В садах лицея», прочитать что-то о герое гражданской войны Олеко Дундиче, увидев его на сцене…

Я всё больше увлекался, становился свободным, раскованным. Перешёл к рассказу об истории красноярского детского театра, созданного ленинградскими актёрами, известными ныне всей стране.

— А какие авторы украшают афишу театра сегодня: Ростан, Пушкин, Грибоедов, Тургенев, Булгаков, Леонов, Шварц, Хармс…

Я забыл про всё на свете, забыл, что за моей спиной сидит Астафьев. Я соловьём разливался: какой замечательный у нас театр, какие прекрасные у нас спектакли, артисты…

Конечно, это не могло продолжаться долго, вскоре я иссяк, и… на меня обрушились шквалом

аплодисменты. Я беспомощно обернулся назад. Астафьев тоже аплодировал, и когда я подсел к нему, шепнул:
— Молодец.

Я прекрасно понимал, что такого выступления мне уже никогда в жизни больше не повторить и что «виновником» сегодняшнего моего «вдохновения» был он, Виктор Петрович Астафьев.

После этого педсовета мы встречались не раз, и неизменно Виктор Петрович относился ко мне доброжелательно, может быть, памятуя о нашем совместном выступлении.

Но вот настал печальный день моего прощания с городом на Енисее. В Ленинграде скончался отец, мать-старушка осталась одна. Я вынужден вернуться в город детства, юности, хотя и Красноярск стал для меня родным.

С работой повезло. Приехав пока в Ленинград в отпуск, разбирая вещи, пришедшие контейнером из Сибири, услышал по радио передачу о полюбившемся Хармсе. Прибавил звук. В конце услышал: «Редактор передачи Вера Печатникова, режиссёр Галина Дмитренко». С Верочкой мы учились в школе в параллельных классах, потом работали на ленинградском телевидении, потом она поступила в институт культуры, через год и я стал студентом этого же вуза. А Галка Дмитренко была на два курса старше меня, организовала студенческий театр, в котором одно время играл и я. Милые девочки, сколько лет прошло. Бросился к телефону. Звоню на «Радио России». В ответ: «Домашних телефонов сотрудников мы не даём». Прошу, умоляю, объясняю, что мы старые школьные друзья с Верочкой, что много лет я не жил в Ленинграде, мы так давно не виделись. Уговорил. Дали мне телефон Печатниковой.
— Привет! Ты же где-то в Сибири.

Рассказываю о своей ситуации: вот, возвращаюсь, ищу работу.
— Так давай к нам. Только что начал работать в Ленинграде филиал всероссийской телерадиокомпании. Люди нужды. Приезжай, поговорим с главным редактором.
— Я завтра улетаю. Числюсь пока в отпуске, надо вернуться, передать дела, уволиться, сняться с прописки. Совсем перееду недели через три.
— Мы подождём.

Подождали. Взяли меня сначала с испытательным сроком, потом в штат. Так я далеко не в юном возрасте стал осваивать новую профессию — радиожурналиста.

Каждое лето прилетал в отпуск в Красноярск, к семье. И старался выполнить задание главного редактора — побеседовать с Виктором Петровичем Астафьевым на ту или иную тему. Звонил, напрашивался в гости. И не было случая, чтобы Виктор Петрович отказал. А однажды я записал на открытии новой детской библиотеки его интереснейшие воспоминания о своём детстве, детском доме, о первых прочитанных книгах.

Таких встреч, бесед-записей было несколько. Слава Богу, они сохранились. Расшифрованные, были опубликованы в первую годовщину ухода Астафьева в журнале «День и ночь» (№ 7–8, 2002 г.).

Последний раз мы виделись в Петербурге, когда Виктор Петрович приехал на литературную конференцию. Проходила она в здании Национальной библиотеки на Фонтанке. В ходе конференции была запланирована и встреча с Астафьевым.

Я встретил его на улице, у входа, проводил на третий этаж. Виктор Петрович, конечно, узнал меня, сам вспомнил наше знакомство на педсовете пятнадцать лет назад, расспросил, как мои дела, как работается на государственном радио. Но тон его вопросов был не то что равнодушный, но какой-то грустный. «Весёлый солдат устал», — подумал я. Выступление Астафьева на этой конференции я тоже записал, оно опубликовано там же.

Но вернёмся в год 1998-й.

Морозным январским утром пришла мне в голову мысль продолжить «Литературные чтения», записав Виктора Астафьева. Пришёл с этой идеей к главному редактору Наталье Александровне Уховой. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего:
— Да что вы! Где мы — и где он. Сибирь — не ближний свет. Да и даст ли руководство деньги на такую дорогую командировку?! Но главное, согласится ли Виктор Петрович? Я не уверена. Это же Астафьев!

Я стал убеждать, что мы давно знакомы, что Виктор Петрович хорошо ко мне относится. И для убедительности рассказал о нашем совместном выступлении на педсовете. Наталья Александровна пристально смотрела на меня и молчала.
— А давайте я вот прямо сейчас ему позвоню.

Достал из кармана предусмотрительно захваченную из дома записную книжку с телефонами. Взглянул на часы, мысленно прибавил четыре часа, отметил: «Ещё не поздно». Ухова продолжала изучать меня пристальным взглядом, как сбежавшего из дурдома сумасшедшего, не очень опасного, вспышку активности которого нужно просто переждать. На моё движение к телефону ответила разрешительным жестом: пожалуйста!

Ни разу в жизни я ещё не набирал телефонный номер с таким волнением. Замер в ожидании. Несколько секунд спустя слышу на другом конце провода чуть изменённый расстоянием и помехами знакомый голос Астафьева.
— Виктор Петрович, здравствуйте, — кричу. — Это Николай из Санкт-Петербурга, бывший завлит ТЮЗа. Мы с вами вместе выступали на педсовете во Дворце пионеров, — выкладываю свой главный козырь, чтобы уж точно он вспомнил меня.
— Привет, Николаша! А ты чё орёшь, я тя прекрасно слышу.
— Виктор Петрович, — уже тише, но с напором продолжил я, — я работаю на «Радио России»…
— Да помню я, помню…
— Мы затеяли новый цикл передач — «Литературные чтения», в котором сами писатели читают свои произведения…
— Ну что ж, дело хорошее.
— А если я прилечу в Красноярск, вы согласились бы записаться?
— А отчего же нет? Попробуем…
— Когда вам удобно?

— Давай… — небольшая пауза. — Давай в начале февраля.
— Хорошо. А что читать будете?
— Да, пожалуй, «Последний поклон». Там много отдельных рассказов. Выберем сколь надо.
— Мне билет надо брать заранее. На какое число?
— На первое-второе февраля и бери. Как возьмёшь, позвони.
— Обязательно, Виктор Петрович! До встречи!
— Бывай!

Мне показалось, что весь разговор я провёл на одном дыхании, потому что только после того, как я повесил трубку, тяжело выдохнул.

И взглянул на главного редактора. «Ненормальный», — читалось в её взгляде.

— Виктор Петрович ждёт меня в Красноярске первого-второго февраля, — не обращая внимания на её отношение ко мне и стараясь быть спокойным, отчётливо, как на занятиях по сценической речи, произнёс я.

— Пишите служебную записку на командировку. Да не забудьте принести её мне на подпись.

Последняя фраза догнала меня уже в дверях.

…Зима в тот год выдалась не очень холодная. Во всяком случае, сильных морозов я не запомнил. Зато прекрасно помню, как каждое утро за мной заезжала японская «Мазда» (мне дали подотчётные деньги, чтобы я заказывал машину для Астафьева), и водитель Серёга мчал меня с Нефтебазы в Академгородок.

Виктор Петрович уже ждал нас, садился в машину, и мы ехали на красноярское радио. Его мало интересовали технические детали записи.

— Не говорите прямо в микрофон, чуть в сторону, чтобы поток воздуха шёл мимо и не было «задувов», — наставлял я его.

— Хорошо, хорошо, — как от назойливой мухи, отмахивался от меня Астафьев, не отрывая взгляда от книги.

Он был уже сосредоточен на сути того, что ему предстояло читать.

Читал он прекрасно. Спокойно. Уверенно. И поразительно — вновь, в который уже раз, переживая судьбу своих героев.

Я планировал, что 15 передач по 25 минут мы будем записывать минимум неделю: волнение, усталость автора, остановки, перезаписи, перерывы-перекуры. Ничего подобного. Все рассказы были записаны с одного раза, без дублей, и мы уложились в три дня. Предвкушая три-четыре свободных дня, в хорошем расположении духа в последний день записи, 7 февраля 1998 года, я провожал Виктора Петровича домой. Он пригласил зайти к нему и по поводу «окончания нашей эпопеи» попить чайку. И пока Петрович готовил нехитрое угощение, мне пришла в голову мысль — записать рассказ Астафьева о том, как писался «Последний поклон».

— Вот чёрт неугомонный! Мало меня терзал.
— Это будет первой, вступительной передачей. Как эпиграф!

Этот довод Виктора Петровича убедил, и мы ещё и дома записали большую беседу. А потом ещё одну.

— Всё! Всё! — взмолился Петрович. — Сворачивай свою аппаратуру.

…Монтаж был «кровавый». Во-первых, огромный объём работы. Во-вторых, хотелось как можно чище вырезать оговорки, лишние паузы.

И вот всё готово. 1 мая 1998 года, в день рождения Виктора Петровича, в эфир вышла первая передача, а за ней и все остальные. В конце апреля я отправил письмо Астафьеву с поздравлением с днём рождения и вопросом, куда переводить гонорар (реквизиты счёта в банке или Сбербанке). Он оперативно ответил. Но оказалось, что наша бухгалтерия не имеет права отправлять деньги на счёт физического лица — только организации.

«Что делать? — спрашиваю Виктора Петровича в следующем письме. — Можно ли послать деньги почтовым переводом?»

Письмо, пришедшее в ответ, сохранилось в моём домашнее архиве. Публикую его впервые, так как содержание этого вроде бы личного письма выходит за рамки наших отношений по поводу радиозаписи.

«Дорогой Николай!
Из всех передач мне удалось послушать лишь четыре, но и этого достаточно, чтобы уяснить, что получилось всё хорошо, а то я боялся, что в той занятости и усталости, в каких я пребывал зимою, ничего вообще не получится. Народ, какой слушал передачи, в восторге, ибо устал от политической и прочей срамной болтовни.

У нас предвыборная кампания — сплошной стриптиз был, полное обнажение дури, безнравственности полной и шкурного скотинства. Особенно преуспел в *(неразб. — Н. К.)* так называемый «действующий губернатор», вот уж дошёл человек до такого грехопадения, какого даже я от него не ожидал. Во что делает жажда власти, вот какая пакостная это сила! Будто и не жить человеку на этом свете, не смотреть в глаза людям.

В марте мне удалось 10 дней пожить в доме отдыха, сюда я приехал 10 мая, и хотя ничего не делаю, даже писем не пишу, до сих пор не могу свалить с себя усталость и полную разбитость. А может, это уже непобедимая старость вплотную подступила и берёт за горло. Во всяком разе, еле ноги волочу, и всё время хочу спать, и сплю безобразно много, но без толку.

Коля-Николаша! Если с деньгами путаница, пусть бухгалтерия ваша переведёт их по почте на мой домашний адрес. Я знаю, что за переводы много берут, но это всё же лучше, чем деньги заблудятся и пропадут; и ещё — ты сулил мне прислать уже полностью смонтированные передачи. Будь любезен — перешли, мне хочется иметь эту плёнку. И благодарю за то, что хочется иметь передачи, а то ведь случается, что от чувства неловкости и глядеть-то на людей неловко.

Ты есть большой и очень настойчивый молодец, матюки получал, но дело делал и на профессиональном уровне. Спасибо!

Кланяюсь и желаю доброго здоровья.

В. Астафьев. 26 мая 1998 г.
с. Овсянка».

А тем временем стали приходить письма от радиослушателей со всех концов нашей необъятной страны. И раньше бывало, что на наши передачи приходили отклики. Но чтоб столько! И таких! Такого содержания! Это были слова, обращённые к дорогому, близкому человеку, откровенные до исповедей. Подчас полуграмотные пожилые люди писали Человеку, голос которого, то, что он читал, глубоко тронули душу людей у радиоприёмников. Он располагал к доверию. Это были письма доверительные, трогательные, подчас умилительные до слёз.

Это был голос народа в ответ на голос Большого писателя.

А письма всё шли и шли. Я собирал их в стопочку. Много раз собирался отправить их Виктору Петровичу. «Но,—думал,—вдруг ещё придут. Тогда все сразу». Ещё хотел их перепечатать, чтобы Астафьеву было удобнее читать и, если захочет, опубликовать. Отвлекало множество дел, огромный объём работы. Так я эти письма и не переслал Астафьеву, так он их и не прочитал. Простите, Виктор Петрович, виноват!

А когда Астафьева не стало, я устыдился своей вины перед ним, отложил все дела, разобрал все письма, напечатал их, и они были опубликованы в журнале «День и ночь» (№7–8, 2002 г.).

…Прошли годы.

Я делаю ремонт в квартире. Разбираю свои «архивные завалы» и… о, чудо! Нахожу пачку писем, адресованных мне и Виктору Петровичу. Судорожно вспоминаю, как могло случиться, чтобы десятки писем, отклики на нашу передачу пролежали несколько лет без моего внимания.

Вспомнил, что ровно через три года после премьеры, в мае 2001 года, весь большой цикл передач (без нашего участия) повторялся из Москвы. Но многие услышали эти передачи впервые. И вновь тот же эффект: проникновенный, задушевный голос Астафьева взволновал людей в самых отдалённых уголках страны. И вновь пошёл поток писем. Писем откровенных, доверительно-исповедальных. Я, честно признаюсь, воспринял это как «повторение пройденного», собирал эти письма. Вновь задумался, что надо бы отправить их Виктору Петровичу, но знал, что он болеет, находится в больнице. Успокаивал сам себя: «Вот поправится, тогда и пошлю»… А 29 ноября—отозвавшаяся острой болью весть: Виктора Петровича Астафьева не стало.

…И вот забытые письма выплыли на свет. Когда-то ведь это должно было произойти, не могли они исчезнуть бесследно. Разобрал их по датам получения, перечитал и понял, что, по сути, они являются продолжением тех писем, трёхлетней давности. Поэтому и продолжил условную нумерацию.

Надеюсь, и сегодня эти «отзвуки» нашей давней встречи с Виктором Петровичем Астафьевым будут интересны всем, кто чтит память писателя.[1]

ДиН стихи

Вероника Шелленберг

Возможность прощать

Что же ты, родная зима,
та ещё погодка на нуле…
загуляла где-то сама,
слякоть принесла в подолé.

Времени нарушился ход,
лужицей квадратной—каток.
Вроде бы грядёт Новый год,
а Дед Мороз приехать не смог.

Нам-то что сырой грязный снег,
с городской трухою на треть,
а где-то обманулся во сне,
зашатался бурый медведь.

Одинокий бродит в бору,
ведающий мёдом, ревёт,
горькую глодает кору,
что же тут не так—не поймёт…

Прощая любимых, прощайте навек, без оглядки,
и без эпилогов, постскриптумов, жалких ремарок.
Морозом побитые ягоды льдисты и сладки,
а первый снежок—примирительный чей-то подарок.

О, счастье—в порыве отчаянья пасть на колени!
Пролиться, рыдая, в сухие ладони обиды:
прости мне, любимая! Белою веткой сирени
снега всколыхнутся над городом, наголо бритым.

Прощая—прощайте! Особенно—осенью жадной,
разинувшей рот на чужой каравай подгоревший.
Возможность прощать—это данная свыше награда,
как этот снежок, первый раз до земли долетевший.

1. Письма радиослушателей В. П. Астафьеву читайте в следующем номере «ДиН».

Илья Иослович

Аспирантура и потом

Аспирантура

Это было замечательное время — с сентября 1965 года до конца сентября 1966 года. Я был очным аспирантом МФТИ, приписанным к Институту прикладной математики АН СССР (позднее ему было присвоено имя М. В. Келдыша). Институт находился на Миусской площади, и отдел 5, которым руководил Д. Е. Охоцимский, занимал целый этаж в одном из крыльев этого здания. Отдел тесно взаимодействовал непосредственно с Президентом АН СССР М. В. Келдышем и находился прямо в самом центре проведения исследований по космической программе. Мне не надо было утром вскакивать и мчаться на работу, что отравляло мне пять лет предшествующей жизни, я просто занимался наукой в своём естественном темпе и за этот год сделал на самом деле очень много. В основном я работал в научном зале Ленинской библиотеки, где всё время мог встречать своих знакомых, или в научно-технической библиотеке ГПНТБ на Кузнецком мосту. Время от времени ходил на семинары: семинар отдела, семинар моего руководителя В. А. Егорова в отделе и его же семинар в МГУ, семинар группы В. В. Белецкого и В. А. Сарычева, большой семинар Д. Е. Охоцимского в МГУ. Всё это было необыкновенно увлекательно.

Кроме того, я регулярно ходил на общемосковский семинар В. Ф. Кротова в МАИ и на семинар Н. Н. Моисеева в ВЦ АН СССР. Теория оптимального управления в это время бурно развивалась, и много молодых учёных торопилось сесть в этот поезд. Космические исследования ещё считались приоритетной областью, значительная часть статей в журнале «Космические исследования» поставлялась из отдела Охоцимского. Миша Лидов, замечательный человек, большой учёный и в будущем член-корреспондент Академии, заведовал в журнале разделом механики. Он меня всячески продвигал и печатал мои статьи без задержки. Люди наперебой просили рассказать о моих результатах на разных семинарах. Кое-кто из моих тогдашних знакомых и сверстников из ВЦ АН СССР потом стали академиками: Феликс Черноусько, Юра Евтушенко, Саша Петров.

Феликс Ерешко впоследствии консультировал проект канала между Тигром и Евфратом, а после был директором Института водных проблем. Одно время его сильно атаковали по поводу проекта переброски воды северных рек в Амударью, это приравнивалось к геноциду русского народа. Впоследствии, однако, высказывалось противоположное мнение, что если бы этот проект осуществился, то Средняя Азия осталась бы в составе Союза.

Я также подружился с Наташей Буровой, Игорем Крыловым и Игорем Вателем, очень интересным человеком и учёным. К сожалению, он вскоре умер.

Я хорошо его помню до сих пор, наши разговоры про исследование операций. Когда я договаривался с Н. Н. Моисеевым, чтобы ВЦ АН СССР было на моей защите диссертации ведущим предприятием, он сказал, что вряд ли сможет найти время, чтобы самому написать отзыв. «Но у вас столько блестящих мальчиков!» — «Да, — сказал он, — это верно». Отзыв написал Игорь Крылов — кстати, с большим пониманием материала. Чтобы труд не пропадал зря, он тут же написал статью о том, как к этой задаче можно применить его численный метод.

Моими оппонентами были А. М. Летов и В. Ф. Кротов. Летов был в этот период президентом ИФАК (Интернациональной федерации автоматического управления), а Кротов был автором новых математических методов, на основе которых были построены мои решения. В. В. Белецкий тоже предлагал свою кандидатуру в оппоненты, но я всё-таки предпочёл Кротова, так что, мне кажется, Белецкий немного обиделся, хотя он специально поехал в Долгопрудную слушать защиту. Кстати, Летов пригласил меня на работу в свою лабораторию в Институте проблем управления после окончания аспирантуры. Я согласился и считал, что вопрос о дальнейшей работе решён. Тем больше было моё разочарование, когда впоследствии выяснилось, что Летов не предпринял в действительности для этого никаких шагов, и мне пришлось в пожарном порядке искать что-то ещё, чтобы не получить распределения куда-нибудь на Дальний Восток.

Мой руководитель, Всеволод Александрович (Сева) Егоров, совершенно не вмешивался в мои занятия и только слушал мои выступления и подписывал необходимые бумаги. В то же время я очень много полезного понял из общения с ним. Он также старался сделать мне некоторую рекламу: например, устроил моё выступление на фирме Королёва. При этом он обычно по телефону говорил: «У меня есть аспирант университетского типа…» Отзыв на мою диссертацию написал академик Раушенбах.

В какой-то момент академик Седов, главный редактор журнала «Космические исследования»,

объявил, что ищет хорошую статью для международного журнала «Acta Astronautica». Это был очень престижный журнал, и сам собой образовался негласный конкурс на эту возможность. Сева доказал, что моя работа об оптимальной стабилизации вращения спутника около центра масс гораздо лучше остальных предложенных работ, и я сел писать эту статью. Это была целая эпопея, которая заняла месяца три. Печатание за границей тогда было совершенно исключительным событием, и ещё долго потом я считался экспертом по этим вопросам и консультировал всех желающих. Сначала я написал эту статью по-английски. В комиссии по исследованию и использованию космического пространства, которая должна была поставить визу, мне сказали, что русский язык — язык международный, и я должен написать это по-русски. Я переписал на русском. Нужен был абстракт на трёх языках. Для верности я попросил маму написать французский текст. Английский сочинила учительница английского языка моей тёти Оли. В комиссии сказали, что они этих вычурных оборотов не понимают и чтоб я написал попросту, как все люди пишут. Я выбросил все эти английские изыски. Потом я должен был получить визу главного учёного секретаря Академии наук академика Сисакяна. Про него ходило много легенд. Жорес Медведев описал, как он отечески очистил Армению от вейсманистов в 1948 году, после исторической сессии ВАСХНИЛ. Сисакян затребовал список и велел всех их уволить, а через две недели принять обратно: «Они уже больше не будут». Я поехал к Сисакяну в особняк Президиума Академии на Ленинском проспекте. Сева заранее договорился, что Сисакян меня примет. Меня без промедления к нему пропустили, и он безо всяких вопросов подписал статью. Я тут же повёз её в Главлит. Как потом выяснилось, Сисакян умер за своим столом примерно через час после моего посещения.

На защите Сева сказал, что я работал совершенно самостоятельно, что было истинной правдой. Мне он сказал, что вообще-то эту работу можно выдвигать сразу на докторскую защиту, но обычно ВАК к этому относится неодобрительно, так что лучше не рисковать. Впрочем, это уже было в 1967 году, после годового ожидания очереди на защиту в МФТИ.

В это время я должен был поехать в Дубровник, в Югославию, где происходил международный конгресс по астронавтике. Меня включили в молодёжную группу, где в основном были люди из ВЦ АН СССР. Я прошёл все комиссии, подписал все характеристики, заграничный паспорт был уже готов. В это время выяснилось, что защита назначена так, что я на три дня не успеваю вернуться. Учёным секретарём совета в МФТИ был Е. С. Пятницкий, который потом долгое время был завлабом в Институте проблем управления. Он мне жёстко сказал, что если я не появлюсь на защите, то никогда уже не буду защищаться в МФТИ. Перенести защиту на следующее заседание он тоже отказался. В дальнейшем у нас были прекрасные отношения; наверно, он забыл этот незначительный эпизод, но я это ему потом помнил всю жизнь, о чём он, возможно, не догадывался. Мне объяснили, что заграничная группа научного туризма рассматривается как единое целое, уехать из неё на три дня раньше никак нельзя. Пришлось с горем отказаться от этой увлекательной поездки, о которой мне потом участники ещё долго рассказывали, вспоминая всё новые подробности.

Ранним летом я поехал на конференцию в Пярну. Там на берегу моря регулярно стояла мама пианиста Эмиля Гилельса и кричала в сторону волн: «Эмиль Гилельс, вас вызывает к телефону ваша мама Сара Гилельс!»

Кроме диссертации, я в этот период совершил ещё некоторое количество научных подвигов. Мы с моей тогдашней женой Алей Бряндинской перевели с французского книгу Анри Пуанкаре «Новые методы небесной механики» для серии «Памятники науки». Это был первый том трудов Пуанкаре, всего был издан трёхтомник. Сейчас он является раритетом. Научным редактором был Владимир Арнольд, мой знакомый ещё по школе №59. Я регулярно в это время ездил к нему на Мичуринский проспект по вечерам, и мы работали над текстом перевода. Другим подвигом было научное редактирование книги Кротова, Гурмана и Букреева «Новые вариационные методы в задачах динамики полёта». Эта книга была потом переведена и издана НАСА для своих нужд, и вообще разошлась мгновенно. На моём экземпляре авторы написали: «В память о той груде бумаги, которую представляла собой эта книга». Это было чистой правдой.

Слава Букреев, русский голубоглазый богатырь, был из команды Кротова наиболее практичным, обладал широким кругом знакомств. В это время он работал в Министерстве высшего образования старшим инспектором. Впоследствии он до самой смерти заведовал кафедрой в заочном текстильном институте. Когда у меня начались трудности с распределением, он сказал мне, что это всё ерунда, и повёл меня к начальнику своего главка, Шорину. Шорин был незаурядный человек, вскоре он организовал Академию народного хозяйства (школу для министров) и стал там ректором. Когда я перед ним предстал вместе с Букреевым, он, естественно, задал вопрос: «Чего же вы хотите? Предлагайте!» Мы с Букреевым об этом как-то не подумали заранее, я спонтанно сказал, что, если можно, хотел бы на кафедру к Зуховицкому в строительный институт. Зуховицкий в это время вёл очень интересный общемосковский семинар по математическому программированию. Шорин тут же снял телефонную трубку и позвонил ректору. Ректора не оказалось на месте, но Шорин передал свою просьбу. Вот и всё. Я отправился в Строительный институт за заявкой на распределение. Ректор принял меня за роскошным столом красного дерева посреди разговора, как я понял, об оформлении

своей поездки в ФРГ. Мне он сказал: «Нет у меня ставок, но раз Шорин просит, какой может быть разговор?» Заявка была тут же оформлена, и он позвонил Зуховицкому. Тот был в отпуске, но с ним немедленно связались, и он сказал, что приветствует мой приход на кафедру. Был вызван его заместитель, профессор Хавинсон, который меня поздравил и сказал, что Зуховицкий просит меня начать готовить курс лекций по своему выбору. Всё происходило как по мановению волшебной палочки. Всё это было прекрасно, но зарплата ассистента без степени была сто пять рублей.

В это время у своего друга Бубы Атакшиева я встретил его однокурсника Володю Сулягина, бывшего полярника. Он был известен именно как рассказчик полярных историй, не вполне приличных. В основном речь шла о зоофилии, белых медведицах, лайках и тому подобном. Сулягин, как член партбюро, должен был с этими случаями разбираться на зимовках. Он мне рассказал, что перешёл работать в Экономический институт Госплана, где образовался отдел математических методов, и туда идёт набор. Заведовал отделом Эмиль Ершов, выпускник мехмата, ранее занимавшийся дифференциальной геометрией. Сулягин меня с ним познакомил, и мы друг другу понравились. Эмиль тут же пригласил меня к себе домой, в высотку на площади Восстания, и предложил перейти на ты. Договорились, что до защиты диссертации я получу ставку руководителя группы, после защиты — тут же получу старшего научного сотрудника. Меня представили директору, члену коллегии Госплана, академику Ефимову. Он мне назвал несколько меньшую цифру зарплаты. Я сказал, что договаривался о несколько большем. «Что же, сделаем так, как более удобно вам и менее удобно нам, — сказал Ефимов с очаровательной улыбкой. — Что-нибудь ещё? Может быть, квартиру?» — «Нет, спасибо», — отвечал я, полагая, что это уже идёт так называемый театр для себя по Евреинову, как это описано у Маяковского. Я оказался вполне прав, так как нашлось много людей, которые принимали этот ефимовский розыгрыш за чистую монету и долго потом к нему ходили и спрашивали, где же квартира.

На самом деле мой выбор был вполне резонным: интересы общества, а не только ЦК КПСС, перемещались в область экономики. Туда же постепенно перемещались научные кадры. Экономический отдел был образован в Институте проблем управления, потом в Институте системного анализа. Вскоре уже можно было видеть, как в каком-нибудь экономическом отделе сотрудники вполне могли сконструировать современную межпланетную ракету. Уже было образовано ЦЭМИ, экономические семинары заседали по всей Москве. Была ещё неясна судьба так называемой «косыгинской реформы», которая в это время так не называлась, но была в разгаре. Итак, экономика. Забегая вперёд, скажу, что мои иллюзии окончились примерно через год, когда на одной пьянке по поводу праздника 7 Ноября, под утро, активный завотделом из ЦЭМИ Сева Пугачёв мне сказал бесспорную формулировку: «Илюша, ты должен себе уяснить: всё, что математик может сделать в экономике, это повысить уровень потребления себе лично».

Защита прошла в октябре 1967 года в МФТИ, и голосование было единогласным. Я устроил скромный банкет в ресторане «Славянский базар».

В этот период банкеты были ещё в ходу, потом их запретили, и вместо банкетов устраивали какие-нибудь дни рожденья двоюродного брата. Я много раз участвовал в таких банкетах, но мне кажется, что мой был самый весёлый.

Недавно я стал припоминать, кто же там был. Пришли Владимир (Дима) и Надя Арнольды, В. В. Белецкий, В. Ф. Кротов, мой оппонент, В. И. Гурман, В. З. Букреев, мой приятель из экономического института Госплана Боря Седелев, мои друзья и товарищи по курсу на мехмате Женя Ставровский и Юра Ефимов, мои друзья Миша Борщевский и Буба Атакшиев, Слава Ивашкин, ещё один Севин аспирант. Большим успехом пользовались дамы из редакции «Космических исследований» Элла и Света. Разошлись сильно за полночь, причём Сева отправился провожать юную эффектную блондинку Н., которая в это время жила у моего друга Бубы Атакшиева на улице Немировича-Данченко. Он был её большой романтической любовью. Н. как раз заканчивала с отличием институт им. Менделеева. Завистливые недоброжелательницы называли её «нейлоновой куклой». Присутствие Бубы Севу совершенно не стесняло. Его стратегия была проста: каждый занимается своим делом — он атакует, другая сторона даёт отпор, если считает нужным. Всё ясно и без обид. Так сказать, у природы нет плохой погоды. При этом Сева был безукоризненно вежлив — он просто демонстрировал намерения.

Всё это время Сева не прекращал усилий, чтобы меня взяли в ИПМ. Наконец, где-то в 1970 году, Охоцимский решил попробовать и отправил мои бумаги наверх. Меня пригласили на беседу к заместителю директора по режиму, не помню его фамилию — что-то вроде Куроедов. Этот генерал КГБ, в прекрасно сшитом английском костюме, пригласил меня присесть и самым вежливым тоном побеседовал, в общем, ни о чём — о погоде и всё такое. В результате мне потом сообщили, что ничего не получается. Видимо, раз его просил уважаемый человек, он демонстрировал уважение, а результат уже от него не зависел. Чтобы взять еврея, это должна была быть угроза неминуемой катастрофы, чрезвычайные обстоятельства. Когда позднее меня назначали в Роспотребсоюзе на должность замдиректора главного вычислительного центра, что приравнивалось к рангу зам. начальника главка, то управление кадров, конечно, сопротивлялось, а директор на них кричал: «А если план сорвётся, что, партбилет на стол вы будете класть?» Никто точно не знает, но ходили упорные слухи, что в это примерно время Келдыш обещал Политбюро, что академия через некоторое время

будет «юденрайн» — свободна от евреев. Так или иначе, в конце сентября я сдал, т. е. представил, диссертацию и отправился в НИЭИ Госплана на Хорошевской улице.

НИЭИ Госплана

Хотя процесс Синявского и Даниэля в 1965 году ясно показал, что либерализация окончена и дискуссий с властями не предвидится, какие-то ожидания ещё оставались. Экономическая реформа ещё давала результаты, темп роста национального дохода в 1966 году был близок к японскому и вдвое превышал американский. Пропаганда вовсю трубила о больших успехах. ЦК был завален экономическими проектами. Госплан благосклонно относился к новшествам.

Это была своеобразная организация. Там было много специалистов, глубоко знавших действительность. Мне потом показывали людей, про которых говорили, что они знают в стране каждую котельную по отдельности. Госплан неоднократно подвергался жестоким чисткам: в 1930 году, когда там ещё работали бывшие меньшевики, в 1937 году, в 1949 году после падения Вознесенского. Интересно, что в Госплане покровительствовали детям бывших жертв и старались их пристроить в системе. При этом экономическая эффективность различных решений часто вызывала в Госплане обоснованную озабоченность, однако принятые политические решения не критиковались. Так, при мне один главный специалист пытался остановить сделку «газ в обмен на трубы» с Италией, как крайне невыгодную. Это оказалось безнадёжным делом. Большой популярностью пользовались чехословацкие реформаторы, Ота Шик с его командой. В экономический институт в Братиславе постоянно ездили советские гости; в частности, там часто бывал академик Леонид Витальевич Канторович, будущий нобелевский лауреат. К моменту ввода советских войск в августе 1968 года в Госплане был отпечатан перевод книжки Ота Шика. Её пришлось пустить под нож. По мере торможения реформы усилились провалы, вызванные централизованным руководством. Журнал «Плановое хозяйство» писал, что особенный вред приносят те ошибки, которые очевидны населению. Как-то мне попалась на глаза книжка А. А. Красовского о строительстве Братской ГЭС — всенародной стройки, прославленной в поэме Евтушенко. Подлинная история представлялась цепью показательно неверных решений. Сначала стали сводить лес в зоне затопления и не успевали к сроку. Потом выяснилось, что нет способа его вывезти, и стали, как во времена Павки Корчагина, строить узкоколейку. Лес всё-таки полностью не вывезли и затопили. Когда пустили турбины, то выяснилось, что не готовы алюминиевые заводы, которые должны были потреблять энергию, и стали греть Ангару. Когда же запустили заводы, то оказалось, что местные бокситы им не годятся, и сырьё пришлось возить за тридевять земель. Примерно такая история, которая была скорее правилом, чем исключением. В коридорах Госплана постоянно слышалось слово «ужасно!».

Мой приятель, математик Юра Родный, который уже давно перебрался в Америку, напечатал в то время статью о капитальном строительстве. С помощью статистических данных он показал, что типовая модель тут примерно такая.

Нормативный срок строительства не должен был превышать восемь лет. В первый год рылся котлован, и тратилось около двадцати процентов стоимости, чтобы строительство не закрыли. После этого оно, в общем, замирало на шесть лет. В последний год оно реанимировалось, чтобы его закончить в срок и отчитаться. В результате огромное количество средств омертвлялось, буквально закапывалось в землю. Как-то в институте собралось совещание по вопросу капитального строительства. Присутствовали важные госплановские деятели. Начальник сектора делал доклад. Вывесил разные диаграммы. В конце доклада начальник сводного отдела Госплана, т. е. в ранге министра, его спросил: «Так всё-таки какое же ваше мнение — что делать с незавершённым строительством?» Тот отвечал в духе простого русского парня: «Да что угодно можно делать! Если есть деньги, так почему бы не достроить? А вот если денег нет, то и делать нечего, надо консервировать».

Однажды я стоял в госплановской столовой в очереди за двумя сотрудниками. Один из них рассказывал: «Вот я, член лекторской группы ЦК, приезжаю на завод, а меня спрашивают: пособие на детей выдаётся до восьми лет, а после ребёнок уже что — он есть не просит? Что я, по-вашему, должен им говорить?» Обещание Хрущёва, что коммунизм будет построен к 1980 году, ещё никто не отменял.

В институте работало несколько интересных людей. А. И. Анчишкин и Ю. В. Яременко впоследствии стали известными экономистами и академиками. Они последовательно, один после другого, возглавляли Институт народнохозяйственного прогнозирования АН СССР. До этого они, как это называлось, долгое время «работали в трюме», готовили материалы для Госплана, писали докладные записки в ЦК. Анчишкин умер в 1987 году, а Яременко в 1997-м. Мне кажется, он бы очень пригодился в правительстве Ельцина, но в 1991 году он был назначен советником Горбачёва, что, вероятно, закрыло ему путь в команду Ельцина. Яременко в свое время окончил Пекинский университет и прекрасно знал всё, что относилось к китайскому пути развития. Это не пригодилось, осталось без применения. Они оба, в общем, были не «рыночники», т. е. считали, что не в рынке дело и не с него надо начинать. Кстати, в 1990 году я встретил венгерского друга моего папы, Фери Биро, который мне сказал: «Илюша, ведь рынок не производит, он только продаёт, работать всё равно надо». И, показывая на здание гостиницы «Салют», где он жил, добавил: «Это, наверно, построили во время обеденного перерыва, ведь

у вас всё это время ничего не делали, как теперь говорят».

Впрочем, рыночники из ЦЭМИ, сторонники СОФЭ — системы оптимального функционирования экономики — С. С. Шаталин и А. И. Каценеленбоген тоже к нам приезжали и делали доклад, который Ершова очень раздражал, и он просто подпрыгивал на месте, всячески показывая, что это всё элементарно и известно.

В нашем отделе было три сектора: внешней торговли, статистики и математического моделирования. Внешней торговлей заведовал Боря Зотов, пришедший из торгпредства в Праге. У него работал мой знакомый Володя Сулягин с мехмата. Сектором статистики заведовал Боря Седелев, тоже с мехмата. К нему мы с Сулягиным устроили нашего друга Бубу Атакшиева. Примерно в это время Буба купил себе «Москвич», и мы на этом автомобиле ездили с Хорошевского шоссе на улицу Горького обедать в Госплан. Там в столовой действовали цены примерно 1913 года, и многие на один рубль набирали себе еды на поднос в два этажа.

Математическим моделированием заведовал сам начальник отдела Эмиль Ершов. В этот сектор я устроил моего знакомого по ящику М.

Там же работал (имени не помню) специалист по энергетике, который был мастером спорта по спортивному ориентирингу. Инна Коробочкина была выпускницей ленинградского матмеха, училась там у Л. В. Канторовича. Её муж, Борис Иванович Коробочкин, был начальником сектора в ГВЦ Госплана. Он был маленького роста, очень энергичный. В дальнейшем он работал директором ВЦ Министерства автодорожной промышленности и как-то очень мне помог, когда я потом работал в системе Минприбора. С Борей Коробочкиным связана одна из трагических историй времён перестройки. Он организовал в 1989 году кооператив, который, в частности, менял никому не нужные удобрения на компьютеры. Каким-то боком там были причастны деятели Моссовета. Чтобы их прищучить, КГБ объявил эти сделки контрабандой и стал «шить» Боре Коробочкину, доктору физико-математических наук, хищение в особо крупном размере, т. е. подводить под расстрел. Борю посадили в тюрьму, где у него было несколько инфарктов. Это никого не волновало. Мне кажется, что в конце концов его выпустили, но я дальше о нём ничего не знаю.

Ещё у нас в секторе сидела очень привлекательная девушка, Лена Кузнецова, которую я помнил по мехмату. Только потом выяснилось, что она была дочерью кандидата в члены Политбюро В. В. Кузнецова. Институт был придворной организацией при Госплане. Академик Ефимов составил себе имя на работах по межотраслевому балансу, который в основном связывают с именем американского нобелевского лауреата В. В. Леонтьева, советского невозвращенца. В 1920-х годах в Союзе работало много известных специалистов по математическим методам в экономике, в 30-х они почти все были репрессированы. Один из них, выпускник мехмата Александр Александрович Конюс, уцелел и пересидел это время в каком-то институте Наркомпищепрома на незаметной должности. Во время оттепели, когда возродился интерес к математической экономике и стали возвращаться немногие уцелевшие экономисты, как, например, Альберт Вайнштейн, старые работы Конюса стали цитировать, и он был взят на работу в НИЭИ. Он был кандидатом экономических наук, но Мюнхенский университет присвоил ему звание почётного доктора наук. Это чуть было не привело к его увольнению. Однажды я оказался рядом с ним при приёме какой-то румынской делегации. Мы все сидели рядом за столом и вели довольно бессмысленные разговоры под протокол. Румыны, разумеется, все знали по-русски. Было очень скучно. Тут Александр Александрович мне на ухо громким шёпотом стал рассказывать: «Вы знаете, Илья Вениаминович, что в тысяча девятьсот тридцатом году в Москве была произведена большая облава на проституток? Их изловили и решили, как тогда говорилось, дать им путёвку в жизнь. Для них организовали курсы экономистов, и мой друг, Николай Сергеевич Четвериков, который сидел в этом лагере, читал им статистику». Румыны открыли глаза и навострили уши. Я ему ответил тоже громким шёпотом: «А вы не знаете, в нашем институте из этого выпуска кто-нибудь работает?»

Зимой мы с Эмилем и Леной Кузнецовой поехали в Академгородок в Новосибирске. Я хорошо помню эту поездку. Поселились в гостинице «Золотой колос». Нам рассказали, что она должна была быть небоскрёбом, но Хрущёв, когда был в Новосибирске, посмотрел на макет и в ярости отломал несколько верхних этажей. Тут-то я с удивлением увидел, что при поселении Лены администратор достал правительственную телеграмму с красной каймой и стал её рассматривать. В тот же вечер Лена меня повела к своим знакомым, и там, под разные разговоры, мы с ней до двух часов ночи читали самиздатовскую машинописную копию книги Кестлера «Тьма в полдень». Эмиль сводил нас в гости к экономисту Косте Вальтуху, очень приятному человеку. С ним было очень интересно поговорить. Я некоторое время пытался его убедить, что в его построениях надо навести некоторый математический порядок. Впоследствии мне Арон Каценеленбоген, известный экономист из ЦЭМИ, сказал, что Костя пытается совместить рыночный подход с марксизмом, а они в принципе несовместимы. Я решил, что это верно.

В Институте математики нас принимал Канторович. Он спросил Эмиля обо мне и предложил мне сделать доклад на их семинаре о своих результатах. На этом докладе, мне казалось, они не понимали, о чём я говорю, так как не занимались оптимальным управлением. Канторович вроде бы спал, но потом задал пару вопросов, и я осознал, что как раз он всё прекрасно понял. Канторович жил в Академгородке в академическом коттедже, без семьи, которая осталась в Москве. Валерий

Макаров, который теперь стал академиком и директором ЦЭМИ, мне говорил, что специально не ставит себе телефон, чтобы Канторович не будил его по ночам.

На основе некоторых идей Вальтуха Эмиль сконструировал двухсекторную модель «потребление—накопление», а я решил соответствующую задачу динамической оптимизации. В этой модели, в отличие от множества других, оптимальная стратегия заключалась в том, чтобы избыток ресурсов над необходимым сбалансированным уровнем накопления тратить на потребление. Это резко отличалось от всех предшествующих призывов жертвовать всем ради далёкого будущего счастья. Эту модель мы представили на конференции по народнохозяйственному моделированию, которая прошла тоже в Академгородке, но уже в мае 1967 года. Это был пленарный доклад, и он прошёл с большим успехом.

На этой конференции директор Института экономики Абел Аганбегян провёл экскурсию по Академгородку. В частности, он объяснил: «В общем, социальное неравенство не является секретом. Что же, в Академгородке оно, возможно, проявляется более явно: кандидаты получают один паёк, а доктора наук—другой».

В Академгородке я после долгого перерыва встретил своего старого друга Володю Захарова. Он заканчивал аспирантуру и работал в Институте ядерных проблем, у академика Будкера. Одновременно он преподавал в Новосибирском университете. Володя познакомил меня со своим другом Серёжей Андреевым, тоже из института Будкера. Серёжа мне очень понравился, он был симпатичный и лёгкий человек. Они вместе сочиняли про Будкера смешные рассказы, где Будкер именовался адмиралом. Серёжа погиб через несколько лет во время аварии при эксперименте. Но он по-прежнему жив в нашей памяти и в Володиных стихах. Однажды мы сидели у Володи, и его товарищ из Ленинграда, с которым он писал научную статью, сделал мне комплимент, который я, как это ни смешно, помню до сих пор. Он сказал, что я представляю собой пример так называемого естественного социального статуса. На самом деле это известное понятие. Вот иллюстрация. Во время конвента демократической партии на президентских выборах 1968 года в Чикаго произошла попытка зачистки избирательной команды сенатора Мак-Карти, которая сидела в отеле «Хилтон» на двенадцатом этаже. Откуда-то сверху упала бутылка около полицейских, которые решили, что это кинули студенты из команды Мак-Карти. Полицейские бросились наверх и обещали всё там разнести. Мак-Карти, как кандидата в президенты, охраняли агенты Министерства финансов. Один из них прибежал в комнату Мак-Карти и крикнул, что сейчас тут будет побоище. Навстречу полицейским вышел один из советников Мак-Карти, взрослый человек в приличном костюме. В это время он был не у дел, но в прошлом занимал солидную должность в администрации Кеннеди. Когда полиция ворвалась на этаж, он их встретил и громким голосом строго и решительно спросил: «Кто старший?» И полицейские пришли в себя и потихоньку ретировались. Эту историю я прочёл в журнале «США».

В то время в Академгородке была очень приятная атмосфера молодости и энтузиазма, работал клуб «Под интегралом», будущее представлялось безоблачным. Через несколько лет обком навёл идеологический порядок, клуб закрыли, большинство перспективных учёных уехало. В том числе Володя Захаров перебрался в Черноголовку под Москвой, где стал работать в Институте теоретической физики.

Как известно, 5 июня 1967 года началась шестидневная война. Перед этим некоторое время ситуация в Израиле была очень напряжённая. Египет перекрыл Акабский пролив, нарушил все законы о свободном судоходстве, убрал с Синайского полуострова войска ООН. По радио «Свобода» я поймал речь Насера; конечно, слов я не понимал, но интонационно она была похожа на выступления Гитлера, как их показывала кинохроника. Абдель Насер заявил, что война будет тотальной и приведёт к уничтожению Израиля. В конце мая я внезапно оказался участником исторического события. В тщетной попытке договориться с СССР в Москву приехал английский министр иностранных дел Браун. Переговоры с руководством ничего не дали. Вероятно, 25 мая ему организовали встречу с общественностью в Доме союза обществ дружбы с зарубежными странами—бывшем особняке Саввы Морозова. Нас туда срочно направили из НИЭИ. При входе специальные молодые люди осведомились, куда мы идём. Мы сказали, что нам назначено прибыть на встречу с Брауном. Народу в зале было всего человек около тридцати, рядом с Брауном сидела его рыжая секретарша. Браун был плотный и краснолицый, как изображают англичан на иллюстрациях к Диккенсу. Он обратился к нам с короткой речью минут на двадцать, очень эмоциональной. Суть его речи была проста. Великая держава может проводить любую политику. Единственное ограничение заключается в том, что в этой политике должен быть какой-то смысл. Какой может быть смысл в том, чтобы натравливать арабов на Израиль, он не постигает. Что ж, это размышление и сейчас остаётся актуальным. Не всякая рыба в мутной воде является съедобной и приносит пользу.

Летом 1967 года я поехал на школу Н. Н. Моисеева по оптимизации в астрофизической обсерватории в Шемахе. Это было в азербайджанских горах, там, где, видимо, действовала Шемаханская царица у Пушкина. По дороге я провёл день в Баку, где дули сильные ветры, как это описано в пьесе Киршона «Город семи ветров». В Шемахе собралась сильная компания, среди лекторов были С. В. Фомин и А. Н. Ширяев, было очень интересно. Из еды, главным образом, было красное азербайджанское

вино, очень приличное, и иранская чёрная икра. По вечерам в небе ярко горели южные звёзды. Я водил по ночным горам большую шумную компанию под названием «любители ночных уединённых прогулок». В обсерватории работали немцы, монтировали новый телескоп. Я уехал до срока, и уже после моего отъезда с немцами произошла большая драка из-за женщин. Одичавшие и выпившие немецкие специалисты попытались выломать дверь в душ, где мылись участницы школы. Те подняли крик. Скандал с трудом замяли.

В Москве я стал готовиться к защите, напечатал автореферат диссертации, написал плакаты. В это время произошла внезапная ссора с Эмилем. По прошествии времени я реконструирую эту историю так. Мой товарищ М., которого я устроил к Эмилю в сектор, связался с сионистской компанией. Эта компания в дальнейшем понемногу перетекла частью в группу «самолётчиков», пытавшихся в июне 1970 года угнать с местного рейса маленький самолёт в Ленинграде. С самого начала они были под наблюдением кгб. Видимо, там сочли, что М. не место в таком престижном институте при Госплане, и дали знать Эмилю: не обязательно прямо, но достаточно ясно через кого-то объяснили, что кадровая проблема должна быть энергично решена. Я думаю, что М. тоже был в курсе; наверно, в кгб с ним беседовали и остались не удовлетворены. Как раз в это время с Эмилем велись беседы о его возможном назначении начальником гвц Госплана и, соответственно, зампредом Госплана. Кстати, из этого ничего так и не вышло. Он со мной делился этими блестящими перспективами восхождения к неслыханным высотам. Естественно, осложнения ему были абсолютно ни к чему. В свою очередь, М. мне ничего не сказал о своих неприятностях и ожидаемых санкциях. Возможно, если бы я был в курсе, то не полез бы на рожон, однако при отсутствии информации мне пришлось, как оказалось, играть роль болвана из преферанса. Одним словом, однажды мне Эмиль сказал, что идёт сокращение штатов и мы должны сократить М., который не вписывается в работы отдела, делает не то и работает не с теми, с кем нужно. Я пытался его остановить, но это было бесполезно. Решение должно было быть утверждено на профсоюзном собрании сектора. Там я выступил и сказал, что конечно, сектор создал Эмиль, и это ему решать, кто подходит, а кто нет, но всё надо делать по-человечески, а выкидывать без предупреждения на улицу человека с двумя детьми не годится. Скажите ему, и он уйдёт сам через какое-то время. Мы, как профгруппа, способствовать таким вещам не должны. К моему большому удивлению, весь сектор, включая Лену Кузнецову, проголосовал за моё предложение. Я никак не ожидал от этих людей такого нонконформизма. Для Эмиля это тоже был сюрприз. М. действительно вскоре ушёл по собственному желанию, но мои отношения с Эмилем были безнадёжно испорчены. Надо было уходить. Это, однако, затянулось ещё на год. В августе 1968 года я поехал в отпуск в Форос с Бубой и его приятельницей Н. К нам присоединился биолог Алик Тамбиев со своей приятельницей и ещё разные люди. Они привезли с собой акваланги. Мы жили в посёлке хозяйственной обслуги санатория цк. Я плавал с маской и рассматривал подводный мир. Внезапно вечером 21 августа, когда мы мирно болтали, сидя у открытого окна, по радио сообщили, что советские войска оказали братскую помощь Чехословакии. Я сказал: «Приехали!» Было ощущение, что всё идёт вспять. В санатории цк один отдыхающий громко говорил соседу: «Компартия Уругвая одобрила интернациональную помощь Чехословакии. Интересно, что это за компартия — там их пять штук!»

В сентябре институт организовал автобусную поездку в Псков и Новгород. Я взял с собой сына Андрюшу и очень об этом пожалел. Никто нам не уступил удобного места, и мы сидели сзади, где трясло. В дороге ночью автобус застрял, и чёртовы экономисты среди ночи играли на баяне и громко пели народные песни. Особенно громко орал Феликс Клоцвог, большой специалист по народнохозяйственному балансу. В гостинице нам не хватило места, и нас с Андрюшей разместили в кабинете директора на его огромном письменном столе. В загаженный туалет было не зайти. Тут я проявил народную смётку и повёл Андрюшу в Псковский облисполком, где мы и воспользовались относительно чистым туалетом. Древнерусские красоты Пскова, Новгорода и Ижор не произвели на Андрюшу большого впечатления. Рассказывая потом об этой поездке, он говорил, что ездил в Псовск.

В 1969 году я проводил свой отпуск в Пицунде. Туда приехала конференция по стохастическим методам экономического моделирования. Главным образом обсуждались так называемые методы Монте-Карло. Некоторые продвинутые участники говорили, что Пицунда очень им напоминает Монте-Карло. Некоторые знакомые дамы попросили меня сопровождать их в горы с целью попробовать местного вина. В конце концов, мы приобрели литра три этого вина, из которого они пригубили по стаканчику, а остальное досталось мне с лозунгом: «Не пропадать же добру!» Результат был плачевен. Я потерял ориентировку в пространстве, а бессовестные экономистки бросили меня на дороге на произвол судьбы. Не помню, как я добрался до своей съёмной комнатушки.

На пляже я познакомился с интересным собеседником. Это был греческий политэмигрант, работающий на радио. Он мне рассказал, что в 1949 году, на исходе гражданской войны, они захватили местный самолёт в Греции и, угрожая бутылкой якобы с нитроглицерином, заставили его лететь в Болгарию.

В это время остатки коммунистических партизанских отрядов, прижатые к югославской границе, объявили режим Тито фашистским и шпионским, в полном соответствии с решениями Коминформа. В результате их положение стало абсолютно

безнадёжным. В 1968 году греческие коммунисты, в том числе заключённые концлагерей «чёрных полковников», объявили об осуждении ввода войск в Чехословакию. Он мне рассказал, что есть фракция, которая безоговорочно поддерживает СССР, но она полностью инфильтрована провокаторами, и та финансовая и другая помощь, которая идёт к ним из СССР, прямиком попадает в греческие органы безопасности.

В конце года меня вдруг пригласили в оборонный отдел Госплана. Там я познакомился с Николаем Фёдоровичем Фёдоровым, начальником сектора. Это был бодрый, но очень пожилой человек, который ещё в тридцатых годах проходил практику на заводах Форда в Америке. Как правило, всех этих практикантов в 1937 году расстреляли как шпионов, но он уцелел. Меня ему рекомендовал один из моих друзей по университету. Фёдоров пришёл в восторг, когда выяснилось, что я знал, что такое график Ганта. Его научили этому графику у Форда. Это такой достаточно простой способ графического представления состояния работ и потребностей в ресурсах. Фёдоров хотел пробить свою собственную экономическую реформу и формировал для этого бригаду. Его идея была довольно проста: надо платить рабочим нормальную зарплату, снять эти ограничения на фонд зарплаты, и тогда рабочие будут нормально работать, создастся изобилие товаров, с помощью образовавшихся излишков рабочей силы можно будет освоить Сибирь, и вообще всё будет прекрасно. Надо только, чтобы планы были научно обоснованы на основе детальных расчётов. Для этого ему был нужен математик. Ему было что-то около 77 лет, и я не знал в точности, хотел ли он на самом деле запустить эту реформу или просто изображал сверхактивность, чтобы компенсировать свой возраст. Он пробил для своих целей отдел в Институте управления и экономики Министерства оборонной промышленности и предложил мне там должность старшего научного сотрудника. Я согласился, и меня тут же оформили. На самом деле надо было просить должность завсектором, но это я сообразил уже задним числом. Фёдоров согласовывал планы министерства, и с ним никто не спорил. Он был человек опытный и очень неглупый, довольно симпатичный, с хорошей реакцией. Меня он неизменно поддерживал во всех конфликтах, в которые я ввязывался. Ему очень импонировала моя манера во время обсуждений говорить: «Я этого не понимаю, напишите конкретно, как вы это себе представляете». Как правило, оппонент никак это себе конкретно не представлял, а просто безответственно и горячо молол языком. Однажды я наблюдал разговор Фёдорова с директором этого института, неким Д., прикомандированным подполковником. Директор происходил из ВЦ Генштаба, был учеником академика Глушкова и, что называется, много о себе думал. Реформа Фёдорова вызывала у него обоснованные сомнения в разных своих частях, и, в отличие от других, более опытных работников отрасли, он позволил себе их высказать в довольно агрессивной форме. Его вопрос был такой: «Предположим, в ходе реформы выявится недостаток плановых работников в районе бухты Тикси. Вы туда поедете?» Фёдоров, не колеблясь ни секунды, ему ответил: «Нет, я не поеду. Это вы туда поедете». Так сказать, продемонстрировал старую школу.

Оборонная промышленность

Итак, я занялся экономикой оборонной промышленности. По мнению академика Ю. Яременко, в оборонной промышленности не только не было никакой экономики, но она разрушала всю остальную экономику, так что получался слабо управляемый внеэкономический объект. Так или иначе, Институт управления и экономики оборонной промышленности существовал, и я там работал. Это была для меня качественно новая среда.

«„Всюду жизнь“ — картина Николая Александровича Ярошенко, написанная в 1888 году. На картине изображён арестантский вагон, остановившийся на полустанке. В зарешёченном окне видны люди разного возраста, но все самого бедного сословия — старик, рабочий, солдат и молодая мать с ребёнком. Заключённые кормят стайку голубей на платформе хлебом из своих скудных запасов. Лица людей передают тонкие и чистые переживания. Этим художник показывает арестантов не преступниками, а жертвами суровой действительности. В образе матери с ребёнком можно увидеть намёк на Богородицу с Христом. Одна из классических работ передвижников».

Это цитата из Википедии. Что же, в институте тоже была своя жизнь, хотя и отличная от той, что мне была знакома. Видимо, так себя чувствовали гвардейские офицеры после перевода из Преображенского полка в Сумский пехотный. Большую роль играли старые производственники, по разным причинам списанные со своих значительных руководящих должностей. Мой начальник отдела Л. раньше был главным инженером большого завода, потом, перед войной, работал в торгпредствах в Италии и Германии. Его вывозили из Германии через Турцию в начале войны в составе группы посла В. Деканозова. Он неплохо соображал, хорошо играл в шахматы и, к моему удивлению, знал, как умножить матрицу на вектор. По-видимому, в его личном деле значился какой-то существенный минус, о котором старики знали, но мне не рассказывали. Однако в случае скандала об этом неизменно намекали. Наш отдел должен был разрабатывать программы и алгоритмы. Смежный отдел должен был доставать и подготавливать информацию. Его начальником был Лев Иосифович Б., бывший работник заводоуправления на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО). Он провёл войну в Ленинграде и пережил блокаду. Из его рассказов я понял, что там профком решал, не кому достанутся профсоюзные путёвки, а кто будет жить, а кто нет. Он мне рассказывал, что получил небольшую премию за рационализаторское предложение: могилы не копать лопатами зимой, а использовать взрывчатку.

Однажды я наблюдал публичную ссору Л. и Б. на каком-то совещании. Л. вышел из себя и назвал Б. его настоящим именем: Лейба Израилевич. По старой привычке он считал, что это неотразимый и убийственный аргумент, как будто на дворе 1951 год. Б. в ответ и ухом не повёл. После нескольких схваток отделы слили и Л. перевели в другое подразделение.

Считают, что евреи друг другу всегда помогают и друг друга поддерживают. Как бы не так. Этот Б., старый и вздорный склочник, немедленно начал со мной войну непонятно по какой причине. Однажды он мне сказал: «Илья Вениаминович, вы знаете, а ведь евреям очень трудно устроиться на работу. Если вас уволят, у вас будет очень сложное положение». Я ему ответил: «Не беспокойтесь». Черчилль писал: «С некоторой точки зрения, кавалерийская атака очень похожа на обычную жизнь. Пока вы в порядке, твёрдо держитесь в седле и хорошо вооружены, враги далеко вас обходят. Но стоит вам потерять стремя, лишиться узды, выронить оружие или получить ранение — самому или лошади, — и тут же со всех сторон на вас ринутся враги». Что же, я старался держаться в седле.

Меня приводила в ужас мысль, что если я ещё поработаю на этом месте, то, вероятно, стану таким же, как этот Б. На эту тему я написал стихотворение «Возрастные изменения» и прочёл его Володе Захарову в Новосибирске. Через какое-то время кто-то прочёл его Вадиму Ковде в качестве народного творчества, пришедшего из Сибири. В этой цепочке имя автора затерялось.

По счастью, Б. много времени проводил вне института, согласовывая размер будущей премии по теме. Надо отдать ему должное: используя свои связи, он достал на заводах информацию, что удаётся не всем и не всегда, несмотря на разные грозные приказы.

Перед слиянием наш отдел месяца три находился в составе ГВЦ (Главного вычислительного центра) министерства. Там перед моими глазами внезапно разыгралась душераздирающая драма. Директором ГВЦ был назначен прикомандированный майор Г., кандидат наук, тоже ученик академика Глушкова. Он очень активно принялся за дело, начал какие-то работы по моделированию, привлёк внешних учёных по договорам, образовал учёный совет.

На заседании этого совета я сидел рядом с академиком Н. Н. Моисеевым, и он меня тихо спросил: «Что это они говорят — алгоритмист, что это такое?» Я ему так же тихо ответил: «Алгоритмист — это человек, который не умеет программировать». Выступая на этом совете, Моисеев сказал, что часто, к сожалению, приходится видеть, как министерский аппарат сопротивляется автоматизации и внедрению новых научных методов управления, и как приятно видеть, что здесь это не так и автоматизация пользуется всеобщей поддержкой.

На самом деле Г. деятельно общался с министром Зверевым, обещал ему золотые горы и полную перестройку работ на основе автоматизации и, как говорили, ходил с ним в обнимку. В кабинет министра он, что называется, открывал дверь ногой. Зверев часто приходил на Вычислительный центр, и было спущено специальное указание — при появлении министра в машинном зале запускать печать и рапортовать: «Программист такой-то, отлаживаю задачу номер такой-то». Аппарат министерства забеспокоился и принял свои меры. В КГБ были отправлены сигналы, за Г. было установлено наблюдение. Через какое-то время пришла проверка и стала писать акт. Большой криминал искали в хоздоговорных научных работах. Кого-то обвинили, что он просто списал пару глав из чужой книжки. Моего приятеля привлекли в качестве эксперта и спрашивали: «Сколько стоит этот отчёт?» Он с заминкой отвечал: «Ну, это как посмотреть». Акты приёмки работ уже были подписаны, но учёные не приходили за деньгами, несмотря на напоминания. В общем, по большому счёту, обнаружили криминала не так много. Г. ездил в командировки к семье в Ленинград и отмечал их в райкоме комсомола. Установил у себя дома холодильник из ГВЦ. Не сказать, чтобы украл, но пользовался. На вычислительной машине холодильник всё равно был не нужен. Уже было известно, что магнитные ленты там хранить не нужно. Ездил в Крым под видом поиска места для базы отдыха. Насчёт хоздоговорных работ ничего определённого доказать не удалось.

Программа максимум была — исключить его из партии и посадить. Это не получилось. На партсобрании Г. просто не дал им себя исключить. Сказалась разница в уровне интеллекта. Ему дали строгий выговор с занесением и уволили. Вместе с ним уволили всех научных сотрудников, которых он привёл. Я пытался спасти своего знакомого по мехмату Колю Акулиничева, и его поначалу взяли в наш отдел. Потом, однако, произвели повторную проверку, и ему велели уволиться.

В институт пускали через проходную, где дежурили вохровцы. Войти можно было по пропуску, а вот для выхода в течение рабочего дня надо было показать бланк местной командировки и специальную бумажку на выход. Однако для двух категорий трудящихся директор сделал исключение: начальники отделов и кандидаты наук имели на пропусках специальный штамп «свободный проход». За этим штампом я отправился к Н., заместителю директора по режиму. Это был молодой и наглый белобрысый малый, который, подобно многим своим коллегам, получил в заочном пединституте степень кандидата исторических наук. Воображаю эту историю, которую он исследовал. Чтобы получать свои деньги за степень, он завёл тему «Разработка методики управления персоналом», и некоторая группа под якобы его руководством клепала соответствующий отчёт. На меня он посмотрел, как на вредное насекомое, и сказал, что для меня этого штампа нет. Я сослался

на директора, но он повторил для плохо слышащих: «Я вам сказал—нет!»

Нет так нет, я отправился к директору Д. и доложил о наглом пренебрежении его распоряжениями. Минут через десять мне перезвонила его секретарша и сказала зайти в отдел кадров, там мне этот штамп поставили без разговоров. Как выяснилось, Н. мне это запомнил. Что-то через полгода на открытом партсобрании этот Н. делал доклад и доложил собранию об имеющихся недостатках в работе с кадрами: «В отделе комплексной экономической реформы в состав резерва на выдвижения включён Иослович, к работам которого у министерства есть серьёзные претензии». Вот те на! Я отправился к Б. за разъяснениями. Тот, однако, сам был вне себя. Оказывается, он в самом деле из непонятных побуждений включил меня в этот резерв, не ожидая неприятностей. «Этот резерв вообще секретный, он не имел права его разглашать!» Я отправился к директору и попросил объяснений. Д. мне респектабельно ответил: «Я не в курсе, но раз Н. сделал на партсобрании такое заявление, значит, у него есть данные». Я ему сказал: «Дело в том, что как раз таких данных не существует, я это знаю совершенно точно». Д. сказал, что выяснит. Через пять минут ко мне примчалась его секретарша и позвала к директору. Там сидел Н., красный как рак, и смотрел в пол. Д. сказал: «Илья Вениаминович, тут произошло недоразумение, Н. ввели в заблуждение, а он сам не проверил материалы. Мы у вас просим извинения и обещаем, что на ближайшем партсобрании доложим об этом коллективу». Ну, положим, этого он не сделал, но Н. от меня отстал.

Следующий скандал не замедлил случиться во время переаттестации. Там они меня от большого ума спросили, какие решения принял съезд колхозников. Какие ещё решения? Я знал, что решение о выдаче колхозникам паспортов так и не было принято, хотя ожидалось. Оно было принято только в 1974 году. Так что крепостное право пока продолжало существовать. Ну, что-то обтекаемое я им сказал, но это их не удовлетворило. Председатель комиссии, начальник соседнего отделения, посмотрел на меня своими выпуклыми красными глазами профессионального алкоголика и с отвращением произнёс: «Моя дочь одиннадцати лет больше знает, чем вы». Я опять пошёл к директору и сообщил, что аттестационная комиссия ведёт себя недостойно, оскорбляет аттестуемых. «Да что они вам такое сказали?»—спросил Д. «Я вам не могу этого повторить»,—с достоинством ответил я. Выгнать меня без разрешения Фёдорова они не могли, это было не в их власти, так что я этим пользовался.

Между тем я заинтересовался этой задачей. То, что хотел Фёдоров, можно было сформулировать как задачу линейного программирования, но она получилась огромного размера. У нас была только маломощная вычислительная машина «Минск-22». Это было нереально. Тут я придумал сначала чистить информацию, формально оценивать потребность в многочисленных ресурсах, решая маленькие вспомогательные задачи. Фокус был в том, что на заводах скопилось огромное количество устаревшего и никому не нужного оборудования, частью трофейного, частью купленного в период первых пятилеток. Узким местом было очень небольшое количество нового дефицитного оборудования, и только его и следовало принимать во внимание в расчётах. Несколько позже эта идея пришла в голову американцам, и этот подход стал называться «препроцессингом». Дело пошло, наняли некоторое число программисток, их начальником взяли Юру Макаренкова, физика, выпускника МГУ. Он был очень славным человеком и блестящим программистом. Мы с ним быстро подружились. Он происходил из простой офицерской семьи. В университете он пел в университетском хоре и с ним ездил по разным странам социалистического лагеря. Что-то в его пении мне показалось странным. Юра мне объяснил, что поёт вторым голосом.

Через некоторое время система заработала и потом работала ещё лет десять, много после того, как и я, и Юра ушли из института. Министерство с удовольствием пользовалось нашими расчётами, но реформу Фёдорова никто не спешил начинать. К этому времени мода на экономические эксперименты уже прошла. Через несколько лет Фёдоров ушёл на пенсию и вскоре умер.

Зимой мы поехали на конференцию по математическому программированию в Дрогобыч. Там я познакомился с Колей Вильямсом и Юрой Гастевым. Они в своё время были арестованы на мехмате в 1949 году и отсидели в лагере. Юра Гастев постоянно говорил о величайшем научном открытии: это, по его мнению, было дыхание Чейн-Стокса, которое развилось у Сталина перед смертью. Как помню, Юра мне рассказал замечательный анекдот про прогрессивное человечество: Президиум Верховного Совета СССР отмечает большие заслуги прогрессивного человечества перед советской властью, постановляет наградить его орденом Ленина и впредь его именовать: прогрессивное, ордена Ленина, человечество.

Коля Вильямс меня познакомил со своей женой Людой Алексеевой, которая была членом Хельсинкской группы. Я по сей день ею восторгаюсь. Через несколько лет я в их доме присутствовал на прощальном домашнем концерте Александра Галича. Коля писал замечательные стихи, например:

> Из трубы, трубы высокой номер пять
> Вылетает ясный сокол погулять,
> Но вернулся ясный сокол весь в крови
> И исчез в трубе высокой номер три.

Однажды ко мне пришли программистки и заявили, что одна из них стала встречаться с югославским певцом Марьяновичем. Видимо, они не могли пережить чужого счастья. «А ведь она давала подписку, что не будет встречаться с иностранцами; как же нам быть, ведь мы обязаны

сообщить?» Я им сказал: «Вы должны сообщать об известных вам фактах, а не о сплетнях и слухах. Об этих встречах с Марьяновичем вы ничего достоверно не знаете, значит, и сообщать вам не о чем». Не знаю, чем кончилась эта история.

В это время внимание руководства было отвлечено очередным скандалом. После праздника Восьмого марта, т.е. после вечера в институте, нетрезвый начальник отдела кадров вскрыл свой опечатанный служебный кабинет, затащил туда техника-перфораторщицу и изнасиловал. При этом вырвал у неё серёжку из уха, которая и была найдена в помещении в качестве вещественного доказательства. Женщина пошла в милицию, милиция пришла в отдел кадров. Этот тип в ответ им заявил: «Да вы понимаете, куда пришли? Да вы знаете, кто я такой?» Это была неверная тактика. Уголовное дело с трудом замяли, но из института этот кадровый деятель вылетел пробкой. Н. тоже получил своё за работу с руководящими кадрами.

Я написал несколько стихов под влиянием общего ощущения душной и тухлой атмосферы этого времени. В том числе «Поедем на пикник, хозяйственник, полярник…» и «Так кто же отключил наш бедный регулятор…».

Как-то встретил у метро «Сокол» Наташу Горбаневскую и ей прочёл. Как потом выяснилось, на следующий день её арестовали и посадили в психушку.

Неприятная история началась у моего друга Вадима Кротова, который заведовал кафедрой высшей математики в МАТИ. Он отказался выполнять указания ректората на приёме: заваливать евреев, ставить пятёрки блатным из списка. Немедленно последовали санкции. Его вывели из приёмной комиссии и наслали на него комиссию из министерства. Комиссия, которую возглавлял какой-то выпускник мехмата, некий З., написала, что он превратил кафедру в научный институт, развалил преподавание, такое положение нетерпимо и требует кадрового решения. Кротова выставили на конкурс. Он ожидал, что профессура проявит корпоративную солидарность. Это было большой наивностью. Факультетский учёный совет проголосовал за его увольнение, оставался институтский учёный совет, который был просто формальностью. В это время директором Института сетевого планирования Минприбора был назначен его знакомый Вальков, доктор наук из авиапрома и чемпион Москвы по тяжёлой атлетике. Он предложил Кротову пост начальника отделения математического обеспечения. Кротов согласился и позвал меня с собой начальником лаборатории. Слава Букреев уже был начальником другой лаборатории. Предполагалось, что мы будем мозговым центром этого большого института, соберём своих людей и покажем, на что способны при поддержке сверху. Я согласился, о чём имел потом время очень пожалеть. Между тем этот паразит З. собирался защитить докторскую диссертацию в МАИ. Ректор обещал ему поддержку, но он должен был пройти предзащиту на кафедре. В свою очередь, Кротов меня попросил придти на эту предзащиту и посмотреть, что там можно сделать. На кафедре З. развесил свои плакаты и начал длинную речь. Я его внимательно слушал. Предложили задавать вопросы. Я поднялся и сказал, что, собственно, у меня не столько вопрос, сколько замечание. Замечание такое: «В наше время наука стала такой сложной, что порой трудно понять новые работы и их оценить. Но не всегда, как раз в данном случае всё довольно ясно. Вот задача, она понятна. Вот делаются некоторые преобразования, они понятны, но решения задачи не дают. Вот в этом месте автор перестаёт заниматься заявленной задачей и начинает делать вообще неизвестно что и зачем, и так до самого конца. И нам говорят, что это докторская диссертация? Ну уж нет». После этого было ещё несколько выступлений, полностью согласных с моими тезисами. З. ушёл чуть не в слезах. Ректор ему сказал: «За вас просили, и мы вам выделили очередь в учёном совете и полностью пошли навстречу. Но если вы не можете пройти предзащиту, что же вы хотите от нас?» Он, конечно, защитился, но это уже было года через три; пока что на этом этапе я его остановил.

Кстати говоря, в это время произошла ещё одна замечательная история с докторской защитой. Мой приятель по НИЭИ Госплана, Боря Седелев, защищал диссертацию в институте им. Плеханова. Речь там, в общем, шла о статистике, о параметрах распределения запаздываний в экономических процессах. Его поддерживал председатель научного совета В.В. Коссов, который потом при Ельцине стал зам. министра экономики. Резко возражали местные ретрограды во главе с профессором Смеховым, отцом известного актёра театра на Таганке.

Одним из оппонентов был Кирилл Багриновский, профессор из Новосибирска. Наверно, с ним, как водится, была договорённость. Однако он не только прислал отрицательный отзыв, но и не приехал на защиту. Это уже был поступок так себе, ведь защиту в такой ситуации полагалось отменять. Ретрограды торжествовали. Однако не тут-то было. К моему восторгу, Коссов применил тактику, описанную в романе Мериме «Хроника времён Карла IX». Там буйные солдаты велят случайным встречным монахам окрестить цыплёнка карпом, чтобы его можно было съесть в постный день. Коссов огласил спорный отзыв.

Там было сказано: «Таким образом, вызывает сомнение возможность присуждения степени доктора экономических наук. Возможно, следовало бы рассмотреть вопрос о присуждении степени доктора технических наук…»

Всем было известно, что это просто форма вежливости: совет не мог присуждать степень доктора технических наук. Коссов сказал: «Этот отзыв не является отрицательным. У оппонента есть сомнения. Для того и существует научный совет, чтобы рассматривать сомнения». Ретрограды громко возопили.

Коссов добавил: «А если у вас есть сомнения, то мы можем проголосовать по этому поводу». У него в совете было явное большинство. Защита успешно состоялась. В последней попытке Смехов спросил Борю: «Почему вы применяете к советской экономике зарубежные методы?» На это Боря достойно ответил: «Я применяю свои собственные методы, то есть наши, советские».

Как-то в доме моих старых друзей я встретил юную особу, выпускницу провинциального института культуры. Она работала референтом в министерстве культуры. Её рассказы были невероятны, притом что я не видел, чтобы она занималась розыгрышами. К примеру, она нам рассказала о коллегии, где Фурцева завела речь о драматургии. «Не обязательно, чтобы драматург писал много пьес,— сказала она.— Вот Островский — написал «Горе от ума»!» — «Грибоедов»,— сказала ей референт на ухо. «Что Грибоедов?» — «Грибоедов написал „Горе от ума“».— «Ну, уж как-нибудь я знаю, кто написал «Горе от ума». Так вот, товарищи, Островский написал «Горе от ума»…» Мы долго махали на неё руками, но она клялась, что это чистая правда. Что ж, в сущности, всё может быть. А вот история про мужа Фурцевой, импозантного красавца Фирюбина. Эту историю я слышал от своего друга Бубы Атакшиева, а он рассказывал её со слов своего школьного друга Васи Ливанова. МХАТ был на гастролях в Югославии, где Фирюбин был советским послом. Посольство устроило в честь театра банкет, на котором Борис Ливанов, народный артист СССР, сидел рядом с Фирюбиным. Употребив достаточное количество горячительных напитков, Ливанов вдруг повернулся к Фирюбину и произнёс: «Ты знаешь, я кто? Я Ливанов!» Это было сказано густым басом. «А ты кто? Ты — Фирю-ю-бин!» Фамилию «Фирюбин» он произнёс тоненьким тенором и ещё щепоткой пальцев показал, какая тот по сравнению с ним крохотная мошка.

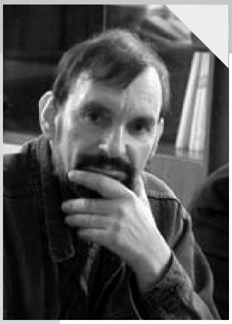
Жена моего друга Миши Борщевского, Рита Поздняк, перевела с польского несколько прелестных новелл Славомира Мрожека. Он ещё не эмигрировал в Париж, но в польской прессе его уже сильно ругали. Одна из новелл повествовала об агентстве «На одного», которое поставляло нуждающимся собутыльников. В заказе следовало указывать, что пить и на какую тему разговаривать. Автор как будто бы берёт интервью у владельца, когда поступает заказ: разговаривать о современных проблемах соцреализма и пить что-то волшебное, уж не помню, что-то из описанного Ремарком. Автор тут же берётся исполнить заказ. Рита послала эти переводы в «Новый мир». Оттуда пришла рецензия, которая отрицала существование Мрожека и высказывала мнение, что это оригинальные Ритины новеллы, написанные в подражание Кафке. Буквально там говорилось: «Это даже не в духе Кафки, а в духе духа Кафки…» Мы долго веселились по этому поводу. Впрочем, это, наверно, было раньше, ещё при Твардовском, так как Мрожек эмигрировал в 1963 году.

Меня познакомили с социологом Суреном В. Он был организационным гением и возглавлял лучший в Москве киноклуб «Фильм 35», якобы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ. Там читали лекции продвинутые киноведы, показывали замечательные фильмы, в том числе новое венгерское и чешское кино. Я привёл в клуб своих друзей. Из членов клуба помню Борю Носика с его тогдашней женой. Иногда зал был полон знаменитостей, были Белла Ахмадулина, Борис Брунов и ещё разные люди. Работал клуб по системе оповещений: вдруг тебе звонили и говорили, куда и когда приходить. Раз на просмотре фильма «Ребёнок Розмари», в самый момент кульминации, когда бедную Розмари раздели и обнажённую положили на помост для каких-то страшных чёрных обрядов, внезапно раздался ужасный грохот. Дамы схватились за сердце. На самом деле это в зал ломился опоздавший Буба Атакшиев. Всё это несколько скрашивало жизнь.

В 1970 году в Новосибирске была конференция по экономическому моделированию. Туда приехали известные экономисты Дэвид Гейл и Эдмон Малинво. Была договорённость: идеологических дискуссий не затевать. Вдруг какой-то сотрудник В. В. Новожилова из ленинградского отделения ЦЭМИ произнёс речь о преимуществах социализма и абсолютном обнищании трудящихся при капитализме. Малинво тут же заверил присутствующих, что при капитализме голодающие трудящиеся не лежат в придорожных канавах. Во время конференции мы с Володей Захаровым разговорились с одним из экономистов на тему, о чём, собственно, думают там наверху. Он нам сообщил слухи, что там собираются снизить уровень противостояния с Америкой и продать на Запад цветные металлы, которых образовался большой излишек. А за счёт этих средств снять нагрузку на сельское хозяйство и попробовать его как-то всё-таки модернизировать. В принципе, это и была политика разрядки. С некоторым удивлением я увидел затем, что эта разумная идея начала реализовываться.

Осенью 1972 года в Москве ожидали Ричарда Никсона и превентивно брали всех диссидентов, чтобы не мешали. Кое-кто из них успел уехать на это время в Коктебель. В августе стали гореть торфяники, и в Москве стоял смог и запах гари. Я взял отпуск и тоже отправился в Коктебель, снял комнатушку около дома антисоветского инвалида художника Киселёва, где каждый вечер собиралось изысканное общество. Там я познакомился с Алёшей Хвостенко и Вадимом Черняком. <…>

Между тем мне исполнилось 35, а советской власти — 55. У нас ещё был какой-то запас времени.



Михаил Тарковский

Дядя Илья

28 сентября 2010 года, в четверг, понесло утрату село Бахта Туруханского района Красноярского края—умер Илья Афанасьевич Плотников. Бахта—село небольшое, дядя Илья—человек скромный, но показалось, опустел не только Енисей, но и вся Россия; почему—и объяснять не надо.

Родился 31 июля 1924 года в Бахте. Мать оставила семью, когда маленькому Илье было 3 года, сестрёнке 3 месяца,—полюбила другого человека, который сошёлся с ней, тоже оставив семью (выходит, и в те времена бывало такое). Отец вскоре женился. Когда Илье было 9 лет, отца убило в тайге лесиной, и Илья остался с мачехой, сестрёнкой и сводными братьями-сёстрами.

В ту пору детишек вовсю привлекали для работы в колхозе. Придут: «Дай нам свою Машу или Дарью для подмоги».—«Пусть идёт». И маленький Илья, учась в школе, подрабатывал то на рыбалке, то на сельхозработах. В 12 лет, когда он отучился три класса, из школы пришлось уйти, не до учёбы стало—слишком много работы, приходилось выживать, кормить малышей. Так и трудился на деревенском хозяйстве да на рыбалке-охоте до войны, до 43-го года. О его военной эпопее рассказано ниже в отдельном очерке.

Когда вернулся с войны—не нашёл самого необходимого для таёжной жизни: ни ружья, ни капканов, ни прочих ценностей. Всё это у мачехи «злые люди» (имён не называл) в его отсутствие вытянули не мытьём, так катаньем, угрозами: «Не дадим карточек». Всё пришлось снова наживать.

После войны работал в колхозе. Были тогда направления: мясомолочное животноводство, овощеводство (в основном капуста и картошка), рыбалка и охота. В колхозе работали не покладая рук, сметану, молоко, творог сдавали на пароходы по договорам, скотину под осень тоже отправляли—всё вниз, на север, в Туруханск, Норильск.

Илья Афанасьевич трудился то завхозом, то учётчиком, даже раз председателем. Был честнейшим и дотошно-ответственным к цифрам и записям. Им буквально затыкали дыры: с весны ставили на невод руководить сплошь женской бригадой, усиленной ребятишками, (точно так же, как и им когда-то усиливали такие же бригады). Наступит горячая пора под осень, снимать-принимать капусту,—бросят на сельское хозяйство. И так всё время: то одно, то другое, дома почти и не бывал. А в колхозе строго было: как-то сняли кассу, и не хватило двух копеек,—собрали правление, влупили выговор, а это было серьёзно.

Кто-то из мужиков, сдавая рыбу, предложил дяде Илье в обоюдных интересах подмухлевать: мол, семья огромная, не прожить, если не приворовывать помаленьку. Дядя Илья отказался, на что ему сказали разочарованно: «Э-э-эх, Афанасич, жить ты не умеешь».

С осени до марта отправляли в тайгу белковать (соболя тогда не было, ещё не реакклиматизировали). Охотились звеньями по четыре человека, продукты и палатку с печкой тащили собаки. Ночью в морозы палатку окапывали снегом. Гайновали, то есть искали белок по гайнам (гнёздам, кто не знает), это требовало большого искусства; выгоняли верховой ход белки по ссыпавшейся с веток кухте. Опромышляли одно место, снимали палатку и шли в другое, дневной переход назывался «палаткой». Весной возвращались, и снова работа, а ещё и по дому надо было успевать—к этому времени Илья Афанасьевич уже обзавёлся семьёй. И снова: перевозка скота на тот берег (МТФ стояли прямо на покосах, скот находился там до осени), рыбалка, покосы, огороды. И так до бесконечности.

Дед был очень трудолюбивым и подчёркнуто самостоятельным, со всем справлялся до старости сам; уже похоронив жену, продолжал жить в отдельном аккуратном домике с автономным хозяйством. Рыбачил удочками налима—всю зиму, невзирая на морозы; без дела сидеть не умел и знал, что единственное спасение в его возрасте—шевелиться.

Помощь принимал крайне неохотно, зато сам помогал даже незнакомым, заезжим. Рассказывают, что дружил с репрессированными, поддерживал их. Некоторые—в частности, грек Фомаиди (за точность фамилии не ручаюсь), давно уехавший,—говорят, долго с ним переписывались.

К деньгам относился более чем спокойно: «Куда мне их?»

В Красноярск Илья Афанасьевич ездил второй раз в жизни в 2009 году лечиться. Пробыл 21 день в госпитале, там ему что-то подправили—зубы, ногу,—и с удивлением сказали, что никаких болезней-то особых нет; всё, что есть,—только возрастное, положенное; что крепкий дедушка.

Приведу отрывок из очерка-наработки для документального фильма про Бахту, где описан дядя Илья лет за шесть до смерти:

Главное в дяде Илье—он артист. Самый настоящий—и на историю, и на слово, и на жест, отрывистый и чёткий. На наклон головы. Головой отвечает то так, то сяк, на каждое заявление, новость—своё положение, то выжидательное, то настороженное, то внимательное, то удивлённое, а то издевательское. Глаз то прищурит, то скосит.

Голову то вскинет, то накренит зорко: раз, раз, й-эх! Всё отточено, как врублено, равнение то налево, то направо, то наискось, и всегда насквозь. И руки — вскинул, туда указал, сюда. Туда пальцем ткнул, здесь ладонью как топором обрубил. Подметает метлой двор, а его спросили, куда лучше сеть поставить, и он метлой тут же показывает: вот тута-ка быстерь, тамо-ка шугой забьёт, и так обыгрывает эту метлу, как ни в каком театре не выучат.

Кажется, видел в кино ли, где ли такого деда, только всё не то было, кусочки, подделки, и актёры пыжились, и больше хлопал их старанию, чем правде.

При всей живости дядя Илья не Щукарь никакой, и хоть в разговоре гибкий, податливый, а на рыбалке так на сыновей прикрикнет, что так и представишь, какой он председатель когда-то был.

Восемьдесят лет. Бродни, штаны в полосочку, рыжие деревянные ножны в берестяной оправе, кожаный ремешок, рукоятка ножа изолентой обмотана, фуфайка, чёрная ушанка. С виду небольшой такой вёрткий дедок, ухватистый на движение: так налима из пролубки крюком подцепит, так привычно на лёд бросит и тут же коротко и туго тукнет его по башке обушком крюка, а потом подтащит на крюке же к рюкзачку. Домой пойдёт, вверх, на угор, и на спине рюкзачок с налимами, а сзади на верёвке пешня ползёт, как бревно за трактором. И вроде лихо управлялся у пролубки, а идёт-то к дому медленно, а пешня по снегу волочится и в шаг подёргивается совсем устало. И что-то такое необыкновенно выразительное, серьёзное и грустное в этой подёргивающейся пешне, будто она о деде больше знает, чем он показать хочет.

У дяди Ильи была поразительная память и поэтический дар рассказчика. Едва он начинал говорить, личная жизнь его наполнялась отзвуком огромной енисейской жизни, и стоило коснуться любой её стороны, было поистине бесконечным кружевце его рассказа. Из простых подробностей такие картины и образы вставали, будто был рассказчиком не маленький старичок со слезящимся глазом и распухшими суставами, а сам батюшка-Анисей, взрытый седым Севером. Жалко, слушали мы его мало — не помещался он со своей длинной жизнью в наше забитое бытом существование. Рассказы свои он прерывал с той же лёгкостью, что и начинал.

Как-то, настроясь на торжественный лад, принёс ему уже почти доделанный фильм, где он играл одну из главных ролей. Он вежливо оживился, мельком глянул на первые эпизоды, где шла заготовка материала для лыж, и тут же, повернувшись ко мне, завёл: «Помню, были у меня лыжи, голицы, ещё Егор Никифорович делал…» И на экран больше не взглянул.

Вот и ушёл ещё один человек из великого поколения. И сейчас, в тяжёлые для России годы (редакция может не разделять моего взгляда), когда бездушной властью попраны все привычные человечьи ценности, всё нажитое труднейшими десятилетиями и долгими столетиями, каторжным трудом и кровью таких вот дядей-Илюш, в который раз понимаешь: как прав он был во всём! И даже не осуждающими словами о новом времени, а просто своей трудовой, бескорыстной и смиренной жизнью, которую нам ещё только предстоит осознать.

Очерки о дяде Илье

Ветераны Бахты

(Очерк этот когда-то уже был опубликован в газете «Маяк Севера». Посвящён он двум бахтинским ветеранам, но сейчас даю его в сокращённом виде, и речь пойдёт только о И. А. Плотникове. Думаю, по прошествии времени по-новому прочитается этот материал.)

В нашем селе праздник Победы празднуют так: к 12 часам деревня собирается на угоре по-над Енисеем, возле памятника павшим за Родину. Народ принаряжен, мужики с оружием. Здороваются за руку. Енисей в это время ещё стоит, в тайге полно снега, но сам угор уже вытаявший, с жухлой травкой. Дети, за несколько дней до праздника красившие ограду свежей голубой краской, идут колонной с барабанщиком во главе. В ограде вокруг крашеной серебрянкой стеллки со звёздочкой темнеют пихты. Открывается калитка ограды, и около памятника выстраиваются: глава деревенской администрации, дети с учительницей литературы Еленой Ивановной и двое наших ветеранов. Остальные стоят рядом на угоре. Мужики с ружьями и карабинами наготове ждут в шеренге на самом краю угора. Когда отзвучало поздравление, они вскидывают стволы и дают залп — вверх и вдаль. Летит дым, пыжи, пахнет порохом. Енисей белеет в оттаявших каменистых берегах бескрайним полотном.

Всего двое ветеранов осталось в Бахте: Илья Афанасьевич Плотников и Анатолий Семёнович Хохлов. В школьном альбоме, посвящённом войне, о них написано: «Плотников Илья Афанасьевич. 1924 года рождения. В ряды Советской Армии призван в июне 1943 года. Был тяжело ранен и после излечения возвращён в строй. Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль «XX лет победы над фашизмом» и орден Отечественной войны I степени».

Иду к дяде Илье. Дядя Илья открывает: залатанные брюки в полосочку, красная в клетку байковая рубаха, застёгнутая на все пуговицы.

— Дядя Илья, мне тут сказали заметку написать. В общем, мне надо тебя о войне расспросить.

— Ничего я не буду рассказывать. Тем более о себе. Раз один корреспондент тоже расспрашивал, а потом такого написал…

— Я «такого» не напишу, а что напишу — покажу.

— Ладно. В общем, родился я в двадцать четвёртом году, тридцать первого июля. Осталось нас трое с отцом. Как мать от нас ушла, не помню. Отец на неводе работал; возьмёт меня на невод, в лодку утащшит, в нос положит. В школе мы учились,

из школы — прямо на рыбалку. В школе три года отучился. Пришли, уговорили на рыбалку. Тугуна тогда чистили на сдачу, до пятнадцатого августа, правда, а после нечищенного принимали. А потом — в армию, в сорок третьем году, двадцать второго июня. Никто меня не провожал. Шесть рублей было у меня в кармане. Привезли в Красноярск. Сказали: «У кого есть какие вещи, можете продать или в фонд обороны сдать». Я что было продал — на семьсот рублей.

— Это на наши как?

— Булка хлеба семьдесят рублей стоила. Богатые деньги были. Стакан орехов кедровых тридцать рублей стоил, двадцать пять — стакан семечек. Мы на распреде были — Дом колхозника, возле Качи. На заводе работали, погружали консервы, муку. Мы сами не таскали, мужики наши таскали, а мы им готовили. Нам дали бочку квадратную здоровенную сгущённого молока, и крупу любую, какую хотите, — варите. Они работали, а мы кашу варили — своим ребятам, которые работали. Потом начали понтонный мост строить. Ниже железнодорожного моста.

— Дядя Илья, ты когда последний раз в Красноярске был?

— В сорок пятом году. По понтонному мосту только машины ходили, и разводили его, когда судно идёт. Потом на Абакан нас переключили. Там тоже переправу строили, но только не понтоны, а козлы — потом настил на них. Козлы — ну, как дрова пилишь. Потом повезли опять на поезде — в телячьем вагоне, в пульмане. Кто-то кричит: «Нас обратно везут!» Так и есть, в Красноярск везли. В сентябре в Омск привезли. Казармы там — склады для картошки, землянки, но — чисто, выбелено. Тут и обмундирование дали.

— И что делали в Омске?

— В Омске? В колхозе хлеб убирали. С фронта комбайнёра привезли. Тогда не самоходный комбайн был, а он на месте стоял, а к нему подвозили. День и ночь работали. Пшеница, просо. Хлеб-то надо было убирать — в деревнях не было никого. Кормили хорошо. Потом в свою часть вернулись: прослышали, что на фронт отправляют, — и попросились. Командир говорит: «Сынок, ты куда торопишься? На пушечное мясо?»

— Обучали перед отправкой?

— Обучали. Матчасть. Устройство снайперской винтовки. Оптический прицел… Обмундирование дали: шинель, котелок — всё новое. И на фронт. Кормили дорогой, честно сказать, ни на фиг не годится. Ехали на поезде, тоже телячьи вагоны. Привезли под Вязьму. В октябре. Оттуда повезли в Великие Луки. От Великих Лук — пешком к передовой. Шли кто как, растянулись по дороге. Дней пять или шесть шли — по одному, по двое. Провожатый-то скрылся где-то. Я один остался, голодный. Иду — никого нет. Кормились как? Бураки… ну, свёкла такая, внутри красная, белая, слоями. У костра её пожаришь и ешь. Иду — устал, света не вижу; машина идёт. Проехала, остановилась, назад сдала — офицеры какие-то: «Солдат, куда идёшь? Влезай!» Залез я… Кусок сала, хлеб…

Голос дяди Ильи дрогнул, лицо вдруг съёжилось, он отвернулся и махнул рукой.

Сидим, молчим с дядей Ильёй. Он продолжает:

— Догнал ребят. Железница — станция называлась. Стоят понемногу ребята, собираются, по пять-шесть человек. Один позже меня пришёл, Скворцов. Ему офицер: ты дезертир, стрелять тебя будем. Скворцов белый стоит. А там один мужик был — видно, что бывалый. «Слушай, — офицеру этому говорит, — если ты нам к вечеру не привезёшь продуктов, то мы тебя самого зажарим и съедим». К вечеру и жратва была, и всё, и хлеб, и концентраты… И Скворцов живой.

— Как первый бой?

Дядя Илья замешкался, будто я спросил глупость, потом помолчал, подбирая слова, а потом как резанул:

— Первый бой был такой: все бегут — и я бегу. Потом залегли. У них пули разрывные были, и кажется — и впереди стреляют, и взади стреляют.

— Ну немцев-то видите?

— Как не видим? Видим. Вот они — который близко, который далеко. То, глядишь, каска мелькнёт.

— А вообще, какая… задача-то у вас была?

Дядя Илья посмотрел на меня как на дурака:

— Вперёд. В сорок третьем одна задача была — вперёд. Потом в оборону нас поставили: Большая Пуща, Малая Пуща. Мы там ещё простояли.

— А медаль? За что наградили?

Дядя Илья снова стесняется:

— Не знаю, за чо наградили. За храбрость вроде. Короче, вот дорога, вот куветы. (Дорогу изображала ложка, «куветы» — две чашки.) Мины вот

здесь легли и вот здесь (показывает на чашки). Я услыхал, когда начали стрелять, ну и сюда летит, по шипу знаю, что где-то здесь лягут. Лёг посерёдке—деваться некуда, и вот одна с этой стороны дороги легла, другая с той. Дорога-то выше, ну и осколки—в бугор. Выходит, берёг Бог меня.

Ещё психическая атака у немцев была. Все пьяные, рука к руке идут (дядя Илья показал, как касаются немцы друг друга поднятыми локтями)—стреляют.

— Сколько до них?

— Сто пятьдесят метров. Мы стрелять начнём—лягут, потом снова идут.

— Ты попадал в немца-то?

— Да ну! Всё врут! Попал—не попал. Ты откуда знаешь, кто куда попал? Снайпер—дело другое.

— А ты вроде на снайпера учился.

— Не стал снайпером—обучаться надо было шесть месяцев, а я месяц проучился.

— А у тебя что за оружие было?

— Карабин кавалерийский… Как в атаку? Один встаёт: «За мной!»—ну и подымаются, по два, по три, потом все. В фильмах всё неправильно показывают: шквал огня—и все в атаку. При таком огне ты и встать-то не сможешь, не то что в штыковую.

— А потом что было?

— А что потом? Ранило. Наградили—и обратно в часть. Два раза ранен был. А воевали: Белоруссия, Литва, Латвия. Была там такая Курляндская группировка. Ранило? Шрапнель—сначала сюда, потом сюда (дядя Илья показывает на ногу, на руку); если б ударила в голову, у меня бы две дырки бы получились.

Ещё спрашиваю про награды.

— Какие награды? Медали «За отвагу». Две было. Одну потерял. Вторую как получил? Тоже так,—дядя Илья отмахивается,—там никто толком не знает, не моё это—начальства дело. Я же не за награду воюю, правильно? Короче, идём с передовой, у меня провода моток на спине. И слышу, командир зовёт. Я иду, не откликаюсь. Докричался. Обратно на передовую посылает—доложить таким-то что-то. А я только что оттуда, да ещё провод этот. Он подзывает солдата: «Возьми провод у него». Отдал провод—и назад, на передовую, а неохота—страшное дело! Так не хотел идти. Сходил, доложил что нужно. Возвращаюсь уже чуть не наутро. Вижу—что-то копают тут… В общем, все, кто тогда шли со мной—и начальство, и солдаты,—все полегли, тридцать два раненых и одиннадцать убито. Снаряд. Опять Господь уберёг.

— А ещё что было?

— Зубами порванный провод соединил, а потом огонь корректировал…—дядя Илья помолчал, сказал:—В Белоруссии ни одного дома не было целого, трубы где торчат только. Шли по лесу колонной, вдруг остановка. Я шустрый был, вперёд пробрался: что такое? На сосне висит женщина молодая, в чём мать родила. Косы… до сих пор перед глазами стоят… льняные. А под ней банки от консервов—жрали… Пожрали и уехали: моторизированные, б…!

Помолчали.

— А медаль как потерял?

— Она у меня в кармане лежала, командир говорит: «Почему не носишь?» Я надел; носом то рыл когда землю—и потерял.

— И сколько времени тебя дома не было?

— Два года и шесть месяцев,—посчитал дядя Илья.

— А победу где встретил?

— В госпитале в Ленинграде. Помню, баба идёт, толстенная, в дверь только боком проходит. Под кублуками паркет прогибается. А она пробовала еду нашу, годится или нет. Наши ржут: «Опробывалась!» Это к слову… А победу—в госпитале. А вообще земля слухом пользуется, ещё победы нет, а слух уже был, что с Америкой вражда идёт. А с победой так было: ночью проснулся—гул идёт. «Чо такое?»—спрашиваю спросонья. А мне: «Кричи ура—победа!» А назавтра Сталин говорил. Немного сказал—поздравил всех. И всем выдали—по чекушке вина, бутылку минеральной воды, бутылку пива. Я пива отпил. А больше не хотел почему-то. А днём народ пошёл к больнице, а там загородка—как пики. И вдоль загородки побежали все… К нам… Поздравляют… Что было! Пла… плачут все…—говорит дядя Илья срывающимся голосом, вскакивает, уходит, гремит умывальником, вытирает лицо. Возвращается. Отрывисто бросает:—Извини.

Молчим.

— А что потом? Потом домой. Посчитали, комиссовали, выдали деньги, посадили опять в телячий вагон—и поехали, только не через Москву, а северной дорогой, через Пермь мы выехали. Приехали в ноябре, двадцать восьмого числа домой попал. На самолёте. Не ждали особо—телеграммы не давал. Что жив, знали. Писал. До Сумарокова на самолёте долетели, до Мирного на конях. А от Мирного пешком. Все кони в Арвамке, даже водовозные, сено возят. Пешком пошли. И только я в избу зашёл—мне фуфайку не дали снять: все бегут, все целуются. Я утром поднялся—веришь, нет?—весь в пузырях!

Рубашка и сколотень

Давно хотел научиться делать туеса, да всё не мог собраться и попросить дядю Илью показать, он у нас один по бересте, стариков-то почти и не осталось. В городах туясьями завалены все прилавки, но городские жители, а иностранцы тем более, народ тёмный и не знают, что туясья-то все поддельные—клееные. Настоящий туес собирается из двух частей: нутряной целиковой трубы, или сколотня, и внешней, завёрнутой в замок, рубашки. Городские туеса сделаны без сколотня, их внутренняя часть клееная. В таком туесе нельзя хранить ни молоко, ни квас, предмет теряет своё прикладное и историческое значение, становясь бутафорией.

Старые туеса или бураки—тёмные; у тёти Шуры они были прошиты по ободку корешками; она любила рассказывать, как собирали эти кедровые и еловые корешки по краю яра. Ещё из бересты делали чуманы—берестяные коробки для мелкой рыбы, их сворачивали на скорую руку прямо на реке и бересту по углам скрепляли деревянными прищепками. Из бересты плели пестеря для ягоды.

Делали поплавки для сетей, а самая красота—это неводные кибасья, то есть груза. Кибас напоминает пирожок—это один или два камешка, плотно завёрнутые в бересту и заделанные корешками. Из бересты делались тиски—щиты для берестяных остяцких чумов, что ещё в недавние времена стояли на берегу возле устья Сарчихи. Остяки рыбачили там с весны до осени. Были здесь ветеран войны дядя Петя и его жена тётя Груня Лямичи. У них тоже стоял чум у Сарчихи. Дядя Петя время от времени воспитывал тётю Груню и однажды за какую-то провинность привязал её за ногу, вроде как на якорь посадил. Ещё из бересты эвенки делали лодки. Прекрасных предметов этих уже почти не осталось, и как бы ни хотелось научиться делать—себя не хватает, воли, собранности, поэтому я решил начать с туясьев, и в весенний июньский день, с первыми незлыми комариками, мы с дядей Ильёй поехали за сколотнем.

Сколотень снимают в пору самого сочения. Главное—выбрать кусок берёзы без «бородавок» и трещин. Берёзу валят, причём так, чтобы она осталась на пне, держась за щепу. Затем выше и ниже будущего сколотня очищают от бересты и коры.

Дядя Илья сделал рябиновый рожень—тонкий стволик рябины очистил ножичком от коры и стесал с одной стороны. Потом по сочащемуся берёзовому боку начал загонять скользкий рожень под кору берёзы. Именно не под бересту, а под самую кору. Рожень входил трудно, но с каждым разом подныривался легче и дальше, и в конце концов дядя Илья подсочил по кругу весь сколотень—с одной и с другой стороны. Я поразился, как туго подавалась береста, какая у неё открылась резиновая эластичность, с каким упругим звуком, не то треском, не то скрипом, не то хрустом, она отходила от ствола, и как выпирала бугром над роженем, и как этот бугор вздувался и бежал под напрягшейся шкурой, повторяя броски роженя. Но самое чудо произошло дальше, когда дядя Илья обнял сколотень двумя руками из-под низу и, прижав подбородком, напрягшись до красноты, резким рывком сорвал-провернул сколотень и сдвинул по скользкому блестящему берёзовому боку к вершине.

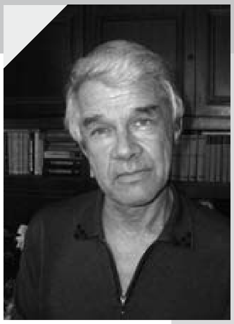
Дома я сделал туес. Рубашка и сколотень смотрят друг на друга белой стороной бересты. Рубашка оборачивает сколотень. Она сворачивается из прямоугольного куска бересты и заделывается в замок. Замки бывают разной формы, их вырубают высечкой. Рубашка надевается втугую на сколотень. По низу туес охватывается берестяным пояском. Потом из дощечки вырезается донце. Низ туеса вываривается в кипятке и становиться таким волшебно- податливым и эластичным, что донце, только что не желавшее влезать, постепенно входит, встаёт на место и, когда туес высыхает, с такой железной силой оказывается охваченным берестой, что не пропускает никакой жидкости. В верхней части туеса сколотень несколько выступает за рубашку, этот воротничок вываривается и заворачивается на рубашку, образуя крепкий и

Фото А. Матвеева

великолепный ободок. В него вставляется крышечка, выпиленная из дощечки, с берестяной ручкой. Жёлтый, солнечный, свежий туес готов, и сразу вспоминается вся наша история, целые поколения русских людей, хранивших в туесах молоко, сливки, квас, ягоду, и счастье от твоего приобщения к мастеровой культуре даёт ощущение небывалой твёрдости и правоты жизни, не передать которую нашим детям—преступление.

Сразу многие мужики тоже захотели сделать туес, даже мой друг, старший товарищ и учитель—промысловик Геннадий. А я вспоминал, как туго схватился сколотень с рубашкой, и какую они, оба ещё такие хлябающие, опасно тонкие, получили вдруг могучую натяжку, и какой красивой змейкой пролёг шов замка! Прежде я видел только старые, затёртые до хмурого блеска туеса, пропитанные соком ягоды, исцарапанные, смуглые от времени, а тут из-под моих рук вышла-родилась та же священная для меня древняя форма, и меня будто подняло на мощной волне времени и охлестнуло этим великим приобщением к трудовой истории.

Какое веселие Божие было в этом берестяном празднике, какая благодарность берёзе, отдавшей свою плоть, какая детская радость сияла в глазах дедушки Ильи, когда сорвался сколотень, так туго сидевший на стволе! Спасибо тебе, дедка! Спасибо, батюшка-Анисей!



Александр Шлёнский

На току

Вечерело. Едва-едва до темноты мы успели затабориться на довольно обширном клюквенном болоте, вытянувшемся далеко вдоль реки.

Главное, что нам удалось успеть до того, как стемнело,—заготовить сухие дрова и завалить три довольно толстые сырые берёзы, так что костёр до утра нам должен был быть обеспечен. Несмотря на то, что в лодке, на которой мы прибыли сюда, у нас имелась бензопила, мы всё же постарались обойтись топором, во избежание слишком большого шума. Глухариный ток находился поблизости—чуть больше километра от нашего пристанища. И мы, конечно, не хотели причинить ему лишнего беспокойства.

О такой охоте, на которую мы рассчитывали, в глубине души мечтает каждый хоть что-то представляющий из себя охотник, ожидает её и готовится к ней целый год с трепетом и вожделением. Я много лет мечтал увековечить сам процесс охоты на току. И вот теперь с собой у меня имелась приобретённая не так давно видеокамера.

До этого у нас, как это часто бывает, целый день ушёл на сборы, а следующий—на то, чтобы на моторной лодке подняться до места по довольно капризной—тем более в весеннее половодье—таёжной горной реке. Было начало мая. И вот наконец-то мы добрались туда, куда так давно стремились. Костёр горел, и вскоре уха, судя по побелевшим глазам двух ленков, пойманных нами по пути, была готова. И, конечно же, в такой своеобразный праздник, да ещё под такую традиционно рыбацкую закуску, пахнущую дымком, грех было бы не принять сто грамм, которые, конечно же, нашлись у моего запасливого спутника. Петрович, как его звали, уже немолодой, лет шестидесяти трёх, красивый, статный седобородый мужик с необычайно голубыми глазами, был из пермяков, приехавших сюда с далёкого Урала лет тридцать-сорок назад. Конечно же, за это немалое время он уже достаточно аборигенился у нас в Сибири. И, можно сказать, по праву считал себя местным жителем. Таёжник он был достаточно опытный. Добрую половину того срока, который он здесь прожил, охотничал в госпромхозе, а остальную проработал на валке леса в леспромхозе.

Человек он был умный, интересный и достаточно своеобразный. Его по-своему красочная речь изобиловала множеством иной раз удивительно точных, колоритных определений и синонимов, порой даже ласкающих слух своей оригинальностью и, я бы сказал, свойственной только русскому человеку изысканностью. К примеру, заросшую водной растительностью старицу он называл бакалдой, заболоченный, топкий качающийся берег—лабзой, снег, позволяющий охотнику не проваливаться и достаточно надёжно передвигаться на лыжах,—взъёмом, а какую-нибудь лесину, встретившуюся на реке, высунувшуюся вертикально из воды тонкой своей частью,—поторчиной и т. д.

Кто-нибудь из нас сказал бы так:

«В этом году тайга сильно захламлена поваленными деревьями, прохода нет. На лыжах ходить—так снег не держит, слишком рыхлый и до земли проваливается. А без них совсем невозможно, очень тяжело. А когда оттепель приходит, тогда слякоть начинается. Через поваленные деревья перелазить скользко. Дома сидеть уже очень надоело. Жду, когда хорошая погода придёт».

Петрович бы выразил эту же мысль примерно вот таким образом:

«Сегода проблемно очень. Тайга завалежена, непролазно. На лыжах ходить—так взъёма нет, а без лыж невмоготу, убродно очень, совсем убьёсся. А как оттеплит, так слякотит и на ветровалинах склизко. Дома сиднем сидеть вообще уже удержу нету. Жду, когда разведрится».

И всё хорошо, если бы не обладал он ещё, помимо всех своих перечисленных и не перечисленных достоинств, обострённым самолюбием, обидчивостью и какой-то болезненной склонностью противоречить.

Проявлялось это обычно примерно таким образом. Бывало такое. Сижу я на берегу у своей бани и любуюсь рекой, которая буквально сегодня вскрылась почти на месяц раньше обычного. Даже старожилы не помнили подобного. Такое особенно никого не радовало, тем более деревенских: придёт такая весна и введёт в заблуждение всё живое. У обманутых природой деревьев и кустарников набухнут почки, и только, обрадовавшись нежданно пришедшему теплу, выпустят они крохотные зелёные листочки, как нагрянут сильные ночные заморозки, что окажется губительным для всего живого. Неурожай неизбежен. Страдают люди и животные.

В этот самый момент, когда я сидел, погружённый в подобные невесёлые мысли, тихонько подошёл Петрович и присел рядом. Так мы сидели, заворожённо глядя на реку. «Да, весна нынче слишком ранняя»,—заметил я. «Весна нынче поздняя»,—моментально отозвался он. Я удивлённо взглянул на него, посчитав, что ослышался. «Весна нынче очень поздняя»,—тут же, как бы настаивая, произнёс он, глядя мне прямо в глаза и словно осмысливая степень ненормальности

противоречия им высказанного. Кто-то бы оценил это как нелепость, ведь для каждого происходящее было абсолютно очевидным. Я, достаточно хорошо зная этого человека, отвернулся от него, чтобы его не провоцировать, и резко перевёл разговор на другую тему, будто бы эта весенняя тема не была для меня так уж важна и я не намеревался развивать её дальше. Я заговорил про охоту. Он в таких случаях на рожон не лез, понимая, что палка явно им перегнута. И, будучи всё-таки неглупым человеком, прекрасно сознавая степень своего перебора, словно принимая условия предложенной мною игры, тут же поддержал охотничью тему.

Подобные случаи происходили неоднократно. То он начинал рассказывать о несуществующих особенностях далёкого горного озера, на котором сам никогда не бывал, в отличие от меня, ходившего туда неоднократно. И сразу же начинал обижаться и кипятиться, если я как очевидец ему пытался возразить, даже в мягкой форме.

То доказывал, что на одной из рек, где мне пришлось охотиться не один год, но которой он опять же даже в глаза не видел, водится такая рыба, какой я и другие, там побывавшие, никогда не ловили…

Как и все мы, этот человек был не лишён некоторых недостатков, которые, в силу своей деликатности, каждый раз при их проявлении я старался оставить незамеченными. Противоречил он как бы неосознанно, из какого-то непреодолимого упрямства во что бы то ни стало настоять на своём. Ну и ладно, ну и пусть, зато в нём всё равно было много хорошего и интересного.

Несмотря ни на что, с ним нас объединяло всё то, что связывало нас обоих с горами, небом, тайгой и рекой, а именно — неуёмная страсть фаната ко всему, что первозданно, одинаковый образ жизни добытчика, рыбака и охотника, образ жизни человека, неотделимого от природы и без неё не представляющего для себя своего существования.

Наконец холодная беззвёздная ночь со всех сторон укрыла нас своей чернотой. И лишь крохотное светлое пятнышко нашего костра, чуть-чуть раздвинувшего темноту, определяло место нашего пребывания в мироздании, необычайно обострив в нас ощущение своей неслучайности пребывания в необъятном мире. Уравномерно шипящих сырых берёз мы просидели ещё довольно долгое время за нескончаемой беседой на неиссякаемые в такие минуты темы. И, конечно же, не могли не поговорить о предстоящей завтрашней охоте. И тут-то снова проявились амбиции непокладистого Петровича. В процессе разговора он заподозрил меня в посягательстве на его неукоснительный авторитет опытнейшего охотника. Произошло это всего-то ни с чего.

Я просто спросил его, каким номером дроби он собирается стрелять глухаря. Выяснилось, что двойкой. Раньше не было особого выбора боеприпасов, и охотники обходились тем, чем придётся, взятым по случаю и неизвестно где. Но с более крупной дробью было проблем больше. Так как дробь номер два и номер три была самой доступной, поневоле приходилось обходиться и ей. Так это и прижилось, как часто бывает у русского человека, неизбалованного житейскими удобствами и умеющего ко всему приспособиться. Этими номерами били всё подряд: в основном рябчика, зайца, утку, в том числе и глухаря, а иной раз, при удачном скраде, умудрялись добыть даже косулю. Но это, конечно же, приводило к тому, что оставалась масса подранков (эта дробь слишком мелкая для крупной дичи), которые в конце концов погибали где-нибудь далеко в тайге или на озере, что, конечно, преступно и кощунственно. В наше же время с боеприпасами нет никаких проблем, и при желании приобрести можно всё, что угодно. Петрович в этом смысле оказался, к моему удивлению, консерватором и дилетантом. И тем не менее, я ему предложил взять у меня несколько патронов заводской закатки с более чем на порядок крупными и убойными зарядами № 0000, т. к. глухарь особенно на рану крепок, что очевидно для любого охотника. Предложил же я ему свои заряды самым доброжелательным и искренним образом, ни в коем случае не думая ущемить охотничье самолюбие этого ранимого человека. Но даже моя попытка перестраховаться во имя обоюдно угодного дела была принята в штыки как покушение на неприкосновенность его самостоятельности: «Да чтобы я с двойки глухаря с одного выстрела с дерева не снял?! Никогда такого не было!» Он посмотрел на меня, словно хотел убедиться, смею ли я подвергнуть сомнению достоверность им сказанного.

Я покладисто опустил глаза. «Да я вообще не слышал, чтобы даже кто-нибудь из пацанов наших на току птицу упустил», — совсем разошёлся он. «Ну, понесло старика на его коньке», — подумал я и, воспользовавшись привычным методом, стал говорить на другие, отвлечённые темы — о рыбалке и ещё о разных вещах. Мелькнула мысль: говорить такое, да ещё перед самой охотой… Вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобный риск.

Чувствовалось, что он был уже и сам не рад сказанному, но совладать с собой был уже не в силах. А я ведь не мог не предположить подобной реакции, но в глубине души надеялся на разумный исход разговора. Не нужно было его начинать. Мне ничего не оставалось, как мысленно пожалеть о произошедшем. Спорить с ним не хотелось хотя бы потому, что седины в его бороде было побольше, чем в моей. Я достал видеокамеру и стал снимать. Негодующий таёжный дед в ночи с покрытой сполохами от разгоревшегося искрящего костра растрёпанной бородой — это было, на мой взгляд, впечатляющее зрелище. Да и Петрович съёмке не препятствовал, более того — отнёсся к ней с каким-то необыкновенным почтением. Наконец-то он как-то успокоился и угомонился.

Затем, т. к. было достаточно поздно, решили вздремнуть хотя бы немного, потому что усталость, накопившаяся за этот длинный и нелёгкий день, давно давала о себе знать. Да и на ток нужно было выдвигаться затемно.

Подшевелив костёр, мы завалились на разостланный рядом заранее приготовленный пихтовый лапник.

Для некомпетентных кратко постараюсь пояснить, что такое ток, его особенности и способ охоты на нём. Это то место, где весной в брачный период утром и вечером, перед закатом, начинают свои любовные песни самцы глухарей — петухи, услаждая своим пением слух глухарок — копалух, т. е. самок глухарей, и завлекая их. Не нужно удивляться — именно слух. То, что эту птицу называют глухарём, совершенно не означает, что она не слышит. Даже наоборот, она обладает великолепным зрением и слухом.

Бывает ток совсем небольшим — всего две-три птицы. На такие мы (или, по крайней мере, я) не ходим: совесть не позволяет, и рука не поднимается. Но если ток большой или особенно большой, где глухарей десяток, а то и не один, как в нашем случае, я как бы сам себе разрешаю добыть одну, а в редких случаях и две птицы.

Сидит петух на дереве — обычно это довольно редкий невысокий сосняк где-нибудь на горе или, как в данном случае, на болоте, — на каком-нибудь суку, ходит по нему, расправив свой огромный веерообразный хвост, и распевает. Так, по крайней мере, наверное, он сам считает. А нам-то кажется, что он издаёт только довольно специфические звуки. Если мы шёпотом будем произносить «ток-ток», «чи-чи-чи» (как бы прищёлкивая языком) с некоторой периодичностью, это чем-то будет напоминать глухариную песню. Второе колено — это сочетание звуков, чем-то похожее на точение напильником (именно его охотники называют пением), — и использует охотник, так как птица в этот момент действительно не слышит ничего. И успеваешь сделать два-три, максимум четыре шага или прыжка в её сторону. А потом замираешь, в каком бы положении ни застало тебя окончание пения, т. к. в последующий момент слух у петуха обостряется необыкновенно, и ты рискуешь спугнуть его в ответственнейший момент, что зачастую может решить весь исход охоты. Затем он опять начинает «токать», и ты снова ждёшь очередного точения, чтобы успеть ещё на какое-то расстояние продвинуться в сторону птицы. Именно за вышеописанную особенность этой необыкновенной птицы её и назвали глухарём.

И так продолжается до тех пор, пока тебе не удастся подойти к нему на верный выстрел. Как правило, подходишь к нему затемно, и он тебя не видит, но всё равно стараешься выбрать такую позицию, чтобы он тебя не заметил, когда начнёт светать, а ты смог бы увидеть мушку своего ружья и сделать наиболее удачный выстрел.

Добыть глухаря престижно, это ценный охотничий трофей. Охота на него считается одной из самых желанных и интереснейших у нас в России.

Как и полагалось, мы поднялись очень рано — до трёх часов. Быстро вскипятили чай, перекусили наспех и двинулись через болото. Уже на подходе выключили фонарики. Оставшуюся часть пути пересекали болотину почти в полной темноте. Ощущался лёгкий утренний заморозок. Уже кое-где в прогалах облаков стали появляться звёзды, обеспечивая нам относительную видимость. Местами под ногами похрустывал ещё не совсем полностью растаявший снег. Лёгкий шум, издаваемый нами при ходьбе, мы старались свести к минимуму. Подошли к току, остановились, прислушались. И стали определяться. Не совсем ясно прослушивались три-четыре ближайшие к нам птицы. Ток был большой и растянутый вдоль болотины. Мы разошлись в разные стороны и стали подбираться каждый к своей выбранной цели. Я привёл видеокамеру в боевую готовность и повесил на шею.

Как обычно, передвигаться приходилось с большой предосторожностью, чтобы не повредить ногу где-нибудь в укрытом моховиной коряжнике или, не дай Бог, не наткнуться глазом на невидимую острую ветку или сучок. И в то же время неотрывно, внимательнейшим образом держать на слуху глухариную песню, чтобы ни в коем случае не издать ни малейшего звука с момента окончания точения до последующего очередного колена.

Всё сложилось благополучно, и через некоторое время практически вплотную мне удалось подойти к поющей птице. А точнее — буквально прямо именно под ту лесину, на которой и восседал артист. Слева, справа и из передней части сосняка — отовсюду доносились голоса петухов. Да, ток действительно на редкость был серьёзным. Мой иноверный, ничего не подозревающий пернатый избранник временами, явно находясь в эйфории нервного возбуждения, в промежутках своего исполнения песни начинал какое-то шевеление или хождение там, у себя наверху. Мне его ещё не было видно, но я чувствовал и слышал, что он находится прямо надо мной буквально в восьмидесяти метрах. Изредка вдруг падал какой-нибудь сучок или сыпалась хвоя, оброненная им. То непередаваемое ощущение необычайного кайфа мне, инкогнито посвящённому в это таинство природы, может быть понятым лишь тем (подобным мне фанатам), кому посчастливилось пережить подобное. Ток постепенно достигал кульминационной точки своего накала. Я постарался себя успокоить и стал выбирать наиболее удобную позицию прямо за сосной, на которой находился глухарь, до последующего ожидания, пока мало-мальски не рассветёт. Затем погрузился в свои размышления под неповторимую, самую прекрасную, поистине классическую весеннюю музыку просыпающейся природы, гармонию которой вскоре кощунственнейшим образом нам предстояло нарушить своей стрельбой. В этом-то, видимо, и заключается одна из сторон потребительской сути человеческой. К сожалению, таков способ охоты, выработанный веками. А мы — люди больные, слабые и пристрастные. На несколько секунд эта разыгравшаяся таёжная идиллия была прекращена неожиданно прозвучавшим выстрелом метрах в пятистах позади меня. Неужели Петровичу посчастливилось добыть свой первый трофей? Может быть, кусочек таёжки в том месте, где он находился, был более разряжен и видимость была получше, чем здесь. «Хорошо бы не подранок», — мелькнуло у меня. В тот момент я всей душой желал старику удачи.

Только-только забрезжило. Через некоторое время и моя птица начала достаточно отчётливо

просматриваться. Светать стало быстро, и вскоре я сумел приступить к съёмке, конечно же, принимая все меры предосторожности. Моя мечта сбывалась. Опять прогремел выстрел. «Ну Петрович даёт! Я своего ещё снимать не закончил, а он уже ко второму подошёл». Конечно же, это, без сомнения, был бывалый и опытный охотник. Я продолжал съёмку. На этот момент стало уже настолько светло, что у меня появилось опасение, как бы мой киногерой не заметил меня и не «сделал крылья». Да и увековечивание его продолжалось не менее десяти минут. Этого было вполне достаточно. Дождавшись следующего периода точения, я выстрелил под песню, и прекрасная птица упала практически прямо к моим ногам, тем самым вычеркнув себя из числа своих конкурентов.

Упаковав добычу и видеокамеру, я позволил себе заострить своё внимание на ближайшем от меня певуне, который до этого по понятным причинам для меня был более второстепенен. Но сейчас он, конечно же, начал приобретать всё большую и большую значимость в связи с потерей своего ближайшего соперника. Снова по ушам резануло выстрелом, и сразу же, почти следом,—вторым, на этот раз—уже метров на триста справа. Это насторожило меня. Петрович был человеком совестливым и достаточно порядочным, и уж никак не рвачом. Хотя бы только потому, что он, тоже зная мои взгляды на подобные вещи, не стал бы бить третьего глухаря. Здесь, видимо, присутствовало нечто иное. Я тоже обладал достаточным опытом для того, чтобы понимать, что не исключены совсем разные, непредсказуемые случаи, в том числе и такие, как встреча с медведем.

Дальнейшая охота усложнилась тем, что к глухарю нужно было подойти незамеченным уже по свету, таким же способом, но только используя на этот раз естественное укрытие—деревья, кустарники, рельеф местности—и, опять же, стараясь быть не увиденным и не услышанным, чтобы не подшуметь птицу. Мне это удалось достаточно успешно. Я подкрался прямо к поляне, посреди которой стояла сосна. На ней в полдерева, на огромном суку, на самом виду неистовствовал ничего не подозревающий петух. Я не стал доставать камеру: предшествующая съёмка меня полностью устраивала. Расстояние от дерева, за которым я прятался, было сорок-пятьдесят метров—достаточно далеко для гладкоствольного ружья. Подумалось: неужели Петрович стал бы стрелять на таком расстоянии своими сомнительными зарядами? Тщательно выцелив (под пение) птицу, я произвёл выстрел. Глухарь сорвался с места и полетел вглубь леса. Через две-три секунды послышался отчётливый глухой удар о землю упавшей тяжёлой птицы. Не исключено, что он мог бы улететь и дальше. В таком случае мало надежды найти его. И это при моих-то мощных зарядах. И только я собрался идти на поиски дичи, как раз со стороны её падения раздался треск ломающихся под чьей-то тяжестью веток. Пришлось на всякий случай перезарядиться на пули. К моему успокоению, на мой тихий свист раздался ответный. «Петрович, ты, что ли?»—«А кто же ещё»,—ответил он. «Там, где-то в твоей стороне, петух упал. Посмотри, пожалуйста»,—попросил я. «Да ушёл, ушёл твой глухарь»,—с какой-то, как мне показалось, надеждой в голосе послышалось из-за кустов. И вдруг явно упавшим голосом произнёс: «Вот он». Через какое-то время он вышел на поляну, держа в руках огромную птицу. Будучи на дереве, она выглядела гораздо меньше. «Ну, слава Богу. А то подранок мог бы и пешком улизнуть. Что ты там за канонаду открыл? Уж не с хозяином ли начал воевать?»—«Да нет, в глухаря стрелял,—сказал он.—Слишком далеко было, да и ветки помешали. Вторым выстрелом уже влёт надеялся достать, но там вообще просмотру не было».—«А до этого два выстрела было? Обоих добыл?»—с надеждой полюбопытствовал я. «А-а-а…—протянул он и махнул рукой.—Ружьё сдуру другое взял. Всегда со своим старым ходил, то мне подручней было. У него и стволы не разболтаны, как у этого. Его недавно мне принесли, так вот решил опробовать. Я к нему не привыкши. В первый раз такой прокол». Он отвёл глаза, видимо, вспомнив своё ночное возмущение. Нам обоим было неловко. Ну зачем нужно было говорить, что он всегда одним выстрелом обходится? А тут целых четыре! И впустую! Хорошо бы, если бы ещё и без подранков обошлось.

Интуитивно я не мог не ощутить некоторое недоброжелательство с его стороны. Наверное, ему легче было бы перенести всё это, если бы мне не удалось добыть ничего, ну или хотя бы одного глухаря. А так его неуспех слишком резко контрастировал рядом с моим везением. Мне было как-то неудобно перед ним. «Ничего, Петрович, по глухарю у нас с тобой есть»,—опять сглупил я, ненароком задев его самолюбие. «Не надо мне,—буркнул он.—Я не последний раз сюда пришёл». Возражать не хотелось. Мы стали возвращаться на табор, потому что ток и так был достаточно потревожен. Сосед впереди, а я сзади.

Я думал: упрямый ты, дед, ну кто тебя за язык тянул? Я всеми фибрами чувствовал дискомфорт в душе своего упёртого напарника, без всякой необходимости так необдуманно взвалившего на себя груз ответственности передо мной за свою удачу. Мне это было совершенно не нужно. Само понятие «удача» не подразумевает стопроцентной исполняемости задуманного. Как фарт у картёжника. Это в какой-то степени сродни счастливому случаю. Жизнь охотника и рыбака сплошь и рядом состоит из белых и чёрных прядей—удач и неудач, к сожалению, зачастую с преобладанием именно чёрных. Даже моя покойная бабушка говорила: «У кого ружьё и уда, тот живёт худо». Недаром самым ценным пожеланием среди нашего брата является, опять же, пожелание удачи. Мне самому не доводилось видеть особо разбогатевших честным промыслом охотников. Первостепенны здесь страсть и любовь, а ни в коем случае не обогащение.

Придя к нашему кострищу, мы первым делом, конечно же, развели огонь и «почаёвничали», как выражался мой товарищ. А затем до самого вечера занимались рыбалкой. Весь день Петрович был

неразговорчив. Это совершенно нехарактерно для него.

На следующее утро он опять пошёл на ток, один. Я же остался у костра, так как свою норму выполнил. Вернулся напарник заметно повеселевшим, потому что одного глухаря он всё-таки добыл. Честно говоря, я был этому рад, наверное, ещё больше его.

Мы сняли сети и к вечеру были уже у себя в деревне. Я жил ближе по ходу и первым повернул к своим воротам, предварительно попрощавшись с соседом. И когда уже собирался открыть калитку, он окликнул меня. Я обернулся. «Ты вот что, паря. У тебя кадрик (так он называл фрагмент видеосъёмки), который ты ночью у костра делал, сохранился?» Чувствовалось его напряжение. «Да не уверен,— тут же нашёлся я.— Темно слишком было. Даже если и получился, всё равно хорошего качества не будет, и убирать придётся».—«Вот и правильно. Убери, убери»,— посоветовал он с явным облегчением, видимо, всё же полагаясь на мою честность.

P. S. Тогда мне было ещё невдомёк, что и самому придётся расплатиться в большей степени за своё нетерпение и некоторую неумеренность в охоте. Достаточно было добыть одного глухаря, но зато и сделать качественную съёмку (как основную цель моего похода), чем две птицы — и, в общем-то, не достигнуть главной цели этой вылазки. Дело в том, что выдержки у моей камеры действительно не хватило для того, чтобы запечатлеть самого величественного из таёжных пернатых. Не хватило терпения дождаться того момента, когда ещё больше рассветёт. Да и технических возможностей своего «Панасоника» я тогда ещё полностью не знал. Единственное, что записалось,— это глухариная песня в полной кромешной темноте. Я хотя бы и этому рад. В очередной раз просматривая, а вернее, прослушивая эту плёнку, я вновь и вновь со всей остротой вспоминаю это забавное и немного грустное происшествие. Просьба Петровича мною была выполнена: я стёр ту запись, которую он хотел. Не хочу порочаще отозваться об этом интересном человеке. Несмотря ни на что, я его люблю и в достаточной степени уважаю. Но не поделиться с читателем таким поучительным своеобразием этого человека было бы, на мой взгляд, неправильно. Признаться, я и сам себя в какой-то степени узнаю в этом образе, который, как сумел, постарался передать. А может быть, кто-нибудь ещё?

ДиН письмо

Марине Саввиных,
главному редактору
журнала «День и ночь»

Дорогая Марина!

Давно собирался написать Вам. Поблагодарить, что тянете эту неподъёмную ношу — литературный журнал. Что храните память о Романе Солнцеве. Я его помню по студенческим годам в Казани, хотя и не был знаком с ним лично. Мы учились на физфаке Казанского университета, но он шёл на два курса старше. Был он тогда просто Ренатом Суфеевым. Среднего роста, худенький, подвижный юноша. Наверное, будь мы постарше, поопытнее, разглядели бы в нём будущего писателя, но мы были совсем зелёные и будущего писателя, честно скажу, не разглядели…

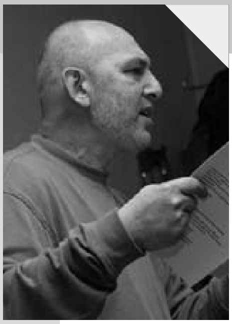
В каждом номере факультетской стенгазеты появлялись его стихи. Писал он, видимо, запоем. Случалось, что процентов 60 газетной площади, а это склеенные 6–7 листов ватмана, занимали его стихи. Частенько выступал он и на студенческих вечерах, на праздничных концертах, где тоже читал свои стихи. Перед чтением обычно говорил несколько слов, как бы договаривая оставленный из-за концерта разговор, только что прерванный. К примеру, в тот год, когда он заканчивал университет, предваряя выступление, сказал, что руководитель дипломной работы упрекнул его: мол, работа его написана «не физическим языком». Ведь учился-то он на физика, и его руководитель, конечно, тогда тоже не догадывался, что он станет писателем. Вспоминаю, как мой товарищ по комнате в общежитии, математик, поступавший в универ вместе с Ренатом, сияя, однажды показал мне тоненькую первую книжку стихов Рената Суфеева «Солнечный дождь», только что вышедшую в Казани. На обложке, изображавшей сверкающие в солнечном свете летящие капли дождя, рукой автора было написано: «Не читай эту книжку! Следующая — будет лучше». Было это полстолетия назад, весной 1961-го. Но те его нестандартные слова врезались в память.

О том, что мы с Ренатом практически земляки (его Мензелинск всего в 20 км от моего Красного Бора, но добираться даже летом непросто — через полноводную Каму и бескрайние заливные луга), я узнал много позже, когда прочёл в «Новом мире» его большую повесть или даже роман, название которого стёрлось из памяти. Он был уже Романом Солнцевым. (Скорее всего, это была его повесть «По ту и по эту сторону», напечатанная в 1971 году.) Позже я старался следить за его творчеством, радовался, что он творит, что получил признание и начал издавать свой журнал. Потрясла его преждевременная смерть. Потрясли пронзающие сердце горькие его строки:

> Я малый был крутого норова,
> Родня мне — русичи, татаре.
> Сгорел, как верный пёс, которого
> Не отцепили на пожаре.

Вечная ему память! Он был солнечным. Поклон вам — его друзьям и продолжателям его дела. Кланяюсь великой Сибири.

Валерий Тараканов,
физик, Харьков



Саша Либуркин

Крепкий мужчина

Мне этот человек нравится. На заседаниях писателей-фундаменталистов, когда многие из них под конец уже и лыка не вяжут, речь Наля Подольского всегда осмысленна, походка—тверда, а рукопожатие—крепкое.

Недавно, недели три назад, когда я скучал в «Борее» за бутылкой пива, вошёл невысокого роста плотный седой мужчина, с крупными выразительными чертами лица. Это был Наль.

—Саша, у вас место свободно?—спросил он, расстёгивая куртку.

—Конечно!—обрадовался я.—Садитесь ко мне!

—Подождите, я закажу какую-нибудь еду.

Он вернулся с бутылкой пива, сел рядом и задумчиво посмотрел на меня.

—Послушайте, Саша, а не выпить ли нам водки?

—С удовольствием, Наль, но я, к сожалению, неплатёжеспособен!

—Зато я платёжеспособен,—уверенно сказал писатель и достал из бумажника пятисотрублёвую купюру.—Сходите? Возьмите что-нибудь на своё усмотрение.

Вернувшись в кафе с бутылкой водки, я увидел на столе, на тарелках, тонко нарезанные солёные огурцы, хлеб и котлеты.

—«Зелёная марка»—хороший выбор,—сказал Наль,—а эту бутафорскую медаль на горлышке снимите, она вам будет только мешать. Я родился и вырос в Одессе,—стал рассказывать Наль, пока я открывал бутылку и наливал водку в рюмки,—жил там до восемнадцати лет. Так вот, когда наша семья садилась обедать, на столе всегда было сухое вино. Отец нам с братом наливал лет с двенадцати.

—Не рано?

—Нет, Саша, не рано. Может, вы не знаете, но во Франции детям дают вино где-то с семи лет. Ну что, за встречу?

Мы выпили, и я потянулся за сигаретами.

—Не закуривайте!—остановил меня Наль.—Закурим после третьей. Я тут всех так приучил. Когда же я столкнулся с жизнью,—продолжил он свой рассказ,—ну, знаете, как бывает, захотелось выпить с людьми водки или портвейна, а мой организм не принимает! Я выпью, а он всё отдаёт обратно! И тогда я решил: либо мой организм меня, либо я его!

—И что же?

—Представьте себе, Саша,—с достоинством сказал Наль,—я до сих пор пью не меньше Крусанова. А ведь мне уже семьдесят пять!

—Неужели?!—не поверил я.

—Семьдесят пять, ну, без каких-то копеек.

Я налил водки, и мы выпили за его здоровье.

—Кстати, Наль, это правда, что Павел Васильевич ногу сломал?

—Кто? Паша Крусанов? Конечно, правда. А что вы хотите, Саша? Он же вышел из дома совершенно трезвый! Если бы он хотя бы немного выпил—никогда такого несчастья с ним бы не приключилось!—убеждённо сказал Наль.

—И как он теперь?—спросил я.

—Ему одиннадцать спиц в ногу вставили, но держится молодцом! Мы с ним вчера уже выпивали,—успокоил меня Наль.—А курить я научился сравнительно поздно, когда стал заниматься парусным спортом. Сидишь, бывало на корме, ветра нет, паруса обвисли. Вот и закуришь сигарету, следишь за движением воздуха. Чуть подуло—сразу к парусам, это называется «гонка в штиль»,—объяснил он.

Мы выпили и наконец закурили.

—Потом лет пять я занимался альпинизмом,—снова заговорил Наль.—В горах красиво! Я весь Кавказ объездил, бывал и на Памире.

—А пятитысячники покоряли?—полюбопытствовал я.

—Нет, не пришлось, но первый разряд я выполнил. Саша, зачем вы запиваете водку пивом?—мягко заметил Наль.

—Так вы тоже пиво пьёте!

—Я пью, потому что мне пить хочется, а вам бы лучше закусить. Хотя, как любит говорить Крусанов, «закуска градус крадёт».

—А чем вы ещё занимались?—спросил я.

—Археологией. Я двадцать пять лет на раскопки ездил. Интересное это было дело!

—Отчего же вы его бросили?

—Знаете, Саша, лежишь ночью в палатке, а как заснёшь, какой-нибудь странный сон приснится… Это ведь не очень хорошо—могилы раскапывать!—печально улыбнулся Наль.

—Елена Шварц умерла,—сказал я грустно.—Я слышал её четыре раза. Ах, Наль, она божественно читала свои стихи!

—Я знаю,—вздохнул он.—Кто же из больших поэтов в Питере остался?

—Мякишев,—ответил я, не раздумывая.

—Вы правы, Саша, Мякишев,—согласился Наль.—Давайте помянем Елену Андреевну! Не чокаемся,—предупредил он.

Мы выпили и помолчали.

—Я знал Елену Андреевну, когда она была ещё девочкой,—тихо сказал писатель и закурил сигарету.—Мы с ней часто общались. Она была мистически настроенным человеком. Прекрасно знала алхимию и любила о ней поговорить.

А однажды она мне привезла из Москвы подарок. Как сейчас помню: маленькая, худенькая, идёт, сгибаясь под тяжестью какого-то железа… «Это вам,—говорит,—Наль!»
—Что же это было?
—Два топора.
—Два топора?
—Да, представьте себе, Саша, два топора! Один просто топор, а другой—колун!
—Зачем же она сделала вам такой подарок? А может быть, Наль… это был какой-то знак?
—Не знаю, Саша, не знаю… Они у меня до сих пор на даче лежат.
—Слушайте, Наль,—сказал я,—мне кажется странным одно обстоятельство: Елена Андреевна была верующим, православным человеком, а её сожгли в крематории!
—Ничего странного, Саша,—пожал он плечами.—Я вам сейчас всё объясню. Вы знаете, чего больше всего боится петербургская пишущая интеллигенция? Конечно, глядя в глаза, вам никто ничего не скажет.

Наль выпил водки, вытер салфеткой губы и бросил её на стол.
—Нет, не знаю. Чего же боится интеллигенция?—усмехнулся я.
—А того, Саша, что её живой похоронят! Представляете—очнуться на глубине двух с половиной метров под землёй в тесном ящике! Ну, это ещё от Эдгара По, потом от Гоголя идёт…
—Полно, Наль! Что вы такое говорите!—воскликнул я растерянно.—Мы не в девятнадцатом веке живём, когда смерть определяли по отсутствию пульса или не запотевшему зеркалу! Да и вскрытие сейчас всем делают…

Я с содроганием вспомнил жёлтое лицо, плотно сомкнутые губы покойной и добавил решительно:
—Я был на отпевании и видел Елену Андреевну в гробу. Наль, она была мёртвая!
—Не будьте наивным!—резко ответил Наль.—Отчего же покойная завещала себя кремировать? Вы же сами знаете—православных положено хоронить в ограде!

Он откинулся на спинку стула.
—Вскрытие не всем делают, и врачи нам всего не говорят! Налейте водки, Саша!
—Наль, я давно хотел вас спросить,—сказал я, когда мы выпили.—Это правда, что Бориса Смелова, этого гения чёрно-белой, «серебряной» фотографии, перед смертью хулиганы избили?
—Ерунда, Саша, не слушайте никого,—ответил Наль.—Борис Смелов мечтал умереть от водки—и умер от водки! Замёрз на скамейке, на Петроградской стороне. Вот вы сейчас сказали о Борисе, что он был гений. А вы знаете, что такое—гений? Это высочайшая требовательность к себе! Борис Смелов мог огромную фотографию, вот такую,—он широко развёл руки,—выбросить в мусор из-за совсем маленького пятнышка! А вот для другого художника, Бориса Кудрякова, качество было не важно. Ему важнее было уловить состояние!

Я взглянул на часы.
—Вы хотите уйти?—спросил Наль.
—Да, уже поздно, а мне ещё с собакой гулять.
—Я хочу вам дать один совет… как сыну!—сказал он, крепко, до боли, пожав мою руку.—Никогда не оглядывайтесь назад, смотрите всегда только вперёд, даже если вы стоите на краю пропасти!

Через пятнадцать минут, садясь в автобус, я почувствовал себя нехорошо. «Вот чёрт!—подумал я.—И зачем мне надо было водку пивом запивать?» Но я вспомнил мужественное напутствие Наля, его крепкое рукопожатие—тошнота сразу прошла, и я сладко задремал на заднем сидении сто тридцать девятой маршрутки, увозившей меня в глубокое Купчино.

Жанна Райгородская

Идол металлический

1.

Я сразу понял — эта пчёлка не из нашего улья. Она представила на обсуждение один рассказ — переработанный дневник бабушки-блокадницы. Я уж не стал говорить ей, что истинные блокадники — на Пискарёвском кладбище. У каждого выжившего был свой спаситель. Девицы небось с морячками погуливали, мужчины… Незачем, короче, старое ворошить.

Было в рассказике несколько интересных местечек. Идёт, к примеру, героиня по набережной, видит заледенелых сфинксов и думает: неужели древнеегипетские скульптуры снова увидят рабство? Но ведь это уже было — то ли у Князева, то ли у Юры Рябинкина. Зачем повторяться? Другой раз сидит девчонка в комнате, где с потолка сосульки свисают, и мнится ей, что она русалка в морской пещере. А то, бывало, задумается, что при строительстве Петербурга множество народу сгубили, и то, что происходит, — не Божья ли это кара?

Да в советское время такую графоманку бы в ГУЛАГе сгноили! И правильно! Задумаешься о жертвах — вообще ни черта не сделаешь. Я это ещё до Афгана сообразил.

Но в целом интересные мысли и образы в рассказе смотрелись как яркие случайные мазки фломастера на пожелтевшей газете. Патетика, треск…

Меня патетика и в школе, и на войне притомила. Готовишься, бывало, к опасному рейсу, так перед тем как сесть за руль наливника, стоишь, как пионер, и слушаешь осточертевшую клятву. «Выполняя интернациональный долг, мы клянёмся беречь как зеницу ока народнохозяйственные грузы, предназначенные для Демократической Республики Афганистан, и, если потребуется, с оружием в руках, не щадя своей жизни, оказывать помощь братскому народу…»

Разумеется, приходилось, как устроят «духи» концерт не по заявкам, останавливать бензовоз, падать под колёса и палить по горам, но зачем без конца переливать из пустого в порожнее?..

Забавно, что на чужие огрехи у Татьяны был глаз-алмаз. Критиковала всех, но по-доброму. Под конец семинара ей пачками рукописи несли: поищи, мол, блошек. А ребёнок не понимал, что ему на шею садятся. Хоть бы кто шоколадку подарил… Может, на премию «За активное участие» рассчитывала? Ох, детсад… Эту премию дали подружке руководителя — золотоволосой карелочке с зелёными виноградинами-глазами…

Татьяне бы в «Наш современник» сунуться или в «Москву». Да вот беда — была девица чересчур интеллигентна, культурна, из тех, кто боится выпрыгнуть за флажки и позволяет водить себя на помочах. Мат ей, к примеру, не нравился. Меня осудила за то, что в моём рассказе коньяк феназепамом закусывали. Зато отметила толстовскую объективность в описании боёв.

Да и темноволоса была — при бледной-то коже. Не исключено, что, сунься она в «Наш современник», предки бы из дому выгнали. А сама бы не прокормилась. Восемнадцать лет, второй курс питерского начфака.

Хотя… Я тоже со второго курса в Афган угодил.

Поступил я на биофак за компанию со школьным другом. А там, в малиннике, Самсон развернулся. Одну добьётся, пятую, десятую… Говорят, кошка — сверххищник. Садят её в подвал с мышами, так она всех передушить норовит. То же и Самсон. Видный был парень — два метра ростом, мускулистый, русый, зеленоглазый… Почему «был»? Да нет, ничего трагического… После Афгана женился, полинял… Слушай дальше.

Начали преподы Самсона трясти: ты что, остановиться не можешь? Найди в себе силы… Ну, Самсон и нашёл — веру православную, веру предков. Покрестился.

Деканат и вовсе на уши встал. Или снимай крест, или вон из института. А я как-то на комсомольском собрании высказался: мол, сами виноваты. За что боролись, на то и напоролись.

Вышибли обоих, и отправились мы с лучшим другом в Афган.

Так я про Татьяну. Возможно, и прожила бы девка сама по себе — фигурка ювелирная, точёная, не по возрасту зрелая. Говорят, девичий таз должен иметь форму лиры, а грудь обязана целиком умещаться в мужской руке. Как раз тот случай.

Хотя пристройся барышня под крылышко к олигарху, никакой патриотический журнал ей уже не понадобится. И тут меня осенило. Может, она явилась к нашему шалашу в поисках перспективного мужа или любовника? Ни в «Москве», ни в «Нашем современнике» такого днём с огнём не найдёшь…

Та-ак… Свободная лёгкая блузка с якорями и чайками. Вырез подхвачен дешёвенькой, с барахолки, брошкой. Тёмные волосы заколоты как в старых совковых фильмах. Перевоплотилась, видать, в собственную героиню-блокадницу. Слава Богу, хватило отваги джинсы надеть. Серые глаза бирюзовым подкрашены. Похоже, похоже…

Как бишь у Губермана?

Блестя глазами сокровенно,
Стыдясь вульгарности подруг,
Девица ждёт любви смиренно,
Как муху робко ждёт паук.

Ладно, посмотрим, кто здесь паук, а кто муха…

Был на семинаре ещё один такой же «совок». Из Архангельска. Неспортивный хомячок-женатик в домашних тапочках. Писал о поморах эпохи Ивана Грозного, об основании родного города. И почему люди не пишут о том, что знают? Где он видел тогдашних поморов? Во сне? По ящику? Или в книжке прочёл? Слыхал, как в народе про таких говорят? По чужим словам, как блоха по наволочке…

Андрей-то как раз владел образом. Но в целом у него получался красивый сказ, узор с палехской шкатулки. Всей честной компании не понравились его были-небыли. А Татьяне поглянулись. Такого наговорила…

Нас заставляют забыть своих предков, а мы их помним!.. Мы не дадим поставить страну на колени!.. Чего там после драки кулаками махать… Уже позволили…

А помор сидит и глазами на Татьяну сверкает: так их!.. Давай их!.. Ни дать ни взять — Иван-дурак. За спину Василисы Премудрой прячется…

Зато потом, как насели все на Татьяну: критиковать умеешь, писать нет, сапожник без сапог и всё такое, — Андрей на защиту кинулся. Пусть, говорит, у неё и газетный стиль, зато сейчас все воспевают оргазм в гробу, а человек за серьёзную тему взялся.

Естественно… Кукушка хвалит петуха…

Да это просто кощунство — не умея писать, браться за такую тему, как Ленинградская блокада!.. Спекулировать чужими страданиями!.. Тема — это не турник, на ней подтягиваться не надо, кривая не вывезет!.. Но я промолчал. Я-то, в отличие от Татьяны, меньше читал рукописи молодых, больше посещал встречи с маститыми — Фазилем Искандером, Маканиным… Кого-то, разумеется, прочёл для порядка, но тексты Андрея и Татьяны как-то не захватили.

После семинара Андрей и Татьяна языками зацепились по поводу стиля. Татьяна утверждала: чем серьёзнее тема, тем меньше нужны стилистические кульбиты, главное — изложить события, а там читатель и сам догадается, что к чему. Чушь плюшевая… Стиль — это писатель, автор, человек. А сюжет? Кому он нужен, кроме подростков?

Андрей же отвечал, что стилистически неумелая вещь — всё равно что тупой засапожный нож. Точи, мол, своё оружие…

В руках у Татьяны была моя афганская рукопись. Я хотел получить её обратно, стоял рядом и ждал. Меня-то на семинаре, скорее, похвалили — люди уважают тех, кто рисковал жизнью…

Видимо, рассуждения о засапожных ножах и настроили Татьяну на игривый, по Фрейду, лад. Девушка обернулась ко мне и произнесла:

— Погоди, Тимур. Сейчас договорю и отдамся в твои руки.

— Да мне вообще-то рукопись нужна, — усмехнулся я.

Взял текст и пошёл. Оглянулся раз, другой, третий, затем присел в кресло поодаль и стал наблюдать за ними.

Вначале помор стоял красный как рак. Современный мужчина вообще существо нервное. Я в этом смысле исключение. Помнишь, у Гумилёва…

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда —
Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
……………………………………
Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Видимо, желая разрядить обстановку, Татьяна достала из пластиковой папки тетрадь в сорок восемь листов и начала что-то говорить. Помор усердно записывал. До меня долетали слова: «Журналы Питера… „Аврора“, „Нева“… Проедешь две остановки… Рядом со сквером…Но сперва позвони в редакцию…»

А может, и мне отломится?

Но я не стал унижаться. Заставил себя подняться на ноги. Повернулся спиной. Удалился.

2.

Вечером я поднялся в бар и увидел Татьяну. Девушка сидела за столиком, как в засаде, и поглощала мороженое. Кем она себя представляла? Золушкой на балу?

Я подсел и заговорил. По индуизму, Брахма создал четыре касты. Из головы мифического существа Пуруши он сотворил мудрецов-брахманов, из рук сделал воинов-кшатриев, из живота — вайшьев-торговцев, из ног — работников-шудр. Сейчас во главе всего вайшьи, и на семинаре журнала присутствовали главным образом они. Вот мы с тобой — кшатрии, существа высшей касты. Остальные — низшие существа. Им, гагарам, недоступно наше творчество.

Девушка улыбнулась. Видимо, заглотила крючок.

Когда волк охотится, он тоже стремится увести овечку из стада… А то, разнеся Таню в пух и прах, семинаристы дружно посоветовали ей попробовать силы в критике. Не хватало мне только критика в собственном доме!..

Да! В собственном доме! Когда воину что-то нужно, он идёт и берёт, будь то женщина или город!.. Гитлер пытался взять Ленинград кровью, а мы попробуем любовью. Посмотрим, у кого лучше получится.

Разумеется, я понимал, что рано или поздно Татьяна мне прискучит. Ну что ж. Устроюсь водителем и пойду в рабочее общежитие. А может, и по

диплому приткнусь, биологом. В командировки буду ездить, койку дадут. Впрочем, брахманы меня раздражают не меньше, чем шудры, о вайшьях я и не говорю…

Из Таниной квартиры, ясно море, уйду с рюкзаком. Чужого мне не надо. Человек я жестокий, циничный, но в жадности меня не упрекнёшь.

В одном только Брахма ошибся, продолжал я. Поставил брахмана выше кшатрия. А что такое ум без сильной руки?.. Смех один. Жрецы всегда прислуживали вождям. Мудрец, интеллигент произошёл от шакала Табаки, а тот, если помнишь, всю жизнь подтявкивал тигру Шер-Хану в обмен на объедки. Без воинов любому народу крышка…

— Без торговцев и работников тоже,— заметила Таня.

Ребёнок неопытный… Джинсы надела, глазки накрасила, а того не понимает, что мужчина не терпит противоречий… Однако спорить с женщиной я не стал. Сменил тему:

— Может, коньяку или водки? Я угощаю…

Татьяна встала в позу:

— Нет. Я представляю Ленинград. Ни коньяк, ни водку не буду.

Этот ребёнок в прошлом веке застрял!.. Но я не стал доказывать, что пьющие девушки нынче в моде.

— Может, тогда вина?

Танька неожиданно загорелась:

— Давай! Я ещё в детстве сообразила—вино пьют мушкетёры, водку пьют алконавты.

Я взял бутылку сангрии, ощущая себя миссионером, наливающим индеанке. Спиртное расширит сознание дикарки, поднимет её над интересами племени…

— Слушай, а помимо Дюма у тебя есть любимые писатели?

— Борис Васильев. Любимая книга—«А зори здесь тихие».

Я снова пошёл в атаку. Сказочка это красивая, говорю. Пять бабёнок несколько дней удерживают мощь вермахта… Почитай лучше Симонова, «Живые и мёртвые». Вот там всё описано как было. Правда, для Симонова женщина в первую очередь—боевой товарищ. А Борис Васильев недаром восхищается Женей Комельковой…

На сей раз Татьяна смолчала. Ребёнок умнел на глазах…

Нет, я не против, если девочка лет девяти про войну читает. Женщина должна знать, что такое война, хотя бы затем, чтобы в случае чего бежать подальше. Но в восемнадцать читать Васильева вместо «Тёмных аллей» и «Ямы»… Грубая задержка психического развития!..

Я не заметил, как мы переместились в номер Татьяны. Бутылку, однако, прихватить не забыл—воин не бросает оружия… Соседка отсутствовала—может, стишки читала в компании…

Татьяна достала вязанье. Даже сюда его захватила! Сказала, вяжет кофточку матери, надеется поспеть ко дню рождения. Знаем мы эти бабские уловки!..

Ведь примитивно, а как действует!.. Смотрю я на спицы, и чудится мне, что гридень я из Киевской Руси, Татьяна мне подкольчужную фуфайку плетёт. Или пригрезится, что я античный воин, а мойра, парка или как её там прядёт нить моей судьбы…

Неужели я, циник тридцати шести лет, ещё способен на чистые и светлые мысли?

Вообще, в подмосковный пансионат «Дубки», на семинары молодых литераторов, приглашают до тридцати пяти. Но я схитрил и написал, что ровесник Христа. Прокатило. Когда, вселяясь в номер, подал регистраторше паспорт, сердце ёкнуло. Опять сошло.

Я сидел, перелистывая тетрадь с вожделенными адресами питерских редакций—утром я добрался до ксерокса и скопировал всё,—а Татьяна грузила меня женскими семейными историями. По словам ребёнка выходило, что мать, геологиня с двумя нереализованными талантами—медика и художника, без конца её лечила с целью сделать красивую куклу, поставить на ярмарку невест первоклассный товар. Каждый день по часу заставляла заниматься гимнастикой. Идеального тела не получилось. Зато выковался бойцовский характер.

О небо!.. До чего же криво люди, особенно тётеньки, себя видят!.. У Тани было красивое тело. Бойцовский характер? Посмотрим, куда он денется, когда барышня, сморкаясь, будет выхныкивать ещё одну ночь!.. Ярмарка невест? Тётеньки до старости воображают себя на ярмарке невест, а попадают на рынок женского тела. Многие, впрочем, воображают, что сами ловят в сети мужчин. Но ведь лабораторная крыса из анекдота тоже думала, что, нажимая на педаль, отдаёт приказы учёному…

Простейший пример женской глупости. Знакомясь, я рассказываю, что многие пираты, фашисты и прочие головорезы писали стихи, рисовали картины… Как бы косвенно сигнализирую, кто я такой. Но после всех предупреждений тётеньки рассуждают: Тимур Акутин писатель, он учит любви к природе, прославляет смелость и доблесть! Не может он быть подонком!..

А что до того, что мать считала дочку товаром… Да просто она трезво смотрела на вещи! Наш мир безжалостен и несправедлив. Но другого нет, и жить надо в этом, надо пристраивать Таню в койку к богатенькому Буратино или хозяйственному тупарику. В законном браке, разумеется. Так рассуждает нормальная мать.

А мать Татьяны была к тому же художником, хоть и несостоявшимся. Пока живописец рисует, он не думает о деньгах. Но потом сетует, если полотна не продаются…

Да мать этой глупышки хоть была нормальным человеком!..

Моя-то родительница крепко попивала. Приходишь из школы, она лежит, эх… не хочу даже говорить, какая. Конечно, понять можно всех. Расставшись с батяней, мать всю жизнь искала другого воина, а налетала на кухонных боксёров. Пила, чтобы им поменьше досталось. За обиды на мне отыгрывалась. Чуть что—за ремень хваталась. Почему, дескать, брюки запачкал? Как-то наша

кошка окотилась. Возвращаюсь из школы. Мать последнего котёнка топить несёт, котёнок пищит, а мать ему: «Веди себя прилично!» Ох и разобрало меня. Выхватил я котёнка, завернул в шарф—и на другой конец города, к другу Самсону. У того кормящая кошка имелась. Да только не взяла чужого котёнка. Тоже ведь баба… Сговорились мы, что я свою привезу, да пока ездил, котёнок закоченел. А Самсону я до сей поры благодарен. Мы с ним нашли друг друга, только я воин нападения, а он воин обороны. После Афгана он меня предал. Из-за бабы… Но об этом потом.

Помню, в те же годы, когда котёнка спасти пытался, я басню Михалкова прочёл. Прибежал обиженный щенок в лес, увидел змею—и начал ей плакаться: все меня, бедного, строят, все на меня ворчат… Развернулась змея и ужалила щенка. Молча. Насмерть.

В девять лет я горевал—какая печальная, несправедливая басня!..

В тридцать шесть я сам стал как та змея…

И всё же в наших с Татьяной судьбах было и общее. Ребёнок рождается не затем, чтобы стать товаром или прислугой для отставной походно-полевой жены. Кто рожает с целью иметь на старости лет лакея, получит угнетателя. Я не угнетатель. Я хуже. Я убийца.

О «духах» я и не говорю. На то и моджахеды, чтобы мочить их в собственных «лисьих норах».

Я про другое. Поехал я в Афган, написал матери, куда меня направляют, и смолк. За два года ни одной весточки не прислал. Сказал лейтёхе, что мать бухает, тот вошёл в положение. А ведь знал я, во что может вылиться молчание. Тем и кончилось. Родительница спьяну под машину залезла, и аминь. А я, как узнал, ничего, кроме облегчения, не испытал…

Вот бабушка видела во мне человека, продолжала Татьяна. Про блокаду рассказывала. Лет в одиннадцать Таня вырезала из бумаги человечков-блокадников. Соседей по коммуналке. Бумажные женщины и дети, по выдумке Тани, подкармливали друг друга, доставали из шкафов варенья-соленья, бегали, получали по карточкам рис, хлеб с примесью целлюлозы, жарили на олифе, варили студень из клея… Делали лепёшки из горчицы, им становилось плохо, вызывали врача… Бумажные мужчины присылали с фронта посылки с крупой и печеньем…

Затем наступало лето. Кто-то из бумажных человечков выживал, кто-то нет. Дети бегали, срывали и ели травинки, женщины варили из корешков суп, делали котлеты из лебеды, пекли на сухих сковородках…

Как думаешь, Тимур, это не грех—так играть?..

Я неопределённо пожал плечами.

А теперь бабушка умерла, и я лишилась опоры, продолжала Татьяна. Но дух бабушки иногда навещает меня во сне. И наяву порою даёт знаки—когда, например, по тв военно-тыловые фильмы показывают или советские песни по радио передают…

Дух бабушки велел Татьяне написать блокадный рассказ…

Короче, всё было ясно. У ребёнка крыша поехала. Ребёнок с духами общается. На почве сексуального голода, не иначе,—ведь реальных бед с Татьяной ещё не происходило. Пытаясь заполнить монашескую, пустоцветную жизнь, ребёнок придумал себе любовь к умершей бабке (которой, честно говоря, срок пришёл), любовь к родному городу, интерес к блокаде…

Я вылечу ребёнка. Начну с того, что, раскрепостившись сексуально, Татьяна станет писать гораздо сильнее, честнее, а кончу тем, что прямо скажу, для чего существуют тётки. Программа известная.

Я подсел, приобнял, как бы утешая. Мои сухие, властные губы нашли её губы… Целоваться Татьяна умела, но больше, похоже, не пробовала ничего. Комнатный цветок боялся раскрыться навстречу хозяину…

Настаивать я не стал.

Только перед отъездом поцеловал принародно и сказал, что обязательно навещу её в Петербурге.

В родном Колчацке меня не ждали. Отправляясь в «Дубки», я взял отпуск без содержания в ботсаду—ведь осенью работы мало.

Навестив кое-каких московских боевых товарищей и заглянув в пару-тройку редакций, я взял билет на питерский поезд и, проворочавшись ночку на боковом, утром прибыл в Северную столицу.

3.

Полночи я ворочался с боку на бок. Перед мысленным взором вставали горы, похожие на верблюжьи горбы, испещрённые оспинами пещер, вертолёты с лопастями, обвисшими, как усы подвыпивших средневековых вояк. Плазменно-белое солнце беспощадно жгло иссохшую, покрытую лёссовой пылью землю и мёртвые русла рек. Говорят, с вертолёта афганский ландшафт кажется инопланетным. Серые ноздреватые хребты, перевязанные синими прожилками лазурита, белыми ручейками известняка, рыжими змейками железной руды… Чёрные острова пуштунских шатров среди сопок-волн… Наверху—облака, кипы нечёсаной белой шерсти…

Но мне не довелось летать. Сперва я водил бензовоз-наливник, затем… Однако начну с начала.

Мы с Самсоном воевали в одной роте, в одной колонне. Ещё в школе, на упк, получили профессию шофёров, ну и повезло—оказались вместе. Кроме того, подростками оба занимались карате, так что дедовщина особо не доставала. Как-то раз—мы были уже не сынками, без вины виноватыми, и не чижами, быстро летающими, а фазанами, гордыми птицами,—наша колонна остановилась у брошенного кишлака, где были виноградники—маленькие, разделённые глиняными дувалами, но богатые. Едва на израненную землю опустилась паранджа ночи, как мы вдвоём махнули через глинобитную стену крепости. Друг подсадил меня, я кинул верёвку… Видимо, и я, и Самсон в детстве не доиграли в индейцев. Собирая ничейный виноград, мы стали изображать

крестоносцев в арабском мире. Слава Богу, хватило ума шутить по-русски, хотя инглиш знали оба.

Виноградники образовывали настоящий лабиринт. Отдельные участки соединялись крохотными калитками-лазейками. Представляю, как трудно было штурмовать кишлаки…

Меня, кстати, блатовали в разведроту. Самсона туда не звали никогда. Разведроты, помимо прочего, занимались зачисткой мятежных пчелиных дупел. Но я прикинул, что придётся убивать подростков, иначе те сходят в горы за подкреплением, и отказался. Возможно, зачищая гнёзда моджахедов, я приобрёл бы ценный опыт как солдат, но зачеркнул бы себя как литератор. Там ведь и дети, и тётки под руку подворачивались…

У нас, творческих людей, бывают приступы тоски, ярости… Кровь превращается в кислое молоко, и мир становится чёрным. Идёшь, бывало, в такой день по улице, а под ногами пятилетний клоп путается. Так бы и отвесил пинка, но если дашь—ставь на себе как на писателе жирный крест…

Да ещё, говорят, те, кто в зачистках участвует, проходят боевое крещение. Надо зарезать раненого «духа» ножом, глядя ему в глаза. И закалка, и экономия патронов. А я, признаться, нервный человек. На черта мне это издевательство над собой… Над собой… Ха-ха…

А в соседней клетушке-винограднике как раз резвились братки из разведроты. Четверо. Отморозки, а компот из винограда и блинчики с изюмом небось любили, хотя предпочитали анашу.

И туда же див занёс молоденькую девчонку-афганку. Было ей лет четырнадцать, чадру уже носила. То есть не чадру, чадра глаз не закрывает, а паранджу—глухую волосяную сетку, через которую всё видится серым. Афганки носят и паранджу, и чадру, а самые смелые горожанки лицо открывают. Вообще в мусульманских одеяниях, особенно женских, шайтан ногу сломит. Поди разбери, где чадра, где паранджа, где чачван. Это всё покрывала для лица. Балахон для тела—то ли хиджаб, то ли никаб. Под это бесформенное чудо надеваются штаны; по крайней мере, та недотыкомка была в шароварах. На голове платок, как без этого.

Потом я узнал, что девушка была с братцем, но в первый момент, заглянув в лазейку, никакого брата не увидел.

Началось, как водится, с шуточек. Гюльчатай, открой личико. Затем паранджу сорвали. Только я навострился посмотреть кино «до шестнадцати», как Самсон коршуном перелетел через тын и кинулся на братьев по оружию. Чёрт знает, что его подтолкнуло. Любовь к женщинам? Солидарность религиозного человека? Или то, что девка ногу подвернула (потом оказалось—неудачно с забора прыгнула), с земли не могла подняться? Да и… Наверняка мой рыцарственный друг понял: эти козлы живой её не оставят—в мусульманской стране нельзя изнасиловать и уйти, по крайней мере, гяуру. Кара падёт на всех иноверцев. Но в первый момент я не сообразил, насколько всё серьёзно. Думал, поимеют и отпустят. Лезла ночью в брошенный кишлак—значит, решила отведать, что за мужики эти шурави. Голод? Какой голод? Да мы им знаешь сколько муки и сахару привезли! Хотя, возможно, председатель кишлака, торжественно поклявшись разделить продукты между бедняками и вдовами, исподтишка сплавил всё в дуканы…

Я-то думал, если что и произойдёт—ну, заплатят за неё поменьше калыму или сплавят в увеселительный дом… Шариат шариатом, а бордели там есть—не только в городах, но и в подземных пещерах. Эти для «духов».

Да в конце-то концов!.. По индуизму, смерти нет—есть бесконечная цепь реинкарнаций.

Аллах на небе отличит своих. После того, как я видел наших убитых с отрезанными ушами и пальцами… Мы, конечно, тоже были не мёд, ой не мёд. Не все, но попадались уроды. Диких баранов стреляли. Дикий—это баран, отставший на пять метров от хозяйского стада. Не сторгуются с дуканщиком—расстреляют все арбузы из автоматов. Начальство покрывало. Да ведь местные и своих не щадили. Мальчик семи лет взял у шурави конфету, так «духи» ему руку отрубили!.. Не было у меня жалости к этому народу.

Но друга я бросить не мог. А я человек нервный. Полез в драку—не пощажу. Мне проще не начинать. Бил по суставам, по челюстям… Девка кое-как отползла…

Смотрю—луч фонарика. Автоматная очередь поверх голов. Вижу—стоит, матюгается. Худощавый, высокий полковник медслужбы. В форме, однако на лысине тюбетейка. Местная знаменитость—Хасан Кузьмич Пулин по прозвищу Миротворец. Полурусский, полутаджик, однако светлый, как истинный ариец, и сероглазый. Пока не облысел, шатеном был. Таджикский язык знал и на дари (он же фарси, он же литературный новоперсидский) объяснялся неплохо. А за руку доверчиво местный подросток цепляется. Братец непутёвой ханум. За помощью бегал. Привёл. А за спиною Хасана десяток братков маячит. Предусмотрительный доктор, однако…

Братки похватали гопников, а заодно скрутили и нас, избавителей. Хасан Кузьмич поднял с земли глухую волосяную сетку (из лошадиного хвоста, не иначе!), подал сборщице винограда, затем опустился на колени, засучил её шароварину и стал ощупывать ногу. Он всё время о чём-то болтал, заговаривая зубы. Затем девица сексуально взвизгнула, и вывих был вправлен. Пулин достал бинт и занялся тугой повязкой, затем поднялся и приступил к допросу. Пару раз спросил о чём-то девицу, она подтвердила наши слова. Да и в части о нас обоих отозвались хорошо. На следующий день, как остановилась колонна, Пулин подошёл к нам и заговорил. Дескать, моего шофёра подранили, замену ищу. Нужен человек, владеющий единоборствами, понимающий требования момента, уважающий местное население… Мы с другом обещали подумать пару деньков.

Честно говоря, Самсон подошёл бы Пулину больше, однако судьба распорядилась иначе. Приползли мы в небольшой городок, оставшийся без света и топлива, начали, с разрешения начальства, наливать горючее в бидоны и бадейки жителям…

И тут к Самсону подошла наглухо закутанная ханум и угостила его (и прочих, разумеется) лепёшками из тутовой муки. Тутовник, он же шелковица—это дерево, а ягоды на нём как малина, только не красные, а тёмные; впрочем, бывают и светлые. Ягоды сушат, смалывают, пекут лепёшки. Вкуснятина.

Может, я грешу против истины… Однако девчонка очень походила на ту, из виноградника. Те же кошачьи движения… Россыпь родинок у основания большого пальца… Волосяной чачван… И прихрамывала немного. А городок был совсем недалеко—мы сделали круг и вернулись…

Самсон взял лепёшку, а меня будто сковало. Со мною и в Союзе такое случалось. Ещё подростком смотрел я фильм из средневековой жизни. По чумному городу проходит колонна здоровых. Накрылись тканью, будто это поможет. И рядом больная нищенка ползает, хлеб вымогает. Ребёнок ей подал кусок. А дальше крик: «Мама, мне плохо!»—и видно, что тело падает. Через пару дней выхожу на улицу, а там пьяный безногий бич не может сойти с тротуара. Дайте мне руку, кричит. Никто не двинулся, а я, видимо, посмотрел на него с сочувствием. Дай руку, парень!.. А я пошевелиться не могу. Выдавил: «Боюсь!», отвернулся и пошёл не оглядываясь. Чего боишься, болван?—понеслось мне в спину.

Теперь я думаю: может, правильно я тогда не подал руки—вдруг у него чесотка? Но весь Афган преследовала паршивая мысль: не оторвало бы ноги. Повезло, вернулся целёхонек. Один шрам на голени, другой повыше локтя. Лёгкими ранениями отделался…

А к вечеру свалился Самсон, а с ним и прочие гурманы, с резью в кишечнике и кровавым поносом. Что двигало поганой девкой? Месть за родственника-«духа»? Убил бы…

Я кинулся к Пулину и согласился на все его условия. Самсона и ещё одного удалось вытащить, прочим повезло меньше… Моего друга отправили в Союз по состоянию здоровья, а я пересел на «уазик» и стал возить Хасана Кузьмича.

Забот у Пулина было много. В госпиталях не хватало лекарств, шприцов, перевязочных материалов. Бывало, что медики и прочие офицеры выпивали спирт. Тогда приходилось обрабатывать раны бензином. Помогало яркое солнце. Оно обеззараживало раны, убивало микробы. Раненым и больным выдавали простыни, одеяла, а парни лежали на своих шинелях, на голой земле, в трусах. Представь такую картину. Пациенты наголо острижены, а с них сыплются вши. А рядом в кишлаке афганцы ходят в наших больничных пижамах, режут простыни на чалмы. Больные всё продавали—у них на почве пахнувшей хлоркой гречки начиналась цинга. Покупали у дуканщиков шоколад, пирожки, анашу, безделушки.

Много было и приключений. Ходили в немирные стойбища пуштунов с петлёй на шее и пучком травы во рту. Это обычай. Так ходят мириться кровники. Трава во рту означает: я ничего не могу возразить на твои обвинения. Верёвка: можешь меня удавить, но Аллах тебя покарает. Вот мы и маскировались под кровников—и для переговоров, и для лечения.

Один случай был совершенно дикий. Нашли мы на обочине грунтовой дороги младенца, завёрнутого в одеяло. Места были дикие, и Хасана Кузьмича там не знали. Понёс он грудничка в ближайший кишлак. Я сижу, жду, а на душе кошки скребут. Пяти минут не выдержал, пошёл следом. Шёл тихо, крался, можно сказать, и правильно. Гляжу—лежит Хасан Кузьмич на земле, а бабы его мотыгами забивают. Дал очередь поверх голов. Толку мало. Пришлось не поверх. Ах, шайтан… Кидаем отморозков на немирные кишлаки, вот и получаем народную войну…

Убить женщину не так трудно, как воображает интеллигенция. Ишака или верблюда прикончить сложнее. Это животные мирные, а женщина—как собака: на кого науськает хозяин, на того и кинется. Мусульмане тоже не дураки. Сообразили, что европейцу трудно убить женщину или подростка, и выставили их вперёд, как боевых слонов. Наверное, так же как и я, считают, что смерти нет… Но если женщина становится воином, пусть не рассчитывает на снисхождение…

Интеллигенция, помнится, кудахтала: ах, людям может понравиться убивать! Ах, это вирус, заражающий мужчин одного за другим!.. Да не вирус это, а призвание!.. Иногда я думаю, что в меня подселился дух средневекового наёмника. Этот рубака предан своему командиру, ценит мужскую дружбу, но в упор не понимает, что такое привязанность к матери, женщине, любовь к родине. Я воевал не за родину. Я воевал потому, что родился для этого. Есть у меня и другие дарования—биолог, писатель, кузнец, столяр. В Союзе многим приходилось заниматься… Каждому человеку от природы даётся россыпь талантов.

Но женщин, слава Богу, больше гробить не приходилось.

Однако меня ждал новый удар. Вышел Хасан Кузьмич из госпиталя и подорвался на мине, итальянской, пластмассовой. По кусочкам собирали. Фляжка, помнится, лежала отдельно, и драгоценная вода на глазах уходила в растрескавшийся панцирь земли. Я поднял флягу и припал к ней. Я пил силу своего сюзерена… Пришёл вечером в госпиталь, а там лампа стоит самодельная, с абажуром из пластмассовой мины. Как я её швыранул… Никто меня даже не материл. И осколки собрали.

После смерти Пулина я думал, не подать ли заявление в разведроту, однако там бы я озверел окончательно. Решил проситься в Союз—а служил я уже сверхсрочно, дослужился до прапора… Личную храбрость проявлял, однако людьми управлять не доводилось. Не моё это. Думал вернуться, жениться и родить сына, чтобы в него подселилась душа Хасана. Но у меня оказался не тот характер. Понимаешь, я путник. Иду, вижу одно дерево. Иду дальше, вижу другое. Куда я приду, не знаю. Может быть, и в овраг. Но привязать себя к одному из деревьев для меня хуже смерти. На своей территории дольше двух-трёх часов я не потерплю никого.

Другие как-то могут и себя поставить, и другого не обидеть. Совмещают кнут и пряник. С кнутом у меня всё в порядке, а с пряником… Видно, со школьных лет засело в подкорке: тот, кто делает добро,—шестёрка и лох.

В молодости я думал, что задача бабы—поставлять государству пушечное мясо. И, как нарочно, друг Самсон налетел именно на такую крольчиху. Познакомился в церкви с девицей, которая видела смысл жизни в повышении обороноспособности государства. Одного воина Вера уже преподнесла родине (был у неё парнишка лет пяти, а муженёк по пьяни замёрз в тайге), но хотела дарить ещё и ещё.

Купили они дом в частном секторе и зажили… ну, хоть не припеваючи, но терпимо. Собак разводили, щенками торговали. Одно худо—забыл Самсон забавы наши, без которых мужчина—и не мужчина вовсе.

Мы с друзьями-ролевиками срубили струг и решили обойти на нём вкруг Байкала. Ролевиков многие презирают, а зря. Игры—не только бегство от жизни, но и тренировка боевых навыков. Налетят на ролевика гопники, он выхватит штакетину из забора и пойдёт фехтовать. Или приёмчик применит. Мы с Самсоном много чего парням показали…

Услышала Вера про наш кораблик—аж затрясло её. Понять можно. Первый муж замёрз, второй того гляди утонет!.. И началось: «Не сяду за стол с некрещёным!» Я терпел-терпел, дождался, что наследник в свою комнату ушёл, и выдал, что, дескать, Самсон взял тебя с ребёнком, так будь ты, зараза, поблагодарнее! Вера к Самсону. Расчирикалась. Неужели ты, Самсончик, допустишь?.. Гляжу, подымается из-за стола двухметровый Самсончик. Пойдём выйдем. Пошли вышли. Знаешь, говорит Самсон, по секрету тебе поведаю—у нас через полгода прибавление в семействе, Вере ни к чему лишняя нервотрёпка. Давай ты пока приходить не будешь, а я на жену повлияю, будь спок. Я повернулся и отправился восвояси. В плаванье пошли без Самсона. Больным сказался, зараза.

Помнишь, у Гумилёва…

> Наплывала тень, догорал камин.
> Руки на груди, он стоял один.
>
> Неподвижный взор устремляя вдаль,
> Горько говорил про свою печаль.
>
> «Я узнал, узнал, что такое страх,
> Погребённый здесь, в четырёх стенах.
>
> Даже блеск ружья, даже плеск волны
> Эту цепь порвать нынче не вольны».
>
> И, тая в глазах злое торжество,
> Женщина в углу слушала его.

Со мной так никогда не будет, понял?.. Мне не нужна крольчиха, а уж владычица тем более. Пожалуй, мне нужна подруга типа Муромцевой-Буниной, готовая кинуть свою жизнь к ногам высшего существа. Даст Бог, обломаю Татьяну, думал я, ворочаясь без сна на боковом и прогоняя в памяти прожитую жизнь…

Через пару месяцев иду мимо Самсоновой хибары. Хозяев, судя по всему, дома не было. Зашёл во двор, а там Брунгильда, немецкая овчарка, ощенилась. Лает-заливается, но, слава Богу, на цепи сидит, и выводок весь при ней. Зато Отто, супруг, по двору прогуливается. Подошёл ко мне, лапы на плечи поставил и вежливо, шаг за шагом, выставил за ворота.

Формально меня выгнал кобель. Но надо же смотреть в корень!..

В дальнейшем мы, конечно, виделись, но дружба закончилась. Сейчас у Самсона с Верой уже три сына и дочь. Выполняют мою норму… Хоть какой-то с них прок…

Я-то, как понял, что не создан для семьи, пошёл в ботанический сад. В студенчестве я видел себя зоологом типа чеховского фон Корена, «ботаник» было для меня ругательством типа «маменькиного сынка». А после Афгана… Есть одна фишка. Австралийские аборигены считают, что после смерти человек превращается в дерево. Казалось бы, они мне никто. И веру-то небось жрецы придумали, чтоб поменьше деревья рубили. А вот легло на сердце. Убивал ведь я… Людей своего типа, воинов убивал… И как посажу деревце, мнится мне, что воскресил я убитого—неважно, врага или друга…

Потом ещё много чего было. Столярничал, мебель делал. Кузнечил, ковал решётки на окна и кладбищенские оградки. Интересно было пробовать новое—я ж писатель. Биофак закончил, машину купил, таксовал… Поднакопил деньжат—и снова в ботанику: деревья садить да прививками заниматься… Между делом кандидатскую защитил…

Под утро я всё-таки задремал, и сон мне привиделся странный.

Иду я будто мимо нашей колчацкой мечети. Небольшое одноэтажное здание из жёлто-серого песчаника с башенкой над входом. На минарет башенка не тянула, однако венчал её металлический полумесяц. Вообще улица была восточная. Поблизости располагались две кофейни—«Халол» и «Омар Хайям». Кирпичная пожарная каланча дореволюционной постройки тянула на смотровую башню. Седой таджик прогуливал ишака и верблюда, фотографировал рядом с ними…

Сразу после возвращения я старался по этой улице не ходить—раздражало… Теперь же, спустя пятнадцать лет,—забавляло…

Зашёл я за кирпичную ограду, поднялся на крыльцо храма, ступил на чужую землю… И оказался в глинобитной афганской хижине… Сон же… В прихожей стоял наш, советский автомат, обклеенный, по афганскому обычаю, лубочными картинками. Магазин был полон. Я проверил.

Жилая комната скрывалась за расписанной цветами занавеской. Ах, шайтан… То, что на Востоке женщин угнетают, это круто. Европеец Ницше и тот советовал идти к бабе с плёткой. Но запрет на изображение животных и людей не по мне. Художник—такое же призвание, как воин, писатель, учёный… И кто посмеет диктовать живописцу—то рисуй, это не рисуй?..

Я осторожно заглянул в комнату. Мебели не было. Вокруг цветастого ковра лежало несколько вышитых подушек. Хозяйственный угол был отгорожен истёртой кошмой. На одной из подушек сидел, скрестив ноги, пожилой бородач в чёрном халате и белой чалме. На плечах у него лежало нечто похожее на шарф или иудейский талес.

По другую сторону ковра, неловко подогнув ногу, сидела женщина в синем хиджабе—кошмарном одеянии мусульманок, закрывающем всё тело. Видны были только кисти рук. Я отметил россыпь родинок на левой, у основания большого пальца… В углу виднелась ещё одна несуразная фигура в хиджабе. Мать? Сестра? Тётка? Какая разница…

«Я понимаю, сестра-мусульманка,—вещал имам.—Этот шурави тебя спас. Ты не хочешь лишать его жизни. Но подумай о своём отце, павшем от рук шурави. Разве не видела ты детей-калек, пострадавших от советских миномётов? А что шурави хотели сделать с тобой? Они бы тебя прирезали—шакалы трусливы. Что с того, если среди пришельцев нашлись трое достойных? Аллах, в своей безграничной милости, их не оставит—ни в этой жизни, ни после… Долг перед родным кишлаком, перед отцовской памятью должен перевесить!..»

Я не мог дальше слушать. Автоматная очередь полоснула по старому демагогу. За Самсона!.. За Пулина!.. Нелепая фигура из угла кинулась мне навстречу, пытаясь, видимо, прикрыть дочь. Не добежала. Очередь скосила. Я чувствовал себя Раскольниковым, зарубившим процентщицу и сестру её Лизавету. Однако хватит…

Я опустил дуло автомата и шагнул к девчонке. Она сползла с подушки и теперь полусидела, полулежала на полу в ожидании своей участи. Я подсел рядом и рывком приподнял паранджу.

Глаза у мусульманки оказались удивительно серые. Это была… Татьяна.

Предок-наёмник не целовал военную добычу… Но для Тани я готов был сделать исключение.

«Бери меня, победитель,—прошептала она,—возьми меня и мой город…»

…Я проснулся. Присел на полке. За окном ползли татуированные заборы петербургских предместий. Запутавшаяся в голых осенних ветвях утренняя луна рассеянно глядела на ползущие зелёные гусеницы поездов.

Я приближался к месту моего назначения.

4.

Оставив сумку в камере хранения, я пересёк Знаменскую площадь, вышел на Невский и двинулся в сторону набережной. На Аничковом мосту я задержался, фотографируя дворец, скульптуры, фигурные перила… У Александринского театра запечатлел памятник Екатерине Второй со всеми вельможами на постаменте. Миновал Серебряные ряды, армянскую церковь, костёл… Хотел было завернуть в Казанский собор, поклониться могиле Кутузова, но вместо этого поспешил на Дворцовую, к Эрмитажу. Авось дух Михаила Илларионовича, сиятельного князя Голенищева-Кутузова-Смоленского, простит мне задержку…

И—эх, ботаник я всё-таки!—забрёл в Александровский сад. В родном Колчацке деревья стояли уже обнажённые, а здесь листья ещё держались на ветках, хотя многие уже опали, лежали под ногами влажным ковром. Глянул в глаза бюстам Гоголя, Лермонтова, Пржевальского. Воин-путник… Воины правды… Помогите мне остаться здесь, с вами…

Затем я направился в Эрмитаж. Отстояв небольшую, по случаю осени, очередь, прошёл внутрь.

Осмотр начал с Военной галереи. Свысока поглядывал на меня единственным глазом Кутузов, подмигивал, как поэт поэту, Денис Давыдов, подозрительно косился через плечо Ермолов.

Затем я навестил египтян—фараонов, вельмож, носильщиков… В римском зале кивнул Октавиану Августу, насладился искусством греков, начиная с глиняных ваз и кончая Афродитами. Долго стоял возле полотна Антуана Гро «Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту», рассматривал камень с надписью своего тёзки, железного хромца Тимура…

Рыцарские доспехи и прочее средневековое оружие я разглядывал долго. Кольчуги, шлемы-салады с прорезями для глаз, моргенштерны, готические и рифлёные латы, мушкеты, аркебузы, пушку венецианского мастера Франческо Мацаролли, изукрашенную амурчиками…

Затем оценил китайские бронзовые сосуды, статуэтки из глины, картины Сюй Бэйхуна «Кошка» и «Гуси на озере». Люблю природу, чёрт меня дери…

Глянул индийские миниатюры, жёлтые полупрозрачные щиты из кожи носорога, обработанной особым образом, метательные кольца с острым наружным кантом, которые, раскрутив на пальце, кидали в противника, мечи с бронёй, прикрывавшей часть руки (ими сражались воины, сидевшие на слонах)…

И понял, что устал.

Вышел на воздух, купил в киоске телефонную карту… У Тани было занято. Тогда я решил прогуляться по набережной. Гуляя, вспомнил, что не позавтракал.

На жёлто-бурой невской воде покачивался катерок, при ближайшем рассмотрении оказавшийся трактиром. Вывеска гласила: «Речной трамвайчик». В памяти всплыли строки Гумилёва:

> Поздно. Уж мы обогнули стену,
> Мы проскочили сквозь рощу пальм,
> Через Неву, через Нил и Сену
> Мы прогремели по трём мостам…

Цены оказались высокими, и я роскошествовать не стал. Заказал солянку, жульен с грибами, салат из кальмара… Симпатичная подавальщица в синем передничке с белой оборкой угостила меня бокалом красного вина—подарком от заведения.

Я выпил и поплыл. То есть захорошел. Трамвайчик стоял на якоре прочно.

Этот город должен стать моим, понял я. Я должен взять этот город, это кафе, эту кёльнершу… И, конечно, Татьяну…

Чёрт! Рассуждаю, как фашист!..

А чего ханжить? Все воины похожи друг на друга. Недаром в афганские клубы порою приглашают американцев, прошедших Вьетнам. И ничего, находят янки и русские общий язык. Те и другие на чужой земле воевали. Только и разницы, что зелёные береты на завтрак получали два сорта мороженого, а мы — пропахшую хлоркой гречку да просроченные консервы…

Есть у нас в Колчацке пожилая иудейская матрона родом из Белоруссии. Её, пятилетнюю, эсэсовцы травили собаками. А мимо черепашьим шагом плёлся состав с немецкими новобранцами. Тогдашние поезда вообще ходили медленно. Какой-то парнишка спрыгнул, выхватил Соню из-под носа у овчарок, вскочил обратно… Высадил на следующей станции. Реальный факт.

Какой-нибудь умник занудил бы: мол, если среди фашистов нашёлся один нормальный человек, это ещё не значит, что фашизм — это круто. Дали бы мне автомат, поговорил бы я с книгочеем…

Я видел десятилетнюю девчонку-афганку, у которой рука была полуоторвана, кровь на землю текла. Хотел заговорить, отвести к Пулину, так она рванула от меня, как от смерти, придерживая правую руку левой…

Анекдот слыхал? Спрашивает воспиталка дошколят, у кого родители кем работают. У одного отец шофёр, у другого мать портниха… Вовочка встаёт и говорит: «Мой папа раньше лётчиком был, а теперь в Афгане фашистом работает!..»

Впрочем, русские никогда не знали удержу в самокритике… Но я отвлёкся.

Слыхал я, что в спиртное подмешивают наркоту… А может, просто в поезде не выспался. Так или иначе, выпал я из реальности.

Корабль снялся с якоря и поплыл. Прямо по курсу я углядел мостик — видимо, речной трамвай, заблудившись, свернул из Невы в Фонтанку или ещё в какую мелкую речку.

На мостике я углядел бронзовых сфинксов — грудастых, с женственно изогнутыми спинами… Я сошел, взобрался на мост. Прохожих не было видно и я, подтянувшись на руках, влез на постамент.

Я гладил сфинкса по спине, чувствуя себя Наполеоном в Египте. Далеко подо мною катились волны…

— Мальчик, слазь, — раздалось снизу.

Недалёкий блюститель порядка прервал мои гордые думы…

Я не вышел ростом, вот досада, и выгляжу молодо — возможно, из-за светлых волос. После Афгана носил бородку, за тридцатник оставил одни усы, а собираясь на семинар, побрился. Конечно, пацан пацаном…

— Молодой человек, вам плохо? — трясла меня за плечо официантка.

— Всё отлично, — успокоил я даму, расплатился и сбежал по сходням на берег.

5.

Таня обитала на Адмиралтейской набережной. Неплохое место для дислокации…

Девушка встретила меня в пепельном платье с воротником-стоечкой и юбкой ниже колена. От мусульманского хиджаба это одеяние отличалось лишь тем, что соблазнительно облегало фигуру. Мать-геологиня оказалась в командировке. Может, отсюда и скромный наряд?.. Пугливый ребёнок… Что она с собой делает!..

Комнат в квартире было две. Троим будет тесновато, прикинул я. Впрочем, меня домовой не любит, да и колчацкую берлогу можно сменять…

Мы прошли к Тане, и я присвистнул. Увлечение серединой прошлого века сказывалось во всём. Двухтумбовый письменный стол с пишущей машинкой вместо компьютера. Оранжевый колпак торшера возле диван-кровати. Платяной шкаф. Секретер с откидной полкой. Я глянул книги за стеклом. Васильев, Богомолов, «Блокадная книга»… И тут же, рядом с тяжёлыми томами военной прозы, — мягкая крохотная игрушка — белый мышонок с трогательно большими ступнями и локаторами-ушами, одетый в шортики, вязаный свитерок, с тонкой шеей, повязанной широким полосатым шарфом…

Радио на стене. Не хватало только граммофона с трубой. Вместо него на подоконнике, рядом с алой геранью, стоял переносной двухкассетник. Тоже ископаемое… На стенах висели пейзажи — как оказалось, маминой кисти. Техника была так себе, однако северная природа цепляла.

Присели на диван. Заговорили. Таня расспрашивала о московских редакциях, я отвечал уклончиво. Там, где я бывал, её бы не взяли. Меня-то брали больше из-за афганской темы. В конце концов я привлёк женщину к себе. Я ощущал себя путешественником во времени, угодившим в советскую эпоху. Немудрено… Таня позволяла себя ласкать только через платье и только выше пояса. Когда я рискнул расстегнуть верхнюю пуговицу, Татьяна ящеркой выскользнула из-под рук и понеслась ставить чайник. Волей-неволей я проследовал за хозяйкой на кухню.

Таня резала хлеб, сырную косичку, варёную колбасу (масла в доме не оказалось), наливала в вазочку малиновое варенье. Будь я голодным, я бы вожделел пищу, но я был сыт и вожделел Таню. Её ханжеские, совковые, убогие потуги нравиться мужчине, не отдаваясь ему, будили во мне глухое раздражение.

В конце-то концов!.. Сколько можно сидеть в прошлом веке!.. Сколько сторон современной жизни проходит мимо бедного ребёнка… Спиртное… Вино она, правда, любит, но есть же ещё портвейн, коньяк, водка… Наркотики — лёгкие, разумеется… Мы в Афгане курили травку — и ничего. У меня, к примеру, ни интеллект, ни память не пострадали. Терпения, правда, никакого не стало, да ведь и раньше оно лопалось легко, как надутый… э-э… скажем по-детски — воздушный

шар. Секс… Поза летучей мыши, древесного ленивца, поза «свастика»…

Но я-то человек двадцать первого столетия!.. И не мною придумано, что женщина должна разделять убеждения спутника жизни.

Ч-чёрт! Средневековый наёмник пришёл ко мне ещё в детстве. Поддержал, помог… А в последние годы… Чем настырнее пресса и телевидение пытались делать из меня безвольного, падкого до наслаждений скота, тем громче воин советовал: лучше быть зверем, чем дерьмом. Я воевал ради себя, а не ради этой страны. Но всё равно я воевал за Россию, укреплял южные рубежи. Так неужели я не имею права переделать русскую девчонку для своих нужд?

Наверняка Татьяна с детства слышала от авторитетных людей — ты шестёрка, гайка, ноль без палочки, делай, что тебе говорят. Она знает, что если мужчина критикует, значит, желает добра. Очень может быть, что её предок — крепостная девка. В каждой женщине это сидит, так же как и желание улучшить породу.

А если к тому же поразить воображение ребёнка водопадом оригинальных идей…

Воин, кшатрий по натуре честен. Помнишь, у Маршака?

У Пушкина влюблённый самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признаётся пушкинский испанец,
Что он не дон Диэго, а Жуан.
Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой — к подложному Диэго донну Анну.
Так и поэту нужно, что б не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.

А от природной честности до броска на добычу — полшага… И я пошёл в наступление.

Люди пишут затем, чтобы поделиться своим опытом, начал я. Своим, а не чужим. Зачем описывать блокадный голод? Во-первых, без тебя было множество очевидцев. Во-вторых, попробуй-ка сесть на блокадный паёк — сто двадцать пять грамм хлебушка в сутки!.. Ты же трёх дней не выдержишь!.. Значит, ты не имеешь морального права писать о блокаде.

Лучше опиши сексуальный голод, осклабился я. Кажется, эта проблема тебе хорошо знакома. Что? Мелкотемье? Какое мелкотемье?!.. Проблема мирового масштаба!.. Неудовлетворённые желания приводят к шизофрении. Кажется, у тебя уже начинается. Чего стоит общение с духом умершей бабушки!.. Тебе надо срочно…э-э… выходить замуж, иначе твоя психика не выдержит!..

Да что там одна поломанная судьба!.. Сексуальный голод сметает цивилизации! Как? Сейчас объясню. Белые мужчины вырождаются. Белые женщины кидаются в объятия жёлтых и чёрных самцов. Мы с тобой — последние европеоиды на Земле. И Гитлера можно понять. Он пытался предотвратить закат белой расы. Конечно, всякое явление многопричинно. Если бы Германию после Первой мировой не обложили огромной контрибуцией, народ бы не озверел. Вот ты зациклилась на Ленинградской блокаде и не желаешь видеть чужих страданий. А ведь голод в окольцованном порту длился недолго. Через два-три месяца больше половины жителей вымерло, и жизнь стала терпимой. Разумеется, в Германии было не то, что в Питере, но люди недоедали двадцать лет!.. Представь, несёт фрау киндерам пачку маргарина, а подростки у неё эту пачку — цап-царап и съели без хлеба, не сходя с места!.. В мирное время!.. Прикинь?..

Войны есть, были и будут! Борьба за мир — это война с ветряными мельницами: благородно, но глупо!.. Разумеется, обычная туповатая женщина, обывательница, всегда будет против войны. Женщина рожает с целью иметь прислугу. В большинстве случаев опора вырастает аховая, но лучше троечный слуга, чем никакого!.. Начинается война, и холоп — тю-тю. Ещё спасибо, если прикончат. А ну как вернётся калекой да сядет на шею?

И ведь находятся мужчины, которые бабам поддакивают в этой антивоенной истерике!.. Разумеется, их обожгло. Лес рубят, щепки летят. У кого-то родителей убили, кого-то в рабство угнали, у кого-то полведра крови выкачали в обмен на сырую морковку… Но ведь зрелая, взрослая личность должна уметь переступать через детские обиды…

Сам переступи через мамкин ремень, шепнул внутренний голос. Но я отмахнулся. Я шёл в атаку…

Власть над женщиной — наркотик покрепче анаши. И счастлив тот, кто умеет приказать себе: стоп!..

Сейчас ты, как всякая неопытная душа, находишься под фразёрским гипнозом Гранина, Адамовича, Светланы Алексиевич, поучал я Татьяну. Повторяешь антивоенные бредни. Но сильная личность должна следовать природе. Пока ты зашорена, ты трусишь отдаться воину, человеку без предрассудков. Кому ты достанешься? Хозяйственному тупарику? Слабодушному умнику? Имей в виду — ни тот, ни другой не опора!.. И не защита!..

Помнишь, у Сельвинского…

Трус бывает тонок и умён,
Совестлив и щепетильно честен,
Но едва блеснёт опасность, он
И подлец, и дурачина вместе.

Я окинул взглядом противника. Лицо Татьяны стало красно-белым — не то матрас, не то мухомор. Чистое, незамутнённое полудетское сознание не было готово принять страшную правду… Цеплялось за комплексы, ложные установки… И я позволил себе пошутить с ребёнком.

— Почему в доме масла нет? Не блокада же!..

Секунду Таня была в ступоре, затем резко вскочила.

— Ты куда?

— Я за маслом, за маслом! Подожди, я мигом!

Выскочив в коридор (я, озадаченный, пошёл следом), девица накинула куртку и, не влезая в рукава,

хлопнула входной дверью. Щёлкнул английский замок. Что это было? Внезапная женственная покорность или просто грубая истерия?

Я вернулся на кухню, сел за стол и стал ждать.

6.

Сидя за столом, я задумался, правильно ли я поступаю. Конечно, Таня, мягко говоря, талант некрупный. Но человек она хороший, стоит ли такого ломать?

Да чего там, рявкнул живущий во мне наёмник. Ты просто покажешь девушке её место в мире. Кухня и койка, а без детей и поповщины обойдёмся. Живя в Петербурге, ты таких шедевров насоздаёшь—ух!.. Твоё творчество всё искупит.

Правильно, эхом отозвался «афганец» шестьдесят пятого года рождения. Я приспособлю девочку к реальности третьего тысячелетия, спасу ребёнка из блокадного Ленинграда. Пусть девочка уразумеет, что людям неинтересен её внутренний мир, что людей волнуют её высокий бюст и аппетитный задок. Разумеется, я рано или поздно её брошу, но ведь каждый из нас—кузнец своей судьбы. Возможно, после ожога Таня сообразит, что ей нужен не воин-кшатрий, а вайшья-торговец, который за любовь платит звонкой монетой. Может, я за год-полтора так выдрессирую девку, что Таня, прыгая, как леди Гамильтон, из койки в койку, до адмирала дойдёт... Ну а сопьётся и кончит, как моя матушка,—это уже её проблемы...

И тут в замке звякнул ключ. Я выглянул в коридор...

Таня, в расстёгнутой курточке, с растрепавшимися волосами, стояла в проёме. А за спиной у неё маячил беременный шимпанзе крепко за сороковник, с бородкой и в сильных очках—не то купчина, не то народник. На пришельце была чёрная, тоже расстёгнутая, куртка и вязаная зелёная шапочка. Картину дополнял безвольно свисающий белый шарф, похожий на иудейский талес.

—Познакомься, это мой муж,—сказала Татьяна.

Левой клешнёй старый краб вцепился в хрупкое плечико девушки, а правую протянул мне:

—Владимир!

Властелин мира хренов... Красно Солнышко выкатилось...

Бывает, что в критической ситуации мысли прокручиваются с бешеной скоростью. Я был оскорблён так же, как Вронский, когда увидел Анну с Карениным. Из чистого источника пил грязный баран. Затем на память пришёл Бунин. Цинично, что она почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому... Бунина сменил Фрейд. Да у ребёнка комплекс Электры!.. Таня росла без отца, теперь она ищет в мужчине папашу!..

Всё детство играла с бумажными человечками... Теперь живыми поиграть решила!.. Посмотреть, как два самца подерутся за обладание самкой.

Он всё ещё мне руку протягивает... Схватить, сдавить... Перекинуть через себя, испинать... Или сообщить, чем я полчаса назад занимался на диване с его супругой. Сам в драку кинется, тут уж я спуску не дам... Я себя знаю.

После этого о большой литературной карьере можно забыть. Девка молчать не будет...

Чёрт, кого-то мне оба напоминают... Ах да... Мулла и мусульманка-отравительница... Долг перед родным кишлаком, перед памятью бабушки должен перевесить!..

Мулла и мусульманка... Мусульманка и мулла...

Воздух сгустился и пошёл волнами.

Был в моей жизни случай, уже после Афгана... Нарвался ночью на грабителя; вернее, это он на меня напоролся. Ох и отделал же я его голыми руками и обутыми в берцы ногами, а потом бросил—без сознания, зимой, на улице, за полночь... И ничуть не жалею, даром что парню на вид было лет семнадцать...

А этот старый козёл чем лучше? Отнимает у меня вожделенный город, желанную женщину... Да понимает ли он, на кого наехал? Небось Таня утаила, что я—«афганец»? Женщина скажет правду—Нева в другую сторону потечёт... Я посмотрел за стёкла очков (минус пять, не меньше!) и вспомнил... Такие глаза, сосредоточенно-тревожные, были у Пулина, когда он отправлялся в немирный кишлак. Самсон, Пулин... Третий раз в жизни я видел смелого интеллигента. Наверное, такими были ополченцы сорок первого. С вилами на танки...

В двенадцать лет я знал: бывают ситуации, в которых легче нахамить, чем сдержаться. После Афгана понял: иногда убить легче, чем совладать с собой. Пара ударов по шее ребром ладони—ему и ей... Нечего оставлять свидетелей... Затем на вокзал, взять билет и забыть обо всём...

Но какой-то очажок разума в моей голове всё же бодрствовал.

Убивать-то зачем, спросил внутренний голос? В мирное время... Женщину... Это же всё равно что курить коноплю в одиночку!.. Жми на вокзал, бери билет... А там и глупышка сообразит, какого орла упустила...

Не прощаясь, не говоря ни слова, я схватил пакет и рванул мимо ошалевших интеллигентов-питерцев.

На Невском я потихоньку стал приходить в себя. Будь я слабодушным учёным брахманом, расчётливым вайшьей-торговцем или привыкшим ко всему работником-шудрой, я бы состроил хорошую мину при плохой игре. Попросил бы помочь с трудоустройством, с общагой, а то и познакомить с непристроенной девицей. Но я воин, кшатрий, и все мои силы ушли на самообуздание.

Но если Татьяна—замужняя женщина, зачем она позволяла себя ласкать? Разумеется, объятия и поцелуи ещё не измена, однако…

А в поезде как обухом ударило. Что, если это был розыгрыш, который я сам же и выпросил? Да, я не люблю родной город и родную страну. А Татьяна любит. Пусть это сублимация сексуальных желаний, но это есть. Я, как Ивашка, не помнящий родства, прыгал на Сивке-Бурке, пытаясь дотянуться до окна царевны… Вот и допрыгался!..

Но соперник-то мой каков!.. Жизнью рисковал… Ладно, мне два раза по восемнадцать, Татьяне дважды по девять, а этому сколько? Девять раз по пять? Кого он читает? Корнея Чуковского? Спаситель Петрограда от яростного гада!..

Не откладывая дела в долгий ящик, я присел за откидной столик (снова я ехал на боковом!) и настрочил письмо Тане. Возможно, я наговорил глупостей, писал я. Но если смотреть объективно, мои заслуги перед Россией побольше твоих. Год и три месяца я, рискуя сгореть заживо, крутил баранку бензовоза-наливника, затем возил полковника медслужбы, Героя Советского Союза. А если ты не поняла, что перед тобой патриот, так это у тебя с головой проблемы!..

…Вот уже полгода я сижу в родном Колчацке и жду ответа на письмо. Ответа нету. Неужели подельники по розыгрышу и правда поженились? Татьяна показалась мне горячей девушкой. Тело своего требует, а тут под боком опытный товарищ, немолодой, некрасивый, зато проверенный… Женщины любят смелых. Возможно, этот брак года через два распадётся, но мне-то и двух недель не досталось!..

Впрочем… Ещё не вечер. Устроители семинара в пансионате «Дубки» считают, что мне тридцать три. Значит, ещё два года в запасе. На сей раз буду штурмовать Белокаменную. Авось пожаром не встретит.

Егор Труфанов

Скажу по секрету…

По проводам, по нервным окончаньям
Запал переливается в меня,
Бегут со страху тайны мирозданья,
Вселенскими ногами семеня.
Бегут бедняжки—я их понимаю,
Но всё же потрясаю кулаком:
—Глядите—мол—ну, ежели поймаю,
Познаю и воспользуюсь с умом.

—Будильник, не трезвонь—будь человеком.
Чего тебе не спится? Семь утра!
Шагать и дрыхнуть нужно в ногу с веком,
Но он твердит одно—*пора! Пора!*
—Родной, ну дай поспать хоть пять минуток.
Мне ко второму… к паре ко второй.
Не можешь спать? Считай овец и уток!
Заглохни! Хватит! Варежку закрой!!!
Но он трещит, не слушает упрёков,
Всё ждёт, что я не выдержу, сломаюсь.
И вот я забываю об отёках,
Разбитый, через силу поднимаюсь.

Родителям

—Нормально, Григорий?
—Отлично, Константин. ©

Дорогие, хорошие мои папа и мама,
Я, как глупый колобок, укатился от вас.
Меня завлекала, заманивала реклама,
Чего там лукавить—заманивает и сейчас.
Я—как оживший монолог Жванецкого:
Пригласить—пригласили, но, в общем, не ждали.
Не верил, трещал с упрямством ореха грецкого,
Но вода точит камень—а меня пять морей размывали.
Дорогие мои, хорошие, любимые мама и папа,
Скажу по секрету—здесь всё так же уныло, бездарно,
Да, бездарно, безродно, как у пошедшего по этапу…
—Ну а вообще как, Егорий, нормально?
—Эх, Костя, шикарно…

Инь и ян, Санкт-Петербург и Лондон,
Где-то в Сибири они поделили Москву.
Каждый и впрямь является неким зондом,
Халифом, визирем, на час захватившим страну.
И тот, и другой уверены: точно знают, как надо,
Имеют стратегию, целый вагон перспектив.
И тот, и другой намерены и погоняют стадо.
Инь сочиняет элегию, ян—для квна мотив.
Добро измеряется чувством меры и такта,
Ян в меру тактичен, инь не в меру умерен,
Зло измеряется чувством аргумента и факта,
Лондон—альтруистичен, Питер—годами проверен.

Семён Каминский

Папина любовь

Чья-то прошлая жизнь

Просторный двухэтажный дом был выстроен из красного кирпича на одной из уютных боковых улочек в центре города лет сто назад. Даже молодым он выглядел не шикарно, но приятно и солидно, как и его хозяйка — всеми уважаемая Фейга Юдковна, повивальная бабка, акушерка — краснолицая, большезадая, с коротковатыми полными ногами, уверенно стоящими на земле старого украинского «міста». Она безотказно пользовала и евреек, и русских, и украинок, а однажды принимала роды у таборной цыганки, которую привезли ночью на двухколёсной бричке прямо к Фейге во двор. Видно, какие-то уж чересчур трудные роды случились, раз цыгане не решились принимать их в таборе сами. Тут же, во дворе, цыганские роды были оперативно и благополучно приняты, только Глашка, которой пришлось таскать кастрюли с горячей водой по деревянной лестнице со второго, хозяйского, этажа, крепко умаялась.

Помогать-то Фейга Юдковна всем помогала, но цену себе знала и деньги за помощь брала немалые, особенно с тех, у кого они были. И деньги, и золотые-серебряные украшения, и камушки. Поэтому и дом такой серьёзный смогла построить на месте квёлого, старенького, доставшегося от родителей, когда-то державших скромную мацепекарню. Свежую ломкую мацу к празднику Фейга, конечно, любила, но родительское дело казалось ей неинтересным. Собственное занятие было гораздо важнее и денежнее мацы, и спрос на её умения оставался непреходящим, так что пекарню она продала. Её муж, тихий и не больно удачливый коммивояжёр, слушался супругу во всём беспрекословно.

А тайны ей были известны самые страшные и не подлежащие разглашению даже за давностью лет. Все знали, что она не только роды принимает, но и другие услуги оказывает, изредка помогая грустноватому доктору Лукацкому, тоже жившему неподалёку, но об этом никто не распространялся. Фейга Юдковна — персона нужная, кто знает, может, её помощь когда-нибудь понадобится, чего ж зря болтать…

И бабкой её тогда, конечно, никто не звал: когда дом построили, ей, может, лет тридцать всего было. Близкие называли её Фаней, а кое-кто из русских и украинских знакомых — Феней.

В общем, достойная была женщина, но надменная, характер имела весьма скандальный и всерьёз рассорилась со своими соседями: с одной стороны вплотную к её дому стоял домик грека-бакалейщика, а с другой, чуточку подальше, — дом какого-то местного чиновника средней важности. Что именно они не поделили, история умалчивает, но нетрудно предположить: как раз эти самые не подлежащие разглашению тайны и сыграли свою роль. Потому что и жена немолодого грека, и жена неприветливого чиновника были женщинами неработающими, не шибко красивыми, но весьма и весьма любвеобильными. И кто-то якобы видел их неоднократно посещавшими умелую соседку… Хотя, может, они к ней просто по-соседски заходили, одолжить луковицу или немного постного масла? Однако факт есть факт. Назло акушерке обиженные мужья, по-видимому, сговорившись, так надстроили свои одноэтажные дома, что со стороны грека во всех окнах её дома навсегда наступил полумрак. А со стороны чиновника, где между домами был узкий проезд во двор Фани, если и заглядывало солнышко, то ненадолго, поутру, на несколько часов. Надо же — и денег не пожалели! И оказался её хороший дом нелепо зажатым между двумя глухими, уродливо высокими кирпичными стенами.

Впрочем, тогда уже некому было особо обращать внимание на красоту или удобства. Потому что вскоре понеслись мимо (и, слава богу, что мимо!) малахольные конники бандитского вида, направляясь к главному городскому почтамту. Пошли рядами на митинги и парады красные товарищи с бодрящими песнями и под весёлым хмельком. А потом, почти не глядя по сторонам, проехали чёрные оккупанты в огромных грузовых автомобилях. Этих Фанина семья, правда, не видела (опять же, слава богу!), так как успела эвакуироваться, но самому дому всё это, без сомнения, было отлично видно. Например, как недалеко упал сбитый самолёт, и улица спустя несколько лет стала называться именем Героя Советского Союза — погибшего в нём лётчика.

Затем жизнь чуть наладилась, но дому было нехорошо. В каждой, даже самой тесной, комнатушке селились в большом количестве новые люди и тараканы, а растущая семья Фейги Юдковны — муж, сын, невестка, внуки — после эвакуации стала помещаться всего в двух комнатах, да и то с соседями.

В доме и во дворе противно запахло старым борщом и какой-то совершенно неописуемой дрянью. Стены поросли плесенью, кирпичи кое-где выпали, так что зрелище и вовсе перестало быть приятным и, тем более, солидным. В окнах стало ещё темнее.

Хотя возраст настойчиво брал своё, какое-то время Фаня ещё служила фельдшером в больнице скорой помощи, но домашнюю практику

прекратила — это было нынче строжайше запрещено и грозило ужасными бедами, о которых даже шёпотом говорить не стоило. Возможно, случаи такие в обстановке особой секретности всё-таки были: кто ж, как не Фаня, выручал самых разнесчастных, одиноких и покинутых? И теперь почти за символическую плату… Но кто это докажет? Глашка из нижнего этажа ей помогает? Да нет, нет, боже упаси! Глаша просто приходила по старой дружбе варенье варить в глубоком медном тазу…

Как-то раз в сумерки к Фане на веранду поднялись две посетительницы. Одна из них была хозяйке знакома — учительница в соседней школе.

— Вот, Фанечка Юдковна, дочка моя, Ленка… — тихо вздохнула гостья, присаживаясь на краешек табурета в Фаниной прихожей, превратившейся в тесную кухоньку, — неполных пятнадцать — и уже… Помогите непутёвой…

Фаня оглядела непутёвую дочку учительницы, стоящую перед ней.

— Косу с детства, выходит, ещё не резали? — поинтересовалась Фаня, взвешивая на руке толстую чёрную девчачью косу.

— Не, — не поднимая глаз, еле слышно проговорила щуплая девушка, — не резали…

— И кто ж этот герой? — ехидно продолжала Фаня, наклонив голову и пытаясь заглянуть Ленке в глаза.

— Не говорит, — опять вздохнула учительница после короткой паузы. — Ревёт, но не говорит…

— Вы, Тамара Борисовна, подождите здесь минутку, мы в столовую пройдём.

— Фаня увела девушку в комнату. Учительница так и осталась сидеть на табуретке, глядя перед собой в растрескавшуюся побелку кухонной стены и не решаясь встать.

— Вот что, — сказала Фаня, возвращаясь минут через двадцать, — худая она, поэтому на ней не видно, но делать уже поздновато… и я не хочу. Нужно оставлять.

— Да что вы говорите?! — громко всхлипнула учительница, тут же прикрывая себе рот рукой. — И никак нельзя?..

— Никак, — отрезала Фаня, — но думаю, что всё будет хорошо. Я в больнице договорюсь: есть надёжные доктора, и я сама при том обязательно буду. Только надо в другую школу перевести, чтобы разговоров было поменьше. А самым ретивым мы рты позакрываем: и у них бережно хранимые секреты найдутся… Я подноготную у половины города знаю. И в гороно есть нужные люди… Про своего героя она мне рассказала, гоняться за ним не стоит, без него справитесь. И не донимайте эту дурынду вопросами. Не она — первая, не она — последняя. Такая жизнь…

И снова с флагами и транспарантами мимо регулярно двигались хорошо организованные трудящиеся массы, так же организованно и массово заходя облегчиться во двор, попавшийся им по дороге в коммунистическое далёко и к трибунам центральной площади. И хотя в глубине двора виднелся туалет из серых шлакоблоков, мужчины поливали стены дома, а дамы присаживались под той самой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Транспаранты и флаги ожидали в некотором отдалении, прислонённые к стенам. Запах усиливался…

— Как там ваш наследник непутёвый? — спрашивала Фаня у Тамары Борисовны, приходя в школу за своей младшей внучкой.

— Толик очень даже путёвый! — расцветала учительница. — Умный мальчик растёт. А Ленка устроилась работать в домоуправление. Замуж вышла, муж хороший, Колей зовут, Толика усыновил. Сейчас Лена второго ждёт, сильно поправилась. Про вас она с таким уважением всегда вспоминает… Толик, говорит, вырастет, непременно про Фанечку Юдковну ему расскажу, он поймёт…

— Да бросьте, ничего он не поймёт, — махала рукой Фаня, прощаясь. — Что они понимают?..

С годами дом сильно просел: первый этаж, в котором когда-то хранилась утварь и обитала прислуга, а теперь квартиросъёмщики, частично ушёл под землю. Полы из длинных крашеных досок прогнулись; когда их мыли, к центру комнат стекала вода, туда же скатывались катушки с нитками, детские мячики и машинки. Щели поглощали не только самые мелкие предметы — булавки из рук пришедшей на дом модистки, бусинки рассыпавшегося перламутрового мониста и монетки, но даже карандаши, ручки и расчёски, а иногда что-то покрупнее, и всё это уже никоим образом не получалось достать. Может, именно там незаметно потерялись и долгие годы, наполненные однообразными хлопотами? Притаились тревожные шорохи и заглушённые стоны от нестерпимой боли? Спрятались неясные воспоминания?

Фаня — теперь уже бесповоротно баба Феня — тоже сдала, совсем не практиковала и мучилась настырным в своём постоянстве радикулитом, согнувшим её в три погибели. Мужа давно не было, дети не шибко её праздновали, переселив в самую тёмную комнату, да она и сама не хотела занимать светлое жизненное пространство. Она начала путать имена своих внуков и правнуков и перестала слышать, когда у неё что-то просили, особенно когда просили деньги. А молодое поколение, уже не скрывая, смеялось над тем, как она говорила «бирлянды» вместо «бриллианты», рассказывая о прошлой жизни, о каких-то тайнах и своём деятельном участии в судьбах разных — счастливых и несчастливых — людей. Да и кто вообще верил в эту прошлую жизнь бабы Фени? Разве что почти такая же древняя Глашка, которая все эти годы так и жила в двух каморках нижнего этажа. Она и её муж Яким по-прежнему называли бывшую хозяйку Фейгой Юдковной и не забывали приносить на Пасху освящённую сладкую пасочку собственной выпечки. Баба Феня целую неделю ела её маленькими кусочками вместе с мацой, запивая чаем…

Ровно через двадцать лет, день в день, после смерти бабы Фени дом наконец признали аварийным и должны были снести, а жильцов переселить. Фенин сын и его уже женатые дети очень радовались получению квартир (правда, в дальнем-дальнем рабочем микрорайоне), а никчёмный дом, так ужасно надоевший всем своими старческими проблемами, постарались забыть навсегда. И он

остался пустовать в центре города, на одной из уютных боковых улочек имени Героя Советского Союза.

А потом флаги, транспаранты, парады, хорошо организованные трудящиеся массы прекратились, и про дом забыли ещё лет на десять. Он был уже так страшен, что даже появившиеся бомжи боялись туда забираться — вдруг обвалится. Впрочем, соседние дома, по-прежнему закрывающие его от солнца, выглядели не намного лучше…

Правление банка размещается в двухэтажном доме красного кирпича. Дом древний, ещё и плывуны под ним обнаружились, правление кучу денег ухлопало, чтобы не только привести его в порядок, но хорошо укрепить фундамент и достроить в глубь двора. Земелька тут теперь ох как дорого стоит — центр города!

Анатолий Николаевич, президент банка, — мужик прижимистый. Даже кондиционеры поставили всего по одному на отдел — экономят на чём могут. Но вот что удивительно: два соседних одноэтажных дома приказал выкупить и высокую кирпичную кладку, что торчала на их стенах, почти примыкающих с двух сторон к зданию правления, обязательно разобрать. А зачем эти странные, намного выше крыш, надстройки были сделаны — никому не известно. Кто-то слышал, что так от пожара в прошлом защищались; другие говорят, что только шеф настоящие причины знает, что-то личное у него связано с этим домом, где сейчас правление, хотя он в нём никогда не жил.

Как-то раз подкатили к нему на корпоративной вечеринке с вопросом, как бы между прочим. А он смеётся; говорит, если бы не было этого дома и его хозяйки, и меня, может, не было… И надстройки, мол, с соседних домов он убрал не только для того, чтобы в правлении было светло, а чтобы восстановить справедливость за всю прошлую жизнь. Шутит, наверно, или был навеселе — перед этим одну грандиозную сделку провернули…

В общем, толком никто и не понял: что это за справедливость такая? Что за хозяйка? И чья прошлая жизнь?

Папина любовь

Много было всего — разопрелого днепровского воздуха, громких прощаний, беспокойных дымных запахов, плеска мутноватой воды под трапом, колких отблесков на лицах от больших золотых букв «Матрос Вакуленчук», полукругом расположенных по борту теплохода. Мама стояла под крышей синего домика плавучей пристани, возле белых деревянных перил, и держала Юльку на руках. Юлька выворачивалась попкой, тянулась куда-то в сторону, а мама старалась повернуть её лицом к ним: посмотри, вон папа и Коля уезжают на пароходе, ту-ту-у… ну, посмотри, что ж ты вертишься!

Они с папой на палубе — настоящие отъезжающие в далёкое и опасное путешествие (по морям, по волнам): папа — в широких светлых штанах, Колька — в шортах (многострадальные колени густо замазаны зелёнкой), папина рука лежит на Колькином плече. Немного снисходительные ко всем тем, кто остаётся на дебаркадере, и особенно к тем, кто дальше — там, на берегу, они стоят с лёгкой спокойной улыбкой…

Какое там — спокойной! У Кольки всё так и подскакивает внутри организма — сейчас теплоход отвалит от пристани родного города, и начнётся летнее отпускное путешествие с папой… Ну, не по морям, а по Днепру, не очень далёкое — до Херсона и назад, и не долгие годы пройдут до их триумфального возвращения, а три дня… но об этом совершенно незачем думать! Тем более что в это путешествие решено отправиться исключительно мужской компанией — Юлька ещё маленькая и недавно переболела воспалением лёгких, а значит, женщины, как положено, остаются на берегу…

Вот они уже и остаются! Гудок, ещё гудок… Кто-то, добавляя шума, неразборчиво кричит откуда-то сверху (капитан теплохода, в рупор?), толстый грязноватый канат с облегчением освобождён от потёртой железной катушки, и — поплыли… Отступили назад перила дебаркадера, мамины махи свободной рукой, название города над её головой, машины на набережной, толстый элеватор и причудливые пируэты портовых кранов… Плывём!

Потом началось неторопливое удовольствие обустройства в двухместной каюте. Разложили вещи, спрятали в утробу одной из коек клетчатый матерчатый чемодан на молнии. Долго щёлкали разными кнопками от ламп, открывали и закрывали окно, выходящее на палубу первого класса. Так же не спеша отправились в ресторан, в конец длинного коридора, и их неясные отражения шли вместе с ними в тёмном полированном дереве многочисленных дверей. Колька на ходу рассматривал какие-то странные картинки, эмблемы и усердно читал инструкции в аккуратных рамках. Папа что-то спросил у официанта, выбрали столик, а затем, прямо из ресторана, вышли на открытую площадку кормы и постояли на тугом ветру у флага — не могли оторвать взгляда от спешащей за теплоходом бесконечной струи… пока не появилась компания молодых людей с гитарой, которые, едва расположившись на шезлонгах, грянули нестройно, но рьяно:

> У крокодила морда плоская,
> У крокодила морда плоская,
> У крокодила морда плоская,
> Он не умеет целовать.
> Его по морде били чайником,
> Его по морде били чайником,
> Его по морде били чайником,
> Чтоб научился целовать.

После ужина они сразу же облазили весь теплоход: спускались на нижние палубы, заглядывали в громкое суетливое машинное отделение и в молчаливый парадный носовой салон, пустой, с зачехлёнными сероватой тканью диванами и роялем. А в сумерки даже постояли перед крутой лестницей на капитанский мостик, где из окон рубки падал на их поднятые вверх лица таинственный свет…

Самым же интересным оказался проход теплохода через шлюзы: все пассажиры при этом

обязательно заполняли палубы, пристально рассматривая огромные—много выше их судна!—шлюзовые ворота в потёках склизких зеленоватых водорослей и густую некрасивую пену за бортом, слушали какие-то гудки, шумы и тарабарские переговоры.

Папа беспрерывно что-то объяснял Кольке или увлечённо рассказывал о приключениях из своей молодости. Получалось, что детство и юность у него были довольно бесшабашные, и в это никак не верилось, глядя на теперешнего папу—в больших очках, полноватого, всегда такого аккуратного («пи-да-гог»—так говорила про него лучшая мамина подруга, тётя Рая, медленно, с нажимом процеживая каждый слог сквозь испачканные красной помадой зубы).

—…В коридоре нашей коммуналки было темно, особенно если входишь с улицы. Жил там у нас Лёва Коган, погружённый всегда в какие-то свои мысли. И вот, на зимних каникулах, Лёва Коган, за целый день насмотревшись на зверей из заезжего зверинца, пробирается почти на ощупь к себе в комнату… А я поджидаю его в углу. Протягиваю руки с шапкой, ласково касаюсь мехом его лица и тихо говорю: «Р-р-ры…» Он визжит, отскакивает куда-то назад, падает на задницу в чьё-то помойное ведро и с новым воплем переворачивается на пол. Распахиваются двери, зажигают свет… Мой дядя Сева мгновенно всё понял и мне—бах!..

Бойкая компания с гитарой по-прежнему встречалась им в самых неожиданных местах теплохода; казалось, что, сидя кружком, они распевают одну и ту же задорную песню, аккомпанируя папиным историям:

У бегемота нету талии,
Он не умеет танцевать.

После чего неотвратимо следовало:

Его по морде били чайником,
Чтоб научился танцевать.

—…Я подхожу к этому блатыге Ромке, вот так вытаскиваю папиросу изо рта…
—А ты что—курил?!
—Ну да, немного… не в затяжку… просто модно было… В общем, я подхожу и говорю ему: «А пошёл ты знаешь куда!» Он остолбенел, а я с ходу ему—под дых… Он стал приседать на корточки, дышать не может, а я говорю: «Да чтобы я тебя больше никогда…»

Заснул Колька внезапно, едва прилёг на минутку в каюте, не раздеваясь, под звуки ночного шлюзования. Спалось ему отлично, ничего не снилось, а утром он первым делом выскочил на палубу: что там нового, радостного и удивительного? Какие незнакомые города и пристани проплываем, чем гружены длиннющие встречные баржи, как называются и кого везут разнообразные катера и лодки?..
—Коля,—окликнул его папа. Он сидел с какой-то молодой женщиной.—Познакомься—Валентина Илларионовна… преподаватель музыки.

Колька изобразил воспитанного мальчика—подошёл, поздоровался, ответил на пару вопросов, чувствуя, что неинтересно не только ему—отвечать, но и этой… как её… Валентине Илларионовне—спрашивать. Она задавала их вкрадчивым, словно круглым, голосом и сама была круглолицая, в невесомом сиренево-цветочном платье, которое, как подумалось Кольке, неприлично облегало и местами как-то пропадало на ней. А когда она посмотрела Кольке прямо в лицо, то глаза у неё оказались неожиданно прозрачные и холодные—вылитая снежная королева, только летом.
—Я пойду… умоюсь,—заявил Колька и удрал в каюту.

Весь этот день они были с папой уже не одни. И на палубе, и в ресторане, и когда теплоход подолгу стоял возле очередного города и можно было пойти погулять по набережной, а иногда и по ближайшим улицам или паркам, с ними была Валентина. Она негромко, но значительно смеялась всем папиным шуткам, носила с собой журнал «Иностранная литература» и сладко пахла. Днём сидеть на палубе в шезлонге было жарко, её цветастое платье прилипало к ногам, она часто приподнимала его и даже слегка обмахивалась краешком подола. Папа по-прежнему не замолкал, но забавные пацаны из рассказов исчезли, теперь упоминались Суриков, Герасимов, Вертинский, Григ…
—Коля, ты бы пошёл познакомился вон с теми ребятами—по-моему, они твоего возраста,—периодически предлагал ему папа, прерывая беседу, но Колька никуда не отлучался, молча рисовал в тетрадке звездолёты или вертелся неподалёку, посматривая то на воду, то на берег, то на Валентину.

Вечером, в носовом салоне, папа отвернул с рояля толстый чехол, и Валентина так долго и старательно играла, что вся её гладкая причёска растрепалась, и в салон стали заходить люди с прогулочной палубы, рассаживаться на диванах. Папа остался стоять, облокотившись на рояль, внимательным лицом—к Валентине, а Колька сидел с ногами в самом дальнем угловом кресле, скучал.

И ночью Валентина снилась Кольке. Там, во сне, ей вообще всё время было жарко, цветастое платье снова прилипало к ногам. Кольке, как воспитанному человеку, нельзя было туда смотреть, а так хотелось—пристально, не отрываясь. Он проснулся от необычно острого ощущения—влажный, и не только от пота. Сначала сильно испугался, а потом вспомнил, что по этому поводу говорили мальчишки: вот оно что-о… Какое-то время он не мог заснуть, не зная, что делать и как встать, чтобы убрать безобразие, не разбудив папу, однако провалился в новый крепкий сон—уже без Валентины.

Разбудили его вопли знакомой компании, с утра оказавшейся на палубе где-то рядом с их каютой:

А новичок—сопля зелёная,
Он не умеет страховать.

И дальше, конечно:

Его по морде били чайником,
Чтоб научился страховать.

Была жаркая середина дня, когда остановились в Каховке, и тщательно изученное настенное расписание поведало Кольке о стоянке в полтора часа. Среди других пассажиров они отправились гулять вдоль реки. Прошли мимо четырёх бабулек

с вёдрами и кастрюлями, прикрытыми крышками или марлей,—продавали варёную кукурузу, домашние малосольные огурчики и что-то ещё. А на небольшом расстоянии от причала им вдруг открылся песчаный пляжик с кабинками для переодевания.

— Коль,—сказал папа,—искупнуться бы… Сбегай в каюту, возьми полотенца, подстилочку и плавки. А мы тут с Валей… с Валентиной Илларионовной тебя на скамеечке подождём.

Кольке отчаянно не хотелось оставлять их, но он понял, что сейчас возразить уже нечего, и, что-то буркнув, помчался на теплоход.

Дорожка… мостки… трап. Вот и лестница на верхнюю палубу. Коридор… ключ… каюта. Он дернул со спинки кровати плавки, перебросил через плечо полотенца—и в обратный путь, быстрее, быстрее…

Сбегая с пристани, Колька сильно споткнулся, пропахал голыми коленками по жёсткому шершавому дереву шатких, с широкими щелями мостков, по-дурацки клюнул носом вперёд, чуть ли не под ноги торгующим старушкам, а полотенца, плавки, кепка с головы—всё полетело прямо в серую пыль дорожки.

— Ой, сыночка, ну шо ж цэ ты так!—вскрикнула одна из старушек…

Колька ещё долго сидел на земле, пялился мокрыми глазами на свои расквашенные, в кусках старой зелёнки и пыли колени, а где-то неподалёку—наверно, на том самом пляжике за дебаркадером,—опять били и били чайником по морде несчастного бегемота.

Гудбай, Руби Тьюздэй!

— Всю свою взрослую жизнь я была designated driver[1],—сказала мне красноволосая Руби[2].

Это все остальные могли беспечно веселиться на вечеринках, заглатывая немереное количество пива, джина и вина. Это Пит мог набраться так, что засыпал в чужой ванной. Это Остин мог выть с чердака привидением, доставляя море несказанного удовольствия окружающим. Это Джеки могла целоваться по очереди с двумя-тремя парнями и беспечно отключиться где-нибудь на кушетке у камина. А вот, смотрите, Джона вытащили в одёжке из бассейна…

Все остальные, но не Руби.

Почему Руби должна всегда думать, как благополучно развезти по домам весёлую компанию друзей и подружек? Кто просил её об этом?

Впрочем, иногда они просили.

— Руби! Ты же не пьёшь, правда? Ты же подбросишь меня домой? Где стоит твоя машина, детка?

Но чаще всего это получалось само собой. Целый вечер нужно было тянуть одну-единственную бутылочку «Гиннесса», временами удивляясь тому, что окружающие вытворяют на пьяную голову. Но никогда не удивляясь вслух. Людям хочется веселиться—ну и отлично. А я-то не могу, мне ещё нужно довезти их до дома в целости и сохранности, и чтобы полицейские не придрались. И мне совсем не хочется вытворять такие глупые штуки, как они…

Руби Голдстайн родилась и прожила восемнадцать лет в крошечном городке, в 20 милях к северу от Чикаго. Просторные двухэтажные дома сливочного цвета с аккуратными крышами «под черепицу». Почти нет пыли и грязи, потому что нигде нет ни клочка открытой земли: всё застелено рулонами чистой, чересчур зелёной травы, которую с маниакальной тщательностью стригут хозяева домов каждую неделю. Близкое, тёмно-синее, громадное (чем не море?) пространство озера Мичиган. Нестрашные «хэллоуинские» маски и конфеты, конфеты… корзинки конфет, ведёрки конфет, которых тебе никогда не съесть. Жёлтые угловатые школьные автобусы, которые с точностью до шага останавливаются каждый будний день—утром и вечером—в определённом месте на твоей улице. Рождественская толстуха-ёлка, в золотых лентах и пышных красных бантах, открытая взглядам в широком, никогда не зашторенном окне гостиной соседского дома. Или изящная девятипалая ханукальная менора и нежно светящийся «моген-довид»[3] на окне гостиной твоего дома—на окне, точно так же совершенно не закрытом от взгляда с улицы…

Спокойно, одинаково и скучно.

Потом она шесть лет прилежно учила в университете много нужных и ненужных предметов и русский язык. И там, в студенческих компаниях, опять ответственно и постоянно развозила друзей по домам. Но уже почти получив степень «магистра» одной очень важной и очень узкой культурологической специальности, вдруг неожиданно сказала себе: «Я еду в Россию. У меня дедушка из России. Я буду практиковаться в языке и собирать материал для работы о русской альтернативной поп-культуре. Там сейчас—перестройка, это должно быть нескучно». В её университете существовали какие-то научные связи с питерским университетом—туда Руби и отправили.

В Питере, куда она прилетела с подружкой и сокурсницей Фиби, действительно была перестройка: суматоха на одёжных рынках, всеобщая, уже не скрываемая тяга к иностранцам, во сто крат усиленная пустотой магазинов, осенней грязью на улицах и беспощадными разборками малюсеньких злобных «предпринимателей». Вовсю гремел рок, почему-то называемый «русским», очнулось от дурмана телевидение, кипели фестивали, выставки, «инсталляции» и «тусовки».

О скуке не могло быть и речи.

Они устроились в одном из общежитий университета. С удовольствием ездили в трамваях и троллейбусах, которых почти нет в Америке.

И вот Руби уже стоит в очереди в «Гастрономе № 1» на Невском и лихорадочно соображает, что сейчас вот-вот подойдёт очередь и нужно будет

1. Буквально: «назначенный водитель» *(англ.)*—тот, кто на вечеринке ограничивает себя в употреблении спиртных напитков, чтобы иметь возможность отвезти товарищей домой (общеизвестный в англоязычных странах термин).
2. Одно из значений имени Ruby—рубиновый, ярко-красный *(англ.)*.
3. Звезда Давида, символ иудаизма *(идиш)*.

выдавить из себя… как они это говорят: «Мне поло-вину кил… кило-грамма кол-ба-сы, по-жа-луй-ста!».

Или не так? Надо послушать, что скажет вон та старушка впереди, в странной шляпке на голове. Плохо слышно, в магазине такой шум! Кажется, она попросила… «полкило». А этот, что прямо передо мной, он вообще не сказал «пожалуйста»…

Ура, женщина-продавец, кажется, поняла! По крайней мере, она ничего не переспрашивает и взвешивает на весах… вроде бы то, что я попросила.

Вот опять… Что? Куда? «В кассу»? Где это — касса? И почему всё так сложно? Наверно, я делаю, что-то не так: не может быть, чтобы такие простые покупки занимали так много времени и требовали так много странных действий! А ведь я хотела ещё купить конфет… Нет, уже не буду — это ещё одна очередь на полчаса, обойдёмся без конфет…

Они попутешествовали по «Золотому кольцу». А вернувшись в Питер, всё знакомились и знакомились с какими-то новыми людьми — художниками, музыкантами, артистами, для которых было весьма занимательно общаться с американскими девушками, неизвестно зачем оказавшимися в Северной столице и при этом довольно прилично говорящими по-русски. Особенно забавляла их Руби — своими настойчивыми изысканиями в области советского культурного андерграунда. Многие проявляли недвусмысленный интерес: а не помогут ли эти чудные иностранки добыть что-нибудь нужное, «забугорное»? Или даже свалить на Запад?

Постепенно Руби стали надоедать одни и те же вопросы и намёки; кроме того, она опять чувствовала себя «мамой»… Кудрявая плотненькая Фиби захлёбывалась в волнах всеобщего внимания, и Руби зачастую была вынуждена вытаскивать подружку из бестолковых приключений, увозить на трамвае в общежитие, отпаивать кофе после безудержных выпивок и вести противные душеспасительные беседы. Руби крепко полегчало, когда Фиби пришлось уехать из России раньше намеченного срока: дома, в Милуоки, начался развод родителей Фиби, и её присутствие там стало почему-то необходимым.

В начале зимы, в гостях у одного из знакомых на улице Марата, обнаружился очередной новый персонаж. Когда Руби назвала своё имя, этот круглолицый смешной парень (он всё время ходил в опущенной почти до бровей чёрной лыжной шапочке) сразу громко воскликнул, как будто они были знакомы с детства и вместе учились в иллинойсской школе имени Дуайта Эйзенхауэра:

— О-о! Руби!

И пропел из «Роллингов»:

— «Гудбай, Руби Тьюздэй»!

И заявил:

— В моей мастерской, Руби Тьюздэй, я обязательно поиграю тебе на железном контрабасе!

Он был скульптор и немного рок-музыкант. Звали его Артёмом.

Мастерскую Артёму разрешили устроить в одном из пустых подвалов в старом здании на Садовой, где школьный приятель снимал помещение под свою торгово-производственную фирму. Официально Артём числился художником и должен был заниматься разработкой дизайна для товаров фирмы. Днём он действительно старался это делать.

Руби приходила к Артёму по вечерам. В вестибюле здания дежурили два дородных милиционера, Вова и Петя. Видимо, подрабатывали после основной службы. Вокруг них всё было заставлено коробками с какой-то корейской видеотехникой, оставался только небольшой проход, место для стола, на котором стоял маленький телевизор, и нескольких казённых стульев. Охранники её уже знали, здоровались и пропускали вниз.

В мастерской, вместе с Артёмом, обитал постмодернизм. Толстые тёмные трубы под низким потолком вполне гармонировали с разнообразными металлическими скульптурами по углам, сварочным аппаратом и кусками металлолома, собранного на свалках. У одной стенки приютился хитрый зверюга с блестящими жестяными крыльями. У другой — замер в вычурном танцевальном па проволочный силуэт симпатичного чудака с повязанным на прозрачном горле полосатым шарфиком из настоящей ткани. «Контрабас» из старого листового железа издавал утробные звуки, резонируя с гулом пробегавших по улице грузовиков. А маленький фонарик изображал луну над макетом таинственного многоэтажного города, сваренного из отрезков грубого ржавого уголка; казалось, сейчас выйдут степенно прогуливаться по его улочкам крошечные металлические человечки.

Артём выдавал Руби большие тёмные очки, облачался в маску и молча принимался творить что-то новое из сполохов яркого света, искр, теней и горючего запаха. Руби забиралась с ногами в изодранное кресло и, набросив пальто, часами сидела за его спиной. Если не хватало металлолома, они иногда вместе отправлялись добывать его в ближайших тёмных дворах. Руби эти рискованные экспедиции чрезвычайно нравились.

Как-то она обнаружила, что в мастерской закончился чай, и так как Артём находился, можно сказать, в творческом угаре (всё действительно было в дыму), решила сама сходить наверх. Охранники увлечённо, как боевик, смотрели запись какого-то международного конкурса «Мисс Самая Такая-то», но американку встретили радушно, торопливо поставили на электроплитку синий эмалированный чайник, сунули на колени полиэтиленовый кулёк с сушками и усадили перед телеком. Им казалось, что Руби увидит там что-то близкое, родное, и гордились, что могут продемонстрировать своё приобщение к мировой культуре. Руби терпеть не могла конкурсы красоты, приторных ведущих и обалдевших от сцены «мисс», но сразу уйти было неловко. И чайник закипать совсем не торопился, хорошо хоть, что милиционеры не заводили никаких задушевных разговоров, увлечённые видом дефилирующих красавиц. А тут наверх поднялся Артём — то ли в творческом процессе возникла

пауза, то ли почувствовал, что надо заморскую девушку из гостеприимного вестибюля выручать. Охранники и ему обрадовались.
— Иди, иди, художник, «мисок» смотреть, — сказал тот, который Петя.
— А что, пацаны, — сказал тот, который Вова, — давайте это дело отметим на международном уровне.

Он принёс из подсобки пол-литровую банку спирта и начатую банку варенья. Аккуратно разлил спирт по разнокалиберным чашкам. А Петя расторопно положил в одну из чашек ложку варенья и, помешивая, серьёзно пояснил:
— Это для дамы. Кок-тейль.

Через десять минут Руби совсем перестала понимать не только по-русски, но и то, что болтал телевизор на её родном языке. Ей почему-то стало невыносимо обидно за долговязых девчонок, которых почти голыми, но в милицейских фуражках, заставляют выхаживать по бесконечному лабиринту из картонных коробок, с непрерывно повторяющейся надписью «Gold Star», под брюзжание железных контрабасов, в душном дыму, в искрах и сполохах яркого света, среди хитрых, сваренных из металлолома зверей, и пить, пить жгучий малиновый спирт…

Она вдруг заплакала. «Менты» всполошились и стали её успокаивать. А Артём распевал клоунским голосом Мика Джаггера:

Goodbye, Ruby Tuesday.
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I'm gonna miss you…[4]

Я беседую с Руби в уголке кухни — мы стоим, близко придвигаясь друг к другу и пытаясь перекричать шум. Я думаю, что её рыжие волосы уже немного подкрашены, чтобы спрятать начинающуюся седину.

В этом немаленьком американском доме наших общих друзей — тесно. Остервенело бубнят басы. Детвора, весело визжа, гоняется друг за дружкой. Народ с бутылками пива топчется вокруг «шведского стола», галдит по-русски и по-английски, поглощает закуски.

Мне слышно, что в соседней комнате спорит с кем-то Артём: громко, упорно, но совершенно непонятно о чём.
— Было очень приятно поговорить, — Руби протягивает мне руку, — но уже поздно, пора домой. Нам ещё около часа ехать — ребята, наверно, сразу уснут в машине…
— Кто за рулём? — спрашиваю.

Она строит смешную рожицу, поджимая улыбающиеся губы. Чуть приподымает тонкие плечи в чёрном платье и выдыхает:
— Я…

Людмила Дмитриева

Молодильные яблоки

Бывает, любовь, как тополя пух,
Вырвется вдруг
И осыплет всех,
Всё обнимет и приласкает,
Распустится цветами
И ляжет на стол
Молодильными яблоками…

Снежные вершины Приэльбрусья.
В них влюбляешься сразу и навсегда.
Как сохранить эту силу и восхищенье?
Может быть, так:
Взять с собой и поставить дома в вазочку,
Как букет-воспоминание о высоком.

Калейдоскоп

Картинки складывались сами собой,
Даря ощущение молочно-медового детства.
Всмотревшись внимательней,
Он вдруг увидел
Улицу и деревянные дома,
Забор из досок и слякоть под ногами.
Деревня.
Но какое было небо!
И запах русских просторов ворвался
Вместе с этой синевой
В калейдоскоп.

Хокку

1.

На поле жизни.
Затухающий родник.
Во все времена.

2.

На поле силы.
Съеденная луна.
Старая весна.

---

4. Ты меняешься каждый день,
И клички не липнут к тебе.
Руби Тьюздэй, прощай,
Я буду скучать по тебе.

«Роллинг Стоунз»
(перевод Андрея Рабодзеенко)

Людмила Винская

Тихая месть

1.

В тот день в Зареченске творилось что-то невероятное: за сутки двадцать два крупных дтп, тринадцать трупов, пятеро человек на грани жизни и смерти угодили в реанимацию, шестеро, отделавшиеся переломами конечностей, в такой ситуации считали себя счастливчиками. Непогода с утра металась по Зареченску, как сумасшедшая: то лил дождь, то морозец пробовал силу, то снежок с ветром в обнимку начинал носиться по улицам и закоулкам, то мела позёмка… Водители матерились, ругали гаишников, природу и друг друга. Но, несмотря ни на что, все двигались в нужных им направлениях, и кое-кто в этом процессе становился жертвой собственной неосмотрительности, а заодно и убийцей поневоле. Только один участник дорожно-транспортного кошмара тех роковых суток сыграл «траурное соло»: Денис Комаров, молодой предприниматель, тридцати двух лет от роду, «прыгнул» на своей «Тойоте» с дороги, ведущей от Графских Развалин в город. Не справился с управлением — традиционная формулировка. Графскими Развалинами зареченцы прозвали место подле бывших обкомовских дач, где некогда были бараки, а теперь высились коттеджи, один амбициознее другого. У дороги этой, позволявшей отдельным смельчакам сэкономить время, тоже было название — Зигзаг Удачи. По этому зигзагу мало кто решался ездить даже в идеальную-то погоду. Дурацкая была дорога. Кто её только «протоптал»? Но всё же смельчаки пользовались ею иногда, пробираясь по крутому подъёму вверх или спускаясь к улочкам Кошкиной Речки — так назывался санаторный посёлок, — лавируя на колдобинах и с опаской поглядывая вниз, на каменистые уступы. Кое-где эта «трасса» была даже заасфальтирована, но кем, никто сказать не мог, да и асфальт-то с годами стал только лишней помехой: продырявился, покрылся ямами. Вот на этой, с позволенья сказать, дороге удача и скорчила Денису свою уродливую гримасу.

«И чего он туда попёрся?» — с досадой думал молоденький гаишник, глядя, как группа спасателей часа четыре доставала из сплющенной и обгоревшей машины то, что осталось от Дениса Комарова. Ясное дело, парень сам себя угробил. Около восьми вечера инспектор Шабанов видел, как красная «Тойота» на развилке, разрезая фарами снег, резко свернула в сторону Зигзага Удачи, но Шабанов и подумать не мог, что водитель рискнёт подниматься по дороге самоубийц, решил, что торопится мужик в санаторный посёлок под горой. А оно вон как получилось.

На другой день все зареченские газеты чернели некрологами. Было среди них и соболезнование жене Дениса Комарова. «Вот житуха! — думал Шабанов, всматриваясь в симпатичное лицо погибшего. — Куда тебя понесло, парень? Вот и улетел в царство небесное, а мог бы ещё пожить. А ведь был, говорят, чемпионом по автогонкам. Догнал свою смертоньку… Вообще-то опытные альпинисты тоже частенько гибнут, причём нередко на простейших маршрутах. Контроль теряют… Правда, Зигзаг Удачи — дорожка не для слабаков, хоть и будет-то всего с километр. Тебе-то, парень, уже всё равно, а жене твоей каково?..»

2.

Марина увидела их случайно. Она в тот день забежала в «Королевский цыплёнок» выпить чашечку кофе по-турецки и пристроилась в углу у окна, рядышком с камином. Кофе здесь готовили классно, был он ароматный, чуть маслянистый и бодрящий невероятно. Она наслаждалась теплом, струящимся от камина, задумчиво глядела на дождь, который моросил вперемешку со снегом, на людей, спешащих по своим делам, на снующие туда-сюда машины. Камин был самый настоящий, в нём потрескивали дрова, чуть подальше прямо в зале жарились на вертеле цыплята, всюду была расставлена-развешана разная ненужная в городских условиях утварь: старые кофемолки, вилы, рыбацкая сеть, колесо от телеги, ржавый серп… Но во всей этой эклектике чувствовалась бездна вкуса, и Марина порадовалась таланту неизвестного дизайнера. И перевела взгляд на серебристый «Рено», который был припаркован на противоположной стороне улицы. Хорош! Но холодно ему, мокро… А тут тепло, будто и нет этого дурацкого промозглого дня. Или есть, но в другой жизни, от которой тебя отделяет окно…

Тут-то они и вышли из шикарного супермаркета. Там, за окном. Сначала она подумала, что ей привиделось. Но это только сначала…

Денис нёс два огромных фирменных пакета. А его спутница, молодая длинноногая особа, куталась на ходу в дорогой модный шарф. Да и вообще одета она была явно не с уличного базарчика. «Неплохой вкус, — отметила про себя Марина, чувствуя, как зачастило сердце. — Неплохой вкус у Дениса свет Иваныча».

Она с удивлением увидела, как он подошёл к багажнику серебристого «Рено» и стал укладывать

туда пакеты. «Интересное кино!—с недоумением продолжила молча комментировать свои наблюдения Марина.—Моя любимая модель. Сколько раз я просила его купить именно такую, а он всё отнекивался: подожди, не всё сразу. Наша старушка «Тойота» ещё ого-го! Теперь ясно». Обладательница модного шарфа по-хозяйски устроилась на переднем сиденье.

Марина залпом выпила кофе и выбежала на улицу. В двух шагах за углом стояла «шестёрка», которую она взяла у Ляльки на три часа, чтоб «проскочить» по делам, пока та грела свои косточки в сауне да «молодела» у косметолога. Управилась она на удивление быстро, полчаса хватило: все были на местах. И то… в такую погоду добрый хозяин собаку на улицу не выгонит.

«Рено» медленно катил по Благовещенке. Забавно, как меняется человек, когда меняются обстоятельства. Денис никогда не ездил медленно, а тут тащился, как черепаха. «Видно, его пассия не в восторге от быстрой езды. Да он, оказывается, послушный, вот бы не подумала…»

Марина познакомилась с Денисом на полуофициальных «Южных автогонках». Там каждый год собиралась занятная разношёрстная компания. Марина приезжала туда с отцом пять лет подряд в качестве его личного автомеханика и знала уже почти всех. Денис же в тот год попал на автогонки случайно, приятель пригласил. Новичок сразу же поразил ветеранов, никому не оставив надежды на главный приз. Поразил он и Марину. Причём тоже сразу. Через неделю она стала его женой. Такого в Шумихе, маленьком южном городке, в окрестностях которого проходили гонки, ещё не было: автогонки завершились грандиозной свадьбой. Это надо было видеть! Полсотни обшарпанных автомобилей съехались к местному загсу. Невеста в кожаных штанах, жених—в выцветшей футболке неизвестно какого цвета. Отец поглядел на молодожёнов и только махнул рукой: «Два сапога пара». И правда, они были похожи во всём. Даже внешне: оба высокие, голубоглазые. Красивая пара. И характерец у каждого—палец в рот не клади. Полутонов для них не существовало, всё—на полную катушку. И риск, и работа, и любовь…

—Дэн, если ты мне изменишь, я тебя убью,—сказала однажды Марина, перехватив взгляд мужа, который он случайно задержал на одной незнакомой девице.
—Отелло ты моё ненаглядное,—рассмеялся Денис, обнимая её.—Ты вонзишь мне в грудь ятаган? Или обольёшь меня ведром серной кислоты?
—Нет,—спокойно и серьёзно ответила она.—Моя месть будет скучной и тихой, но стремительной. Я не стану выяснять отношений.
—А потом ты убьёшь себя?—не принял её серьёзного тона муж.
—К чему эти дешёвые эффекты! Я буду жить.
—Без меня ты жить не сможешь, Марья, помяни моё слово! Мы будем жить долго и счастливо и умрём в один день при стечении многочисленных детей, внуков и правнуков. Уяснила? Только так. Вместе! Запомни это.
—Ага,—тут же забыв о своих ревнивых намерениях, благодушно согласилась она.—В один день. Вместе.

3.

Серебристый «Рено» медленно катил по Благовещенской. «Куда это вы, голубки, катите? Ага, на автостоянку… Странные манёвры… Паркуют «Рено» возле офиса, где работает Денис. Пересаживаются в его «Тойоту». Ну, конспираторы… пакеты не забыли перетащить. Денис сел за руль, и автомобиль рванул с места. О-о! Вот это уже знакомый почерк. Вот это скорость!»

Вскоре показались Графские Развалины. «А ты, Дениска, парень не промах. Теперь понятно, почему ты всё время задерживался—то работа, то халтура, то деловые встречи, то встретить партнёров, то проводить… Допровожался… Твоя, наверно, вся взмокла, пока ты её катил по Зигзагу Удачи. Не привыкла, поди, ещё? Или привыкла уже?» Денис обожает именно тут ездить, у них в трёх километрах отсюда картофельная «плантация» в пять соток, не признаёт он гладкой объездной дороги.

Она притормозила возле поворота: с пригорка отлично просматривалась дорога, ведущая к коттеджам. Снег как раз вдруг перестал падать, будто не хотел мешать Марине увидеть всё, что происходило внизу. Денис остановил «Тойоту» на вертолётном пятачке: на территорию Развалин машины без спецпропуска не допускались. Охранников не уговоришь. Богатые люди не любят неожиданностей, они любят предосторожность. Денис вытащил пакеты и побежал следом за своей спутницей к забору, окружавшему элитный посёлок. Вскоре они скрылись за воротами. И тут же повалил снег, облака потемнели, и казалось, вот-вот опустятся на землю.

…Марина подбросила на ладони дубликат ключей от «Тойоты» и резко открыла дверцу «шестёрки». Видимость была не более трёх метров. «Ну и погодка, будто специально»,—буднично подумала Марина и направилась к «Тойоте». Ей хватило десяти минут, машину она могла разобрать и собрать с закрытыми глазами, особенно эту. Она вернулась к «Жигулям» и как ни в чём не бывало покатила в город той же дорогой—по Зигзагу Удачи. «Поглядим, влюблённый чемпион, как ты справишься с технической задачкой, которую я тебе задала»,—молча улыбалась она, всматриваясь в почти несуществующую дорогу и пытаясь угадать, где кромка переходит в обрыв. Марина дождалась Ляльку возле сауны, они заехали на работу в свой автомагазин, выпили по чашечке кофе и разошлись.

4.

Похороны Дениса были на третий день. Марина не проронила ни слезинки. Она наблюдала за

происходящим, как зритель в кинозале наблюдает за тем, что происходит на экране. «Удивительно, как много народу пришло попрощаться с Денисом; я и не знала, что у него столько знакомых. Никого почти не знаю, а что странного… Мы же всё время проводили вдвоём. И нам никогда не было скучно. Мне,—поправилась она.—Мне не было скучно. А вот Денису… Впрочем, он тоже не скучал». В этот момент она увидела, как возле гроба появилась обладательница модного шарфа с двумя белыми розами. «Денис любил именно белые». Рядом с ней был какой-то симпатичный светловолосый парень. «Однако не сильно убивается наша Джульетта,—отстранённо, но чётко и почти спокойно подумала Марина.—И провожатого нового нашла. Всё правильно, у всех свои скорости». На поминках новой знакомой Дениса не было. «Логично: если нет объекта, зачем тратить время? Время—деньги».

5.

Через неделю после похорон длинноногая незнакомка со своим светловолосым спутником появилась в квартире у Марины. Увидев холодный удивлённый взгляд хозяйки, незваная гостья нервно поправила шарф и смущённо пролепетала, совершенно забыв, что Марина не знает и её саму:
—Это мой муж… Володя…
—Как, уже?
—Что—уже?
—Вы уже успели пожениться?
—Почему успели?—удивилась гостья и поёжилась.—Мы женаты десять лет. У нас уже четверо детей,—для чего-то уточнила она и совсем смешалась, встретив странный, мгновенно ставший леденящим, взгляд хозяйки. Но тут же объяснила всё свалившимся на бедняжку горем.
—Мы вам ключи принесли,—сказала она, протягивая Марине брелок-талисман Дениса.—Не стали сразу отдавать, подумали: не до того вам.
—Что это?—спросила та дрогнувшим голосом.
—Марина Владиславовна, мы сейчас всё объясним. Денис Иванович попросил моего мужа автомобиль подобрать. Чтоб непременно был «Рено» и непременно серебристого цвета. Он сказал: вам такой нравится. Машина на стоянке сейчас, рядом с Верещагинским сквером, знаете? Володь, ну объясни…
—Сюрприз вам хотел Денис сделать. Говорит, подгоню под окна в Маринин день рождения, выйдем утром, а я ей—ключи от серебристого. Вот, говорил, обрадуется. Всё торопил меня. Ну, я сделал. Для Дениса я в лепёшку. Он в тот вечер к нам домой приезжал за документами. Ещё с ребятнёй повозился. Мы, говорит, с Марьей вас перегоним, у нас семеро будет,—Володя осёкся, поглядев на Марину.

Она едва стояла на ногах, и лицо её было белее мела.
—Так, значит, сюрприз,—каким-то неживым голосом произнесла она и прислонилась к стене.

Сердце бешено колотилось. Всё вдруг заволокло сероватой пеленой. Марина успела услышать голос: «Володя, врача скорее!»

«Зачем врача?—подумала она удивлённо.—Ведь я уже умерла. Денис, как всегда, оказался прав. Вместе. Почти в один день. Никто так и не понял, почему он погиб. Глупые, они решили, что он не справился с управлением. А он просто не смог справиться с моей технической задачкой, с моей тихой местью. Я убила его. А потом—себя. Он был прав, мне без него не жить». Марина подумала об этом с обречённой лёгкостью, подумала и провалилась в темноту.

Она ещё не знала, что до смерти ей карабкаться целых десять лет, потому что её спасут, но она останется калекой. Впереди её ждала почти полная неподвижность. Родители перевезли её к себе и заботливо ухаживали за ней, жалея и восхищаясь тем, с каким мужеством она переносила несчастье. Мама иногда горестно вздыхала: «За что? За что Ты её наказал, Господи?»

Марина знала ответ на этот вопрос. Она отбывала наказание за свою тихую месть, за убийство горячо любимого ею и столь же горячо любившего её мужа. За убийство—на почве ревности.

6.

«А что, можно при́нять за основу, как говорят слуги народа,—решила Марина.—Сюжет надо развить, наполнить деталями, напустить туману, кое-какие личные моменты подкорректировать, имена главным героям заменить. Денис вечно сердится, когда я ему пересказываю свои заготовки, проецируя их на нас. Нет, в плохой погоде есть свои преимущества, она способствует творчеству. Надо будет заскочить в редакцию, забить место в мартовском номере альманаха…» Марина посмотрела в окно. Дождь хлестал какой-то киношный, будто с десяток ассистентов поливали улицу из мощных установок, устроившись где-то на крыше юридической академии. Марина уже собралась уходить, как увидела Дениса. Он выходил с двумя пакетами из супермаркета напротив. Рядом с ним беззаботно шагала длинноногая девушка, а он что-то говорил ей. Они то и дело останавливались и смеялись, глядя друг на друга, не обращая внимания на хлеставший дождь. На незнакомке было дорогое пальто и умопомрачительный шарф. Они подошли к серебристому «Рено»…

Вероника Шелленберг

Сумеречный пейзаж

Паганель быстро шёл через площадь. Руки в карманы, узкое пальто застёгнуто доверху. Был как раз тот невнятный момент зимнего утра, когда небо и снег монотонно бледны. Дома как будто не имеют объёма и веса, темнея картонными декорациями. Фонари погашены, огни магазинов ещё не зажжены.

Паганель — эта кличка пристала к молодому человеку со школы скорей за рассеянность, чем за круглые очки. Впрочем, здесь, в чужом городе, её никто не знал. Время от времени он сам укоризненно одёргивал себя: «Эх, Паганель, Паганель!» — когда, вот как сейчас, вспомнил, о чём забыл. Тетради с конспектами на работе забыл! Так и лежат они, открытые, там, на столе, возле пепельницы и стакана, у окна с видом на парадное крыльцо, ограниченное двумя рядами перил — для взрослых и детей.

Вернуться?

Он остановился, разглядывая памятник в центре площади. Что-то изменилось со вчерашнего вечера… Ну конечно! Снег, сливаясь с небом, покрывал голову, плечо и приветственно вытянутую чугунную руку так, что казалось: человек с раскроенным черепом прицеливается из нагана.

Паганель поёжился и опять зашагал к остановке.

В троллейбусе он дремал, примерзая лохматой шапкой к стеклу.

Паганелю снился белый слон. Слон шевелил ушами, а рядом качался большеголовый медведь. Они уменьшались, приобретая черты плюшевых игрушек, и плавно выплывали в окно, а сам он, бегая по коридору, ничего не мог с этим поделать. Не мог поймать, остановить, хотя лично отвечал за них, вплоть до вычета из зарплаты, до увольнения из детского сада, где служил ночным сторожем, на самом деле служил с прошлой весны.

Подходящее занятие для лодырей, пенсионеров и студентов. Особенно студентов приезжих. Ко второму курсу Паганель прочно обосновался там, появляясь в общежитии редкими набегами.

Троллейбус тряхнуло, спящий приоткрыл глаза и… *Она* стояла, взявшись за поручень, в профиль к нему. Её лицо резко выделялось на тусклом фоне пустого троллейбусного нутра.

Лицо! Вот что поразило его, застав на границе яви и сна. Оно как бы светилось изнутри, сокровенное, не тронутое косметикой, чистое лицо.

Позже он, как ни старался, не мог восстановить в памяти ни силуэта её одежды, ни даже остановки, где вышла она, — ничего! Только то, что для полноты нахлынувшего умиротворения ему недоставало разглядеть цвет её волос…

Её лицо…

— Куда прёшь, идиот?!

Скрежет… Удар в рёбра… Удар изнутри ошарашенного пульса. Чьи-то руки поднимают, встряхивают… Голоса…

— Что с вами, молодой человек? Всё в порядке?

Паганель очнулся на обочине дороги. Над ним склонялись, что-то говорили, ощупывали голову, одёргивали пальто.

— Вас чуть машина не сбила. Вы сердечник? Скорую?

— Всё нормально… я что, я что, на красный? Спасибо. Вот моя общага.

Он кивнул в сторону четырнадцатиэтажной «свечки», размыкая кольцо чужих заботливых рук.

Прошло несколько дней. Не то чтобы он думал о ней постоянно, но, копируя очередной учебный чертёж, машинально направлял стрелку вектора в сторону, куда был обращён её воображаемый профиль.

Проверив сигнализацию и погасив свет во вверенном ему детском саду, он ложился на узкий диванчик и подолгу смотрел в окно. Молча, без всякой цели. Следил, как сумерки разрастаются, грузнеют, жируют там, за окном, как бы высасывая сочность цвета из его комнаты.

Пейзаж на противоположной стене постепенно тускнел, пока только рама, ставшая чёрной, не отделяла его от угасающих обойных цветков.

И тогда Паганелю снова являлось её лицо, тихо светящееся, как будто само по себе. И как, выходя, она оглянулась, окатив его тёплой волной счастливо-невидящего взгляда.

Он не пытался её разыскать. Может быть, потому, что не очень-то верил в реальность той встречи.

В день весеннего солнцеворота они разминулись опять.

Конечно, о переводе часов он спохватился со злорадным звоном будильника. На бегу наматывая шарф, прыгнул в первую попавшуюся маршрутку — конечно же, не свою. Выскочил, протаранил толпу, на мгновение замер, взъерошенный, озираясь в поисках перехода, и увидел её.

Было восемь — а на самом деле семь — часов вечера. Ничто не предвещало весны. Полуснег, полуслякоть, серо-бурая кашица, поток пешеходов часа «пик»… и вдруг — она.

Она?

Как он узнал её, если эта стремительно шедшая женщина, резкая, остро блестящая лаком, кольцами и ещё бог знает чем, несла ресницы далеко

впереди потаённых зрачков? Как, если всё это пёстрое роскошество пролетело быстрей истребителя, как? Шестым—или двадцать шестым—невостребованным чувством он вроде бы распознал тот самый тихий свет изнутри зашторенного лица. Или нет? Волнение и тут же—разочарование ошеломило Паганеля. Казалось, время застопорилось, остановилось, поперхнулось самим собой, как его древний песочный эквивалент, тонко сдавленный талией стеклянных часов…

Он смотрел, как женщина входит в массивные высокие двери. Видел каждый завиток на закрывающихся дверях. Вывеску слева: «Картинная галерея „Золотой дракон“». «Надо же, чего только в этом городе нет!»—пронеслось в голове.

Да, разочарование застигло Паганеля врасплох, как нелепая поза в игре «Море волнуется раз…».

Не такой представлялась эта женщина, словом «женщина» даже не обозначенная, но уже успевшая исподволь посягнуть на место бестелесного божества, слушателя по умолчанию. До этой минуты он даже не подозревал о важности её существования в собственной душе.

…и ещё досада. На неё, на самого себя, досада за то, что вся эта глупость имеет для него какое-то значение. А что было-то? Ничего не было. Вот конспекты чужие, не читанные—есть. Пиво, оставшееся со вчерашнего вечера… Выдохлось, ну и чёрт с ним! Ночь, особенно тихая в пустом детском саду.

Не включая свет, он принялся бродить по коридорам, потом—перепрыгивать через лунные квадраты, с разбега, всё быстрей и быстрей.

Взбежал по лестнице на второй этаж, круто развернулся—и опять на первый. Подчиняясь какому-то первобытному восторгу от ощущения собственных сильных молодых рук, подпрыгнул и повисел на верхнем выступе дверного проёма. Раскачался, соскочил, мягко приземляясь на четвереньки и опираясь на кулаки, проскакал по коридору…

И стало легко. Оттого, что запросто можно раскинуть руки и пройтись колесом. Выбежать во двор, где ещё не растаял последний снег, резко вдохнуть колючего ветра. Без соглядатаев, один на один с этим миром, потому что—конечно, конечно, конечно, и он так решил и поставил точку,—это была не она!

Следуя собственной грамматике, утро продлило точку до запятой.

Или она?

Будто бы случайно, он бродил по городу в направлении «Золотого дракона». Сам старательно не думал ни о ней, ни о чём другом, совсем ни о чём, особенно когда потянул-таки на себя причудливую ручку двери.

В галерее пахло краской. Но это была не та едва уловимая смесь, исходившая от живописных полотен, приправленная льняным маслом и устоявшаяся, как благородное вино.

Просторно и просто несло водоэмульсионной. Белые стены, уже подсохшие, были пусты. Поперечные белые перегородки улыбались тоненькими, прикреплёнными у потолка бечёвками, на которые вскоре навесят картины. Эхо Паганелевых шагов ясно отразилось, усилилось и заставило его остановиться. Свежая, сверкающая пустота будто бы ждала его одного, чтобы тут же нарушиться стремянкой и человеком в спецовке, сиплым басом: «Отсюдова давай натягивай», ещё одним рабочим с картиной наперевес, обращённой к Паганелю тыльной, безликой стороной. Тучной дамочкой с блокнотом—и ещё…

Она стояла, и снова—в профиль к нему, разглядывая нечто, скрытое от Паганеля белой перегородкой. Он как-то сразу увидел её всю—тонкую фигурку, от задумчивости сутулую, тонкую кисть, упёртую костяшками в подбородок. Тонкий. Бледность лица, сначала—всё-таки бледность лица, почти прозрачность рядом с рыжими волосами. Рыжими. Такими, что медь и бронза пели в них обнажёнными струнами фортепиано, текучими почти до локтя. А локоть уже приходил в движение, и вся она, следуя за рукой, исчезла, будто бы белый свет поглотил её.

На самом деле она просто вошла в неприметную дверь, предоставив Паганелю сколь угодно долго перечитывать надпись «Служ…ное» с известковой кляксой посередине.

Вскоре похожими кляксами расплывались в его глазах цветы, когда, протирая очки шарфом, он уже тяготился минутным своим порывом купить незнакомой девушке какую-нибудь розу, или что они любят, эти незнакомые девушки?

Вечером сыпанул мокрый снег. Некоторое время помаявшись возле парадного, молодой человек подошёл к служебному крыльцу. Сумерки, особенно тусклые на задворках, углублялись в парк, где кособоко торчали две-три отсыревшие скамьи.

Наконец девушка вышла. Паганель—за ней.

Она ускорила шаг, Паганель не отставал.

Она почти побежала, шаря в сумочке, бившей по бедру. Он—за ней, засунув руку за пазуху. И тогда она резко остановилась и обернулась, глядя на своего преследователя в упор.

Он тоже, как будто стукнувшись о невидимую преграду, застыл, всё ещё держа руку за отворотом пальто. Какое-то время они смотрели глаза в глаза. Она—со страхом, он—с ужасом не меньшим, порываясь бежать, быть может, сильней, чем она.

— Это вам…— Паганель медленно извлёк из-под пальто помятую веточку белых хризантем. Девушка не шелохнулась, только зрачки её расширились ещё больше, потеряв даже осмысленное выражение страха.

Одни во всём промозглом парке, девушка и Паганель стояли друг против друга. Мокрый ветер выбил её рыжую прядь, метавшуюся теперь меж ними огненной полосой.

С трудом, как на глубине, Паганель протянул цветы и, не встречая ответного жеста, выронил к её ногам. Она всё так же стояла, окаменев.

Тогда он повернулся и побежал…

— Так ничего и не сказала?

— Нет…— Паганель стоял в своей комнате, глядя в непогодное окно, с трудом поддерживая разговор

со своим соседом и уже сожалея, что рассказал про Неё.
— Может, она какая ненормальная? Анекдот знаешь? Догоняет маньяк девочку в тёмном закоулке, а она вместо «Караул!» с перепугу «Ура!» закричала. Так он сам сбежал!.. Ладно, ладно! Это я так… И, между прочим, друг, нормальные бабы делают всё гораздо лучше…

Тот молчал, глядя на дождь. Приоткрыл форточку, и шум дождя влетел в комнату вместе с весенней свежестью, чтобы хоть немного разогнать застоявшийся запах дешёвого курева, нестиранного белья и того кондового сиротского духа, которым насквозь пропитаны общаги.

Сосед кое-как приводил в порядок жилище, шарил по углам в поисках веника и вдруг спросил как бы между прочим:
— А что ты не торопишься?
— Куда? — Паганель даже не оглянулся.
— Как куда? На работу.
— Сегодня нечётное.
— Разве? Вторник… среда… четверг… точно! Седьмое! — сосед загибал пальцы, куря и роняя пепел куда попало. — Да, засада… А я уже Маринку позвал!
— Я всё равно хотел пройтись.
— Да ладно тебе… посидим в тепле, портвейна возьмёт!
— Нет, я всё-таки пойду.
— Надолго?
— Успеете.

Через несколько минут, уже основательно промокший, Паганель стоял под навесом остановки, соображая: а куда же, собственно, податься? После лихорадочного бегства в парке прошло три дня. И вдруг он ясно понял, что если не найдёт эту девушку сейчас, то вряд ли уже отважится.

И вот такой, какой был: небритый, в «домашних» джинсах, да ещё вымокший насквозь, — он отправился в галерею. С мрачной решимостью снова остановился среди картин. Здесь многое изменилось: строительный мусор исчез, картины развешаны, и маленькие бирки с названиями латунно засветились под каждой из них.
— Молодой человек, вам кого? — та самая грузная женщина уставилась на Паганеля весьма неодобрительно. — Открытие не сегодня!
— Мне… тут у вас работает одна… — он мучительно пытался подобрать слова: «рыжая»? Грубо… «милая, тонкая» — язык не поворачивается произнести… — мне нужно ей передать…
— Так вы из экспресс-доставки? Почему так поздно? За что вам только деньги платят! Идите во вторую секцию, там найдёте. Слышите, стучит? — и она махнула рукой куда-то в глубь галереи.

На этот раз девушка сидела на полу, что-то приколачивая к перевёрнутой раме, лежащей перед ней. Волосы собраны в пучок, джинсы перепачканы краской, молоток смешно подпрыгивает в руке.
— Здравствуйте… — еле выдавил из себя Паганель, глядя на неё сверху вниз.

Она подняла глаза, ясные печальные глаза, и он почувствовал, как сердце его ухнуло, а потом подпрыгнуло до самого горла.

Она медленно положила молоток, медленно поднялась, всё так же продолжая смотреть на него.
— Вы неправильно меня поняли! Я, наверно, напугал вас? Три дня назад, в парке… Простите! Я просто хотел…

Молчание.
— Как вас зовут?

Она показала рукой на табличку под одной из картин. Он прочёл: «Энц Марта… Сумеречное озеро… холст, масло. 80/56».
— А меня — Саша. Так вы… простили?

Она наклонила голову и улыбнулась одними глазами.

— Марта! Верёвок достаточно? — женщина, встретившая Паганеля в дверях, выскочила, как чёрт из табакерки.
— Каких верёвок? — отозвался он, недоумевая.
— Тонких, белых, армированных! Где заявочный бланк?

Он не понял, он растерялся. И тут девушка взмахнула рукой, тонкие пальцы её задвигались, делая какие-то знаки, прикоснулись к груди и замерли снова.

Женщина смягчилась:
— Что же вы сразу не сказали, что лично к Марте?.. Ладно, пойду ждать курьера, надо заканчивать… — и оставила их.

Паганель опять обернулся на девушку и вздрогнул от её потустороннего взгляда, каким в последний момент, бывает, обмениваются сквозь вагонное стекло, зная, что расстаются.
— Вы… — он хотел сказать «немая», но замялся.

Выждав несколько секунд, Марта спокойно кивнула в ответ.
— Ну, слышите-то вы меня хорошо?

Она кивнула опять.

Никогда ещё собственное молчание так не досаждало Паганелю. Заблаговременно придуманное: «Интересно, а вы рисуете? А что делаете, когда не рисуете — сегодня вечером, например?..» — отпадало само собой. Все эти «какие красивые у вас глаза» улетучились, и он уже не соображал, что и зачем говорить. Да и нужно ли? Может, лучше извиниться и уйти? Подумаешь, недоразумение… «Так вот почему она тогда испугалась — просто не смогла бы закричать, если что!» — эта мысль как молнией обожгла его. Тогда он опустился на одно колено, поднял молоток и, глядя на неё снизу вверх, спросил:
— Где прибивать? Давайте, Марта, я…

В общагу он вернулся уже затемно. В комнате — дым коромыслом, музыка. Марина устроилась у своего друга на коленях, хохоча и что-то сумбурно рассказывая, поминутно вставляя: «Правда, Славик?» — а тот, обнимая, улыбался ей в шею.
— О! Сашенция! Где был? Тебе остался только чай! — Марина пошарила на столе, среди разнокалиберных кружек. — Нет, вру, и чая не осталось… Мы неплохо посидели… правда, Славик?
— Ничего не нужно… проветрили бы…

Паганель сбросил плащ и вышел в коридор. Эта давняя знакомая и неплохая, в общем, девчонка

показалась ему такой громогласной и суетливой, что хотелось выключить её, как надоевшую лампочку. Сам факт того, что женский рот—это инструмент для болтовни, стал ему неприятен.

Он молча курил на лестничном пролёте, вспоминая, как вёл Марту под руку, а дождь постепенно прекращался. Как они сидели друг против друга в кафешке и она пила кофе маленькими глотками, отчего губы её потемнели. Он что-то начал о себе рассказывать, потом замолчал, созерцая её тонкие руки, проворно ломавшие шоколад. Она даже смеялась беззвучно… а после достала потёртый блокнот, и они, как школьники на контрольной, обменялись самым главным: «Я в «Драконе» каждый день».—«Я могу тебя встречать?»—«Да. А наше открытие в следующую среду. Моих картин там только две».—«У тебя есть телефон?»

— Извини, глупость сморозил!—и Паганель смял бумажку.—А я ведь видел тебя ещё зимой, в троллейбусе… Ты ехала вся такая светлая… Нет, я не спрашиваю откуда! Потом ещё раз… Марта! Послезавтра я зайду за тобой? Завтра у меня дежурство.

Она слегка прикрыла веки, и он увидел, как влажно сверкнули её глаза.

До этого «послезавтра» он ни о чём не мог думать, только о ней. Марта как будто заполняла изнутри всё его существо, но уже не бесплотным видением. Ему хотелось прикасаться к линии её волос, вдыхать запах лета, исходящий от них, так, чтобы щекотало ноздри. Это наваждение—но от её рыжих локонов действительно пахло чем-то цветущим, солнечным, ярким.

«Марта!»—ему пелось её имя, и он едва дождался конца учебных пар, чтобы помчаться к ней.

И в этот, и в следующий, и в следующий раз—всё было как одно длинное свидание, постижение по нарастающей…

Вот они снова попали под дождь, который, казалось, специально выжидал, чтобы загонять их в кафе, под крышу или просто под козырёк подъезда. Привести Марту к себе Паганель не решался, а напрашиваться в гости вообще не мог. Он знал о ней до чрезвычайности мало: что немая она с детства и исправить этого нельзя. Что в городе совсем одна и тоже живёт в общаге, только «на птичьих правах». Но зато он помнил, как меняется выражение её лица от тихой радости до удивления, от ироничного до серьёзного. Как завиваются её волосы, намокая под дождём…

Дождь!

Паганель, обнимая, прижал её к себе, целовал милое мокрое лицо, полуприкрытые глаза с сумасшедшинкой, замёрзшие пальцы, движения которых он уже начинал понимать. Нежность и жалость к этой маленькой—почти девочке—затопляли его целиком.

— Скажи мне что-нибудь, радость моя, на своём языке!—просил он, вглядывался в жесты и тут же опять начинал целовать её.—С этим надо что-то делать, Марта! Давай завтра после вашего открытия поговорим… мне нужно кое-что сказать тебе… Хорошо?

Она уставилась ему в глаза серьёзно, неотрывно, с такой сосущей душу тоской, что Паганелю на миг померещился серебристо-серый каменистый откос, по которому тоже хлещет дождь. Вода извилистыми струями стекает в чёрное озеро, покрытое мелкой дрожащей рябью. И ни человечка, ни лодочки—только берег отвесный и вода. И холодно до озноба. И небо—серое, текучее, как ртуть, на фоне которого торчат островерхие ёлки… Всё это привиделось ему моментально, но тут она поцеловала его жадно, глубоко, и видение исчезло, чтобы на следующий день явиться с потрясающей ясностью.

Проталкиваясь в пёстрой толпе гостей—художников, фотографов, журналистов и просто любителей дармового шампанского, именующих себя, однако, «богемой»,—Паганель отыскивал Марту. Её нигде не было. Он подошёл к её картинам. Да… «Сумеречное озеро» и ещё какое-то странное место с мостиком через ручей и развалинами на заднем плане. Ему показалось: вот он сейчас обернётся, а она стоит рядом и тайком наблюдает за его метаниями. Но нет! Заставив себя успокоиться, он вышел на крыльцо и принялся ждать там. Потом не выдержал, забежал обратно: вдруг она прошла через служебный? Наткнулся на хозяйку галереи, ту самую, требовавшую от него верёвки.

— Скажите, а Марта где?

— Подождите, пожалуйста! После!—хозяйка тут же переключилась на гостей.

Но он буквально одёрнул её за рукав:

— Прошу вас! Где Марта?

Та, светски улыбаясь кому-то из приглашённых, отвела Паганеля в сторону:

— Как вас, я забыла, молодой человек?

— Александр.

— Видите ли, Александр… Марты не будет, но она оставила для вас письмо или что-то в этом роде. У меня в кабинете, на столе. Я сейчас чрезвычайно занята. Зайдите после официальной части. Вы знаете куда?

И, не дождавшись ответа, она смешалась с толпой.

Тем отрывистым почерком, которым поверх карандашных набросков Марта писала ему в блокноте: «Да, приходи!»—теперь значилось: «Саша! Не могу я тебе жизнь осложнять. Прости. Желаю тебе добра. Не надо меня искать. Марта».

Он не понял, он перечёл ещё раз, стоя в желтушном свете фонаря.

«Так!—подумал Паганель.—Это что ещё за фокусы?» Он попытался себя убедить, что это одна из её странных выходок, игра, вроде той, в которой Марта одевалась и красилась нарочито ярко, дабы молчание расценивалось как пренебрежение к окружающим, а не ущербность.

Паганель поспешил туда, куда провожал её вечерами,—к общаге на другом конце города, но вдруг видение последней встречи воскресло в нём с пугающей ясностью. Как будто он шёл не улицей кривобокой, а берегом озера, и вместо городского вечера, запятнанного вспышками реклам, видел

сырое серое пространство, покрытое клочковатым туманом.

Почти бегом поднялся он по ступеням, вошёл, остановился возле вертушки. Сонная вахтёрша равнодушно сказала:

— Пропуск.

— Мне нужно знать, в какой комнате живёт Марта Энц!

— Уже одиннадцать, я вас всё равно не пропущу.

— Мне просто нужно знать, что она здесь, пожалуйста!

Вахтерша полистала свою «амбарную» книгу с начала до конца и с конца к началу:

— А у нас таких нет.

— Не может быть, вспомните! Она рыжая, маленькая, и… она немая! Вы не можете не знать!

— А я с ними не разговариваю! И крашеных здесь хватает. А кто-то вообще живёт не прописываясь — как уж они просачиваются, я не знаю…

— Ну, можно, я пройду по комнатам, спрошу — может, она действительно так, у кого-то…

— Тебе что, предлог нужен, чтоб на ночь пробраться? А ну-ка убирайся, пока я охрану не позвала! — в своей стеклянной будке вахтёрша грузно поднялась и встала в стойку, как старая собака, учуявшая наконец вора.

Паганелю ничего не оставалось, как уйти.

Ночью он почти не спал. Мысли, одна нелепее другой, лезли в голову, скреблись, как слепые котята в коробке, разбегались, исчезали в сигаретном дыму. Наконец он уснул под утро, провалился в серебристый сон. Снилось ему, что он медленно плывёт на спине, раскинув руки, по спокойному озеру, только что после дождя. Небо ещё не прояснилось, но приподнялось. Берегов не видно, да и не хочется поворачивать голову, чтобы разглядеть какую-то твердь. Холод воды проникает внутрь, а это не страшно. Там, во сне, хочется закрыть глаза, чтобы полнее ощутить озёрную глубину, где бесшумно скользят огромные серебристые рыбы…

Утром он уже точно знал, что должен сделать.

Сперва — в галерею. С чего это он вчера так размяк, не попытался даже узнать подробности? Марта ведь там работала, значит… Однако разговор с хозяйкой оборвал эту нить.

Да, она действительно брала Марту зимою и в этот раз — оформлять выставки, но…

— Вы же разумный человек, понимаете, устрой такую официально, и что случись — вовек не расплатишься! Тем более, она хотела пристроить для продажи свои картины, а это и нормальному непросто… И знаете… мне кажется, что «Марта Энц» — псевдоним. Тогда, зимой, она пришла с несколькими этюдами и запиской, что не может уже на «швейке»… Постойте, у меня где-то завалялся этот листочек!

Хозяйка долго шарила в недрах стола.

— Нет… не нашла. Но суть в том, молодой человек, что Марте надоело пришивать пуговицы вместе с глухонемыми, — хозяйка строго взглянула на Паганеля, который, потеряв дар речи, стоял перед ней, комкая в руках шарф. — Вот так! Марта просила взять её без всяких условий. А потом — кое-какие этюды продались. Она уехала и — приехала снова.

— А те две картины… эти… «Озеро» и… — Паганель услышал свой голос как будто со стороны и не узнал его — так глухо он прозвучал.

— Эти проданы уже, но оставлены до конца выставки. Марта позавчера забрала за них деньги… Может, вам действительно не искать её?

Паганель брёл по городу, не разбирая дороги. Жизнь Марты вдруг представилась ему совершенно в ином свете. Как же она, должно быть, хотела стать как все! Что это вообще значит — молчать всегда? Молчать, когда хочется петь, шептать, кричать, звать по имени… Да просто переброситься с другом парой ничего не значащих фраз.

Почему, почему она решила, что отяготит его своей будничной жизнью? Может быть, потому что он, глупец, только и делал — смотрел на неё да целовал? Порхал на крылышках счастья… Но ведь он как раз таки и собирался сказать… А в том, что и она любила его — он не сомневался.

И где теперь искать её? Как? Энц… Энц… уравнение с одними неизвестными. «Эн! — Паганель даже остановился от столь явной, нарочитой очевидности. — Конечно, это не настоящее имя…» Ему хотелось закричать во весь голос: «Марта! Марта!» — но, может, она и не Марта вовсе… Тогда, обессилев, он прислонился к стене какого-то дома и долго стоял так, машинально провожая глазами редких прохожих. И подумалось ему: Марта перед всеми, а он-то перед самим собой напяливает ненужную, случайную, дурацкую маску — глупое прозвище «Паганель»! Зачем?

Разбор, «демонтаж» выставки — это как развоплощение новогодней ёлки. Ещё вчера светилась и радовала, а сегодня всё пёстро-яркое так поделовому чётко-быстро упаковывают и прячут, освобождая белое пространство. Саша отстранил табличку «Выставка закрыта», опять подошёл к «Сумеречному озеру». И не он один: пейзажик с мостом уже снимал со стены бородатый, юркий мужичок в растянутом свитере — по виду никак не скажешь, что меценат или коллекционер изящных искусств.

— Почему вы купили её? — тихо спросил Саша — действительно хорошая живопись? Цветколорит?..

— Что вы, обычная пленэрная работа, не хуже и не лучше других… но… знаете ли… — мужичок бросил довольный взгляд на своё приобретение, погладил шершавые мазки на «развалинах», — я в этих башенках в детстве в казаки-разбойники играл! — он глянул на Сашу с каким-то мечтательным, благожелательным озорством. — Представляете, я в вашем городе случайно, проездом, как всегда. Захожу на выставку — от дождя: ба! Знакомый сюжетец! Присмотрелся — точно. И мост горбиной, и «бойницы» — так мы их называли. Если продолжить вправо — там наше село… Я когда с художницей… объяснился… действительно, она — из этих мест. Наша! Чему вы так улыбаетесь, молодой человек?

Дмитрий Шабанов

Играющий в дождь

* * *

Даже чернила теперь высыхают скоро.
Мы рвались в новый день, но вот и он—не подарок.
Вокруг наших кресел—шкурки стихов и корок,
В цветочном горшке—запущенный томагавк.

Вот долгим молчанием кончающаяся баллада.
Вот мудрый Баян сквозь струны просунул пальцы
И там их смежил;
не бывало такого блата,
Чтоб сразу—и в пропасть, и в сон,
Без огня, без сальца.

* * *

А то, что блеснули, как бусинка под водою…
Ну, вот наш талант—игуменьей у порога
Стоит и глядит далёко, зарос корою,
Всё что-то талдычит про смерть, про вину, про Бога,
А шагу ступить не может. Его отрепий
Ни ветер не трогает, ни веночки гнуса…

На днях я купил большое-большое кепи.
Уткнёшься в него—и думаешь: «Задохнуться».
Сожмёшься, исторгнешь воздух секунд на десять,
А после не выдержишь, пустишь в себя махину,
И запахи пыли, материи, прочей взвеси,
И мелкую злобу на Духа, Отца и Сына.

Окно, открытое на́стих

Объятья сомкнулись, и время
отвело объектив…
П. Кондаурова

Слишком много греков. Везде. «Одиссей—Телемаку».
Море. Гомер. Горбоносые прод.улыбки,
Кромсающие тела, но завёрнутые в бумагу,
Безобидные, как посылка. Год из года
Уплывают корабли покойного Мандельштама
(Да святится ему там, где штиль—как воздух)
Прямиком на загородную пилораму,
Чтобы стать предметом бытовых удобств.
Ну и ладно. Я больше не хочу слышать: Минос.
Греция—всего лишь туристическая открытка.
Я собрал весь сор в квартире и вынес
В кухонное окно, на случайно идущего.
А в окне небес—первоцветы хлипкие.
Журавль, закованный в колодца колоду,
Дребезжит на ветру, но летит как роза…
А идущий отряхнулся—и правильно сделал.

Играющий в дождь

Этот человек мне видится перед дождём—
Первая скрипка его оркестра—
Не отрывая глаза от текста,
Мы мимо него, копошась, идём.

Что-то, не пыль, по земле влачится
Тихо, ухабами, душным взглядом;
Произрастая, как смерть из яда,
Он начинает велеречивость.

Мокрый, кусками сырой одежды,
Пятнами, выливши всё в игру и
Гладя смычком не струну, а струи,
Он разглашает своё арпеджио.

Виснут, звенят, барабанят…
Жизни
Прибило к земле, хорошо и чисто.
Я надышал на стекле кружочек.
Мне не ведомо,
Кто играет листовым железом
Весны…

* * *

Питер. Вечер, проникший в пространство,—
Им запятнан фасад до угла;
Так ты бродишь, как будто Констанция
На руках у тебя умерла.
Так ты бредишь галантностью фетровой,
У ларька опершись на пешню…

Невесёлое это поветрие—
Я и сам каждый день хороню
Часовых из походного лагеря
Ратных мыслей, упавших с вершин.

И хожу—там, где вышел Балакирев,
И живу—там, где умер Гаршин.
И хочу, чтобы в сумрачь облезлую
Был последний убит часовой,
Где трамвайные полосы врезаны
В заскорузлую грудь мостовой;

И когда в тормозном своём дебете
Ход машины заглушит шарнир,
Прокричат надо мной мои лебеди,
Подо мной засмеются они.

Вставший в шесть тридцать
Может пойти побриться,
Может курить натощак, склеивая ресницы,
Всовывая свой лик в опахало дыма,
Словно в Туринскую плащаницу,
Или жевать не подогретый шницель;
Может считать, что всё это ему снится:

Пустопорожний стакан,
окроплённый вчера «Мягковым»,
Будущее под судорожным покровом
И разговоры о праздном и пустяковом
С Её благородным лицом и его—бестолковым.

И всё-таки дай ему, Господи, Божьей кары,
Ибо готов добровольно уйти в татары,
Рушить и жечь, в неверных палить дуплетом,
Лезть в петлю века, с оскалом боеголовок
Уничтожаться, тиранить живое слово,
Только тихонько,
пока Она спит
при этом.

Палинодия

Кубок лампы опрокинут, и вылит свет,
На полу скатавшийся тёплой лужей.
Я с ним больше не знаюсь:
Да здравствуй, Сет,
Повелитель Тьмы! и прощай, мой Лужин
Беззащитный… слово как кабала.
Я не знаю номера, я—который…
И висят летучих мышей крыла,
Перепонками продолжаясь в шторы;
И мне страшно от этого—и смешно:
Вот слетят они—занавес бухнет разом,
И увижу, как ночь залетит в окно,
Раздавив меня колесом КамАЗа.

Александр Брюханов

Миниатюры

Души прекрастные порывы

—Что ни говори, а жить можно. Можно, например, открыть ларёк и начать торговать пивом—мечта всей трети прогрессивного человечества семидесятых годов.
—А налоговая, а санэпидемстанция, а пожарные?..
—Ну, тогда можно устроиться в какую-нибудь инофирму и получать огромные деньжищи…
—Огромные деньги наверняка преступны, а там суд, этап, лагеря…
—Ну, можно в салон красоты устроиться—красота.
—А девочки, болезни, наезд, а стрельба, а жертвы…
—Тогда можно устроиться налоговым инспектором и самому зарабатывать себе на хлеб на заднем сиденье «Мерседеса».
—А взятки, ОБЭП, засада, понятые…
—Ну, тогда, в конце концов, можно же и на завод устроиться по специальности. Там постоянно кто-то требуется.
—Это вечные невыплаты, чувство рыбы на крючке, нервы, лекарства, больница.
—Ну, уговорила. Будем продолжать жить на пособие по безработице и собранную стеклотару, тем более нас никто никуда и не возьмёт в таком виде…

Метаморфозы

И стали валютчики начальниками обменных пунктов, бандиты стали охранниками, аферисты банкирами, воры инвеститорами, квартирные маклеры риэлторами, кидалы руководителями благотворительных фондов, грабители агентами по недвижимости, шулера владельцами казино, уличные гадалки предсказательницами.

Все остальные до сих пор остались на своих местах.

Расценки

Если вы решили заняться сельским хозяйством, то:

За бутылку водки вам вскопают на участке всю землю, включая ту, на которой стоит дом.

За две бутылки вина привезут навоз и завалят им всё и вся.

За большую и маленькую посадят картошку.

За жбан пива в засушливое лето пригонят поливальную машину. За пару кружек сверху польют огород.

За пол-литра всё окучат, и с них ещё кружка пива сдачи.

Впрочем, если вас больше интересует результат, а не процесс, за два литра спирта вам привезут весь урожай с огорода соседа…

Дмитрий Чернышев

Пропадают коты!..

Ор. № 09.009 «Музыка на воде»

лодка чуть покачивается на воде
от нашего дыхания, от биения сердец

— Не бойся: это всего лишь мой сон!..
а лодка — хоть и прозрачна, но так прочна
призрачна?. . .Да
Так войди же в мой сон: я крепко держу весло
мы летим

…крошечные серебряные уклейки в воде
а может быть — это звёзды, дрожащие звёзды

Если всё-таки страшно, закрой глаза,
чтобы не видеть, как весло
окунается в Млечный Путь, светящийся,
словно твоё тело

вот-вот — и мы будем на острове, и я покажу
тебе
мой любимый фонтан:
«Девушка, вытряхивающая воду из уха».

Ор. № 10.235

маленькая, мы же всегда…
да, я погибаю

цыгане украли цепь, сдали в металлолом,
баня сгорела,
рухнула крыша над гульбищем

маленькая, мы же всегда…
да, я погибаю, я не умею мечтать

совершил возлияние
над могилой
моего пса,
где-то там его косточки
и никелированный ошейник шипами наружу

маленькая, мы же всегда…
. . .
да, я погибаю,
ведь я — не умею мечтать,
я не умею любить

торчат две берёзы

это было… дней назад

посвящается Д. С.

несколько сломал
несколько — не случилось
сосед сказал: «ливень — не
реальный»

это беды любви
это — ты

«Балтика» б/н

Давай
поедем на Балтийское море!..

Будем жить на берегу, под открытым небом,
любить друг друга.

Не бойся, мы заработаем нам на жизнь.
Ты научишься вить верёвки из песка,
я — ловить и продавать солнечных зайчиков.
[У меня, как у Набокова, есть рампетка.]

Будем пить молоко облаков,
питаться ломтиками воздуха.

Но каждый вечер мы будем видеть настоящий
балтийский закат,
а каждое утро — настоящую балтийскую
утреннюю зарю.

И мы обязательно, вне всяких сомнений…

Только,
пожалуйста,
наконец,
уедем на Балтийское море!

Ор. № 09.053 «Жалость фонарей»

Люде Макаровой

Иду, и надо мной
почему-то гаснут фонари. Перегорают?

А иногда так хочется
просто стать несчастным…
Ведь и у нас «жалеть»
означало «любить»,
и то же самое — «лянь» — у китайцев.

А они всё равно гаснут, за мной —
тьма.
А где-то там: девочка-льдинка…

Лишь фонари любят меня.

от прозябания — к тлению,
если
не
появляешься ты

If

Последнее слово, это — не логический оператор,
это команда.

Представь себе, как в безвыходной ситуации
ты говоришь любимой собаке: FAS!

Op. № 10.296

Игорю Старилову

Спит дитя,
и светодиоды
сияют на «пайлоте», модеме, роутере,
на вынесенном тиви-тюнере.

У иконки ангела Недреманное око
огонёк не трепещет, не дрогнет,
но сейчас я спокоен,
я знаю:
ты—дышишь

посвящается Д. С.

единственный раз
сказать Тебе
неуклюжую ложь,
раскаяться,
всю жизнь оставаться честным
. . .
и всё-таки
умереть недостойным

посвящается Д. С.

ты можешь
не приходить,
но только
не говори
об этом

— Jamais!

лишь у дверей геенны
мы оставляем
последнюю надежду

по дороге в Бернгардовку

памяти Н. С. Гумилёва

О Иоанн, накрой меня
твоей епитрахилью! Не презри.

…я иду под кронштадтский лёд.

Но дай мне
хоть на мгновенье
вырваться
из-под Твоей молитвы, преподобный Иоанне,
не простить!..

конец сентября, около полудня

посвящается Д. С.

…как мне прожить этот час?
—пока снова—
не попытаюсь окликнуть тебя…

Если кроме тебя—только
тьма кромешная

Пропадают коты!
. . .
Столбы
заклеены объявлениями,
а деревья—плачут.
Они помнят
бессмысленный и жуткий полёт
вслед за…

когда кот
исчезает
в воздухе.

Янис Грантс

Я вернулся бы…

Но вот

но вот в разлинованном свете
в границах от сих и до сих
проходят по встречной предметы
и люди одетые в них

но вот опускается цельсий
и падает в мёрзлый подвал
откуда разносятся песни
по самый по первый канал

но вот на селёдке под шубой
стоит неуменья печать
торчат плавники из-под шубы
чешуйки и кости торчат

но вот замыкается вечер
и пьётся бутылка чернил
я вусмерть стихами залечен
но вот
но опять
сочинил

Слова

твои слова. слова. слова. слова.
речённые во вторник.
пересластили нёбо (как халва).
захолодили сердце (как покойник).

я «приму» отсыревшую тянул.
и сладко-сладко.
в холоде.
тонул.

Эвклид

двоятся рельсы у Эвклида.
он негодует потому,
что параллельные—две гниды—
пересеклись назло ему.

за всех,
за вся и всё в ответе
в системе двух координат
путеец щурится в кювете.
оранжев.
пахнущ.
бородат.

Изгнание

послание в бутылке

то в лобной. то в затылочной.
(соперничают, что ли?)
нашёл на дне бутылочном
неслыханные боли.

нашёл друзей по разуму.
(зелёные и чавкают.
в моей квартире—база их:
ну, отдых с дозаправкою.)

друзья мои по разуму,
друзья зеленоцветные
хлебали многоразово
за дружбу межпланетную.

друзья меня… оставили
на дне. и закупорили.
и сбросили. и сплавили.
и вот плыву по морю я.
плыву. без роду-имени.

но было ж время!!! было ведь!!!

прости меня.
прости меня.
спаси.
попробуй выловить.

дождь

заплакал день. безудержно. навзрыд.
вода к воде. воде наперебой.
дней тысячи, и каждый—позабыт.
но есть один, отмеченный судьбой.
по жестяным беззубым скатам крыш
наотмашь бьёт вода. кипит вода.

и что теперь мне делать?
ты молчишь.
и я плетусь неведомо куда.
и я дышу в витринное стекло.
и бормочу размытому в стекле:
всё смыло. всё пропало. всё прошло.
и что теперь мне делать на земле?
идти под дождь? неистово курить?
просить простить? просить пустить назад?
всех ненавидеть? нежно всех любить?

себя вручить кому-то наугад?

Холодно-горячо

Евгении Изивариной

гололедица

гололедица на земле.
а на линиях—гололёд.
малахитовые, в золе,
отпечатки осипших нот
расписались по проводам—
тут вороны. вороны там.

он за сахаром. он идёт.
кувыркается: бах-бабах.
а над ним—провода и лёд.
и вороны на проводах.
на него—ноль вниманья. ноль.
типа, глупости, а не боль.

он затылком лежит об лёд.
он читает по проводам
воронёные знаки нот.
здесь читает. читает там.
он лежит головой об лёд.

с неба сахар вот-вот пойдёт.
боль проходит.
вот-вот пройдёт.

мне 11 лет

соседка баба Клара
заправит свой мундштук.
настроит окуляры
в количестве двух штук.

запшикает одышку,
как Черчилль в Тегера-
не зла как будто слишком,
но слишком уж стара.

пошлёт сестре шифровку
из точек и тире
и рекогносцировку
устроит во дворе.

возьмёт меня на мушку.
на раз и два пальнёт:
стихи он пишет! Пушкин!
паршивый рифмоплёт!

моряк

ты бывалый кто бы спорил
но известно наперёд
кровь твою присвоит море
плоть мурена заберёт
паспорт измочалят волны
неприкаянный один
будет голос твой безмолвный
пузыриться из глубин

ничегошечки не значит
вечный трёп о моряке

только мама
мама прячет
чёрный бархат в сундуке

переправа

бисером. почерком. через канву.
через канаву с краплёной водой.
я-то не сахарный—переплыву.
как быть с тобой?

там, в кожуре почерневшей канвы,
галлюцинации и ремесло.
ты-то ни в чём не повинна. увы,
не повезло.

в броде огня не найдёшь. не ищи.
тонут в тумане и тьме фонари.
свищут на днище у лодки свищи.
вслух говори,
что обманулась когда-то тогда
бисером. почерком. чёрной канвой.

если не слеп, то воздаст по трудам
боженька твой.

Я вернулся бы...

ангина

залепила горло глина
вперемежку со стеклом.
называется ангиной
этот колющийся ком.
(мама мёдом кормит сына.
обзывает дураком.)

словно чудищины клешни
горло рвут на лоскутки.
я умру сейчас, конечно,
всем прогнозам вопреки.
(и вращаются неспешно
люстры, мухи, потолки.)

отпустило. полегчало.
отболело поутру.
и решил я, что, пожалуй,
что до смерти не умру.
(и зажи́л опять сначала.
пам-парам! ту-ру-ру-ру!)

вернётся ли дядя Янис в детство

К синей шапочке конькобежца,
К сладким яблочным пирогам,
К папе—дутому громовержцу,
К маме—лучшей из тысяч мам,
К двухэтажке с кустом на крыше,
К зову в сумерках: «Сын! Домой!»,
К машинисту из третьей—Мише,
К Розе Павловне из восьмой,
К молоку в трёхлитровой крынке
Я вернулся бы—спору нет,

Но: чтоб варежки на резинке
И чтоб взрослый велосипед!

Виктор Фишман

Снег Сенатской площади

185 лет назад, в январе 1826 года, высочайшим повелением был учреждён Следственный комитет, занимавшийся выявлением тех, кого история назовёт «декабристами» после событий 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Среди них было немало выходцев из немецких семей. Руководителя Южного общества, потомка саксонских дворян П. И. Пестеля казнили; осуждённые к разным срокам каторжных работ и ссылки генерал-майор М. А. Фонвизин, полковник В. К. фон Тизенгаузен, подполковник В. И. фон Штейнгель, майор Н. И. Лорер, поручик А. Е. Розен, доктор Ф. Б. Вольф и другие отбывали наказание в Восточной Сибири. Они оставили свой след не только в понятиях «Сенатская площадь» и «Черниговский полк», но и в культурном развитии краёв, где прошёл практически весь остаток их жизни.

Эти годы доказали, насколько далёким от истины было утверждение вождя пролетариата Владимира Ленина, будто декабристы были «страшно далеки от народа».

Сибирский санитар

Михаил Александрович Фонвизин (фон Визин, 1787–1854), как и его знаменитый племянник (автор «Недоросля»), происходил из рода тех немецких дворян, чья знатная фамилия ведётся от барона Берндта фон Виссина, рыцаря ордена меченосцев, взятого в русский плен в ходе Ливонской войны. Фонвизины в четвёртом поколении приняли православие.

Будущий руководитель Московского общества декабристов родился в семье потомственного военного, слушал лекции в Московском университете, в 1801 году был зачислен в Преображенский полк, с чего и началась его военная карьера. Он участвовал в битве под Аустерлицем (1805), во время Отечественной войны 1812 года оборонял Смоленск, сражался при Бородино, был награждён многими российскими орденами, а также прусским орденом «За заслуги»; с 1822 года в звании генерал-майора уволен в отставку, после чего жил в своём подмосковном имении Крюково.

Ещё в 1817 году М. А. Фонвизин стал членом «Союза спасения» (преобразованного затем в «Союз благоденствия», руководителем Московской управы которого он был выбран в 1818 году). М. А. Фонвизин выдвигал идеи общинного социализма, а затем отошёл от активной работы в «Союзе». И всё же был обвинён в подготовке к восстанию в Москве. Его доставили в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость («присылаемого г[енерал]-майора Фон-Визина посадить где лучше, но строго, и не давать видеться ни с кем»). Отставного генерал-майора осудили по 4-му разряду (15 лет каторги, заменённые 12 годами каторги).

Его «сибирская Одиссея» проходила через Читинский острог, Енисейск, Красноярск и Тобольск. В последний он прибыл в 1938 году и уже на следующий год написал прошение с просьбой перевести его на Кавказ простым солдатом. В прошении было отказано, и он принялся устраивать свою жизнь в Сибири. Тем более что к нему приехала жена Наталия Дмитриевна.

В 1848 году на Россию обрушилась страшная эпидемия холеры. В Тобольске ей пытались противостоять с помощью молебнов и икон. И кто знает, чем бы всё закончилось, не включись в эту борьбу декабристы. М. А. Фонвизин, доктор Вольф (о нём речь ещё впереди) и другие ухаживали за больными, приобретали за свои деньги лекарства и пищу. Декабристам помогали их жёны. Отставной генерал-майор не жалел своих сил и в качестве санитара помогал спасению людей.

Видя практически поголовную неграмотность местного населения, декабристы по инициативе И. Д. Якушкина организовали в городке Ялуторовске ланкастерские школы. Назывались они так по имени английского педагога Дж. Ланкастера (J. Lancaster; 1778–1838), придумавшего систему взаимного обучения в начальной школе, при которой старшие и более успевающие ученики под руководством учителя помогали отстающим. М. А. Фонвизин вёл некоторые уроки истории и естествознания, помогал школе деньгами. Некоторые из учеников этих школ жили и воспитывались в семье Фонвизиных (ведь их собственные дети остались в Москве!).

13 февраля 1853 года Фонвизину было разрешено вернуться на родину. Он жил в имении брата Марьино Бронницкого уезда Московской губернии под строжайшим надзором полиции; ему запрещалось выезжать в Москву и Петербург. Здесь он и умер 30 апреля 1854 года.

Сибирский садовник

Графский и баронский род Тизенгаузенов происходил из герцогства Голштейн (Holstein) в Северной Германии. Лютеранин Тизенгаузен Василий (Вильгельм-Сигизмунд) Карлович (1780–1857) наследовал дворянский титул своих предков.

Воспитывался в 1-м кадетском корпусе, был участником русско-шведской (1808–1809) и Отечественной войны 1812 года. Он дослужился до полковника и возглавил Полтавский пехотный полк. Как члена Южного общества (с 1824 года), его арестовали в ночь с 4 на 5 января 1826 года в Бобруйске и осудили по VII разряду (каторжные работы на 4 года и ссылка).

Отбыв сокращённый до 1 года срок в Читинском остроге, Василий Тизенгаузен жил затем на поселении в Ялуторовске Тобольской губернии. Здесь, на окраине городка, он построил собственный дом, а рядом с ним разбил плодовый сад. Крестьяне дивились, как пожилой человек (он был самым старшим среди живших там декабристов), встав на стремянку, обрезает ветви деревьев, удобряет почву навозом. Сибирский снег падал на его непокрытую голову и плечи, а он трудился, не замечая этого. Когда на яблонях появились первые плоды, местные крестьяне пришли смотреть на них как на диво: это был первый яблоневый сад в Ялуторовске!

Многое в обиходе Тизенгаузена смущало местных жителей. Будучи лютеранином, он не держал в своём доме икон и даже по самым большим праздникам не принимал у себя местное духовенство. Но с охотой удовлетворял любопытство жителей по поводу посадки и ухода за плодовыми деревьями, а тем, кто заходил к нему в дом и интересовался богатой коллекцией античной скульптуры, простыми словами рассказывал об искусстве.

Когда в его доме случился пожар, он спасал не платье и домашний скарб, а произведения искусства. Люди это видели и при повторном пожаре сами пришли ему на помощь.

Василий Карлович прожил в Ялуторовске более 20 лет. В 1853 году, в возрасте 72 лет, он получил разрешение вернуться на родину, в Нарву. Из декабристов к тому времени в городке уже никого не осталось. Провожали его местные крестьяне. В память о себе он оставил им цветущий фруктовый сад. Тизенгаузен Василий Карлович скончался в Нарве 1857 году.

Сибирский стряпчий

Владимир Иванович Штейнгель (Штейнгейль, 1783–1862) родился в семье барона Иоганна Готфрида фон Штейнгейля, родословная которого ведётся из Бранденбург-Байройтского княжества. Будущий декабрист крещён православным, немецкого языка не знал. Семь лет учился он в Морском кадетском корпусе. За сражение под Полоцком во время Отечественной войны 1812 года награждён орденом Св. Анны 2-й степени. Членом Северного общества Владимир Штейнгель стал в 1824 году.

Утром 14 декабря 1925 года он написал проект манифеста от имени Сената и Синода об учреждении временного правительства. На Сенатской площади он стоял в толпе народа, с ужасом наблюдая за происходящим. Лёгкий снег таял на его шинели, но он не замечал этого.

За то, что знал о готовящейся угрозе императору и не донёс об этом, В. И. Штейнгель был осуждён по III разряду к бессрочной каторге, которую впоследствии заменили 15-летней. До 1828 года его содержали в кандалах. С 1835 года Владимир Иванович отбывал ссылку в Ишиме, а с 1840 года — в Тобольске, где губернатором был его московский знакомый М. В. Ладыженский.

В этих сибирских городах он учил местных детей из семей горожан и мелкого служилого люда. Едва ли не ежедневно он составлял прошения, ходатайствовал за нуждавшихся, оказывал различную юридическая помощь множеству знакомых и незнакомых людей. «Из меня сделали всеобщего стряпчего: отказывать не хочется, а уж трудно становится», — писал В. И. Штейнгель в письме к И. И. Пущину.

Сделанное Штейнгелем «Статистическое описание Ишимского округа Тобольской губернии» было для его времени новаторским. Оно отнюдь не сводилось к изложению и анализу одних лишь количественных данных, а давало широкие сведения исторического, географического, культурологического характера.

Штейнгель часто помогал губернатору Ладыженскому в составлении официальных бумаг. И это имело для декабриста самые плачевные последствия. Как рассказывает он сам в своих записках, генерал-губернатор Западной Сибири П. Д. Горчаков «…предписал отослать меня в г. Тару, сообщив графу Бенкендорфу, что Штейнгейль занимается редакциею бумаг у губернатора и потому имеет влияние на управление губернии, что он находит неприличным».

Весьма общительный человек, он считался своим у сибирской интеллигенции. Не зря же Владимир Иванович оказался посажённым отцом на свадьбе автора «Конька-горбунка» П. П. Ершова.

Из ссылки он вернулся в Петербург лишь в 1856 году и через 6 лет скончался.

Сибирский врачеватель

На Завальном кладбище города Тобольска есть могилы нескольких декабристов, и среди них — могила доктора Фердинанда (Христиана-Фердинанда) Богдановича (Бернгардовича) Вольфа (1796–1854). Его отец, титулярный советник по званию и аптекарь по образованию, определил сына в частный пансион при новой лютеранской церкви в Москве. Затем Фердинанд в числе волонтёров попал в московское отделение Медико-хирургической академии. Во время Отечественной войны 1812 года «добровольно находился для помощи раненым в Касимовском военно-временном госпитале», откуда выпущен «кандидатом по медицинской части с награждением серебряной медалью».

Его переводили из полка в полк, в конце концов «за усердную службу» наградили орденом Владимира 4-й степени. В 1821 году в звании надворного советника он служил по медицинской части при штабе 2-й армии. За год до этого Вольф вошёл в «Союз благоденствия» и стал членом Южного общества декабристов.

Приказ о его аресте был подписан за день до нового, 1826 года. Фердинанда Вольфа осудили по II разряду и приговорили к 20-летним каторжным работам (22.08.1826 г. срок сократили до 15 лет).

Этот последователь немецкого поэта и философа Фридриха Шлегеля (Friedrich Schlegel) ещё в Читинском остроге организовал аптеку. А лекарства для неё выписывал из Москвы, Петербурга, Лондона и Парижа (большевикам и не снилась та демократия, которая существовала при царском режиме!).

Однажды заболел комендант острога генерал Лепарский. Этот человек по-доброму относился к декабристам, и когда его вызвали в Петербург для вручения особых инструкций, он не побоялся заявить государю: «Для сохранения здоровья этих людей нужен медик, нужна аптека, нужен священник». Исполнительный до щепетильности Председатель особого комитета Иван Иванович Дибич (именовавшийся до приезда в Россию как Иоганн Карл Фридрих Антон Дибич) тогда осёк его: «Вы приглашены сюда в комитет слушать, а не рассуждать». И вот теперь этот 70-летний человек заболел. Вызвали Вольфа. Он предупредил, что лишён права лечить и что его рецепты не примут ни в одной аптеке. А в случае неудачи ещё и обвинят в отравлении генерала! Решили так: Вольф будет писать рецепты и предписания на бумажках, а госпитальный доктор переписывать их своим почерком. Одновременно послали письмо графу Бенкендорфу с просьбой разрешить Вольфу «пользовать больных». Генерал выздоровел, и вскоре из Петербурга пришло повеление с собственной подписью государя: «Талант и знание не отменяются. Предписать Иркутской управе, чтобы все рецепты доктора Вольфа принимались, и дозволять ему лечить».

С этих пор Вольф мог беспрепятственно лечить больных. Память об этом человеке ещё долго жила в Сибири. Современники Вольфа рассказывали позднее, что «…и двадцать лет спустя… его рецепты, уже выцветшие от времени, хранились с благоговением как святыня, спасшая их от смерти».

27 декабря 1854 г. Вольф скончался в Тобольске и был похоронен рядом со своим другом А. М. Муравьёвым.

Эпилог

В рамках одной газетной статьи невозможно рассказать обо всех декабристах — выходцах из немецких семей. Не вошла в наше повествование, например, и история поручика А. Е. Розена: по возвращении из ссылки в 1855 году в имении своей жены он устроил сельскую школу, в которой сам преподавал; на собственные средства открыл банк для помощи крестьянам; после отмены крепостного права стал мировым посредником.

О своей жизни многие декабристы рассказали в мемуарах. Судьба их тоже примечательна. Первая часть «Записок декабриста» А. Е. Розена была опубликована на немецком языке в Лейпциге в 1869 году. Немецкое издание вызвало живой интерес в Европе и в России. Весной 1870 года «Записки декабриста» были изданы на русском языке в Лейпциге. После ряда переработок и цензурных мытарств мемуары А. Е. Розена начали печататься в «Отечественных записках» (февраль–ноябрь 1876).

«Записки моего времени» Н. И. Лорера по частям публиковались в «Русском архиве» (1874) и в журнале «Русское богатство» (1904). Автобиографические «Записки» Штейнгеля впервые увидели свет в №№ 3–5 «Исторического вестника» в 1900 году, а в более полном варианте — в 1905 году. И так далее, и тому подобное.

Так что к моменту написания В. И. Лениным статьи «Памяти Герцена» (1912), в которой вождю пролетариата понадобилось упрекнуть этих героических людей в полном отрыве от народа, приведённые выше данные были широко известны. Но декабристы не звали рабочих и крестьян на баррикады — стало быть, шли не тем путём!

А вот Марина Цветаева в стихотворении с зашифрованным названием «Генералам двенадцатого года» (1913) сумела отдать должное декабристам, сравнив снег на Сенатской площади с сединой, вызванной каторгой:

Вам все вершины были малы
И мягок — самый чёрствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
засыпал снег…

Михаил Войтик

Палач первого класса

…Его отклонения частично объяснимы. Вероятно, они — способ уверить себя самого в том, что он не заурядность.

Дж. Орвелл
«Привилегия духовных пастырей. Заметки о Сальвадоре Дали»

В конце февраля по авторуту, идущему на северо-запад от Марселя, за новеньким «Ситроеном» шёл «Пежо-405» Беловых. Хозяин «Ситроена» Мишель, с азартно-весёлыми хулиганскими глазами на морщинистом лице, гнал со скоростью за сто пятьдесят. Но Ольга Белова легко держалась за ним, Виктор дожимал на их подержанном «Пежо» до ста восьмидесяти.

В «Ситроене» сидели Кира и Бернар Дюбуа и овчарка-колли Мишеля.

Проскочили Салон-де-Прованс. Город сразу взволновал обещанием чудес. «Не пропустите, не повторится!» — предупредила древняя белая церковь, перед которой дорога резко уходила влево. Души сотни поколений живших здесь людей почему-то не покинули город и теснились на узких старинных улицах. Казалось, они звали прикоснуться к тайнам вечности. Смутная сила захватывала пассажиров мчащегося «Пежо», требуя задержаться здесь, среди призрачных теней.

На выезде из города Ольга сказала:

— Вспомнила, здесь жил Нострадамус, здесь же и умер. Вот только где его похоронили?

Так, значит, обстоят дела. А этот чёртов Мишель куда-то летит. Куда едем-то? Мишель, похоже, отпетый маргинал, и, наверное, у него есть своя маргинальная цель. Может быть. Увидим.

Гонка закончилась перед въездом в Фонтен-де-Воклюз. «На десерт» Мишель пересёк барьерную линию, проехал под два запрещающих знака и остановился наконец на автомобильной парковке. Ольга поставила «Пежо» рядом, и все с облегчением вышли из машины.

Кира Дюбуа улыбнулась и сказала:

— Вот тут Петрарка сочинял сонеты, посвящённые Лауре. За шестьсот пятьдесят лет до нас.

Слова Киры про Петрарку дети Беловых Таня и Иван не слышали — они тихо, но ожесточённо дрались за право первым вести на поводке овчарку Мишеля. Было объявлено, что Иван младше, но Таня — дама и на её стороне Петрарка. Пока Иван искал его глазами, Таня с колли была уже на берегу Сорга. Все медленно пошли вверх по течению. Быстро бегущая вода была такой прозрачности, что если бы не её яркий иссиня-зелёный цвет, то была бы не видна совсем.

Вскоре к берегам Сорга начали тесниться киоски с сувенирами. Их прижимали к реке скалы, которые становились всё выше и всё ближе смыкались с обоих берегов. Слева расположилось двухэтажное здание. Построенное уступом, как две гигантские ступени, оно было продолжением горы, её подножием. На небольшой площадке перед витринными стёклами первого этажа стояла покрытая ржавчиной железная баба, высотой с человека среднего роста. Баба имела голову колпаком и тело в форме колокола, без рук и ног, сбоку к ней была приделана дверца. В приоткрытую дверцу было видно, что баба внутри пустая. И туда уже лез Иван, заслоняя другим обзор. Вдруг Иван дёрнулся, недовольно что-то забормотал и отпрянул, потирая уколотое плечо. Дверца и все стены бабы были усеяны острыми ржавыми шипами, обращёнными вовнутрь. Железная фигура оказалась средневековым пыточным устройством.

За бабой на табличке у двери здания значилось: «Музей истории правосудия. Вход — 20 франков».

Под табличкой стоял стенд с почтовыми открытками с видами Воклюза. Около стенда Мишель разговаривал со смуглой женщиной, явно уроженкой Французской Полинезии. Быстро переговорив с ней, он попросил подождать и куда-то ушёл. Таитянка с яркими глазами, улыбаясь, молча смотрела на Дюбуа и Беловых. Появившийся Мишель невнятно объяснил, что какой-то его знакомый куда-то подевался, пообещал таитянке скоро вернуться и пошёл вдоль Сорга. Все двинулись за ним.

Впереди на реке громоздилось непонятного назначения сооружение; вода, вытекающая из него, разбивалась на каскады. Сооружение оказалось древней водяной мельницей, но в Фонтен-де-Воклюз всё было необычным. На мельнице никогда не мололи зерно, была она движителем небольшой фабрики, изготавливавшей бумагу ещё в шестнадцатом веке. А совсем невдалеке за мельницей река кончалась. Вернее, начиналась. У подножия высокой скалистой горы зеленело небольшое озеро, окружённое с трёх сторон обрывистыми труднодоступными берегами. Это и был фонтан, давший название городку. Мощное течение выносило воду с глубины несколько сот метров, его наземное продолжение называлось Соргом.

На эту красоту стоило посмотреть, но вот созерцать — нет, нельзя. Всё доступное пространство вокруг озера хаотично рассекало в разных направлениях множество людей. И это в феврале. В туристский сезон здесь, наверно, мельтешило

не меньше, чем на блошином рынке. Компания отправилась назад.

На подходе к дому-музею Мишель опять куда-то исчез, но почти тут же появился в сопровождении мужчины лет за шестьдесят. Седая голова спутника Мишеля была неестественно запрокинута назад и затылком упиралась в спину; шеи, казалось, не было. Он быстро подошёл, улыбаясь, пожал всем руки и почти бегом повёл к боковому входу в дом. Поднялись на второй этаж. Фернан, так звали хозяина, торопливо достал из тумбочки орехового дерева с десяток всевозможных бутылок и банок, пообещал скоро вернуться и умчался.

Гости стали осматриваться. Зал, в котором они оказались, был, по-видимому, гостиной, но какой-то на редкость чудной. Передняя стена была сплошным окном с дверью, выводившей на большую площадку, образованную крышей первого этажа. С площадки открывался умопомрачительный вид на каскады зелёного Сорга и поднимавшиеся за ним горы. Четыре пятых окна были занавешены тяжёлыми портьерами. Улевой стены на возвышении стояли два плетённых из прутьев кресла. Красивая форма высоких кресел и сложный полинезийский узор создавали впечатление, что это троны таитянских вождей. За одним из кресел стояли два перекрещённых роскошных опахала из перьев тропических птиц, над другим на стене висела картина Поля Гогена. Вокруг располагались экзотические ракушки и разные островные редкости. Таня и Иван, запасшись банками с какими-то соками, тут же полезли на троны. Виктор, опасавшийся за сохранность красивых кресел, пытался детей согнать, но вмешался Мишель. Дети послушно ему покивали, а Виктора не заметили.

В правой части зала стоял огромный массивный стол, покрытый зелёным сукном. Горела настольная лампа начала двадцатого века с большим стеклянным абажуром. На столе лежала стопка тяжёлых фолиантов в кожаных переплётах. Одна толстая большого формата книга была раскрыта, на неё падал свет от лампы. Перед ней стояла чернильница, и рядом лежали перьевые ручки. На вешалке около стола висела чёрная мантия и чёрная многоугольная матерчатая шляпа с кистью.

Мишель, выступавший за хозяина, предложил выпить. Как и всё здесь, напитки были неординарные. Дамы выбрали бутылку в виде графина, треть объёма которого занимала гора из белых прозрачных кристаллов. Виктор попробовал из стакана Ольги и теперь не знал чем запить — напиток был приторно сладким. А дамы были в восторге и уверяли, что Виктор просто не почувствовал тонкий аромат. Бернар и Мишель выбрали шотландский, двенадцатилетней выдержки, виски. Виктор остановился на итальянской граппе. Граппа была самой лучшей марки. Потягивая напиток, Виктор с любопытством разглядывал зал. Было очевидно, что хозяин дома — человек небедный и большой оригинал. Окружающая обстановка вызывала интерес к нему. Налив себе во второй раз, Виктор спросил Мишеля:

— Фернан что, жил в Полинезии?

— Да, первые годы после того, как вышел на пенсию. Там и женился — любит всё необычное. Он вообще не такой как все. Его жену ты видел внизу, когда я с ней разговаривал. Дочке двадцать лет, очень красивая, живёт в Париже.

— А ты откуда его знаешь?

— Учился с ним в Алжире в одном классе, все двенадцать лет.

— Кем же он был?

— Executeur! — ответил Мишель, блеснув хулиганскими глазами.

Слово Виктор расслышал, но понял только, что владелец музея работал каким-то исполнителем. Не очень понятно, но переспрашивать не стал.

Вернулся Фернан и пригласил всех в музей. Оживлённо разговаривая и пересмеиваясь — хороший алкоголь здорово на всех подействовал — все поспешили за порывистым хозяином.

Веселье стихло сразу за порогом музея. В центре зала стояла гильотина из полированного красного дерева, вверху рамы сверкал тяжёлый стальной нож с лезвием в виде косого среза. Перед гильотиной стоял ящик из оцинкованного железа («Для отрубленных голов», — пояснил Фернан), а сбоку — сплетённый из прутьев сундук с крышкой, метра два длиной и высотой до пояса.

— Настоящая? — спросила Ольга после того, как Фернан, быстро и уверенно действуя, подробно показал, как пользоваться гильотиной.

— Мой личный инструмент. Когда Алжир стал независимым, привёз её с собой в Марсель.

— Как это?

— Я был экзекутором Алжира.

Опять это непонятное «экзекутор». Принимая, видимо, непонимание за недоверие, Фернан достал из внутреннего кармана пиджака и протянул карточку, размером немного больше почтовой открытки. Карточка оказалась фотокопией служебных удостоверений двух лиц. Текст удостоверений гласил:

Апелляционный суд Алжира
Канцелярия генерального прокурора

Фамилия:	Мэсонье
Имя:	Морис Александр
Родился:	12 февраля 1903 г. в Алжире
Должность:	Шеф-палач приговорённых преступников в Алжире
Адрес:	… Алжир

Личная подпись *Подпись генерального прокурора*

В левом верхнем углу располагалась фотография человека лет сорока. Обыкновенный служащий с серьёзным взглядом.

Второе служебное удостоверение было на имя Фернана Мэсонье. В графе «должность» значилось: «Палач первого класса». Двадцатилетний на вид человек смотрел с фотографии с вызовом и, безусловно, был похож и на Мориса, и на теперешнего Фернана, только у того была ещё нормальная шея.

— Твой отец? — указывая на верхнюю фотографию, спросил Виктор.

Фернан кивнул:

— Был палачом тридцать лет, до тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Триста казней. Я потом тоже стал шеф-палачом.
— Много приходилось казнить?
— Когда как. Во время войны в Алжире — да, а так — двух-трёх человек в год. Всего сотни две.
— И что, всё равно было, кому головы рубить?
— Я читал все материалы дела. Ходил на заседания суда. Если бы был не согласен с приговором, мог отказаться.
— А как люди идут на гильотину?
— По-разному. Крупные преступники — с достоинством, а мелочь всякая… — Фернан дёрнул ртом и махнул рукой. — Однажды один вырвался и, представь, — залез в эту корзину! — Фернан показал на огромный плетёный сундук. — А там уже три трупа лежало. Мы на секунду только растерялись, так он забился под них, на самое дно. Вытащили его — весь в крови! — Фернан снова махнул рукой. — Некоторые из зрителей падать начали.
— Так это всё на людях происходило?
— А как же! Всегда толпы народу. Меня весь Алжир знал. Да вот Мишель как-то был, я его в первый ряд провёл, на лучшее место устроил.

Мишель невесело покивал.
— Ну и как впечатление, Мишель?
— Один раз был, больше никогда не пойду! Дрянное зрелище. У тех, кого на казнь ведут, по штанам смесь дерьма и мочи стекает. Вонь и кровь.

Происходящий у гильотины разговор был настолько неожиданным, что как реальность полностью не воспринимался. Что за человек Фернан, так просто рассказывающий о казнях, где он был главным распорядителем и исполнителем? Может, он садист? Что-то не заметно сладострастия в поведении. Нет, тут что-то другое. Явно следит за произведённым впечатлением. Ловит взгляды. Особенно присматривает за реакцией русских. Они — редкость в здешних краях и уже этим ему интересны.

Фернан повёл дальше по залу, но впечатление от только что состоявшегося разговора вогнало в какой-то ступор, мучил вопрос: зачем, почему именно вот этот быстрый в движениях человек без шеи? На стенде в большом сосуде — заспиртованная голова мужчины. Рядом фотографии Гитлера и жертв концлагерей. К чему они здесь? Где история правосудия? Тут всё больше про казни. Вздыхая, Фернан показывает на пустое место — только крючья торчат из стены. Жалуется, что вот висел топор палача, а кто-то его слямзил. Убыток — триста франков…

У Киры и Ольги вид страдальческий. После гильотины они явно перестали понимать, что им пытаются рассказать, и вряд ли видят что-либо из экспонатов. Фернан замечает это и уводит всех опять на второй этаж. После экскурсии все снова охотно принимаются за спиртное.

После первых глотков Ольга оживает и спрашивает:
— Фернан, почему ты устроил свой музей здесь, в Фонтен-де-Воклюз? Тут так красиво, а музей такой мрачный. Люди ведь приезжают совсем не за этим. Гораздо больше к месту этот музей был бы на острове, где замок Иф.
— Да, Ольга, посетителей здесь мало и доходов нет. На острове Иф было бы лучше, но там слишком дорогая земля. Да деньги для меня не главное! Мне здесь нравится — кругом всё необычное. Ты ещё не видела местные пещеры!
— Наверное, Фернан, и эта ореховая тумбочка тоже необычная? — спросил Виктор.

В зале всё было в разных стилях — судейские атрибуты, таитянские троны, пухлые кожаные кресла в центре. Но тумбочка вообще стояла как бы отдельно от всего.

Фернан довольно улыбнулся:
— Это тумбочка с крейсера «Николь», затонувшего во Вторую мировую. Меня вообще интересуют редкие вещи. Как ушёл на пенсию — увлёкся. Сейчас покажу вам по секрету одну штуку.

Он скрылся за дверью и вскоре вынес из смежной комнаты круглый мраморный барельеф с профилем юноши, выполненный в древнегреческом стиле. С боков и с обратной стороны барельефа были глубокие борозды, как будто его откуда-то отковыряли.
— В Греции купил. Заплатил местным ребятам две тысячи франков, и они откололи его для меня.

Ольга вконец расстроилась. Тут Виктор заметил, что цвет у барельефа уж очень свеж, словно только что из-под руки резчика. «Тебя, Фернан, к счастью, надули, подсунули новодел», — подумал он с облегчением, внимательно рассмотрев сколы, которые были того же оттенка, что и поверхность барельефа.

Пора было прощаться. Сославшись на усталость детей, которые, вытаращив глаза, пытались протестовать, Беловы с Дюбуа и Мишелем пошли к машинам. Фернан шагал рядом с Виктором и завёл разговор, что очень любит Россию и хотел бы иметь старинные иконы оттуда. Виктор вежливо ответил, что ценные иконы наверняка запрещено вывозить.
— Но ведь проверяют не весь багаж, если ехать поездом, — сказал Фернан.
— У нас его вообще не проверяли. Но иконы мы не покупаем и не возим. Не любим.

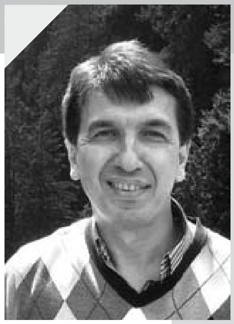
Поблагодарили за интересный рассказ, обменялись рукопожатиями и улыбками.

Беловы улыбались фальшиво: Фернану Мэсонье даже такой суррогат любви, как слава, оказался недоступен. Его исключительность опиралась на неразборчивость в средствах.

Когда с кровавой сцены ему пришлось уйти, настало время музея. Окружение редких вещей тоже, пожалуй, помогает утвердиться в своей неординарности.

Чума Мишель опять резвился на скорости сто пятьдесят.

Когда влетали на железную эстакаду при въезде в Марсель, уже смеркалось. Ольга с трудом отходила от бешеной гонки, напрягая волю, чтобы не ехать быстрее семидесяти.



Аркадий Реунов

Река под небесами

С тех пор как Маргарите Марковне пришлось рассказать внучку Мишутке о том, как появляются на свет дети, тот проводил большую часть дня в огороде, стремясь отыскать своего братика в одной из капустных голов. Паренёк представлял, что первым, кому улыбнётся новорождённый, будет он — Михаил Евланов, самый что ни на есть старший брат, способный взять младенца на руки и отнести его бабушке, которая от восторга напечёт блинов. А мама, без сомнения, тут же вернётся из города и будет благодарить за такой замечательный подарок. По словам бабушки, с тех пор как мама развелась с папой, ей не найти второго ребёнка самой. Поэтому Мишутка старался изо всех сил, готовясь обогатить семью огромным счастьем, надеясь, что ему позволят придумать братишке имя, и заранее гордясь собственной значимостью.

Он шёл по меже, разделяющей грядки, вглядываясь в напоминающие морщинистые лица капустные кочаны. Лица капуст выглядели добрыми, и в их приятном окружении было совсем не страшно затевать расспросы.

— У тебя внутри есть мой братик? — обратился мальчик к вилку столь массивному, что под ним могли бы спрятаться от жары три кошки.

Вилок молчал, и только потряхивающая головой оса вылезла наружу из-под капустного листа.

— Ты не видела, там внутри нет моего братика? — опасливо поинтересовался малыш, но грозная полосатка взмыла вверх, не дав ему ответа.

Опустившись на колени, он стал рассматривать кочан снизу, но и это не помогло узнать что-либо о человеческой малютке.

Разочарованно вздохнув, Михаил Евланов прилёг, чтоб понаблюдать за облаками, и незаметно для себя уснул, разнежившись на прогретой солнцем земле. Не зная, что спит, он с удивлением увидел, как свинья Сайка появилась рядом, и спросил: «А что, тебя выпустили погулять?» — «Да, но для этого мне пришлось пообещать, что я не съем ни одного капустного листика…» — ответила хрюшка, помаргивая белыми ресницами. «Если ты поможешь мне найти братика, я уговорю бабушку дать тебе три вилка», — азартно предложил малец. «Я согласна подсобить и просто так», — лукаво поскромничала Сайка и начала старательно нюхать наполненный цветочными ароматами воздух. «Ну как?» — нетерпеливо спросил брат, ищущий брата, присев около свиньи и положив руку на её полное упругой силы, покрытое жёсткими щетинками туловище. «Что я могу сказать, Михаил Фёдорович? Твоё желание скоро сбудется!» — сообщила прорицательница. «Хорошо! — воскликнул её собеседник и добавил: — Бабушка идёт, не раскрывай нашу тайну!»

Проснувшись и открыв глаза, Мишутка увидел бабушку, которая уже действительно стояла рядом и приветствовала его пробуждение добрейшей улыбкой.

— А где Сайка? — задал вопрос внучек, поднимаясь на ноги.

— У себя дома, кушает. И нам пора молочка попить, — ответила Маргарита Марковна, и, выбравшись с огорода, они вошли в дом.

Вскоре, вновь появившись на крыльце, мальчуган проследовал в курятник. Он неплотно закрыл входную дверь, и жёлтый цыплёнок тотчас же выбежал во двор, попав в поле зрения хозяйки, приглядывающей из окна кухни, и пса Вулкана, лежащего в прохладе, создаваемой тенью гаража. Пока бабушка Маргарита торопилась не дать разбежаться молодняку и взрослой птице, похожий на лимончик маленький беглец оказался около собачьей миски и, прыгнув туда, тут же утоп в съестной жиже. Подошедший Вулкан осторожно вытащил курёнка зубами и, пустив его на траву, несколько раз лизнул кувыркающееся тельце.

— Молодец, Вулканчик! — воскликнула хранительница всех живущих в хозяйстве существ, унося спасённого обратно в сарай, где бродил внук.

— Сегодня только пять, — доложил тот, демонстрируя найденные коричневатые яйца, покрытые прилипшим пухом, и они покинули пахучий и кудахтающий птичий мир.

Пока Михаил рисовал акварельными красками, вечер пришёл в дальневосточный посёлок Златореченск, где жила семья Маргариты Марковны Евлановой. На северном краю погружающегося в сумерки простора пророкотала громом выползающая из-за сопок непогода. «Где же это опять папка наш?» — спросила у себя самой бабушка Маргарита, заканчивая приготовление ужина.

Только настороживо молчащему мраку ведомо то, что творится в дождливо-туманной ночи. Зачем некто идёт по высокому мосту, соединяющему берега реки Уссури, и куда едет по этому мосту автомобиль с единственной тускло горящей фарой? Никто не знал, что человек, вернувшийся в родные места после долгих отлучных лет, торопился на встречу с готовой на всё возлюбленной, живущей в тоскливом замужестве на правом берегу реки, а в автомобиле майор милиции Митрошев направлялся к собственному дому, расположенному на левом берегу, будучи не то чтобы сильно пьяным, но под изрядным хмельком. Чего ради так темна

ночь, и к чему так плотен пронизанный дождём туман? С какой стати майор почти не смотрит в слабо освещённое пространство впереди, и почему одинокий ходок, представляя скорую встречу с любимой, не видит никакой опасности в приближающемся, похожем на фару мотоцикла, световом пятне? Возможно, Господь в тот момент уступил место Дьяволу, ибо слепо несущийся автомобиль и неосторожный влюблённый столкнулись в середине моста.

Неожиданно для себя сбив прохожего, испуганный Митрошев остановил машину и вышел из неё. Светя фонарём, он вгляделся в лицо лежащего, который слабо шевелился и пытался поднять руку.
— Не пойму, кто ты у нас такой,— пробормотал милиционер, обшаривая карманы пострадавшего и находя бумажник, толсто заполненный американскими долларами.
— Вот бинго так бинго,— сказал представитель закона, помещая бумажник в свой карман, некоторое время продолжая обыск, а затем подтаскивая раненого к краю моста.
— Бра… Бал…— забормотал тот.
— Понятно. Но и ты меня пойми!— ответил офицер, переваливая беспомощного парня через ограждение. Тело ринулось вниз и едва слышно ударилось о поверхность реки.

Бегло взглянув в замутнённый сумрак небес, Митрошев быстро перекрестился, а затем, снова сев за руль, съехал с сокрытого ночью моста, нервно дыша в ветровое стекло.

— Господи! Очисти его душу и дай путь домой…— молилась в утренних сумерках хозяйка дома Евлановых, прислушиваясь к наружным звукам и надеясь услышать шаги сына.

В мякоти огромной пуховой подушки блаженствовал Мишутка, который недавно пописал в подставленный бабушкой горшок и теперь мог спать будто заново. Когда она, дойдя до глубочайшей степени волнения, склонила голову и закрыла лицо ладонями, в своей будке по-щенячьи радостно взвизгнул матёрый Вулкан. Побежав к выходу, обрадованная мать открыла дверь и сошла с крыльца во двор, где, присев на корточки, обнимался с псом её сын, Фёдор Дмитриевич Евланов. Собака воротила морду, спасаясь от бражно-духовитого дыхания хозяина, но поскуливала с любовью и виляла хвостом.
— Завтракать будешь?— спросила Маргарита Марковна.

Услышав материнский голос, Фёдор отпустил собаку и кривовато встал посреди двора.
— Супчика хочу, а потом в Авдотьевку поеду. У Ваньки Барсука брат погиб, поминать будем,— обрисовал он свой план, а затем, предвидя материнский протест, нарочито напористо заявил:— Дай ключи от гаража!
— С ума ты сошёл, Федя! Глянь на себя! Куда же тебе за руль? Сколько уже можно пьяным ездить? Видел бы тебя отец!— возмущённо произнесла женщина.
— Мамуля! Я же чуть-чуть только. Я выпивши лучше и внимательней езжу, чем когда трезвый,— сказал Евланов, обнимая матушку рукой за плечи, и та, воспользовавшись ситуацией, увлекла его за собой.

Спотыкаясь на ступеньках крыльца, изнурённый запоем бедняга вошёл в дом, где лёг на кушетку, стоящую на веранде и, пробормотав: «Ванька мой друг, надо ехать…»— уснул. Стащив с пахучих ступней бродяги истерзанные ботинки, Маргарита Марковна прошептала благодарственные слова, адресованные Всевышнему.

Через полчаса поднялся Мишутка, который встревожился, увидев сокрушённо спящего отца.
— Всё в порядке, папа отдыхает!— успокоила внука бабушка.— Садись завтракать, а после пойдём всех кормить. Я таких помоев наварила— красота! Впору самим кушать!
— Давай Сайке побольше дадим. Она— мой друг!— попросил мальчик, улыбнувшись в ожидании радостного угождения своей союзнице, а также Вулкану, обитателям курятника и компании диких утят, вылупившихся из яиц, принесённых отцом из тайги, и живших в прибанном сарайчике.
— Конечно, дадим побольше,— согласилась бабушка и прихватила с печи кастрюлю, чтобы перелить помои в ведро.
— Где ключи от гаража? Мне ехать надо!— раздался вдруг громкий голос Фёдора Евланова, неожиданно вошедшего в кухню.
— Чего ж тебе не спится-то?— расстроенно спросила Маргарита Марковна, оставляя помои и поворачиваясь к сыну.
— Короче!— отрезал тот, повышая тон до крика, после чего мать, скорбно вздохнув, принесла ключи.

Получив требуемое, Фёдор Дмитриевич вышел из дома, отпер гараж и, включив двигатель автомобиля «Москвич-412», стремительно выкатился на дорогу, где звучно врезался в случайно проезжавшую мимо серебристую «Тойоту». Из остановившейся иномарки вышли жители Златореченска Виктор Потапов по прозвищу Болгарин и его спутница Анжелика Терешнева, начавшие дожидаться, пока перед ними предстанет виновник аварии.
— Ты чё, моргала бахромой обшил?— агрессивно спросил Фёдор, выкарабкиваясь из машины.
— Во мы какие…— злобно вышепнул Болгарин, а затем ударил наглеца кулаком в лицо, враз сшибив его с ног.

В следующий момент выбежавшая из дома родительница громко обратилась к упивающемуся расправой хозяину «Тойоты», и тот переключил внимание на неё.
— Уважаемая! Вы хотите ответить за этого крышелёта?
— Конечно, давайте решать!
— Мне заднюю дверь придётся менять. Вместе с покраской триста долларов будет, и эту очень божескую цену я готов назначить только из уважения к вашему возрасту.
— Зачем менять? Я её тебе сам рихтану и покрашу,— начал было поднявшийся на ноги зачинщик сложившейся ситуации, но тут же замолк под взглядом матери.

— Согласны! Только дайте нам, пожалуйста, немного времени, чтоб найти деньги. Мой сын пока без работы,— попросила Маргарита Марковна.
— Ну-у-у,— прогудел поскучневший Потапов, и его лицо начало набирать хмурость.
— Витя, можно мне?— спросила Анжелика, и, когда друг кивнул, продолжила:— У моего отца такой же дрындулет. Всё время ломается, а запчасти брать негде. Завода «Москвич» ведь больше не существует. Давай я тебе отдам триста баксов, а этот хлам папе подарю.
— Вы где хлам видите? Это элитный обазец…— подал голос Фёдор, помаргивающий глазом, всё больше скрывающимся под растущей гематомой. Однако никто не ответил ему, так как три человека, участвующие в главной дискуссии, обдумывали новое предложение: Болгарин — с интересом, Анжелика — с предвкушением возможности сделать отцу подарок, а Маргарита Марковна — с ужасом, вызванным предстоящей потерей предмета, составляющего дорогую память о её муже.
— Ты — умная девушка!— признал вершитель судилища, и от этой похвалы на лице его подруги появилась довольная улыбка.
— Хозяева, вас устраивает такое предложение? Если нет, я вызываю милицию, и тогда ваши проблемы станут долгими и тяжкими,— повернулся Потапов к матери и сыну, которые выразили согласие понурой безмолвностью.
— Ну что ж, хорошо! Тогда ментов не будет, денег с вас не требую. Ну, а машину пока верните в гараж. Мы её на днях заберём.

По завершении разбирательства дружная парочка уехала прочь, а Маргарита Марковна, отойдя к забору, заплакала. Мишутка, всё это время жалостливо смотревший на происходящее, приблизился и прижался к бабушке.
— За что нам это?— скорее сказала, чем спросила она.
— Прости…— тихо ответил Фёдор и, загнав повреждённый автомобиль в гараж, вернул ей ключи, после чего, превозмогая трудность произносимого, спросил, нет ли чего-нибудь выпить.

Получив отрицательный ответ, Евланов пошёл в дом, где начал шарить по полкам буфетов и шкафов. Не найдя ничего, кроме им же самим заготовленных бутылок с сиропами из таёжных ягод, он двинулся к выходу и, никак не реагируя на сыновний крик: «Папа не уходи!»— вышел на улицу.

Изнурённо ступая по тропе, забиваемой пышно растущей травой, Фёдор, совершенно не имея денег, сначала направился к магазину в смутной надежде получить там пива или водки в долг, но, вспомнив о последней стычке с продавщицей Валежихой, изменил маршрут и пошёл к окраине посёлка, туда, где в отдельно стоящем доме жил его бывший одноклассник Илья с женой Полиной.

Солнце наполняло воздух жарой, усиливающей похмельный спазм страждущего, стремящегося к спасительному хутору, где, несомненно, должна была водиться медовуха, нагулявшая вкус в погребном хладу. Пройдя мимо давно не используемой силосной башни, куполообразная крыша которой смотрела в небо неопрятными прорехами, он проследовал через развалины когда-то активно используемого, а ныне зарастающего высокотравьем тока, проломился через заплетённую паучьими сетями рощу и выбрался к забору дома Ильи и Полины. Хозяева не отозвались на стук в калитку, но где-то во дворе звякнула собачья цепь, и лохматый кавказец медленно вышел навстречу.
— Привет, борода,— воскликнул явившийся из чащи и зачмокал с такой щедрой интонацией, будто имел для угощения не меньше чем полокорока говядины.

Никак не реагируя на заигрывания, пёс приблизился и неожиданно бросился вперёд, разразившись свирепейшим лаем. Испугавшись прыгнувшего зверя, Евланов инстинктивно присел, отчего его штаны треснули по всей промежности. По-лягушачьему отпрыгнув в сторону, он вскочил, готовясь к быстрому бегу, но, увидев, что ограниченный цепью преследователь не может выскочить из-за калитки, медленно вернулся на исходную позицию, ободрённый послышавшимся со стороны дома голосом Ильи Козуба.
— Назад, Ральф!— крикнул хозяин, и кипа шерсти, имевшая столь благородное иностранное имя, медленно покинула место действия, затаиваясь в тени.
— Отличная дрессура! Здоро́во, Илюха!— с напускной бодростью произнёс подавленный псовой злобностью гость.
— Привет! Заходи…— сказал муж Полины, вопросительно улыбаясь.— Пойдём посидим, пока моя душа дикий рой ловит…
— А что, его поймать можно?— поинтересовался Фёдор, проходя за школьным товарищем к заплетённой виноградом беседке.
— Как сказать? Мне его не поймать, а умелица наша может словить. Вона где она…— ответил Козуб, кивая в сторону Полины, стоящей в огороде с длинным шестом, к концу которого, поднятому ввысь, было прикреплено ведро.
— Заинтересовался рой-то. Всё ближе снуют,— сообщил Илья, указывая пальцем на пчелиную семью, волнообразно перемещающуюся вокруг шеста.
— А чего ради они в ведро-то полезут?— спросил несведующий посетитель.
— Так в него поллитра медовухи вылито… Хошь не хошь, а полезут пчёлки туда.
— А вот это неплохо придумано!— произнёс Евланов так оживлённо, что хозяин повернулся в его сторону с вопросом:— Ты чё, Федюня, замахнуть хочешь?
— Да можно бы, поди давно не виделись-то…
— Не любит Полиночка, когда с утра, ну да ладно, принесу…— сказал Илья, охотно отходя в недалёкий сарайчик и вскоре возвращаясь оттуда с банкой мутной медовухи, сопровождаемый большим количеством вьющихся вокруг него стремительных насекомых.

Поставив на столик, приспособленный в беседке, две кружки, приветливый хуторянин начал наливать, от вида чего к другу его детства пришло ощущение приближающегося счастья.
— Ну, давай,— порешили одноклассники, подступаясь к выпивке, и блаженный поток сладкого

алкоголя наконец обрушился в колеблющееся нутро Евланова.
— Знатный квас! — одобрил он, тут же предложив повторить столь высокосортное удовольствие.

Козуб кивнул и, споро организовав «по второй», грустно изрёк:
— Вообще я только три могу. На четвёртую моя умелица замок поставила.
— Как это? Я понимаю, когда зашился или закодировался. Но тогда вообще нельзя. А такого, чтоб три и всё, я ещё не видел, — подивился гость.
— Сам не пойму, Федя, что моя красавица делает. Дар у ней, видно, от самого Бога. Но только если я четвёртую допущу, всё выпитое тут же блевотиной сойдёт.
— Чудеса-а, — сочувственно протянул Евланов и добавил: — Ну, тогда по третьей, и дай Бог, чтоб не последняя.

Илья молча кивнул, и, выпив по третьей кружке, они стали смотреть, как ловкая Полина спускает ведро с пчелиным роем и накрывает его крышкой.
— Сейчас в амбар их снесёт. Там у ней специальный улик, где она их адапли…адапри… — прокомментировал Козуб, с азартом наблюдающий за действиями своей половины.
— Адаптирует, — грамотно помог Фёдор.

Скоро на тропинке, ведущей с огорода к беседке, появилась раскачно шагающая Полина, при виде подвыпивших мужчин склонившая голову набок и приведшая свои губы в состояние ехидной ухмылки.
— Святая двоица! — провозгласила она. — Откуда ты у нас, преподобный Федорий?

Почувствовав угрозу в голосе хозяйки, любитель пирушек, очень рассчитывающий на продолжение застолья, заискивающе улыбнулся и, по опыту зная, что многие представительницы слабого пола подчас способны на снисходительное отношение к свежему мужскому образу, спаивающему супруга, произнёс задабривающий комплимент:
— Здравствуй, волшебница! Я здесь, чтоб восхититься твоими талантами, о коих говорят все люди.
— Да, Федя, я волшебница. Хочешь, я волшебно угадаю, какого цвета твои семейные трусы? — произнесла обширная Полина, входя наконец в беседку.

Евланов, давно позабывший о своей порванной в инциденте с Ральфом мотне и сидевший на лавке, комфортно раздвинув колени, сконфуженно изменил позу.
— Ты б, Илюнчик, хоть картошки разогрел… — продолжила наведение порядка жена Козуба, и тот немедленно вскочил, приближаясь и обнимая свою дражайшую так, будто видел нечто, превосходящее все возможные степени девичьей красы.

Прильнув, он поцеловал жену в испачканную землёй хомякастую щёку, выражая полное наслаждение, отчего Фёдор внутренне содрогнулся, вспомнив ходившие промеж населения разговоры о чаротворстве, которым страхолюдная и хромоногая Полина приворожила красавца, потомка украинских казаков Илью Козуба. Говорили, что главная беда нелюдимой хуторянки — непрочность колдовства, нуждающегося в еженедельном подтверждении, и постоянная её боязнь — неуспевание совершения обряда, в случае чего муж может увидеть натуральную жинкину внешность. Поэтому подсматривающие пацаны не раз видели Полину, творящую заговор. А иначе зачем ещё ей заходить ночью в сарай и мерцать там огнями? Многие люди хвалили хваткую Польку, сумевшую привести собственное бытие в полный порядок. Хотя, конечно, некоторым было жаль заколдованного Илью, живущего прекрасно, но всё равно выглядящего по-дурацки.
— Ладно, сиди, я сама! Только больше медовухи не пейте. Я тебе, Федя, сейчас принесу иголку с ниткой, — сказала женщина, уходя в сторону дома.
— Отличная у тебя жена, — одобрил «преподобный Федорий», глядя на удаляющуюся Полину. — Даже завидно…
— Вот в этом ты, Федька, прав. Полиночка моя — кисуля на славу, — согласился Козуб.
— Давай выпьем за здоровье твоей замечательнейшей супруги, — восторженно произнёс охотник за опохмелкой, и, пафосно поднявшись со скамейки, приятели обнялись.
— Эх, хоть и нельзя четвёртую, но за такое дело грех не принять, — радостно преподнёс ситуацию потомственный казак, вливая в себя четвёртую кружку, а затем возлагая обе руки на плечи другу, бескрайнее довольство которым снизошло к нему. Сдув с губы щекотно ползающую муху, запорожец открыл рот, готовясь к произнесению высокой по смыслу фразы, но вдруг осёкся, не будучи в состоянии начать свою речь. Увидев тревожное выражение, внезапно возникшее в искренних казацких глазах, сообразительный Фёдор вспомнил о словах их обладателя, честно предупредившего о неотвратимом замке Полины. Однако, разумея недостойную суетность невозможной, он не изменил позы и хладнокровно принял рвотную струю прямо в лицо.
— Однозначно, это мой полный конфуз, — сказал попутчик Полькиной жизни, утирая обмоченного собутыльника своим рукавом, а затем вворачивая отвлекающий от нелицеприятного происшествия вопрос: — Слушай, а кто тебе фингал навесил?
— А ты, видно, такой же хочешь? — уклончиво переспросил обладатель синяка, сотворённого Болгариновым кулаком, стряхивая с плеч вяло висящие макаронины, вылетевшие из Козуба вместе с четырьмя кружками медовухи.
— Прости, друган! Вдарь мне по роже, если хочешь, — молвил хозяин и подставил под удар свою скулу.
— Э-э, — раздался голос возвращающейся Полины. — Что там за дела?
— А мы, Петровна, испытали твой гарный замочек в действии, — пояснил лукавый льстец, начавший тяготиться обществом Ильи, не умеющего рыгать в сторону, и его стремящейся к доминированию жены.
— А-а… — с пониманием заулыбалась Полина, подойдя поближе и вникнув в смысл слов гостя. — Могу и тебе такой же установить, если желаешь.

— Я, если честно, побаиваюсь всяких проникновений в себя. Вдруг ты меня, помимо этого, ещё кем-нибудь назначишь…

Услышав сказанное, повелительница пчёл поставила сковороду с обжаренным картофелем на стол и глянула на сказавшего эту фразу предельно серьёзно, а Козуб тоже начал вопросительно смотреть на поруганного им товарища.

— Ну, жабой, например, — сказал шутник, пожалевший о своём неосторожном намёке и желающий немедленного исправления положения, пусть даже путём неуклюжей увёртки.

— Это вряд ли! — отрицательно замотал головой Илья, а Полина улыбнулась, и Фёдору показалось, что проект его заговорения с целью получения второго любящего мужа не кажется ей непристойным предложением.

— К несчастью, пора мне, ребятки! Хочу нижайше попросить вас об одолжении. Налейте мне, пожалуйста, вот эту трёхлитровочку с собой… — стал прощаться он.

— Не много ли будет? Не про медовуху моя забота, мне тебя жалко. Давно ты себя в зеркале видел? Я вот иголку с ниткой принесла… — попробовала отклонить просьбу хозяйка.

— Поля, я не герой журнала «Форбс», чтоб собой любоваться. А гостинец прошу, чтоб вдосталь насладиться творением твоего умения, в котором чую высочайшее мастерство. Нельзя отказывать своим поклонникам…

— Заплёл ты мне мозги! Бери, если хочешь… — смирилась жена Козуба, и вскоре провожаемый стал обладателем полной банки, помещённой в полиэтиленовый мешок.

Простившись, Фёдор, продобренный медовой пьяностью, неторопливо пошёл к Мохову холму, достигнув которого, начал подниматься по склону. Ласкаемый наступившим комфортом, счастливец закрывал глаза и с удовольствием подставлял лицо солнцу, приятно подмаргивающему сквозь лиственный шум. Добравшись до вершины, путник сел под отбрасывающий плотную тень дубок и, опершись спиной о его тёплый, покрытый ребристой корой ствол, надолго припал губами к щедро льющейся медовушной влаге. Напившись, он повёл взглядом по просторным далям наклонных лугов, подступающих к закрытым туманом контурам Медвежьих гор, потянулся рукой к пузырчатым ягодам малины, висящим на недалеко стоящем кусте и, утратив соприкосновение с дубком, мягко свалился на местами подсыхающую и поэтому вкусно пахнущую сенцом траву. Перестав опасаться утратившего подвижность существа, мухи и жестоко шибающие их осы ринулись в ошеломляюще пахнущий сосуд, наполнившийся громким гулом. Подхватив сладкое человеческое дыхание, ветер понёс его так далеко, что даже выдра, плавающая километром ниже в протоке, впадающей в плавно текущую реку Уссури, вылезла на белеющий кварцевой россыпью берег, чтобы тщательно понюхать этот прекрасный запах.

«Господи, помоги моему сыночку!» — прошептала где-то там, в своём доме, Маргарита Марковна, уложив пообедавшего Мишутку поспать.

Есть земные территории, оказываясь на которых, бедолаги, живущие скучно и тягостно, ощущают надежду на приятные перемены, а счастливые люди становятся ещё счастливее. И каким бы затерянным ни был некий обитаемый уголок, он всегда благополучен наличием закутка, коему местные жители благодарны за необъяснимо и неизменно приносимый эмоциональный подъём и физическое облегчение. И поэтому, когда в посёлке Лесосплавск, расположенном несколько ниже по течению Уссури, сильно захмелела от креплёной самогоном браги Алина Веселушная, её приятель Бока, недавно демобилизованный из пограничных войск в звании старшего сержанта, предложил поехать на Земляничный берег, обычно посещаемый обитателями посёлка для отдыха и душевного излечения. Стыдясь опьянения перед Бокой, прочимым ею в мужья, Алина согласилась отрезвиться купанием, и вскоре земляки, нежившиеся на целебном Земляничном берегу, увидели, как из подкатившего автомобиля-вездехода ЗИЛ-130 вышел изрядно выпивший Борис Зубенко, еле словивший в свои руки милую, буквально выпавшую из высокой кабины. Пьяно улыбаясь компаниям знакомых, лежащих с бутыльками и закусками в окружении сухо потрескивающих крыльями стрекоз, молодые поскидали верхнюю одежду, после чего пошли к реке. Попав ногой в прохладную воду, Алина пыталась было заартачиться, но пограничник, сильно желающий выздоровления милавы до пригодного состояния, поволок её на глубину, где, блаженно охнув, они рухнули в напористую свежесть стремнины. Поборов течение и встав на ноги, Бока с Алиной начали плескаться, громко хохоча, брызгаясь друг в друга, и лесосплавцы, видя, как быстро трезвеет Веселушная, одобрительно улыбались. В этой беззаботности невеста не заметила, как расстегнулся и уплыл её белый бюстгальтер, и поэтому многие отдыхающие были рады по-хорошему позавидовать Боке, узрев вполне реальный бюст, взлетающий вверх и падающий вниз в соответствии с прыжками девушки. Обнаружив конфуз, счастливая пара предалась волоку речного движения, пытаясь догнать удаляющийся предмет. Им пришлось поплыть к Коровьему острову, расположенному неподалёку от Земляничного берега. Вскоре почувствовав под ногами сметаноподобный ил дна, влюблённые пошли по мелководью, приближаясь к лифчику, пришвартовавшемуся к островному пляжу и мелькавшему в шевелении мелких волн. Бока начал приглядывать на этом участке суши ложбинку, в которой было бы сподручней расположиться со своей сочной зазнобой вдали от людских глаз. Уже и Алина, почувствовавшая себя обнажённой Евой, входящей в охваченный жарким солнцем и звучащий приятным камышовым шумом райский мир, прильнула к мускулистому старшему сержанту, но… оба они внезапно увидели в янтарном колебании воды утопленника, преградившего их полный сладострастного ожидания путь. Прелестная златореченка негромко и жалостливо вскрикнула, отступая назад и забывая про свой бюстгальтер,

и Бока, хоть от разочарования и успел сказать несколько категоричных слов, тоже закручинился, перекрестившись за ещё одного парнягу, не дожившего до старости. Перейдя мелкую протоку, отделяющую остров от материкового леса, они выбрались на правобережье Уссури и, вернувшись к автомашине ЗИЛ-130, поехали к Бокиному дяде Егору, работающему в Лесосплавске начальником милиции.

Через два часа подполковник Егор Зубенко и его подручный, лейтенант Сергей Капралко, причалили к Коровьему острову на старой моторной лодке «Казанка». Подобравшись к покойному, Капралко при помощи багра вытолкал тело на поросший синеватой толстянкой берег и обратился к начальнику:

— Товарищ подполковник! Судя по внешнему виду, это не таёжный бомж, а вполне правильный городской пацан. Наколка у него на груди богатая — что-то вроде Божьей Матери. Кроме как из Златореченска, ему приплыть неоткуда.

— Опять от Митроша подарок. Развели там у себя рамсы с распальцовками. То резаный, то стреляный приплывёт… — проворчал носитель высокого чина, исследуя карманы мертвеца подобранной здесь же палочкой.

— У этого колотых и стреляных ран нет, но имеются ушибы. Думаю, у убийства к тому же есть сексуальный подтекст… — доложил Капралко.

— С чего такое мнение?

— Ну не случайно же с ним вот это приплыло, — пояснил лейтенант, заглубляя багор в торчащие из воды растительные кущи и вытаскивая оттуда белый бюстгальтер Алины.

— Только он с неё лифчик снял, так его тут же и замочили. Видно, на бережочке баловались, когда их её хахаль накрыл, — высказал догадку подполковник, на что Капралко согласно закивал.

— Можно сказать, красивая смерть, но от этого не легче. В нашем морге митрошевские утопленники уже все места позанимали. Своим гражданам ложиться некуда, — продолжил Зубенко.

— Вы на что-то намекаете, Егор Геннадьевич? — спросил Сергей, глядя в сторону переплетённого торчащими корнями берега, под которым, как он знал, отлично ловились сомы.

Некоторое время начальник был в раздумье, а затем произнёс:

— Я без намёков скажу, что работы через край, и лишний «глухарь» ни к чему. Мы этого жмура вернём на место преступления. Раз его у Митроша на хозяйстве грохнули, пусть наш дорогой сам с ним и возится. Так что…

— Так что? — переспросил Капралко.

— А то, что восстановим справедливость. Как стемнеет, отбуксируй эту радость обратно в Златореченск.

— Понятно, — вздохнул лейтенант.

— Да ты бодрее, Серёжа! Надо же облегчать существование родного ведомства. А тебя в конце месяца ждут премиальные за успешное перевыполнение своих обязанностей, — подбавил светлых тонов Егор Геннадьевич, и, столкнув лодку в реку, милиционеры покинули Коровий остров.

Уже темнело, когда автомобиль, в котором патрулировали окрестности начальник Златореченской милиции майор Митрошев и его напарник капитан Конюкин, свернул на улицу Свердлова, которая, ответвляясь от центральной улицы Советской, тянулась до самой окраины посёлка и выглядела криво и утло, как и всё провинциальное бытие новой России, не только не переименованное с приходом постсоветского государственного уклада, но и вовсе забытое властью, почему-то не заинтересованной в канадизации державных глубинок.

— В своё время я отмазал внучка Синюхи от армии. Теперь крышую её торговлю. За это она лично для меня делает то, что лучше, чем виски «Джонни Уокер». Пойдём пробу снимать, — сказал майор своему напарнику, останавливая машину у покосившегося от старости дома Веры Маркеловны Синюхиной.

Войдя во двор, милиционеры поднялись на крыльцо лачуги, и Вера Маркеловна, улыбающаяся пожилая женщина, вышла навстречу гостям из-за открывшейся с перепевом двери.

— Привет, бабаня! Надеюсь, мы не помешали, — поприветствовал её Митрошев.

— Никоим образом! Заходите, пожалуйста, — неподдельно радостно произнесла Маркеловна.

— Как накрывать, по-полному или на полчасика? — спросила она, когда вошедшие, сняв фуражки, сели подле круглого стола.

— У нас, бабаня, закуска есть. Ты свой «Уокер» доставай, — дал указание покровитель, доставая из пакета буханку белого хлеба.

— Я колбаски подрублю, — сообщила Синюха и завертелась вокруг стола.

Через несколько минут перед сидящими наряду с колбасой появились сковорода с жареным мясом, кастрюля с варёным картофелем, засыпанным укропом, плошка с салом, тарелка солёных груздей, салатница с консервированными перцами и маленький тазик с крупно резанной квашеной капустой.

— Ну, спасибо, мать, — растроганно произнёс майор, булькая самогон из тяжёлого графина в три гранёных стограммовика.

— Давай, Конюкин, за хозяйку, дай ей Бог здоровья, — протостовал он и, после того как все трое на некоторое время примолкли, приладившись губами к стаканчикам, добавил: — Что я тебе говорил? По сравнению с этой бабаниной слезой ихний «Уокер» — хоть и признанная, но уже наскучившая вещь.

— Пожалуй, — согласился Конюкин, закусывая колечком сладкого лучка, а затем накладывая себе в тарелку мяса, картошки, капусты и груздей.

— Этот самогон по немецкому деревенскому рецепту сделан, — донесла информацию довольная признанием бабуся.

— Шнапс, что ли? — поинтересовался капитан.

— Нет, но не хуже, чем шнапс, — ответила Вера Маркеловна, наливая гостям по полной.

— Не выпытывай, бесполезно. Она этот свой немецкий способ в тайне держит, — сообщил Митрошев, с наслаждением поедающий изобильную снедь.

— Как же немцы на такой секрет расщедрились? — задал вопрос склонный к познанию Конюкин.
— Я, когда нас с Украины в Германию угнали, к неплохим людям попала. Они нежадные были, многому меня научили и не обижали. Да и что обижать-то? Я никакой работы не чуралась, и за это меня ценили. Я ведь в работе безотказная. Когда, допустим, быков надо было на мясо резать, я косу брала, нать его по горлу — и никаких проблем, — пустилась в повествование захмелевшая Синюха.
— Ого! Так что ты, капитан, поосторожней со своими вопросами, — предложил начальник, и Конюкин, произнеся русско-немецкую фразу «вопросам капут», виновато поднял руки.
— Я молодая была и быстро по-немецки научилась разговаривать. Когда война закончилась, хозяева мне предлагали помочь в Германии остаться. А я так домой к своим хотела, что уехала, — продолжила рассказ Вера Маркеловна.
— Теперь жалеешь небось? — полюбопытствовал майор. — Была бы сегодня знатная фрау…
— Жалей не жалей, лучше налей, — уклончиво ответила хозяйка, призывая гостей к выпивке, и те, не заставляя ждать, отдавали должное ароматному немецкому самогону, тут же наливая опять.
— Страшно было… — пожаловалась Синюха.
— Ты ж сказала, что тебя фрицы не обижали, — с милицейской цепкостью спросил Митрошев.
— Я уже говорю про то, как домой ехала на угольном поезде. Фашисты много уголька запасли, так наши этот уголь в СССР вывозили, да и правильно делали. Только возвращенцев из немецкого плена за людей не считали. Загнали нас в открытые товарные вагоны на кучи с углём, мы на нём обосновались как могли и поехали. Когда границу отечества пересекли, такое началось! На каждой станции свои же нападали, забирали у людей, кто что вёз, а часто и убивали. Я с головой в уголь зарывалась, и Бог меня спас. Добралась!
— Да, бабаня, всё-таки надо было тебе у немцев остаться. Совсем бы другая жизнь была, — посочувствовал Конюкин.
— Ты знаешь, сынок… Глядя на то, что с народом сегодня творят, в какую нищету стариков загнали, я могу с тобой согласиться. Те же немцы о нас сегодня больше помнят. Я вон компенсацию от их правительства получила за то, что меня в плен угоняли.
— И от тех же немцев ты знаешь рецепт самогона, которым успешно торгуешь в нашем посёлке, — с улыбкой сказал Митрошев.
— Благодарю, товарищ майор, за помощь по жизни. Каждый день за тебя небесам молюсь, — прошептала Синюха, выражая понимание своей ответственности частыми кивками головы и подсовывая денежную купюру под ладонь Митрошева.
— Спасибо и тебе за угощение, бабаня, пора нам, — ответил тот, и вдруг кто-то постучал в дверь дома.
— Пойду гляну, — произнесла Вера Маркеловна, поднимаясь из-за стола.

Отворив дверь, старуха увидела Фёдора, уже задолжавшего ей за несколько литров самогона и, судя по жалкому выражению глаз, вновь пришедшего за халявой.
— Здравствуй, Маркеловна. Помоги, ради Бога, в последний раз. Горят мои мартены, спасу нет, — жалобно попросил стоящий на крыльце.
— Извини, дорогой! Ничем помочь не могу. Нету товара. Милиция стала мной интересоваться. Отошла я от этого дела, — солгала Синюха, рассчитывая на помощь гостей и поэтому не боясь скандала.
— Выручи! А я тебе в конце недели две цены за весь мой долг дам. Проблем нет, деньги будут. Тебе же тоже бизнес крутить надо. Наплюй ты на этих ментов!
— Это кто тут на нас поплевать предлагает? — ехидно спросил Митрошев, возникая за спиной Синюхи и выходя навстречу посетителю. Вслед за ним выскочил и Конюкин, который, обогнав начальника, встал сбоку от подлежащего обработке субъекта.

Увидев милиционеров, проситель смутился сказанного, сошёл с крыльца и хотел было ретироваться, но Конюкин упёр в него дубинку, не давая отступить к калитке.
— Кто позволил вам, гражданин, оскорблять представителей власти при исполнении обязанностей? Предъявите документы! — грозно произнес майор.
— Да это Федька! Он на Карла Маркса живёт, — подала было голос Маркеловна, но замолкла, увидев свирепый лик повернувшегося к ней Митрошева.
— Ваши документы! — ещё раз потребовал тот.
— Мой паспорт лежит во втором сверху ящике комода. Комод стоит в западной комнате дома номер двенадцать по улице Карла Маркса. Дом требует ремонта… — отрапортовал неудачник, окончательно потерявший надежду выпить в долг и с отчаяния пустившийся в неуместную шутливую лихость.
— Понятно. Вы у нас юморист, значит. Обыщите юмориста, товарищ капитан, — сказал руководящий, и Конюкин начал постукивать по бокам досматриваемого, зажав между большим и указательным пальцем правой руки какой-то пакетик.
— Товарищ майор! Здесь что-то есть! — вскоре доложил проводящий исследование, вытащив свою пятерню, держащую подставной предмет, из кармана брюк обыскиваемого и передавая найденное главному.
— О, дак это ж марихуана! — гневно воскликнул последний, осветив «находку» фонарём.
— Какая марихуана? У меня в карманах пусто было. Это он подбросил! — возмутился «уличённый».
— Клевета на органы! — зычно констатировал командир.
— Свидетельница, подойдите сюда. При вас у этого гражданина изъят наркотик, — обратился майор к Синюхе, которая спустилась с крыльца и подошла, чувствуя себя очень неловко от неожиданного назначения свидетелем.
— Я про эти ваши дела слышал! — начал кипятиться озлобленный несправедливостью Фёдор, делая шаг в сторону и пытаясь уйти, но Конюкин в тот же миг заломил ему руку, повалил на землю, а затем надел наручники.
— Оказание сопротивления! — прояснил ситуацию шеф.

Стражи порядка вывели Евланова со двора и, заставив его сесть в машину, вскоре прибыли в здание златореченской милиции, где поместили задержанного в камеру, в которой тот провёл ночь, уснув на холодном, пахнущем тридцатыми годами двадцатого века топчане.

Когда наступило утро, в мрачное помещение вошёл майор Митрошев, празднично благоухающий туалетной водой.

— Гутен морген, херр заключённый! — с весёлостью сказал он, всё ещё находясь под впечатлением от вчерашнего прогерманского разговора с Верой Маркеловной, и стороны провели разрешающий суть сложившегося положения разговор.

— Я что, в гестапо ночевал?

— Нет, мы не в гестапо. Мы в нашей родной ментуре. Я родной российский мент, а ты родной российский криминальный элемент, а в недалёком будущем зек. Не переживай, срок тянуть будешь на местной зоне. Сейчас на отсидку далеко не возят. Накладно это.

— А почему всё так серьёзно?

— Ну сам посуди. Хранение и ношение наркотиков, нарушение покоя мирных граждан и, наконец, оскорбление работников милиции и оказание им сопротивления при задержании. Тебе посчитать, на сколько это потянет?

— Не обязательно. Перейдём к делу.

— Штука баксов, и я на первый раз закрою глаза на твои преступления.

— Много, не смогу. . .

— Ладно, пятьсот баксов к пятнице. Не соберёшь — мы дело заведём, и ты сядешь.

— Давай поменьше, майор. Я пока без работы. . .

— Меньше мне неинтересно. Мне тогда выгодней тебя посадить для улучшения показателей. Пора подполковника получать. Так что решай.

— Убедил…

— Ну, тогда здравствуй, свобода! Контракт подписывать не станем, но сам понимаешь. Надумаешь слинять, мы тебя всё равно отловим и закроем с учётом побега. Так что давай будем взаимно вежливы. Прошу на выход…

Выпроводив из здания милиции освобождённого из-под стражи, босс тут же был окликнут дежурным:

— Товарищ майор! Тут звонок поступил. Утопленник на Глинной косе.

— Ах ты же, японский городовой! Чего бы ему не плыть до самого Амура? Звони Конюкину… — огорчился Митрошев и пошёл в свой кабинет.

За чашкой кофе его застал телефонный звонок приятеля Виктора Потапова.

— Доброе утро, Виталий Павлович! — поприветствовал майора Болгарин, и между старыми знакомыми состоялась полная взаимопонимания беседа.

— Здравствуй, Виктор. Информируй.

— Хочу тебя увидеть по личному дельцу. Как насчёт баньки сегодня вечером?

— Давно пора. Чтоб коленки меньше щёлкали. У тебя ж веники есть?

— Ну а как без них-то?

— Ну так я прибуду в соответствии с утверждённым расписанием.

— Точно так!

Вскоре после окончания разговора в кабинете появился Конюкин, и милиционеры выехали в сторону Уссури. С трудом проведя автомобиль по бугристой лесной дороге, майор и капитан наконец оказались в том месте, от которого в реку внедрялась Глинная коса. Оставив машину на берегу, коллеги переобулись в резиновые сапоги и пошли пешком по косе, после прошлогоднего наводнения заваленной топляком, высохшим на солнце до костяного стука. Переступая через брёвна и перелезая через коряги, они добрались до оконечности косы, где увидели утопшего, плавающего лицом вниз в мелководном впячивании глинистого берега.

— Посмотрим, кто такой, — сказал Конюкин и, выбрав подходящую жердину, подтянул несчастного ближе к берегу. Митрошев достал верёвку, скрутил петлю и, умело накинув её на шею мёртвого, выбуксировал его на сушу.

— Я субъекта не знаю. На груди имеется вполне козырная картинка в виде Богоматери, — констатировал младший по чину.

Стоящий рядом начальник молчал, поражённый недоумением. С каждой минутой всё более укреплялась его уверенность в том, что извлечённый из воды был потерпевшим, недавней ночью сброшенным им с моста. Наличие приметной наколки неотвратимо опровергало любые сомнения в этом. Глядя на татуировку, майор постепенно анализировал происходящее. Мост находился километром ниже Глинной косы, и, следовательно, данный человек не мог приплыть сюда против течения. Скорее его снесло к Лесосплавску — единственному на том участке реки населённому пункту, где труп мог быть обнаружен активными людьми, способными транспортировать подобные объекты. Являлось вполне очевидным, что тело приволокли сюда на буксире, о чём свидетельствовал след от верёвки, пересекающий торс покойного. Было только неясно, кому могло захотеться вернуть «подарок» именно в Златореченск, и, напряжённо осмысливая это, Митрошев достиг понимания ситуации.

«Зуб, злодей, подлянку кинул!» — подумал он, имея в виду подполковника Зубенко, с которым их связывала давняя нелюбовь.

— Так что делать будем? — спросил Конюкин.

— А ничего не будем. Гражданин не наш, так что пусть путешествует. Или тебе охота с ним возиться? Больше-то некому. Васюков в командировке. Анютин в отпуске. Только ты, да я, да мы с тобой…

— Правильно, — согласился капитан.

— Ну, тогда пускаем предмет по течению. Пусть к китайцам плывёт, — заключил командир, и его метод избавления от проблемных находок был тут же применён на деле.

— Может, зря верёвку не сняли? — спросил Конюкин, когда не принятого златореченской милицией гражданина поглотило течение Уссури.

Не ответив на вопрос, Митрошев махнул рукой, и они побрели к машине, стоящей в безлюдных береговых зарослях.

С самого утра Мишутка не отходил от бабушки, плачущей из-за того, что Фёдор опять не пришёл ночевать.

— Скоро я найду братика, и тогда папа обрадуется и всегда будет спать дома,— сказал мальчик, пытаясь найти слова, необходимые для утешения.

— Конечно, Мишенька. Умничка ты у меня,— ответила Маргарита Марковна и погладила ребёнка по голове.

День катился своим чередом, и сквозь печальность настроения она, поглядывая в окно на гуляющего в огороде внучка, варила питание для Вулкана, Сайки, кур и семи диких утят, подрастающих в прилегающем к бане сарайчике. Мишутка, как обычно, бродил между капустными головами, вступая с ними в переговоры:

— Послушайте. Если я его найду, к нам вернётся мама, папа успокоится, и всё будет хорошо. Сайка пообещала, что у меня скоро будет брат. Мне очень нужно его отыскать.

Вилки не отвечали, но паренёк, привыкший к молчанию капустных существ, не ждал ответа, а просто пытался понять, где может находиться младенец.

— Мохнатый, а почему рядом с тобой такой холмик насыпан? Может быть, нужно его проверить?

Спросив это, он осторожно воткнул указательный палец в рыхлую землю подле ближайшего кочана и вдруг наткнулся на что-то твёрдое.

— Интересно,— произнёс малыш и удалил комки почвы, скрывающие загадочный предмет, оказавшийся запечатанной бутылкой водки, которую Маргарита Марковна припасла для оплаты какой-либо хозяйственной надобности и прятала в огороде от сына, имевшего обыкновение предпринимать поиск алкоголя повсюду, но никогда не догадывающегося разведать на собственном огороде.

Очень удивившись, Мишутка пошёл к дому, решив показать находку бабушке. Поднявшись по ступеням крыльца и войдя в веранду, он неожиданно обнаружил своего отца, сидящего на кушетке и сумрачно смотрящего в пространство. Фёдор Евланов, успевший раздобыть спиртного после выхода из милиции, был сильно пьян.

— Ну-ка дай!— потребовал родитель, забирая бутылку, отвинчивая пробку и начиная жадно поглощать водку.

— Папочка, не надо,— попросил испуганный сынишка, но рьяный выпивоха продолжал глотать.

— Господи!— страдальчески вскрикнула возникшая на веранде Маргарита Марковна.

— Папа выпил всю поллитру,— доложил мальчик, и она, ужаснувшись, присела рядом с сыном.

— О-у…— вдруг простонал тот, хватая себя за грудь ладонями, валясь на кушетку и мотая головой из стороны в сторону. Его тело судорожно напряглось, а из открытого рта вырвался призрачный дымок.

— Горит…— с отчаянием произнесла женщина, знавшая, как и любой житель Златореченска, что подобный симптом является предвестником гибели пьяницы, и добавила:— Мишенька, быстро неси свой горшочек, он под кроваткой. Только сикушки не разлей.

Получив задание, внук тут же умчался в спальню, а через несколько секунд уже вернулся с ночным горшком, еще хранящим не вылитое по забывчивости содержимое.

Придвинувшись вплотную, Маргарита Марковна заставила сына сесть и приложиться губами к горшку, будучи наслышанной, что данным народным средством можно спасти умирающего от перепоя.

— Всякую гадость глындал— и это сможешь!

Ошеломлённый обрушившимся нездоровьем, Фёдор не стал перечить матери и, дрожа веками мучительно зажмуренных глаз, пил солёную жидкость, проливая её себе на грудь. Нахлебавшись до изнеможения, он откинулся на ложе.

— Принеси подушку, пожалуйста,— попросила она, и Мишутка стремительно сбегал за собственной подушкой, которую они вместе подложили под голову больному, после чего тот уснул, прерывисто и шумно дыша.

Сходив за трёхсотлетней семейной иконой, плачущая Маргарита приспособила её у кушетки и, встав на колени подле спящего, начала молиться.

Вечером этого дня Митрошев подъехал к дому Вити Болгарина. Прислуживающий неженатому деловому хозяину Тимофей Заходулин уже натопил баню до безупречно высокого градуса. Майор позвонил Виктору на мобильник, после чего один из самых успешных лесоторговцев Златореченска вышел из сделанной под русский терем избы и встретил гостя во дворе, красиво замощённом ассиметричными каменными плитами.

— Здравствуйте, господин офицер! Присоединяйтесь к нашей компании,— приветливо сказал Болгарин, улыбаясь майору.

Непринуждённо разговаривая, они проследовали в банную пристройку, где при неярком освещении за накрытым Тимофеем столом сидели две смело смотрящие девушки, уже кушавшие и державшие в тонких руках высокие бокалы.

— Знакомьтесь!— призвал Болгарин.

— Меня зовут Павел,— представился Митрошев, садясь на скамью и облокачиваясь локтями о край стола, уставленного подносами со всякого рода едой, заказанной в ресторане у местного кулинарного искусника Алика.

— Тебя зовут не Павел, а Виталий. А я Любаня,— сказала одна из девушек, подсаживаясь к Митрошеву, беря со стола бутылку коньяка и собираясь налить гостю.

— Всё-то ты знаешь,— весело пробалагурил тот, не отказываясь от предложенного.

— Его зовут комиссар Катани,— вступила в разговор другая девица, представившаяся Манюней.

— Насколько я помню, Катани в конце фильма грохнули, и поэтому я не хочу им быть,— с мудрой улыбкой ответил златореченский полицейский, и Манюня согласно кивнула, показывая этим, что, конечно же, не станет больше использовать непонравившееся имя.

Болгарин протостовал всеобщее здоровье, и под лёгкую музычку, заведённую где-то в углу незаметным Тимофеем, собравшиеся выпили,

а затем стали отламывать куски от заваленного маслинами шипастого осетра, длинно лежащего в центре стола. С удовольствием наедаясь вкусного, девчонки плавно раскачивались в такт музыке и с радостным ожиданием поглядывали на мужчин, которые, однако, вскоре поднялись и вышли на крыльцо бани, где милиционеру, видимо, должна была быть изложена суть просьбы.

— Красивые девки,— похвалил приглашённый, закуривая и радуясь предстоящей утехе.

— Не спорю. Это потому, что Лёха в свой «Парадиз» сам работниц принимает и фейс-контроль лично ведёт,— пояснил Виктор.

— Ты вообще умеешь шикарно обставляться,— продолжил майор, захватывая инициативу разговора и торопясь по привычке заявить вопрос личной выгоды перед тем, как сам будет попрошен об услуге.— Хочу тебе неплохую цацу предложить. Как говорится, прекрасное к прекрасному,— сказал он, отчего Болгарин, столкнувшись с неприятным корыстолюбием товарища, внутренне омрачился.

— Что за цаца?

— А вот глянь, коль интересно,— ответил Митрошев, доставая из кармана небольшой бархатный мешок и извлекая из него золотую цепь, собранную из крупных ромбоподобных звеньев. К цепи была прикреплена иконка с мастерски сделанным изображением Божьей Матери, украшенным зелёным камнем, легко сверкающим на свету.

— Неплохая штука,— отметил Потапов, принимая цепь с иконой на ладонь.— Где взял и что хочешь?

— Человечку одному я грех простил. Он подарком спасибо сказал. О том, сколько вещь в натуре стоит, мы и говорить не будем: золото высшей пробы, икона — красавица, сам видишь, да и изумруд не поддельный. Но с тебя я по-братски всего две штуки баксов попрошу,— заявил продавец наполненным душевной мягкостью голосом.

— Спасибо, не откажусь. Ну и пошли обмоем покупку...— завершил перекур новый собственник драгоценной иконы, и они неторопливо вернулись к застолью.

— Можно попариться!— воззвал Тимофей, увидев хозяина.

— И то верно! Начинайте, девчонки, не стесняйтесь!— согласился тот, и привыкшие к трудовой дисциплине красотки, вмиг стянув блузки и юбки, тут же принялись снимать одежду с мужчин.

— Подожди,— воспрепятствовал Болгарин и, не давая Манюне себя раздевать, распорядился:— Тимофей, попарь пока девушек. Мы к вам присоединимся позднее.

— Да я, как бы это...— нерешительно произнёс засмущавшийся старик.

— Не робей, Тимофей Аббасыч. Девушки культурные, не обидят,— подбодрил его организатор банкета, и помощник уединился в парной с дивными Любаней и Манюней. Вскоре оттуда послышались шуршание веника и оживлённый монолог стесняющегося банщика, очарованного наготой прекрасных гостий.

Владелец терема налил в рюмки. После того как они с Митрошевым выпили, он сидел, молча глядя в маслиновые глаза осетра, ожидающего своей участи быть доеденным участниками встречи. Гость также некоторое время безмолвствовал, с приятностью настраиваясь на получение двух тысяч долларов, но, стремясь ускорить продолжение событий, наконец выразил нетерпение вопросительной фразой:

— Так чем я могу тебе помочь с моим превеликим удовольствием?

— Ты в курсе, что у меня родной младший брат есть?— в свою очередь задал вопрос Виктор, и приятели приступили к обсуждению взаимосвязи событий прошлых лет с текущими делами.

— По-моему, ты когда-то говорил мне, что у тебя есть брат и что ваша мать после развода с отцом его куда-то увезла.

— Да, она за болгарина замуж вышла и уехала с ним жить в Варну. Лёвка к матери лип, а я как-то больше с отцом ладил, поэтому он с ней отбыл, а я остался.

— Молодцы родители, по-людски эту тему порешили. Никто из-за детей быковать не стал. Теперь ясно, с чего ты погоняло «Болгарин» получил, хотя и не совсем пойму почему. Не ты же в Варну уехал, а брательник.

— Сам не знаю как, но сразу после маманиного отъезда ко мне эта кликуха прилипла. Видно, все думали, что и я скоро в Болгарию перееду. Мне, кстати, туда пора собираться. Лёвке отчим подняться дал, и они меня к себе зовут. Здесь теперь другие серьёзные пацаны верх берут. Недавно Каравая завалили; боюсь, и меня могут подстрелить. Так что дела я сворачиваю.

— Нормально, что есть куда свалить.

— Короче, Лёвка сюда приехал, чтоб на могиле отца побывать, а потом со мной вместе в Варну ехать.

— Да что ты? А где же он? Почему твоего брата нет за этим столом?

— Связался этот герой с бабой здешней. В Варне была она на курорте, и там брателло от неё ошалел. К тому же из наших мест она. В общем, сильно он настроен с ней тут пообщаться. Чуть ли не у мужа увести её хочет. Короче говоря, три дня назад они сваськались, и Лёва к ней вечером пошёл. Машину не взял, чтоб не светиться. И с тех пор не появлялся. Сотовый недоступен.

— Понятно. И что ты об этом думаешь?

— Не знаю пока, что думать, потому тебя и позвал.

— Что за баба?

— Челканова жена.

— Это который топливом занимается?

— Да...

— Неспокойный у тебя братик. Нашёл под кем подгребать. Думаю, прихватили их мужик её с братвой и держат его под запором. Ну ничего. Я с Челканом в ладах.

— Потому тебя и звал...

— Без проблем! Братан твой должен с этой гнилой бабской темы съехать. Ты ему лучше «Парадиз» почаще подтягивай. А Челкану я прямо сейчас позвоню...

— Не надо!— остановил майора собеседник, в чьём голосе прозвучала неожиданная жёсткость.

Митрошев тотчас отложил телефон, чувствуя огромность происходящей перемены, пытаясь

предугадать дальнейшее. Он ужаснулся ярости, появившейся вдруг на лице Виктора, и, пожалев, что оказался в этой бане без табельного оружия, произнёс:
— Не понял…
— Сначала посмотри вот сюда,— сказал Потапов, расстёгивая свою рубаху и показывая золотое изделие, висящее на его шее и бывшее абсолютно аналогичным вещи из бархатного мешка.

Увидев у товарища этот дубликат, глава законосмотрителей Златореченска ощутил предчувствие, предвещавшее скорую и жестокую борьбу за жизнь.
— То, что ты мне втулил,— болгарская Богоматерь, изготовленная в двух экземплярах ювелиром Калованом Богомиловым, который живёт в деревне Куара под Варной. Одну вещь Лёвка сам носил, а вторую мне подарил, когда сюда приехал. А теперь скажи: как цаца к тебе попала?— с гневной быстротой выкрикнул хозяин, поднимаясь со скамьи и начиная приближаться.
— Витяй…— растерянно пробормотал начальник милиции, также вставая.
— Говори без фуфла,— предложил торговец деревом, после чего состоялось финальное объяснение.
— Туман ночью был. Да ещё дождь пошёл. Видимость нулевая. Сбил я случайно мужика какого-то на мосту. С него эта цепура…
— А сам он где?
— В Уссуре… Мёртвый он был. А мне, сам понимаешь, такие дела ни к чему. Потому и сбросил я его. Не знал ведь я, что это брательник твой…

Услышав сказанное, Болгарин пробормотал что-то неясное, отступил на шаг, а затем, кривясь от душевной боли, прошептал:
— Убью, нелюдь…

Не дожидаясь схватки с крутым корешком, имевшим славу очень умелого в драке бойца, майор малодушно подался к двери. Рванувшись вслед, Виктор сделал беглецу догоняющую подножку, от чего последний рухнул вперёд, непоправимо тяжко ударившись головой о край железного бочонка, стоявшего у выхода. Сражённый жестокой травмой, милиционер распластался на полу, и хозяин опустил изготовленные для кулачного боя руки.

Ночь уже завладела пространством, в котором древняя Уссури неустанно катится по петлеобразному руслу, огибающему Златореченск. Ничего, кроме тишины, главенствующей в поднебесной прохладе, не сопровождало машину Вити Болгарина, везущего к мосту неживого командира златореченских бойцов правоохраны, привалившегося к стеклу окна сочащейся кровью головой. Приехав на место, Потапов остановил автомобиль и, открыв дверь, позволил бывшему приятелю вывалиться на дорогу. Затем он перебросил майора через ограждение, дав телу упасть в отбрасывающую лунный отблеск воду реки. Уравняв таким образом ситуацию Митрошева с положением своего брата, Виктор некоторое время стоял, пребывая в горестном и прощальном состоянии души, а затем сел в машину и помчался по тёмному шоссе в сторону города, рассчитывая к утру прибыть в аэропорт и успеть к первому московскому рейсу.

— Доброе утро, дитя моё, попей молочка!— поприветствовала Маргарита Марковна пробудившегося сына.
— Здравствуй, мама,— ответил тот, с благодарной жадностью припадая губами к кружке, и после того как его жажда была утолена, долгожданный диалог состоялся на зашторенной розовыми занавесками веранде.
— Не переживай, Федя, наладится жизнь. По твоим глазам вижу, что теперь наладится. Горел ты вчера. Если бы не Мишуткин горшок, амба бы была. Дошёл ты до края и обратно вернулся. Так что теперь дорога одна— оттуда сюда.
— Да, мамуля. Готов я. Но не только в этом дело.
— Что ещё?
— Прихватил меня Митрошев на пятьсот долларов. Если к пятнице не соберу, тюрьма мне будет.
— А что ты натворил-то?
— Ничего. Как лоха заломали, подбросили в карман пакет с коноплёй и теперь шьют наркотики и сопротивление милиции.
— Понятно— так же, как Митрофанова и Абабкина. Те откупиться не смогли. Давно уже сидят.

Некоторое время они молчали, глядя в свои мысли, у обоих сошедшиеся к вопросу сбора денег для взятки.
— Свинина стоит шестьдесят рублей за килограмм. Сайка уже килограммов сто двадцать набрала— отличная чушка. По-хорошему, долларов триста за неё можно взять. Остальное собрать Бог поможет. Пойду по людям занимать,— предложила решение мать, и сын согласно закивал головой.
— Сладим как-нибудь. Нам главное— от тюрьмы отбиться да тебя из пьянки вытащить. Работать пойдёшь!— продолжила родительница, и они возобновили обмен соображениями.
— Куда, мама? Где у нас работа?
— Шмельков завод питьевой воды открыл. Слышала я, что нужны им водители с личными грузовиками. Хорошо платить будут! А потом кредит возьмёшь и своё дело откроешь…
— Эх, мама, начиталась ты про кредиты! Да и грузовик не меньше восьмиста баксов самый дровяной. Где же их взять-то?
— С такими мыслями, Федя, нельзя вперёд смотреть. Какие мысли, таково и твоё будущее. Веселее!
— Ладно. Короче, надо свинью колоть. А я на это дело слабоват.
— Соседа Валяева позови. Он и заколет, и тут же мясо купит. Попроси его прямо сегодня. Пока мы с Мишенькой на кладбище сходим, вы всё и порешите. Да смотри, чтоб не визжала свинья на весь посёлок. Мишутка её в друзьях держит. Нельзя, чтоб ребёнок это видел и слышал.

Спустя полчаса Евлановы сидели за завтраком, и Мишутка, давно не видевший отца у семейного стола, безотрывно смотрел на него, воспринимая присутствие папы как долгожданное и наконец осуществившееся событие. Фёдор был трезв, улыбался, и сынишке очень хотелось закрепить доброе

настроение папули своей уверенностью в скором нахождении братика.
— Ну, давайте все по делам. Мы с Мишенькой к дедушке, а ты, папа, дров поруби да межи прокоси,— сказала бабушка, когда завтрак был закончен.— Пойду деду цветочков срежу,— сказала она, выходя из дома в огород.

Оставшись с отцом наедине, Мишутка решительно привлёк к себе его внимание:
— Папочка, ты только больше не уходи. Скоро у нас в семье появится мой брат, и ты нам будешь очень нужен. Я думаю, что и мама вернётся, как только узнает про это.

Услышав сказанное, Евланов-старший внимательно посмотрел на сына.
— Прости нас с мамой,— пробормотал он, чувствуя прилив нежности.
— Не расстраивайся! Второй ребёнок вас помирит!— оптимистично воскликнул малыш.
— Да уж и не знаю теперь, как мы его сможем обеспечить,— задумчиво проговорил бывший супруг Мишуткиной матери.
— Сайка сказала — брат будет, а как его найти — это моя забота. Ты только не уходи,— обнадёжил мальчик.

«Надо мне в самом деле дома почаще бывать да за этим сорванцом приглядывать»,— озадаченно подумал Фёдор.
— Я больше не уйду,— пообещал он, и паренёк обрадованно поцеловал отца в давно не бритую щёку.

Вскоре бабушка Маргарита и внук вышли за калитку и направились на окраину Златореченска, туда, где в шелесте уютного леса находится старинное кладбище, в котором многие могилы уже скрылись в земле вослед давно сошедшим в них хозяевам, а свежие надгробья возникают почти каждый день, неустанно пополняя город мёртвых новыми жильцами. Проделав необходимый путь, они наконец вошли в прохладу покойной рощи и приблизились к могиле Мишуткиного деда.
— Ну, здравствуй, дедушка наш. Смотри, кто к тебе пришел. Внучек Мишенька пришёл,— ласково поздоровалась Маргарита Марковна, улыбаясь фотографии своего супруга.
— Сейчас мы наведём тут порядочек,— добавила она, наклоняясь и начиная выщипывать разросшуюся растительность.

Некоторое время Мишутка с грустью смотрел на дедушкин портрет, а затем нарвал пучок длинных травин и начал обметать им надгробную плиту.

Пока бабушка и внук работали на кладбище, к дому номер двенадцать по улице Карла Маркса подъехал легковой автомобиль-универсал, доставивший Мишуткиного отца и соседа Кузьму Сидоровича Валяева, приглашённого для превращения тела свиньи Сайки в деньги, столь необходимые семье, попавшей в тяжёлую житейскую ситуацию.
— Сидорыч, у меня к тебе просьба. Заделай её тихо. А то у нас как начнут свиней забивать, так они визжат на весь район. Не хочу, чтоб мой сын слышал эти вопли,— попросил заказчик работы, и партнёры обсудили возможность гуманной экзекуции.
— Без проблем, Федя. Я же на бойне трудился. Я свинье — первый друг. Я их зарезаю так, что они об этом не успевают узнать. Они у меня просто засыпают.
— Это как?
— Главное, Федя, её не напугать заранее, а ножик воткнуть неожиданно, и чтоб пробить сердце или лёгкое. Когда кровь сбежит в диафрагму, она ляжет и уснет.
— А когда нож воткнёшь, она орать не будет?
— Нет. Мой ножичек тонкий, как шило. Колет не больнее комара.
— Ну, тогда к делу,— подытожил Фёдор, и продавец с покупателем направились во двор.
— Положи куда-нибудь,— попросил Валяев, передавая Мишуткиному отцу ворох мешков, предназначенных для упаковки свиного мяса, извлекая из ножен тонкий длинный стилет и пряча его в рукаве.
— Зайдём вместе, чтоб она видела хозяина и не боялась чужого. Мне желательно дать ей какой-нибудь хавчик, типа хлебушка,— сказал сосед, и когда хозяин принёс ему кусок хлеба, кивнул головой, обозначая этим полную готовность.

Они вторглись в свинарник, в углу которого стояла огромная Сайка, и улыбающийся Валяев начал говорить комплименты, а затем поднёс прикормку, отчего польщённая хрюшка совсем не стала бояться нежного человеческого самца и легко подпустила его к своему левому боку.
— Какая ты у нас красавица!— ласково прошептал друг свиней, медленно приседая на колено и незаметно выпуская из рукава клинок.

Удобно приспособив его в руке, он выждал момент, когда жертва повернула голову вправо, перестав контролировать движения гостя-джентльмена левым глазом, а затем резко пырнул ножом под левую переднюю ногу.

Изумлённо хрюкнув, Сайка отпрянула в сторону, а затем, издавая звуки, похожие на горестные вздохи, пошла кругами, иногда останавливаясь и снова возобновляя беспокойное хождение. Во избежание столкновения с раненым копытным, Валяев и Евланов покинули помещение, наблюдая за происходящим снаружи через грязное маленькое окошко.
— Теперь ждать надо,— сказал специалист по «мягкому» свинозабою, закуривая.
— Долго?— спросил Фёдор, заинтересованный в быстрой развязке казни ввиду скорого возвращения своих домашних.
— Минут пять-десять. От организма зависит…

Когда истекли десять минут, а затем прошло и полчаса, Евланов, постоянно смотрящий на часы, занервничал, что привело к новому объяснению.
— Слушай, а почему так долго? Мои скоро вернутся…
— Не знаю, Федя. Я же говорю — зависит от организма. А она у вас вон какая здоровая…
— А если ты куда надо не попал?
— Это вряд ли!
— Может быть, ты это… Ещё разок кольнёшь?
— Нет. Я не спешу. Если сомневаешься, сам коли.

Замявшись от сделанного предложения, собственник свиньи сначала отрицательно покачал

головой, но потом, вспомнив о скором появлении впечатлительного сынишки, решился ускорить дело и попросил нож.

— Резче коли,— напутствовал сосед, когда превозмогающий волнение хозяин отважился войти к неумирающей Сайке, как ни в чём не бывало хлебающей воду из корытца.

Копируя повадки Валяева, он заулыбался и, медленно приближаясь, сказал:

— Ты уж прости нас, подруга!

Услышав голос, Сайка бросила питьё и метнулась в угол, нервно смотря сильно покрасневшими глазами.

— Извини, надо! Скоро Мишутка вернётся,— грустно произнёс Фёдор, приближаясь всё решительнее и крепче сжимая стилет в заведённой за спину руке.

Неожиданно передние ноги свиньи подогнулись, и она, упав на колени, положила голову на пол, а затем повалилась набок. Глаза упавшего животного потускнели и наполнились влагой.

— Спасибо тебе,— поблагодарил несостоявшийся экзекутор, испытывая облегчение и вытирая выкатившиеся у него слёзы.

— Первый раз такое — пятьдесят пять минут. Очень крепкая! — констатировал вошедший Валяев.

— Ну, давай по-быстрому разделывай…— обратился к нему торопящийся отец, и эта реплика спровоцировала новый обмен пререканиями.

— Не соображу, Федя. Как по-быстрому? Такого уговора не было. Ей часа два ещё надо, чтоб кровь стекла. А иначе мясо с кровью будет. Некоторые, конечно, любят, но с коммерческой точки зрения кровянка — товар неходовой. Я думал, мы с тобой пока под свеженину с перчиком флян даванём…

— Сидорыч, надо бы успеть до того, как сын вернётся.

— Федя, я извиняюсь. Но ты же мне эту свинью купить предлагаешь. Я ведь платить должен. А раз так, то должно быть качество. А если не так, то с тебя за работу литр белого, литр красного — и я пошёл.

— Ладно, тогда давай закроемся и…нет у меня ничего…

— Жаль, что нет, но это поправимо. Я сейчас из машины принесу,— сказал Валяев, выходя из сарая, и, вскоре вернувшись с бутылкой самогона, сделал заказ: — Добудь чёрного перцу и кружку, пожалуйста.

Сходив в дом, Фёдор принёс перец, кружку и банку с берёзовым соком.

— Это зачем? — спросил Сидорыч, имея в виду берёзовый сок.

— Тебе под запивон и мне вместо пойла. Я в завязке.

— Ну что ж, дело барское! Ты сок пей, а мне другой запивон нужен,— плотски вымолвил Кузьма, подходя к зарезанной свинье, и попросил: — Помоги!

Вместе они перевернули Сайку вверх ногами, закрепив её в таком положении двумя ящиками, после чего мясных дел мастер снова достал нож и вспорол свиное брюхо, наполненное тёмной кровью.

— Вот оно — здоровье,— восхитился он, зачерпывая кружкой и начиная пить.

— Ты прям вампир,— отреагировал Фёдор, испытывая отвращение, но не выказывая его ввиду предстоящей коммерческой сделки.

— Эх! Ну а теперь по стопе,— радостно воскликнул Валяев, поставив опорожнённую кружку на бочку и наливая самогон в пластиковый стакан.

Выпив, он с наслаждением закусил полоской поперчённого сырого мяса, а затем принёс из машины несколько стеклянных банок и принялся наливать в них драгоценную кровь, планируя применить её для изготовления домашней колбасы.

Когда часы «Звезда», стоящие на пахнущем травами комоде, дребезжаще пробили два часа дня, к дому подошли вернувшиеся с кладбища бабушка Маргарита и Мишутка.

— Чья это машина? — поинтересовался внук, и Маргарита Марковна, сообразившая, что дело, которым занимается сын, ещё не завершено, увела мальчика в дом, сказав: — Это дядя папе машину оставил посмотреть. Барахлит там что-то. Карбюратор, что ли… Давай пообедаем и будем баиньки.

Усадив мальчика за стол, она пошла к свинарнику, чтоб разведать суть ситуации, и постучала в дверь, в результате чего сын открыл и… замер с испуганным лицом.

— Что? — спросила женщина и тут же сама ахнула, почувствовав прикосновение ребёнка. Вцепившись в бабушку, тот смотрел на окровавленного Валяева, терзающего ножом его любимую Сайку. Через мгновение парнишка трагично всхлипнул, бросился прочь и, забежав в дом, с плачем упал на свою кроватку.

— Уйди! Вы плохие! — закричал младший Евланов, когда горько сопереживающая бабушка вошла и притронулась к нему.

— Прости, Мишенька. Нам очень денежки нужны, чтобы папу выручить. Поэтому мы так с Сайкой поступили,— стала оправдываться она, гладя страдальца по голове и спине своей источающей всеоправдывающую доброту рукой.

Часы «Звезда» пробили семь часов вечера, а бабушка и Мишутка всё ещё пребывали в том же месте и в тех же позах. Слушая историю за историей, внук с трудом успокаивался.

— Сайка папу спасла? — спросил он.

— Конечно, спасла, миленький…— прошептала утешительница.

Повернувшись наконец к бабушке лицом и произнеся: «Как же я теперь братика найду?» — Мишутка заснул.

Закончив упаковку частей свиной туши в мешки, Кузьма Валяев и Фёдор Евланов загрузили товар в машину и перевезли его в недалёкий валяевский дом. Вышедшие навстречу сыновья Кузьмы шустро перетащили доставленное в амбар, в котором стояли весы. Крепко выпивший батёк двух спорых молодцов взвешивал свинину долго, зажмуривая почти слепой левый глаз и нещадно напрягая правый. Подсчитав килограммы и скрестив их с денежными знаками на калькуляторе, он опять

что-то долго вычислял и наконец вынес продавцу свой вердикт:
— Одиннадцать мешков!
— Каких мешков? — спросил встревоженный Фёдор.
— Мешков сои, чего же ещё… — ответил Валяев. — Загружайте, ребята, и отвезите… — добавил он, обращаясь к парубкам, которые тут же направились в угол амбара, заполненный полными мешками до самого потолка.
— Так, Сидорыч, подожди! Сою себе оставь! За мясо ты мне должен триста баксов.
— А нет у нас денег-то! Откуда? — развёл руками покупатель. — Нашей артели зарплату соей платят. Такой вот бартер, будьте любезны! Мой свояк унитазы делает, так им зарплату унитазами начисляют. А я же тебе не унитазы даю, а хороший ходовой товар. Забирай! Если ты эти мешки китайцам продашь, так можешь и четыреста баксов сделать. Они нашу сою любят, потому что она у нас экологически чистая, а не как у них — с гербицидами и транс… транс…
— Трансгенная.
— Во-во! — добродушно воскликнул Валяев.
— Долго базарить не будем, — улыбнулся эрудированный Евланов и, достав из кармана спичечный коробок, бросил зажжённую спичку на стоящий неподалёку сенной валок.
— А-а! — дико закричал Кузьма Сидорович, порываясь тушить возникший огонь, но остановился, испугавшись неожиданного поступка Евланова, который, взяв наперевес попавшиеся под руку вилы, преградил хозяину и его сыновьям путь к разгорающемуся огню.
— Что ж ты делаешь, бандит?! — возмутился Валяев, не решаясь приблизиться к остриям вил.
— Триста баксов! Иначе я твои домики под корень спалю!
— Эх! — закрутился на месте Валяев. — Андрюха! Принеси. А ты воды тащи! — отдал он наконец распоряжения своим хлопцам, и те бросились вон из амбара.

Мишутка спал, и цветные сны посещали его. В видении, похожем на розовое небо, к нему пришёл дедушка Дмитрий Прохорович Евланов, одетый в красивый кремовый костюм и напоминающий известного американского актёра, чью фотографию мальчик видел в старом журнале, валяющемся на чердаке рядом с гипсовой статуэткой, которую бабушка называла «Ленин». Дед поблагодарил внука за вчерашний визит и сообщил, что из него получится очень хороший и надёжный человек, что следует из того, как преданно он любит всех членов своей семьи.

«Плохо, что ты, деда, уже не с нами. Мама и папа расстались, когда тебя не стало. А ещё мне тебя очень жалко и страшно умирать самому. Я не хочу, чтобы люди умирали», — сказал внучек. «Страшно только с той стороны, а с этой уже совсем не страшно, а даже наоборот. А тебе вообще рано об этом думать. Ты будешь жить очень долго и сделаешь много доброго», — ответил Дмитрий Прохорович, улыбаясь и утверждающе кивая головой.

«Дедушка прав. К тому же никто не умирает совсем. Часть меня, например, скоро воплотится в красивый грузовик твоего папы», — произнесла появившаяся рядом Сайка. «Это хорошо! Но как же я без тебя найду брата?» — воскликнул Мишутка, обрадовавшийся ей не меньше, чем дедушке. «В этом поможет твоя мама», — успокоила его хрюшка. «Кстати, она тебя уже ждёт», — доложил дед, и после этого сон ребёнка прервался.

Открыв глаза, он увидел свою маму Светлану Степановну Евланову, сидевшую рядом и с улыбкой ждавшую его пробуждения.
— Ах! — осчастливленно вздохнул мальчонка, когда мама Света обняла его.

Узнав о долговой яме, ставшей уделом семьи благодаря её бывшему мужу, Светлана Степановна, приехавшая из города ночным поездом, чтобы навестить и приодеть дитятко, с пониманием дела покивала головой. Однако она не стала говорить лишнего, а просто добавила двести долларов к трёмстам, вырученным от продажи свиньи Сайки, чем несказанно всех осчастливила.

В то время как ребёнок практически не отходил от мамы, радуясь ей больше, чем привезённым подаркам, Фёдор Дмитриевич также продолжительно сидел рядом, понуро и ласково разговаривая на всяческие забавные темы. Маргарита Марковна, положившая в укромное место пятьсот долларов, гарантирующих её сыну избавление от тюрьмы, тоже поглядывала на бывшую невестку с искренней симпатией. В светлом согласии, окрашенном приятностью встречи и добрым делом, совершённым Светой, закончился четверг. Когда его завершила темнота предпятничной ночи, Мишутка был положен спать в свою кроватку, а Фёдор попросил постелить ему на веранде. Готовясь ко сну, Маргарита Марковна и Мишуткина мама присели побеседовать в гостиной.
— Слава Богу, — сказала бабушка Маргарита, узнав, что Светлана не собирается забирать сынишку в город.
— Да и я подумать решила… — сообщила молодая женщина, вздохнув и глядя в сторону с большой серьёзностью.

Вознамерившись было спросить о предмете её раздумий, старейшая из Евлановых осеклась и, желая закончить разговор на этой понравившейся ей ноте, напомнила о необходимости пописать с мальчиком, перед тем как отойти ко сну.
— Я сделаю, — сказала мама Мишутки и пошла в спальню, тогда как мама Фёдора Дмитриевича удалилась в свою комнату, где, выключив свет, легла в постель, будучи вряд ли в состоянии уснуть, имея в повестке осмысления длинный список вопросов, касающихся состояния дел в её семье.

Когда Света взяла горшок и подняла сынишку, тот проснулся и поведал о предстоящем появлении брата как о событии, способном помочь мамочке вернуться к папе.
— Сайка сказала, что ты знаешь, где найти братика, поэтому завтра нам с тобой нужно вместе погулять в капусте… — пробормотал мальчик, снова уходя в сновидения.

— Бедный ты мой,— прошептала мать, целуя дитя и капая на него своими слезами.

Бодрствуя в постели, Маргарита Марковна, способная легко понять причину каждого ночного звука, возникшего в любом уголке дома, отчётливо услышала шорохоподобные шаги босых ступней, хозяин, а точнее, хозяйка которых явно направлялась в сторону веранды. Лёгкий скрип осторожно открываемой двери скоро подтвердил её догадку, и, различив вопросительно-приподнятые интонации женского и мужского шёпотов, Маргарита счастливо улыбнулась, а затем, сев на кровати, начала молиться небесам, крестясь в сторону трёхсотлетней семейной иконы, стоящей на пахнущем сухими травами комоде.

Наступило утро зловещей пятницы, сулившей семье встречу с жестоким кредитором — майором милиции Митрошевым. Рано позавтракав, все занимались своими делами, сохраняя серьёзность и не допуская долгих разговоров. Фёдор Евланов усердно колол поленья, уединившись в хозяйственной части двора, в то время как Мишутка с мамой гуляли на капустных грядках, а бабушка Маргарита по большей части была заметна на кухне.

К одиннадцати часам во дворе залаял Вулкан, и, услышав это, Мишуткин отец отложил топор, а Маргарита Марковна приостановила свою работу. Выйдя к калитке, мать и сын встретились с кредитором, оказавшимся, однако, не Митрошевым, а Анжеликой. За спиной златореченки приветливо улыбался пожилой мужчина, бывший её отцом и большим любителем «Москвича-412» — продукции знаменитого завода, давно исчезнувшего с карты отечественного автомобилестроения.

— Если вы помните наш разговор, то мы должны забрать вашу машину,— вежливо сказала девушка.

— Конечно,— печально вымолвила Маргарита Марковна и попросила сына отпереть гараж.

Внутренне страдая, Фёдор открыл ворота и передал ключи от автомобиля улыбчивому папе Анжелики. Выехав к собравшимся уже на собственном «ретро-авто», пенсионер Терешнев выразил удовлетворение тем, что у данного образца имеется очень редкий для «Москвичей» костяной руль. Он дал бывшим владельцам знать о планируемой перестановке понравившегося рулевого колеса на собственный «Москвич», чем окончательно их расстроил, вероятно, об этом не догадываясь, будучи во власти добро-наивной радости.

Обсудив все предстоящие превратности переучёта транспортного средства, девушка-кредитор перешла к другому вопросу.

— Болгарин пропал,— тихо сообщила она, отведя хозяев в сторонку.

— Вот те раз! — посочувствовала Маргарита Марковна.

— Ужасно! Только понравится человек, так не судьба…— прошептала Анжелика и не смогла удержать накативших слёз.

— Что случилось-то? — проявил любопытство Евланов.

— Пока точно не известно ничего. Их с Митрошевым видели у Вити дома. В бане они были. С девками…— пролепетала дочка бывшего колхозника Терешнева и, не выдержав слова, произнесённого последним, всплакнула ещё сильнее.

— Сгинули вместе…— расстроенно вздохнула она и, помолчав, опять начала говорить: — Я Вите триста долларов должна. А поскольку ему отдать пока не получается, то отдам их вам за машину. Иначе поступить не могу. Если он появится, свои деньги у вас сам заберёт,— сказала Анжелика и протянула хозяйке три стодолларовых купюры.

После передачи валюты посетительница села в «Москвич» рядом со своим папой, который повёл семейную реликвию Евлановых прочь по улице Карла Маркса. Проводив родной автомобиль в торжественно-грустном молчании, Маргарита Марковна и Фёдор вернулись в дом, где полученные триста долларов были объединены с пятьюстами, уже имевшимися в тайнике.

— Так сколько стоит грузовик? — спросила мама у сына.

Как сдержанна и некичлива своей силой река Уссури в бестайфунные недели лета! Как горячи её светло-галечные дикие пляжи при открытом солнце, и как комарино-прохладны они в прозрачно-сумеречном освещении яркой луны! Сколько веков вьёшь ты свои изгибы из тех мало кому знакомых таёжных мест, где кедровые дебри переплетены виноградными лианами, а шорох листвы грозит оказаться поступью уссурийского тигра? Наверное, кто-то сможет ответить — сколько, но, вероятнее всего, этого не захочется слушать. Скорее, возникнет желание смотреть с шатающегося подвесного моста в перевитую колышущимися водорослями желтовато-тёмную воду, радоваться пышному виду прибрежных лесов и, взглянув на золотой церковный купол, сияющий среди лиственного великолепия, сказать: «Я здесь, Отче! Увидь меня!» Затем станет нужным помолчать и быть тут как можно дольше, ибо нечто необъяснимое склоняет человека к блаженному подчинению магии реки, если… он жив.

Но никто не может приблизиться к пониманию того, как соотносится с речной сутью ещё парящая неподалёку душа ушедшего, бесцельно путешествующего в стремнине после своей смерти. Разумеется, никто, кроме Всевышнего, с чьего ведома, вероятно, совершается и заканчивается каждый жизненный путь. И если принять версию предрешённости всего происходящего волей Создателя, то участь неприкаянного утопленника, выпавшая на долю Лёвки, может представиться здравомыслящим людям не столь уж горькой. Кроме, конечно, таких людей, как его брат Болгарин, беззвучно рыдающий у иллюминатора самолёта, летящего из Москвы в Варну.

А между тем Лёвка продолжал путешествие в водах Уссури, вновь приближаясь к Лесосплавску, возле которого река подпитывается мощными родниками. Попав в зону действия ключевых струй, тело, как и в прошлый раз, оказалось в потоке, стремящемся к Коровьему острову, и вскоре остановилось на приостровном мелководье. Расположившись лицом вверх, Лёвка был безразличен

к появлению длинной гадюки, проплывшей вблизи с высоко поднятой головой, а затем заползшей в береговые камыши. Его не волновали покусывания мелких рыб, вертевшихся рядом. В то же время, уже не обладая манящей прелестью живой крови, он совершенно не интересовал изобилующих здесь пиявок.

Когда ночная темень осветлилась серостью рассвета, в беззвучии тёплого утра возникли голоса, создаваемые людьми, переходящими протоку, и вскоре на Коровий остров выбрели жители Лесосплавска — подростки и братья Петя и Митя Безденежных. Загремев галькой, оба направились туда, откуда можно было заметнуть закидушки под обнажённые ивовые корни, мокнущие в заводи, согласно молве, являющейся прибежищем крупных сомов. Остановившись недалеко от места, где вода покачивала тело Лёвки, мальчики стали располагаться для рыбалки, но вдруг утопленник попался Мите на глаза.

— Смотри, труп плавает! — сказал он, и оба приблизились, чтоб рассмотреть человека.
— Страшный какой! Пойдём, сообщим в милицию, — предложил Петя.
— Успеем. Давай сначала половим. Ему всё равно торопиться некуда, — попытался аргументировать его практически мыслящий брат.
— Я не могу рыбу ловить, когда рядом покойник…
— Ладно, — согласился Митя, и, собрав не пригодившиеся снасти в рюкзаки, братишки пустились в обратный путь.
— Зря только пёрлись сюда. Всегда не везёт, — пробормотал Митя, закуривая сигарету, украденную у отца, когда они вновь преодолевали протоку.

К полудню над безлюдными окрестностями завис звук мотора приближающейся лодки, идущей вверх по течению. Через несколько минут в Коровий остров воткнулась исчерченная царапинами «Казанка», и на хрустящий камушками островной берег привычно высадились подполковник Зубенко с лейтенантом Капралко.

— Точно! Опять кто-то плавает, — недовольно произнёс подполковник, направляясь к бывшему жителю солнечной Варны в сопровождении своего подручного, идущего с багром наперевес.
— Ну, давай глянем, кого нам Митрош на этот раз прислал, — предложил начальник, и Капралко подтянул тело поближе к берегу, зацепив его багром.

Некоторое время оба молчали, а затем тишина огласилась громким диалогом милиционеров.
— Ты где его оставил?
— На Глинной косе, как и договаривались…
— Это что же, Митрош нам его снова спихнул?
— Выходит, так…
— Это точно Митрош. Только они с Конюкиным утопленников петлёй за голову таскают. Хоть бы верёвку с шеи сняли, варвары…
— Прикажете обратно отбуксировать?
— Ты издеваешься? Ты сюда поиздеваться прибыл?
— Я вполне серьёзно спросил…
— Ты мне скажи! Что этот Митрошев себе позволяет? Ну, намекнули ему, что свои дела следует самому решать! Ну и нужно понять намёк! Зачем оскорблять старшего по званию и возрасту? Я сорок лет в органах, а такого наглеца первый раз вижу!
— Извините, Егор Геннадьевич! Там вроде как ещё один водолаз кемарит, — прервал патрона Капралко, показывая на что-то виднеющееся неподалёку в воде, покрытой дрожащей под напором ветреного порыва рябью.
— Как, ещё один? — воскликнул Зубенко, и беседующие перешли к другому участку берега, подле которого ими действительно был идентифицирован лежащий в реке человек, не подающий признаков, позволяющих считать его живым.
— Нет, ты это видел? Он мне отомстить решил, ещё одного подкинул! Давай подождём! Сейчас, наверное, целая команда этих пловцов причалит. Ну, сволочь так сволочь! Я этого Митроша самого утоплю, скотину! — зашёлся гневом наиглавнейший в Лесосплавске представитель милицейского ремесла.
— Не утопите, товарищ подполковник! — произнёс Капралко, уже рассматривающий «новичка» вблизи, и обсуждение подошло к финальной стадии.
— Это почему ещё?
— Потому что он уже кем-то утоплен и в данный момент находится у нас в гостях…
— Ты что мелешь, Серёжа?
— Это Митрошев, сами посмотрите…
— Батюшки! Точно он, — согласился изумлённый Зубенко, и после этого пожилой и молодой аккуратно вытащили тело на берег, подхватив его руками.
— Как же это ты так, Виталий? Бедный человек, прости меня ради Христа, — подавленно сказал подполковник, и оба блюстителя порядка сняли фуражки.

Осень пришла в Златореченск, в котором грустные стороны жизни были дополнены таким печальным событием, как похороны начальника милиции Виталия Митрошева. Портрет улыбающегося милиционера, опубликованный в краевых изданиях, вызвал у людей симпатию и сожаление, а его дела стали причиной глубочайшего уважения. Газеты сообщали, что майор Митрошев был убит криминальным авторитетом Виктором Потаповым, известным под кличкой Болгарин, занимавшимся незаконной вырубкой уссурийской тайги и нелегальной продажей древесины особо ценных пород нечистым на руку бизнесменам сопредельного Китая. Именно преследование Болгарина и его сообщников привело к исходу, ставшему трагическим для майора-патриота, награждённого орденом Мужества посмертно. Сам же Потапов, чья причастность к убийству была доказана благодаря наличию крови Митрошева в его автомобиле, брошенном в аэропорту, теперь находится в бегах и объявлен во всероссийский розыск.

Брат Виктора Потапова — уроженец здешних мест и гражданин Болгарии Лёвка — был принят в лесосплавский морг и стал там никем не опознанным и не востребованным постояльцем. Какая-либо информация о его дальнейшей судьбе отсутствует, как нет в наличии и знания о судьбе

других никем не спрошенных покойников. Наверное, однажды мать-земля принимает таких сыновей где-то и как-то, но об этом не хочется думать, чтоб не раниться лишней болью.

В жизни Мишутки произошли как хорошие, так и не очень приятные события. Самой главной радостью для него стало принятое Светланой Степановной решение о невозвращении в город. Оставшись, она устроилась на работу в магазин вместо продавщицы Кати, вышедшей замуж и уехавшей с Дальнего Востока в среднюю полосу России. Младшему Евланову выпало счастье увидеть, что мама снова хорошо относится к папе, который бросил пить, купил красивый японский грузовик и зарабатывает неплохие деньги, развозя по торговым точкам района целебную минеральную воду, разливаемую заводом местного предпринимателя Шмелькова. Из разговоров, звучащих дома, мальчику ясно, что мама и папа хотят открыть в Златореченске собственную пекарню. Очень благостным для него является и приподнятое настроение бабушки, млеющей при виде обновлённых отношений родителей, а также то, что ему исполнилось пять лет.

К числу разочарований, выпавших на долю Михаила, следует отнести неудачу в поисках брата, не найденного на капустных грядках — даже несмотря на помощь мамы. Кроме того, душевной потерей ребёнка стал поступок семи диких утят, к осени превратившихся во взрослых уток и с наступлением прохладного времени улетевших прочь под предводительством Мишуткиного любимца селезня Черныша.

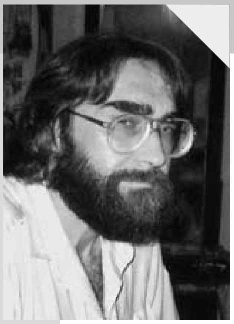
Тем не менее, жизнь семьи теперь была очень хорошей, отчего даже мама, приехавшая из города очень худой, начала быстро поправляться, а к весне у неё и вовсе появился большой живот, что расстроило Мишутку, начавшего просить Светлану Степановну кушать поменьше. Чтобы успокоить сына, женщине пришлось посвятить его в таинство человеческого деторождения.

— Я верил, что детей находят в капусте. Ведь так говорила бабушка, — сконфуженно посетовал Мишутка, узнав правду, а Маргарита Марковна сказала родителям, что они сами давно должны были всё объяснить мальчику, а не перекладывать щекотливую обязанность на неё.

Однако этот незначительный инцидент вскоре был забыт, а в марте на оттаявших грядках огорода приземлилась стая диких уток, ставших во главе с громче всех кричащим Чернышом толпиться подле прибанного сарайчика, выражая готовность в нём жить. Увидев уток, все растрогались. Маргарита Марковна сочла, что возвращение компании Черныша — очень хороший знак, а Фёдор сказал, что нужно оказать гостям хороший приём и не только позаботиться об их питании, но и отказаться от идеи осушения пруда, расположенного в конце их приусадебного участка. Эта мысль оказалась верной, так как очень скоро утиные самки вывели своё многочисленное потомство из сарайчика и начали использовать сохранённый водоём для обучения утят плаванию.

В начале июня папа отвёз маму в родильный дом, где появился их второй сынишка. Разумеется, Мишутка не был первым членом семьи, взявшим братишку на руки, так как это сделала мама. Но разрешение подумать об имени младенца получить удалось, и он предложил назвать его Дмитрием в честь дедушки, против чего никто не стал возражать.

Когда Евлановы прибыли домой с новорождённым, бабушка от радости напекла высокую стопку вкуснейших блинов. Вечером, когда оба брата и их родители уснули, она долго молилась перед трёхсотлетней семейной иконой, в силу которой окончательно уверовала. Молясь, Маргарита благодарила Бога за мир, наступивший в семье, и просила большого счастья для родившегося человека.



Павел Кулешов

Потребности и способности

Главы из книги «Признаки начинающих стихотворцев»

Нам кажется, что настоящая работа — это работа над чем-нибудь внешним — производить, собирать что-нибудь: имущество, дом, скот, плоды, а работать над своей душой — это так, фантазия, а между тем всякая другая, кроме как работа над своей душой, усвоение привычек добра, всякая другая работа — пустяки.

Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х томах. М. Худ. лит. 1985 г., т. 22, с. 103

Зачин

Великий писатель всегда Великий провокатор. Он провоцирует на жизнь.

Валерий Черешня

Как же сложилась эта книга? Когда-то давно, в возрасте 20 лет, я стал пописывать стишки. Поначалу мои собственные творения меня вполне устраивали. Казалось, что они ничуть не хуже творений признанных поэтов. Потом на моём жизненном пути встречались люди, которые иногда вежливо, иногда резко и грубо указывали мне на недостатки моих сочинений. Общаясь с авторами и редакторами, я обнаружил разнобой в подходах к оценке качества стихотворных произведений.

Как люди узнают, что чего длиннее, тяжелее, громче, горячее и т. п.? Они это всё *измеряют*. Для измерения применяется *мера*. Мера длины — метр, мера веса — грамм, мера тепла — джоуль и т. д. Как узнают бегуны о своих победах и поражениях? А с помощью секундомера. Победил тот, кто затратил меньше времени для преодоления чётко отмеренного расстояния. Работа судей тут почти что вспомогательная — от них мало что зависит. Но есть виды спорта, в которых измерения не столь просты и наглядны. Например, спортивная гимнастика или фигурное катание. Тут уже возможностей для произвола у судей побольше. А как оценить работу пианиста или композитора? А как оценить стихотворное произведение? Посвятив немало времени и сил писанию стихов и особенно отзывов и рецензий на стихотворные произведения, я заметил в этих произведениях некоторые закономерности, которые взял за основу для определения качества стихов. Участие в сетевых конкурсах показало, что другие авторы и оценщики благополучно обходятся вообще без критериев, произвольно награждая всевозможными возвышенными эпитетами даже совсем уж никудышные стихи. Даже многие произведения, отмеченные премиями и прочими наградами и восторженными отзывами, оказывались на поверку совершенно ерундовыми. Дальнейшие изыскания показали вопиющую картину: единых критериев для оценки стихотворений, написанных хотя бы только на русском языке, в настоящее время нет. Но я-то знаю, что они есть! И этим своим богатством я готов щедро поделиться. Мне думается, что знакомство с характерными свойствами начинающих стихотворцев позволит самим авторам более здраво оценивать уровень своего мастерства, что убережёт их от болезненных разочарований и необоснованных амбиций. К тому же и те, кто по каким-либо причинам стихов пока не пишет, ограничиваясь только чтением оных, получат возможность глубже понимать читаемое.

Наряду с этим смею предположить, что эта книга окажется полезной для критиков и для редакторов. Поскольку они полагаются в основном на свою пресловутую «интуицию» и не менее пресловутый «вкус». Вот ряд примеров:

1) «А что такое поэзия? — спросит любопытный читатель. Анненский в статье «Что такое поэзия?» замечает: «…есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять». Теоретически нет грани между поэтической свободой и опытами словесного эквилибриста, но интуитивно мы ощущаем поэзию, противопоставляя её прозе — не столько словесному искусству, сколько прозе жизни»[1].

2) «Когда меня спрашивают, как я отличаю хорошие стихи от плохих, я говорю: так же, как вы отличаете на улице хорошенькую девушку от дурнушки. Заметьте: не красивую от некрасивой, так как красота — это всё же некий стандарт, а именно хорошенькую от не очень. В нас заложен эстетический критерий прекрасного. Критерий очень

---

1. Невзглядова Е. «Редеет облаков летучая гряда». «Звезда», 2007, № 5.
2. Очень неубедительный пример, ибо несчастных браков и вызванных ими разводов необъятное множество: «На каждые 10 браков в Москве сейчас приходится 5–6 разводов, а это очень много! <…> Мода на гражданские браки свидетельствует о глубочайшем кризисе института семьи, — считают специалисты. — Люди не желают становиться законными супругами в первую очередь потому, что боятся дележа имущества в случае развода. Суть гражданского брака — недоверие друг к другу (www.tili-testo.ru/articles/cat30/205/)». — «Около трети всех супружеских пар рано или поздно проходят процедуру развода (www.all4wedding.com/articles_1178.htm)». — «По количеству лет, прожитых вместе, статистика разводов распределяется так: до 1 года — 3,6%, от 1 до 2 лет — 16%, от 3 до 4 лет — 18%, от 5 до 9 лет — 28%, от 10 до 19 лет — 22%, от 20 и более лет — 12,4%. Таким образом, за первые 4 года происходит около 40% разводов, а за 9 — около 2/3 их общего числа (www.mlm-master.net/index.php?showtopic=350)». Да и те, кто терпят и пока не развелись, — что, так уж счастливы?

интуитивный, мгновенный и интегральный, позволяющий учитывать сразу массу факторов, минуя детали. (Кстати, видимо, достаточно надёжный, раз именно им в первую очередь руководствуются при важнейшем жизненном выборе — своей пары.[2]) Вот только поэтический редактор должен, если продлить пример, отличать именно вообще хорошеньких от вообще дурнушек, а не выделять лишь тех, кто в его личном вкусе, — скажем, полных блондинок…

Как видите, критерий весьма субъективный, но иного нет. И все истинно большие репутации в искусстве — лишь итог огромного числа субъективных мнений. Поэта Пушкина считают гениальным миллионы людей, и хотя девять десятых из них — по причинам, далёким от литературных, по инерции, но дополненные оставшимися десятью процентами, они составляют необходимую сумму мнений».[3]

3) «Увы… все эти «беспределы» и «вкусовщины» присутствуют не только в поэзии. И в публицистике, и в художественной прозе… Предполагаю, что и в любом другом виде искусства. Потому что «критериев», как Вы изволили выразиться, *не существует.* Есть какие-то правила и понятия, но и они — не константа. Потому ни сейчас, ни позже у меня не будет ответа на заданный Вами вопрос. Становитесь редактором, издателем и попробуйте изобрести эти самые «критерии».[4]

4) «Литература — не физика, графоманом можно обозвать любого, в том числе Пушкина, Лермонтова, Шолом-Алейхема с Бабелем, за милую душу — Мандельштама и Ф. М. Достоевского, и даже великого Губермана, и никто не сможет доказать, что это не так…»[5]

А вот что заявил известный учёный, филолог, на просьбу дать список первой десятки современных поэтов, пишущих на русском языке: «Как учёный, я занимаюсь фактами, а не оценками, а как читатель, я слишком мало уважаю свой вкус, чтобы его оглашать».[6] Честно говоря, удивило меня это заявление Михаила Леоновича Гаспарова. Для чего же тогда заниматься исследованиями поэзии, если не для развития оного читательского вкуса, чтоб научиться безошибочно распознавать хорошее и плохое?

Уповать на академическое стиховедение не приходится — оно катастрофически оторвано от современности! Похоже, это имманентное свойство академического стиховедения. Вот что писал Роман Осипович Якобсон в 1919 г.: «Между тем, наука и поныне трактует лишь о покойных поэтах, а если и коснётся изредка живых, то лишь упокоившихся, вышедших в литературный тираж. То, что стало трюизмом в науке о практическом языке, до сих пор почитается ересью в науке о языке поэтическом, вообще плетущейся доселе в хвосте лингвистики».[7]

Учебников стихотворства имеется предостаточно, но в них читатели не найдут признаков, сверяя с которыми любое стихотворение, они могли бы получить ясное представление об их качестве. Да и учебниками их можно назвать с большой натяжкой, ведь это скорее справочники, чем учебники.[8] Строение их глав типично: метрика, рифмовка, строфика.[9] С помощью таких книг не научишься писать стихи. Если буквально понимать слово «стихосложение», то придётся признать, что в таких учебниках больше рассказывается про, если так выразиться можно, «стихо-стояние», чем «стихо-сложение». В них изучается то, что уже готово, уже состоялось. Но откуда же берутся гениальные метафоры и восхитительные созвучия?! Какая сила расставляет слова по своим местам? Откуда приходит и куда девается это загадочное вдохновение? В каком учебнике разъясняется, как его приручить? Откуда берутся темы стихотворений? Можно ли управлять своим творческим ростом? И если всё-таки можно, то — *как???*

Остроту проблемы хорошо подметил Владимир Викторович Фёдоров: «Прискорбный факт существования огромного количества стихотворных произведений, обладающих всеми признаками речи, удостоверяющими её «поэтичность», и всё же не являющихся поэтическими произведениями, должен, казалось бы, поставить под сомнение «поэтичность» поэтической речи. Конечно, факт этот известен и теоретикам стиха. Но так как они изучают закономерности поэтической речи на произведениях, поэтичность которых (в основном) вне сомнения, то вопрос этот, в сущности, ими обходится».[10]

Вот мы и стоим на рубеже, за который «теоретики стиха» предпочитают не ступать. Так что же делает тексты стихами, а стихи — поэзией? Чем хорошие стихи отличаются от плохих? Чем начинающие стихотворцы отличаются от зрелых стихотворцев?

Но стихотворческая деятельность, кроме своей специфики, имеет ещё и свойства, которые роднят её с другими видами деятельности. Поэтому я позволю себе сначала коротко описать эти общие черты, а потом уже сосредоточиться на собственно поэтическом творчестве.

Грубо говоря, всякая деятельность сводится к преобразованию сырья в продукт. Стало быть, есть производитель продукта. Соответственно, у продукта должен быть потребитель. Среди производителей можно выделить умелых и неумелых. Первые очень эффективно перерабатывают сырьё и почти не создают отходов. Для простоты

---

3. Высказывание главного редактора журнала «Арион» Алексея Алёхина из интервью, данного им Юрию Раките. «Сетевая поэзия», № 2 (2), 1 сентября 2003.
4. Из личной переписки автора данной книги с Инной Молчановой, редактором сайта «Точка зрения».
5. Ракитская Эвелина. «Размышления на ярмарке, или Back in USSR» (www.jerusalem.jnews.co.il/actual/53).
6. Гаспаров М. Л. в «Ответах 110 экспертов» (www.guelman.ru/slava/10/10%20poe_a.htm).
7. Якобсон Р. О. «Подступы к Хлебникову. Набросок первый» (philologos.narod.ru/classics/jakobson-nrp.htm).
8. Например: Апанович Геннадий. «Справочник по стихосложению» (www.rosocenka.ru/review/240402b/index.htm); он же, с дополнениями, тут (www.samarabard.ru/files/uchebnik.htm); есть справочник на сайте «Русские рифмы» (rifma.com.ru/).
9. Посмотрите хотя бы тут: Ильюшин А. А. «Русское стихосложение». М. Высшая школа, 1988.
10. Фёдоров В. В. «О природе поэтической реальности». М. Сов. писатель, 1984 (www.fedorov.v-e-d.info/book1.htm).

и удобства рассмотрения применим самую простую двуполярную шкалу для оценки способностей: есть способности — нет способностей. И для оценки претензий на известность тоже примем столь же упрощённую шкалу: претендует — не претендует. Получаются такие ячейки:

1) Люди, *не обладающие* способностями и *не претендующие* на авторитет. Они что-то делают для себя по необходимости, но не стремятся выставлять свою продукцию напоказ. Продукция их — невысокого качества, а сами они неловки, неумелы, неопытны. В суть дела вникают поверхностно и тем удовлетворяются. Нетрудно прийти к выводу, что виртуоз в каком-то одном деле может вполне оказаться таким вот неумехой в каком-нибудь другом деле. Если человек объективно оценивает свои способности и не лезет в дела, в которых плохо разбирается, то это очень даже положительно его характеризует. Чтобы как-то обозначить эту ячейку, дадим им название — *любители*.

2) Люди, *не обладающие* способностями и *претендующие* на авторитет. Какими словами можно охарактеризовать такого деятеля? Слова эти во многом имеют осуждающе-пренебрежительный оттенок: бездарь, *выскочка*. Дело в том, что они столь же неумелы, как первые, но очень уж активны в своей деятельности. У них больше амбициозности. Особенно много вреда они могут наделать в случаях, когда имеют административную власть и чинят препятствия для людей талантливых, но менее социально-приспособленных.

Мне думается, что хорошей иллюстрацией этого явления может послужить басня Михаила Матвеевича Хераскова. Опубликована была она в 1763 году и ныне звучит несколько старомодно, но вполне доходчиво.

Дровосек

Не много на своё искусство уповай
И воли быстрому желанью не давай,
Держись, при том держись, что сделать разумеешь,
За всё хватаяся, напрасно лишь потеешь.
Крестьянин негде был,
Дрова рубил;
Для этакой науки
К профессору не лезь,
Имей топор да руки,
Так мастер тут и весь.
А мой крестьянин был дрова рубить охотник,
И вздумалось ему, что он столяр и плотник;
Такими думами себя он веселил
И сосну с кореня претолстую свалил;
Колоду вырубя, мужик колоду гладит,
Из ней корыто ладит.
Долбил,
Рубил,
Колода вся изрыта.
Однако не было и виду в ней корыта,
Не так пошёл топор,
А плотник на упор,
Ещё колоду роет,
Да не корыто уж, теперь он ковшик строит.
Сказал: «Не возвращусь домой без барыша,
Добьюсь ковша».
Сертит[11], потеет,
А ковш не спеет,
Топор и долото
Работают не то;
Долбушка сделалась, да некакие рожки,
Не вышел ковш, так выдут ложки;
Стал мастер ложки выдолбать,
Считает в ужине обновкой щи хлебать.

Скажи, Минерва, мне, художеств мастерица, —
Чем кончил наш мудрец?
Что вышло из его работы наконец?
Спица.

3) Люди, *обладающие* способностями и *не претендующие* на авторитет. Возможно, они ещё не осознали масштабов своего дарования; вполне возможно, что осознали, но к широкой известности не стремятся. Не исключено также, что они чрезвычайно требовательны к себе и находят в своих творениях множество мелких недостатков, которые менее сведущим ценителям просто не заметны. Назовём их специалистами, *умельцами*, профессионалами.

4) Люди, *обладающие* способностями и *претендующие* на авторитет. Они хорошо знают масштаб своего дарования. И в избранной сфере деятельности стремятся работать на пределе своих возможностей. Их отличает изощрённое владение инструментами. Это искусники, мастера, *виртуозы*. Про них так много знают и говорят потому только, что благодаря своей общественной активности им удалось приобрести широкую известность.

Теперь о потребителях. Цитата из интервью Бориса Стругацкого: «Нашествие массовой культуры — явление совершенно естественное. Ничего другого и ожидать не следует: человечество имеет ту культуру, которой оно достойно. Процент людей с хорошим вкусом всегда был ничтожно мал, и не вижу я оснований к тому, чтобы этот процент повышался. Чего ради? Из-за того лишь, что совершенствуются способы передачи, хранения и потребления информации? Но совершенно очевидно, что это должно приводить как раз к обратному — чем легче получать информацию, тем её получают больше, и соответственно, тем меньше её ценят. Высокий литературный (например) вкус — результат не только (и не столько) усердного чтения, но и (обязательно!) неоднократного и вдумчивого перечитывания. А чего ради перечитывать старое, если ежедневно на тебя валится новое, новейшее и ещё более новое? Впрочем, каждому — своё».[12]

И таких очень много. Вот и Р. Баландин сетует: «Кому отдаёт предпочтение современная широкая публика? Представителям так называемой масскультуры, поп-артистам, певцам. Этот феномен очень показателен и похож на диагноз тяжёлой болезни общества. Культура отрешается от своего первоначального предназначения: приобщать личность к традиционным и высшим духовным ценностям, пробуждать чувство прекрасного,

11. Сертит — мотается, хлопочет (www.poesis.ru/poeti-poezia/heraskov/ssylki135.htm).
12. www.sf.amc.ru/abs/into001.htm

человечность, жажду познания, веру в идеалы добра».[13]

Вот и займёмся этим пресловутым вкусом.

Создадим классификацию и для потребителей. Здесь в определении присутствуют два существенных измерения: «претендует—не претендует» и «обладает вкусом—не обладает вкусом». Обладать вкусом означает умение отличать существенное от несущественного, разбираться в тонкостях. Претендует—значит проявляет активность в распространении своей точки зрения на действительность. На пересечении этих измерений получаются такие ячейки:

1) Люди, *не обладающие* утончённым вкусом и *не претендующие* на такое обладание. Их оценки случайны, смутны, неглубоки. Обычно их собственное мнение оказывается заимствованным и подражательным. В мире, нашпигованным всякими утончённостями и изощрённостями, им трудно жить. Каким словом их обозначить—*профаны, дилетанты?*

2) Люди, *не обладающие* утончённым вкусом и *претендующие* на такое обладание. *Сноб*—человек, необоснованно претендующий на изысканно-утончённый вкус, а также на исключительный круг занятий и интересов. Т. е. он сам косолапый, а ему кажется, что походка его—образец изящества. Снобизм догматичен и категоричен именно потому, что снобу кажется, будто единственно верный вкус есть только у него. Он не утруждает себя попытками проникнуть в суть излагаемого другими.

3) Люди, *обладающие* утончённым вкусом и *не претендующие* на такое обладание. Просто живут себе, да и всё. Когда же вокруг оказывается уж очень много грубостей и шероховатостей, то им в таком примитивном мире становится трудно жить. Безвкусицу они замечают быстро и стараются держаться от неё подальше. Назовём такой сорт людей *истинными ценителями (гурманами)*. Они в состоянии различить как сходства, так и несовпадения разных точек зрения, узреть соразмерность частей в масштабе целого. Но они пассивны. Они не стремятся утвердить свою точку зрения, даже если могут её убедительно обосновать.

4) Люди, *обладающие* утончённым вкусом и *претендующие* на такое обладание. Эти под всякое своё утверждение могут подвести весомое обоснование. Наверно, их можно назвать *критиками*. Они не признают за безвкусицей права на существование. Они не только ценят красоту, но и охраняют её. За утверждениями критиков стоит глубокое знание предмета.

Что же делает критик, оценивая произведение искусства? Прежде всего, он обязан выяснить, *что* же хотел сказать автор, создавая это произведение, каков был его замысел. Потом надо выяснить, насколько ему удалось в своём произведении воплотить замысел и можно ли было это сделать лучше. В таком случае можно будет оценить мастерство творца.

Далее важно выяснить, насколько весóм этот самый замысел. Иначе говоря: стоило ли вообще браться за его воплощение?

Порой критики исследуют произведение творчества настолько всесторонне, что помогают создателям лучше понять, что же такое они сотворили. О таком читателе мечтают мастера поэзии:

> И всё же немало я сил затратил,
> Чтоб стать доступным сердцу, как стон.
> Но только и ты поработай, читатель:
> Тоннель-то роется с двух сторон.
>
> *(Илья Сельвинский)*

Профаны же часто путают между собой гурманов, критиков и снобов. Особенно часто критиков обвиняют в снобизме, поскольку они проявляют редкостную дотошность по поводу сторон, которые если и воспринимаются профанами, то почти всегда кажутся им несущественными. Столь же успешно они путают любителей и виртуозов. Точнее даже, как раз вследствие их большей созвучности и доступности для понимания, любители кажутся им более искусными творцами, чем виртуозы. Тогда изощрённое мастерство объявляется бездушным формализмом, а нагромождение банальностей выдаётся за тонкость души и открытость чувств.

Ну как тут удержаться и не процитировать Ивана Андреевича Крылова?

Осёл и Соловей

> Осёл увидел Соловья
> И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!
> Ты, сказывают, петь великий мастерище.
> Хотел бы очень я
> Сам посудить, твое услышав пенье,
> Велико ль подлинно твое уменье?»
> Тут Соловей являть свое искусство стал:
> Защелкал, засвистал
> На тысячу ладов, тянул, переливался;
> То нежно он ослабевал
> И томной вдалеке свирелью отдавался,
> То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
> Внимало все тогда
> Любимцу и певцу Авроры:
> Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
> И прилегли стада.
> Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
> И только иногда,
> Внимая Соловью, пастушке улыбался.
> Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом:
> «Изрядно,—говорит,—сказать неложно,
> Тебя без скуки слушать можно;
> А жаль, что незнаком
> Ты с нашим петухом;
> Еще б ты боле навострился,
> Когда бы у него немножко поучился».
> Услыша суд такой, мой бедный Соловей
> Вспорхнул и—полетел за тридевять полей.
>
> Избави, бог, и нас от этаких судей.

Пожалуй, нужно принять за аксиому: *от всех, начинающих осваивать новую сферу деятельности, естественно ожидать неумелости.* Если

13. Баландин Р. «Сто великих гениев» (www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/100_Gen/index.php).

специалисты различают множество тонкостей и хитростей своего ремесла, то начинающие не находят тут ничего сложного и смело берутся за дело. («Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно». *Станислав Ежи Лец.*) Когда же знатоки, ознакомившись с их шедеврами, пожимают плечами, мучительно подбирая наиболее мягкие выражения, дабы не сильно пошатнуть самооценку авторов, те, ничего не подозревая, ждут дифирамбов. Когда же им знатоки наконец-то начинают объяснять, как их творения далеки от совершенства, творцы переходят в негодование. Ведь между произведениями признанных умельцев осваиваемой ими сферы деятельности и своими собственными начинающие авторы никаких или, скромнее, почти никаких различий не обнаруживают. Поскольку усвоение тонкостей ремесла требует немало упорства и прочих способностей, кои, по прихоти природы, среди людей распределены весьма неравномерно, то неудивительно, что сообщества причастных к любой из этих сфер людей получаются слоистыми.

Причём сферы эти выглядят более похожими на пирамиды, чем на сферы. Самый нижний слой при этом оказывается и самым многочисленным. Легко догадаться, что он же и наименее профессиональный. Ну, конечно, его составляют *любители*. В силу их природной скромности об их успехах знают только самые близкие им люди. Зато следующий слой заявляет о себе особо громко. По мере роста мастерства и амбиций составляющих её элементов пирамида неуклонно сужается, и на вершине обнаруживаются только самые отъявленные мастера.

Между слоями осуществляется взаимообмен. Некоторые любители, усердно трудясь, обретают мастерство и постепенно становятся умельцами. Некоторые выскочки под напором суровых жизненных обстоятельств осознают свою бездарность и замолкают либо совсем, либо для передышки. А некоторые дарования останавливаются в развитии или даже опускаются.

То же происходит и внутри потребительской пирамиды.

Теперь можно, с учётом приведённых только что геометрических примеров, более наглядно обрисовать задачу моего труда. Мне хочется, чтобы обе пирамиды становились всё шире и шире верхушками. Для этого я собрал здесь ряд признаков, которые показались мне наиболее существенными для определения начинающих стихотворцев. Если сей мой трактат поможет авторам и читателям, ознакомившись с оными признаками, более осознанно и объективно оценивать стихи, то и задача моя может считаться успешно выполненной.

Теперь одно *очень важное замечание*. Понимаю всю спорность такого решения. Однако у меня есть убедительные резоны. Не думаю, что есть сколько-нибудь существенная необходимость приводить имена авторов цитируемых мной неудачных стихотворных примеров. Стихи это сырые, необработанные. В значительном большинстве такие примеры оказываются принадлежащими малоизвестным авторам либо являются продуктами ранних потуг авторов известных. Так что оглашение их имён доброй славы им не принесёт. Целью книги является не уличение конкретных авторов в каких-либо недостатках, а выяснение сути явления, имя которому — «начинающий стихотворец». По этой причине обезличенные примеры представляются наиболее приемлемым решением. Поэтому не привожу и прямых указаний на источники, из которых оказались взяты такие примеры. Честно говоря, я даже не особо пытался запомнить, какой пример откуда взял, чтобы и самому не знать, какие строки какому автору принадлежат. Мне просто нужны были примеры, поясняющие мои утверждения. Так что если кто-то обнаружит в этой книге свои стихи, взятые в качестве примера того, как делать не надо, то он может выбрать любой из вариантов поведения: либо громко заявить о своём авторстве, либо не подавать виду. Зато авторов удачных произведений можно и нужно назвать. Вообще же об источниках могу сказать, что их три: непосредственное общение с авторами, издания бумажные и издания виртуальные, почерпнутые из Интернета. Сведения об источниках приводимых в данной книге закавыченных цитат даются в сносках. В связи с тем, что люди, напропалую сканирующие и выставляющие в Сети книги, в значительном большинстве не являются библиотекарями, они не очень-то заботятся о точности выходных данных и расположении текста на страницах. В итоге точное цитирование таких книг становится затруднительным, а то и вовсе невозможным. Наряду с этой бедой есть и другая — обилие ошибок распознавания. По этой причине не все мои цитаты содержат точные ссылки.

В некоторых (впрочем — редких) случаях я позволяю себе привести в качестве иллюстрации стихи собственного сочинения.

При первом упоминании авторов я, по возможности, стараюсь упоминать их имя, отчество и фамилию, а в дальнейшем обхожусь какими-нибудь укороченными вариантами.

Хочу внести также ясность в вопрос о самом понятии «русская поэзия». Поэтические произведения, написанные на русском языке, я и называю «русской поэзией». Этническая принадлежность авторов при этом совершенно несущественна. Если же чуть приоткрыть «этническую дверцу», то русская поэзия оказывается весьма полиэтничной. Так, Юргис Балтрушайтис — литовец, Бахыт Кенжеев и Олжас Сулейменов — казахи, Эдуард Асадов — армянин, Симеон Полоцкий — белорус, Виктория Ивченко — украинка, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, Игорь Губерман, Борис Слуцкий, Юрий Левитанский — евреи, Дмитрий Авалиани и Булат Окуджава — грузины, Афанасий Фет — немец, Михаил Ломоносов, Егор Исаев, Иван Бунин, Сергей Есенин, Гавриил Державин, Павел Васильев, Валерий Брюсов, Николай Некрасов, Василий Фёдоров — русские, Белла Ахмадулина — обрусевшая татарка, Антиох Кантемир — молдаванин с татарскими корнями, Марина Цветаева — русско-немецкого, Константин Симонов — русско-армянского, Василий Жуковский — русско-турецкого происхождения, а Александр

Пушкин так и вообще — мулат! Этих и многих других стихотворцев объединяет принадлежность к русской культуре, которую они своим творчеством приумножили. Если принять узкое определение «русской поэзии» как написанной только этническими русскими, то от любования поэтическими изысками мы перейдём к биографическим изысканиям. Такой путь приведёт в тупик, ибо *«русская поэзия» — явление скорее культурное, нежели национальное.* Ну вот попробуйте вычеркнуть из русской поэзии Александра Пушкина только на том основании, что он не совсем этнически русский. Не стала ведь Российская империя называться «немецкой» лишь на том основании, что ею некогда правила немка Екатерина Вторая. Да и Перу не стали называть Японией оттого только, что некоторое время президентом этой страны был перуанец японского происхождения Альберто Фухимори. И в дальнейшем, если найдётся такой инородец, который создаст на русском языке великие поэтические произведения, у нас будут достаточные основания называть его «великим русским поэтом». *Вопрос закрыт.*

Потребности и способности

Что, если голос твой громоподобен?
Он слышен всем, но не для всех удобен.
И крадучись трубу несёт трубач
Подальше от шоссе, ларьков и дач.
Горит труба, гремит среди дубравы,
И слушают её цветы и травы.

Валентин Берестов. «Застенчивый трубач»

Для понимания поступков не только писателей, читателей, редакторов и критиков, но и вообще всех живых существ очень полезно знать об их потребностях и способностях. В самом общем приближении, потребности представляют собой главный источник мотивации. Всё остальное — желания, устремления, цели — разворачивается после первого толчка, произведённого неудовлетворённой потребностью. Сама по себе писательская деятельность (и стихотворческая — как её частный случай) может побуждаться самыми разными потребностями. Зачастую потребность в самовыражении оказывается далеко не самой главной в момент, когда некто принимается за сочинение своего первого в жизни стихотворения. Кому-то хочется прославиться, кому-то — услужить своим родителям. Во всех этих случаях сочинение стихов — только одно из множества средств достижения цели. И, может быть — когда-нибудь потом, — сочинение стихов станет важным само по себе, безотносительно ко всем остальным побуждениям. Важно, чтобы способности соответствовали потребностям. Огрубляя, можно выделить четыре ячейки:

		Потребность	
		есть	нет
Способность	есть	✓✓	✓×
	нет	×✓	××

Вспомнив про классификации творцов и ценителей творчества, можно сделать кое-какие выводы. Так, в разряд профанов могут оказаться зачислены все, у кого нет потребности углубляться в какую-нибудь область знаний, а также и те, у кого при этом нет способности к овладению этой областью знаний. *Все глубочайшие ценители искусства начинали когда-то как профаны.* Все признанные мастера искусства когда-то начинали с любительского уровня. Как отмечает Ян Парандовский, «чертой, присущей всем людям, является потребность выразить в слове всякое явление жизни и тесно связанную с этим потребность выразить самого себя. Она почти физиологична, — а ослабление или полное исчезновение её — что случается лишь у очень редких индивидов — противоречит самой человеческой природе».[13] «Писатель воплощает всеобщее стремление, выражает себя и свой мир, и в этом он подчиняется природному импульсу человеческой натуры, а вместе с тем как бы становится выразителем тех, кто не может и не умеет высказаться сам».[13]

Меньше всего хлопот с самооценкой у тех, чьи способности и потребности соразмерны. Если мала потребность и мала способность, то и печалиться нечего. То же и в случае, когда потребности и способности соразмерно велики: все смелые замыслы получают достойное воплощение. Хотя нельзя сказать, что даётся это легко: «Стать художником трудно. Искусство требует всего человека и на всю жизнь. Внутренняя творческая работа не оставляет художника ни на минуту, сопутствует ему всегда и везде. Она не знает выходных дней и отпусков. Художник не перестаёт трудиться, идя по улице, проезжая в трамвае, разговаривая с людьми, наблюдая природу. Как трудолюбивая пчела, везде и всюду собирает он материал для будущих произведений, собирает не от случая к случаю, а постоянно, и не делать этого не может».[15] «Не бывает в сутках такого часа, когда бы даже самый легкомысленный писатель отказался принять своих клиентов: слова, образы, персонажей. Не может быть и речи о том, чтобы он оторвался от работы, когда она идёт успешно или когда предстоит преодолеть препятствие, — избегать его было бы малодушием».[14] Пожалуй, некоторым далёким от творческих устремлений людям такая хищная наблюдательность может показаться каким-то умственным извращением. А эта увлечённость миром своего воображения, который творцам всегда кажется значительно более важным, чем окружающее их человеческое сообщество, иному обывателю может показаться в каком-то смысле бесчеловечной. Сошлюсь на Льва Николаевича Толстого: «Кажется странным и безнравственным, что писатель, художник, видя страдания людей, не столько сострадает, сколько наблюдает, чтобы воспроизвести эти страдания. А это не безнравственно. Страдание одного лица есть ничтожное дело в сравнении с тем духовным — если

14. Парандовский Ян. «Алхимия слова». Пер. с польского А. Сиповича. М. Правда. 1990, с. 33, 35, 115.
15. Григорьев С. А. «О композиции в живописи», в кн. «Школа изобразительного искусства». М. Изд-во Акад. худож. СССР, 1963, вып. 6, с.6.

оно благое — воздействием, которое произведёт художественное произведение».[16]

Чего же ради некоторые люди посвящают свою жизнь столь тяжкому писательскому труду? Надеюсь, многое прояснят эти строки из переписки Гюстава Флобера:

«Третьего дня я лёг в пятом часу утра, встал около трёх. С понедельника отложил все остальные работы и целую неделю возился над моей «Бовари», мучительно страдая оттого, что работа не движется вперёд. Я добрался уже до бала и начну его в будущий понедельник — надеюсь, дело пойдёт лучше. Со времени нашей последней встречи переписал двадцать пять страниц начисто, и это — за шесть недель! Я так долго переставлял, изменял, переделывал, что в настоящий момент уже не понимаю, хорошо получилось или плохо, но надеюсь всё же, что кое-как держится. Ты говоришь мне о своих разочарованиях: посмотри лучше на мои! Иногда мне даже непонятно, как это руки не опустятся в изнеможении. <…>

Веду мучительную жизнь, лишённую всех радостей, и меня поддерживает только моё бешеное упорство; временами оно плачет от бессилия, но не сдаётся. Я люблю мою работу любовью безумной и дикой, как аскет; власяница раздирает мне тело. Часто ощущаю в себе такое бессилие, когда не могу найти ни одного нужного слова. Измарав много страниц, убеждаюсь, что не написал ни одной удавшейся фразы, тогда падаю на оттоманку и лежу отупелый, погружённый в тоску. Ненавижу себя и обвиняю за безумство, заставляющее меня гнаться за химерами. Но вот проходят каких-нибудь четверть часа, и сердце начинает радостно биться. В прошлую среду мне пришлось подняться из-за письменного стола и поискать носовой платок: по лицу обильно текли слёзы. Я так расчувствовался, такое испытал наслаждение, пока писал; меня умиляли и моя мысль, и фраза, которой эта мысль была выражена, и самый факт, что я нашёл для мысли столь счастливую словесную форму. Так, по крайней мере, мне представлялось, но, может быть, здесь сказалось и расстройство нервов. Существуют состояния восторга настолько возвышенного порядка, что чисто эмоциональные элементы здесь ничего не значат, этот восторг своей моральной красотой превосходит самоё добродетель. Иногда мне бывает дано, в мои погожие дни, достигать такого состояния духа, блеск восторга пронизывает меня от макушки до кончиков пальцев, душа воспаряет над жизнью настолько высоко, что и слава перестаёт для неё что-нибудь значить, и даже само счастье представляется излишним…»[18]

Наличие способностей при отсутствии соответствующих потребностей вызывает недоумение окружающих: «У тебя замечательный голос! Почему же не поёшь?!»

Особенно тяжко приходится тем, у кого потребности превышают способности. В писательской среде такое явление называется *графомания*, понимаемая как *патологическая страсть неумелых авторов к сочинительству.* Это важно отметить — именно *неумелых авторов*. Потому что у некоторых умелых авторов страсть эта порой бывает так сильно выражена, что тоже чем-то оказывается похожа на патологию (как в примере с Флобером). Хорошо бы сразу оговорить и другое обстоятельство — не все начинающие стихотворцы обязательно должны быть графоманами. Только если автор пишет очень много и занялся этим делом очень давно, а никакого творческого роста в его творениях не наблюдается, можно назвать его графоманом. Он как бы застревает на уровне начинающего писателя.

Чтобы не переживать в дальнейшем разочарование в своих способностях, чрезвычайно желательно как можно раньше получить о них здравое представление. Занявшись писательским творчеством, даже от самой распоследней скуки, автор когда-нибудь захочет на ком-нибудь проверить силу своего писательского дарования. Автор вполне может приняться прикидывать в уме свой уровень: одарённый он или даровитый? Способный или подающий надежды? И к кому обращает он своё пронзительное слово? После таких раздумий сердчишко начинает громко трепыхаться, глазки наполняются торжественным сиянием, и волны беспредельного величия начинают плавно возносить автора над благоговейным человечеством.

Он пока ещё не понимает, что едва-едва родился как автор, что он пока всего лишь личинка, которой предстоит много питаться, сопричащаясь с многообразной и во многом противоречивой культурой, сопричащаясь с природой, которая во многом, если не во всём, пребывает вне культуры. Ему предстоит питаться и расти. Расти и развиваться, всё глубже и полнее постигая жизнь, всё выше и выше поднимаясь по ступеням мастерства. Только тогда он поймёт, как много было уже сказано до него!!! И как же здорово было сказано!!! Тогда он сможет справедливо оценить своё место, своё предназначение и уже не впадёт ни в какие крайности, не поддастся всяческим соблазнам, а кропотливо, бережно и в то же время уверенно и твёрдо соберёт *опыт переживаний* и пронесёт по жизненному пути то сокровенное, выношенное и выстраданное *знание*, что перельёт в *слово*, которое оправдает перед современниками и потомками, а больше всего — перед собственной совестью его существованье на Земле.

Но осознание своего предназначения создаёт только общий фон, на котором периодически происходят всплески творческой активности. Вообще-то сама творческая деятельность состоит из нескольких периодов, особенно ярким и впечатляющим из которых является последний.

Только редко кто из людей способен долго пребывать в столь взбудораженном психическом состоянии. У подавляющего большинства человеческого населения это случается редко и длится недолго. Это состояние называют то «вдохновением» (если это касается искусства), то «озарением» (если это касается науки), про спортсмена говорят, что он «поймал свою игру», что он «в ударе» и п. п.

16. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22-х томах. М. Худ. Лит. 1985 г. т. 22, с. 103
17. Парандовский Ян «Алхимия слова» Пер. с польского А. Сиповича. М. Правда. 1990 с. 110.

(прочее подобное). Само по себе это состояние очень приятно и является достойной наградой за все предыдущие подготовительные усилия. Творец после завершения творческого процесса зачастую склонен переоценивать его итог. Многие писатели, зная это, дают произведению «отстояться», «остыть». Его нужно чуто́к подзабыть, чтобы потом прочитать непредвзято, как бы уже не своё. В дальнейшем кто-то привычно берётся вносить поправки, кто-то пытается делать их ещё в ходе основной работы, кто-то проверяет свои догадки на друзьях и прочих ценителях, чьим мнением дорожит.

Мнения и вкусы

Сказать, что издатели лучше разбираются в том, что издают, нежели поэты, значит сказать неправду. Везде господствует вкусовщина. Одни «толкают» молодых, другие замирают перед чужой харизмой, третьи печатают преимущественно представителей сексуальных меньшинств, четвёртые, пятые… Не всё ли равно! Пусть! Ценителю поэзии есть на чём отточить свой глаз. К сожалению, ценителей мало.

Татьяна Михайловская
«Поэзия как национальная идея в России»
www.globalculture.ru/specvyp/specvyp3po.html

Есть ещё один весьма и весьма деликатный вопрос. И даже не вопрос, а целая проблема. Некоторая часть авторов (и это может длиться на протяжении десятилетий) уж очень трепетно относится к своим творениям. И если автор узнаёт, что кто-то плохо отозвался об его творении или (о, ужас!!!) посмеет нелестно отозваться о каком-то из этих творений в присутствии автора, то столь непочтительное посягательство может всколыхнуть родительский инстинкт в авторе. Он стремительно багровеет, встаёт на дыбы и крушит всё вокруг, изрыгая последние ругательства. Оберегая свои детища, такие авторы даже избегают публикаций, поскольку растиражированные творения труднее охранять от всяких посягательств. В основном они выступают с чтением вслух и лишь особо доверенным читателям доверяют почитать тексты, что называется, глазами. Самое удивительное заключается в том, что к чужим произведениям они могут ничего такого не испытывать и порой чрезвычайно сурово судить других, даже широко признанных, авторов (а их произведения и подавно!). И вот эта безапелляционность на грани хамства в отношении чужих произведений спокойно уживается в них с умилением по поводу произведений своих.

Увы, даже вполне одарённых сочинителей временами одолевают такие вот взбрыки. Когда пыль осядет, им иногда делается стыдно. Пытаясь как-то обезопасить своих «детёнышей» от нападений, нападок и прочих горестей, они рано или поздно натыкаются на спасительную возможность под названием «*У всех есть своё мнение*». И, в очередной раз услыхав что-то не очень почтительное в адрес своих «заморышей», они уже спокойно заявляют: «Ну, это *вам* так видится!», «Ну, это у *вас* такое *мнение!*» и т. п. Таким способом протаскивается примитивная, в общем-то, мысль, что *хорошее от плохого отличить нет ни малейшей возможности.* И можно сочинить теорему о том, что даже самая распоследняя гнусь и пакость кому-нибудь да понравится. Если вспомнить про «пирамидальные сферы», то нетрудно понять, что *такое мнение очень выгодно выскочкам и дилетантам.* Ведь они сразу же могут попасть в мастера и знатоки.

Более того! Вот до каких возмущённых выпадов доводят творцов такие попытки уравнять их с обывательской толпой: «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».[18]

Но, даже признав, что мнения об одном и том же бывают разными, дилетанты на этом торжественно останавливаются. Но почему бы не пойти дальше?! Ведь можно же сочинить теорему, в которой *мнение профана будет разительно отличаться от мнения гурмана.*

Подходы к решению творческих задач у профессионалов и дилетантов совсем разные. Сошлюсь на Юрия Никитина: «Первое Правило, что ежели для себя, любимого, то писать можно абсолютно всё. Сам себя поймёшь любого. А что не поймёшь, то догадаешься. По кляксе или оброненной слезе. А если для других, то здесь вступают в силу совсем другие законы. До другого человека ещё достучаться надо. А для этого нужны особые литприёмы, которые обязательны. Ежели их нет, тогда уж извини…»[19]

Борис Алексеевич Чичибабин: «Вот я встречаюсь с поэтами — особенно с молодыми поэтами, — которые утверждают, что они пишут только «для себя». Я в это не верю. Поэты, музыканты, художники не могут работать исключительно «для себя». У меня, когда я пишу, есть всегда воображаемый читатель-друг, которого я, быть может, никогда в жизни не увижу. Я не представляю себе его конкретно. Он у меня бесплотный, без имени, национальности, роста… Если хотите, это персонификация моей совести, моей души, лучшего меня. Но воображаемый читатель у поэта должен быть. Мне всегда нужна была аудитория, но она всегда и была у меня — хотя бы в лице этого воображаемого читателя, друга, единомышленника».[20]

Александр Наумович Митта сказал о киноискусстве, но это верно и для искусства писательского:

«Дилетант полностью поглощён проблемой самовыражения. А профессионал думает о том, как овладеть вниманием зрителей. Если мы хотим

18. Из письма А. Пушкина П. Вяземскому, вторая половина ноября 1825 г. В наше время эту ненасытимую страсть толпы ублажает и подпитывает «бульварная пресса» (с большой выгодой для себя).
19. Никитин Юрий. «Как стать писателем» (nikitin.wm.ru).
20. Интервью Б. Чичибабина с Т. Бек 20 октября 1993.

вести аудиторию в нужном нам направлении, мы должны постоянно думать о ней. Полтора часа аудитория сидит в тёмном зале, и если о ней не заботиться, внимание каждого зрителя будет вянуть. Вы потеряете зрителей.

Фильм должен сообщать нечто такое, что непрерывно повышает зрительский интерес, так чтобы в финале он достиг максимума. Тогда зрители довольны».[21]

Это очень важно — знать, для кого сочиняешь и перед кем выступаешь. Вот как высказался Константин Александрович Кедров во время обсуждения его книги «Или» в ответ на просьбу прочесть перед собравшимися свою поэму «Партант»: «Эта вещь продиктована исключительно Чернобылем. Чернобылем, конечно, в метафизическом плане. Я тогда ясно понял, что как плавятся атомы, распадаются и несутся, то в языке ведь тоже всё плавится и распадается. И тогда возникла вещь «Партант», которую с удовольствием я рискую прочесть в этой просвещённой аудитории, потому что в других уже не рискую и не читаю».[22] И впрямь! Неподготовленная публика может ведь и освистать, и растерзать.

Да, но ведь можно и такую теорему сочинить, где *мнение одного гурмана будет отличаться от мнения другого гурмана.* Если же признать существование в природе каких-то незыблемых признаков мастерства, то мнения всех знатоков должны во многом совпадать. Не так ли? Однако известно немало случаев, когда один великий писатель не признавал достоинств другого великого писателя. Так, например, известно язвительное отношение Льва Толстого к драматическим произведениям Уильяма Шекспира:

«Но так как признаётся, что гениальный Шекспир не может написать ничего плохого, то учёные люди все силы своего ума направляют на то, чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, режущий глаза, в особенности резко выразившийся в Гамлете, недостаток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, состоящий именно в том, что у лица этого нет характера и что в этом-то отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного характера. И, решив это, учёные критики пишут томы за томами, так что восхваления и разъяснения величия и важности изображения характера человека, не имеющего характера, составляют громадные библиотеки. Правда, некоторые из критиков иногда робко высказывают мысль о том, что есть что-то странное в этом лице, что Гамлет есть неразъяснимая загадка, но никто не решается сказать того, что царь голый, что ясно как день, что Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого характера Гамлету и не понимал даже, что это нужно».[23]

Значит… Хм… Что же это значит? Приведу-ка я лучше ещё цитату. Вот какую оценку характера Льва Толстого даёт Джордж Оруэлл:

«Понятно, почему ему не хватает выдержки, когда он имеет дело с таким хаотичным, увлечённым мелкими подробностями и непоследовательным автором, как Шекспир. Его реакция похожа на реакцию раздражённого старика, которого теребит непоседливый ребёнок: «Что ты вертишься? Неужели ты не можешь посидеть тихо, как я?» Старик по-своему прав, но, вот беда, у ребёнка есть та резвость, которую старик утратил. И если он ещё помнит об этой резвости, поведение ребёнка лишь усиливает его раздражение — он превратил бы детей в стариков, если б мог. Толстой, скорее всего, не понимает, в чём именно ограниченно его восприятие Шекспира, но чувствует, что в чём-то оно ограниченно, и он полон решимости навязать это своё восприятие другим».[24]

И чуть далее:

«Обращение к религии отнюдь не означает избавления от подобных черт, а иллюзия перерождения, несомненно, позволяет природным порокам расцветать на редкость пышно, хотя и в более изощрённых формах. Толстой мог отвергать физическое насилие и понимать, что оно несёт с собой, но не мог быть терпимым и смиренным, и, даже не зная других его произведений, только по одному этому очерку нетрудно убедиться в толстовской склонности к духовному диктату.

Но Толстой не просто пытается лишить других удовольствия, которого не разделяет сам. Это он делает в первую очередь, но его спор с Шекспиром идёт значительно дальше. Это спор между религиозным и гуманистическим отношением к жизни».[24]

Но ведь ничто не мешает, не ограничиваясь одним очерком, построже вчитаться в творения самого графа Льва Толстого, что и делает Святослав Логинов: «Мне кажется, дело заключается в том, что Лев Толстой вовсе не является писателем-реалистом. Он пишет не людей, а типажи, не судьбы, а схемы. Выбрать наиболее типичное, освободить от мешающего, с презрением отнестись к правде, если она не согласуется с идеей, насколько мне известно, это признак романтизма. Я не против романтиков, но полагаю, что автору надо быть последовательным. Герои Виктора Гюго до конца верны себе, и д'Артаньян Александра Дюма всегда остаётся д'Артаньяном, за что и люби́м многими поколениями читателей. А Лев Толстой, написав сильфидоподобную и абсолютно нежизненную Наташу Ростову, в конце романа вспоминает, что в реальной жизни девочки взрослеют и становятся матерями и хозяйками. И вот он начинает ломать романтический образ, упихивая его в прокрустов сюжет, и успешно справляется с задачей, создав романтико-реалистического уродца. Наташе Ростовой подобные издевательства безразличны, она никогда не была живой, а романтически настроенные читательницы чувствуют себя так, словно это

21. Митта А. Н. «От Шекспира до Толстого». с. 27. (www.videozona.net/operator/mitta/part1.htm).
22. Институт Философии РАН, 28 января, в 16:00. Заседание в зале Учёного Совета. Обсуждение книги поэта и философа Константина Кедрова «Или» (М., «Мысль», 2002) — фрагменты обсуждения.
23. Л. Толстой. «О Шекспире и о драме» (moshkow.nino.ru/LITRA/TOLSTOJ/shakespeare.txt).
24. Джордж Оруэлл. «Лир, Толстой и шут» — Перевод Н. Ермакова.

их насилует автор. Почитайте школьные сочинения на эту тему — обнаружите много любопытного».[25]

В упоминавшемся уже интервью, когда у Бориса Стругацкого спросили мнение об этой логиновской статье, он ответил: «Главное заблуждение Логинова в том, что он полагает, будто хороший литературный язык — это обязательно *правильный, грамматически безукоризненный* язык. Это, разумеется, не так. Язык может быть неуклюж и наполнен галлицизмами (как у Льва Толстого), коряв, неправилен и даже неестественен (как у Достоевского), заумен и неудобочитаем (как у Платонова или Велимира Хлебникова) — и при всём при том способен оказывать сильнейшее, иногда необъяснимое, чисто эмоциональное воздействие на читателя. Разумеется, не на всякого читателя. У Логинова неуклюжий язык Толстого вызывает законное раздражение — это право Логинова, но это и беда его, дефект его эмоциональной палитры, как бывает это с человеком, лишённым музыкального слуха, а потому — совершенно равнодушного к музыке, или — точнее — как с нами, европейцами, совершенно не способными получать наслаждение от китайской, например, музыки. Вообще, читая Логинова (и Толстого), надо ясно отдавать себе отчёт в том, что способность получать наслаждение от текста — дело сугубо субъективное и индивидуальное, а потому все литературные споры осмысленны только тогда, когда имеют целью обмен мнениями, но никак не попытки (совершенно безнадёжные) переубедить соперника».[26]

И далее: «…меломан классического толка «не слышит» Шостаковича, Прокофьева или Шнитке — он их просто не признаёт за музыкантов. Точно так же существуют определённые пристрастия, вкусы и субъективные нормы, когда речь заходит о литературе. Логинову не нравится Лев Толстой, и он подробно, обстоятельно и по-своему убедительно обосновывает нам своё неприятие. Льву Толстому очень не нравился Шекспир, мне — тоже, хотя и по другим причинам. Речь идёт не о «неуклюжем исполнении», речь идёт о самой музыке. Логинов не признаёт самоё «музыку», которую пишет Толстой; Толстой точно так же не считает «музыкой» то, что писал Шекспир, я, безусловно, признаю «музыку» всех троих вышеупомянутых, но «музыка» Шекспира мне не нравится, я предпочту Логинова и Льва Николаевича. Я могу объяснить, почему мне не нравится Шекспир, но, в отличие от Логинова, я ни за что даже и пытаться не стану серьёзно, за пределами застольного трёпа, обосновывать свою нелюбовь. Это просто бессмысленно — спорить с судом Времени. И ещё более бессмысленно — спорить о вкусах. В известном смысле «восторг пиитический», который испытывает юный читатель Рокамболя, ничем по свойствам-качествам своим не уступает восторгу зрелого читателя, упивающегося Прустом или Гессе. Но есть одно обстоятельство — правда, очень важное: существует сколько угодно почитателей Пруста, в детстве упивавшихся Луи Буссенаром, но не существует совсем людей, вкусивших от Великой Литературы и перешедших вдруг (в здравом уме и трезвой памяти) на низкопробное чтиво. Возможно, это единственное *объективное* доказательство существования высокой и низкой литературы».[26]

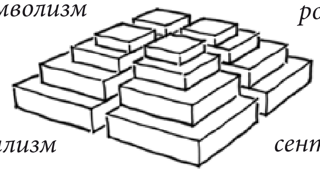


Рис. 1. Членение на уровни и вкусы пирамиды творцов

Вот такой приговор изрёк «фантастический» классик. Что же, прям вот так и сдаться?! Что-то как-то не разделяю я сего пессимизма. Во всяком случае, для начала надо научиться различать *уровни* мастерства творцов и *вкусы* потребителей продуктов их творчества. Уровни могут быть высокими, средними и низкими. Вкусы могут быть примитивными и утончёнными. И ясно же, что потребитель с неразвитым вкусом не сможет различить всех изощрённых утончённостей в произведении великого творца! История литературы показывает много примеров возникновения, борьбы, вырождения и угасания всевозможных литературных течений и направлений. Трёхсотлетняя история русского стихосложения (если отсчёт начинать от реформы Ломоносова — Тредиаковского) тоже богата такими примерами. Эстетические вкусы оказываются продуктами своего исторического периода. Есть основания утверждать, что они изменчивы и не абсолютны. Также есть основания признавать одновременное сосуществование разных эстетических вкусов среди разных сословий. Вот и Н. А. Некрасов о том же:

Эх! эх! придёт ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесёт?

Пожалуй, можно говорить о членении пирамид созидателей и потребителей на ячейки. И, скажем, писатели примерно одного уровня мастерства имеют совсем разные эстетические вкусы. А читатели, соответственно, имеют свои вкусы, столь же различные и порой противоположные. Тут и возраст, и социальное положение, и профессиональная принадлежность примешиваются. И жизненный опыт, судьба, так сказать, сильно на пристрастия эстетические может повлиять.

Так что пирамиды созидателей (творцов, авторов) и потребителей (почитателей, ценителей), помимо членения на уровни, членятся ещё и на, так сказать, «вкусы», или «направления», «течения», «школы» и п. п. (рис. 1). Скажем, почитатели романтических поэм вполне сознают уровень мастерства выдающихся авторов, пишущих

25. Святослав Логинов. «О графах и графоманах, или Почему я не люблю Льва Толстого» (avtotec.ru/loginov/rec/reco8.htm).

26. Из интернетского интервью в июне 1998 г. (http://www.sf.amc.ru/abs/intoo01.htm).

в реалистических традициях. При этом они также сознают, что эти авторы им «не близки». И они вполне могут обосновать свои предпочтения, указав хотя бы на избыточную заземлённость реалистических произведений, сосредоточенность их на скучных бытовых мелочах. В сравнении с реалистической манерой письма, романтизм выгодно отличается задором, победоносным пафосом, героической патетикой.

«В центре внимания писателей романтического направления — человеческая личность, её духовный мир. <…> Они изображают человека, как правило, в напряжённых жизненных ситуациях. Отсюда острый драматизм и психологизм романтической литературы, проявляющийся не только в драматургии, но также в эпических и лирических жанрах».[27]

Сентиментализм они могут обвинить в излишней слезливости и вычурной манерности. Символизм же они обвинят в слишком уж отвлечённом умничании, в чрезмерном увлечении звуковой стороной стиха, когда все эти аллитерации превращаются просто в блестящие побрякушки и не то чтобы глубоких, а вообще никаких чувств уже не выражают. Что же могут возразить почитатели символизма?

В критике сентиментальных и реалистических творений они вполне могут присоединиться к сказанному предыдущими ораторами, а про романтизм скажут, что тот чрезмерно насыщен пафосом борьбы, что он чуть ли не проповедует всемирное разрушение. Романтизм слишком увлечён яркими и броскими цветами, потому не замечает полутонов, оттенков и плавных переливов, кои только и являются квинтэссенцией красоты. А поэзия символизма ближе всего подошла к словесному выражению красоты как таковой.

Сентименталисты с чистой совестью обвинят всех остальных сочинителей в бесчувственности и воспоют прелести мирной жизни, периодически омрачаемой раздорами и размолвками, которые только яснее, выпуклей позволяют проявиться простым человеческим чувствам. Жизнь повседневная слишком пресна, поэтому искусство должно давать пищу для неудовлетворённых чувств. И пусть это называют суррогатом, но это лучше, чем ничего.

Реалисты назовут все прочие направления в искусстве «бегством от действительности». «Мы имеем смелость смотреть в лицо всем уродствам и нелепостям, какие только ни встретятся нам в теперешней жизни,— скажут они о себе.— Если жизнь плоха в настоящем времени, надо сделать её лучше — поэтому нечего сетовать и ныть, нечего загораживаться от неё придуманными красотами, надо прямо сейчас окунуться в её гущу. Сколько же возможностей для приложения своих сил откроется вам!»

Разумеется этих литературных направлений и течений намного больше. Представители старших поколений, как правило, почитают те литературные течения, которые господствовали в пору их молодости. Они с ними как бы срослись. И о том, что в начале XXI века (как утверждают искусствоведы) в мире европейской культуры считается господствующим течением «постмодернизм», совершенно не подозревают. И поэзия в этом постмодернизме уж очень сильно похожа на прозу — «верлибр» называется.

По мнению Юрия Михайловича Лотмана, «выполнять функцию «хороших стихов» в той или иной системе культуры могут лишь тексты высоко для неё информативные. А это подразумевает конфликт с читательским ожиданием, напряжение, борьбу и в конечном итоге навязывание читателю какой-то более значимой, чем привычная ему, художественной системы. Но, побеждая читателя, писатель берёт на себя обязательство идти дальше. Победившее новаторство превращается в шаблон и теряет информативность. Новаторство — не всегда в изобретении нового. Новаторство — значимое отношение к традиции, одновременно восстановление памяти о ней и несовпадение с нею».[28]

Так и хочется воскликнуть: «В этом что-то есть!» Ведь не трудно же представить такие обстоятельства, при которых некто впервые прочитывает вышерасположенный абзац. Для него это всё — очень информативно. Следовательно, этот абзац успешно справляется с функцией «хороших стихов»? Или тут что-то не так? Почему-то в определении Ю. Лотмана совсем не упоминается эстетическое удовольствие, каким обычно сопровождается восприятие произведения искусства, которым, безусловно, является и поэзия. И ведь не зря же цитировавшийся чуть ранее Б. Стругацкий отметил, что «высокий литературный (например) вкус — результат не только (и не столько) усердного чтения, но и (обязательно!) неоднократного и вдумчивого перечитывания». Можно повторно прослушивать понравившуюся музыку, перечитывать стихотворения и получать от этого удовольствие! И новизны-то особой в этом читанном-перечитанном и заученном наизусть тексте уже нет, а — хочется ещё раз повторить. Но почему же?! — Да потому что *красиво!*

«Хорошее» стихотворение более выразительно, более пронзительно, чем «плохое». Оно ёмче, ярче, глубже передаёт состояние автора.

Подводя итог исследованию мнений и вкусов (по необходимости краткому), отмечу, что *хорошее произведение от плохого отличить можно.* Чему примером и является книга, в которой вы «прям щас» читаете вот эти слова. Я полагаю, что *есть абсолютная шкала*, инвариантная к историческим эпохам, мнениям, вкусам и т. п. И уровень мастерства сочинителя, и развитость эстетического вкуса у читателя тоже вполне поддаются измерению. Разумеется, чтобы давать справедливые оценки как творениям, так и творцам, оценщик должен потрудиться. Он должен во многом разбираться для того, чтобы оказаться на уровне с талантливым автором. Иначе читатель не сможет в полном

27. Гуляев Н. А. «Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII–XIX веков». М. Просвещение. 1983, с. 75.
28. Лотман Ю. М. «О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста». СПб.: «Искусство-СПб», 1996. с. 129.

объёме воспринять читаемое произведение, и его мнение будет свидетельствовать не столько о достоинствах или недостатках прочитанного, сколько о достоинствах и недостатках читающего.

Основные правила русского литературного произношения

Вот мы и оказались перед необходимостью получше познакомиться с инструментом писателя — языком. Поскольку моё сочинение посвящено всё-таки стихосложению на русском языке, то я позволю себе остановить внимание только на нём. А поскольку речь поэтическая — это прежде всего речь звучащая, произносимая, то главное внимание уделю именно произношению.

«В русском литературном произношении действуют следующие наиболее важные закономерности: 1) оглушение звонких согласных на конце слова; 2) уподобление (ассимиляция) одних согласных звуков другим; 3) ослабление (редукция) безударных гласных.

1. Звонкие согласные ***б, в, д, з, ж, г*** на конце слова *оглушаются* и переходят в соответствующие глухие звуки: ***б*** переходит в ***п***, ***в*** переходит в ***ф***, ***д*** переходит в ***т***, ***з*** переходит в ***с***, ***ж*** переходит в ***ш***, ***г*** переходит в ***к***. Например: *губа*, но *губ* (на конце звучит ***п***); *рукава*, но *рукав* (на конце звучит **ф**); *сады*, но *сад* (на конце звучит ***т***); *возы*, но *воз* (на конце звучит ***с***); *ножи*, но *нож* (на конце звучит ***ш***); *луга*, но *луг* (на конце звучит ***к***).

2. *Уподобление* одних звуков другим в русском произношении встречается в следующих пяти случаях:

а) Звонкие шумные ***б, в, д, з, ж, г*** перед глухими уподобляются им по глухости и переходят в соответствующие глухие: ***п, ф, т, с, ш, к***. Например: *рыба*, но *ры**б**ка* (вместо звонкого ***б*** перед глухим ***к*** звучит глухой ***п***); *влезть*, но ***вписать*** (вместо звонкого ***в*** перед глухим ***п*** звучит глухой ***ф***); *соседи*, но *сосе**д**ка* (вместо звонкого ***д*** перед глухим ***к*** звучит ***т***).

б) Глухие звуки перед звонкими шумными ***б, д, з, ж, г*** (но не перед ***в***) уподобляются им по звонкости и переходят в соответствующие звонкие. Например: *просить*, но *про**сь**ба* (вместо глухого ***сь*** перед звонким ***б*** звучит звонкий ***зь***); *молотить*, но *моло**ть**ба* (вместо глухого ***ть*** перед звонким ***б*** звучит звонкий ***дь***); *срисовать*, но *с**д**ёрнуть* (вместо глухого ***с*** перед звонким ***д*** звучит звонкий ***з***).

в) свистящие звуки ***с, з***, стоящие перед шипящими ***ш, ж***, а также ***ч***, уподобляются им и переходят в шипящие. Например: ***сшить, с шумом, с честью***, *из **ш**убы* (звуки ***с*** и ***з*** уподобляются следующему ***ш*** или ***ч*** и произносятся как ***ш***); *сжечь, с жиром, без жизни* (звуки ***с, з*** уподобляются следующему ***ж*** и произносятся как ***ж***).

г) Гласный ***и*** в русском языке может стоять только после мягких согласных; после твёрдых он изменяется в произношении в **ы**: *подытоживать* (сравните *итог*), *предыдущий* (*идти*); *жила, шило, цифра* (произносится как **ы**, так как ***ж, ш*** и ***ц*** — всегда твёрдые).

д) Некоторые согласные перед следующими за ними мягкими согласными звуками в разной мере смягчаются. Например, *песня, злить, кости, весенний*. Выделенные звуки обычно произносятся мягко, так как следующие за ними согласные являются мягкими.

3. В русском литературном произношении сила, чёткость и ясность гласных звуков зависит от ударения. Под ударением все гласные произносятся с наибольшей силой, чёткостью. В безударном положении все гласные в той или иной степени редуцируются, т. е. ослабляются как по силе, так и по чёткости.

При этом гласные ***и, ы, у*** хотя и ослабляются, но не смешиваются ни с какими другими гласными. Гласные ***а, о*** после твёрдых согласных в заударных слогах склонны в беглой речи к ***ы***, например, в словах *ходатай, хобот* (заударные **а** и **о** произносятся почти как **ы**). Гласные ***е*** и ***а*** после мягких согласных (т. е. когда ***а*** пишется через букву ***я***) в беглой речи склонны к ***и*** во всех безударных слогах, например, в словах: *пескарь, плясать* (безударные ***е*** и ***я*** произносятся почти как ***и***). Что касается гласного ***о***, то он во всех безударных положениях произносится так же, как гласный ***а***, например: *вода* (буква ***о*** читается как ***а***).

Примечание. Все правила произношения безударных гласных справедливы лишь по отношению к так называемому акающему, литературному произношению.

В некоторых окончаниях наблюдаются следующие особенности:

1. Буква ***г*** в окончаниях ***-ого, -его*** читается как ***в***. Например: *кого, моего, доброго, синего.*

2. Окончания глаголов ***-ться, -тся*** произносятся, как ***-тца***. Например: *защища**ться**, защища**ются**, занима**ться**, занима**ются***.

3. Безударные окончания глаголов ***-ат, -ят*** (3-е лицо множ. числа) некоторыми произносятся, как ***-ут, -ют***. Например: *держ**ат**, слыш**ат**, смотр**ят***.

4. Частица -ся, -сь в конце глаголов некоторыми произносится твёрдо, т. е. как са, с. Например: занимаюсь — занимаюс, занимаешься — занимаешса, занимался — занималса, занимались — занималис».[29]

Звук ***щ*** во всех случаях произносится с усилением — как ***щщ***: пишется *щука*, но произносится *щука*; пишется *пища*, но произносится *пищща*.

В общем, господа и госпожи сочинители должны признать, что звучащий русский литературный язык довольно беден гласными звуками. Мало того, что безударные гласные почти не произносятся, так они ещё и уподобляются другим гласным. В современном русском литературном языке господствуют нынче ***а, и, ы***. Причём, это ***ы*** пролезает и в такие места, которые на письме выглядят как смычка двух согласных звуков. К примеру, слово: «смысл». Произнесите его — и вы услышите: «смыс**ы**л». Или хотя бы «метр». Не правда ли, слышится «мет**ы**р»?

И в завершении темы сравните, как произносится и пишется цитировавшийся ранее отрывок из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

29. Фонетика. § 20. Звуки речи (stcreserv.narod.ru/Tutorial/fonetica.htm).

Эх! эх! Придъот ли времичка,
Кагда (приди, жыланная!..)
Дадут панять кристьанину,
Што рось партрет партретику,
Што книга книги рось?
Кагда мужык ни Блюхира
И ни милорда глупава—
Билинскава и Гоголя
З базара панисъот?»

Эх! эх! придёт ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого—
Белинского и Гоголя
С базара понесёт?

Для тех сочинителей, которым важна звуковая сторона поэзии, это обстоятельство представляется весьма печальным.

Ведь в таком случае в активном использовании могут оставаться только ударные гласные, поскольку они звучат чётко. Если же безударные гласные произносить так, как они пишутся, то речь такая может показаться уж очень вычурной, искусственной.

Однако, начинающим стихотворцам, как правило, не до этого. Им хочется скорей выразить себя, рассказать про свои чувства и мысли. И вот они уже *пишут стихи*. Самое время поинтересоваться: а что же это такое?

Продолжение следует

Дмитрий Карпович

О, как мы жили хорошо!..

Автобус 88

Две легкомысленных восьмёрки
На фоне грязного стекла,
Внутри—замызганные шторки,
Разводов пыльных вензеля,

Кондукторша—в перстнях и в теле,
Водитель—злобный и худой…
Автобус едет еле-еле.
Маршрут знакомый: «Не домой».

Угрюмы пассажиров лица.
Тут дождь!—Ещё одна напасть.
Тоска зелёная струится,
И негде яблоку упасть.

В автобусе трясёт нещадно,
Что гармонирует вполне
И с этой жизнью безотрадной,
С туманным будущим—вдвойне.

И хоть, конечно, не до смеха,
И плакать хочется порой,
Я улыбаюсь. Я приехал.
К тебе. А стало быть—домой!

Все обещания и клятвы
В любви—на дурака рассказ.
Влюбляться можно многократно,
А вот любить… лишь только раз!

Прочтёшь влюблённость, как поэму,
И не останется следа.
Влюбляешься всегда на время,
А любишь раз и навсегда!

Хорошо, что счастье не в деньгах

Толщина худого кошелька
Не добавит радости на лицах.
Не боимся пули у виска,
А пустого кошелька боимся.

Надо опасаться пустоты
Не в кубышке, где хранятся гроши,
А в пространстве трепетной мечты
И в кругу товарищей хороших.

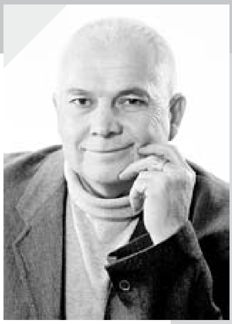
Я в долгах по жизни, как в шелках,
Но богат друзьями всем на диво.
Хорошо, что счастье не в деньгах,
А не то бы помер несчастливым.

Скажу, испытывая шок
От наглой сытости эпохи:
«О, как мы жили хорошо,
Когда мы жили очень плохо!»

Была и килька не всегда,
Но мы под «завтраки туриста»
Мечтали в юные года
В Джульетту местную влюбиться.

Под несмолкающий оркестр
Пустых бутылок «Солнцедара»
Мы шейк для будущих невест
Наяривали под гитару.

Шок сытости давно прошёл.
От пошлых нот попсовых глохну.
О, как мы жили хорошо,
Когда мы жили очень плохо!



Николай Ерёмин

Златая цепь

Смена поколений

1.

Разрушить—
И построить,
И забыть…

Во всём виновна смена поколений,
Желающих не так, как предки, жить
Среди диаметрально разных мнений,
Вдруг—
Без сомнений и без возражений—
Родить решая
Или же убить…

2.

В слезах
О предках и потомках,
В веках,
Виновна без вины,
Стоит Россия на обломках
Несокрушимой старины,
Где колокольни без крестов
И вороньё среди кустов…

Святое послание

1.

Во глубине сибирских сёл
Уединиться я пытался…

И там я Библию прочёл,
И старым стал,
И жить остался…
И всем, ради кого дышу,
Своё послание пишу…

2.

Поверить в Бога…
Библию читать…
И, глядя вдаль, в осеннее окошко,
Испытывать покой и благодать,
Пока поёт сверчок, мурлычет кошка,
И куры ищут зёрнышки в траве,
И голуби летают в синеве…

3.

О Боже, Отче!
Завершилась битва…
Жизнь
        всё короче,
Всё длинней
        молитва…
Всё чаще повторяются слова,
Что битва бесполезною была.

Каждый день кого-то хороню…
А бывает, и не раз на дню.
Я уже устал от похорон—
Пить вино, скорбеть, считать ворон…
Умирают старые друзья…
Вот, опять!
        И отказать нельзя.

О, грань зелёного стакана!
—Пей и отказывать не смей…

Всех—на халяву, как ни странно,—
Нас потчевал зелёный Змей.
И мчалась вдаль хмельная слава…

Змей умер—
Кончилась халява.

Хорошо по кладбищу гулять.
Хорошо о прошлом вспоминать.
Хорошо о будущем мечтать,
Над любой могилкой выпивать…
Ах, вокруг такая благодать!—
За крестами Бога не видать…

Повсюду—вредности для жизни.

И неспроста
Простой народ
Мечтает жить при коммунизме,
Где никаких тебе забот…
И нет проблемы выживания…
И исполняются желания…

Песенка о дележе

Генералы
Делят землю—
И не могут поделить…

Капитаны
Делят море—
И не могут поделить…

А поэты
Делят небо—
И не могут поделить…

Ничего
Никто не может—
И не знают: как тут быть?

Опять в душе моей ненастье…
И я подумал: «Ну и пусть!»

Но, ангел мой, возьми запястье,
Сожми мой нитевидный пульс! —
Пока тебе не всё равно…

Хоть в жизни всё предрешено.

Аэрофобия

Ты летишь на самолёте,
У тебя несчастный вид.
Ты в тревоге и в заботе:
Долетит? Не долетит?

Может всякое случиться…
Не идёт из головы:
Слишком часто стали биться
Аэробусы, увы…

Ты ещё пожить мечтаешь —
Долго, всем смертям назло.
И летишь, и прилетаешь!
Значит, снова повезло.

Все тревоги — за плечами.
Ты воскрес и счастлив вновь.
И в порту тебя встречает
Раскрасавица Любовь…

И, как следует поэту,
Ты ей шепчешь в поздний час:
— Я на поезде приеду
Всё же в следующий раз!

Ау! Свобода, с кем ты? Где ты?
Покуда рабствует народ,
Я вижу, как себе поэты
Перекрывают кислород…
И исчезают в немоте,
В толпе, в житейской суете…

Бабушка и внучка

— Вот и конец лета!
Люди — та же листва…
Скоро конец света!

— Бабушка, ты не права.
Глянь, как светло из окна!
Скоро зима и весна…

О чём
Друг другу мы поём?

О том,
увы, слова и звуки,
Что были счастливы вдвоём…
А нынче —
Счастливы в разлуке!

— Ты произошёл от обезьяны! —
Мне внушали в школе много лет.

А потом друзья твердили, пьяны:
— Ты — от Бога, истинный поэт!

Но в беседе с лечащим врачом
Я услышал истину почище:

— Бог и обезьяны ни при чём,
Все мы — биороботы, дружище!

Осенью
Горы становятся выше,
А горизонт — всё ясней…
Осенью люди становятся тише,
Громче скребутся за плинтусом мыши,
Ночи длинней и длинней…

Жизнь!
Что поделаешь с ней?

Никто не нужен никому?
Нет, всё-таки нужны,
Мы не живём по одному,
Заботливо-нежны…

Глянь, как страдают, много лет
В разлуке, меж людьми
И поэтесса, и поэт
Без дружбы и любви…

Штрафная стоянка

От земных забот храня —
Не пуская на гулянку,
На штрафную вдруг меня
Жизнь поставила стоянку.
Я не знаю: как мне быть?
Нечем штрафы оплатить!

Железная дорога

Кассирша
Заслоняет свет
И говорит: — Билетов нет!
Ты веришь,
Как святой, —
И поезд
мчит,
пустой…

Я ходил кругами,
Тихими шагами:
Дом, работа, дача…
Рядышком — удача…

О, пора потерь!
Где они теперь?

Глеб Соколов

Семь писем на фронт

Не от моего имени

1.

Сегодня я в списке живых не нашёл твоё имя.
Я жду телеграмму. Мол, «вашему другу кирдык».
Одна моя часть чётко шепчет: «Ошиблись. Ошиблись».
Другая, не менее чётко: «Нарвался на штык».
Я прячу лицо в воротник, прячу руки в карманы,
Мне надо пройти два квартала, спуститься в метро.
Я—слышишь?—не верю, но всё-таки жду телеграммы.
А город в осаде: здесь голод, зима и темно.
А город в осаде, но всё же чертовски красивый,
Чертовски притихший. От голода в бешенство впав,
По Невскому рыщут громадные рыжие псины…
Здесь всем наплевать—всё равно опускаю рукав.
А люди сбиваются в стаи вторую неделю,
Грызутся, как крысы, и режут друг друга, как скот…
Сдалась тебе эта война… Ты вернись, в самом деле.
Здесь встретиться сложно—а вдруг всё равно повезёт?

На почте убили шофёра, и писем не будет.
И я сам не знаю, зачем продолжаю писать.
Здесь есть одичавшие, мерзкие, скользкие люди,
Что, бросив надежду, так любят её отнимать.
Шофёра убили… Осталась машина на город.
Одна. На весь город. Подумай. Письмо не дойдёт.
А я простужаюсь—чудовищный начался холод.
О Боже. Прости, я не жалуюсь. Ветер поёт,
Поёт ещё более жутко, чем пел в выходные.
Поёт безнадёжно, красиво, печально—как ты.
Вчера дочитал про девятые сороковые,
Но, кажется, будет труднее. Здесь сняли посты,
И здесь никого, никого, никого из военных,
Как будто бы город исчез и уже обречён.
Но что-то подсказывает—то ли мозг, то ли вены:
Они в чём-то правы. И армия здесь ни при чём.

Вчера или раньше последние выпил таблетки.
Жгу книги—согреться. Да ты бы, наверно, убил.
Дурацкие, в общем-то, книги—про небо и детство.
Я помню—фантастику ты никогда не любил.

2.

Как только отправил письмо, сразу сел за второе.
Я имя искал твоё в списках—опять не нашёл.
Вокруг умирает чудовищно быстро живое.
Повестка… Повестки всё нет. То ли рад, то ли зол.
Я знаю, на фронте спасает не сила—удача.
А ты невезучий, как Один, пойми, что ещё.
И думать об этом не буду, иначе заплачу.
Я верю, и значит, ты жив, а все списки—враньё.
Воды не хватает. Еды… Привыкать не придётся.
Под дверью собаки—боюсь. В окна бьётся метель.
Читаю, жгу книги: а что мне ещё остаётся?
…Когда-нибудь рыжие псины… и двери—с петель…

3.

И третье письмо—а ещё не отправил второе.
Похоже, что я помешался. Весь город в снегу.
Я фото нашёл—ты и я. Мы тогда были в ссоре,
Но ты всё равно улыбаешься. Снова реву.
Да что я за тряпка?! И что, что война?—ну, бывает,
И что, что на улицах трупы? и что, что зима?
…Соседи, один за другим, каждый день умирают.
Похоже, по городу снова гуляет чума.

4.

Блокада.
Тотальная.
Полная.
Видел газеты.
Заводы стоят—уже пять с половиной часов.
Мне страшно, так страшно: ну где ты, ну где же ты, где ты?!
Вернись—обороной уже не спасти никого!
Да что там, да ты до конца автомата не бросишь.
Тебя даже смерть не исправит, упрямый, слепой,
Да ты и жилета, наверное, вовсе не носишь.
И правда—зачем? Не носи, разгильдяй, чёрт с тобой…

5.

Я видел тебя! Я клянусь! Правда, эту неделю
Прохожие все чем-то очень похожи с тобой.
Да если б ты знал, как мне вся эта жизнь надоела!
(Сейчас ты сказал бы, наверное: «Хватит. Не ной».)
Заводы всё так же стоят, лёд на улицах, трубах.
Желание, странное мне,—хоть кого-то обнять.
Целую тебя, не подумав, в бумажные губы.
Боюсь, мы уже не успеем чего-то понять.

Родные, друзья—имена забываю и лица,
И даже своё—ведь я всё вспоминаю по снам,
А мне третью ночь ничего абсолютно не снится.
Но помню тебя и уже никому не отдам.
Я помню тебя—и как будто осталась надежда.
Я помню тебя—и как будто бы всё ещё жив.
От холода здесь не спасут ни огонь, ни одежда.

Вернись. Хотя что я… Да с фронта? Да ты? Да сбежишь?

6.

Не двигаюсь. Двигаться больно, и страшно, и странно.
Надеюсь, пройдёт, и ещё доживу до Весны.
Когда-то ты ездил в далёкие тёплые страны,
Где море и солнце—и нет ни смертей, ни войны.
Когда-то… Сказали, что город наш сдастся последним.
Не верю. Не сдастся. Вся армия сдастся—не ты.
На улицах трупы, по улицам ползают змеи,
А может, всё—галлюцинации от пустоты.
Неужто вот так и случится? Россия разбита.
Германия, Австрия, Венгрия—хуже того.
Убиты, убиты, мы обречены и убиты.
Вернуться уже не прошу… Не вернётся никто.

7.

Не чувствую рук. Говорят, счёт пошёл на минуты.
И, как ни старайся, уже не успеешь прочесть.
Я руку держу у груди третий час почему-то.
В руке—фотография. Кажется, мы ещё есть.
Атака, последняя, перекрестись—не сдавайся.
Ведь ты им не дашься, кретин, террорист, комиссар.
В руинах Париж, Лондон, Вена, Стокгольм, Прага, Зальцбург,
В руинах Европа, Россия, Китай и ЮАР.
У этого города, видно, судьба быть последним,
И крови ему человеческой не занимать.
Отсюда отчётливо—взрывы—мы всё ещё верим.
Когда, чёрт возьми, мы себя позволяли сломать?..
А в город прорвались, а счёт всё идёт на минуты.
Удачи нам всем, обречённый, отчаянный мир.
Теплее бумажные губы твои, и как будто
Я кое-что понял—ты веришь мне?..
Stirb nicht vor mir.

Борис Кутенков

Бегство в пустоту или спасение в землянке?

Обзор толстых журналов конца 2010 года: поэзия и критика

«Арион»: *старый родственник с новыми гостинцами*

Выхода журнала «Арион» любители поэзии ждут с нетерпением, как приезда долго отсутствовавшего близкого родственника. С чем прибудет, какие привезёт гостинцы?

4-й номер за 2010 год открывается подборкой Ильи Фаликова. В предыдущем выпуске Фаликов жаловался, что его напрасно упрекают в филологичности. Что ж, теперь мы убедились: действительно, напрасно. Стихи Фаликова как бы задают интонацию «новизне» всего номера: экзотика «средиземной» природы, «Сан-Тропезе», «Сан-Микеле»… «Блестящая» — вот, пожалуй, самый точный эпитет к подборке Фаликова. В море экзотизмов, розовых чаек возникает мотив опасности, *полыннолистной амброзии*. Безмятежность в стихах только кажущаяся: среди экзотической природы, внешнего блеска — *запах йода и больницы, палата, аллергия*. Среди простых, иногда демонстративно сближенных рифм: «кресте — листе», «нестрогая — длинноногая» — автор нет-нет да щегольнёт замысловатой: «амброзия — не об розе я», «затрапезе — Сан-Тропезе». И, кажется, поэту удалось сказать о смерти новыми словами — простыми и вместе с тем проникновенными:

Ты не думай, что с кем-нибудь будет не так.
Это будет со всеми, дружок.

Вторая подборка — Валерия Черкесова — оставляет совсем другое впечатление. Это почти не тронутые художественным усилием заметки, стилизованные под верлибр. Первую из них — «Дядя Петя» — не спасает даже белый стих: содержание, строение речи абсолютно прозаическое.

О, как хотелось прислониться
мне, безотцовщине! Хотя бы
к хромому дяде Пете. С фронта
пришёл таким. Он пил с утра
плодово-ягодное, морщась,
потом закуривал «Аврору»,
молчал задумчиво, а мне
протягивал кулёк конфет,
засахарившихся, в комок
пахучий слипшихся. Сидели
мы рядом, словно только что
вернулся он из-под Варшавы,
где орден получил, который
на благовещенском базаре
«махнул» на пару поллитровок
вина вонючего, как дым
пороховой…

В стихах Черкесова чувствуется дыхание советской поэзии, их интересно читать из-за содержания, в основе которого лежит, очевидно, подлинный опыт автора — однако выдавать за поэзию я бы это не стал.

Контрастный параллелизм подборок — одно из несомненных достоинств «Ариона». Правда, не знаю, насколько уместно здесь вести речь о достоинствах: после «прозаической» подборки следует «поэтическая»? Технически беспомощный текст, напичканный неуместными поэтизмами и столь же неуклюжими анжамбеманами, — вот как бы я охарактеризовал подборку Марины Бирюковой.

Регулярно бывая на поэтических вечерах, сталкиваясь с самодеятельными альманахами, я сделал любопытное наблюдение: одним из признаков графомании является *присутствие поэтического повода* (в противоположность словам Гандлевского из стихотворения «Стансы»: «А что речи нужна позарез подоплёка идей / И нешуточный повод — так это тебя обманули»). «Вот пошёл снег, я решил об этом написать», — такими словами версификаторы зачастую предваряют свои выступления. Можно с уверенностью предсказывать, что дальше начнёт работать поэтика абстракций с обязательным присутствием *снега, листвы, осени, дождя*.

Вторичность стихов Марины Бирюковой, отчасти перекликающихся с Чухонцевым (строки о засолке капусты), отчасти отсылающих к Ахматовой («Я живу по синичьим часам» вызывает в памяти хрестоматийное «Я живу, как кукушка в часах»), меня, как читателя, лишь разочаровывает.

Зима прощается — снежок
на грязный наст ложится с ночи…
Зарубцевался мой ожог,
и не спешу я день рабочий

начать, и так хочу сама
сказать зиме: прощай. Спасибо:
врачом была ты мне, зима,
теперь уж выписала, либо

передала меня весне —
а я смотрю, бродя кругами,
как мельтешит последний снег
и как он мокнет под ногами.

Что ж, миленько, узнаваемо… Но это не та радость узнавания, когда в давно знакомом высвечивается

неожиданное, и ты ощущаешь сопричастность творческой удаче поэта. Здесь, скорее, преобладает впечатление банальности.

И это, к сожалению, не единственное место в 4-м номере «Ариона», заслуживающее упрёк в банальности. При чтении публицистических монологов остро чувствуется, как сложно сегодня сказать нечто новое о поэзии. Не стало исключением и пространное высказывание Ильи Клеха о том, что *«стихотворцы сегодня читают сами себя»* и что *«с помощью стихов происходит надстройка, тренинг и очищение души»*. Хотя в эпоху крайне низкого общественного резонанса, возможно, и полезно повторение прописных истин — которые, к сожалению, уходят в пустоту, как заключительное предложение Клеха заставлять детей в школах заучивать стихи наизусть. Глас вопиющего в пустыне…

О подборке Александра Кушнера — поэта субфебрильной температуры, по меткому выражению Ирины Роднянской, — хочется говорить одними прилагательными. Хорошие стихи. Средние. Версификационно безупречные. Донельзя традиционные. Тематически интересные, «эрудированные», но — лишённые филологической «умности». Создаётся впечатление, что такой подход к поэтическому высказыванию — способ задержаться в мире подольше (в одном из интервью Евгений Рейн назвал Кушнера «единственным поэтом с благополучной судьбой»). *«Минуя опасности, к дому»* — поменьше риска, поближе к традиции. Что ж, Кушнер на протяжении лет верен себе, а его манера узнаваема — что уже само по себе не может не радовать.

Рубрика «Листки» отличается такого же рода симулякрами, о каких упоминалось в моём предыдущем обзоре («День и ночь», № 6, 2010). Утомительно повторять и о текстоцентрическом подходе, и о миниатюрах, мимикрирующих под поэзию. Пожалуй, исключение составляет лишь буколически-медитативная подборка Арсения Ли — благодаря рифмовке она выгодно смотрится на общем фоне.

В подборке Наты Сучковой, самобытного вологодского автора с узнаваемой интонацией, земные реалии причудливо переплетаются с историческими и метафизическими: парящийся в бане дядя Валера становится «*Гаем Валерой, <…> / плывущим над миром и Римом <…> на облаке белом*», душа «*летит туда, куда её уносит*», а хозяин «*жилого пространства*», кажущегося вовсе нежилым, входит в «*чёрно-белую картинку*» (что отсылает к ахматовской метафизике дома) «*из районной многотиражки*». Безусловно, интересна циклическая подборка Сухбата Афлатуни: восточный колорит *(«жара», «ишак»)* сочетается с атмосферой, пронизанной любовью к женщине. Для этого выбрана оригинальная манера подачи: первое стихотворение — разговор с персонифицированным телом, «*обиженным душой*», второе — пространный верлибр — словно раскрывает тему. Начало его схоже с романом Олеши «Зависть»:

меня убивает женщина
анна сергеевна тулупова
рост метр семьдесят два
блондинка

каждое утро эта женщина
вышеназванная анна сергеевна
ходит по моей комнате
трогает вещи

Остальные стихотворения приоткрывают завесу тайны над личной историей: метафора войны, красной нитью проходящая через всю подборку, делает цикл связной историей любви с выверенным лирическим сюжетом.

Перейдём к критике в журнале. Иначе, нежели на «пять с плюсом», сложно оценить монографическую статью Елены Погорелой о покойном Льве Лосеве — чувствуется почерк профессионала. Чего не скажешь о статье Владимира Кочнева, несколько шокировавшей меня — нет, не выбором авторов (с ними-то как раз всё в порядке — Кочнев, поэт-верлибрист, выбирает эстетически близкого Андрея Чемоданова и земляка-уральца Олега Дозморова). Стержневой в тексте становится метафора «тени» (синоним авторов, давно бытующих в литературном пространстве, но до сих пор не замечаемых критикой) — однако социальные причины «затенённости» абсолютно не исследованы. Я бы на месте автора статьи уделил хотя бы абзац причинам того, почему на них, таких ярких, интересных и печатающихся, критика, по мнению Кочнева, не обращает внимания… Редакторы «Ариона» явно поторопились с этой статьёй, не уделив должного внимания работе с текстом — начиная с грамматических ошибок (*«чемодановске стихи», «поэтической пространство»),* заканчивая плеоназмами и штампами («*пошлость обыденного», «реальное чувство жизни*»). Сомнительны некоторые теоретические построения: «*Да и верлибр более подходящая форма для прямого высказывания, не надо тратиться на рифмы и ритм»;* наивен и вывод: «*Написать стихотворение про смерть и любовь — большое испытание для поэта*». Повторюсь, шокирован я был именно потому, что не понаслышке знаю, как тщательно главный редактор Алексей Алёхин следит за отбором статей и сколько сил тратит на их доведение до совершенства — на моей памяти такой «прокол» в «Арионе» впервые.

Аналитическая статья Алексея Саломатина о двух авторах, достаточно разнонаправленных и эстетически, и по степени популярности, — Дмитрии Быкове и Борисе Херсонском — не совсем в формате «арионовского» монолога «обо всём понемножку». Дмитрия Быкова в литературном сообществе мало кто любит, и автор статьи в этом отношении не оригинален: статья отличается субъективизмом и предвзятостью, подавая Быкова под вполне определённым углом зрения — как графомана, использующего готовые концепции самопиара. Ничего нового к стереотипному портрету Быкова такая точка зрения не добавляет, хотя начало статьи интригующее: критик обещает «раскрыть профессиональные секреты».

Впрочем, кроме многократно апробированных методов эпатажа, вроде прихода на светские рауты в шортах, или скандальных карательных акций наподобие «ведра с органическими удобрениями», никаких особых, неведомых науке стратегий успеха Быкова или Херсонского мы в статье не находим.

Леонид Костюков, частый автор «Ариона», представлен на этот раз монологом «Любитель и другой»—о профессионале и любителе (тема, давно педалируемая «Арионом»,—см., например, статью Юлии Качалкиной «Опыт глобальной имитации» в № 1 за 2006 год или монолог Алексея Алёхина «Резиновая муза»—2001, № 4). Костюков, выпускник мехмата по кафедре логики,—прежде всего блестящий ритор и полемист. Он умеет сделать статью интересной. За этой «интересностью» и бойким слогом легко спрятать отсутствие должной аргументации: все прочитанные мною статьи Костюкова оставляют впечатление, что автор не очень любит подкреплять свои тезисы доказательствами. Здесь критик остроумен—масс-медийные имена эффектно вкраплены в текст, рассчитанный на потребление в узком поэтическом сообществе; эффектна пародийная стилизация стихов Ильи Резника, «*обнажающего свой творческий метод*» (тем самым автор статьи как бы показывает, что сам не хуже медийного поэта и что все эти шуточки, мол, ему удаётся делать левой ногой). Но какова цель статьи? Странновато, что Костюков понимает профессионализм как «*зарабатывание денег*». В свете подобной логики, вывернутой наизнанку, выходит, что «*Константин Меладзе имеет отношение к настоящей поэзии—за счёт нестандартных ритмических ходов*». Подспудный смысл монолога—разграничение «поэзии» и «профессионализма»—как бы нивелирует значение техники (которой медийные авторы-песенники по сравнению с противопоставленными им «настоящими поэтами» как раз, на мой взгляд, и не отличаются), оставляя автору право писать до предела небрежно: «*язык настоящего поэта иногда шершав, коряв или остр*». Хотя трудно не согласиться с заключительным выводом Костюкова: «*А поэзия—незавидное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев. И не надо стремиться туда без крайней необходимости*».

Завершается номер венком сонетов петербурженки Эллы Крыловой «Востряковский проезд». Стихи отличает холодноватый импрессионизм заметно «бродского» оттенка. Первая же строка—«Привет тебе, московка дорогая»—реплика в разговоре с синицей. Таким образом, цикл воспринимается как диалог двух культур—Москвы и Питера. Внутренне обеспеченный венок сонетов, где форма не довлела бы над содержанием,—вещь крайне редкая. Вот и Крыловой не всё удалось: «бродское», хотя и отчётливо ритмизированное, но всё же беспорядочное говорение затрудняет читательское восприятие; невозможно удержать внимание на протяжении всего монолога, и это поневоле производит комический эффект—кажется, что синица улетела, устав слушать нудноватую речь:

Умри на «бис» и встань тысячекратно—
ты этим никого не удивишь.
Мышь гложет сыр. А кошка душит мышь.
И пропуск в рай сейчас дают бесплатно
славянам; инородцам прочим «кыш!»
шипят. Но очень маловероятно,
что кто-то богоизбран (знать приятно,
что избран—ты, а кто-то—нет). И тишь

свой умиротворяющий елей
на безымянный льет вечерний город,
затепливая свечи фонарей.

С орлом в обнимку дремлют серп и молот.
Синица улетела. Мне б—за ней!
Тоска, и одиночество, и холод.

«Воздух»: *антипоэзия и псевдокритика*

Третий номер журнала «Воздух» за 2010 год открывается статьёй Елены Фанайловой о Полине Барсковой. Статья называется «Объяснение в любви». Хитрый ход: нам как бы заранее навязывают некое предубеждение и не дают первым делом образовать собственное мнение о предмете.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Упоминая о «*геронтофильских, инцестуозных, лесбийских мотивах*» в стихах Барсковой, Фанайлова искренне «*не понимает, чем были возмущены её первые рецензенты*». «*Знаете ли вы, дорогой читатель, почему у неё летящий Хармс с высохшей прямой кишкой?*»,—вопрошает Фанайлова. Вместо ответа милосердный читатель должен бы молча протянуть критику листок с телефоном психиатра, но Фанайлова сама отвечает на вопрос: «*Это патологоанатомическая подробность о мёртвом человеке*».

После такой «рекламы» стихи Барсковой должны себя оправдать. Они и оправдывают. Первый цикл называется «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков 1941–1945». Это название-сигнал: в тексте должно быть что-то, хотя бы отчасти похожее на патриотизм. Однако ничего подобного в опусах Барсковой, предельно небрежных, кажущихся плодом больного, разорванного сознания, мы не найдём.

Наша Маша
С ума сошла
Суровый Хармс вино пригубил
10 января: пороша, параша
Украли карточки!
Украли карточки!
Думаю—сам обронил
Сам себя пригубил,
Если бы не Маршак…

Что это, о чём это? Поэтика Барсковой, как отмечает Фанайлова, растёт из документа. Создаётся впечатление, что писать ей очень легко. Следующий цикл—час от часу не легче—называется «Пылкая дева, или Похождения Зинаиды Ц». В предисловии Барскова пишет: «*Автор обнаруживает в архиве публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина акт о вскрытии в 1942 году*

командой библиотекарей и милиционером выморочной комнаты, ранее принадлежавшей Зинаиде Быковой, публиковавшей в начале века свои стихи и переводы из французской поэзии под псевдонимом Зинаида Ц, дальнейшие изыскания указывают, что репутация её как переводчика была настолько жалка, что только авторитет её мужа, выдающегося библиографа и библиофила, обеспечивал Зинаиде Ц что-то вроде ниши в области изящной словесности». Почему объектом ненависти нашей поэтессы стала Зинаида Быкова — неясно. Зато некоторые вызывающие строки смотрятся автохарактеристиками самой Барсковой:

Фу-фу!
Что за дряни ты натащила в строфу!

Или:

…всё, что ни сделаю, бесстыдно иль абсурдно.

Иногда закрадывается мысль — а не циничная ли это насмешка ли это над памятью? Вот что, например, говорится о генерале Карбышеве:

Божья коровка, полети на небко,
В ледяной обложке — ручки и ножки
(В школьном музее — Д. М. Карбышев,
изморозью подёрнутый блистательный генерал),

Принеси оттуда весточку, покуда
Обрубком языка ощупывать его сладкое нёбко?

В школьном музее — Д. М. Карбышев,
похожий на изысканный минерал,
Допустим, оникс. Темнотою, пылью увитый,
Спелёнутый льдом,
Усталостью, удивленьем, обидой —
С перекошенным ртом.
В школьном музее — такой-сякой —
ты спрятался от кого?

А вот сомнительные высказывания в стихотворении памяти Б. Р. (очевидно, Бориса Рыжего):

Намечается груз сирени
Над ухом самоубийцы, притихшего на траве,
Он сам подобен дыбе соцветий, огромной грозди.
Шмели-муравьи прицениваются
к прекрасной его голове.
Добро пожаловать в гости:
Козявочки с червяками,
Букашечки с мотыльками.
А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.
Тара-ра, тара-ра,
Заплясала мошкара…

«*Абсурд отличается от бессмысленного. Бессмысленное не истинно и не ложно, его не с чем сопоставить в действительности. Абсурдное высказывание осмысленно и в силу своей противоречивости является ложным. Логический закон противоречия говорит о недопустимости одновременного утверждения и отрицания*», — говорил Сергей Слепухин в недавней статье о поэзии Игоря Караулова[1]. По всем параметрам стихи Полины Барсковой абсурдны. Затянутая словесная вязь, деструктивная, не без проблесков таланта, что гораздо хуже (поскольку относит содеянное к *намеренному* злу), растёт из насмешки над памятью ушедших. То, что такой автор становится автором журнала «Воздух», само по себе показательно, и если данные тексты помещены в рубрике «Глубоко вдохнуть» — то, последовав этому совету, вдохнём затхлый воздух. Это в лучшем случае. Что бывает в худшем — демонстрирует поток апологетики, затопивший страницы номера благодаря стараниям надышавшихся Барсковой коллег. Едва веришь глазам своим, читая, например, высказывание Вадима Калинина о том, что у Барсковой «*простая, ясная, хорошая речь*», а «*если Вам эти тексты отчего-то неинтересны, значит, Вам неинтересна умная внятная речь*» (да! так и написано!!!). А что сказать о состоянии сознания Олега Дарка, заявившего, что «*поэт* <…> *оказывается идеальным маленьким обречённым существом.* <…> *Потому-то критические выступления против него оказываются почти противозаконным действием, потому что направлены против идеальной жертвы. То есть являются дополнительным и в данном случае незапланированным мучительством*»? То есть — вот вам, не смейте лезть с критикой! Читатель — подневольное существо, мы сами всё за вас решим, вам же остаётся лишь читать и верить. Только вот я предпочитаю думать сам, и верить хочется отнюдь не всему, что мне подсовывают…

Один критик язвительно заметил по поводу лауреатов премии «Дебют» в номинации «Поэзия»: «*Чтобы получить эту премию, надо писать как питекантроп или австралопитек или так, словно тебя перевели с русского на язык племени тумба-юмба, а затем обратно на русский*». Эти слова вспомнились в связи с подборкой Игоря Булатовского «Читая темноту». Действительно, порой создаётся ощущение тёмного, герметического пространства, разорванного на куски и затем сложенного заново так плотно, что просветов и пробелов в нём уже не различить.

Второй цикл — «Заплатки на животе» — оправдывает своё название: цикл из девяти частей смотрится набором заплаток с трудноуловимыми ассоциативными связями, не выходящими за грань пустой словесной игры.

кто отпорет ещё кроме слов этих вот
синеватые тряпочки луж от земли

не отпорет никто и они не смогли
но куриной иглой наживят на живот

В самом деле, «отпороть» эти слова и разгадать код их дешифровки не каждому удастся. Да и нужно ли? Похоже, что эта мастерски сделанная словесная вязь довольна собой, варится в собственном соку и прекрасно обходится без читателя.

Любопытный эксперимент, напоминающий старый советский стишок про «если птице обрезать крылья…», предлагает автор следующей подборки — Александр Беляков:

1. Журнал «Волга», № 5–6, 2010. «Абсурдная катавасия»; http://magazines.russ.ru/volga/2010/5/ss6.html

если уши заткнуть глазами
если ноги смирить руками
изогнуться змеёй воздушной
и поймав ветряной полёт
оросить округу слезами
а потом окропить плевками
то земля становясь послушной
лихорадочно расцветёт

Пока я читал четвёртый номер «Воздуха», мне всё время вспоминался анекдот про дурака, повесившего в углу оранжевую селёдку и на все вопросы отвечавшего: «Моя селёдка, что хочу, то и делаю».

Постепенно становится неинтересно рассматривать каждую подборку в отдельности и находить десять отличий: каждая картинка похожа на предыдущую, а предыдущая — на последующую. Стихи убаюкивают, создавая ощущение мимикрии под поэзию — не лишённой таланта и настолько искусной, что она практически неуязвима для внешней критики: все формальные признаки письма соблюдены, ярка образность. Каждое стихотворение вроде бы и неплохо, но вместе с тем предельно абсурдно и — что интересно — лишено индивидуальности. Вчитываешься — всё рассыпается: пустота, мозаика, витраж, ярко блестящий, но стоит подойти к нему поближе — видишь, что он собран из разрозненных кусочков. И дело не в феномене беглого журнального чтения, а в том, что это бесконечные кальки, повторяющие друг друга, стилизованные под единый формат — общепоэтический, «общевоздуховский».

Не помню, кому из критиков принадлежит высказывание, что для того, чтобы автор стал сегодня легитимизированным, он должен быть признан таковым сразу в нескольких разнонаправленных литературных сообществах. Кажется, Дмитрию Веденяпину удалось — вот и «Арион», эстетически отличный от «Воздуха» и ранее не публиковавший поэта, напечатал в последнем номере рецензию на его книгу. Одновременно в самом «Воздухе», автором которого Веденяпин давно является, опубликована обширная и профессионально написанная статья Марианны Ионовой о его поэзии.

Этой статьёй, к сожалению, критический раздел в журнале и ограничивается. Анкета «Об устном бытовании поэзии» как бы репрезентирует превосходство звуковой стороны, её превалирование над формально-логическими связями, свойственное авторам «Воздуха». Вопросы, заданные нескольким литераторам (преимущественно авторам-«звуковикам», что симптоматично), заранее предполагают ответы: согласитесь, сложно ответить на вопрос, насколько важна для вас звуковая сторона текста, что, мол, не важна или мало важна. Вот и отвечают все словно под копирку. Трудно назвать критикой и представленные в рубрике «Книжная хроника»… то ли мини-рецензии, то ли аннотации. Если рецензии — то все они, как нетрудно догадаться, как на подбор положительные и (печальная критическая тенденция!) — зачастую более интересные, чем отрывки из текстов, приведённые под каждой из них. Читатель, таким образом, как и в случае с Барсковой, оказывается зажатым в железные тиски редакторского «авторитета. Всё это не вызывало бы протеста, если бы не часто сомнительное содержание текстов, мало соотносимое с умными словесами о «культурных кодах», «экзистенциях» и «феноменологиях пространства». Так, по мнению Данилы Давыдова, «*тексты Лины Лом представляют собой соединение отсылающей к эгофутуристическим опытам псевдосалонности с панковскими сюжетами; соответственно, тексты полны макаронизмов и смешения лексических рядов*». Катрен, приведённый в доказательство этих слов, как нельзя лучше доказывает, что с помощью критики — а особенно терминологической — можно и превознести до небес (как в данном случае), и смешать с землёй любой объект.

И по поводу текста «по стене ползёт кирпич, / полосатый, как трамвай, / я сижу на чердаке, / муха тоже вертолёт» легко развернуть объёмную рецензию о макаронизмах, трюизмах и лексических рядах, а можно при желании и защитить докторскую диссертацию. Собственно, за блестящим примером подобного «плетения словес» отсылаю к вышеуказанной статье Игоря Шайтанова из «Вопросов литературы», в которой критик из ничего сконструировал пародию на «произведение новейшей русской поэзии» и, разобрав эту пародию по примеру «Нового литературного обозрения» и «Воздуха», показал, как можно расписать под хохлому ничтожный текст. Институт же критики в «Воздухе», таким образом, оказывается полностью дискредитирован, поскольку подчинён авторитарной редакторской воле, решившей всё за нас. Что ж, в этой ситуации только и остаётся, что иметь свою голову на плечах.

«Наш современник»:
спасение в землянке от конца света

Если «Воздух» разрушает традиции русского языка, то «Наш современник» впадает в другую крайность — излишне их педалирует. Собственно говоря, стихи в 11-м номере стилистически наследуют советской поэзии и исходят из того, что новейшей литературы вообще не существует. В советское время поэзия, выполнявшая порой не свойственные ей публицистические и дидактические функции, зачастую становилась чем-то вроде рифмованной прозы. Однако сейчас, в эпоху обширного разброса поэтик, такая предвзятость литературного журнала выглядит, мягко говоря, странной.

11-й номер собрал подборку поэтов из Сыктывкара. Отбор по географическому принципу изначально неверен: найдётся ли в городе Сыктывкаре столько хороших поэтов? В журнале я не обнаружил ни одного, зато графоманской гладкописи — сколько угодно. Это (опять процитирую «арионовский» монолог Алексея Саломатина) «текст без примет, стереотипная модель стихотворения вообще». А если быть точнее — стереотипная модель восприятия сегодняшнего неподкованного обывателя, которого кормят с экранов творениями

песенников и от которого современная поэзия усилиями государства, поощряющего умственную деградацию населения, задвинута в дальний угол. Модель эта предельно проста: грамотные, искренние, силлаботонические, «в рифму и размер», но совершенно безликие тексты (этим «Наш современник» отличается в худшую сторону даже от «Воздуха», где в большинстве абсурдистских стихотворений присутствует поэтическое дыхание—здесь и его нет).

Приведём строки из открывающего номер произведения Надежды Мирошниченко (с эпиграфом «сыктывкарскому поэту Андрею Попову»):

Провинция, люби меня сейчас.
Уже сейчас мою ты знаешь цену.
Зачем же тебе нужен непременно
Последний день мой и последний час?

Люби меня, провинция, теперь,
Пока я молод и прекрасен тоже.
Я буду старым. Это мне поможет.
Но столько ждать не в силах я, поверь.

А вот её коллега Инга Карабинская:

Мне больно, слышишь? От всего и вся,
Что в этой жизни называлось нами.
От наших лиц, которые висят
Над книжным шкафом в деревянной раме.

<…>

Когда внезапных преданных друзей
Приносит заоконное ненастье
В наш дочиста разграбленный музей
На медяки разменянного счастья.

У обеих авториц—гладенько, ровно, вроде бы неплохо. Местами синтаксически тяжеловесно (как в последнем катрене Карабинской) и банально в отношении рифмы («ненастье—счастья», «теперь—поверь»). Местами не лишено комического эффекта («лица, висящие в раме»). Но главное—полное отсутствие поэтического темперамента и сумасшедшинки, которая приподнимает поэта над всем сущим. Хочется процитировать слова Петра Разумова «*о комсомольской поэзии Евтушенко, который не чувствует мелодии (мелодики) стиха, которая рождается при несовпадении метра и ритма, в пропусках и неточностях: он просто кладёт, ровно, как шпалы, эти кирпичики смачных слов*»[2].

Рифмованную публицистику представляет в номере сыктывкарец Андрей Попов:

Ах, Родина! Грядущее в тумане—
И предано, и продано за грош.
Остался серый сон воспоминаний:
Неясный страх, непобедимый вождь.

Как замечала в своей статье «Читать или не читать» по поводу распространения псевдогражданской лирики («Литературная учёба» № 5, 2009) критик Екатерина Ратникова, «*печатать такое после стихов о России, допустим, того же А. Блока можно только от излишней уверенности в себе и в том, что никакого Блока никогда не было, как не было и многих других*». Добавлю к её словам, что написать такое стихотворение, как у Попова, можно, ещё и не ведая, что уже было ахматовское «всё расхищено, предано, продано…» и что неведение (невежество) отдаёт автора во власть литературных штампов. Вот автохарактеристика Попова:

Я проще—я провинциал, который
Предпочитает ясные слова.

Любовь к ясным словам сама по себе неплоха для поэзии, но не всегда универсальна и даже иногда губительна, так как за ясностью и гладкописью можно потерять красоту звука, формы. И порой лучше цветущая сложность. В нескольких стихотворениях разных авторов встречается мотив провинции: понятие это в данном случае не только географическое—уместнее вести разговоры о *литературном провинциализме*, когда-то затронутом ещё Жирмунским и Томасом Элиотом, а недавно упомянутом Леонидом Костюковым в уже отмеченной нами статье из журнала «Арион» (2009, № 4). Определение провинциализма включает, прежде всего, низкую квалификацию руководителей региональных литобъединений, большинство из которых—успешные графоманы, имеющие весьма отдалённые представления о своём деле. Многие из них просто не знают и не хотят знать, что существует ещё что-то, кроме занимаемой ими «вотчины». Можно утверждать, что и «Наш современник» провинциален, несмотря на то что выпускается в столице. Неважно, откуда авторы, представленные в номере,—из Москвы или Сыктывкара—важна внутренне присущая журналу атмосфера глухой провинции, безнадёжно удалённой от современности и принимающей лишь один—фактически не относящийся собственно к поэзии—вид эрзац-стихотворчества, почвеннической прикладной поэзии.

Отличаются декларативностью и тексты в рубрике «Поэтическая мозаика». Вот начало текста Дарьи Снегирёвой:

Знаешь, строить сложней, чем рушить,
Но во всём допустимы сбои.
Просто надо решить, как лучше,
И желательно для обоих.

Покажи Дарья это стихотворение профессиональному критику, приди она на семинар в Литинституте—ей сразу бы сказали, что не стоит рифмовать прописные истины. Поэтому вызывает удивление, что «Наш современник» подобные неумелые опыты не только не отсеивает, но и поощряет публикациями.

Ярко иллюстрирует провинциализм—не географический, но духовный—произведение Владимира Подлузского «Русская поэзия».

Дервишная розовая Персия,
Бардовская синяя Британия.
Что у них известно как поэзия,
То у русских место обитания.
Ключ у Александра свет Сергеича,
Ключик у Сергея Александрыча.

---

2. Пётр Разумов. Мысли, полные ярости. Литература и кино. СПб., «Алетейя», 2010.

<…>
Лирика настолько совершенная,
Что сама становится окрестностью.
Хокку — это в сакуре Япония,
Веды — нашафраненная Индия.
Наша стихотворная гармония
Улеглась венцами общежития.

Пример типичной «развесистой клюквы». Бог с ними, с клише «сакура — Япония», «веды — Индия». Но какое общежитие имеется в виду в конце и как можно «улечься венцами»? Тут идёт речь уже не о гармонии, а об эстетической мешанине и неумении развернуть метафору. Характерны слова про «совершенную лирику» — действительно, «поэзия» «Нашего современника» считает себя настолько совершенной, что сама себе окрестность, поскольку ничего другого вокруг неё как бы не существует.

Другой уровень «искренней графомании» — альбомное стихотворение «на случай» — демонстрирует Анатолий Объедков. Наличие смыслового повода (возвращаюсь к словам из обзора «Ариона») говорит о косном, по-моему, глубоко неверном взгляде на поэзию как на «рифмованные эмоции» по поводу прочитанного:

Достоевский писал «Идиота».
Здравствуй, Мышкин, любимый мой князь!
Ты смеёшься светло для кого-то,
Быть наивным совсем не боясь.

Утончённый, чуть-чуть виноватый,
Но надёжный ты в чувстве своём,
Высшей истине стал ты собратом
И раздвинул ночной окоём.

Больше половины номера занимают очерки и публицистика. Полагаю, что и поэзия здесь выполняет прикладную, публицистическую функцию, позволяя неискушённому читателю считать себя таковой за счёт «вторичных половых признаков» — метра и рифмы.

Тут самое время перейти к критическому разделу номера. Однако приходится задержаться, прежде чем набрать на клавиатуре слово «критика», так как если в «Воздухе» — идеологически ангажированная псевдокритика, хитроумно выстроенная так, чтобы отрезать читателю пути к отступлению, то в «Нашем современнике» данный институт полностью отсутствует. Рубрикация, мягко говоря, не совсем понятна. Интересны статьи о наследии прошлого — Данилевском, Блоке, Есенине, — однако нет ни рецензий, ни обзоров периодики, ни какой бы то ни было книжной хроники.

Безусловно, уважение к «священным теням» — это положительная тенденция. Кто не знает прошлого — тот не имеет будущего. Нежелание гнаться за модой тоже в какой-то мере уважительно. Однако нет ли риска полностью ослепнуть и не видеть, что творится вокруг?

Недавно все газеты шумели о происшествии: около тридцати человек из пензенской деревни, принадлежащих к секте, основанной местным жителем, ушли в землянку и завалили вход. Так они надеялись спастись от конца света. Что ж, очень напоминает политику «Нашего современника».

«Новый мир»:
сезонно-зимнее и религиозное

Как ни странно, журнал «Новый мир» оказался не так интересен для обзора (подчёркиваю — для обзора, а не сам по себе), как «Воздух» или «Наш современник». Почти не к чему придраться, не за что покритиковать — всё выверено, высока планка публикаций. Остаётся только коротко разбирать представленные в номере стихи и подмечать общие тенденции.

Декабрьский номер получился сезонно-зимним и с уклоном в религиозность. Исключение, пожалуй, составляет подборка Григория Кружкова, которой открывается 12-й номер «Нового мира». На её примере мы получаем представление о том, как могут выглядеть стихи переводчика: Генуя, Барселона, Боттичелли, Гамлет, множество культурных символов и географических реалий, мандельштамовская тоска по мировой культуре… Стихи, несомненно, талантливы и самобытны, а потому им можно «простить» и неизбежный отпечаток профессии, и некоторую сложность — ведь она «цветущая» по-мандельштамовски. Одно из стихотворений — прямая аллюзия к строкам классика — «*а русскому стиху так свойственно величье, / Где вешний поцелуй и щебетанье птичье*»:

Вверху — пустого воздуха остуда,
донесшееся восклицанье птичье,
взлёт сокола
и то, что выше чуда:
небес божественное безразличье.

Подборка Аллы Горбуновой «Водопад», перемежающаяся прозой на грани стиха, находится в русле русской духовной поэзии. Стихи требуют глубинного проникновения и знания религиозных законов — непосвящённому читателю войти в поэтический мир Горбуновой непросто, несмотря на очевидный талант поэтессы.

Светом, радостью и религиозным мироощущением пронизана и подборка Алексея Смирнова.

От зимы не ищем мы спасенья.
Что — снега? Мы только рады им.
На крыльце Большого Вознесенья
Разом руки мы соединим.
В снегопад душе еще просторней.
Вся до края улица бела.
Это нам по всей Первопрестольной,
Как на праздник, бьют колокола!

Религиозно-метафизическое ощущение создаёт и поэма Ефима Бершина «Millenium. *Поэма распада*». Поэма закольцована — упоминание нищего, играющего мелодию распада, в сочетании с «земными» деталями (действие разворачивается в Москве) придаёт тексту особый колорит.

Рубрика «Новые переводы» продолжает серию переводов с немецкого Фридриха Гёльдерлина Вячеславом Куприяновым, публикация которых была начата в журнале «Вестник Европы», в № 22 за 2008 год, и продолжена в 24-м, 25-м и 26-м

номерах «Нового берега». «*Как поэт, говорю о материале слова, совершенно бесплотный, даже бедный. Обычная рифма, редкие и бедные образы — и какой поток из ничего. Чистый дух и — мощный дух. Кроме стихов, за жизнь — проза, чудесная. Hiperion, письма юноши, мечтающего о возрождении той Греции — и срывающегося. Апофеоз юноши, героики и дружбы. О Гёте и Гёльдерлине. Гёте — мраморный бог, тот — тень с Елисейских полей. Не знаю, полюбите ли. Не поэзия — душа поэзии. Повторяю, меньше поэт, чем гений. «Открыт» лет двадцать назад. При жизни печатался кое-где по журналам, никто не знал и не читал*», — писала о Гёльдерлине Цветаева. «*Предваряя небольшую подборку его поздних стихотворений, могу только повторить осторожные слова Цветаевой: «Не знаю, полюбите ли… меньше поэт, чем гений…» Поэтому как-то исправлять в переводе некоторые причуды его синтаксиса, сделать его более гладким и доступным я не пытался*», — добавляет Куприянов.

Дневник трагически погибшего в 1990 году Алексея Сопровского, талантливого поэта и эссеиста, сопровождаемый предисловием и комментариями его вдовы Татьяны Полетаевой, воссоздаёт картину перестройки глазами интеллигента. Завершается публикация воспоминаниями Павла Крючкова о первом знакомстве со стихами Сопровского и его впечатлениями от них.

В рубрике «Рецензии. Обзоры» моё внимание привлекла рецензия Владимира Губайловского на книгу Алексея Цветкова «Сказка на ночь», вышедшую в «Новом издательстве». Губайловский, математик по образованию, начинает с математической формулы в стихотворении Цветкова, связывая её с общим контекстом его стихов: «Написанные математические формулы, вообще говоря, не имеют однозначного фонетического эквивалента. Они беззвучны, как мёртвый язык, как чистый смысл, как след от копыта истины. <…> Когда язык в письменной форме яснее, чем в произношении, это признак того, что на нем больше пишут, нежели говорят. Возможно, именно таким был учёный язык египтян, таковы для нас мёртвые языки» <…> На языке математики — не говорят никогда. Языком математики можно говорить обо всём (почти). Поэзия жива человеческим голосом, навсегда спаяна со звуком родного языка, в поэзии слово ветвится и колеблется, перебирая, перетирая, смешивая семантические обертоны. Деррида полагал, что движение языка к алгебре есть умирание». Я бы далее «повёл» текст в другом направлении: кажется, что разговор сведётся к инерционному, омертвевшему языку Цветкова, в силу утраты живой разговорности использующему математические формулы (об этом говорит и одна цитата, приводимая рецензентом: «гыа ахфф стуыы оугггг как же он мне опостылел / этот ваш человеческий якобы язык»), однако рецензия вполне благожелательна. «Сдвигая и сталкивая словесные пласты, ломая язык об колено, он добивается того, что его траектория падения уходит вверх — к новой степени свободы. Иногда при столкновении мёртвых слов может родиться живое», — заключает Губайловский.

«Книжная полка» Андрея Василевского не претендует (в отличие, например, от книжной хроники «Воздуха») на жанр апологетических мини-рецензий — это всего лишь заметки квалифицированного читателя, точные, с элементами критики, часто ироничные, порой язвительные. В «Библиографических листках» — объективные аннотации книг без какой-либо попытки анализа (составитель С. Костырко) и обзор периодики с отрывками из публикаций, наиболее интересных, по мнению авторов (А. Василевского и П. Крючкова). Таким образом, в критическом разделе журнала не происходит смешения французского с нижегородским: рецензии отдельно, обзоры отдельно, аннотации отдельно. Другие журналы, берите пример со «старшего товарища»!

Синяя тетрадь

Литературный лицей, мастерская Елены Тимченко

*«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».*
Ахматова

Это сладкое слово свобода

Яна Герасимёнок

Я считаю, что свобода—это в первую очередь избавление от страхов. Когда я произношу слово «страх», мне сразу представляется что-то тёмное и липкое, без размера и формы; это нечто, преследующее нас всю жизнь и от чего очень трудно избавиться…

Нет, я не считаю, что страх совсем не нужен: не видели же мы никогда человека, который ничего не боится! Да и человек ли это тогда получится? Страхи, или, вернее, опасения, в какой-то степени нужны, они помогают нам не делать безумных поступков и отрезвляют разум. Но человек не может быть полностью свободным, когда его везде и всюду окружает Страх. Страх одиночества, страх не сдать экзамены, страх того, что задуманные планы могут не сбыться… «А что, если не то?..», «А вдруг не получится?..»—иногда такие вопросы могут часто всплывать в подсознании, особенно в переломный момент, когда очень нужно пересилить себя, а не получается. «А что, если не получится?!» Но можно сказать и по-другому: «А что, если… получится?»

Из-за этих самых страхов, даже самых глупых, которые руководят жизнью, нет-нет да и теряются многие шансы, которые выпадают нам в жизни: шансы стать лучше, сильнее, приобрести ценный опыт, узнать новых людей… А как от них избавиться, от этих страхов? Это уж каждый сам решает для себя, как… Но одно могу сказать точно: человек, скованный своими страхами, реальными и придуманными, по моему мнению, никогда не может быть полностью свободным.

Надежда Мальцева

Для меня свобода—это хотя бы одна минута, когда я могу ничего не делать. Смотреть в потолок или просто валяться. Знать, что сегодня меня нигде не ждут, мне незачем волноваться, ведь я никого не подставлю.

В последнее время я замечаю, что живу в какой-то прострации; кажется, что минуту назад я подскочила на кровати от безжалостной трели будильника, и вот я уже еду в автобусе, смотря на блики света, мелькающие за окном в вечерней темноте, а злобный кондуктор трясёт меня за плечо, требуя одиннадцать рублей…

Свобода. Я задыхаюсь. Меня мучает жажда.

На самом деле я отчётливо слышу и чувствую свободу только тогда, когда горячее, из плоти и крови, тело оказывается в пусть и хлорированной, пусть и неестественно голубой, но холодной воде, и маленькие пузырьки воздуха, хаотично двигаясь, охватывают тебя, скользят вдоль кожи и устремляются к поверхности. Возможно, они тоже по-своему обретают свободу.

Анастасия Ясеницкая

Свобода—это такой презабавный мифический зверёк, очень нежное существо, которое мало кому показывается на глаза. Только редкий счастливчик мог внезапно уловить её образ на несколько мгновений. Свобода есть везде и нигде. Живёт она обычно в громоздкой картинной раме в стиле барокко на самом дне нашего разума. Если Свободе становится тоскливо, она перелезает на своих коротких ножках через раму, покидая своё убежище.

Питается Свобода самыми свежими произведениями взбалмошных голов, написанными в её честь. Без них она чахнет и хиреет. Этого зверя часто можно застать за мирным пережёвыванием листов, испещрённых нотами, буквами или хаотичными мазками. И иногда мне кажется, что Свобода может совсем исчезнуть, если вовремя не подкрепится. Многие пытаются отыскать сие странное животное, но, несмотря на внешнюю неуклюжесть, она умело ускользает, рассыпаясь, словно песок или карточный домик.

Некоторые люди не желают с ней встречаться, потому что не хотят ссориться с окружающими. На радость им, Свободу весьма легко спугнуть. Достаточно положить любой юридический кодекс под подушку, и вас никогда не будут беспокоить дурные сны. И если честно, условий и заповедников для этого зверя не найти. Потому что Свобода боится слов «надо», «должен», влюблённых, родителей, людей, связанных родственными узами, наших тел, мыслей и много чего ещё. Свобода несчастна. Ей одиноко.

Но не приведи Господь вам понравиться этому очаровательному зверьку. Рано или поздно, если остаться с ней наедине, Свобода, сыто урча, тихо подползает на мягких лапах, забирается на колени, улыбаясь беззубым ртом. И кому-то очень невезучему выпадет прекрасный шанс заглянуть в заискивающие, слезящиеся, тёмные глаза, за которыми скрывается абсолютная пустота.

Елизавета Космидис

Когда я была маленькая, со мной почти всегда сидела соседка, ведь родители были на работе. Иногда тётя Зина брала меня с собой во двор. Но гулять с ней я не любила: она садилась с бабушками из других подъездов на лавочку и начинала что-то упорно им доказывать. Я же должна была всё

время находиться в поле её зрения и не отходить от площадки ни на шаг. А мне всегда так хотелось увидеть мир вокруг: а вдруг в соседних дворах всё по-другому? а если на соседней улице бесплатно раздают мороженое?

Но тётя Зина никогда меня никуда не отпускала и не ходила со мной, отговариваясь больными ногами. Я представляла, что я пленник в тюрьме, который вышел на прогулку с надзирателем.

Каждый раз я мечтала, что когда-нибудь тётя Зина отпустит меня одну или уйдёт домой, забыв про меня, и тогда я смогу пойти, куда только глаза глядят.

И вот в один прекрасный день только мы стали собираться на прогулку, как моя надзирательница схватилась за спину и начала вздыхать, произнося название какой-то сложной и непонятной болезни. А в это время на улице была такая чудесная погода, все дети весело играли и смеялись на площадке. Как я хотела сейчас быть с ними!

Я начала слёзно умолять отпустить меня одну, но тётя Зина была непреклонна и твёрдо сказала, что мы никуда не пойдём. Тогда я начала плакать, она сильно разозлилась и сказала, что дело моё и я могу идти куда хочу.

Оказавшись на улице, первой мыслью было, что я наконец одна, ни от кого не завишу и могу наконец делать то, что хотела всегда.

Но чувство эйфории длилось недолго, вся та свобода, которая вдруг упала мне на плечи, оказалась совсем не нужна. Да, я свободна, но идти мне уже никуда не хочется, и даже играть с детьми.

Чуть-чуть подумав, я решила вернуться домой и позаботиться о внезапно заболевшей соседке.

И вот, уже спустя много лет, я всё ещё задумываюсь: а нужна ли нам вообще эта *свобода?*

Две исповеди

Анастасия Ясеницкая

Я совершенно определённо не люблю зиму. Особенно зиму в своём климатическом районе. Холод вкупе с громоздкими вещами, неудобные колючие шапки, варежки и перчатки создают впечатление ватных, скованных движений. По прошествии некоторого времени мне начинает надоедать однообразный белый снег за окном в свете рахитичных фонарей. Закрытые окна, душные комнаты, пыльные шторы, одеяла, пледы заваливают, падают сверху, и я масляными, осоловелыми глазами ищу какую-то резкость и чёткость в этой плюшевой среде. Удивительно, что я практически не помню зимнего неба. Оно всегда блёкло и бесцветно, будто его слизала невидимая небесная корова, либо оно глупое, синее и плоское. У неба в это время отнимают ощущение простора и перспективы. Весь мир сжимается до размеров четырёх засаленных стен и однообразного болезненного пейзажа за окном. Зимой я будто теряю возможность чувствовать окружающий мир в погоне за сохранением толики животного тепла. Но есть вещи, которые я могу простить зиме,—это мои вечера за клеёнчатым столом и чашкой кофе в скудно обставленной кухне рядом с любимым человеком. Можно любоваться, как подруга своим неповторимым кротким жестом забирает за ухо выбившуюся рыжую прядь или вертит в руках кружку с остывающим кофе. А в это время за её спиной, в лишённом штор окне, утонувшие в густой черничной синеве лимонные силуэты окон проецируют маленькие фигурки людей. И нет ни времени, ни холода, ни других людей. Во всей Вселенной есть только четыре стены этой кухни, жалко освещённые слабым светом лампочки, да темень за окном.

Также зимой существует единственный праздник, который ещё не потерял для меня волшебства. Это конфетно-мишурный Новый год, осыпанный серпантином и конфетти, пахнущий елью и мандаринами. Осиянный волшебством и светом. Есть некая прелесть в приготовлениях оливье в неимоверных количествах и идущих по телевизору советских сказках и мультиках. Душе так не хватает этого сказочного наивного добра. Новый год возвращает нам что-то давно безалаберно промотанное, бездарно потерянное. В итоге получается, что полностью дискредитировать предмет моей ненависти я не имею возможности. У меня получилась парадоксальная субъективная зима, противоречивая в своих проявлениях. Так что не стоит воспринимать этот текст серьёзно. Вот.

С Новым годом!

Яна Старикова

Если у тебя ни на что не хватает времени, и твоя жизнь—это школа, дополнительные занятия, забирающие столько времени, что уроки делаешь ночью, и только один выходной—быстро пролетающее воскресенье, которого ты ждёшь целую неделю, чтобы сходить с друзьями в бассейн или в кино, ну или просто поваляться дома,—не отчаивайся, мой друг, ты не один такой.

Моя жизнь—это вообще катастрофический микс из олимпиад, прослушиваний, концертов, домашних заданий, уроков и прочих скучных вещей. В этом мире меня спасает только музыка в наушниках. Даже зима, которая всегда снабжала меня энергией и позитивным настроем, не вызывает никаких чувств. Вот он, снег, тот долгожданный, искрящийся, а у меня в голове—как решить задачу по геометрии… Грустно…

И вот абсолютно случайно в *воскресенье* зашла в группу под названием «Новый год—самый светлый праздник» (я туда в прошлом году добавилась); смотрю, а там самое первое видео—новогодняя реклама Coca-Cola. Я её по телевизору не видела.

В этой рекламе весь город находится в хрустальном шаре Санты, и тот, вращая его в разные стороны, помогает усталым, отчаявшимся людям найти утешение, весёлую компанию, любовь. В этом минутном ролике столько тепла и радости, что ты невольно посмотришь в окно, на самый прекраснейший в твоей жизни снег, прислушаешься к любимой музыке, тихо играющей в колонках, улыбнёшься и поймёшь… всё будет Coca-Cola.

стр. 72 Алейников Владимир Дмитриевич
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Поэт, писатель, переводчик, художник. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 г. публиковался на Западе. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятые годы был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

стр. 108 Алешков Николай Петрович
Набережные Челны, 1945 г. р.

Поэт, журналист, издатель. Был редактором городской газеты «Время» в Набережных Челнах, редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — редактор литературного альманаха «Аргамак». Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Член Союза писателей СССР (1984). Автор девяти книг стихов.

стр. 111 Алиева Нонна Викторовна
Димитровград

Родилась в г. Баку. Окончила филологический факультет государственного университета по специальности — русский язык и литература. Двадцать лет работает в городской газете Димитровграда. С 1998 года — член Союза писателей РФ. В 1997 году — победитель литературного конкурса «Новые имена» (Саратов), в 2009-м — регионального конкурса Союза журналистов в номинации «очерк».

стр. 113 Асикаева Дина Александровна
Москва, 1988 г. р.

Выпускница Университета Российской академии образования. Работает заведующей школьной библиотекой, занимается поэзией, фотографией, живописью.

стр. 116 Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг — «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики — «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 190 Брюханов Александр Александрович
Санкт-Петербург, 1956 г.р.

По образованию инженер-радиотехник. Работает менеджером в частной компании. Печатается практически во всех юмористических изданиях. Участвовал в сборниках «Литературной газеты», журнала «Фонтан» и др.

стр. 123 Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии, сотрудничал в журнальных и книжных издательствах. Член Союза писателей с 1985 года, автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский».

стр. 181 Винская Людмила Андреевна
Красноярск

Журналист, поэт, прозаик, переводчик. Выпускница Уральского государственного университета. Доцент кафедры журналистики ИФИЯК СФУ. Лауреат краевой премии Союза журналистов. Лауреат всесоюзных и всероссийских творческих конкурсов.

стр. 198 **Войтик Михаил Георгиевич**
Люберцы, 1953 г. р.

Родился в Новом Городке Звенигородского района Московской области в семье военного лётчика. В 1976 г. окончил Специальный факультет физики Московского инженерно-физического института (МИФИ). В 1979 г. получил степень кандидата физико-математических наук в Физическом институте АН СССР. Работал на разных должностях в научно-исследовательских институтах. В 90-е годы некоторое время работал за границей приглашённым учёным — два месяца в Германии, два года во Франции и год в Голландии. В 2006 г. ушёл из Академии наук из-за отсутствия денег (зарплата завлаба была меньше квартплаты). С тех пор работает в частных компаниях, занимающихся промышленной очисткой воды.

стр. 114 **Волосюк Иван Иванович**
Донецк, 1984 г. р.

Аспирант кафедры русской литературы ДонНУ. Публиковался в Украине, России, Казахстане, Молдове и Германии. Автор сборников стихов «Капли дождя», «Вторая книга» и «Продолженье земли». Член Межрегионального союза писателей Украины (МСПС), ВТС «Конгресс литераторов Украины».

стр. 116 **Воронов Николай Павлович**
Переделкино, 1926 г. р.

Родился близ г. Троицка Челябинской области. Прозаик, поэт. Работал электрощитовым на доменной подстанции Магнитогорского металлургического комбината. Окончил Литературный институт имени Горького. Возглавлял писательскую организацию в Калуге. Избирался в правление Союза писателей РСФСР и секретариат московской организации Союза писателей. Автор опального романа «Юность в Железнодольске», первая часть которого была опубликована Александром Твардовским в 1968 году «Новом мире», а затем прорабатывалась во всех инстанциях. Кроме этого, написаны романы «Макушка лета», «Котёл», «Похитители Солнца», «САМ», «Побег в Индию», повести «Голубиная охота», «Гибель такси», «Карл Нетерпеливый», «Лягушонок на асфальте», «Тёплые монеты», «Приговорённый Флёрушка» и другие, множество рассказов и сказок для детей. С 2004 года — главный редактор журнала «Вестник российской литературы». В 2008 году удостоен звания «Почётный профессор МаГУ» (Магнитогорского госуниверситета). Член редакционного совета книжной серии «Литература Магнитки. Контекст». Награждён медалью имени Антона Чехова, учреждённой Союзом писателей Москвы.

стр. 104 **Гонашвили Маквала**
Тбилиси, 1959 г. р.

Родилась в Цители Цкаро (Кахетия). В 1977 г. окончила 77-ю тбилисскую физико-математическую школу с золотой медалью. В том же году поступила на факультет журналистики Тбилисского государственного университета, который окончила в 1982 г. Автор 16 книг — поэтических сборников, драматургии, стихотворений и пьес для детей, переводов поэзии разных стран. Работала редактором на грузинском телевидении; была президентом независимой Ассоциации молодых грузинских писателей «Гулани»; редактором детской познавательной газеты «Хелло, беби!» на английском языке, заместителем директора Дома литераторов им. Г. Табидзе; секретарём Союза писателей Грузии; вице-президентом Академии им. Сулхана-Саба Орбелиани. С 2004 г. Маквала Гонашвили — председатель Союза писателей Грузии (в 2006 г. переизбрана на второй срок). Лауреат премии им. Галактиона Табидзе (2007) и премии им. Анны Каландадзе (2008). Произведения переведены на русский, украинский, болгарский, итальянский, английский языки, а также на языки стран Балтии.

стр. 193 **Грантс Янис Илмарович**
Челябинск, 1968 г. р.

Родился во Владивостоке. В связи с военной службой отца жил в Советской Гавани, Ленинграде, Челябинске, Кирове. Учился в Киевском госуниверситете и в Киевском военном училище связи, однако высшего образования не имеет. Служил срочную службу на большом десантном корабле Северного флота. Остался в Заполярье и работал на буксирах, траулерах и других судах, приписанных к Мурманску и Архангельску. Лауреат нескольких фестивалей, конкурсов и премий. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Урал» и др. Руководитель поэтической секции ЛитО ЧТЗ им. Михаила Львова. Призёр литературного конкурса им. И. Рождественского. Автор книги стихотворений и поэм «Мужчина репродуктивного возраста» (2007 год).

стр. 180 **Дмитриева Людмила Валерьевна**
Красноярск, 1974 г.р.

По образованию экономист, работает бухгалтером. Стихи для детей публиковались в местной газете.

стр. 231 **Ерёмин Николай Николаевич**
Красноярск, 1943 г. р.

Окончил медицинский институт, работал врачом-психиатром. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. С 1981 года — член Союза писателей. Автор более сорока стихотворных сборников, нескольких книг прозы. Лауреат премии «Хинган».

стр. 129 **Иванченко Игорь Иванович**
Юрга, 1946 г. р.

Родился в г. Юрга Кемеровской области. Имеет дипломы двух томских технических университетов, ТУСУРа (очно) и ТПУ (заочно, с отличием). Работал в машиностроительной (г. Юрга) и нефтяной (г. Стрежевой, Томская обл.) отраслях промышленности. В 1998 году оставил работу на Севере в должности заместителя начальника

укрупнённого нефтепромысла ради литературы. Автор тринадцати книг. С 2007 года широко и часто публикуется в печатных и сетевых литературных периодических изданиях России, США, Украины, Бельгии, Израиля, Германии, Белоруссии, Австрии, Узбекистана, Голландии, Италии, Казахстана, Греции, Англии и Канады, в коллективных сборниках, альманахах и антологиях. Некоторые стихи переведены на английский и украинский языки. В 2007–2010 гг.— лауреат, призёр и победитель шестнадцати международных литературных конкурсов в России (в том числе — Золотой лауреат «Золотого пера Руси-2007»), Украине, Германии, Австрии, США и Бельгии. Член жюри двух международных литературных конкурсов. Член Союза российских писателей (СРП), член Правления и Дирекции по странам международного Союза литераторов и журналистов (APIA, штаб-квартира в Лондоне, отделения в 22-х странах).

стр. 86 **Игнатенко Николай Алексеевич**
Томск, 1946 г.р.

Родился в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил механико-математический факультет Томского университета, там же преподавал до 1991-го года. Автор нескольких поэтических книг. Публикации в российских и зарубежных литературных журналах.

стр. 138 **Иослович Илья Вениаминович**
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил мех.-мат. МГУ в 1960 г. по специальности «механика». Работал в различных НИИ. В 1957–58 гг. участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских горах (Д. Сухарев, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров, Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев; руководитель — Н. Старшинов). Публикации с 1958 г. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис» № 4, 1960, который не вышел из-за ареста составителя А. Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор технического университета.

стр. 133 **Кавин Николай Матвеевич**
Санкт-Петербург

Родился в Ленинграде. После окончания средней школы три года работал на ленинградском телевидении. Окончил театральное отделение Института культуры, работал директором заводского клуба, режиссёром любительских театров в Бокситогорске (Лен. обл.) и Нарве (Эстония). В 1978–1992 — актёр, а затем зав. лит. частью Красноярского ТЮЗа. С августа 1992 г. — журналист «Радио России — Санкт-Петербург». Опубликовал беседы с академиками Д. С. Лихачёвым и А. М. Панченко, писателями В. П. Астафьевым и В. В. Конецким (журналы «День и ночь», «Звезда», газета «Первое сентября»). Литературный исследователь. Впервые по автографам опубликовал многие тексты Д. Хармса. Автор-составитель сборника детских произведений Хармса («Летят по небу шарики», Красн. кн. изд. 1990), автор статей о Д. И. Хармсе и его отце И. П. Ювачёве.

стр. 174 **Каминский Семён Михайлович**
Чикаго, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором, программистом. Редактор-составитель литературного раздела еженедельника «Обзор» (Чикаго, США). Член редколлегии газеты «Наша Канада» (Торонто, Канада). Член Международной федерации русских писателей, Объединения русских литераторов Америки.

стр. 230 **Карпович Дмитрий Иннокентьевич**
Красноярск

Физик по образованию. Работает в институте повышения квалификации учителей. Автор книги стихов «Душевный разговор». Публикации в коллективных сборниках и альманахе «Русло».

стр. 71 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 79 **Копылова Марина Леонидовна**
Йошкар-Ола, 1959 г. р.

Журналист, литературный редактор, поэт, театральный критик, фольклорист. Член Ассоциации антропологов и этнографов России, Союза писателей России. Выпускница факультета издательского дела и книжной торговли Московского полиграфического института.

стр. 127 **Коченко Вадим Анатольевич**
Барнаул, 1973 г. р.

Родился в г. Барнауле. После службы на Северном флоте работал на различных предприятиях города. Выпускник исторического факультета АлтГУ.

стр. 12 **Кролак Флоранс**
Цюрих

Кандидат литературоведческих наук (Сорбонна), кандидат исторических наук (Ecole pratique des hautes études, Paris), докторантка Цюрихского университета.

стр. 4 **Кублановский Юрий Михайлович**
Москва, 1947 г. р.

Родился в Рыбинске в семье актёра и преподавательницы русской литературы. Выпускник отделения искусствоведения исторического факультета МГУ. Один из основателей группы СМОГ. Первая официальная публикация — в 1970 г. (стихи

в сборнике «День поэзии». Работал в музее на Соловках, в Кирилло-Белозёрском, Ферапонтовом музеях, в Муранове и др. В середине 70-х познакомился с Александром Менем и стал его духовным сыном. В 1975 году выступил в самиздате с открытым письмом «Ко всем нам», приуроченным к двухлетию высылки Александра Солженицына, которое было в 1976 году опубликовано на Западе. Это окончилось вызовом на Лубянку и лишением возможности работать по профессии. Трудился дворником, истопником, сторожем в московских и подмосковных храмах. Печатал переводы под псевдонимом. В 1979 году принял участие в неподцензурном альманахе «Метрополь», изданном самиздатовским способом, а также вышедшем за границей. С середины 70-х его стихи публикуют русскоязычные журналы и альманахи Европы и США. В 1981 году в США в издательстве «Ардис» вышел первый сборник стихов «Избранное», составленный Иосифом Бродским. В 1982 г. эмигрировал, жил в Париже, в Мюнхене. Был членом редколлегии и составителем литературного раздела журнала «Вестник русского христианского движения» (ВРХД), печатался в «Русской мысли», «Гранях», «Континенте», «Глаголе» и других эмигрантских изданиях. Работал на Радио Свобода. В 1990 году вернулся в Россию. Член Союза российских писателей. Член редколлегии журналов «Вестник РХД», «Новый мир», «Стрелец», газеты «Литературные новости». Член-корреспондент Академии российской словесности (1996). Лауреат премий им. Осипа Мандельштама альманаха «Стрелец» (1996), Правительства Москвы (1999), журналов «Огонёк» (1989), «НМ» (1999), Александра Солженицына (2003), журнала «Новый мир» «Anthologia» (2005), Новой Пушкинской премии (2006).

стр. 87 Кузнецова-Чапчахова Галина Григорьевна
Москва

Родилась в Москве, окончила МГУ. Много лет работала редактором. Печаталась в литературных газетах и журналах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и других городов страны. Опубликовала несколько книг художественной прозы, в том числе «Холодный апрель» (1989), «Гость Таинственный» (1999), «Ничья» (2001), «Дорога в Саров» (2004). Член СПР с 1989 г. В 2000 году по поручению Союза писателей России участвовала в возложении венка русских писателей при перезахоронении И. С. Шмелёва и его жены с парижского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в акрополь Донского монастыря — в соответствии с завещанием писателя «когда станет возможно». Автор ряда литературоведческих публикаций об И. Шмелёве: в сборнике «Венок Шмелёву», «Литературной газете», научных выпусках Института мировой литературы.

стр. 218 Кулешов Павел Геннадьевич
Ташкент, 1960 г. р.

Родился в Новокузнецке. С 1967 г. живёт в Узбекистане. По образованию биолог, окончил в/о биолого-почвенного факультета ТашГУ в 1986 году. В 1985 посещал семинар молодых и начинающих писателей при СП Узбекистана. После развала Союза в 1993 году работал научным сотрудником в лаборатории психологии Центрального института повышения квалификации работников народного образования, руководил психологической службой в Республиканском институте повышения квалификации работников профтехнического образования. Работал в Ташкентском государственном экономическом университете, проводил психотренинги, преподавал химию, биологию, историю, географию, основы духовности в частной школе. Занимается психологическим консультированием.

стр. 74 Курганов Алексей Николаевич
Коломна, 1958 г. р.

Образование — высшее медицинское. Регулярные литературные публикации в местных газетных изданиях, несколько — в литературно-художественном журнале «Коломенский альманах». Разовые — в журналах «Молодая гвардия», «Воин России», «Сенатор», «Голос эпохи». Журналистские публикации в местных и областных изданиях. Неоднократный лауреат ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.

стр. 236 Кутенков Борис Олегович
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. Работает корреспондентом муниципальной газеты. Учится на 5-м курсе Литературного института им. А. М. Горького. Автор стихотворного сборника «Пазлы расстояний». Публикации в «Литературной газете», газетах «Литературная Россия», «НГ-экслибрис», журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», «Наш современник», «Литературная учёба», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Лауреат и призёр нескольких литературных конкурсов.

стр. 14 Лазарчук Андрей Геннадьевич
Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт по специальности «врач-реаниматолог», работал в различных медицинских учреждениях. Первые удачные литературные опыты относит к 1983 году. С 1990-го — профессиональный писатель, автор достаточно известных романов «Все способные держать оружие», «Транквилиум», трилогии «Посмотри в глаза чудовищ» (в соавторстве с Михаилом Успенским) и других. В 1992 году окончил Московский литературный институт. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-клуба. Участник Малеевских и Дубултинских семинаров. Перевёл на русский язык произведения Филипа Дика, Роберта Хайнлайна («Не убоюсь я зла»), Люциуса Шепарда. Лауреат ряда литературных премий.

стр. 160 Либуркин Саша
Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Литератор и общественный деятель.

стр. 84 **Назаров Сергей Николаевич**
Ровно, 1955 г. р.

Родился в г. Куйбышеве. Ныне доцент кафедры водоснабжения и бурового дела Национального университета водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), кандидат технических наук. Член ВНКПО «Русское собрание Украины» с 1999 года, Союза писателей России (2006), Международной Ассоциации писателей и публицистов (2008). Лауреат и дипломант нескольких всеукраинских и международных литературных конкурсов и фестивалей. Автор шести поэтических сборников и более семидесяти публикаций в периодических и литературно-художественных изданиях Украины, России и Латвии.

стр. 162 **Райгородская Жанна**
Иркутск

Родилась в Иркутске. По специальности — олигофренопедагог. Литературной деятельностью занимается давно, причём совмещает её с деятельностью общественной. Для своих друзей и собратьев по перу выступает в качестве литературного агента, организовывая публикации в литературных журналах и альманахах. Прозаик. Участник двух Форумов молодых писателей России в Липках.

стр. 201 **Реунов Аркадий Анатольевич**
Владивосток, 1962 г. р.

Родился во Владивостоке. Окончил биологический факультет Дальневосточного государственного университета. В настоящее время работает в Институте биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН (г. Владивосток), доктор биологических наук, профессор. Лауреат стипендии Президента Российской Федерации для молодых докторов наук, лауреат «Фонда содействия отечественной науке», лауреат канадского гранта «The James Chair Professorship». Известен как автор многих научных трудов, в том числе двух монографий. Путь в художественную литературу начал в 2001–2002 гг., когда в журнале «День и ночь» были опубликованы его рассказы «Космонавт к полёту готов» и «В ожидании ангела». Публиковался в альманахе «Литературный Владивосток», московских сетевых журналах «Молоко» и «Русская жизнь».

стр. 125 **Сафонова Анна Алексеевна**
Южно-Сахалинск, 1979 г. р.

Выпускница славянского отделения института филологии СахГУ. Работала методистом, помощником режиссёра в Сахалинском музыкальном обществе, корреспондентом областной газеты, педагогом дополнительного образования. В настоящее время — редактор Сахалинского книжного издательства. Публикации в журналах «Знамя», «День и ночь», коллективных сборниках «Остров», «Сахалин» и других. Автор трёх поэтических книг, а также публикаций прозы и литературной критики. Стипендиат Сахалинского фонда культуры, участница нескольких Форумов молодых писателей России. Член Союза писателей России. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 3 **Серикова Татьяна Юрьевна**
Красноярск, 1972 г. р.

Родилась в Челябинске. Окончила Челябинское художественное училище (1989–1991), Красноярский государственный художественный институт (живопись, мастерская профессора Покровского А. А., 1993–1999). Стажировалась в мастерских современного искусства при КГХИ (2002–2005). Член СХ России с 2005 года. Старший преподаватель и аспирант Сибирского федерального университета.

стр. 233 **Соколов Глеб**
Санкт-Петербург, 1996 г. р.

Учащийся естественнонаучного Аничкова Лицея. Стихи, прозу пишет с семи лет. Увлекается рок-музыкой: играет на гитаре, сочиняет песни.

стр. 150 **Тарковский Михаил Александрович**
Бахта Красноярского края, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр. 173 **Труфанов Егор Вячеславович**
Москва, 1992 г. р.

Родился в Хабаровске. Выпускник политехнического лицея. Студент первого курса МГУКИ.

стр. 195 **Фишман Виктор Петрович**
Мюнхен, 1934 г. р.

Родился в Днепропетровске; инженер-геофизик; работал в Донбассе на шахтах, опасных по взрыву газа и пыли, где занимался теорией и практикой предупреждения шахтёров о грозящей им опасности. В студенческие годы, а также позднее с геофизическими партиями проводил полевые изыскания на Урале, Кавказе, Чукотке. С 1960 по 1990 гг. занимался изучением блуждающих токов и защитой от коррозии подземных сооружений. Автор около 30 патентов и изобретений; кандидат технических наук (1974). Первые публикации появились в журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» в 1978 году. Автор более десятка научно-публицистических и научно-художественных книг. Регулярно публикуется в периодической прессе Германии, изредка — в Израиле, США, России.

стр. 131 Чембарцева Виктория Валерьевна
Кишинёв

Пишет стихи, прозу. Окончила Молдавскую экономическую академию (ASEM)—маркетинг, а также Institutul de Instruire Continuă (IIC)—факультет психологии. Член Ассоциации русских писателей Молдовы. Участница XXII Московской международной книжной ярмарки, участница 9-го Форума молодых писателей России (2009). Публикации: на интернет-ресурсах stihi.ru, proza.ru, в интернет-журнале «Пролог», в литературно-художественном журнале «Наше поколение» (№4, 2009, Кишинёв), журнале «Вайнах» (ноябрь 2009, Грозный), в сборнике «Китайская шкатулка» («Геликон плюс», СПб, 2009).

стр. 191 Чернышев Дмитрий
Санкт-Петербург, 1963 г. р.

Поэт. Автор книги стихов «Разговоры шейхов», публикаций в журналах «Звезда Востока», «Арион», «Черновик», Антологии русского верлибра и др. Печатал также прозу под псевдонимом Андрей Столетов. Публикации в журналах «Зинзивер», «Арион», «Черновик» и других. Заместитель шеф-редактора журнала «Зинзивер».

стр. 189 Шабанов Дмитрий Валерьевич
Санкт-Петербург, 1985 г. р.

Родился в Минусинске. В 2005 году поступил в Литературный институт им. Горького на семинар Олеси Николаевой. После ушёл из института. В 1998 г. стал лауреатом всероссийского конкурса «Мы—лицеисты». В 2000 году получил стипендию им. В. П. Астафьева, вошёл в лонг-лист Астафьевской премии 2009 года. Финалист всемирного поэтического фестиваля-конкурса «Эмигрантская лира—2010» (Бельгия, Брюссель). Лонг-листы премии «ЛитературРентген» и премии «П» 2010 года. Публиковался в журналах «Абакан литературный», «День и ночь», «Зинзивер», в «Литературной газете», в интернет-журналах «Точка зрения», «Пролог», «Полутона», «45-я параллель», «Новая литература», «Знаки», «Новая реальность». Один из редакторов раздела поэзии в интернет-журнале «Точка Зрения». Главный редактор интернет-журнала «Дорога 21».

стр. 184 Шелленберг Вероника Владимировна
Омск, 1972 г. р.

Поэт, художник. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Публикации в журналах и альманахах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Москва», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «Голоса Сибири», «Иркутское время», «Лоза», «Под часами», «Омская муза» и «Складчина», «Сияние лиры», «Урал». Автор шести изданных стихотворных сборников.

стр. 155 Шлёнский Александр Васильевич
Красноярск, 1955 г. р.

Родился на Урале. После окончания школы проходил службу на Западной Украине и в Забайкалье. Учился в музыкальном училище по классу гитары. Сменил много профессий. Приходилось работать в механизации экскаваторщиком, грейдеристом, а также в тайге на вздымке (добыча живицы), проводником в пассажирских поездах и сопроводителем грузов в товарняках. Работал на речном флоте мотористом на Волге, Вятке, Каме, затем после окончания школы комсостава ходил по сибирским рекам штурманом. Занимался изготовлением музыкальных инструментов. Фанатичный таёжник, охотился в сердце Саян и провёл там значительную часть своей жизни. Последнее время работает в строительстве. Публиковался в журнале «День и ночь».

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

Борис Ряузов | «Проспект Мира» | 61 × 96,5 | холст, масло | 1982

Борис Ряузов | «Новый город. Уходит прошлое» | 37,8 × 57,8 | холст, масло | 1982

На страницах номера…

Воспоминания *Ильи Иословича* о жизни молодых учёных в середине 60-х годов XX века.

«Я был очным аспирантом МФТИ, приписанным к Институту прикладной математики АН СССР (позднее ему было присвоено имя М. В. Келдыша). Институт находился на Миусской площади, и отдел 5, которым руководил Д. Е. Охоцимский, занимал целый этаж в одном из крыльев этого здания. Отдел тесно взаимодействовал непосредственно с Президентом АН СССР М. В. Келдышем и находился прямо в самом центре проведения исследований по космической программе».

«Аспирантура и потом», с. 133

Диалог *Юрия Беликова* с писателем, поэтом, главным редактором журнала «Вестник российской литературы» *Николаем Павловичем Вороновым*.

«А привёл меня к пермякам не кто иной, как Виктор Астафьев, с которым мы тогда познакомились и подружились. Мало того, когда я к нему приехал в Пермь, он прочёл вёрстку второй части моего романа за ночь. Утром сказал: «Вот когда настоящая правда литературы начинается, тогда её всячески стараются уничтожить!» После нападок на меня и обсуждения моей «Юности…» по всем республикам и во всяких высоких инстанциях, включая цензуру, Виктор написал два протестующих письма».

«Запрещённый с юности…», с. 116

Эссе *Виктора Фишмана* о декабристах, выходцах из немецких семей

«Снег Сенатской площади», с. 195

В рубрике «ДиН школа» мы открываем серию статей *Павла Кулешова* о начинающих стихотворцах и для них.

«Потребности и способности», с. 218

Стихи *Владимира Алейникова*, *Анатолия Вершинского*, *Вероники Шелленберг*, *Вадима Коченко*, *Дмитрия Шабанова*, *Яниса Грантса* и других первоклассных поэтов!